
В.Т.
Нарежный
Сочинения
1
В.Т.
Нарежный
Сочинения

В.Т. Нарежный

*

Сочинения

В. Т. Нарежный

Сочинения в двух томах



Москва
«Художественная литература»
1983

В. Т. Нарежный

Сочинения
том первый

Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова



Москва
«Художественная литература»
1983

Р1
Н28

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Ю. В. Манна

Оформление художника
И. Сальниковой

Н $\frac{4702010100-380}{028(01)-83}$ 5-83

У истоков русского романа



I

В 1825 году П. А. Вяземский опубликовал в «Московском телеграфе» «Письмо в Париж», в котором сообщал самые важные литературные новости: говоря о скором появлении двенадцатого тома «Истории государства Российского» Карамзина, о том, что Пушкин закончил поэму «Цыганы» и теперь как «новый Атлант» испытывает свои силы на новом поприще и пишет трагедию «Борис Годунов», критик заключал: «Надеюсь, вы обрадуетесь моим вестям, а теперь хочу удивить вас вестью почти неслыханною».

Какая же литературная весть могла показаться «почти неслыханною» на фоне даже таких явлений, как новая поэма или первое драматическое произведение Пушкина?

«На днях,— продолжает Вяземский,— прочитал я русский роман: «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», сочинение Нарежного, который, к сожалению, умер прошедшим летом еще в зрелой поре мужества. Это четвертый роман из написанных автором. Не удовлетворяя вполне эстетическим требованиям искусства, Нарежный победил первый и покамест один трудность, которую, признаюсь, почитал я до него непобедимою. Мне казалось, что наши нравы, что вообще наш народный быт, не имеет или имеет мало *оконечностей* живописных, кои мог бы схватить наблюдатель для составления русского романа». Но Нарежный сумел развеять эти опасения.

«Несмотря на то,— заключал рецензент,— Нарежный умер, почти не слыхав доброго слова о себе от наших журналистов...» [1]

Отзыв Вяземского — самый проницательный и тонкий из появившихся до тех пор — достойно возвысил Нарежного как одного из первых, если не первого русского романиста. Вместе с тем было подчеркнуто, что Нарежного не поняли, не оценили в этой его функции. С тех пор и та и другая мысль — о заслугах

[1] «Московский телеграф», 1825, ч. VI, № XXII, с. 181—183.

Нарежного в создании русского романа и, так сказать, недооцененности этих заслуг — стали лейтмотивом всех критических суждений о писателе. Чтобы не приводить большого количества примеров, коснусь лишь одного эпизода посмертной литературной судьбы Нарежного.

Упомянутый эпизод относится к 1829 году. В этот год вышли четыре томика «Ивана Выжигина» Ф. В. Булгарина — произведения, имевшего у широкого читателя еще неслыханный успех и тотчас аттестованного самим автором и его литературными друзьями как первый русский роман. Это невольно воскресило в памяти облик умершего четыре года назад Нарежного. «...Бедный Иван Нарежный умер в безвестности,— писал 15 апреля 1829 года поэт И. И. Дмитриев,— и никто, еще и при жизни его, не сказал путного слова о его двух романах — «Бурсаке» и «Двух Иванах», не менее оригинальных и писанных с талантом, несмотря на черствость слога и отсутствие вкуса» [1]. И. Дмитриев еще только ограничивает приоритет Булгарина в пользу его менее удачливого предшественника. Другой же современник, критик Н. И. Надеждин, убежден, что это величины просто несравнимые. Когда Фекла Кузминишна, персонаж его драматизированной рецензии на «Ивана Выжигина» («Вестник Европы», 1829, № 10, 11), попробовала замолвить слово за новоявленное детище Булгарина, Пахом Силич Правдивин, бывший корректор, воплощение здравого смысла и эстетической проницательности, с чувством воскликнул: «А ты разве не читала романов покойника Нарежного?.. Вот так подлинно народные русские романы! Правду сказать — они изображают нашу добрую Малороссию в слишком голой наготе, не отмытой нисколько от тех грязных пятен, кои наведены на нее грубостью и невежеством; но зато — какая верность в картинах! какая точность в портретах! какая кипящая жизнь в действиях!..» [2]

Спустя двенадцать лет В. Г. Белинский повторил это мнение, придав ему лаконичную, почти афористическую форму: «Романистов было много, а романов мало, и между романистами совершенно забыт их родоначальник — Нарежный» [3].

[1] И. И. Дмитриев. Соч. СПб., т. II, 1893, с. 299.

[2] Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., «Художественная литература», 1972, с. 95. В том же 1829 году высокая оценка Нарежного как романиста была дана во французском журнале критиком Ж. Шопеном: «Среди писателей, которые отдались изображению национальных нравов, Нарежный бесспорно занимает первое место» (J. Chopin. Oeuvres de V. Naréjny — Revue Encyclopédique. 1829, t. 44, p. 114—115).

[3] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, т. V, 1954, с. 564.

Бывают писатели, чья посмертная судьба прихотлива и капризна, подвержена различным колебаниям и изменениям. Репутация Нарежного оказалась на редкость устойчивой и постоянной. И литературной науке не пришлось спорить с критикой — она просто переняла некоторые ее ведущие идеи. Переняла не только мысль о Нарежном как родоначальнике русских романистов, но и сетование о том, что писатель не был по достоинству признан и оценен. Только это сетование теперь уже не ограничивалось временем Нарежного, но последовательно доводилось до того хронологического рубежа, на котором находился тот или другой автор. Так, уже в преддверии нашего века автор первой и пока самой полной монографии о Нарежном Н. Белозерская, касаясь заслуг «нашего первого по времени романиста», с горечью отмечала: «В настоящее время немало найдется образованных людей, которые едва знают о существовании Нарежного, хотя помнят имена многих современных ему более мелких и даже бездарных писателей» [1].

II

Нарежный писал не только романы, но и стихотворные произведения самых различных жанров, от басни до поэмы, драматические сцены и трагедии. В литературном наследии писателя романы выделились и возвысились как творчески самое ценное и значительное. По-видимому, и сам писатель пришел к этому выводу, сознательно самоопределившись как романист — или, во всяком случае, как прозаик — в результате своего недолгого, но достаточно бурного, исполненного превратностей жизненного пути.

Как и на многих русских интеллигентов начала XIX века, решающее воздействие на Нарежного оказали такие события, как Великая французская революция, а затем Отечественная война 1812 года. Нарежный всегда был далек от революционной идеологии; однако порожденное французской революцией вольномыслие, критическое отношение к феодальным нормам и установлениям, дух дерзостного непризнания авторитетов — все это захватило будущего писателя. Отдал он дань и тому патриотическому подъему, который пережило русское общество во время борьбы с наполеоновским нашествием. Событие это получило и прямое

[1] Н. Белозерская. Василий Трофимович Нарежный. Историко-литературный очерк. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. СПб., 1896, ч. I, с. 2.

отражение в творчестве писателя (в повести «Александр» Нарежный описывал вступление победоносных русских войск в Париж). И, как у многих русских интеллигентов, влияние этих факторов сливалось воедино. Чем выше поднималось национальное самосознание, патриотический дух, тем сильнее росло критическое неприятие государственных и общественных институтов феодальной России.

Василий Трофимович Нарежный родился в 1780 году, в местечке Устивица Миргородского уезда Полтавской губернии. Отец его, личный дворянин, в прошлом военный, корнет в отставке, владел небольшим имением, но крепостных не имел. Семья добывала хлеб собственным трудом.

Нарежный был земляком Гоголя, но родился двадцатью девятью годами раньше. Три десятка лет — срок для истории небольшой, однако для Украины это время в известном смысле оказалось переходным. Всего за пять лет до рождения Нарежного была ликвидирована Запорожская Сечь; еще живы были внуки участников походов Хмельницкого, еще можно было встретить казаков и казачек в национальной одежде; словом, самобытность этого края ощущалась еще достаточно сильно и отчетливо.

Украина заронила в Нарежном любовь к старине, интерес к народному быту и, как хорошо сказал один из первых его исследователей, «вкус к юмористическому представлению обыденной действительности». Но понадобились годы, чтобы все это нашло отражение в его творчестве.

В 1792 году Нарежный был отдан в дворянскую гимназию при Московском университете, а спустя шесть лет «произведен в студенты» того же университета. Учился он вначале на общем, подготовительном курсе, именуемом курсом «словесных наук», а потом перешел на философский факультет. Программа занятий была довольно широкой и включала в себя не только гуманитарные дисциплины (логику и метафизику, всемирную историю и географию), но и дисциплины естественные и математические.

На пороге студенческой жизни — в 1798 и 1799 годах — стал делать Нарежный первые литературные пробы, печатая свои сочинения в московских журналах «Приятное и полезное препровождение времени» и «Иппокрена, или Утехи любословия». Это были оды, басни, драматические сцены, поэмы, исторический рассказ в прозе, обнаружившие самые различные влияния, в том числе русских поэтов XVIII века (особенно Державина) и, как правило, далекие от стилистической цельности. Однако признаки самобытности уже угадывались; на стихи Нарежного в 1880 году обратил внимание такой оригинальный и филологически образо-

ванный литератор, как А. Х. Востоков;[1] а спустя семнадцать лет Кюхельбекер упомянул Нарежного наряду с Радищевым, как писателей, чьи «усилия» были направлены на обновление русского стихосложения[2].

Однако в литературных занятиях или, по крайней мере, в печатанье Нарежным своих сочинений внезапно наступил перерыв. В 1801 году по неизвестным нам причинам, выйдя из университета, Нарежный уехал на Кавказ, в Тифлис, и определился на службу в только что учрежденное Грузинское правительство, призванное управлять недавно перед тем присоединившимся к России краем. Нарежный прослужил чиновником правительства до мая 1803 года. Мотивы поступления Нарежного на столь необычную службу, равно как и почти внезапного увольнения, опять-таки неизвестны. Но с уверенностью можно сказать, что пребывание в Тифлисе имело на Нарежного двойственное влияние. С одной стороны, он оказался надолго оторванным от журналов, от литературной среды, от постоянного эстетического общения, столь необходимого для молодого писателя. Но с другой стороны, два года службы оснастили Нарежного большим запасом острых и свежих житейских впечатлений, познакомили не только с нравами и обычаями экзотического края, но и со способом действия тупой и самовластной царской администрации. Той администрации, которая в лице главнокомандующего генерал-лейтенанта Кнорринга и гражданского правителя Коваленского выказывала полное равнодушие и пренебрежение к национальным особенностям и самобытности местных народов, равно как и полное презрение к человеческому достоинству вообще. Кавказские впечатления Нарежного непосредственно отразятся в его будущем романе «Черный год, или Горские князья», а опосредованно повлияют, пожалуй, на всю его деятельность романиста, усилив ее нравоописательное и, прямо скажем, обличительное направление.

С Кавказа Нарежный направился в северную столицу, где вынужден был искать подходящего места. С осени 1803 года — он мелкий чиновник Министерства внутренних дел, а в 1807 году поступает в «Горную экспедицию Кабинета его величества», управляющую далекими Нерчинскими и Колывано-Воскресенскими заводами, и служит здесь пять лет, до 1813 года.

В это время в петербургской литературной жизни назревают

[1] «Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Императорской академии наук», т. V, вып. 2. СПб., 1873, с. X; см. также: Н. Белозерская. Указ. соч., ч. I, с. 5.

[2] В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., «Наука», 1979, с. 434.

острые дискуссии; в год приезда Нарежного в северную столицу выходит знаменитое «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» адмирала А. С. Шишкова, содействовавшее образованию двух враждебных группировок — «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса». Далекий от литературной среды, Нарежный не находит — или не хочет найти — доступа к обществам. Критическое отношение его к шишковистам и позднее будет зафиксировано в романе «Российский Жилблаз», в фигуре смешного педанта Трис-мегалоса, а также в предисловии сочинителя, но здесь же, в этом романе, высмеяны и излишества чувствительности и сентиментальности, свойственные карамзинистам.

Тем временем Нарежный вновь выходит на литературную сцену: в 1804 году в Москве отдельной книжкой выходит его трагедия «Димитрий Самозванец», написанная, вероятно, еще в студенческие годы. Произведение это, не отличающееся художественными достоинствами, в свое время приобрело некоторую известность, ставилось на сцене, а с историко-литературной точки зрения трагедия интересна тем, что обнаруживает сильное влияние «Разбойников» Шиллера. На это обратили внимание еще современники; новейшие же исследования открыли один любопытный источник шиллеризма Нарежного: переделку «Разбойников», осуществленную в 1782 году берлинским драматургом К.-М. Плюмике. В этой переделке верный Швейцер убивает Карла Моора, чтобы не отдать своего атамана в руки палачей, и такая непримиримость и бескомпромиссность финала, по свидетельству А. И. Тургенева, понравилась Нарежному. Разговор Тургенева и Нарежного происходил как раз перед написанием «Димитрия Самозванца», датированного автором 1800 годом [1].

«Димитрий Самозванец» вместе с такими ранними вещами Нарежного, как стихотворение «Освобожденная Москва», ознаменовали усилившийся в русском обществе интерес к отечественной истории. Еще отчетливее отразился этот интерес в «Славенских вечерах», первую часть которых Нарежный издал в 1809 году (вторая часть, вместе с первой, вышла уже посмертно, в 1826 г., будучи дополнена произведениями, печатавшимися отдельно в журналах). В «Вечерах» Нарежный попытался создать образ целой страны в определенную эпоху — Киевской Руси,— разумеется, образ достаточно условный и стилизованный, но пронизанный единым настроением. Сами «вечера», как обрамление, как фон к описываемым событиям, короче, как художественный прием, зна-

[1] См.: Р. Ю. Данилевский. Шиллер и становление русского романтизма.— Сб. «Ранние романтические веяния. Из истории международных связей русской литературы». Л., «Наука», 1972, с. 41.

комый Нарежному по Карамзину («Деревенские вечера», 1787), а затем перешедший к Гоголю («Вечера на хуторе близ Диканьки»), к Загоскину («Вечер на Хопре») и т. д.,— сам прием вечеров был использован для создания — и одновременно преодоления — исторической дистанции: автор любит думать о прошлом на берегах моря Варяжского, когда его окружает «сонм друзей» и «прелестных дев». И следует приглашение читателю: «При закате солнца летнего в воды тихия приходите сюда внимать моему пению. Поведаю вам о подвигах ратных предков наших и любезности дев земли Славеновой»[1] Фраза «...внимать моему *пению»* была вполне уместна, так как следовавшие затем рассказы о деяниях предков, эти ритмизированные поэмы в прозе, автор, подобно древнему барду, действительно пел или произносил речитативом. Создавался столь типичный для раннего русского романтизма сентиментальный и одновременно морализаторский тон, в котором документальность летописных свидетельств растворялась оссианистическими красками. Сказалось в «Славенских вечерах» и воздействие новооткрытого «Слова о полку Игореве».

«Славенские вечера» имели успех. Несмотря на это, Нарежный не пошел намеченной было дорогой преромантической стилизации прошлого и довольно резко сменил направление. К началу следующего десятилетия — по свидетельству Н. Греча, уже к 1812 году — Нарежным написан «Российский Жилблаз», произведение, которое открыло период его романного творчества. Увы, дебют оказался трагическим. В 1814 году, тотчас же по выходе из печати первых трех частей романа, последующие его три части были запрещены по причине предосудительности содержания. Одновременно последовало и запрещение продавать вышедшие части, что фактически означало изъятие произведения из умственной и литературной жизни.

Положение писателя оказалось сложным, чтобы не сказать двусмысленным. Он был автором большого произведения, и этого произведения как бы не существовало. О романе нельзя было писать, упоминать в печати, было поставлено под сомнение само его направление — сатирического обличения и бытописания. К тому же был нанесен удар по чисто житейскому, финансовому положению Нарежного. В 1813 году он женился и оставил службу в Горной экспедиции, полагая, видимо, что литературный труд даст ему необходимые средства. Но через год после катастрофы с «Российским Жилблазом», в 1815 году, Нарежному пришлось вновь искать службу. Он поступил в инспекторский департамент

[1] В. Нарежный. Славенские вечера. СПб., ч. I, 1826, с. I, III—IV.

(вошедший позднее в состав Главного штаба), где прослужил около пяти лет, до 1821 года.

Но несмотря на все невзгоды, Нарежный продолжает упорно работать. Отныне все его писательские устремления связаны с большой прозаической формой — с романом преимущественно. В 1818 году он передает Вольному обществу любителей российской словесности свой роман «Черный год, или Горские князья», начатый, возможно, еще до «Российского Жилблаза», вскоре после возвращения с Кавказа. Однако Вольное общество не поддержало Нарежного: шокировала стилистическая и языковая грубость, а также шутки «на щет религии и самодержавной власти» [1], и роман напечатан не был. Появился он лишь после смерти автора в 1829 году.

Спустя четыре года, в 1822 году Нарежный печатает роман «Аристион, или Перевоспитание». Через два года выходят «Новые повести В. Нарежного» и роман «Бурсак». А в следующем году, через две недели после смерти писателя, вышли его «Два Ивана, или Страсть к тяжбам». В архиве Нарежного остался еще один роман, над которым он работал в последние годы и завершить не успел,— «Гаркуша, малороссийский разбойник». Увидел свет этот роман лишь в советское время [2].

Таким образом, Вяземский, говоря о четырех романах, написанных Нарежным, уменьшил эту цифру на треть: он подразумевал «Российского Жилблаза», «Аристиона», «Бурсака» и «Двух Иванов», не зная о существовании еще «Черного года» и «Гаркуши».

В творческой биографии Нарежного бросаются в глаза некоторые общие, важные для его художественного облика черты. Нарежный был широко образован, его произведения обнаруживают воздействие самых различных источников: помимо уже упоминавшихся Шиллера, Оссиана, помимо русских писателей XVIII века, налицо его знакомство с античной литературой, с Шекспиром, с Сервантесом, Лесажем, с английским нравоописательным романом XVIII века, с немецким Просвещением, с древней русской литературой, не говоря уже о массовой романной, преимущественно лубочного характера литературе.

Но преобладающее направление, строгий стилистический отбор и обработку этих импульсов указать трудно, что имело и отрицательные, и позитивные последствия. Не раз — современни-

[1] Из отзыва рецензировавшего роман А. Е. Измайлова (см. Н. Л. Степанов. Романы В. Т. Нарежного.— В кн.: В. Т. Нарежный. Избр. соч. в 2-х томах. М., Гослитиздат, т. I, 1956, с. 22).

[2] В 1931 году в украинском переводе, вышедшем в Харькове, в издательстве «Рух», и в 1956 году в оригинале в указанном выше издании «Избранных сочинений» Нарежного.

ки, а затем исследователи обращали внимание на необработанность и грубость вкуса Нарежного. Это так, но в то же время у него была свобода и широта нетрадиционалиста, позволявшие ему не подчиняться господствующим литературным нормам.

С этим гармонировало и относительно отъединенное положение Нарежного в литературной жизни. Отъединенность эту не следует преувеличивать, но факт тот, что в окружении Нарежного крупных или даже сколько-нибудь заметных литературных имен не видно. К существующим литературным объединениям писатель также не примыкал; не только «Арзамас» или «Беседа», но даже покровительствовавшее Нарежному Вольное общество любителей российской словесности в число своих членов его не включало. По положению своему Нарежный был мелким чиновником, «связей с высшими кругами не имел и поэтому остался вдали от верхов русской литературы». «Худородный Нарежный» «должен был делиться своими литературными интересами с канцелярскими коллегами; меценатами его было также канцелярское начальство» [1].

Наконец, еще одна любопытная черта. Среди первых русских романистов бывали такие, которые походили на своих героев, как бы вырабатывая своей собственной биографией необходимый художественный материал. О Федоре Эмине, писателе XVIII века, авторе ряда романов, Карамзин заметил в «Пантеоне российских авторов»: «Самый любопытнейший из романов г. Эмина есть собственная жизнь его...» О Нарежном этого не скажешь, и все же в его жизни было немало романного. Были крутые и не вполне объяснимые переломы, непроясненные ситуации, так напоминающие тайны романического персонажа. Было и дальнее странствие, путешествие в экзотическую страну, не только предваряющее типичный для романной конструкции мотив дороги и перемены мест, но послуживший прямым поводом для одного из романов Нарежного — «Черный год, или Горские князья». Было и противодействие враждебных обстоятельств, коварная игра роковых сил, облеченных, впрочем, в конкретные фигуры цензоров и министров. Было и покровительство могущественных лиц, выручавших порою Нарежного из беды, за что он посвящал им очередное свое сочинение. Не было только одного: счастливой развязки — непременного условия тогдашней романной поэтики. Это был роман с нетрадиционным, неблагополучным концом.

Относительное признание пришло к Нарежному лишь с вы-

[1] Ю. Соколов. В. Т. Нарежный (Два очерка).— В кн.: «Беседы. Сборник общества истории литературы в Москве», I. М., 1915, с. 85.

ходом «Бурсака», буквально «под занавес», не принеся ему материального благополучия и не упрочив его общественного положения.

Обстоятельства кончины писателя, последовавшей 21 июня 1825 года, таинственны. Есть сведения, что Нарежный «был подобран пьяный в бесчувственном состоянии где-то под забором». Если это так,— указывает Н. Белозерская,— то становится понятным почти полное умолчание о его смерти газет и журналов. Только «Северная пчела» (1825, № 75) откликнулась кратким извещением, да «Московский телеграф» уже позднее, в связи с выходом «Двух Иванов», обронил глухой, но выразительный намек на «обстоятельства»: «В. Т. Нарежный, скончавшийся в июле сего года, подавал некогда большие о себе надежды. Обстоятельства — тяжелая цепь, часто угнетающая таланты, остановила и Нарежного на его поприще...» [1]

III

Конечно, титул *первый* («первый русский романист») всегда условен. У любого литературного деятеля, в котором мы видим новатора, всегда найдутся предшественники, близкие или дальние. И все же у критиков-современников, как впоследствии и у литературоведов, были основания настаивать на приоритете Нарежного как романиста. По крайней мере, романиста нового времени, стоявшего у истоков классического русского романа.

Дело в том, что в начале XIX века в русском романе происходит существенная и далеко идущая переакцентировка. Роман предшествующего века, каким он был представлен в творчестве Ф. Эмина, а также — в более низком лубочном варианте — в многочисленных полуоригинальных и открыто подражательных поделках, это был роман приключенческий, авантюрный, откровенно экзотичный. Несбыточность и мечтательность выступали почти синонимами романического. Теперь акцент передвигается на «нравы» — в современности или в прошлом. В предисловии к первому же роману «Российский Жилблаз» Нарежный объявляет свою цель — «описывать беспристрастно наши нравы». Выражение «нравоописательный роман» (наряду с «историческим романом») приобретает определенность термина. В 1836 году А. С. Пушкин констатирует: «Оригинальные романы, имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к роду нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер Скотт служили им образцами» [2]. До историче-

[1] «Московский телеграф», 1825, ч. IV, № 16, с. 346.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 406.

ского романа в собственном смысле слова (и соответственно до следования Вальтеру Скотту) Нарежный не дошел, но первая часть утверждения — о романе нравоописательном, вдохновляемом примером Лесажа — целиком к нему применима.

Переакцентировка находит отражение во внутренней полемике — в сюжете и размышлениях персонажей. В «Аристионе» и «Российском Жилблазе» Нарежный конструирует такую ситуацию, когда чтение авантюрно-лубочных романов оказывает губительное воздействие на персонажа произведения.

В «Аристионе» испорченный и легкомысленный главный герой, молодой человек, почитает такие книги, как «Полночный колокол», «Пещера смерти», «Таинства удольфские» и т. д. В «Российском Жилблазе» знакомство с «Бовой Королевичем», «Принцессой Милитрисой» и прочими подобными сочинениями сыграло не последнюю роль в том, что княгиня Дуняша оставила своего мужа и пустилась в свет, вслед за отъявленным мерзавцем и соблазнителем князем Светлозаровым. Последний случай интересен скрытым параллелизмом к «Дон-Кихоту» Сервантеса: обманутый и оставленный муж учиняет расправу над книгами («Мерзкие сочинения... да будет терпеть такие же муки во аде ваш сочинитель, как здесь поступлю я с вами...»), подобно тому как священник и цирюльник обрекают на аутодафе романы, помрачившие сознание хитроумного идальго [1]. Полного освобождения Нарежного от традиции, однако, не произошло: ниже мы увидим, как испытанные сюжетные схемы старого романа продолжали свою жизнь в новом материале, под новым покровом.

Итак, с понятием современного романа все более связывалось представление о «нравах» и «нравоописании». Но это должно было быть достаточно подробное, детализированное нравоописание (роман обычно состоял из двух и более частей) и в то же время описание широкое по охвату материала. Момент протяженности — во времени и пространстве — превращался в конструктивный фактор. Для романа мало одной сферы жизни, одного ограниченного пространства, будь то помещичья усадьба или городской особняк; необходимо было объединение этих сфер, переход из одной в другую, скажем, из столичной в провинциальную, из городской в сельскую (или наоборот). Создавался широкий

[1] Аналогичная сцена в IV части «Российского Жилблаза»: отец и брат некоего Якова, неудачливого сочинителя трагедий, учиняют расправу над произведениями, ввергнувшими его в соблазн. «Я должен был всей библиотеки братниной переводить заглавия, и при малейшем сомнении отец клал книгу в огонь, приговаривая: «Исчезни, нечистая сила!» Это откровенная реминисценция из «Дон-Кихота».

пространственный образ: в худшем случае региона, края, в лучшем — страны, государства. На романе этого периода явственно запечатлено стремление к максимально полному национальному самосознанию.

Отсюда видно, почему в начале романного развития в России такое значение приобрел роман плутовской. Западноевропейская традиция плутовского романа от анонимной «Жизни Ласарильо с Тормеса» до лесажевской «Истории Жиль Блаза из Сантильяны» и последующих произведений создала определенный тип мироощущения, противостоящий миру рыцарского романа. На смену герою, наделенному добродетелями, выступил человек недостатков и пороков — «антигерой»; рыцарские приключения заменялись рядом злоключений и проделок сомнительного свойства; место подвигов заняли махинации; мир дегероизировался, снимался с ходулей, превращался в повседневную жизнь неидеализированного, грешного человечества. Все это легко применялось к русским условиям — и к русской литературной ситуации. Ведь, с одной стороны, традиция плутовского романа противостояла лубочной героике столь популярного в России романа авантюрного (а также добродетельным персонажам в литературе Просвещения), а с другой — побуждала к нелицеприятному наблюдению и воссозданию современной жизни. Словом, в этой традиции заключался сильный стимул к нравоописанию, причем в его широком, романном выражении.

Один уже выбор плута в качестве центрального персонажа вел за собою предельное расширение всей конструкции романа. Как глубоко объяснил М. М. Бахтин, пикаро по своей природе наиболее пригоден для смены различных положений, для прохождения через различные состояния, что предоставляло ему роль сквозного героя. Далее, плут по своей психологии и, можно сказать, своей профессиональной установке наиболее близок к интимным, скрытым, темным сторонам человеческой жизни. И, наконец, в эту жизнь плут входит на правах «третьего» и (особенно если он в роли слуги) низшего существа, которого никто не стесняется и перед которым, следовательно, скрытая домашняя жизнь предстает особенно широко и откровенно [1].

Все это можно наблюдать в «Российском Жилблазе» Нарежного. С того времени, как Гаврило Симонович Чистяков, главный персонаж этого романа, оставил родную Фалалеевку, он побывал в десятке мест — и в помещичьей усадьбе, и в монастыре, и в уездном городе, и в губернском, и в Москве, и в Варшаве. Он

[1] См.: М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975, с. 275—276.

сменил множество занятий, прошел через различные состояния: находился под судом и заключался в тюрьму; был приказчиком московского купца Саввы Трифоновича; учеником «метафизика» Бибариуса; секретарем вельможи Ястребова и одновременно его Меркурием, исполнителем интимных поручений; был он и слугой двух господ — господина Ястребова и его жены одновременно. Затем — секретарем некоего Доброславова, одного из руководителей масонской ложи, и по совместительству членом этой ложи; затем — камердинером и секретарем богатого откупщика Куроумова; затем был на службе у князя Латрона, проделав путь от его привратника и тайного осведомителя до «полновесного секретаря», ближайшего помощника и советника.

Поистине он исходил всю Россию, поднимался от низших ее рядов до самых высших, если учесть, что Варшава — подцензурная замена царской столицы — Петербурга (см. об этом в комментариях к роману), что в князе Латроне угадываются черты всесильного временщика Потемкина и что, повествуя о связи Латрона с «принцессою, которая правит здесь королевством почти неограниченно» и выбирает любовников из одного тщеславия, «дабы могла сказать целой Европе: «Рекла и бысть!» — повествуя об этом, романист не остановился и перед довольно прозрачными аллюзиями на саму царицу Екатерину II.

В смысле охвата различных сфер и углов жизни, в смысле панорамности все это решительно превосходило «Пригожую повариху» М. Д. Чулкова (1770), это, впрочем, замечательное произведение, законно считающееся первым опытом русского плутовского романа и предшественником «Российского Жилблаза», в частности благодаря обстоятельству и неприкрашенному изображению отечественных нравов [1]. Но диапазон «Пригожей поварихи» заведомо предопределен тем, что это так называемый женский вариант пикарески, диктующий более ограниченный набор ситуаций (героиня лишь как проститутка, любовница или возлюбленная), хотя типаж персонажа, угол зрения — снизу верх, с позиции существа подчиненного и неполноправного — были в общем сходными и у Чулкова, и у Нарежного. В «Российском Жилблазе», кстати, более широкий охват жизни подчеркнут тем, что женский вариант плутовского романа входит сюда на правах части или, точнее, частей: по крайней мере, дважды героини рассказывают историю своей жизни — вначале Ликориса, сестра актера Хвостикова и будущая возлюбленная Гаврилы Симоновича; а затем —

[1] См.: Г. Макогоненко. Русская проза в эпоху Просвещения.— В кн.: «Русская проза XVIII века». М., «Художественная литература», 1971.

Феклуша, его жена. И эти рассказы ничем не уступают исповеди Мартоны, «пригожей поварихи»: те же продажные ласки, та же бесконечная череда переходов — от одного любовника или содержателя к другому.

Вообще многочисленные вставные рассказы, будучи по традиции необходимой принадлежностью романа, необычайно расширяют художественную перспективу «Российского Жилблаза» в одном направлении. Как правило, они дублируют жизненные перипетии заглавного персонажа, перекликаются с ними или даже их усиливают. Так, спутники Чистякова по дороге в Варшаву рассказывают свои жизненные истории, из которых каждая варьирует историю плута, пройдоха, странника, меняющего положения и профессии. Мир предстает как огромное скопище разного рода ловкачей и жуликов, ищущих легкой наживы и удачи.

Но при всех изменениях своего социального статуса Чистяков как главный персонаж остается зависимым, подчиненным, слугой — безразлично, у какого хозяина и с какими, узкими или широкими, возможностями действия. Он всегда обслуживает кого-то, знает интимные стороны жизни своего господина, видит всю подноготную, все сокровенное. И среда актеров, с которыми временами сближается не только офицер, эпизодический персонаж, но и Гаврило Симонович, вполне гармонирует с этим положением, ибо актерское амплуа отчасти близко к функции обслуживания и в то же время создает в подходе к действительности особую откровенность и свободу от условностей. Даже на закате своей карьеры Чистяков поселяется у помещика Простакова на правах друга дома, иначе говоря — приживальщика. Обостренный взгляд на домашние, непарадные жизненные отправления пронизывает все повествование.

И что же открыл этот взгляд? Всеобщее посрамление справедливости, порчу нравов, развращение — до того сильные, что никто уже не стесняется и не прибегает к сокрытию порока, к лицемерным покровам. Какая-то безудержная откровенность, предельный цинизм исповедуются персонажами романа. Князь Светлозаров, он же Головорезов, рассказывает, что главное его развлечение в детстве состояло в том, чтобы собрать слуг и велеть «им бить друг друга»; тогда он «не мог налюбоваться, видя кровь, текущую из зубов и носов, а волосы — летящие клоками». Не уступает помещикам и откупщик Куроумов, украсивший свои покои «кнутьями и пуками лоз», ибо он «слыхал, что знатные отличаются, между прочим, от других и тем, что жестоко наказывают людей своих...». Но, конечно, кульминация развращенности, подлинная вакханалия бесстыдства — это образ жизни в доме князя

Латрона. Гадинский, секретарь Латрона, дает новоприбывшему Чистякову полезные советы: «Выкинь из головы своей старинные слова, которые теперь почитаются обветшалыми и совершенно почти вышли из употребления. Слова сии суть: *добродетель, благотворительность, совесть, кротость* и прочие им подобные. Я думаю, что слова сии скоро совсем выгнаны будут из лексиконов всех языков на свете, да и дельно. Кроме сумы, ничего не наживешь с ними».

В этих саморазоблачительных исповедях и наставлениях немало, конечно, от литературы Просвещения, в частности от сатирической русской журналистики последней трети XVIII века — типа «Живописца» Новикова или «Почты духов» Крылова. Сами говорящие фамилии, открытые (Головорезов, Гадинский) или скрытые (Латрон происходит от латинского слова «разбойник»), играют роль клейма, гневно выжигаемого рукою палача-сатирика. В этой манере, отчасти напоминающей сатирическое бытописание романа А. Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» (1799—1801), где также действовали Негодяев, Развратин, Распутин, Лицемеркина и т. д.,— в этой манере было немало желчно-язвительного, хлесткого, беспощадного и прямолинейного.

Однако в романе Нарежного ощущается и другая манера. Юмор «Российского Жилблаза» довольно многоцветен, разнообразен по своей стилистической окраске и источникам. Здесь и комизм непонимания, провинциальной наивности, когда впервые попавший в Москву Гаврило Симонович никак не может приладиться к столичным нравам. Здесь и комизм одураченного простодушия, доверчивости, как в случае с добрым Простаковым, чуть было не оказавшимся на уде у князя Светлозарова (то есть Головорезова). Здесь, наконец, и тот особенно тонкий и далеко идущий комизм, который можно проиллюстрировать жалобой поступившего в актеры плута-офицера: он хотел с помощью жены-актрисы повести обеспеченное существование, а та, на беду, оказалась «настоящая Лукреция»! Аналогичный эпизод есть в лесажевском «Жиль Блазе» (возможно, Нарежный прямо им и вдохновлялся) — когда актер жалуется на свою участь: он-де женился на актрисе в надежде, что она не даст умереть ему с голоду. «И надо же, чтоб среди всех странствующих актерок нашлась одна добродетельная и чтоб она досталась именно мне». Друзья на прощанье желают актеру найти «свою супругу переменившейся и выгодно пристроенной» (кн. II, гл. IX). Именно по этому рецепту разворачиваются события в другом эпизоде романа Нарежного: брат Ликорисы, актер, сумел поправить свои дела в частности потому, что его жена «пообразумилась»: «Добрые при-

ятельницы растолковали ей, что не всегда полезно слишком много дорожить своими прелестями». Перед нами типичный комизм мира пикарески, когда порочность воспринимается как нормальное состояние, а добродетель как некое неудобство и анахронизм, от которых поскорее надо избавиться. Тут нет морального негодования, нет сатирического нажима; есть глубокая, хоть внешне непритязательная ирония.

Иные картины в романе поданы в столь неопределенном мерцающем свете, что создается впечатление о моральной нейтральности или даже безразличии. Между тем скорее перед нами жизненная сложность и многоликость. Таково изображение масонского общества благотворителей света, в которое довелось попасть Гавриле Симоновичу.

Принято говорить о резко обличительном, сатирическом направлении этого описания — и действительно, картины пьяных развратных оргий, устраиваемых под видом духовных бдений, говорят сами за себя. Но в то же время патрон этого общества, некий господин Доброславов, занят действительно какими-то благотворительными делами — по крайней мере, помогающий ему как секретарь Чистяков ни разу не имел случая в этом усомниться. И способы выманивания денег у членов общества, прожигающих те богатства, которые надлежит употребить «на вспомоществование бедному человечеству», создают нечто в роде системы филантропического мошенничества или мошеннической филантропии. При этом Доброславов и его помощник Чистяков не собираются увещевать своих жертв, освобождать их от «дурачеств» — они просто приноравливаются к порочным страстям с тем, чтобы «переменить направление их по своим видам». Благотворители света строят свою деятельность с расчетом на всеобщую и глубокую испорченность человечества, и они, как правило, не ошибаются.

В подтексте романа, несмотря на просветительские и подчас морализаторские — впрочем, умеренно морализаторские — интонации, чувствуется глубоко безотрадный, трезвый взгляд на человеческую природу. И в этом Нарежный шире традиционно-просветительской идеологии, а также предромантического, сентименталистского культа естественного развития.

Знаменательны воззрения, да и весь облик, вся жизненная история мудреца Ивана Особняка, с которым встречается Чистяков к концу своих странствий (прототипом этого персонажа считают украинского философа Григория Сковороду). Узнав, что Гаврило Симонович возвращается из Варшавы, не найдя там счастия, Особняк изливается в горьких инвективах против столичной жизни, ибо «всякий город есть море глубокое и пространное,

в нем же гадов несть числа»[1]. Можно подумать, что мудрец противопоставляет городскому разврату невинность сельской жизни: «...Разве не прекрасна природа в сельской красоте своей? Разве она скупится дарами своими?..» Но это не совсем так. Из жизнеописания Ивана выясняется, какую длинную череду разочарований уготовила ему судьба, в том числе и разочарование в деревенской гармонии. Вначале Иван, выпускник Киевской академии, понаторев в философии и богословии, читал в городе проповеди с кафедры; но успехов в насаждении добродетели не добился. Потом, вняв совету умирающего отца: «Люби красоту и избегай известности»,— решил переселиться в деревню, чтобы вступить во владение «двухсот творений, называемых крепостными». Решив, что «крепостной человек есть точно человек мне подобный», имеющий «все преимущества души и тела», новоявленный помещик обратился к крестьянам с речью, «в которой, объяснив им право их и преимущества, яко таких же человеков, просил не отягчать себя лишним повиновением моим прихотям...». Результат оказался неожиданным: «бесчинство, похабство, леность и вообще разврат воцарились в сельце моем»,— и имение пришлось отдать в опеку. Новый хозяин «тут же пересек всех, правых и виновных», посещая деревню, «всякий раз сдирал кожи с крестьян и чрез два года сделал их по-прежнему трудолюбивыми и трезвыми крестьянами». Это навело Ивана на горькие размышления: «Боже мой... Неужели такова натура человека, что одним игом гнетущим можно заставить его идти прямою дорогою!»

Побывал еще Иван снова в Киеве в роли «учителя моральной философии при тамошней академии»; говорил смелые проповеди, в которых обличал пороки и злоупотребления. Но успехов в исправлении нравов опять-таки не достиг, вызвав всеобщее озлобление и ненависть.

И вот в результате всех разочарований Иван, прозванный Особняком, то есть человеком, живущим «особо, отдельно» (В. И. Даль), решился оставить должность наставника, не оставив своих принципов честной и праведной жизни. И — странное дело! — то, чего он так добивался, пришло само собою: люди искали его совета, слушались наставлений. Не потому ли, что в моральном примере мудреца не было уже никакой обязательности, авторитарности? Да к тому же, зная человеческую природу, он уже «не требовал невозможного или даже трудного».

[1] Скрытая цитата из стихотворения И. М. Долгорукова «Парфену» (строфа XV) (сб. «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века». Л., 1959.

Нарежный не отказывается от просветительской веры в возможность совершенствования, но корректирует и умеряет ее довольно трезвым и почти безотрадным взглядом на людские слабости.

А что представляет собою главный персонаж романа? Следует помнить, что от плутовского романа еще нельзя ожидать строгой характерологии в более позднем смысле этого слова, выработанном реализмом XIX века. Цельность пикаро как характера еще проблематична; более или менее четко можно распознать лишь два момента его психологической эволюции: «пробуждение» реального понимания жизни вначале и раскаяние — моральное «воскрешение» или просто отшельничество, отдаление от мира — в конце. Между этими крайними вехами в длинной веренице переживаемых героем событий нет строгой логики и последовательности; отсюда возможность их бесконечного продолжения, «нанизывания», а также внутренней перестановки, словом, композиционная аморфность. Но если у героя плутовского романа нет определенной характерности, то есть некое общее психологическое направление, отличающееся отсутствием резкости и широтой. Он не герой зла, хотя постоянно творит зло; он скорее прагматик, приспосабливающийся к окружающим обстоятельствам,— увы, чаще дурного, чем благородного свойства. А. Галахов сказал о лесажевском Жиль Блазе: «Он, как и большинство смертных, столько же готов на честное дело, сколько и на плутни, смотря по тому, что лучше ведет к устройству благоденствия» [1]. Это в общем применимо и к «российскому Жилблазу», действующему нередко импульсивно, под влиянием минуты, способному и на великодушие, но в то же время — особенно в конце его карьеры, на службе у князя Латрона,— опускающемуся до низин подлости и бесчестия. Он жаден к впечатлениям жизни, любознателен, тянется к учению, к книгам, невольно обнаруживая в своих художественных симпатиях и знание реальности, и демократический вкус (пикаро обычно выходец из низов; Гаврило Симонович хотя и «князь», но худородный, малоимущий). Проводя целые ночи в чтении, осилив горы книг, он разочарован: «Везде ложь, фанатизм, приноровление ко времени, старание угодить большим людям».

В то же время едва ли можно сказать, что у героя плутовского романа есть какая-нибудь твердо намеченная линия, хорошо продуманная программа, кроме общего желания пробиться вверх или остаться на поверхности. В отношении Гаврилы Симоновича это особенно верно, ибо даже его уход из дома, начало странствований не вызваны какой-то определенной целью — скажем, поиска-

[1] А. Галахов. История русской словесности, древней и новой. СПб., т. II, 1868, с. 180.

ми сбежавшей жены или похищенного сына (что иногда утверждается в научной литературе). Нет, Чистяков оставляет родные места просто потому, что ему, одинокому, здесь не по себе («Сноснее страдать между людьми, не знающими тому причины, страдать под небом незнакомым...»); и если затем на жизненных дорогах он встречается и с сыном и — неоднократно — с женой, то это происходит помимо его воли, в результате стечения обстоятельств. Жизнь несет Гаврилу Симоновича, как поток — щепку.

Подобная духовная организация персонажа и вытекающая отсюда особенность действия важны именно для романа как жанра. С одной стороны, роман связан с определенным развитием личного начала — инициативы, самосознания, любовного порыва, стремления к счастью и т. д. Но с другой стороны, это начало не должно быть чрезмерным, нуждается в смягчении и, что ли, дозировке — иначе вся конструкция романа грозит быть опрокинутой. Теоретики романа на пороге XIX века неоднократно настаивали на этих ограничениях: Шеллинг в «Философии искусства» писал, что романист не должен слишком держаться за своего героя, который, открывая доступ разнообразному материалу, напоминает «перевязь вокруг целого *снопа*»;[1] Гете же (в «Годах учения Вильгельма Мейстера», кн. V, гл. 7) проводил параллель между романом и драмой: «Герою романа надо быть пассивным, действующим в малой дозе; от героя драмы требуются поступки и деяния. Грандисон, Кларисса, Памела, Векфильдский священник и даже Том Джонс — если не всегда пассивные, то во всяком случае тормозящие действие персонажи, а все события в известной мере сообразуются с их образом мыслей. В драме герой ничего с собой не сообразует, все ему противится, и он либо сдвигает и сметает препятствие со своего пути, либо становится их жертвой».

Легко понять, что все это связано с романной широтой, с тенденцией к универсальности. Что было бы, если, например, Гаврило Симонович проявил неожиданный максимализм и либо победил обстоятельства, либо стал их «жертвой»? Действие оказалось бы исчерпанным и включение в него новых сфер жизни не произошло. Способность романного героя быть сквозным персонажем есть в то же время его проницаемость для все нового и нового материала. Тип плута, пикаро оказался для этой цели одним из самых приспособленных.

В романе Нарежного наблюдается даже избыток — и немалый — событийности и действия; впрочем, это уже связано не столько с природой главного персонажа, сколько с известной при-

[1] В.-Ф. Шеллинг. Философия искусства. М., «Мысль», 1966, с. 382.

верженностью автора к рамкам старого романа — того жанра, для которого романическое было синонимом заведомо несбыточного и сказочного. Смело раздвигая эти рамки с помощью нравоописания, местного бытового и социального колорита, Нарежный нередко оставался им верным в конструировании интриги и ведения действия. Конечно, тайна происхождения персонажа, похищение ребенка, неожиданные встречи и т. д.— все это были довольно обычные ходы, заимствованные нравоописательным и реальным романом у романа авантюрного; однако Нарежный явно перебарщивает по части этих ходов, нагромождая их один на другой и оснащая весьма искусственной мотивировкой (таковы, например, довольно запутанные мотивы похищения Никандра богатым Причудиным). Нарежный, как хорошо сказал А. Галахов, не сумел полностью выйти из-под «влияния сказочной настроенности». «Он переменил сцену действия, выбрав для нее Россию, вместо чужих земель: это делает ему честь; но, при замечательном своем даровании, он еще не покинул обычая придумывать действие похитрее и запутаннее» [1].

Не вышел Нарежный до конца и из-под «настроенности» другой: сентиментально-нормативного свойства. Плутовской роман, мы говорили, самим духом своим был направлен против традиционно добродетельного героя (противопоставляя ему антигероя); тем не менее некий остаток нормативности сохранился в художественном мире «Российского Жилблаза». Сохранился в лице Чистякова-младшего, Никандра, корректирующего своим жизнеописанием судьбу Гаврилы Симоновича. И Никандру довелось познать изнанку жизни, входить в чужие дома на правах «третьего», то есть или слуги, или помощника художника Ходулькина, или ученика метафизика Трис-мегалоса, но все это для того, чтобы показать образец добродетели, совершить подвиги, напоминающие рыцарские (спасение Наташи от злодеев), а главное — чтобы, пройдя через искусы страсти и соблазна, сохранить верность своей возлюбленной Елизавете.

Историю своей жизни рассказывает сам главный персонаж, Гаврило Симонович. Это в традициях плутовского романа, извлекающего из личной формы повествования, Ich-Erzählung, психологический и нравственный эффект. Ведь возникает «напряжение между *я* как аморально действующим плутом и как морально рефлектирующим рассказчиком» [2]. «Тогда» и «теперь» постоянно

[1] А. Галахов. Указ. соч., с. 178.

[2] Jurij Striedter. Der Schelmenroman in Russland. Ein Beitrag zur Geschichte des russischen Romans vor Gogol. Berlin. 1961, S. 19.

сталкиваются, особенно часто в рассказе о службе Чистякова у князя Латрона, ибо мы знаем, что это апогей нравственного растления антигероя. «Не понимаю сам, отчего совесть в то время меня не беспокоила! О, сила примеров и разврата! Как мог я не содрогнуться, жертвуя невинностью доброй девицы? Не я ли был виною ее погибели? Теперь я так думаю, но тогда!..» Ретроспективная точка зрения рождает и особую откровенность, доверительность персонажа; ведь ему уже нечего скрывать, он — «другой» и поэтому судит о себе в прошлом без боязни и обиняков. Словом, повторяю, это в традициях жанра пикарески.

Тем не менее Нарежный не остался им во всем верен, объединив личную форму рассказа от лица Чистякова с авторским повествованием, обнимающим главным образом события жизни Простакова и его семейства. Художественные мотивы объединения очевидны: автор хотел, что ли, преодолеть точку зрения плута, дать более широкую художественную перспективу, подобно тому, как это сделал позднее Гоголь, чьи «Мертвые души» рассказаны в перспективе не центрального персонажа, а повествователя. Однако не менее очевидно, что заметного успеха Нарежный не добился: обе линии соединены довольно механистично, и через повествовательную ткань романа проходит нечто вроде шва, который виден и в событийной его части — в соединении ситуаций, событий, аксессуаров реального быта с традиционными романными ходами и схемами.

IV

В произведениях, опубликованных (или предложенных к опубликованию) после «Российского Жилблаза», Нарежным испробованы другие возможности романного творчества.

«Черный год, или Горские князья» представляет собою сложный жанровый сплав: здесь традиции и плутовского романа, и романа воспитания, или, точнее, перевоспитания (речь идет о перевоспитании главного персонажа осетинского князя Кайтука), и романа политического (правда, в несколько сниженной, травестированной форме), и, наконец, романа авантюрного, романа с приключением.

Вместе с тем это роман восточный — качество, приобретающее у Нарежного довольно разнообразные оттенки. С одной стороны, это экзотика, восточная яркость и необычность, даже условность. Однако условность не абсолютная; Нарежный, в отличие, скажем, от Крылова, автора «Каиба», описывает Восток по личным

впечатлениям [1], и он настаивает на подлинности экзотического колорита.

С другой стороны, в само понятие восточного колорита и восточной специфики Нарежный вводит моменты иронии. Постоянно проводятся параллели между восточным и европейским: «Советники мои, по примеру азиатских, а может быть и *европейских* советников, потупили глаза долу...» Таких аналогий очень много. Да и само имя героя — князь Кайтук двадцать пятый — возникло из его «довольного знания в *европейской* науке — политике», ибо «там положено непременным правилом, чтобы владетельные лица в одной земле различались между собою счетом, следуя порядку вступления в управление своею областью». Довольно рискованная параллель, если вспомнить, что и в России владетельные лица «различались между собою счетом»!

Тем не менее было бы неверно считать, что восточные одежды и восточный колорит — это нечто вроде аллегорического покрова. Для романа Нарежного понятие аллегории уже узкое. Помимо довольно заметной степени этнографизма, пусть еще условного, во многом беллетризированного, но все же обличающего порою живые проблески местного колорита,— помимо этого, понятие «восточного» важно и в другом смысле. Кажется, еще не отмечено в нашей науке, что Нарежный — один из первых, кто придал этому понятию политический смысл; словом, кто стоял у истоков традиции, подхваченной затем демократической критикой, особенно Белинским. Под этим понятием подразумевалось все отсталое, косное, невежественное, бесчеловечное, жестокое. «Как скоро победим — я дозволю вам целые три часа грабить княжество,— говорит Кайтук XXV воинам,— делать, кому заблагорассудится, насилия, а старых и молодых брать в плен... Посудите, храбрые люди, сколько вдруг предстоит вам выгод!» Это вызывает в памяти слова Белинского о том, что для азиатского деспота «ценность человеческой крови... нисколько не выше крови домашних

[1] Время написания романа точно неизвестно. Ряд исследователей (Ю. Соколов, Н. Степанов, Е. Соллертинский) считают, что роман написан одновременно или после «Российского Жилблаза». Но существует мнение, что роман написан на Кавказе или вскоре по возвращении Нарежного в Петербург, то есть еще до «Российского Жилблаза» (Н. Белозерская, В. Шадури, В. Комбай). Об этом свидетельствует, как считает Н. Белозерская, «живость отдельных сцен и характеристик», «множество местных выражений и этнографических подробностей, которые не могли целыми годами удержаться в его памяти, при непрерывной литературной деятельности» (Н. Белозерская. Указ. соч., ч. 2, с. 56). Возможно, это так. Однако едва ли Нарежный, передавая роман в 1818 году для опубликования, отказался от его доработки.

животных»[1]. Обозначение «азиатское», «восточное» не заключает в себе ничего национально-оскорбительного, ибо оно берется типологически — как обозначение устаревших сфер жизни. Восточные начала жизни есть и в России, и в западноевропейских странах, где они подлежат скорейшему устранению и преодолению.

В духе философской повести XVIII века Нарежный нередко взирает на устаревшие формы жизни с некой наивной точки зрения. Собственно, есть различные виды наивности; один вид — это точка зрения здравого рассудка, свободного от ложного опыта, предубеждений и т. д. Такова точка зрения Простодушного в одноименной повести Вольтера, Амазана в его же «Царевне вавилонской» — людей, взирающих на извращенные европейские нравы и порядки со стороны и просто не понимающих их смысла. Другой вид — это наивность деспота, не сомневающегося в своей правоте и не допускающего возможности действовать иначе. Вспомним начало «Каиба» Крылова: государю понравилась похвала стихотворца, и он за это пожаловал его в евнухи. В «Черном годе» наивность этого рода, пожалуй, занимает главное место, воплощаясь подчас в замечательно смелые образы.

Таков образ нагайки. Оказывается, приближенные князя Кайтука учредили Орден Нагайки, со своим подробным уставом. Награжденный этим орденом получает «дюжину полновесных ударов нагайкою», после чего именуется «действительным членом ордена»; одновременно он вносит в княжескую казну десять денежных единиц, юзлуков, дабы князь «для чужой чести» не терпел напрасных убытков. Эта статья особенно понравилась Кайтуку, велевшему дополнить ее новой статьей: «Князь властен жаловать одного и того же человека кавалером столько раз, сколько государственная польза того потребует». Потом, когда понадобились деньги для войны, было решено лишить орденов старых кавалеров, «дабы через два часа опять раздавать оные и получить подать... Так должна судить здравая политика, и так она всегда судила». Не правда ли, блестящий образ, предвосхищающий сатиру Щедрина?

Значительно проще по своей интриге, по своему строению следующий роман Нарежного — «Аристион, или Перевоспитание». Определеннее он и по своему жанру: если в «Черном годе» моменты воспитания остаются не больше чем моментами, то здесь они обусловливают саму жанровую основу, о чем напоминает вторая часть заглавия («...или Перевоспитание»).

Упоминаемые в тексте «Аристиона» литературные примеры играют роль жанровых сигналов, ведущих полностью или пре-

[1] В. Г. Белинский. Указ. соч., т. V, с. 99.

имущественно к роману воспитания. Лубочной романной беллетристике, которую некогда бездумно почитал заглавный персонаж, противостоят достойные образцы, книги, которые читают в просвещенном семействе: это Филдинг, Виланд — можно думать, как автор «Истории Агатона» (1765), первого воспитательного романа в европейской литературе,— и особенно «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо (1761), где сформулировано положение: «...Люди не бывают такими или сякими сами по себе,— они таковы, какими их сделали».

Но как роман воспитания «Аристион» имеет характерное отличие от европейского. В «Истории Агатона», так же как в классическом образце этого жанра гетевском «Вильгельме Мейстере» (чья первая часть «Ученические годы Вильгельма Мейстера» вышла в 1795—1796 гг., но, видимо, осталась незнакомой Нарежному), речь идет о развитии, о воспитании передового человека, находящегося на гребне исторической волны, вступающего в контакт с духовными силами эпохи. Персонаж романа Нарежного — обычный, почти массовидный человек, не отличающийся сильными дарованиями; к тому же уже испорченный, зараженный пороками времени. Его развитие начинается с искоренения пороков, с вытравления ложных понятий и привычек — это не воспитание, а именно *пере*воспитание.

Сын отставного бригадира, живущего на Украине, Аристион не чужд добрых движений души, отличается храбростью; довелось ему даже участвовать в Альпийском походе вместе с «бессмертным Суворовым». Но, поселившись затем в Петербурге, Аристион погряз в бездеятельности и разврате. Описание жизни столичной «золотой» молодежи полно острых комических деталей. Здесь вновь возникает наивная точка зрения — на этот раз наивность светского гедонизма: выключенный из службы за ничегонеделание, Аристион искренне недоумевает: «Справедливо ли... заслуженного офицера изгонять из службы за то, что он какие-нибудь полгода по домашним обстоятельствам не мог быть у должности?» Порою же наивность Аристиона приобретает угрожающие очертания. Чтобы добыть денег для любовницы, он готов отдать под залог нескольких своих крепостных, включая преданного ему душою и телом старого дядьку Макара. От долгов, от расстроенной жизни Аристион бежит в отеческие края, под кров давно забытых им родителей, черты коих ему столь же неизвестны, «как бы ехал он представляться султану турецкому».

Таков уровень, с которого начинается движение Аристиона вверх, его перевоспитание. Для этого нужны подходящие условия, благоприятная среда, представляемая Аристиону имением некоего пана Горгония (согласно сообщаемой Аристиону версии,

его родители умерли и все их имущество перешло к упомянутому пану).

В философской повести, в романе XVIII — начала XIX века нередко возникали своеобразные утопические островки — будь то владения какого-то помещика или даже целые области и страны,— островки, в которых господствуют иные, приближающиеся к идеальным узаконения и нормы. Такова страна Эльдорадо в «Кандиде», империя киммерийцев (то есть Россия) в «Царевне вавилонской», Кларан в «Новой Элоизе», Братское общество провинциальных дворян в «Рыцаре нашего времени» Карамзина и т. д. Роль утопического островка, «идеального поместья, рассадника мудрости и добродетели» [1], достается и на долю имения Горгония, а также соседнего дома некой Зинаиды. Здесь Аристион находит обитель справедливости, умеренности, красоты, высокой культуры и вкуса. Людмила (рекомендуемая как дочь Зинаиды) поет на разных языках, в том числе и на итальянском, играет на «арфе, таком инструменте, который приличен и девицам самого знатного рода», обнаруживает «довольное познание в ботанике». Отчетливо звучит и руссоистский мотив естественности простой сельской жизни (пожалуй, даже без тех сложных обертонов, которые мы отмечали в «Российском Жилблазе»), противопоставленной городской и светской испорченности. Подобно Вольмарам, владельцам Кларана, Зинаида сумела сделать крестьян трудолюбивыми, уберечь их от пороков «больших городов»,— и вот уже под воздействием увиденной им сельской гармонии Аристион пишет сочинение, в котором «прославлял... блаженство мудрого, отрекшегося от сует превратного света...».

Однако для перевоспитания Аристиона недостаточно было утопического островка — надобился еще эксперимент, основанный на мистификации. Ведь оказалось, что Горгоний не кто другой, как его мнимо скончавшийся отец, Зинаида — его мнимо скончавшаяся мать, друг Горгония Кассиан — граф Родион, отец Людмилы. Все они, сговорившись, проводят Аристиона через «испытание» (так называется одна из глав), заставляют его избавляться от «прежних заблуждений», устраивают его судьбу, соединяя с достойной избранницей. Не только Горгоний выращивает из Аристиона примерного сына и гражданина, но и его мать София (то есть мнимая Зинаида) выращивает из Людмилы примерную супругу своему сыну.

Вообще-то случай, когда персонажу оказывает покровительство кто-то более опытный и сильный, характерен для романа того

[1] В. Переверзев. В. Т. Нарежный и его творчество.— В кн.: В. Т. Нарежный. Избранные романы, Academia, 1933, с. 38.

времени: вспомним «Векфильдского священника» Голдсмита, где добродетельный Уильям Торнхилл скрывается до поры до времени под чужим именем, чтобы быть ангелом-хранителем притесняемых. Нужно некое вмешательство извне, мудрое наставничество, чтобы устранить несправедливость или перевоспитать порочного — еще одно проявление утопического момента, наряду с конструированием идеальной ситуации, примерного островка. Нарежный поступает в этом отношении в согласии с духом времени, однако чересчур уж прямолинейно. Даже не искушенная в требовании правдоподобия тогдашняя критика усомнилась в том, чтобы Аристион мог больше года верить в мистификацию, в которую, помимо его родных, друзей, слуг, дядьки Макара, были втянуты еще все окрестные дворяне, ибо им было приказано паном Горгонием (отцом Аристиона) «считать меня и жену мою в числе мертвых, пока не заблагорассудится нам воскреснуть».

В романе Нарежного есть образ, хорошо передающий специфику проводимого здесь воспитания — его экспериментальность и искусственность,— это образ сада. Уже отмечалось, что образ сада может иметь различные художественные и эстетические функции[1]. В «Аристионе» Кассиан начинает свои уроки воспитания, даваемые главному персонажу, в саду; в садовой беседке, «простой, но красивой», «окруженной розовыми кустами в полном цвете», встречает Аристион Людмилу; затем он осматривает сад, и «мать» Людмилы говорит ей: «Знаешь ли, как Аристиону понравился сад наш и особенно цветник твоего собственного распоряжения».

Описание сада в «Аристионе» возникло, возможно, не без влияния соответствующих страниц «Новой Элоизы», но соотношение между обоими образами такое же, как между глубокими, таящими в себе неожиданные осложнения страстями Юлии или Сен-Пре и причесанными, отрегулированными эмоциями персонажей Нарежного. Элизиум в «Новой Элоизе» — это дикий, свободный уголок, которому рука Юлии дала возможность нескованного развития («все сделала природа под моим руководством»). Сад же Людмилы — это цветник, и цветы она не выращивает, а *«воспитывает»*. Красноречивая параллель к оранжерейному воспитанию самого Аристиона!

По сравнению с первым романом Нарежного, да и с «Черным годом», Аристион производит впечатление большей упорядоченности — причем не только упорядоченности формы. Автор «Российского Жилблаза» довольно решительно обнажал противоречия,

[1] См.: Д. С. Лихачев. Литература — реальность — литература. Л., «Советский писатель», 1981, гл. «Сады Лицея».

в том числе противоречия просветительства, оставляя их открытыми (вспомним неудачи Ивана Особняка). Едва ли он теперь разучился их видеть; но противоречия словно загнаны в глубь «Аристиона», приглушены, нейтрализованы универсальной воспитательной программой. Эта программа состоит в нарочитой умеренности и спокойной разумности; неслучайно и внешность Горгония дышит гармонией и согласованностью черт. От всего умеет Горгоний брать ровно столько, сколько нужно для пользы. Учителями, приставленными к Аристиону, оказались Евфросион и Полихроний, хвастуны и схоласты; последний даже вызывает в памяти (как гласит авторская ремарка) фонвизинского Кутейкина. Но это не пугает Горгония, считающего, что механическая ученость этих наставников может быть обращена во благо, если соединить ее с пониманием сути вещей, с истинным просвещением. Но почему просвещение в иных случаях ведет к пагубным последствиям, «утончает в людях разврат, увеличивает бедствия и заставляет добродетель себя самой стыдиться и даже бояться»? Роман лишь слегка касается этого вопроса, не собираясь его заострять или драматизировать.

Еще один пример обдуманной осторожности идеального воспитателя. Девиз Горгония — «делай добро всем, но веди знакомство с равными себе». Хотя бы для того, чтобы не причинять людям, стоящим на более низкой социальной ступени, излишних забот, не нарушать их образа жизни. И Горгоний занимается филантропией неузнанный, у него ряд помощников, продуманная система средств. Взрывать сложившийся стереотип отношений, побуждать людей «переменять свое сословие» Горгоний, во избежание худшего, не собирается (в этом он напоминает Вольмара).

В рамках проводимого воспитательного эксперимента следует поездка Аристиона и Кассиана по окрестным помещикам, знакомство с панами Сильвестром, Тарахом, Парамоном и Германом. Это маленький роман путешествия, в пределах большого романа; в это же время это и воспитание на наглядных примерах, преимущественно негативных; ведь живой образ, говорит Горгоний, оставит «такие впечатления, какие не всегда родит и хорошая проповедь».

Один наглядный пример красноречивее другого. Пан Сильвестр (от *лат.* silva — лесной, дикий) — страстный охотник, приведший в запустение все свое хозяйство. Пан Тарах — скряга, скупец, который вредит сам себе; уже обращалось внимание, что реплика одного из слуг пана Тараха — «у нас и годовая корка хлеба хранится под замком» — предвосхищает знаменитый

залежалый сухарь Плюшкина[1]. Пан Парамон — страстный игрок, кутила. Словом, «перед читателем, как и в «Мертвых душах» Гоголя, хотя еще в *грубом, необработанном* виде, выступают самобытные типы, или, вернее, смело очерченные наброски типов тогдашних помещиков, с их семейной и домашней обстановкой, нравами и привычками»[2].

Предвосхищение Гоголя выражается и в самом способе подачи материала — в своеобразной панорамности, когда каждый из помещиков (панов), как в галерее, следует один за другим; в повторяющихся моментах характерологии: вначале некая предварительная информация о хозяине, которую мы получаем, например, из реплик крестьян; затем встреча с самим паном; затем, по уходе от него, обсуждение гостями (Аристионом и Кассианом) нового знакомца и представляемого им явления. При этом возможны и перекрестные характеристики, когда тот или другой персонаж (как у Гоголя) сравнивает себя с соседом. Например, Парамон говорит: «Люблю жить весело, что пользы и удовольствия проводить свое время так, как провожают соседи мои, Сильвестр и Тарах...» Вспомним реплику Собакевича: «У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха».

V

В последних романах Нарежного — «Бурсаке», «Двух Иванах», «Гаркуше, малороссийском разбойнике», а также в таких произведениях из сборника «Новые повести», как «Запорожец» и «Богатый бедняк»,— на первый план выходит украинская тема, украинский материал. Конечно, и раньше писатель в большой мере опирался на близкую ему с детства почву; Украина была отчасти местом действия «Российского Жилблаза». Но там украинский материал фигурировал еще на правах общероссийского; акценты на национальной специфике еще не возникли. Эти акценты начинаешь ощущать в «Аристионе» (в украинских главах) и особенно явственно в произведениях, начиная с «Бурсака». Достаточно обратить внимание на характер многочисленных авторских

[1] В. Данилов. Земляк и предтеча Гоголя. Отдельный оттиск из журнала «Киевская старина», Киев, 1906, с. 11—12. А. Галахов считал, что портрет пана Тараха «особенно замечателен»; он представляет «фамильное сходство с Гарпагоном великорусским, художественно представленным в лице Плюшкина» (А. Галахов. Указ. соч., ч. II, с. 183).

[2] Н. Белозерская. Указ. соч., ч. 2, с. 106.

подстрочных примечаний: они поясняют, что такое праздник Ивана Купала и как он отмечается; кто такие вовкулаки; что такое курень; как бреются малороссийские крестьяне и т. д. Словом, налицо определенный этнографизм текста, уже проявившийся несколько ранее, в «Черном годе», по отношению к кавказскому материалу. Теперь в гораздо более сильном и, надо добавить, более естественном, подлинном виде, возник этнографизм украинской темы.

Для того чтобы возник этот акцент, понадобилось изменение общественной атмосферы. На рубеже второго и третьего десятилетия прошлого века обостряется интерес ко «всему малороссийскому» (выражение Гоголя). В 1818 году выходит «Грамматика малороссийского наречия» А. П. Павловского; годом позже — «Опыт собрания старинных малороссийских песен» Н. А. Цертелева; в том же году при участии М. С. Щепкина поставлены пьесы И. П. Котляревского «Наталка Полтавка» и «Москаль-чарівник», положившие начало новой украинской драматургии. В этом широком процессе совместились социальные импульсы и эстетические, региональные и общероссийские. Ведь, с одной стороны, интерес ко «всему малороссийскому» отвечал растущему национальному самосознанию украинцев, а с другой — вливался в общеромантическое движение русской литературы к своим народным истокам, к народной специфике, к фольклору, к исконному славянскому быту и т. д. При этом постепенно преодолевалась идилличность представлений об Украине, свойственная, скажем, Шаликову; Украина вставала со всеми своими противоречиями — социальными, нравственными и т. д.

Для формирования русского романа все это получало дополнительный, принципиальный смысл. Вяземский, говоря о трудности написания русского романа, прибавлял: «...правда, автор наш наблюдатель не совершенно русский, а малороссийский»;[1] упоминание «малороссийского» фигурирует здесь как некое благоприятное, облегчающее обстоятельство. Дело в том, что предпосылкой романа как жанра служила сама *определенность* нравов, и ею-то, по общепринятому мнению, обладала украинская жизнь. Рецензент «Сына отечества» (кстати, именно в связи с «Бурсаком») писал, что заслуживают «особенного внимания черты малороссийского быту и старинных обычаев того края», которые «исчезают *под шлифовкою* общего просвещения»[2]. Н. И. Надеждин отмечал, что для русских писателей «Малороссия естественно должна была сделаться заветным ковчегом,

[1] «Московский телеграф», 1825, ч. VI, № XXII, с. 182—183.
[2] «Сын отечества», 1824, ч. 97, с. 38.

в коем сохраняются живейшие черты славянской физиономии и лучшие воспоминания славянской жизни» [1].

Украинский материал был «свой» и в то же время «не свой»; возникал тот эффект преломления, который проливает на всё знакомое необычный и новый свет и на современном языке называется остранением. Метафорическое и несколько странное выражение Вяземского об «*оконечностях* живописных» очень наглядно: перед нами как бы резкие и живописные очертания материка, увиденные с птичьего полета, притом материка окраинного — Украины.

Но для романа нужна не только живописность сферы, но и ее достаточно широкая протяженность; нужен широкий и разнообразный пространственный образ. И в этом отношении украинский материал был весьма подходящий. Относительно позднее введение крепостного права, существование Запорожской Сечи вплоть до 1775 года — все это создавало ту нескованность и хаотичность общественного бытия, которые мотивировали передвижение сквозного героя, смену им различных состояний, вхождение его в различные области жизни. Словом, создавали столь необходимые условия романного действа.

Все это проявилось в «Бурсаке». Роман выдержан в личной форме повествования — от лица центрального героя, Неона Хлопотинского, сына (как потом выяснилось — приемного) дьячка Варуха. Проходя через разнообразные переделки и приключения, пробиваясь снизу вверх, Неон повторяет путь героя пикарески; но по колоритности и своеобразию своего характера он представляет собою нечто новое, превосходя и Гаврилу Симоновича, и других сквозных героев прежних романов Нарежного. Жизненную силу этот образ получает от украинских источников, литературных и фольклорных в том числе.

Давно отмечена связь его с типом бурсака или школьника-семинариста, одного из распространенных персонажей украинской литературы, например, интерлюдий. Это простоватый, наивный и незлобивый человек, «пиворез» да и вообще охотник до всего скоромного. Порою же он впадает в семинарскую спесь и не прочь покичиться своею ученостью. Все эти черты есть и у Неона, человека добродушного и наивного. Один из источников комизма в том, что о вещах вполне обычных и естественных Неон пытается говорить выспренним слогом схоластической учености, попадая впросак и вызывая насмешки собеседников.

[1] Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., «Художественная литература», 1972, с. 281.

Что же касается описания нравов и привычек бурсаков, образа жизни в бурсе (под бурсой здесь понимается общежитие для бедных иногородних семинаристов), то эти страницы принадлежат к лучшему, что создало перо Нарежного. Эта ватага вечно голодных пронырливых подростков, добывающих пропитание то пением духовных песен и произнесением речей, то набегами на чужие огороды и сады, готовых на любые проделки, стоически сносящих наказания и побои, изображена столь колоритно, так запечатлелась в памяти, что критика, едва только вышел гоголевский «Миргород», тотчас увидела преемственность между картинами бурсы в «Вие» и в романе Нарежного.

Еще до Гоголя Нарежный вполне оценил и те возможности комического, которые вытекали из изысканной древнеримской номенклатуры бурсы. Здесь есть менторы, консул, сенат; следовательно, «почтенное сословие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим». Значит, и Рим не что иное, как большая бурса... Оценил Нарежный и те возможности комического, которые вытекают из столкновения наивного, неискушенного сознания со сложившейся системой школьных узаконений и правил. Такой тип сознания на первых порах воплощает Неон, который никак не может взять в толк, почему его бьют и за прилежание, и за леность, и просто так; который готов лучше оставить «надежду быть когда-либо дьяконом, чем беспрестанно пробовать на себе действие лопаток учительских или крапивных прутьев от каких-то ликторов».

Персонаж подобного душевного склада, поступающий импульсивно, подчас смело и самоотверженно, но вместе с тем обходящий препятствия, если они кажутся непреодолимыми, уступающий давлению обстоятельства,— такой персонаж был весьма подходящим для того, чтобы и проявлять свой личный почин, и в то же время действовать «в малой дозе» (Гете) — словом, для того, чтобы стать сквозным романным героем. И писатель ведет своего героя через разнообразные положения и ситуации — из переяславской семинарии в родное село Хлопоты, и в имение помещика Истукария, где он исполняет обязанности учителя, и в столицу украинского гетмана Батурин, и в стан разбойников, и на поле боя, и в Запорожскую Сечь... Возникает роман странствий, большой дороги, роман путешествия, какими были и «Российский Жилблаз», и «Черный год», и отчасти даже «Аристион»: момент путешествия определял ранние стадии формирования романного жанра и легко объединялся с другими разновидностями жанра, например с романом плутовским.

Но в «Бурсаке» есть и новое: романист не только ведет своего героя через различные сферы жизни, но и конкретизирует этот

путь с помощью некоторых исторических ориентиров. «В сие время начали колебаться умы от политической заразы. Сперва тайно, а потом и явно начали говорить на базарах, в шинках и в классах семинарии, что гетман принял твердое решение со всею Малороссиею отторгнуться от иноплеменного владычества Польши и поддаться царю русскому». Так намечается исторический ключ романа, объединяющий вымышленные частные события и вымышленного частного героя с событиями реальными и историческими — в данном случае воссоединением Украины с Россией.

На таком объединении строилась архитектоника романов Вальтера Скотта; однако несмотря на то, что имя основателя исторического романа к этому времени уже было известно в России и появились переводы нескольких его романов, произведение Нарежного еще нельзя отнести к собственно исторической романистике. Слишком условна, неисторична фигура гетмана Никодима, в котором лишь при большом усилии можно увидеть Богдана Хмельницкого (как это сделала Н. Белозерская); слишком условен, неподлинен ход описываемых событий, да и сама связь вымышленного персонажа с исторической основой — эта квинтэссенция вальтер-скоттовского романа — слишком искусственна и непрочна. При всем том в романе Нарежного неоспоримо достоинство ряда исторических описаний и сцен, например, торжества в Батурине по случаю дня рождения гетмана, обеда в гетманских покоях и особенно описания Запорожской Сечи, «сей чудовищной столицы» «свободы, равенства и бесчиния всякого рода». Если прибавить к этому еще детали из «Двух Иванов», характеризующие атмосферу Запорожской Сечи, а также сцену встречи атамана Авенира в повести «Запорожец», то убеждаешься в правильности высказанной еще в дореволюционном литературоведении мысли, что и историческим колоритом своих произведений Нарежный подготовил появление Гоголя, и что картины жизни старой Украины в «Бурсаке» или «Запорожце» проложили дорогу «Тарасу Бульбе».

Что же касается действия «Бурсака», то по мере его развития оно все более и более приобретало авантюрный оборот, как это обычно бывало в русских романах XVIII века.

Включаются такие испытанные романные приемы, как тайна происхождения героя (Неон оказывается внуком самого гетмана Никодима), похищения и тайного бегства в нескольких вариантах (дочь Никодима тайно обвенчалась с Леонидом, а их сын Неон тайно обвенчался с дочерью Истукария Неониллою); затем еще следует таинственное покровительство со стороны других персонажей (казака Короля или шута Куфия), как потом выясняется,

проистекающее из соображений родства или старинной дружеской приязни. И цельность характера главного персонажа постепенно размывается, ибо такой характер должен стать пригодным для нанизывания неограниченного количества авантюрных происшествий, для избыточности и известной самодостаточности действия. Как и в других романах Нарежного, в «Бурсаке» довольно заметен шов между ситуациями и сценами реального быта и традиционными беллетристическими схемами.

В другом произведении из украинской жизни — «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» — бытовая и реальная специфика проявилась еще более неожиданно, дерзко. Уже одно то, что Нарежный сумел оценить романические возможности такого явления, как сутяжничество, свидетельствует о его замечательной художественной проницательности. Исследователь Нарежного, говоря о «Двух Иванах», заметил: «Эта страсть к тяжбам и одновременно к самоуправству была, при условиях тогдашней дворянской жизни, некультурным проявлением самостоятельности в поступках и мнениях, проявлением энергии, уродливо развитой царящим вокруг произволом» [1]. Вывод неожиданный, но верный, а применительно к роману верный вдвойне! Ведь «страсть к тяжбам» создавала то необходимое, пусть уродливое, проявление личного почина, личного начала, которые должны были питать романное действо. Эта страсть была достаточно своекорыстна и прагматична, чтобы считаться с обстоятельствами; была не столь могущественна, чтобы избежать влияния других сил, прежде всего встречной страсти к сутяжничеству со стороны противника; словом, она поневоле проявлялась «в малой дозе», наталкивалась на всевозможные препятствия и осложнения, столь необходимые для полного раскрытия романной специфики.

Но обратим внимание — романные мотивы подвергаются травестированию, причем двойному. Одна из глав романа (ч. II, гл. 1) носит название «Дон Кишот в своем роде». Подразумевается пан Харитон, обуреваемый жаждой отомстить своим противникам, двум Иванам, выезжающий из родного села Горбыли в Полтаву верхом на лошади, подобно Рыцарю Печального Образа. В следующей главе пан Харитон нападает на ветряные мельницы, поджигает их, однако вовсе не потому, что принимает их за великанов, а потому что хочет нанести ущерб собственности своих врагов. Роман Сервантеса снижал мотивы рыцарского эпоса; произведение Нарежного снижало уже «сниженные» мотивы «Дон-Кихота»... Современный Дон-Кихот отправляется в путь не для

[1] Н. Котляревский. Николай Васильевич Гоголь, 1829—1842, четвертое, исправленное издание. Пг., 1915, с. 61.

того, чтобы «сражаться», а для того, чтобы судиться («позываться») и чинить пакости.

Из произведений Нарежного «Два Ивана» в наибольшей мере воплощают принципы комического романа нового времени. Его основной материал — повседневные заботы, ссоры, дрязги, проявления недоброжелательства, зависти, словом, мелочи жизни. Между тем эти мелочи не только наполняют все бытие человека, но подчас приводят к последствиям весьма печальным, рождают, как говорил Гоголь в «Старосветских помещиках», «великие события». Возникает иронический контраст существующего и должного, который обычно передается авторским повествованием («Два Ивана» — второй роман, после «Аристиона», рассказанный в перспективе автора),— например, подчеркнуто серьезным, деловым описанием поступков, заведомо ничтожных или низких. Таково упоминавшееся уже описание поджога паном Харитоном мельницы, которое «по общему тону напоминает уничтожение гусиного хлева в повести Гоголя о ссоре Перерепенко с Довгочхуном» [1]. Широко использованы Нарежным и комические возможности канцелярских хитросплетений, невозмутимая казуистика жалобы, позыва, переданная как в авторском изложении, косвенно (начало 7-й главы 1-й части), так и прямым образом, судебным «документом» (определение сотенной канцелярии в следующей главе). Все это также предвосхищает Гоголя — вспомним прошения Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича в миргородский суд.

Между тем комическая фабула соединена в романе с серьезной — отчасти чувствительной, отчасти тоже комической, но комической в ином роде. Рядом с историей сутяжничества и каверзничества развивается история любви, призванной навести мосты над пропастью неразумия и ненависти; ведь любящие, как Ромео и Джульетта, принадлежат к враждующим домам. Романист щедро использует возможности, вытекающие из контраста положений. Ведь в то время как «новобрачные считали себя преблагополучными людьми... отцы их, позываясь между собою беспрестанно и делая друг другу возможные пакости, едва ли не были самые несчастные из всего села Горбылей».

В одном лишь произведение Нарежного отступает от требований романа: в нем сравнительно узка арена действия; нет открытой панорамности прежних его романов, смены сфер и материала. Однако Вяземский причислял «Двух Иванов» именно к романам,— надо думать, не только по соображениям объема, детализированности описаний (в произведении три части), что

[1] Н. А. Энгельгардт. Гоголь и романы двадцатых годов.— «Исторический вестник», 1902, № 2, с. 573.

само по себе, конечно, важно. В романе все же есть и панорамность — только неявная; «Два Ивана» — тоже роман дороги, но дороги петляющей, возвращающейся назад, вспять. Беспрестанно отправляются персонажи романа из родных Горбылей то в Миргород, то, как пан Харитон, в Полтаву и даже Батурин, резиденцию украинских гетманов,— их влекут туда обстоятельства тяжбы, позыванья. Намечено в «Двух Иванах» и путешествие в Запорожскую Сечь, причем мистифицированное, поскольку запорожцы Дубонос и Нечоса оказались переодетыми сыновьями двух Иванов. Образ дороги словно сворачивается, что соответствует тому движению по кругу, суетливому мельтешению, которые создает запутанность мелких страстей и стычек.

Но, будучи верен себе, Нарежный не поставил на этом точку и привел намеченные противоречия и конфликты к благополучному разрешению. Сделано это опять-таки искусственно — и благородный пан Артамон, устраивающий судьбу молодых, содействующий примирению враждующих и даже поправляющий их разоренное тяжбой хозяйство, сродни пану Горгонию из «Аристиона». Персонажи такого рода — не только дань романным схемам, но и выражение просветительской веры в разрешимость конфликтов или, по крайней мере, напоминание о необходимости их разрешения, что было свойственно русскому Просвещению, рационалистическим традициям XVIII века.

Последний, оставшийся не законченным роман Нарежного принадлежит к так называемым разбойничьим романам, испытавшим сильное влияние шиллеровских «Разбойников». Нарежный, мы говорили, знал эту пьесу; воздействие ее сказалось и в его ранней трагедии «Димитрий Самозванец», и в «Российском Жилблазе», где в качестве эпизодической фигуры появлялся разбойник Гаркуша, который «особенно свирепствовал... противу дворянства». Теперь это лицо превратилось в главного героя романа.

Разбойник Гаркуша, или, вернее, Горкуша,— фигура историческая;[1] однако историческая правда мало интересовала Нарежного, решавшего общую психологическую задачу. Она поставлена зачином романа: «Повествователи необыкновенных происшествий! Всегда ли и все ли вы старались вникнуть в первоначальную причину оных?» Роман и пытается разъяснить «причины» гибели «сочеловека», то есть превращения Гаркуши в отщепенца и разбойника.

Вначале это молодой, бедный пастух, набожный и честный. Но ко дню рождения Гаркуши, к двадцать пятому году жизни

[1] О нем существует специальное исследование: Н. Маркевич. Горкуша украинский разбойник.— «Русское слово», 1859, сентябрь, с. 138—244.

(вспомним и роковой, тоже двадцать пятый, год князя Кайтука), случилось событие, изменившее всю его судьбу. Карп, племянник старосты, а также дьяк Яков Лысый оскорбили Гаркушу, и тот решил им отомстить. Вначале он мстит в духе героев «Двух Иванов» — пускает голодных кошек в голубятню дьяка, подпиливает в его саду лучшие плодовые деревья, соблазняет невесту Карпа Марину, словом, пакостничает и каверзничает. Потом, по мере нарастания сопротивления врагов Гаркуши и получения им новых ударов, новых оскорблений, месть его становится более жестокой, подчас низкой (так, он предает огласке свою связь с Мариной, несмотря на пробудившуюся в нем искреннюю к ней привязанность), пока, наконец, обстоятельства не вовлекают его в кровавое преступление — убийство. Это проводит между ним и людьми роковую черту; отныне Гаркуша — разбойник, отщепенец.

Трактовка разбойнических деяний Гаркуши отличается откровенной двойственностью. Прежде всего он мститель, причем не только за личную обиду. Описание бесчинств помещика Кремня, его детей, а также многих других владетельных лиц выдержано в свойственной Нарежному жесткой обличительной манере. Дом пана Кремня уподобляется Содому, а поступки его дочери — «мерзостям» «самых опытных римлянок второго и третьего века». Сравнения многоговорящие, почти эсхатологические, ибо они обозначают предельную степень развращенности и хаоса, ту степень, за которой уже следует гибель — гибель ли Содома и Гоморры или Римской империи.

В этих условиях Гаркуша — мститель, но не разбойник: «кто назовет меня сим именем? Не тот ли подлый пан, который за принесенное в счет оброка крестьянкою не совсем свежее яйцо приказывает отрезать ей косы и продержать на дворе своем целую неделю в рогатке? Не тот ли судья, который говорит изобличенному в бездельстве компанейщику: «Что даешь, чтобы я оправдал тебя?» Не тот ли священник, который, сказав в церкви: «Не взирайте на лица сильных», в угодность помещику погребает тихонько забитых батогами или уморенных голодом в хлебных ямах»? О беззаконники! Вы забыли, что где есть преступление, там горнее правосудие воздвигает мстителя? Так! Я мститель и не признаю себе другого имени!» Даже на фоне пронизанных революционным духом обличений Радищева эти слова звучат дерзко и смело.

От русского Просвещения Нарежный перенял не только грозный пафос обличения порока, крепостнического произвола прежде всего, но и мысль о естественном, природном равенстве всех людей. Эту мысль развивает Гаркуша перед своими товарищами — разбойниками, вчерашними крепостными: «Все мы считаем себя рабами панов своих: но умно ли делаем? Кто сделал их

нашими повелителями? Если господь бог, то он мог бы дать им тела огромнее, нежели наши, руки крепче, ноги быстрее, глаза дальновиднее. Но мы видим противное».

Все это заставляет видеть в лице главного героя черты благородного разбойника, даже благородного разбойника-идеолога, подводящего под свои действия базу передовых идей. Но в то же время Гаркуша допускает жестокость, мучительства; в шайку его вливается всевозможный темный люд — «лишенные за распутную жизнь звания своего церковники, здоровые нищие, лишившиеся всего имущества своего от лени, пьянства и забиячества», и т. п. Создается та двойственность моральной оценки (выраженная с помощью суждений автора: роман рассказан от его лица), двойственность освещения, которая будет отличать трактовку разбойничьей темы и — шире — процесса отчуждения, отпадения главного героя от общества — в русском романтизме. Нарежный отчасти совпал с романтическим движением, отозвался на его нарастающее влияние; вспомним, что в 1822 году уже появился пушкинский «Кавказский пленник».

В то же время Нарежный не оставил и привычных схем романной поэтики, начиная от типажа главного персонажа до способа развития действия. При всей колоритности Гаркуши, особенно вначале, когда он предстает в довольно тесной слиянности с украинским бытом, в нем есть и обычная для нарежнинских главных персонажей нецельность, расплывчатость. Впрочем, это оборачивается своим достоинством: от человека все можно ожидать. Кто мог ожидать от Гаркуши, скромного и набожного пастуха, такого разгула жестокости, такого проявления силы, такой мощи характера, что повествователь даже говорит о нем как о несостоявшемся великом деятеле рода человеческого: дескать, природа, «поставив его в лучшем кругу общественности — подарила бы отечеству, а может быть и всему свету, благотворителя смертных, вместо того, что он выходит ужасный бич их...». А ведь Гаркуша — еще благородный разбойник, идеолог, а вместе с тем еще богатырь почти сказочный.

Сказочный, лубочный уклон довольно ощутим с развитием действия, и это вполне отвечает приверженности Нарежного к несбыточному, чрезвычайному, авантюрному. Такой уклон усиливается с выходом на сцену некой разбойницы Олимпии. Хотя и судьба Олимпии несет в себе немало живых примет тогдашнего быта, в том числе и примет крепостного произвола, но с ее появлением, как соперницы и возлюбленной Гаркуши, резко возрастает лубочно-авантюрное начало.

Оба атамана, как выясняется, решают пожениться, объединив свои шайки для успеха общего дела.

«Подошед к своей воинственной нимфе, Гаркуша произнес:

— Я считаю себя весьма счастливым, что вижу в сей прелестной области мужественного атамана — прекрасную Олимпию!..

— Я и сама не менее рада,— отвечала Олимпия, устремив на него пламенные глаза,— что имею случай видеть близ себя человека, которому во всей округе нет подобного в храбрости и замыслах».

Вслушиваясь в этот галантный обмен любезностями, думаешь, что перед тобой не свирепые разбойники, а чувствительные любовники Никандр и Елизавета из «Российского Жилблаза» или, скажем, философы-семинаристы и их подруги из «Двух Иванов». Элемент чувствительности (о своих «страстных чувствованиях» к Олимпии упоминает и Гаркуша), пусть даже растворенной сказочной шутливостью и забавностью, Нарежный считал необходимой приправой романного действа.

* * *

Итог творческой деятельности Нарежного подвел спустя почти полвека после его смерти И. А. Гончаров. В письме к М. И. Семевскому от 11 декабря 1874 года он писал, возвращая ему «три томика «Российского Жилблаза»: «Нельзя не отдать полной справедливости и уму и необыкновенному по тогдашнему времени уменью Нарежного отделываться от старого и создавать новое. Белинский глубоко прав, отличив его талант и оценив его как первого русского по времени романиста. Он школы Фонвизина, его последователь и предтеча Гоголя... Вы увидите в нем намеки, конечно, слабые, туманные, часто в изуродованной форме, на типы характерные, созданные в таком совершенстве Гоголем.... Натурально у него не могли идеи выработаться в характеры по отсутствию явившихся у нас впоследствии новых форм и приемов искусства; но эти идеи носятся в туманных образах — и скупого, и старых помещиков, и всего того быта, который потом ожил так реально у наших художников,— но он всецело принадлежит к реальной школе, начатой Фонвизиным и возведенной на высшую ступень Гоголем... В современной литературе это была бы сильная фигура» [1].

Заслуги писателя определены здесь кратко и точно. Выдвинуто вперед самое ценное в Нарежном — его романное творчество, сделавшее его ключевой фигурой в истории русского романа. Определено место Нарежного в пределах эволюционного ряда, указана его принадлежность к «реальной школе».

Очень важна и фраза Гончарова: Нарежный — «предтеча

[1] И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1955, с. 474—475.

Гоголя». По дарованию они, конечно, несопоставимы. Это, как выразился более поздний литературовед, «смертный и божество»; «но сколько сторон роднит их друг с другом!»[1] Некоторых «сторон» мы уже касались выше; здесь же следует подчеркнуть, что сходство не ограничивается отдельными тематическими и сюжетными перекличками, но простирается на поэтические системы обоих авторов. Помимо интереса к прозе и мелочам жизни, к бытовому колориту (в том числе и к украинскому), помимо «вкуса к юмористическому представлению обыденной действительности», есть нечто общее и в самом *складе* юмора, *типе* комизма.

Для Гоголя в высшей степени характерно то, что можно назвать непроизвольностью и наивностью комизма, избегающего педалирования и аффектации (которые нередко сопутствовали комизму в догоголевской, дидактической литературе). Персонажи «не знают» о своих смешных сторонах, не собираются выставлять их на публичное обозрение — они лишь непроизвольно проявляют себя. Да и жизнь в целом «не знает» о заключенном в ней комизме — она лишь естественно функционирует по своим собственным законам. Смешное выказывается, как говорил Гоголь, «само собою». У Гоголя этот тип комизма выступает в сложившемся, совершенном виде. Но и у Нарежного заметны его начало, его наметки. Отсюда и переклички, подчас поразительно неожиданные.

Чтобы не быть голословным, приведу хотя бы один пример. Вот Парамон из «Аристиона», кутила и игрок, мучается от невозможности сказать что-то необходимое и нужное. «Казалось, он искал в голове своей приличного ответа на сделанную ему задачу, но в ней было так пусто, как в карманах стихотворца...» Затруднение разрешилось репликой: «В голове у меня много, много, да вот нейдет...» Это даже и текстуально предвещает знаменитую реплику Бобчинского о Хлестакове: «...и здесь (вертит рукою около лба) много, много всего». В обоих случаях перед нами комизм бессмыслия, беспомощного, немотствующего языка.

Возвращаясь к отзыву Гончарова, нужно сказать еще о том, что он оценил усилия Нарежного в области стиля, языка. Современная ему критика не раз упрекала романиста в языковых погрешностях, нарушении меры и т. д. Гончаров также отмечает, что язык Нарежного нередко выглядит «тяжелым, шероховатым, смешением шишковского с карамзинским». Но писатель видит и то, что ускользнуло от внимания современников романиста. «...Очень часто он успевает, как будто из чащи леса, выходить на дорогу и тогда говорит легко, свободно».

[1] В. Данилов. Земляк и предтеча Гоголя. Отдельный оттиск из журнала «Киевская старина», Киев, 1906, с. 14.

Наконец, важно и то, что итоговое суждение о Нарежном высказано великим писателем, одним из крупнейших представителей русского реализма XIX века. Многое в Нарежном было обращено к последующим литературным временам — к Гоголю, к «натуральной школе», к развившимся из нее тенденциям. Еще Н. А. Добролюбов отмечал, что Нарежный «предупредил Гоголя со всею новейшею натуральною школою» [1]. И вот теперь новейшее литературное движение устами одного из своих самых видных представителей воздавало Нарежному должное, видя в нем не только своего предшественника по школе — «реальной школе» — но и фигуру, способную действовать в рамках этого движения. Причем — потенциально яркого деятеля, «сильную фигуру».

Ю. Манн

[1] Н. А. Добролюбов. Литературная критика, т. I, 1934, с. 533.

Российский Жилблаз, или Похождения Князя Гаврилы Симоновича Чистякова



Homo sum, humani nil a me
alienum puto.

Terent

Предисловие

Превосходное творение Лесажа, известное под названием «Похождения Жилблаза де-Сантиланы», принесло и продолжает приносить сколько удовольствия и пользы читающим, столько чести и удивления дарованиям издателя.

Франция и Немеция имеют также своих героев, коих похождения известны под названиями: «Французский Жилблаз», «Немецкий Жилблаз». А потому-то решился и я, следуя примеру, сие новое произведение мое выдать под столько известным именем и тем облегчить труд тех, кои стали бы изыскивать, с кем сравнивать меня в сем сочинении.

Правила, которые сохранить предназначил я, суть вероятность, приличие, сходство описаний с природою, изображение нравов в различных состояниях и отношениях; цель всего точно та же, какую предначертал себе и Лесаж: *соединить с приятным полезное*.

Но как сии два слова «приятность, польза» почти каждым понимаемы по-своему, и мы беспрестанно видим,— если только подлинно смотрим, а не спим с открытыми глазами,— что одну и ту же вещь, одно и то же чувствование, движение, желание, отвращение один называет полезными, другой — гибельными, один — приятными, другой — отвратительными, то, не стараясь избегать общей участи всего подлинного, я спокойно предаю себя свободному суждению каждого, не заботясь много, то ли точно почтет он приятным и полезным, что мне таковым казалось; да и заботиться о том по всем отношениям было бы и *не полезно* и *неприятно*.

Да не прогневаются на меня исступленные любители метафизики, славенского языка и всего, что есть немецкого, что я не всегда с должною почтительностию об них

отзывался. Это отнюдь не значит, чтобы считал я метафизику наукою вздорною, славенский язык — варварским и все то, что выдумано немецкою головою, глупою выдумкою. Сохрани от того, боже! Но мне всегда казалось, что перейти должные пределы, в чем бы то ни было, есть крайнее неразумие. Метафизика, без сомнения, есть наука высокая и утончает разум человека, однако ж не до такой степени, чтобы мог он определить, чем занималось высочайшее существо до создания мира и чем заниматься будет по разрушении оного. А есть такие храбрые ученые, которые на то пускались. Славенский язык бесспорно высок, точен, обилен; однако ж тот из нас, который, стоя пред красавицею, будет нежить слух ее названиями: лепообразная дево! голубице, краснейшая рая,— едва ли не должен быть почтен за сумасброда; а такие витязи и до сих пор у нас находятся, и не без последователей! Что касается до немчизны, под которым названием, следуя выражению наших прадедов, разумею я всякую чужеземщину, то весьма недовольным почту себя, если кто-нибудь назовет меня порицателем всего того, что не наше. Это была бы излишняя благосклонность ко всему своему, что также никуда не годится. Всякое пристрастие ведет к заблуждению, а я не знаю, что было бы хуже, следовательно, вреднее заблуждения, подкрепленного упрямством.

Описывая жизнь человека в многоразличных отношениях, не мог я не показать и таких картин, которые заставят пожилых богомолов и богомолок хотя притворно застыдиться. Может быть, то же действие будет и над молодыми; но пусть молодые, почувствовав низость порока чужого, краснеют, не быв еще подвержены оному сами, нежели краснеть в летах по сделании и когда уже будет мало случаев и сил ему противиться.

Я вывел на показ русским людям русского же человека, считая, что гораздо сходнее принимать участие в делах земляка, нежели иноземца.— Почему Лесаж не мог того сделать, всякий догадается. За несколько десятков лет и у нас нельзя бы отважиться описывать беспристрастно наши нравы. Сколько достало во мне дарования и опытности, употребил все, чтобы угодить некоторым из читателей, именно тем, кои прямо разумеют отличить настоящее приятное и полезное от общих им сословий [1] и, следовательно, стоят того, чтобы для их удовольствия трудились люди.

[1] Synonima. (Все сноски, кроме особо оговоренных переводов иностранных текстов, принадлежат В. Т. Нарежному.)

Часть первая



Глава I

Вечер в деревне

В небольшой деревне, стоящей близ рубежа между Орловскою и Курскою губерниями, жил в господском доме своем с семейством помещик Иван Ефремович Простаков. В молодые лета служил он в полках, был в походах и даже сражениях. Хотя, правда, он и молчал о сем, но зато весьма часто повествовала жена его, показывая в удостоверение прореху в мундире. Была ли сделана она пулею, или штыком неприятельским, или продрана на гвоздь,— того не могла сказать наверное, потому что верного не было и признака; а муж, с своей стороны, за давностию времени не мог припомнить, лгать же отнюдь не любил. Будучи отставлен капитаном, жил спокойно в деревне доходами с имения, слишком достаточного по образу простой его жизни. Он был тих, кроток и чувствителен ко всему хорошему, занимался домашним хозяйством, а на досуге любил читать книги и курить табак. Достойная супруга его Маремьяна Харитоновна была довольно дородна, отлично горда и чресчур тщеславна. Она никогда не могла забыть, что блаженной памяти родитель ее был богатый дворянин в полуденном крае России, имел в доме своем балы, феатры и маскерады; «и даже маскерады,— повторяла она нередко, разговаривая со своими соседками.— Жаль только, — продолжала она,— что батюшка, не выдав меня замуж, лишился балов и маскерадов; а не то, не за капитаном быть бы мне!». Тут оглядывалась она кругом; смотрела пасмурными глазами и подходила к зеркалу, но и оно не могло ее утешить. Она была уже мать троих возрастных детей. К чести ее или и мужа можно отнести, что и до сих пор она была совершенно ему послушна и не реже бывала в кухне, как и рассуждала о феатрах и маскерадах покойного батюшки. Дети Простако-

вых были две дочери и один сын. Как последний воспитывался еще в кадетском корпусе, то об нем в сей повести ни слова и не скажем, кроме разве, что его звали также Иваном. Это одно покудова он заслуживает.

Дочери были Елизавета и Катерина. Меньшая была настоящий список с портрета матери ее во днях молодости, хотя она и не презирала капитана, отца своего, потому что он был богаче всех ближних соседей, следовательно, и она была наряднее деревенских подруг своих; однако ж всегда охотно рассказывала им о почтенном дедушке, у которого бывали балы, феатры и даже маскерады. Гостьи пожимали плечами, а Катерина вздыхала.

Елизавета, сестра ее, была во всем противных мыслей, чувств и поступков. В пасмурных взорах ее плавала кроткая чувствительность, нежность обнаруживалась в каждом ее движении, невинная простота души казалась иногда даже застенчивостию. Когда сестра ее рассказывала о феатре дедушки, о его пиршествах и вздыхала, Елизавета уходила в сад, опиралась о вишневое дерево, смотрела на безоблачное небо, на игривые звезды и также вздыхала.

Отчего ж тужить невинному сердцу ее?

Три года назад были две сестры воспитываемы в городском пансионе. Хотя отцу и крайне того не хотелось, но жена перемогла.

— Что из того выйдет,— кричала Маремьяна Харитоновна,— когда дочери мои не будут выучены ни играть, ни танцевать, ни говорить языком французским?

— Сестры мои ничего того не знали и не знают, точно как и я,— отвечал муж,— а не меньше того счастливы. Они были хорошие дочери, хорошие жены, хорошие матери и даже счастливые своими детьми, хотя не посылали их и в уездный пансион.

Он, кажется, рассуждал не худо, но дочери были посланы, воспитывались пять лет и мгновенно отозваны в деревню. А причина?

В том же пансионе находился, между прочим, один молодой человек, сын, как догадывались, беднейшего дворянина. Принят был туда потому, что за него платил хорошие деньги неизвестный человек. Итак, он сему незнакомому благодетелю какой-нибудь родственник, или, может быть, не побочный ли сын от дочери или сына, или его самого? Все статься может, но я покудова ничего не знаю, так, как и сам молодой человек тот в тогдашнее время, кроме, что звали его Никандром.

Этот затейливый молодец возвел на Елизавету взоры, прежде любопытные, потом внимательные, а вскоре страстные. Елизавета отвечала точно тем же порядком. Дружба их возрастала ежедневно и, наконец, дошла до того, что однажды в часы отдыха, гуляя в пансионском саду, как-то очутился он наедине с Елизаветою. Он на нее взглянул, она на него; он взял ее руку и пожал; она — его; наконец, он осмелился прижать ее самою к своему сердцу и запечатлеть страстный поцелуй на пламенеющих устах юной красавицы.— Ах! как счастливы были они тогда: но увы! какое последствие!

— Grand dieu![1] — раздался сзади дребезжащий голос. Они оглянулись, и кто изобразит их ужас? Разинув рот и выпуча глаза, бежала, сколько могла, старая мадам Ульрика.

С трепетом молодые любовники бросились в разные стороны, но это не помогло. Воспитанника выгнали вон, ибо не знали, куда отослать его, а из снисхождения к богатой фамилии Простаковых отписано было к отцу, чтобы изволил прислать карету за девицами, дочерьми своими.

Конечно, Ульрика была одна из лучших содержательниц пансионов, что не обратила во зло нежности молодой питомицы; но правда и то, что любовник был сам по себе великий бедняк, а потому не стоил никакого внимания в сем случае. Если же бы случилось какому-нибудь богатому князьку влюбиться в бедную питомку, то можно думать, что и наша мадам не заставила бы смеяться над собою прочих отважных наставниц.

Протекли три года после сего происшествия, как целое семейство в один осенний дождливый вечер собралось в гостиную, чтобы, зевая, смотреть на табашный дым, из трубки г-на Простакова курящийся, и после слушать похождения Жилблазовы, кои читал он вслух, прилегши на софе.

М а р е м ь я н а. Что ты ни говори, а спектакли покойного моего батюшки были привлекательнее, чем мадритские!

П р о с т а к о в. Оттого-то, быть может, он и покойник!

Все замолчали.— После некоторого промежутка началось опять.

[1] Великий боже *(фр. Ред.)*.

Маремьяна. Боже мой! как прелестно было то равенство, какое царствовало в маскерадах! ходи, сиди, пляши — никто тебя не знает.

Простаков. Оттого-то часто ничего не стоящий подлец,— не стоящий и того, чтобы путный человек на него плюнул,— ходил, сидел, плясал с вами. А последствия?

Маремьяна опять замолчала и пошла в столовую собирать к ужину; Катерина тихонько вальсировала перед зеркалом, а Елизавета сидела у изголовья софы, склоня печально на руку свою голову.

— Что ты делаешь, Катерина? — спросил отец, поднявшись сердито.

— Вальсирую, батюшка.

— Кто велит тебе вальсировать, когда я читаю книгу, и притом хорошую? Дело бы другое, если б какую-нибудь комедийку или пустенький романец, как, например: «Модная лавка», «Новый Стерн» и тому подобные мелочи; или еще и большие, переведенные с французского языка, коими наполнены книжные лавки.

— Матушка говорит, что никому нельзя понравиться, сидя за книгами или за пяльцами.

— Понравиться? — сказал отец еще сердитее и поднявшись больше.— Тебе рано о том стараться. Довольно для тебя нравиться отцу и матери.

Катерина вышла в столовую, однако легонько попрыгивая. Отец, вздохнув, принялся за книгу. Елизавета вздохнула, опустя еще ниже голову; но причины вздохов сих выходили совсем из разных источников.

Пробило в зале восемь часов, и Катерина вошла.

— Батюшка! Стол готов, и матушка уже села.— Она ушла.

Едва Простаков скинул свой колпак и поднял с софы ногу, как вдруг из других дверей опрометью вбегает слуга и, запыхаясь, говорит:

— Барин! Какой-то князь стоит в передней и просит позволения войти. Имени его не мог упомнить,— такое мудреное!

— Князь? — вскричал Простаков, оправляя халат.

— Князь! — возвысились два голоса, и мать с дочкою выбежали. «Князь!» — раздалось в людской, девичьей, кухне; словом, во всем доме не слышно было ничего, кроме громогласного: «Князь! князь!»

— Что это значит? Что за крик и шум? Как будто

князь какое-нибудь чудовище или херувим,— сказал с досадою Простаков, ощипываясь кругом.— Проси войти!

Слуга вышел. Всех любопытные взоры обращены были на дверь, всех рты открыты, дыхание остановилось; по одним колебаниям грудей можно было видеть, что они не статуи. Надобно сказать правду, кроме г-на и г-жи Простаковых, которые видали князей лет за двадцать, никто в доме не имел и понятия, каков должен быть князь? Большею частию думали, что он великан, весь в золоте, в дорогих каменьях, и, словом: существо, совсем не похожее на обыкновенного человека.

Глава II

Князь

Наконец минута развязки настала. Дверь отворяется и — о боже! какое явление!

«Ах! — вскрикнула Маремьяна и ее дочери,— ах господи!» Они бросились вон. Простаков сам отступил назад, побледнел и перекрестился. «Это чудовище»,— сказал он про себя и еще на шаг отступил.

Чего же так сильно испугались они? Ну, пусть женщинам простительно; они не бывали на сражениях, а если и бывали, так разве только с горничными девками и дворовыми босыми мальчиками, ибо власть управляться с лакеями, кучерами, поварами и вообще возрастными мужчины предоставили себе; но и Простаков — о диво! Простаков, который бывал на сражениях, получил рану, что видно было из дыры на мундире,— и Простаков ужаснулся. Волосы его поднялись дыбом, и если б он не поддержал колпака рукою, хотя и трепещущею, то верно бы он слетел к ногам вошедшего привидения или по крайней мере — оборотня.

Долго они стояли в молчании. Самое привидение, видя продолжительный ужас хозяина с семейством, сильно наморщилось. Простаков, заметя то, закусил губы, ибо, казалось, он, наконец, хотел что-то сказать.

Пора мне открыть причину всеобщего ужаса.

Привидение сие имело с виду подобие мужчины под пятьдесят лет. Волосы его всклокочены и наполнены грязью, которая также залепляла лицо и руки, оцарапан-

ные до крови; платье все в лохмотьях; одна нога босая, другая в лапте; оно дрожало от холоду; глаза были томны и унылы.

— Милостивый государь,— сказал он (мы говорим уже «он», а не «оно», то есть привидение, ибо все приметили в нем некоторые признаки мужеского пола),— милостивый государь! чистосердечно прошу прощения, что я перепугал вас и почтенное семейство. Несчастие постигло меня. Я страдаю голодом и жаждою; целые сутки ни одна кроха не бывала во рту моем; я дерзнул искать у вас милосердия и убежища на эту ночь.

Он сказал и грязною рукою утер глаза, из коих выкатились слезы.

— Вы несчастны? — сказал быстро Простаков, подскочив к нему на три шага, и вид его прояснился.

— Довольно несчастлив, по крайней мере на некоторое время.

— Малый! — вскричал Простаков к слуге,— отведи сего господина на кухню и вели вымыть; меж тем, Маремьяна, приготовь чистое белье, сапоги, сертук и прочее, что нужно. Государь мой! — продолжал он, обратясь к незнакомцу,— как скоро вы пооправетесь, прошу сюда; мы будем ждать вас вместе отужинать.

Незнакомец вышел, поклонясь низко.

— Боже мой! — сказали, вошед вдруг, жена и дочери.

Жена. Что ты все делаешь не подумавши?

Муж. Я хочу делать почувствовавши.

Жена. Ты чувствуешь вздор.

Муж. Легко статься может, однако ж ты поди и приготовь белье.

Жена. Может быть, он какой преступник?

Муж. И величайший преступник имеет право на сожаление.

Жена. А если он разбойник!

Муж. Я накормлю голодного разбойника и после отдам в руки правосудия.

Жена. Да! как уж успеет ночью удушить тебя.

Муж. Ты все вздор мелешь. Он безоружен и едва от изнеможения стоит на ногах.

Жена. Притворство, личина!..

Муж. Поди и приготовь белье. Разве ты не хочешь ужинать, ибо я и все не сядем за стол, пока он не придет.

— Боже мой! как ты упрям,— говорила она, уходя и побрякивая ключами.

— Батюшка,— сказала Катерина,— мне кажется, матушка несколько права. Вить неприлично принимать в дом дурного человека.

— Так, дочь моя,— отвечал старик,— но надобно прежде точно удостовериться, что он дурен; а почитать его таким по его загрязненному лицу, по нищенскому платью, по робкому виду и отказать в куске хлеба и в угле дома для проведения ночи в дождливую осень,— да сохранит вас бог, дети мои, от такой разборчивости! Сто раз покойнее буду смотреть на вас во гробе, нежели с этими румяными щеками, блестящими от довольства и спокойствия глазами и сердцами каменными. Чувствительность есть истинное благородство человека. Она ставит его на высокую степень творения. Волк и медведь имеют столько ума, чтоб отличить тигра от робкой овцы и, от одного убегая, гнаться за другою. Чувствительный, хотя и несчастный человек, если не сегодня, то завтра, то когда-нибудь найдет сердца, которые поймут его, сблизятся с ним, и он будет счастлив в рубище. Но жестокосердый — он вечно несчастлив: среди богатств, славы, величия, в венце и багрянице.

Старик умолк, но взоры его сияли удовольствием. Он взглянул на дочерей: Катерина отворотилась, поправляя серьгу; Елизавета стояла, устремив вниз глаза свои, с навернувшимися слезами и сложа руки накрест у груди. Старик вздохнул, Елизавета вздохнула; он взглянул на нее, понял биение сердца ее и молча пошел к софе.

По прошествии получаса явился незнакомец хотя в ветхом, но довольно чистом платье своего хозяина. Не с удовольствием заметил Простаков таковую бережливость жены своей, но на сей раз замолчал.

Незнакомец, робко подошед к нему, преклонил низко голову и сквозь зубы пробормотал что-то о благодарности.

— Об этом поговорим после,— сказал Простаков,— а теперь всего лучше пойдем к столу, я думаю, он теперь всего необходимее.

Как скоро Простаков увидел, что гость его понасытился и довольно весел от нескольких рюмок вина, к чему принудил его хозяин, желая поправить истощенные силы его, то сей последний сказал:

— Я почитаю вас честным человеком, и дай бог, чтобы не обманулся. Но скажите мне, пожалуйте, для чего вздумалось вам, при такой наружности, которая вдруг вам изменила, сказаться слуге именем князя? Разве несчаст-

ному именно нужно быть князем, чтоб возбудить сострадание? Вам, видно, худо обо мне сказали.

Все обратили испытующие взоры на незнакомца, ожидая ответа. Госпожа дому удержала ложку, которую только что хотела поднести ко рту, и кидала лукавые взгляды на своего мужа.

— Что я князь природный — это такая истина, как то, что теперь существую. Я называюсь князь Гаврило Симонович княж Чистяков,— сказал он, взглянув весело на все собрание.

Все поражены были как громом. Маремьяна, ахнув громко, уронила ложку и облилась соусом.

— Ах, боже мой! — твердила она несколько раз сряду, обтираясь салфеткою и глядя пристально на князя Гаврилу Симоновича княж Чистякова.

Наконец, после нескольких мгновенных вопросов и ответов все успокоились, только г-жа Простакова многократо извинялась, что с первого взгляда не могла узнать в нем князя, хотя наружность его довольно то доказывала.

— Полно пустое врать,— сказал муж, выпивая рюмку вина.— В тогдашнем положении его сиятельство больше походил на черта.

Все засмеялись, и даже сам князь Гаврило, почесывая лоб.

Хозяин продолжал:

— Жена! — теперь пора спать; отведи князю покои, что подле моего кабинета. Вели пораньше истопить баню, а чай будем пить все вместе.

Глава III

Капусту полоть

Настало утро. Оно хотя было и не самое прекрасное, но казалось таковым для хозяев и их гостя. Он чувствовал успокоение, а они тем веселились. Все вместе пили чай, проводили время до обеда, обедали и так далее. Прошел день и другой и таким образом целая неделя,— а там их и несколько. Хотя князь Гаврило и не один раз принимался раскланяться с гостеприимными хозяевами, но сии время от времени откладывали расставанье; каждый день взаимного обращения распространял взаимную до-

веренность: гость находил в хозяине старика доброго и умного по природе и опытности; а последний с каждым днем открывал в первом более и более искренности и прямодушия. По мере обоюдного сочувствия сердца их сблизились, и, когда прошел месяц пребывания князева в доме Простакова, казалось всем, что он взрос здесь и состарился.

В одно утро, когда морозы наступающей зимы засадили всех в теплых покоях, Простаков после завтрака завел речь мимоходом о прошедших случаях жизни своего гостя.

— Понимаю,— сказал князь,— и сейчас удовольствую ваше желание. Хотя и не раз буду краснеть, но охотно приношу сию жертву вашему дружелюбию.

Простаков дал знак дочерям,— они поднялись и хотели выйти, как князь, удержав их, сказал отцу:

— Успокойтесь, добрый человек; повесть моя детям вашим во многом будет уроком.— Таким образом все уселись, и его сиятельство начал:

— Родина моя в селе Фалалеевке, что в Курской губернии. Она славна своим хлебородием и наполняет житницы Петербурга и Москвы; но странный в нем недостаток, буде так сказать можно, есть тот, что там столько князей, сколько в Малороссии дворян, а в Шотландии — графов. Одно другого стоит.

Надобно отдать справедливость, что наши князья гораздо умнее иностранных графов. Там, как слыхал я нередко, граф-отец, вставая с войлочной постели, говорит сыну: «Что, граф, чисты ли мои сапоги?» — «Как же, ваше сиятельство, вот у меня и руки еще в ваксе». А графиня-мать, чистя на поварне кастрюлю, говорит своей дочери: «Что, графиня, доила ли ты корову?» — «Как же, ваше сиятельство, у меня еще и теперь ноги в навозе и на лбу шишка,— так проклятая лягается».

Наши русские князья сто раз умнее. Они занимаются хлебопашеством, хозяйством, пашут, жнут, продают хлеб и живут мирно и братски с крестьянами своими и чужими, и только в большие праздники, собравшись в шинки, объявляют о княжестве своем, если бы какой грубиян не устрашился нанести кому-либо удар, что не очень редко случалось.

Из таковых князей был почтенный родитель мой, князь Симон Гаврилович Чистяков. При кончине своей он сказал мне: «Оставляю тебя, любезный сын, не совсем

бессчастным: у тебя довольно поля есть, небольшой сенокос, огород, садик и, сверх того, крестьяне Иван и мать его Марья. Будь трудолюбив; работай, не стыдясь пустого титула, и бог умножит твое имущество».

По кончине отца я несколько времени свято исполнял его завещания: но, конечно, демон вражды позавидовал моему спокойствию и вмешался в дела мои.

Подле моего домика жил князь Сидор Буркалов и с ним хорошенькая дочка его княжна Феклуша. Ее черные глазки, ее алые щечки,— словом, я полюбил Феклушу; но жениться на ней отнюдь не думал, ибо у князя, отца ее, только и была одна крестьянка, то есть княжна, дочь его; впрочем, ничего и никого не было, а сверх того, что и осталось после покойной жены, он по неосторожности или грустя по ней, время от времени переносил к жиду Яньке, корчмарю нашей деревни. Итак, я твердо решился не свататься за прекрасную Феклушу, однако ж любил ее и стал невольным образом следовать за нею всюду. Она то заметила и, казалось, была не недовольна.

Однажды, встретив ее, согбенную под коромыслом, сказал я с сожалением: «Ах, княжна! тебе, конечно, тяжело?» — «Что ж делать»,— отвечала она закрасневшись. Я взял ведры и донес до дому. «Спасибо, князь»,— сказала она. Я потрепал ее по плечу, она пожала мою руку, мы посмотрели друг на друга, и она сказала: «Завтра рано на заре буду я полоть капусту»,— и остановилась. «Я пособлю тебе»,— вскричал я, обнял ее и поцеловал. Она немного показалась сердитою, оттолкнула меня и ушла.

«Ну,— думал я, оставшись один в своем покое,— она рассердилась и, верно, меня не любит». Погрузившись в печаль, вышел на огород свой и ходил в большой грусти. Скоро, однако, утешился. О чем я печалюсь? Она так весело на меня сегодни смотрела. Если не выйдет на огород полоть капусту, то, верно, сердита, а если выйдет, то я побегу помогать ей.

Решась таким образом, я с нетерпением ожидал зари. Ходил по огороду, вытянувшись и не смотря ни на что, шагал по грядам, ломал и давил все, упоен будучи восторгом. Наконец появилась заря. Остановя дыхание, приблизился я к плетню, огороды наши разделявшему, устремил глаза сквозь прутья, и взоры мои неподвижно уставились на капустной гряде. Заря становилась алее и

ярче,— Феклуши нет как нет. Сердце мое билось необычайно. Если колебался подсолнечник, я вздрогивал. «Это она»,— думал я; но подсолнечник переставал колебаться, а Феклуши не было. Отчаяние клубило сердце мое. Я отнял голову от забора и печально взглянул на взошедшее солнце. Свидетель горести моей, зачем кажешься ты? Вдруг подул сильный ветер, и что-то необыкновенно зашумело. «Вот она! — вскричал я громко, не могши удержаться,— вот наконец прекрасная княжна Феклуша!» С сильным уверением о ее прибытии вскарабкался я на забор, вмиг осмотрел все, и что ж увидел? Ужас обнял меня! Воробьиное пугало, ветром поваленное в горох. С раздирающимся сердцем слез я с забора, взглянул на свой огород и ахнул. Холодный пот выступил у меня на лбу. Проклятая княжна, неблагодарная Феклуша! Все переломано и потоптано для тебя, и тебя нет! Прекрасные мои бобы, дорогие огурцы, прелестные тыквы, куда вы теперь годитесь! О я, злодей!.. Рыдая неутешно, пришел в свою избенку и решился не выходить по крайней мере пять дней, и сдержал свое слово до самого вечера. Тут нетерпение мною овладело, и я вышел за ворота: знал я, что в это время и она также выходит. И в самом деле, она уже стояла. С презрением отворотился я в другую сторону, решаясь не смотреть на нее, и не смотрел по крайней мере с минуту.

— Князь! — сказала она вполголоса, и я вмиг обернулся.

— Что? — отвечал я со вздохом,— чего ты еще от меня хочешь? У меня уже нет другого огорода. Поди посмотри, жестокосердая! Сердце твое обольется кровию. И самый злой турка не мог бы хуже сделать! Но сила любви...— Она подошла ко мне, взяла тихо за руку, пожала и сказала с улыбкою:

— Я видела сегодни огород твой, догадалась, отчего он так перепорчен, и слезы у меня навернулись.

— Только? А я так плакал неутешно.

— Ну, милый мой, успокойся,— сказала она еще ласковее.— Ты знаешь тот большой подсолнечник, что в углу, на правой стороне у бобовой беседки?

— Как не знать! — подхватил я весело и, взяв ее за руку, хотел обнять; но, вспомнив вчерашнее, вдруг отшатнулся.

— Там буду я, как скоро батюшка придет от проклятого жида и уснет: он понес сегодни серебряные мои

серьги и шелковый платок, последнее имущество, оставшееся мне после покойной матери.

— Ах! милая княжна,— вскричал я с восхищением,— ты сегодни ж получишь две пары серег и два платка; после матушки кое-что осталось, а покойный батюшка не знал и дороги к жиду Яньке.

Мы расстались; а дождавшись зари, перебрался я через забор с своими подарками и тихонько вошел в бобовую беседку. «Жестокий князь Сидор,— говорил я тихонько,— ты забавляешься с жидом, а я страдаю». Прошел час, Феклуши нет. Одурь взяла меня. Я подумал, не хочет ли она поступить со мною по-вчерашнему, и поклялся своим и ее ангелом, что с огородом ее поступлю хуже, чем с своим.

Наконец, спустя немного солнце мое засияло: княжна явилась. Мы сели в беседке, помирились во вчерашнем. Я предложил ей мои подарки, она приняла благосклонно, и утренняя заря застала нас в разговорах самых дружеских.

— Ах! какая нечаянность! Могла ли я об этом подумать? — вскричала Феклуша.

Расставаясь, она заплакала:

— Неужели ты меня оставишь после всего?..

— Никогда, милый друг,— вскричал я торжественно,— скорее пусть сгорит дом и градом побьет поля мои. Завтре же иду к князю Сидору и буду свататься; он, верно, не откажет.

— О! конечно,— сказала она, утерла свои слезы и удалилась.

Не знаю, как я мог клясться ей в верности и охоте свататься, когда за минуту до ее прибытия о том и не думал. Конечно, причиною тому было разгоряченное воображение, пылающая кровь, что в тогдашнее время мне и самому показалось, будто бы я никогда не имел другого намерения, как жениться на Феклуше, и был собою очень доволен. Но ах! как скоро взлез на забор и взглянул на огород, сердце мое возмутилось и охота жениться на княжне Феклуше почти отпала. Я вступил в избу и переродился. «Как же глуп ты, князь Гаврило Симонович! — вскричал я со вздохом,— зачем обещал ты свататься, да еще и сегодни! Хоть бы отложил на неделю. С каким намерением женюсь я? Хлеб мой не убран, огород вытоптан: чем жить?»

После таких благоразумных рассуждений решился я нейти к князю Сидору. Однако, как настала ночь, я очутился на бобовой гряде. Феклуша была уже там, и, как я заметил, с заплаканными глазами.

— Что ж не пришел ты сегодни к батюшке? — спросила она печальным голосом, протянув руку.

Я надел ей на палец серебряное кольцо.

— Милая моя, у нас обоих теперь ничего нет. Не лучше ли нам подождать месяц, другой? К тому времени уберем мы хлеб и, как примечаю, отелится моя корова. Не правда ли? Гораздо приятнее играть свадьбу получше. Вить не остыдить же себя! Не забудь, кто ты и я; а это бывает один раз в жизни.

— Конечно, так,— отвечала княжна смущенно,— но если к тому времени...— Она остановилась. Я ее понял, и при сей мысли выступил у меня холодный пот. Однако скоро я оправился, и так хорошо и много насказал ей о приличии, какое должно сопровождать свадьбу знаменитого князя Чистякова и знаменитой княжны Буркаловой, что она успокоилась, и мы расстались довольны друг другом.

Глава IV

Намерение жениться

Не думая никогда жениться на княжне Феклуше, как сказал и прежде, я не забывал посещать бобовой беседки и таскал остатки малого имущества после матери моей. Не заглядывая сам в поле, я не мог знать, что Иван, крестьянин мой, ленится; и вместо того, чтобы жать свое поле, он жал чужое, получал плату, пропивал или мотал на таких же княжон, какова и моя Феклуша. Я беспрестанно рыскал за ее сиятельством, скучал приступами ее о сватовстве, она моим отлагательством, и как у меня не осталось уже ни ленточки, то иногда доходило и до ссоры. Однако скоро надеялся я разбогатеть продажею лишнего хлеба и был довольно покоен, ожидая окончания жатвы; а Иван с Марьею уверяли меня, что полевой работы осталось не более как на два дня. Вдруг, к крайнему моему удивлению, заметил я перемену в обращении со мною не только князей, но и крестьян и самых баб. «Боже мой, что бы это значило? — думал я.— Уж не проведали ль о связи моей с княжною Феклушею, и потому

каждый, встречаясь со мною, сердится; ибо прежде всяк из них мог надеяться иметь меня своим зятем». Надобно признаться без хвастовства, что я жених из лучших в деревне. Досада моя с каждым днем умножалась, видя их неприязненность, как, наконец, дошло до того, что самые ребятишки, встречаясь со мною, указывали пальцами и укали.

— Что бы это такое? Неужели и ребятишки понимают о таких связях и глупые отцы о том им так рано толкуют?

Нечаянный случай открыл всему причину.

В один день, на закате солнца, стоял я, опершись спиной о забор и с жалостию посматривая на огород свой, в котором ничего не было. Даже что и оставалось цело от моего подвига, то было заглушено крапивою или съедено червями.

Вдруг выводит меня из задумчивости голос моего соседа, который, сидя у того же забора в небольшом отдалении, ломал капусту, а семилетний сын его вытаскивал морковь.

— Тяжело, батюшка,— сказал ребенок.

— Трудись, сын мой,— отвечал отец,— не будешь трудиться летом, нечего будет есть зимою. Вот как, например, беспутный сосед наш, князь Чистяков (фамилия ему очень пристала): у него в доме все так же чисто, как в поле и огороде. В целое лето и не заглянет. Что-то будет делать зимою? Трудись, сын, трудись, не будь так глуп!

Я окаменел. «Как? — думал я,— положим, что у меня в доме и огороде чисто,— это правда; но я ли виноват? Несчастные случаи! Но в поле... Ах, боже мой!»

С трепетом пошел я в избу. «Иван! собран ли в копны хлеб мой?» — «Как же!» — «Весь?» — «До колоса!» — «Хорошо же, мы докажем бездельникам, что ругаться над нами не должно. Завтре чуть свет запряги лошадь в телегу: едем в поле. Надо перевезти хлеб, пока хороша погода».

На другой день, против моего обыкновения, вставши вместе с зарею, кликнул Ивана, чтоб узнать, запряжена ли лошадь. Но не было никакого ответа. Я повторил зов, но тщетно. Встаю, одеваюсь, выхожу в сени: нет никого. Иду на двор и вижу, что бедная лошаденка моя стоит у забора не запряжена. У меня сердце обмерло; иду в огород, не там ли спит Иван, и вижу одну Марью, которая,

спокойно сидя на гряде, вырывала репу, величиною в орех, обтирала передником, бросала в рот и за каждым разом твердила: «Такой ли бы репе быть, если б этот негодный лентяй Гаврило Симонович был похож на покойного отца своего!»

— Бездельница! — вскричал я со гневом и толкнул ее в спину ногою. Она перекувыркнулась с гряды в борозду; кое-как выкарабкалась, перекрестилась несколько раз и сказала:

— Что вам угодно, ваше сиятельство?

— Где Иван? — спросил я сердито.

— Вашему сиятельству должно лучше знать, потому что Иван сказывал, что ваше сиятельство приказали ему куда-то сходить по делам вашего сиятельства...

— Чтоб тебя черт взял со всеми сиятельствами,— сказал я.— Где ж он теперь?

— Вашему сиятельству должно это лучше знать, потому что...

— Иван сказывал, что мое сиятельство приказало? — перебил я еще гневливее.

— Потому что он ушел с вечера и до сих пор не бывал.

«Что мне толковать с безмозглою бабою! — подумал я,— пойду лучше лягу спать: авось-либо он подойдет».

— Как придет сын твой,— сказал я,— вели, чтоб он запряг лошадь и ждал меня.

Я спал до полудня.

— Иван? — спросил проснувшись. Марья стояла подле меня и плакала.— Что ж ты, Марья?

— Ах, батюшка,— сказала она всхлипывая,— Иван бежал!

— Бежал? — вскричал я и вскочил как бешеный.— Куда же бежал?

— Бог весть!

— Почему же ты знаешь, что он бежал?

— Мне сказала сегодни Макруша, княжна Угорелова, что он и ее подговаривал бежать с собою.

Долго стоял я подгорюнившись; наконец вышел на двор, чтобы самому запрячь лошадь и ехать возить хлеб. На это был я великий мастер при жизни батюшки. Но увы! какой ужас почувствовал я! Бедная животина от долговременного, как видно, пощения, пала. Я оплакал смерть ее чистосердечно и пошел в поле свое пешком.

Не доходя до него за несколько десятин, в глазах моих зазеленело. Неужели это мое поле? Кажется, я его довольно

помню; а теперь вижу луг, ибо там целые стада скотины бродят. Подошед к самой ниве, сердце мое стеснилось: все было измято, избито, вытоптано. Скрепившись, подошел бодро к пастухам.

— Бездельники,— вскричал я гневно,— как смеете вы?..— И губы мои оледенели.

— Что угодно вашему сиятельству? — сказал один из них, подошед ко мне, с насмешкою,— это поле наше!

Его насмешливый вид привел меня в себя.

— Как ваше?

— Крестьянин вашего сиятельства Иван сказал нам, что вы вдруг разбогатели, а потому никак не хотите носить имени хлебопашца: оно очень для князя подло. От имени вашего сиятельства продал он нам это поле, и мы дали ему при многих свидетелях выговоренные деньги.

Он замолчал и улыбался. Презрение сего человека не допустило меня до отчаяния. Побег Ивана ясно доказывал его правду. Я скрепился и, по-видимому, довольно равнодушно поворотил в деревню. Долго слышал я хохот, меня провождавший. «Прощайте, ваше сиятельство,— кричали они вслед,— счастливый путь вашему сиятельству!»

Пришед домой, я не мог долее вытерпеть: повалился на пол брюхом и через час только мог порядочно мыслить. Боже мой! как было грустно тогда моему сердцу! У меня всего оставалась от движимого имения одна корова. Я умолял Марью не уморить и ее с голоду, как сын ее уморил лошаденку.

Несколько дней пробыл я в жестоком унынии. Сиятельная моя Феклуша нередко приходила ко мне в дом напоминать о моем обещании. Я терзался и, сколько мог, откладывал.

В один вечер, сидя печально у окна, размышлял я о горестной своей участи и способах ее поправить. Тщетно ломал я голову; ничего, совсем ничего на ум не приходило. Вдруг подошла ко мне Марья:

— Ваше сиятельство!..

— Поди к черту, где и сын твой!

— Я не с тем сказала, чтобы оскорблять вас. Я хочу пособить вам своими советами. Мне кажется, вы теперь заботитесь о поправлении своего состояния?

— Легко быть может!

— Я вам скажу вернейший к тому способ!

— Вернейший способ? — вскричал я, вскочив,— вернейший способ? А в чем, по твоему мнению, состоит он?

— В женитьбе!

Я остолбенел! Слово «женитьба» было громовым для меня ударом. Мне представилось, что княжна Феклуша как-нибудь прельстила ее говорить мне о женитьбе в то время, когда ей самой некогда было.

— Чтоб черт побрал таких советниц! — сказал я, отворотясь и держась за затылок.

— Почему же не так,— сказала Марья снисходительно,— например, если на примете девица честная, умная, трудолюбивая, деятельная...

— Да, очень трудолюбива, деятельна.

— И, сверх того, довольно богатая!

При слове «богатая» вытаращил я глаза.

— Что же, разве не так? Разве Мавруша, дочь нашего старосты, не такова?

Я был в неописанном изумлении.

— Дочь старосты? — сказал я сквозь зубы, заикаясь.— Да кто велит ему отдать дочь за такого, как я?

— Довольно, что вы ей нравитесь,— отвечала весело старуха.— Вы в глазах ее отличный жених, и она,— скажу наперед, что я с нею обо всем переговорила,— она обнаружила крайнее желание быть вашею женою и княгинею, а достатка у нее довольно, чтоб вести себя сообразно такому знатному званию. Не сомневайтесь в успехе! Завтре — праздничный день: оденьтесь почище, подите прежде в церковь усердно помолиться, а потом и к старосте.

Марья удалилась, а я начал приготовляться. Вынул мундир прадеда моего, служившего в каком-то полку унтер-офицером; осмотрел его хорошенько, и он мне показался самым свадебным; снял с гвоздя тесак, почистил суконкою и выколотил пыль из шляпы. Словом, я представлял крайнее удивление крестьян, когда увидят меня в сем наряде, и особливое желание старосты выдать за меня дочь свою. А легши в постель, я мечтал: «Итак, я женюсь на Мавруше! А как скоро женюсь, то денег у меня будет довольно, да и довольно. Сей же час куплю место в городе и построю дом, потому что и подлинно князю Гавриле Чистякову в деревне жить не совсем прилично. Моя княгиня нежного сложения; она не привыкла ни жать, ни полоть, ни платье стирать; ее дело — наряжаться, поплясать и песенку пропеть».

Глава V

Сватовство

Едва рассвело, я уже был на ногах. Образ прекрасной Мавруши беспрестанно носился в моем воображении; но, признаюсь, образ городского дома, карет, лакеев и прочих удобностей в жизни, которые получу я в приданое за нею, еще более пленял меня.

Рассматривая мундир, шпагу, трость и другие оттенки моей знатности, я веселился в духе и в мыслях своих; тысячекратно благодарил премудрой Марье за такую дорогую ее выдумку. «Можно ли и подлинно,— говорил я, смотрясь в лоскуток зеркала, вмазанного в стену, и повертываясь перед оным,— можно ли, чтоб староста, как бы он, впрочем, богат и спесив ни был, отказал такому человеку, каков я? Никак нет, никоим образом. Первое, он побоится оскорбить знатность моих предков; второе,— что еще более,— меня самого, вооруженного сим тесаком, доказывающим самою древностию своею древность благородного моего дома». Одним словом, почти за час до начатия обеден я был готов, ходил по избе, точно как испанец, смотрел на все сурово, и если кошка или барбоска мне попадались, я грозно извлекал меч свой и гонялся за ними, приговаривая такие слова (как покойный батюшка мне рассказывал, хотя ни он, ни отец его не видывали битвы), какие обыкновенно произносят на сражениях, преследуя неприятеля.

В жару таковего благородного восторга расшиб не один горшок и два стекла в моем чертоге; зацеплял Марью, отчего она вскрикивала, и, что всего было для меня прискорбнее, продрал дыру на поле мундира о гвоздь. Я остолбенел, Марья еще больше. «Ах! боже мой,— вскричали мы оба с ужасом.— Что теперь делать? Скоро заблаговестят к обедне! Зашить? Так у нас, ваше сиятельство, нет ни на палец шелковой нитки. Ах, прекрасно! Конечно, само счастие, управив стопы ваши за дерзкою кошкою, сунуло полу мундира на гвоздь... Скажите всякому, кто будет спрашивать, да не худо и тем, которые и не спросят, что эта дыра произошла от выстрела пулею, когда один из князей Чистяковых был на престрашной баталии».

Услыша такой прекрасный план, я хотел показать радость, прыгнул на аршин вверх, опустился наземь, тесак

запутался между ногами, и эфес его, вероятно переведенный ржавчиною, отломился, отскочил, зазвенел и пал у ног изумленной Марьи.

— Боже мой! — говорил я протяжно, вставая с полу,— ну что теперь скажешь, Марья? — Марья задумалась, потом улыбнулась и сказала:

— Бог все строит на пользу вашего сиятельства. Если кто спросит о причине, отчего у тесака вашего нет эфеса, вы можете сказать, что воинствующий предок ваш, сражаясь с неверными турками, потерял его; а если кто спросит: как? то отвечайте, что он, поражая супостата, ударил по тесаку и клинок отскочил.

— Так эфес остался в руках,— сказал я в недоумении и соображая мысль Марьи.

— То-то и есть! Он кинул эфес, как ненужную ему вещь, а клинок поднял.

— Браво,— сказал я в восторге и пошел в церковь, ибо давно уже звонили. Я думаю, ни сам Август Цесарь не был так горд во время триумфа после победы, решившей участь его, как я, надеясь получить Маврушу, дочь старостину. Я уже пленил ее; теперь остается пленить старосту, а это, кажется, немудрено. Мундир с дырою и тесак без эфеса. О! это — такие великие приманки, против которых устоять трудно! Таковы мысли мои были при входе в церковь; но увы! никто не оказывал удивления. Всякий улыбался с презрением; а как проходил я мимо старосты, то он довольно громко засмеялся, ибо старосте все позволяется. Я оглянулся величаво и приметил краску на лице Мавры, но староста продолжал смеяться.

— Это зависть,— говорил я сам себе и гордо озирался вокруг; но на всех лицах начертано было глубочайшее негодование и даже презрение, кроме княжны Феклуши, стоявшей у дверей. Взор мой встретился с ее взором. Она замешалась и потупила глаза. Мне показалось, что она довольно стала дородна с тех пор, как перестала посещать меня, чему прошло недели три. Это открытие произвело то, что я обтер пот на лбу и вышел из церкви. Совесть мучила меня.

— Что мне делать теперь? — сказал я, стоя у ворот ограды, потирая руки и стараясь возбудить хотя одну порядочную мысль. Наконец блестящее нечто проникло в душу мою; ум мой озарился светом. «Так, это сделаю»,— вскричал я и пошел к дому старосты, клянясь сам себе быть не меньше храбрым в его доме, как предок мой на

сражении, где он получил рану в мундир и потерял эфес от тесака.

Я вхожу твердым шагом и вижу в доме великое приготовление к принятию гостей.

— О! конечно,— сказал я заикаясь,— сегодни здесь праздник.

— Так,— отвечала, наморщась, Пегасия, жена старосты,— сегодни Мавруша, дочь наша, именинница.

— Это очень хорошо и прекрасно,— сказал я, не зная, что отвечать приличнее, и стоял, как столб, на пороге.

— Что вам угодно, князь? — спросила Пегасия. — Если нужду имеете до моего мужа, то прошу подождать: он скоро будет.

Слово «князь» привело меня в себя; я поглядел на дыру в поле мундира, на безэфесный тесак и, с важностию вступя в комнату, сел на стуле.

На досуге рассматривал я уборы покоя и не мог не признаться душевно, что ничего лучшего не видывал, и в мыслях своих уже назначал для себя, что было получше и что, без всякого сомнения, староста даст в приданое за своею дочерью; картины особливо привлекали мое любопытство. Они, как жар, горели в красках. Я встаю и по порядку рассматриваю. Боже, какие чудеса! Тут синие мыши погребают фиолетового кота. «Это, видно, заморские звери»,— думал я и обратился к другой. О ужас! там представлен был Страшный суд. Ад так широко разинул пасть свою; в нее волокли бояр, попов, старост, князей, убийц, зажигателей; они все были с багровыми от страха лицами. Я глядел далее и смотрел на изображение грехов, также туда идущих. Тут Гордость, там Жестокость, Лицемерство и проч. Я пробежал глазами большую половину их и душевно радовался, что я не убийца, не зажигатель. Правда, при изображении гордости я немного закраснелся, как вдруг попался глазам моим обольститель невинности. Побледнев, отступил я назад. После подошел полюбопытствовать, что будут делать с обольстителем невинности. Феклуша живо представилась моему воображению.

Я вижу: черти раскаленными клещами вытаскивают язык из гортани, приговаривая: «Не лги, не клянись, не обольщай!»

Волосы стали у меня дыбом. О! прекрасная и невинная княжна Феклуша! Что будет с бедным твоим князем Гаврилою Симоновичем. Я схватил шляпу, трость, хотел

бежать и отказаться от богатой Мавруши, дабы не быть посмешищем злым духам, как староста, по руку его дочка и множество знатнейших князей и крестьян нашей деревни вошли в комнату.

— Добро пожаловать, князь,— сказал староста с дружескою улыбкою.— Вы кстати пришли; сегодни ангел моей дочери; прошу вместе откушать.

— Я пришел совсем не с тем намерением,— отвечал я, поправляя галстук и опять закрасневшись; я не мог продолжать ни слова. Если б староста был догадлив, то по краске моей, по глазам потупленным легко бы мог догадаться, о чем хочу говорить; но он был как кремень в сем случае.

— Говорите, князь,— сказал он весело, и я кое-как мог дать ему заметить, что хочу беседовать с ним наедине.

Он ввел меня в особливую комнату, посадил, сел сам и опять спросил о причине прихода. Я не знаю, как мог я вести с ним разговор довольно разительно, как сами услышите:

Я. Слыхал я от покойного отца моего, что вы были с ним искренние друзья.

Он. Хотите ли говорить со мною чистосердечно и не оскорбляться, если скажу истину?

Я. О, я вас прошу о том! Дело, за коим пришел сюда, требует чистосердечия.

Он. Так, с покойным отцом вашим жили мы по-приятельски! Он был умен, добр, а что всего нужнее в нашем быту — домостроителен.

Я (*покрасневши и ощипываясь*). Это правда.

Он. Что хотите сказать далее?

Я (*потупя вниз глаза*). На сем основании полагаю я надежду, что вы не откажете выдать за меня дочь свою Маврушу, которую я обожаю.

Признаюсь, я солгал. Не только не обожал я Мавруши, но и не любил ее; а богатство отца ее трогало меня за живое, и его-то больше обожал я. Староста выпучил глаза, посмотрел на меня с ног до головы. Я уверен, что он не догадался заметить дыру на мундире и безэфесный тесак и потом, наморщившись, сказал:

— Князь! Чем будете кормить жену свою?

Что мне было сказать? Я сидел, побледневши и не могши отворить рта.

— Молодой человек,— продолжал староста,— когда хозяйство твое примет лучший вид, когда приведешь его

хотя в такое положение, как было при отце твоем, тогда приди и объяснись,— я посмотрю, и может быть...— а теперь до свидания! — Он встал и вышел.

Ледяная гора легла на груди моей. Насилу мог я подняться и вышел, шатаясь от стыда и отчаяния; в глазах моих померкло; предметы то двоились, то совсем исчезали. Однако при такой расстройке моего воображения я заметил, что гости смотрели на меня, как на чудовище. Стол был собран. На нем стояли бутылки с водкою, с медом и пивом и блюда с кушаньем. Все ждали моего выхода, после которого должно последовать благословение священника и пиршество. Я удвоил ход, шагнул; но кто опишет мое тогдашнее положение? Верхний кончик безэфесного моего тесака, довольно высунувшийся, зацепил за висящий конец скатерти; с быстрым моим движением и она подвинулась со всеми своими водками, винами и кушанием. «Ах!» — раздалось со всех сторон; я испугался, сделал усилие, еще шагнул, и все, звеня, бренча и скрыпя, очутилось на земле, и я сам повалился на пол; с быстротою вихря вскочил я, но уже сапоги мои полны были вина и водки, а по лицу струилась жирная лапша.

Я ударился бежать что было силы; мужики смотрели на меня с удивлением, а ребятишки кричали кругом: «Смотри, смотри, князь одурел!»

В таком наряде прибежал я домой. Бедная Марья заплакала. «Что это значит?» — сказала она, трепеща от страха.

«Жестокая судьба моя,— отвечал я, задыхаясь от стыда и гнева.— Раздень меня скорей; обедать я не хочу; мне нужно успокоиться». Я скинул мундир и сапоги, вымылся и лег в постелю, но заснуть не мог. Стыд мой был беспрестанно в глазах моих.

Глава VI

Еще князь

На сем месте своей повести князь Гаврило Симонович должен был остановить продолжение оной по следующему обстоятельству. Около четырех часов пополудни в зале Катерина играла и пела арию; в спальне сидела Елизавета и читала книгу. Князь Гаврило Симонович в теплом сертуке бродил по деревенским улицам; а Простаков

в своем кабинетце курил трубку и читал книгу, жена его, сидя у окна, штопала чулки.

Муж *(тихо)*. Как величественно каждое слово его! Каждая мысль есть урок!

Жена *(так же тихо)*. Ну, нечего! Что слово, то вздор; что мысль, то дурачество!

Муж *(тихо)*. Как благороден должен быть взор его в эту решительную минуту!

Жена *(тихо)*. Когда он с княжною Феклушею забавлялся в бобовой беседке? или когда бежал домой, опрокинув целый стол у старосты?

Муж *(громко)*. Как величественно должно быть тогда лицо его!

Жена *(так же)*. Когда он в первый раз явился к нам весь в грязи, в лохмотьях, с расцарапанною харею? Я удивляюсь, сударь, что ты находишь в нем так много отличного; может быть, он и добр, но признаюсь, что ума в голове его ни на полушку. Шутка! потоптать свой огород, из чего?

Муж. Или ты, жена, с ума сошла, или никогда его и не имела. Я читаю историю о Петре Великом и говорил про себя о том положении сего единственного героя, когда он одним словом обезоруживает толпу заговорщиков.

Жена. А я, право, думала, что ты говоришь о нашем князе Гавриле Симоновиче; я не нахожу в нем ничего отличного.

Муж. Зачем ты ищешь везде отличного? Что ты такого в себе находишь? Он, как видно, не знает света, но такое незнание для него спасительно! Он чистосердечен, открывает погрешности свои со всем признанием дитяти. Этого довольно. Кто ходит всегда без маски, того безошибочно можно назвать добрым! Ты мне твердишь беспрестанно, что он очень прост; хорошо! Поезжай я с тобою и дочерьми в Петербург или Москву,— уверяю тебя, большая часть назовут нас, не заикаясь, пошлыми дураками.

Жена. Никак не верю! У батюшки моего бывали в феатрах, в маскерадах и на балах большие господа из Москвы и Петербурга, но ни один и взором не показывал, чтоб я была дура.

Муж. Этому я верю. Пожалуй, не мешай мне!

Он отворотился, принялся опять за книгу и трубку, и спокойствие возобновилось, но ненадолго. С необычайным стремлением старый слуга Макар входит в комнату, где сидели Простаковы:

— Барин! Там внизу у крыльца стоит князь и просит позволения войти пробыть до тех пор, пока починят его карету.

— Починят карету? — вскричали муж и жена, вставши каждый с своего места.— Что это значит? какую карету? Едва ли, жена, не твоя правда. Он — какой-нибудь бездельник и, может быть, тайный враг нашего спокойствия. Нет, нет! сейчас же вон! Скажи ему, Макар, чтоб и нога его не была ни на одной ступеньке моей лестницы. И он еще издевается над нами! Не так ли? Имея всегда невозбранный доступ, он просит позволения войти? Видно, он свое дело уже сделал и теперь хочет позабавиться.

Едва Простаков с беспокойством и горестию оканчивал речь свою, которую жена его одобряла взорами и вздохом, а слуга стоял, ничего не понимая,— вдруг является князь Гаврило Симонович. Все оторопели. Тогда князь, подошед к Простакову, с некоторою тревогою на лице сказал:

— Вашего ответа ждет у крыльца князь Светлозаров, как сказывал его слуга.

— Как? Что? — вскричали опять муж и жена в один голос, взглянули друг на друга и потом на князя Гаврилу с недоумением.

— Как! милостивый государь,— возгласил Простаков,— так не ваша карета в моей деревне починивается?

— Моя карета? — сказал Чистяков с горькою улыбкою.— Было, правда, время, что я езжал в карете, но и теперь должен ненавидеть время то. Вы о сих обстоятельствах жизни моей услышите, когда только того пожелаете и дадите мне пробыть здесь несколько дней.

— Хотя целую жизнь! — вскричал радостно Простаков, обнимая его.— За несколько секунд я тебя обидел, подумав, что карета твоя и что ты для какой-нибудь причины вымышленною бедностию нас обманывал. Прости меня!

— Обманывал? — сказал Чистяков с крайним смущением и отвернулся, чтоб скрыть навертывающиеся слезы. Простаков крайне смешался; ему было больно и досадно, что питал в себе хотя минутное подозрение в честности гостя. Он подал ему руку с ожидающим взором. Князь его понял, они обнялись, и сердца их примирились.

Меж тем в покоях их собрались дочери, несколько девок, лакеев, и все вполголоса твердили: «Посмотрим, какой-то будет другой князь?»

— Милостивый государь,— сказал он Простакову с умоляющим видом,— покуда пробудет у вас сей князь, по

наружности богатый, прошу вас покорнейше дать мне на время другое имя и фамилию,— клянусь не с тем, чтоб кого-либо тем обманывать, но я имею важные причины, о коих и вы со временем узнаете и будете довольны. Пусть ни он, ни люди его не знают, что я — князь, и притом князь Чистяков. Это заставит богатого гордеца шутить на мой счет; а чтоб сие было вам приятно,— не думаю.

— Без всякого сомнения! — вскричал Простаков и послал слугу просить князя пожаловать. Слуга вышел, и Простаков продолжал:— Итак, вы останетесь у нас просто, ну, пусть Терентьем Пафнутьевичем, бедным дворянином, разорившимся от тяжбы, и другом или даже дальним родственником нашего дома.

— Но фамилия,— сказал скоро Чистяков,— я вдруг не придумаю.

Все приняли вид изобретателей: Простаков потирал лоб, Маремьяна глядела в потолок и молча шевелила губами; но все не могли на скорую руку привести на мысль приличного названия гостю.

— Боже мой! он уже недалеко, а я еще не имею фамилии.— Все молчали. Вдруг ворона садится на окно и начинает страшно кракать.

— Дурной знак! — возопила Маремьяна.

— Браво! — вскричал Чистяков,— что может быть этого лучше! Назовите меня *господин Кракалов*. Это, кажется, прекрасное название и самое приличное для дворянина, от тяжбы разорившегося.

Все одобрили его выбор фамилии, и в ту же минуту по всему дому отдан был строжайший приказ и слова не говорить о князе Чистякове, а называть его просто Кракаловым.

С шумом отворяются двери, и, подобно бурному дыханию ветра, влетает новый князь и производит звук, скрып, шарканье. Он казался с виду около тридцати пяти лет, но был так еще жив, так ловок, так привлекателен, что можно было ошибиться и сказать, что еще не более двадцати пяти. Лицо его было нежно; приличная сану важность и вместе тонкая любезность привлекли ему с первого взгляда благорасположение, кроме Простакова и князя Гаврилы Симоновича.

— Позвольте спросить, в ком из вас честь имею видеть господина дому?

Простаков подошел к нему по-простаковски, взял за руку и сказал:

— Я — хозяин, это — жена моя, а это — дочери; прошу садиться.— И между тем сам сел спокойно. Но зато госпожа Маремьяна и обе дочери начали рассматривать нового гостя с ног до головы.

Он был одет великолепно и на три сажени простирал благоухание. На руке сиял дорогой перстень. Он сидел, развалившись в креслах, и левою рукою играл цепочкою от часов, а правою держал небольшую трость, которой золотым набалдашником щелкал себе по зубам.

— Это дочери ваши, сказали вы, господин хозяин?

Едва Простаков отворил рот, как Маремьяна Харитоновна подхватила:

— Так, ваше сиятельство; это — старшая, Елизавета, а это — меньшая, Катерина. Той уже минуло девятнадцать лет, а этой нет еще и семнадцати. И они воспитаны в пансионе, в губернском городе, хотя это стоило нам и...

Простаков горел негодованием. Он кинул грозный взор, который поразил ее тем больше, чем реже она видала от него подобные. Князь не заметил сего, ибо он, как ловкий человек, с благосклонным видом рассматривал закрасневшихся дочерей ее.

— А это, сударыня,— сказал князь, обратясь к ней и указывая тростью на бедного Чистякова, который стоял у дальнего окна и, никуда не глядя, считал на руках пальцы,— это, конечно, из ближних соседей?

— Это...— сказала она, заикаясь и взглянувши на мужа.

— Это,— отвечал Простаков сухо,— дальний наш родственник Терентий Пафнутьич Кракалов, дворянин, от тяжбы разорившийся.

— Я очень рад, что имею честь видеть,— сказал князь, обратясь к Чистякову, кивнув головою и шаркнув ногою, не поднимаясь с места.

— Нечему радоваться, ваше сиятельство,— отвечал Чистяков, поклонясь низко, и вышел в свой покой.

Когда отпили чай, князь просил позволения быть свидетелем дарований дочерей их. Маремьяна с радостию на то согласилась; пошли в зал, но затруднение было, кому играть и кому танцевать с князем. Маремьяна настояла, чтоб дочери ее по очереди оказали оба сии искусства; но Елизавета упорно настояла, что она готова играть, но танцевать отнюдь не может.

— А я хочу непременно,— вскричала Маремьяна с краскою гнева на щеках.

— Не делай принуждения,— сказал Простаков довольно сердито,— что делается против воли, то никогда хорошо не бывает. Елизавета играй: пусть танцует Катерина.

Мать замолчала. Елизавета села за фортепиано; князь с нежностию взял за руку Катерину, и танцы начались.

Нельзя было и подумать, чтоб князь Светлозаров, будучи в таких уже летах, когда мужчина невольным образом, без всякого намерения, принимает вид важный; нельзя было подумать, говорю я, чтобы князь мог походить на молодого беспечного человека, упоенного лестною надеждою любви и счастия. Князя можно бы уподобить вечно юному Аполлону, если бы бог сей когда-либо делал прыжки на Олимпе. Но зато Катерина превзошла ожидание матери, которая блестящими от радости взорами сопровождала каждый шаг ее, каждое движение; но Простаков, сидя в углу, морщился и наконец, не стерпев, сказал вполголоса вошедшему уже и стоявшему подле него князю Чистякову:

— Не правда ли, что злой дух вселился между нами?

— Едва ли не он,— отвечал Чистяков со вздохом и пожимая плечами.— Хотя тут и нет бобовой беседки, однако...

— Черт везде равно ставит свои сети,— отвечал Простаков также со вздохом.

Так протекла большая часть вечера, и на часах ударило девять.

Простаков не вытерпел: «Не время ли отдохнуть вашему сиятельству, чтобы собраться с аппетитом; скоро пора ужинать».

Князь не отвечал ни слова, а продолжал вертеться до тех пор, пока штука кончилась. Он с ласкательною улыбкою подошел к Маремьяне Харитоновне, наклонил голову и сказал: «Надобно отдать справедливость, что прелестная дочь ваша танцует как ангел. Ах, если б ей больше упражнения. Но с кем и как в деревне!» — «Для деревенских девушек это — последнее искусство,— сказал сухо Простаков,— были бы они только умны».

Маремьяна перебила: «Ах, батюшка ты мой! Почему знать судьбу их? Может быть, весь век случится провести в городе, либо еще и в столице».

Муж, по обыкновению, кинул на нее значущий взор; она замолчала.

Князь подошел к нему:

— Вы, помнится, что-то мне хотели сказать?

— Не угодно ли отдохнуть несколько? Пора ужинать и спать.

— Спать? — вскричала Маремьяна с крайним беспокойством и опустила руки.

Князь вынул часы:

— Боже мой! Что вы это такое сказали? Спать в десять часов? Это значит убивать время. Не есть ли это самые лучшие часы для удовольствий?

— Не принуждайте себя,— сказал Простаков и подошел к жене.— О чем ты ахаешь, сударыня?

Она таинственно взяла его за руку, повела в особую комнату и взором дала знать Чистякову, чтобы и он за ними следовал.

— Ах! какой любезный человек этот князь! — сказала она с восторгом.

— Это могла ты сказать после,— отвечал муж сердито.

Жена. Ты всегда сердишься, друг мой; это, право, неприятно; и еще при посторонних.

Муж. Не подавай к тому причины.

Жена. Теперь ты сам подал ее.

Муж. Чем, например?

Жена. Ты собираешься спать, а и не подумал, где положить гостя?

Муж. В этой комнате на софе. Для приезжего человека, который завтре едет далее, немного надобно; из слуг его один пусть пойдет, где починивается карета, а другой пусть будет спать в передней.

Жена. Ах, боже мой! Такой знатный господин на софе.

Муж. Усталому человеку тут гораздо лучше.

Жена. Однако ж ты не так думал, как прибыл к нам князь Гаврило Симонович!

Муж. Потому что я не думал отпустить его скоро: он был несчастен, что доказывал каждый взор его и каждое биение сердца; а этот едет в карете; каждую волю его исполняют несколько человек. Да и что ему тут делать?

Жена. Ах, милый друг мой! Если б он побывал несколько дней! Как бы упросить его?

Муж. Ты с ума сошла!

Жена. Ну, так по крайней мере, друг мой, уступим ему тот покой, где живет князь Гаврило Симонович.

Муж. Князь Светлозаров больше недоволен будет, если заставят его спать не одного.

Жена. Я не то говорю. Князь Гаврило Симонович перейдет на время в те покойчики, что в саду.

Чистяков вдруг подал с радостью свое на то согласие. Жена благодарила его искренно, и, прежде нежели муж успел произнести да или нет, уже был отдан приказ перенести туда постель, несколько стульев и белье, подаренное ему Простаковым.

Таким образом, муж хотел или не хотел, но должен был согласиться.

Вечер прошел в шуме и беспорядке, — пели, плясали, хохотали, льстили, льстились и проч., и проч., и бедный Простаков с крайне пасмурным видом вошел в спальню в половине первого часу за полночь, чего не случалось с ним со дня его отставки. Новый гость расположился в своем покое, а новый Терентий Пафнутьич Кракалов пошел в садовую избушку свою и был веселее обыкновенного от мысли, что она больше походит на древний княжеский дворец его, чем дом господина Простакова.

Глава VII

Гость

Все проспали или по крайней мере пролежали в постелях долее обыкновенного. Никогда так не был пасмурен Простаков, как в сие утро. Неудовольствие вечера оставило впечатление на щеках его и на глазах, а более на сердце. Чтобы сколько-нибудь рассеяться, он намерился, одевшись попросту, как и обыкновенно одевался по утрам, посетить нового пустынника своего Кракалова и разбить грусть с простым, но добрым человеком. Он сошел по лестнице в сад, снял шапку, перекрестился и сказал: «Слава тебе, господи, что эта сиятельная, пожилая уже, повеса сегодни едет; я даже не намерен просить его и к обеду. Пусть провалится к черту!»

Вшед в хижину г-на Чистякова, он его не нашел, а мальчик, приставленный служить ему, сказал, что г-н Кракалов с час как ушел прогуливаться и оставил к нему записку. Простаков берет ее, развертывает не без движения и читает: «Почтенный благодетель мой! Быть с вами каждую минуту считал я за величайшее удовольствие; но присутствие этого князя меня тяготит. Он, оскорбя меня, нимало не тронет, но знаю, что тронет чувствительное

сердце ваше; а потому не ожидайте меня к чаю; к обеду я буду и надеюсь, что встретите вы не г-на Кракалова, но уже преданнейшего вам Чистякова».

— Конечно, конечно,— сказал Простаков с довольною улыбкою.— Повеса, конечно, поймет, что, не удерживая его, желают скорее избавиться.

Он пошел по саду, проходил около часу, ибо утро было хотя и зимнее, но довольно сносное, и солнце сияло на безоблачной тверди. Идучи из саду, вздумалось ему пройти двором, осмотреть конюшни, каретный сарай и прочее. Он взошел, и удивление его было немалое, видя незнакомую карету, из которой люди что-то вынимали. Подошед с нетерпением, спросил он: «Чья это карета? Кого еще господь пожаловал?»

Слуга отвечал: «Князя Светлозарова».

Простаков прежде изумился, но после подумал, что, конечно, нежный боярин за большой труд ставит со двора дойти до того места, где чинили карету; что и подлинно составляло около четверти версты. «Что же вы тут делаете?» — спросил он опять.

Слуга отвечал: «В этом ларчике княжеский туалет; в этом бауле его дорожный гардероб, а в этой шкатулке — деньги, дорогие вещи и нужные бумаги».

Простаков отошел, примолвя: «Куда как причудливы эти господа знатные! Чтоб напиться чаю у деревенского дворянина, надобно вытаскивать и туалет, и гардероб, и бумаги. Право бы, я не взыскал, если б он в том же платье сел в карету, в каком явился вчера, в простом дорожнем сертуке».

Едва вступил он в покой, как человек уведомил, что его давно ждут в гостиной зале. Он переменил тулуп на сертук и вошел. Крайне удивился он, увидя отличную радость на лице каждого, кроме Елизаветы. Едва успел сесть, как Маремьяна Харитоновна, с торжествующим видом оборотясь к нему, сказала: «Ты не поверишь, друг мой, как снисходителен к нам его сиятельство. Представь себе: я могла его уговорить дать слово не только от нас сегодни не уезжать, но и пробыть здесь недельку, другую». Простаков оцепенел, взор его неподвижно устремлен был на жену, которая не могла понять, как он столь равнодушен к такому счастию.

Опомнясь несколько, оборотился к князю, чтобы сделать какой-нибудь поклон; но, увидя на руке Катерины бриллиантовый перстень, бывший вчера на руке Светло-

зарова, взор его помутился, бледность покрыла щеки, чувства его оставили, и он склонился на ручку кресел.

— Ах! — раздалось отовсюду. Никто не мог понять, что ему сделалось; все бросались, суетились, подносили разные спирты, и кончилось тем, что бесчувственного старика положили в постелю.

Несколько часов пробыл он в таком положении; наконец, пришед в себя, видит Елизавету и князя Чистякова, стоящих у кровати его и рыдающих. Они подняли радостный вопль и бросились обнимать его.

— Где мать? Елизавета! где сестра?

— Они кушают; я сейчас побегу.

Чрез несколько секунд прибежали все. Маремьяна бросилась в его объятия; Катерина целовала руку.

— Оставьте меня, безрассудная дочь и еще безрассуднейшая мать; довольно с меня сердца доброй моей Елизаветы и сего почтенного друга; оставьте меня! Я не люблю сердец жестоких и душ ветреных, напыщенных.

Маремьяна и Катерина, стоя, чуть не плакали. Елизавета пала на колена, прижала руку его к сердцу своему и, всхлипывая, спросила:

— Батюшка! чем вы недовольны?

— Чувствительная дочь моя,— сказал он,— или и твое доброе сердце не понимает?

Она воздохнула и потупила взор.

— Ступайте все обедать, ступай и ты, достойный друг мой! Или не слышите, как гость наш, ходя по зале, насвистывает песню? Ступайте; я успокоюсь и выйду сам. Надобно сносить, что посылает нам случай; чем оно неприятнее, тем угоднее небу наше терпение.

— Дай бог, чтоб это было так,— сказал князь Чистяков.— С сей поры я и чай буду пить вместе с князем Светлозаровым.

Все ушли. Простаков, подумав хорошенько, нашел, что он строже, чем надобно. «Князь Светлозаров — повеса,— это правда, но может ли он развратить мое семейство в десять каких-нибудь дней, когда я старался сеять в сердце каждого семена добродетели и чувствительности более двадцати лет? Впрочем, он не столько виноват; женина безрассудность всему причиною. Свят бог, все пойдет хорошо. Я постараюсь не нарушать благопристойности, но также не могу быть и соучастником их дурачеств. У меня есть прекрасные места для прогулок, есть пространное поле и любезный друг Чистяков».

Как сказал, так и сделал. Оделся, вышел и довольно ловко изъяснился с князем в рассуждении своего припадка. Все пошло хорошо; он помирился с женою и Катериною; но строго наказал первой быть бережливее на отдавание похвал, а последней — на принятие оных.

Посему-то он не оставлял посещать часто уединенную обитель своего друга, и с ним или и один разгуливал по снежным равнинам, и дни шли довольно приятно. Мать и дочь поняли все благо его советов, а князь Светлозаров, то приметя, сам сделался постояннее, занимательнее; и хотя сердце Простакова никогда к нему не отверзалось, по крайней мере князь был для него сносен; но не видать его было гораздо приятнее. По таковому расположению решился он на несколько дней съездить в ближний городок и сделал то под выдуманными надобностями, оставив князя Чистякова строгим блюстителем над своим семейством и целым домом. Это Маремьяне показалось обидно, князю Светлозарову — странно, и всем — непонятно.

В один вечер, довольно пасмурный, все семейство и оба князя собрались вместе и ожидали Простакова, ибо он именно хотел быть в тот день, около вечера. Урочный час прошел, и его не было. «Далеко ли-то он теперь?» — спрашивали все поочередно, и никто не мог дать ответа. Еще прошел час, а его нет. Все тревожились, сидели молча; Маремьяна на софе, подле нее Катерина с одной <стороны>, а князь Чистяков — с другой, Елизавета у окна на двор и рассматривала снежные облака, носящиеся по небу. Она рада была, что никто не слыхал вздохов ее, а если и слышал, то относил к одному предмету, ибо все вздыхали о замедлении Простакова.

Наконец Елизавета вскрикнула:

— Батюшка едет!

Все вместе подняли и крик и шум: «Едет, едет», так что Простаков услышал то на дворе и приятно улыбнулся. Входит; все стремятся к нему в объятия, и растроганная Маремьяна укоряет его в несправедливости, для чего он не прибыл в назначенный час.

Простаков с довольным лицом сказал:

— Я просидел лишний час у знакомого священника. Увидев там молодого человека с приятным и умным лицом, узнал я, что он ремеслом живописец, разговорился с ним и нашел честные правила, знания достаточные и опытность не по летам. Я решился взять его с собою, чтобы он срисовал портреты со всей моей фамилии, а между

тем преподавал уроки в живописи дочерям моим, особливо Елизавете, которая до нее большая охотница.

— Быть может, дорогой за то захочет платы? — заметила Маремьяна.

— Нет,— отвечал муж,— он человек бедный и до того безроден, что не имеет и фамилии и называется просто Никандром.

Князь Чистяков и Елизавета тихонько вздрогнули, каждый вспомнив о любезном ему имени, с которым впоследствии познакомимся покороче.

Наконец этот Никандр входит. Все теснилось к нему; Елизавета также встала взглянуть на будущего своего учителя, и сердце ее потряслось от поражающей радости. Она узнает в нем городского своего друга и отходит назад, чтоб не приметили ее крайнего смущения. Никандр равномерно узнал ее, и смятение его было неописанно; но это причли робости молодого человека перед семейством богатого помещика.

— Ну, господин Кракалов,— сказал весело Простаков,— вот вам покудова товарищ. Я уверен, что вы будете им довольны.

— Будьте совершенно уверены! — отвечал Чистяков.—Я хотя не много из наук знаю, но от сердца люблю знающих людей.

Вечер проведен весело; г-жа Простакова довольна была особенно тем, что живописца поместят с князем Чистяковым и что он не потребует большого содержания.

Глава VIII

Приготовление к свадьбе

Несколько дней сряду проведено было в распределении уроков, а особливо в экзаменовании Никандра. Молодой человек оказался выше всякого чаяния и надежд г-д Простаковых.

— По чести, он говорит по-французски прекрасно,— сказал князь Светлозаров однажды вечером, сидя в креслах развалившись и ожидая начатия танцев.

— Он еще лучше играет на фортепиано,— сказала Маремьяна, поправляя чепчик.

— И отменно со вкусом рисует,— возразила Катерина.

Елизавета взглянула на него с нежностию ангела, и взор ее спрашивал: «Не правда ли, что сердце твое всего лучше и что любовь твоя неизменна?» Она прочла в глазах его удовлетворительный ответ, вздохнула сладостно, и кроткое удовольствие разлилось во внутренности души ее.

Часы уроков распределены были так: поутру заниматься языками и рисованьем, а ввечеру — музыкою.

В один день, едва только встали от обеденного стола, человек вручает князю Светлозарову письмо. Он смотрит надпись и изменяется в лице; ломает печать, читает, приходит в большее замешательство и говорит сквозь зубы: «Надобно уступить всемогущей силе обстоятельств! Карету сию минуту!»

Как ни приступали к нему, чтобы узнать о причине такого мгновенного отъезда, он довольствовался ответом, что домашние дела не терпят отлагательства; и к крайнему удовольствию большей части семейства, а особливо Простакова и князя Гаврилы Симоновича, карета его загремела со двора. Уезжая, он простился дружески и обещал в непродолжительном времени посетить опять такое любезное семейство. Маремьяна Харитоновна задумалась, Катерина вздыхала, Елизавета была в прежнем состоянии, с тою только разницею, что вздохи ее и колебание груди были не следствие горести сердечной, как прежде, а кроткого упоения любви и надежды. Так протекали дни и недели. С каждым днем Простаков более и более прилеплялся сердечною привязанностию к князю Чистякову и молодому другу его Никандру, ибо сии последние полюбили один другого самою нежною любовию.

Настали длинные декабрьские вечера, и в один из них, когда Никандр с Елизаветою занимались музыкою в столовой, а Простаковы, князь Чистяков и Катерина сидели в гостиной у камина, вдруг хозяин с живостию сказал:

— Что, князь, забыли мы о продолжении твоих похождений, а ты не напомнишь? Зимние вечера всего к тому пристойнее.

— С охотою,— отвечал князь Гаврило Симонович,— если только вы согласны далее слушать. Помнится, я остановился на том, что пришел в великом отчаянии от несговорчивого старосты и лег в постель, чтобы сколько-нибудь прогнать грусть мою о потере Мавруши и ее богатства. Однако сон убегал меня; я вздыхал, стенал и не знал, что делать; наконец встал и сел, подгорюнившись, у окна, положа голову на руку. С великим негодованием

смотрел я на резвящихся котенков и щенков и сказал: «Негодные творения! Вы веселитесь, а князь, властелин ваш, в отчаянии!» Я отворотил голову и — о недоумение! — вижу старосту, входящего ко мне с двумя из первостатейных князей нашей деревни. Я вскочил, вытянулся, покушался что-то сказать, но язык мой не ворочался. Слава богу, что староста скоро вывел меня из сего тягостного положения. Он первый начал так:

— Молодой человек! ты, конечно, родился под счастливою звездою! Судьба твоя скоро переменится. Дочь моя перемогла нас всех, и я склонился назвать тебя моим сыном. Чувствуешь ли ты свое благополучие и будешь ли благодарен?

— Великодушнейший из всех старост на свете! — вскричал я с такими размашками, как в уездном нашем городе кричат с подмосток паясы о днях пасхи,— благодарность моя будет неизъяснима.

— Хорошо,— продолжал он,— я сделаю тебе несколько вопросов, и ты клянись мне отвечать чистосердечно.

— Клянусь, благодетель мой,— вскричал я еще громче и пал к ногам его.

— Любил ли ты кого-либо из девок до сих пор?

— Никого, отец мой,— сказал я, несколько заикаясь, что причли, однако же, моей рассеянности от неожиданного благополучия и врожденной застенчивости.

— Будешь ли домостроителен?

— Сколько достанет ума и сил моих!

— Всегда ли постоянно будешь любить дочь мою?

— До кончины живота моего, более самого себя!

— Когда так хорошо,— сказал торжественно староста,— сын мой! Бог да благосло...

И замолчал...

Тщетно ожидаю окончания. Я подумал, что не слишком ли низко наклонился и ему трудно наложить на меня руки, и потому поднял голову, как вдруг почувствовал сзади страшный удар по щеке. Искры посыпались из глаз моих, и я повалился на пол в крайнем смущении. «Бездельник!» — раздался голос; но я в тогдашнем положении не мог распознать его. Несколько времени продолжалось молчание, я немного опамятовался, но не смел не только вымолвить ни одного слова, но и глаз открыть.

Вдруг слышу голос старосты: «Пойдемте, князья! Не я ли вам сказывал, когда вы уговаривали меня согла-

ситься на упрашиванья дочери, что это настоящий плут и целый разбойник? Кинем негодного, пойдем!»

Я слышал, как они ушли, и думал, что один остался. Встал, оглянулся кругом, и волосы поднялись дыбом: вижу князя Сидора Архиповича, едва сидящего на лавке (так угостил его жид Янька), и подле него тихо плачущую Феклушу, которая смотрела на меня с нежностию.

Отец ее кидал на меня свирепо кровавые глаза свои и значительно трепал рукою по брюху дочери. Она подошла ко мне с тою ласкою, с тою милою откровенностию, которая отличала ее в первые дни любви нашей в глазах моих.

— Как! — сказала она, и слезы опять навернулись на глазах ее,— и ты хочешь быть изменником? Что находишь отличного в Мавре? Молодость? она не моложе меня! Красоту? я прежде тебе понравилась! Невинность? Ах! и я была невинна! Богатство? пусть так, но бог равно взирает и на бедных!

Я не ожидал от нее такого красноречия. Она меня растрогала и мгновенно склонила в ее пользу. Быть может и очевидная невозможность выпутаться из сих обстоятельств и страшные глаза князя Сидора,— не знаю точно, что было причиною, только княжна Феклуша показалась мне тогда столь же любезна, столь прекрасна, столь мила с нажитою своею дородностию, как в первый раз в бобовой беседке, с тонким, легким станом. С любовью родилась решимость, и я обнял ее с горячностию, как свою невесту. Я теперь уверен, вопреки многим, которые говорят, что любовь супругов гораздо холоднее, чем любовников. Может быть, это отчасти правда, но зато первая нежнее, питательнее, благороднее. Словом: мы провели с Феклушею вечер очень приятно и отужинали вместе.

Поутру увидели мы, что почтенный князь Сидор Архипович княж Буркалов спал еще глубоким сном, и потому мы могли свободно беседовать.

— Итак, милая княжна, ныне день нашей свадьбы!

— Так, любезный князь!

— Что ж ты думаешь надеть к венцу?

— Я и сама не знаю, зеленое или алое тафтяное платье, которое ты подарил мне.

— Ни то, ни другое,— отвечал я,— а белое миткальное; оно больше пристанет тебе к лицу, а особливо в такой день.

Она согласилась. Мы встали, оделись, и я полетел к попу, чтобы заблаговременно уговорить его венчать нас как можно позже, ибо дородность моей невесты могла родить в народе некоторое движение.

Глава IX

Свадьба

Я воротился от попа с успехом. Хотя у нас почти вообще водится, что венчают тотчас после обедни, но я склонил его сильными доводами сделать нам снисхождение, дабы не подвергнуть общему стыду отрасли двух знаменитых фамилий князей Чистяковых, Буркаловых и, сверх того, не произвести в приходе небольшого соблазна. Пришед домой, застаю Феклушу в кухне вместе с Марьею, трудящихся в приготовлении легкого обеда, а больше великолепного ужина. Мы ожидали к себе только священника, одного князя и человек двух старых крестьян, ибо прочие князья один за другим отказались. Я немного об этом позадумался; но нареченный тесть мой, который уже встал, сказал мне:

— О чем ты грустишь, сын мой? Разве ты меньше от того князь Чистяков, что прочие князья наши не будут у тебя на свадьбе?

Отведши Феклушу на сторону, я сказал ей:

— Друг мой! я открою тебе за тайну, какую хочу сделать для тебя обнову к венцу! Ты знаешь, что я охотник читать книги. В одной заметил я, что в заморских краях невест украшают розовым венком, когда ведут в церковь. Но как роз у нас нет, да и пора им прошла, то я подумаю и поищу каких-нибудь других цветов, чтоб украсить и тебя венком. Ты ничуть не хуже заморской невесты, притом же все-таки княжна.— Она пожала мне руку, и я улыбнулся великолепной своей выдумке.

Мы отобедали наскоро.

— Княжна,—сказал я,— пора тебе примеривать платье, а я пойду искать приличных цветов. Ну, где твое приданое? — Она закраснелась и сказала невинно:

— Это приданое получила я от жениха!

Тут вынула она ключ от сундука, который был уже перенесен ко мне в дом, как и все имущество тестя; начала отпирать, но не тут-то было: ключ вертелся кругом, да и только. Долго смотрел я; наконец сказал с нетерпением:

— Дай-ка мне, я лучше тебя это знаю,— но и я вертел, вертел,— всё то же.— Что за черт? — вскричал я, поднимая крышку, и она без всякого усилия поднялась.— Да тут и замка нет,— говорил я, и глядь в сундук, ничего не было. Княжна побледнела, стоя на коленах и смотря на голое дно сундука. Я был почти в таком же положении.

— Ну, которое же платье,— спросил я, несколько рассердясь,— наденешь ты к венцу? красное, зеленое или белое?

Феклуша заплакала, протянула ко мне руки и сказала с чувством соболезнования:

— Это все — батюшкины проказы!

— Да где он? — вскричал я со гневом и встал.

— Не сердись, милый друг, не брани его. Я лучше пойду к венцу в праздничном набойчатом сарафане, нежели видеть его печальным. Бог нам поможет; мы и еще наживем.

— Наживем или нет,— сказал я сурово,— не в том сила. Но как пойдет к венцу князь Чистяков с своею невестою княжною, которая будет в набойчатом сарафане? это больно; а не без чего я хотел еще сделать тебе цветочный венок на заморский манер?

Феклуша опять заплакала.

— Не плачь, мой милый друг,— сказал я, смягчась, и вдруг луч разумения озарил меня. Я выхожу в кухню и вижу, что князь Сидор Архипович, сидя на скамейке, спокойно курит трубку и точит лясы с Марьею.

— Батюшка,— сказал я довольно сухо,— где платье и белье Феклуши?

— Спроси о том, сын мой, у жида Яньки: он это должен лучше знать.

— Марья! ступай за мной!

Мы вышли. Марья смотрела на меня с удивлением. Подошли к хлеву, где стояло единственное мое имущество — корова. Опутав рога ее веревкою, дал я в руки Марье большой прут и велел подгонять.

— Ваше сиятельство, сиятельнейший князь! — говорила старуха со страхом,— куда ведете вы корову?

Я молчал. Вышли со двора и направили путь свой к чертогу жида Яньки.

— Куда вы ведете ее? — кричала Марья с горестью.

— Подгоняй, Марья,— отвечал я,— видишь, она упрямится.

— Да что мне делать, ваше сиятельство?

— Бей ее покрепче,— говорил я с важностию.

— Да куда ведете вы ее? по крайней мере скажите; если убить, так напрасно: я к ужину припасла пару гусей, пару уток доморощенных; им не больше как от пяти до шести лет.

— Бей покрепче корову,— кричал я.

— Да куда ведете вы ее?

— К жиду Яньке,— сказал я вполголоса,— выкупить подвенечное платье моей невесты!

Пораженная ужасом, Марья чуть не упала без чувств, и это, конечно, было бы, если б не ухватилась она за хвост коровы, которая или уже озлилась, что я так свирепо тащил ее, или не узнала Марьи, изрядно лягнула ее ногою, так, что бедная старуха покатилась наземь.

Вставая и отряхивая пыль, сказала она:

— Когда так, когда это в пользу ее сиятельства Феклы Сидоровны,— буди по воле вашей! — Она отерла слезы и спокойно подгоняла корову.

Был праздничный день, и народу всякого звания и возраста было довольно на улице; все знали, как я, впрочем, ни таился, что сегодни венчаюсь.

— Смотрите! смотрите! Вот жених,— говорили одни, указывая на меня пальцами; другие отвечали: «Тише, не мешайте, он сегодни справляет бал и ведет корову к жиду». Видно, злой дух надоумил их или князь Сидор разболтал, что платье заложено у жида, и всякий догадывался, что я иду в таком торжестве выкупать его.

Хотя мне и крайне стыдно было, но образ милой Феклуши развеселял меня. «Как она будет хороша,— думал я,— в белом платье и цветочном венке! Тогда-то посмотрю, что вы скажете, проклятые ротозеи!»

Таким образом ополчась мужеством, бодро вел я корову свою к жиду и, несмотря на смешанный крик народа, кричал громче всех:

— Марья, бей крепче!

Мы достигли обиталища чада израилева. Несколько поспорили, пошумели, то надбавляли, то убавляли цену, а кончилось тем, что Янька отдал все имение будущей жены моей и, сверх того, пять рублей деньгами и два штофа водки. Я думал, что подобной великолепной свадьбы и самый знатный из предков моих не праздновал. Водку отдал я нести Марье, а сам, с узлом платья и пятью рублями,

как стрела бросился к своему дому, дабы сиятельнейшей невесте доказать любовь свою.

— Вот, княжна, возьми и располагай всем,— сказал я, подавая ей узел с платьем.— Изволь выбирать, что тебе полюбится: это ли красное, или это зеленое, оба тафтяные платья, и это белое, хорошего миткалю. Правда, княгиня, мать моя, была несколько тебя повыше, но ты теперь зато вдвое толще.— Тесть мой сидел в другом углу, и приметно было, что половина свадебных напитков ускользнула. Я дал ей то на замечание; она поставила мне в виду, что оно справедливо; и оба положили *на мере* спрятать подалее другую половину.

— Не печалься,— сказал я тихо, но с торжественным видом,— Марья принесет довольно.

— Как! — возразила будущая моя княгиня, оторопев и скидывая коты, чтобы надеть башмаки,— да откуда возьмет Марья?

— Молчи, мой друг,— отвечал я прямо по-княжески,— ты узнаешь больше.— Тут отвел ее за перегородку, в другую избенку, которую нарекли мы величественным именем опочивальни, и сунул в руку полученные мною от жида пять рублей. «Только отцу не сказывай! Это на домашние наши расходы!» — сказал я ей на ухо.

— Сохрани бог! — отвечала она после некоторого исступления, в которое приведена была такою нечаянностию. Отроду своего не имела княжна моя вдруг столько денег. Сколь же прелестно показалось ей супружество!

Меж тем как обедали, рассуждали, думали и передумывали, как считался я с жидом и прочие заботы нас занимали, смерклось.

— Феклуша! одевайся, а я пойду искать цветов тебе на голову.

Княжна начала убираться, а я пошел в огород и задумался. «Где мне взять теперь цветов? время осеннее, все поблекло и пало!» Как я ломал себе голову, ходя по запустелому моему огороду, вдруг увидел багряные головки репейника. Искра удовольствия оживила сердце мое, я бросился к нему, сорвал головок с полсотни и в совершенной радости тихо пошел домой. «Разве это хуже розы? — думал я сам в себе.— Она цветет, правда, нехудо и запах недурен, но все так скоро проходит, что, не успеешь взглянуть, ее уже и нет! А репейник? О прекраснейший из цветов! Тщетно ветер осенний на тебя дует,— ты все цветешь! О провидение! если б я не тосковал о Феклуше, когда она

не вышла на заре полоть капусту, и не перетоптал всего своего огорода, верно бы репейник истреблен был Марьею!»

Так рассуждая, вошел я в комнату, где была Феклуша, уже одетая в белое платье и опоясанная розовою лентою. Она не могла наглядеться на себя в обломки моего зеркала.

— Вот тебе и венок,— вскричал я радостно и высыпал на стол целую полу цветов своих.

— Это репейник! — сказала она печально.

— Да, репейник,— отвечал я,— единственный цвет, какой теперь найти можно. Не тронь, я все сделаю сам, а теперь пойду одеваться.

Мой туалет скоро кончился. Я надел мундир, обыкновенные свои чистые холстинные шаровары и шляпу; потом начал делать венок, и мне показалось это так мило, так приятно и так легко, как нельзя лучше. Стоило только одну головку прислонить к другой, они вмиг сживались. В две секунды венок был готов, и я с торжествующим видом надел репейников венок на голову сиятельнейшей моей княжны, легонько придавил, и он так плотно пристал, что я не опасался, чтобы могла выпасть хотя одна головочка.

Таким образом, взявши под руку мою Феклушу, повел ее в церковь, в сопровождении званых гостей.

— Что-то скажет теперь Мавруша, старостина дочь, увидя невесту мою в таком наряде? Ага! Вот что значит быть княгинею.

Но едва показался я на улице, глаза мои померкли. Множество народу стояло кругом. Все подняли ужасный хохот. Что было этому причиною,— я и до сих пор не знаю. Феклуша смешалась, шаг ее был неровен, и от того дородность ее была еще приметнее.

— Не робей,— говорил я ей на ухо и выступал самыми княжескими стопами. Но увы! беда беду родит! Не знаю, что-то вздумалось Феклуше почесаться в голове: одна головка репейника выпала из венка,— она увидела это несчастие, хотела поправить свой наряд; выпала другая,— княжна совсем потерялась.— Не тронь больше,— сказал я ей тихо.

Однако любопытные тотчас подняли две выпавшие головки. «Репейник!» — раздалось со всех сторон, и хохот умножился; Феклуша чуть не упала в обморок. «Я умираю от стыда»,— говорила она, облокотясь на мою руку. «Это пройдет»,— отвечал я несколько сердито.

Наконец дошли до церкви и обвенчались без всякого приключения, ибо священник, как званый гость, не впустил туда никого лишнего. По окончании бракосочетания он дал нам совет — не идти назад улицею, а лучше огородами.

Мы послушались. Хотя путь был затруднительнее и гораздо далее, зато никто нас не беспокоил.

До дому достигли благополучно. Несколько гостей и тесть мой сидели уже за столом и забавлялись подарком жида Яньки. Все было тихо и покойно. Правда, покушались было некоторые крестьяне и крестьянки взлезть на забор, чтоб опять подшутить над нами, но догадливый на сей раз тесть мой, не сказавши и нам, вышел со страшною дубиною, погрозил переломать им руки и ноги; они соскочили с забора, ушли и после не появлялись.

Глава X

Отчаяние и утешение

Несколько времени прошло у нас в упоении любви, мечтательности, а потому и счастии. Я уверен, что счастие людское не всегда есть плод ума, а более цвет воображения. Княгиня Фекла Сидоровна казалась мне единственною в свете женщиною; ее ласки одушевляли меня ежечасно; я был весел и доволен более старосты, а особливо пока велись еще понемногу деньжонки, данные жидом в сдачу от моей коровы. Но увы! они чрез несколько недель истощились, и я, глядя на прекрасную мою супругу, совершенно не знал, что делать. Часто, углубясь в размышления, восклицал я: «О родитель мой! сколь справедливы были твои наставления, и несчастный сын твой не хотел им последовать! Если б я обрабатывал поле, не полагаясь на крестьянина своего Ивана; если б не ломал огорода, осердясь, что княжна не вышла полоть капусты; если б я не таскал ей имения, оставшегося от моей матери, то она же теперь имела бы его, а между тем корова была бы дома, и мы бы не терпели во всем крайней нужды!» Но что делать! Я смотрел из угла в угол, от потолка на пол; как здесь, так и там все было пусто. Приближался день родин жены моей, а мы не только не имели ничего, чтобы как-нибудь встретить нового в мире гостя, но еще и сами, и то по милости крестьянки своей Марьи, только что не умира-

ли с голоду. Один князь Сидор Архипович, тесть мой, менее всех о том заботился.

Мне ничего не осталось делать, как просить помощи у сердец сострадательных; крайняя нужда и почти невозможность как-нибудь честнее поддержать себя меня к тому принудили. Однако я никак не забыл знаменитого своего происхождения и решился, чтобы не оскорбить теней почтенных предков моих, которые и подлинно никогда милостыни не просили, действовать так, как благородные испанцы, то есть вместо того, чтоб просить пять копеек, они говорят с величавою уклонкою головы: «Милостивый государь! одолжите мне в долг на малое время пятьдесят тысяч пиастров!» Снисходительный человек, понимая таковой язык, подает просителю две копейки, и сумасбродный дон, с надменным видом приняв их, отвечает: «Очень хорошо! в непродолжительном времени, как скоро обстоятельства мои поправятся, вы получите капитал свой с указными процентами».

Мне казалось, что я, как урожденный князь, ничуть не хуже гишпанского дона, а потому на сем глубоком рассуждении и основался.

Поздо ввечеру одного дождливого осеннего дня княгиня моя начинала мучиться родами; добрая Марья ей прислуживала. Я ударился бежать, просить в долг несколько денег; но к кому идти прежде? Пошел наудачу, и первый дом, стоивший, по моему мнению, того, чтоб войти в него, был князя Бориса. Я тем надежнее вошел, что он за несколько недель был у меня на свадьбе и угощен недурно.

— А! любезный друг,— сказал он весело, вставая с треножного соломенного стула своего и подавая мне руку,— добро пожаловать! что, здорова ли княгиня?

Я. Не совсем, ваше сиятельство. Вам небезызвестно, в каком была она положении под венцом: теперь мучится родами.

Он. Поздравляю, любезный друг! Дай бог наследника!

Я. Я и сам того желаю; но признаюсь, князь, эти обстоятельства требуют расходов; а у меня нет в доме ни копейки.

Он. Ох! это крайне дурно,— я знаю по себе! Вот бы надобно поновить дом; дочь — невеста; съездить бы в город за некоторыми покупками, а как денег нет, то и сижу дома.

Я. Но мне, ваше сиятельство, надобно очень немного!

Он. Я думаю, что вы, любезный друг, продав поле так выгодно, получили не меньше, как я за проданный свой хлеб. Простите, любезнейший друг, простите. Бог милостив! Авось на будущий год получше будет урожай в вашем огороде.

Он вышел в особую горенку, а я с ноющим сердцем — на двор. Ночь была не лучше дня; мрачные тучи носились стаями по небу; дождь лился ведром. Я хотел было воротиться домой, но подумал сам в себе: «Что найду дома? Страждущую жену и, может быть, уже плачущего младенца! Боже! — сказал я в страшном замешательстве,— для чего каждый человек с таким удовольствием стремится произвести на свет подобное себе творение, а редкий думает, как поддержать бытие его и матери, не говоря уже о своем?» Я весь вымок до кости, но еще хотел попытать счастья. Однако где я ни был, везде говорили мне то о проданном поле, то о вытоптанном огороде, то о бобовой гряде; а инде советовали, как тесть мой, князь Сидор Архипович, живет со мною, продать дом его и тем поправить свое состояние. «Это весьма изрядный совет,— думал я,— но теперь не у места».

Словом, я до тех пор шатался по улицам, пока везде погасили огонь. Тщетно стучался я у старосты, у священника, у всего причета церковного,— никто даже не взял труда и спросить, кто там и что надобно?

В первый раз чувство, близкое к отчаянию, поразило душу мою. Никогда прежде не имел я жены; а хотя княгиня и была для меня почти то же, но я не видал ее борющеюся с болезнию при выходе на свет плода любви несчастливой.

Однако ж как нечего больше было делать, то и побрел домой.

Подходя к воротам, крайне удивился, видя довольно хорошее освещение. Сердце мое отдохнуло. Конечно, жена таила от меня какое-либо сокровище, что так пышно освещает ночь родин своих. С радостным чувством подхожу к дверям, и слух мой поражается младенческим криком дитяти и болезненным воплем матери. «Итак, она родила? Что ж заставляет ее так вопить?» — думал я. Я слыхал, что как скоро женщина родит, то уже может воздержаться от криков.

Отворяю дверь, вхожу, творец милосердый! Посредине комнаты вижу стол, покрытый толстою простынею, вокруг

его четыре подсвечника, а на нем бездыханное тело тестя моего, князя Сидора Архиповича Буркалова.

— Что мне делать теперь несчастному? — вскричал я и упал на пол без чувств.

Пришед в себя, я вижу в ногах моих рыдающую Марью, в головах — жида Яньку.

— И ты здесь, окаянный! — сказал я со гневом.— Верно, ты уморил его?

— Никак, ваше сиятельство,— отвечал жид,— он сам был несколько неосторожен. С утра самого сидел все у меня. Почему и не так! Я добрым гостям рад. К вечеру подошли еще кое-кто, начали его утешать в печали по случаю родин дочери и неимущества, и до тех пор утешался, что я должен был ему напомнить: «Ваше сиятельство,— сказал я,— пора отдохнуть».— «Не твое дело, жид»,— отвечал он сурово, замахивая палкою. А вы сами знаете, каков был покойник! Я замолчал. Следствие видимое. Его ударил паралич или что-нибудь другое, и он умер скоропостижно. Я тотчас велел потушить огни, взял его с работником на плеча и принес сюда. Клянусь Моисеем, без всяких залогов дал я Марье денег столько, что она могла взять из церкви вашей подсвечники и нанять псаломщика.

Я взглянул на Марью, и удовлетворительный ответ ее подтвердил слова Янькины. Он вскоре ушел. Сердце мое обливалось кровью! Жена моя рыдала, дитя плакало. Мысль, чем я завтра прокормлю их, тяготила душу мою. Я сидел у окна, облокотясь на руку, и неподвижными глазами смотрел на сине-багровый труп моего тестя. Так протекло несколько времени, горестнейшего тысячекратно, чем то, когда я ждал зари, дабы видеть княжну Феклушу, полющую капусту, и, не видя ее, топтал огород.

Петух мой прокричал уже несколько раз, псаломщик зевал за каждым словом; сверх того, из другого покойчика слышал я всхлипывания моей княгини и вопль молодого князя; как я хотел к ним войти, но отнюдь не позволяла Марья, ибо сего не водилось ни в одной княжеской фамилии в нашем околотке. Я должен был согласиться, но не знал, что дальше делать; а смотреть на тестя мне наскучило. За лучшее счел пойти в хлев, пустой с тех пор, как отвел корову я к жиду Яньке, и там попытаться, не засну ли. И подлинно, противу чаяния моего, я скоро уснул. Солнце взошло уже высоко, а я не выходил еще из своей опочивальни, как услышал вопль Марьи, меня всюду

не находящей. Выхожу и вижу у ворот множество народа обоего пола и разного возраста толпящихся *смотреть*. Я не понимаю, какое удовольствие находят люди смотреть на подобные картины. Уж пусть бы я был богатый человек, следовательно, им можно бы позевать на то великолепие и пышность, которые будут сопровождать тело тестя моего к знаменитым его предкам; а то стоило ли труда видеть обезображенный труп погибшего скоропостижно и едва ль не от невоздержания . . . .
. . . .
. . . .
Я сам без трепета не мог взглянуть на него!

«Скоро начнутся обедни,— думал я,— а нет еще ни гроба, ни того, во что бы нарядить князя Сидора». «Постой,— сказал я подумавши,— я одену тестя в свой мундир, мне он более не нужен; гроб сделаю сам из досок, которые у меня на дворе. Увы! необходимость и не то еще заставляет делать!»

Я колол доски, сплочивал, строгал, перестрогивал и все делал с великим усердием и поспешностию, чтоб не опоздать к обедне, к чему время уже подходило. Вдруг слышу позади себя шум, оглядываюсь, и удивление мое было неописанно!

Вижу на заборе, со стороны огорода моего тестя, новый изрядный гроб, выкрашенный красною глиною. С восторгом смотрел я на гроб, как жених смотрит на брачное ложе свое, и в тишине сердца благодарил провидение, удостоверяясь, что сие его дело, тем более что невидимая рука поддерживала гроб. Я страшился подойти к нему, как бы к чему священному, и стоял, опустя руки, а топор и скобель давно из них выпали. Но удивление! далее вижу высовывающуюся небольшую бородку, там всю голову, узнаю и вдруг бросаюсь, крича изо всей силы: «Янька! Янька!» — «Поддержи гроб! — сказал он,— а я влезу на забор, и вместе снимем».

С торжеством внесли мы такой красивый гроб в комнату, к необычайному удивлению Марьи и двух пастухов, купивших у Ивана мое поле. Они пришли пособлять в хлопотах моих. «Конечно, мы бы не смели предложить услуг,— говорили они,— если бы не видали, что никто из первостатейных не хочет того сделать». Взор мой отблагодарил их.

— Любезный Янька! — сказал я,— уложи же, с помо-

пью Марьи и сих честных людей, тело во гроб, а я побегу к попу распорядиться.

— Распорядиться? — сказал Янька с удивлением.— Да в чем тут распоряжаться? Это не купля, не продажа.

— Чтоб похоронить моего тестя с подобающею честию! — отвечал я.

Глава XI

Похороны и проповедь

В доме сказали, что батюшка уже ушел в церковь, поспешаю туда и, к счастью, нахожу, что он не начал еще облачаться.

— Что скажешь, князь? — спросил он.

— Я имею к вам нужду, батюшка,— отвечал я печально.

— Очень часто, свет!

— Что делать, отец мой! За год перед сим хоронил я отца; за несколько недель я венчался и тогда небольшую только имел нужду, ибо дело состояло только в том, чтоб обвенчать попозже обыкновенного. Сегодня имею я крайнюю нужду, ибо сбираюсь хоронить тестя, а ничего не имею.

Поп очень пасмурно сказал:

— Я об этом слышал, и смерть его довольно сомнительная.

— Почему, батюшка? — спросил я с жаром.

— Он умер в шинке у жида, и, как слух носится, чуть ли не от вина.

— Это несбыточное дело,— отвечал я,— умереть скоропостижно можно везде.— Поп удивился моей твердости и молчал.

Ободрившись тем, продолжал я:

— Что же касается до жида Яньки, то это такой жид,— такой, каких в свете мало.

— Может быть, сын мой! Есть люди честные во всяком звании и состоянии,— сказал он. Смирение мое смягчило его. Он сказал: — Приноси тестя в церковь, а я в удовольствие твое, а вместе и в наставление, между прочим, скажу и проповедь.

Я вышел в крайнем восхищении.

«И проповедь! — говорил я улыбаясь,— да этакой чести не имел ни один староста, ни один князь нашей деревни. Спасибо, батюшка, спасибо!»

Заблаговестили. Я и два пастуха подняли гроб и понесли, ибо Яньке, яко жиду, не позволяла благопристойность нести гроб православного христианина.

Не хвастовски сказать, все выпучили от удивления глаза, видя такое убранство. Все хранили глубокое молчание, смиренно крестились и кланялись. Я был полон восхищения; шел, держа на плечах изголовье гроба, не смотрел ни на кого, подобно герою, шествующему в триумфе. Мы проходили ряды, и позади нас раздавался шепот: «Право, прекрасно! кто бы мог придумать!»

«Ага! — сказал я сам себе с напыщением гордости,— вы этого и не думали? Мало ли вы чего не думаете! Вот каков князь Гаврило Симонович княж Чистяков!» Обедня оканчивалась, сердце мое трепетало от странного движения. Как слушать мне проповедь, где будут в моем присутствии хвалить добродетели и великие достоинства моего тестя? не будет ли это самохвальство, непростительная гордость? А гордость меня только что теперь попутала! Дай отойти со смирением!

Я сделал шаг назад, но ложная совесть сказала мне: «Куда ж бежишь ты? или смеешь хвалиться чужими добрыми делами? Всего вернее, что поп подшутил над тобою. С какой стати говорить проповедь над таким человеком, хотя, впрочем, он — родовой князь. Верно, верно, он подшутил над тобою».

Послушав внутреннего гласа сего, я подвинулся опять и стал у ног покойника. Но как же велико и не неприятно было мое удивление, когда по окончании обедни поставили налой и поп вышел с проповедью! Все князья, крестьяне, княгини и княжны двинулись вперед и так прижали меня ко гробу, что хотя бы и хотел отойти, то уже невозможно было.

Молчание распространилось; всех взоры обращены были то на попа, то на меня. «Как это чудно! — говорили шепотом.— Видно, тут что-нибудь да кроется; видно, бедность их умышленна! Года за три хоронили прежнего старосту, но проповеди не было». Как ни тихо они говорили, но я не проронил ни одного слова и с легкою краскою незаслуженного удовольствия потупил взоры. Мне приятно было слышать их заблуждение, будто с некоторым намерением кажусь я бедным, а в самом деле великий бо-

гач. Вскоре после того я стыдился сам такой слабости, или, лучше сказать, глупости; по времени узнал, что большая часть людей так поступает.

Священник осмотрелся, вынул небольшую тетрадочку и начал:

— Благочестивые христиане! Послушайте, что я скажу вам ныне; не неприлично будет к вам слово мое, ибо предстоит скоро великий праздник, именно чрез восемь дней, в следующее воскресенье. Праздник, благоверные слушатели и слушательницы, слово «праздник» для многих из вас есть пресоблазнительное слово. Вместо того чтобы помыслить о божестве и молитве, вы, вставая с постелей,— посудите, православные! — вы помышляете о невоздержании и пьянстве; и выдумываете, что бы заложить, если у вас нет наличных денег!

Такое вступление поразило меня; я поднял глаза и еще больше покраснел не от стыдливости, как прежде, а от какого-то тайного предчувствия. Поп продолжал:

— Хотя, христиане и христианки, церковь во дни празднования некоторых угодников и разрешает вкусить вина и елея, что вы найдете в киевских святцах во многих местах, например: память Алексея божия человека, разрешение вина и елея; празднество благовещения, разрешение вина и елея; но в каких святцах, о православные! начитывали те, кои умеют читать, или слыхали, кои не умеют, чтобы написано было: память Алексея божия человека, разрешение напиться допьяна; празднество благовещения, разрешение шататься по улице со стороны на сторону, биться головою об заборы как угорелому и валяться в грязи, как негодной свинье! Так, этого нигде не написано, а нередко бывает в нашей деревне.

Но оставим это; вы чувствуете, как сие гадко, богу не угодно, и даже в глазах нас, грешных, противно. Обратим беседу нашу к тем, кои и будни превращают в такие праздники, то есть праздники на свой манер. Они ничего не делают, как только пьянствуют и спят, опять пьянствуют и опять спят. Что от сего выходит? Они бывают *позор миру и человеком*. Вытаскивают из дому своего помаленьку все, до последней нитки, нищают, делаются прежде противны другим, потом — себе. Совесть начинает их жестоко мучить. Но вместо того, чтобы раскаяться и перестать грешить, они, окаянные, конечно по наущению столько же окаянных духов, думают опять утопить совесть свою в вине и больше прежнего пьянствуют. Что далее?

Дети начинают презирать их и не слушаются; сыновья обольщают девок; дочери даются в обман парням; все в доме становится вверх дном. Видят сие пребеззаконные отцы их и не смеют сказать ни слово, ибо *беззаконие пред очима их*. А какой конец всему? От излишнего невоздержания тело их поминутно слабеет, и они, по числу лет своих долженствовавшие бы еще долго жить, умирают без покаяния, оставив семейство в стыде, горести и бедности.

Имеяй уши слышати, да слышит! Аминь.

— Аминь! Аминь! — шептали мне на ухо пастухи; потому что с средины проповеди я задрожал, судороги подхватили меня, и, без сомнения, упал бы, если б не было так тесно и верные мои пастухи не поддержали под руки.

Я стал на ноги, с спокойным хотя по наружности духом, отслушал отпев и, взяв на плеча гроб вместе с сотрудниками, понесли сокрыть в землю. Никого, кроме нас, тут не было. С плачем засыпал я могилу глиною, вздыхал и думал: «О любезный тесть мой, князь Сидор Архипович! Должно ли было, чтобы и конец твой и похороны были так же оскорбительны для твоей памяти, как жизнь для детей твоих?» Я пригласил пастухов к себе домой, по крайней мере дать им за труды по куску хлеба; они приняли предложение с дружелюбием и вместе пошли, я все еще плача, а они вздыхая, а все вместе домой.

Едва князь Чистяков произнес сии слова с чувством неприятного воспоминания, как вдруг вбежал слуга с докладом, что князь Светлозаров изволил приехать! «Ах! как это некстати»,— сказал Простаков, вставая. Маремьяна торопливо кинула чулки под софу, Катерина, закрасневшись, спрятала свои в карман, а князь Чистяков сказал, вздохнувши: «Теперь я опять господин Кракалов, дворянин, от тяжбы разорившийся».

Глава XII

Небольшое открытие

Около недели по вторичном приезде князя прошло уже в доме господ Простаковых в головокружении, что крайне мужу не нравилось. Елизавета с точностию занималась своим учением, читала, писала, рисовала; Никандр так был прилежен, что в доме не знали, ученица ли учиться, или учитель учить больше имеют охоты. Катерина обыкновенно пела, играла, танцевала, руководствуема всегда

и во всем князем; Маремьяна бегала беспрестанно из залы в кухню, из кухни в залу, смеялась, восклицала, ощипывалась. Чистяков обыкновенно переходил из гостиной, где занималась Елизавета с Никандром, в залу, где целый содом поднимали князь с Катериною, улыбался, пожимал легонько плечами и чесал голову, а Простаков, все то видя, морщился и сильно пожимался. Так протекло еще около недели, как однажды Простакову надобно было посмотреть свои гумна, овины и все принадлежащее к хозяйству, ибо он собирался ехать в город, искупить кое-что к празднику рождества, нужное в домашнем быту, и подарки для всех в доме, что он делал непременно каждый год. Он пригласил проходиться с ним по деревне князя Гаврилу Симоновича; старик с улыбкою добросердечия говорил: «Бог совсем не по заслугам наградил меня хорошим достатком: имею слуг, кареты, покойный дом, сытный стол, и это непрерывно; а потому хочу, чтобы те, кои мне служат, хотя несколько дней в году имели отдых, покой и невинное удовольствие! И горнишная девушка и крестьянская девка, точно как и дочери мои, имеют одинакое стремление нравиться, любить и быть любимыми; а для сего иногда сверх красоты и невинности понадобится отличное несколько одеяние и уборы. На дочерях моих блистает золото, камни, жемчуг; почему же не желать моим дворовым и крестьянским девушкам иметь алые ленты, цветную набойку и медные перстеньки со стеклом на фольге? Лиша которую-нибудь из дочерей моих ненужного им перстня,— ибо они без того довольно их имеют,— могу несколько лет сряду украшать всю мою деревню и дом».

Так рассуждал Простаков каждогодно перед поездкою в город; таким же образом рассуждал он и пред князем Чистяковым, осматривая хозяйственные свои заведения, и спрашивал за каждым периодом: «Не так ли, любезный друг?»

Чистяков пожимал с сердечною растроганностию руку добродушного старика и говорил сквозь слезы:

— Это утешает ваше сердце! Ах! приятно мне и слышать о том; как же приятно, должно быть, вам то делать?

— Это я чувствую,— сказал Простаков, взглянув на небо, звездами усеянное.— Так! душевно уверен, что если б монархи были сердцеведцы, они отняли бы богатство у людей жестоких, во зло употребляющих, и отдали бы бедным добрым людям. Но...— Он вздохнул, и оба продолжали путь, как вдруг Простаков остановился:

— Скажи, пожалуй, друг мой Гаврило Симонович, отчего ты часто улыбаешься, выходя из гостиной в столовую? Или ты там что-нибудь замечаешь?

— Удивляюсь, как вы того не замечаете,— отвечал Чистяков с важностию, которая сделала б его для всякого другого забавным, но не для Простакова. Он, привыкнув видеть его всегда кротким, добросердечным и не способным ни к каким глупым важничаньям, удивился сам удивлению князя.

— Но чему же, любезный друг? — спросил Простаков тихо.

— Тому, любезный и добрый Иван Ефремович, что вы несколько несметливы. Бог дал вам добрейшее сердце, и вы...

— Продолжай,— сказал Простаков с нетерпением.

— Может быть, замечание мое и пустое, как вы и в повествовании видели множество и еще столько же увидите вперед пустейших замечаний, но все же замечание.

— Да в чем состоит оно?

— Когда я бываю в гостиной, где учится Елизавета, то Никандр, преподавая урок о французском языке, объясняет ей по-русски: и не только я, но и всякий русский деревенский ребенок поймет, что дело идет о изучении языка. И когда я слышу, что он говорит иностранным языком, то совершенно уверен, что тут не иное что заключается, как произношение,— просто выговор. Спокойный взор учителя и ученицы всякого убедят в том.

— Бедный князь Гаврило Симонович! И подлинно замечание твое едва ли не есть одно из пустейших замечаний. Далее, любезный князь!

— Послушавши их несколько минут, я выхожу в залу. Тут князь Светлозаров, почти схватя в объятия свои Катерину, а она его, вертятся, прыгают, скачут и опять вертятся. Груди их сталкиваются, губы дышат пламенем, взоры его блестят пожирающими искрами, ее взоры тающим изнеможением. Когда кончится танц, они садятся вместе, объясняют друг другу мысли, и всё языком иностранным. Вы это видите, не понимаете ни слова, а только морщитесь. Могу ли не улыбаться?

На сей раз замечание князя Чистякова было одно из правильных замечаний.

Когда он умолк, Простаков пребыл несколько мгновений в примерном смятении.

— Ах, как безумен я! — вскричал он, крепко потирая лоб.— И я отец! и я стою этого имени? Пусть слабая тщеславная женщина, мать их, и могла забываться, льстя себя глупейшею надеждою; но я, я ничего не хотел примечать, кроме резвости, шалости, и морщился от того, что они мне мешали заняться книгою или разговором. О! до какой степени недогадлив я! Сейчас выгоню этого проклятого повесу, схвачу свою дочь и принужу ее во всем признаться.

Он побежал было, но князь Чистяков остановил его.

— Постойте, любезный друг,— сказал он,— я сделал только замечание, а не говорю, что открыл истину. Хотя опыты довольно меня научили, но нет точки в жизни, где б можно было скорее ошибиться.

— Что ж сделаем мы? — спросил нетерпеливо Простаков, остановясь и глядя пристально на князя.

— Дайте уехать князю Светлозарову,— отвечал Чистяков спокойно.— Он это скоро должен сделать, ибо не более двенадцати дней осталось до праздника, а он нахалом, думаю, не будет. Чтоб хорошенько открыть истину, надобно предварительно знать, как сделать начало к ее открытию. Если вы прямо приступите к Катерине, вам известно, как девушки вообще в таких случаях упрямы и догадливы. Она тотчас увидит, что вы подозреваете только, и сердце ее скрепится; надобно в первый раз дать ей понять, что вы всё знаете, а требуете от нее только покорности и признания.

— Итак, князь...

— Итак, вы искусно выведайте от Елизаветы. Не может быть, чтоб такая постоянная и умная девушка не заметила чего, буде что-либо было; спальня же их одна. Она могла слышать ее вздохи, может быть, видела и слезы, а может быть, слышала самое признание, да молчит из скромности.

Молча пожал Простаков руку князя Чистякова, обнял его и сказал:

— Ты — истинный друг мой, в этом я не сомневаюсь; но что для меня в тебе кажется удивительным, то, будучи воспитан в деревне, прожив век в бедности, в совершенном незнании большого света, ты можешь так хорошо видеть, меж тем как я...

Он остановился застыдившись.

— Кто вам сказал,— отвечал князь несколько строго,— что я совершенно не знаю этого света? Придет время, вы

меня короче узнаете и согласитесь, что можно быть бедну и познать несколько этот тщеславный и развратный свет. Год страданий, даже в быту деревенском, скорее научит познавать движения сердца, нежели двадцать лет покойной, счастливой жизни в кругу семейства и немногих соседей, также покойных, также счастливых. Почтенный любезный старец! Или думаешь ты, что князья и графы и великие мира сего, близкие к престолу, полные власти и величия,— или думаешь, что они не топчут своих огородов, когда их Феклуши не выходят на заре полоть капусту? Думаешь ты, что они не лазят чрез забор? О! все это бывает, только в другом виде! Я испортил в своем огороде растения; они опустошают целые деревни и заставляют лить слезы и ходить по миру целые тысячи, вместо того что я ходил один. Измятый огород мой поднялся на будущую весну и произвел растения свои ничем не хуже истоптанных. Но кто усладит в сердце слезу горести, падшую из очей семейства осиротевшего? кто воскресит жертву смерти преждевременныя? Ни слезы жены несчастныя, ни вопли младенцев беззащитных!

— Кто ты, человек непонятный? — спросил Простаков, вышед из окаменения от слов своего гостя.

— Князь Гаврило Симонович княж Чистяков. Прости, любезный хозяин; я, говоря с тобою наедине, буду говорить просто, как с другом.

— Всегда, всегда,— вскричал Простаков, протянув к нему обе руки свои.

Князь обнял его и сказал с улыбкою:

— Нет! приличия никогда забывать не должно. Итак, скажу, что твое удивление и мысль, что я не имею никакого понятия о свете, заставили меня с тобою так говорить. Но клянусь, что все, сказанное мною в повести, есть совершеннейшая истина; равным образом уверяю, что истину скажу и вперед, если ты захочешь слушать.

Они еще раз обещали друг другу взаимную неразрывную дружбу; пошли домой, и — какое им удовольствие!— запряженная князева карета стояла у подъезда.

— Что, князь едет? — спросил Простаков у стоявшего человека.

— Только вас ожидает, чтоб проститься,— был ответ, и они оба побежали в залу: прощались, обнимались, друг друга обмануть стараясь. Князь обещал после праздников побывать у них опять, насладиться приятностию жизни среди такого прелестного семейства.

— Вы, князь, очень, снисходительны,— заикнулась было Маремьяна Харитоновна, немного присевши и застыдившись; но громкий голос мужа перебил речь ее. Он сказал:

— Я буду рад, князь; просим пожаловать.

Расстались. Простаков, по совету князя Гаврилы Симоновича, отложил делать испытания над сердцем Катерины до следующего утра. Между тем объявил всему дому, что завтра едет в город.

Глава XIII

Значущее открытие

В деревне, по обыкновению, вставали очень рано, несмотря даже и на зимнее время, особливо когда по каким-нибудь обстоятельствам день был необычайнее других, что также в деревне очень редко случается. Было самое раннее утро, и все поднялись: дорожная повозка была заложена; стоило только Простакову сесть и ехать. Он бы, конечно, сел и поехал, но замечания, сделанные князем Чистяковым накануне, лежали на сердце его. Да и какой отец не будет таков в подобном случае? Итак, он решился ждать дня, а между тем, взяв за руку Елизавету, которая от него не отходила, вошел в гостиную, где в камине пылал огонь, сел на софу и хотел что-то сказать удивленной девушке; но язык его не мог выразить всего того, что вмещало сердце. Несколько раз отворял он рот, издавал звук и умолкал.

— Что с вами сделалось, любезный батюшка? — спросила больше устрашенная, чем удивленная дочь.

Отец *(потирая руки)*. Что, еще князь Гаврило Симонович не встал?

Дочь. Я видела его в зале.

Отец. Попроси его сюда и сама войди!

Дочь ушла. «Право,— сказал Простаков оправляясь,— я не знаю, как и начать. Если скажу очень ясно,— может быть, открою невинной девушке то, чего еще не открыло ее сердце; а молчаньем ничего не сделаешь».

Князь Чистяков вошел с Елизаветою.

— Здравствуй, друг мой,— сказал старик,— ты не знаешь, в каком я замешательстве. Потрудись поговорить с Елизаветою о продолжении вчерашнего нашего разговора!

Бедная невинность ахнула; все ей вдруг представилось: уже не открыли ль тайны ее с Никандром? уж не хочет ли отец отдать ее за князя Чистякова? Она затрепетала.

— Вы — отец, и должны говорить, что внушит вам отеческое сердце,— сказал сухо Чистяков и хотел выйти, но старик удержал его.

— Итак, я буду говорить с тобою без предисловия,— сказал он, взяв с ласкою нежную руку дочери.— Елизавета, отвечай мне искренно, как велит долг твой.

— Готова, батюшка,— сказала она, и руки ее опустились. Все предвещало ужасную бурю для нежного сердца ее. Но на сей раз она ошиблась.

— Ничего более,— сказал старик,— от тебя не требую, как только совершенного чистосердечия. Не заметила ли ты какой перемены в поступках Катерины?

Елизавета. Она любит меня по-прежнему.

Простаков. В этом уверен. Но нет ли перемены в образе ее жизни?

Елизавета. Я никакой не заметила; она встает, занимается разными предметами, играет и опять ложится спать в обыкновенное время.

Простаков. Не о времени дело; но обыкновенным ли образом?

Елизавета. Кажется, что обыкновенным.

Простаков *(с досадою)*. От этой девочки толку не добьешься.

Князь Чистяков подошел, взял за руку Елизавету, которая была уже покойнее, видя, что главный разговор клонится к сестре ее, и сказал:

— Вы — добрая дочь, в этом я уверен; он — нежный отец, в этом все уверены. Его родительское сердце неспокойно. Показалось ему, что сестрица ваша Катерина неравнодушно смотрела на искательство князя Светлозарова. Если б требования его были честны, он открыл бы их отцу. Несмотря на его в сем случае молчание, он может нравиться. Но отец не может смотреть равнодушно, если нравится ей человек без доброго намерения искренно любить ее. Вы можете решить эту тайну, так или нет?

Елизавета была в большом затруднении. Очень неприятно было ей такое положение, но князь Гаврило Симонович смотрел такими глазами, что надобно было что-нибудь сказать; а что? Она мешалась.

— Говорите,— сказал он повелительно,— отец добрый и нежный ожидает вашего ответа.

— Ах! — сказала Елизавета,— это я знаю и чувствую; но что мне сказать? Я ничего не знаю.

— Ложь! — возразил таким строгим голосом князь Гаврило Симонович, что Елизавета затрепетала, и отец вздрогнул.

— Князь! Вы не пугайте ее...

— Не правда ли, любезный Иван Ефремович, вы назвали меня другом? А когда так, то я хочу доказать, что стою этого имени; хочу быть другом вашим во всяком случае, когда идет дело до вашего покоя, выгод, счастия. Итак, сударыня, отговорки ваши напрасны. Отец и друг его хотят знать истину. Лицо ваше, каждый взор показывают, что она вам известна; а только упрямство...

— Ах нет! — сказала Елизавета сквозь слезы.

— Ну, так ложная нежность! Она простительна; но не забудь, не посторонний выведывает тайны сердца сестры твоей! Это отец, я друг его.

Елизавета, потупив взоры и перебирая пальцы, сказала:

— Правда, я заметила кое-что необыкновенное...

— Вот то-то же,— вскричал с торжеством Иван Ефремович, вскочив с кресел и запахивая тулуп свой.— Ну, скажи же скорее, дочь моя, что ты заметила?

— Катерина с некоторого времени сама на себя не походит. Целые ночи просиживает со свечкою и ничего не делает. В эту ночь она вздыхала, плакала, и сквозь занавесы моей кровати приметила я или мне так показалось, что она читала какую-то бумагу, как будто бы письмо.

— Так! — вскричал отец с движением гнева.

— Нет, не так! — возразил князь; — ни на одну минуту не забывайте, что вы — отец. Правда, вы вместе и судия, но не такой, который по первой вероятности осуждает, не выслушав оправдания обвиняемого! Не забудьте также и того, что вы собираетесь произнести отеческий приговор не над сыном, а дочерью! О друг мой! Кто постигнет этот ужасный лабиринт нежности и жестокости, любви и обмана, привязанности и отвращения? кто постигнет сердце женщины?

— Катерина моя так еще невинна, а между тем получает письма от любовника, без ведома отца. Разве это не то же самое, что выйти на утренней заре полоть капусту?

— Не к тому говорю я, чтобы самому произнести приговор,— продолжал князь.— О! сохрани меня от того бог!

Но дело в том, не осуждайте строго своей дочери, но и не смотрите сквозь пальцы; не говорите другим, а особливо себе: она невинна! Быть может, сердце ее и подлинно невинно, но иногда женщина в любви и сердце не требует на совет. Одна *суетность,* божусь, иногда одна пагубная суетность заменяет все. На этом, любезный и почтенный друг, оснуйте свое поведение; будьте отцом, каким ему быть должно, и довольно; в сем одном имени заключаются все обязанности. Теперь пойдите к дочери.

Простаков худо слушал,— так поражены были все чувствия его словами гостя. Однако он побрел в спальню дочери; Елизавета оставалась.

— Но скажите, ради бога, князь,— сказала она несколько возвышенным голосом,— вы советуете батюшке не быть строгим судьею, а между тем сами внушаете в него недоверчивость к невинности дочери его! Как согласить это?

— Что есть невинность? — спросил князь еще возвышеннее.

Елизавета потупила опять взоры свои.

— Юная дочь друга моего! — продолжал он, взяв с чувствительностию за руку Елизавету.— Кто так долго, как я, был игралищем прихотей разных людей; кто так много был обманут; кто столько лишался покоя,— о! тот должен быть несчастным из всех сынов земли, если взоры его не будут дальновиднее, чем прежде, когда, бывало, он, поймав весною бабочку или сорвав репейник на голову невесты, почитал себя благополучным! Однако, юный друг мой, не подумай, чтобы я был человеконенавистником, а особливо женщин. Нет; я теперь, когда волосы мои начинают белеть, я все еще люблю этот милый цвет в природе; но также люблю отличать репейник от розы. Елизавета! Давно я понял биение сердца твоего; я любуюсь, смотря в глаза твои. Я вчера открыл тайну сестры твоей беспечному отцу. Но, Елизавета! каждый день замечаю я пламень очей твоих, колебания твоей груди, появляющиеся и мгновенно исчезающие розы на щеках твоих, и молчу. Вижу насквозь сердце твое, вижу его невинность и молча любуюсь. Ты всегда пребудешь невинна, Елизавета, и бог наградит тебя!

Он утер глаза платком и вышел. Рыдающая невинность закрывала лицо свое руками.

Она еще была в сем положении, как отец ее вошел, ведя за руку князя Чистякова.

— Елизавета, выйди вон! — сказал он.

Оставшись одни, долго хранили молчание, наконец князь Чистяков прервал его, спросив: «Что?»

— Твоя правда,— отвечал Простаков, как будто пробуждаясь,— ты очень хорошо, друг мой, знаешь сердца женщин! Она во всем призналась, рассказала, как объяснялся князь, как умолял ее о соответствии и как она, сжалясь на его мучения, дозволила ему требовать от меня руки ее.

— Я и не знал, что можно из жалости отдать руку свою,— сказал князь.

— Не будь очень взыскателен, друг мой! вот и письмо от князя.

— Ну, не я ли сказал?

— При самом начале я отдал тебе справедливость. До сих пор не читал этого проклятого начертания. Потрудись, пожалуй! я при огне ничего не вижу, а очки в спальне.

— Почему ж проклятое начертание? — сказал князь.— Если и подлинно существо этого князя способно любить; если он, наконец, почувствовал то, чего до сих пор ни к одной женщине не чувствовал, хотя любил целые тысячи, то есть ежели узнал на опыте нежность, то кроткое и отнюдь не бурное влечение сердца, которое говорит человеку: «Ты мог прежде любить многих и был несчастлив, но с нею только счастлив будешь»,— в таком случае это будет благословенное начертание. Посмотрим!

«*Любезнейшая девица!*

Тысячекратно благодарю вас за сообщенный мне лоскуток бумаги, в котором позволяете просить руки своей у почтеннейшего родителя! Итак, мой милый юный друг, итак, нежное сердце твое моему ответствует? О! как счастлив я в сию минуту! Надеюсь, что батюшка мне не откажет в руке твоей, когда ты отдала мне сердце. Он немного скуповат, оттого-то старшая сестра твоя до сих пор сидит в девках. Но у меня есть поместье, есть деньги, драгоценные камни; я от него ничего не потребую, кроме руки обожаемой дочери его. На несколько недель еду я в свои деревни. Устроивши хозяйство, я письменно буду просить у твоего батюшки позволения приехать в виде жениха. Благополучие мое будет совершенно, когда я получу удовлетворительный ответ.

Князь Светлозаров».

— Ну, что ты об этом думаешь? — спросил Простаков, подумав хорошенько. На лице его видно было удовольствие, которое он скрыть старался.

— Я думаю, что это письмо сочинено не хуже других, в таком случае сочиняемых.

— К чему такое замечание? — возразил Простаков с некоторою досадою.

— Я хочу знать ваши мысли,— отвечал холодно князь Гаврило Симонович.

— Я полагаю,— сказал Простаков, еще хорошенько подумав,— что если намерения его таковы, как он объясняет; если дочь моя уверит меня, что будет с ним счастлива; если он письменно станет просить меня о согласии, то я тут ничего худого не нахожу и думаю заранее, что дам им свое благословение.

— Посмотрим,— сказал князь равнодушно.— Дай бог! все к лучшему, может быть; однако посмотрим.

— Без сомнения, посмотрим,— был ответ Простакова, уходящего в залу.

Около обеда того же дня уехал он в город.

Глава XIV

Великое открытие

По отъезде господина Простакова в город в деревне настала тишина глубокая. Маремьяна занялась кухнею и штопаньем старого белья. Катерина ходила повеся голову и ничего не делала. Изредка посматриваясь в зеркало, она заметила, что несколько похудела. Елизавета занималась по-прежнему своими уроками с Никандром; а князь Гаврило Симонович обыкновенно сидел в садовой своей избушке, читал «Минеи-Четьи» и выходил в день только два раза в дом, обедать и ужинать; а все вместе радовались, что, покудова Простаков в отсутствии, буря в сердце Катерины утишится. Они могли бы то же думать и о Елизавете, но кто ж знал о разговоре ее с князем Чистяковым, а ни он, ни она не имели охоты никому открывать о том; глаза же не у всех так проницательны, как у князя Гаврилы Симоновича.

День проходил за днем. Маремьяна неотступно просила князя продолжать повествование своей жизни; но он без Простакова не хотел того и отказал начисто. Что

было делать? утомительное единообразие мучило всех, кроме Елизаветы и Никандра. Они в каждое мгновение, в каждом занятии находили один в другом тысячи разнообразных прелестей и были довольны и счастливы.

Каждый день твердила Маремьяна: «Боже мой! все белье перештопано, перечинено, а его нет». Она также каждый день прибавляла: «Он, верно, хоть поздо, а сегодни будет»; сидела до полуночи со свечкою; его не было, загашала огонь, вздыхала и ложилась. Какое чудное дело — привычка мужа к жене и жены к мужу, хотя бы они никогда не любили один другого тою порывистою пламенною любовию, которую так прекрасно изображают в книгах иногда те, которые ее никогда не чувствовали! Почему же и не так? Не часто ли стихотворец, сидя в зимнюю ночь у оледенелого окна за испачканным столиком, весь дрожа от стужи и поминутно подувая на пальцы окостеневшие,— не часто ли, говорю, описывает на лежащем пред ним листе бумаги прелесть утра весеннего! У него пастух с пастушкою гуляют по цветочному лугу, наслаждаются красотою безоблачного неба, цветы благоухают, деревья украшаются молодыми листочками, ручьи пенятся, журчат и привлекают милую чету к отдохновению! «О! как это прелестно! — говорит стихотворец, щелкая от озноба зубами,— о! как восхитительна картина эта!», меж тем как сам смотрит на густой пар, вьющийся у рта его.

Когда бывает с такими великими людьми, каковы стихотворцы, сыны Зевесовы, пророки на земли, что они совсем другое говорят, нежели чувствуют, а единственно по привычке,— то почему же Маремьяне не любить мужа своего также по привычке, живучи с ним около двадцати пяти лет в брачном союзе? Бывая вместе, она почти никогда и ни в чем с ним не соглашалась, и один повелительный взор мужа, при всей кротости нрава его, умел сохранить сие преимущество, мог остановить язык ее. Но когда его не было дома, а особливо на несколько дней, она непритворно скучала, досадовала и совершенно забывала, что он — капитан, а отец ее был знатный человек, у которого бывали балы, феатры и маскерады. Дочери ждали его как доброго отца, не более. Катерина боялась, чтобы он не возобновил своих нравоучений в рассуждении князя; а Елизавета и без того была счастлива. Один князь Гаврило Симонович ожидал прибытия хозяина с непритворным нетерпением; ибо он любил его не по привычке,

как жена; не по долгу, как дети; но как друг, единственно любя в нем доброе, чувствительное сердце, еще цветущее и в хладную зиму преклонных дней старческих. На голове его белелся снег, но в душе, в сердце цвели розы весны прелестныя. В таком расположении семейство застал сочельник.

День был самый дурной, какому только можно быть в конце декабря. Ветер дул с разных сторон, снежная пыль клубилась, поднималась, спускалась,— словом, была страшная вьюга или метель. Г-жа Простакова уверяла, что только бабушка ее, бывшая семнадцати лет во время похода Петра Великого, видела подобную и что если бог нашлет третию такую же метель на землю русскую, то чуть ли не быть падению мира. В целом доме все было пасмурно, дико и пусто; все молчали; один неохотно спрашивал, другой еще неохотнее отвечал. Князь Чистяков, пришедший к обеду, ежился; г-жа Простакова твердила: «Боже мой! если такая метель застанет его в дороге!» Все умолкало и было по-прежнему пасмурно; одна Елизавета с Никандром, одушевляемые божеством, наполняющим сердца их, согреваемые жаром любви, которою они дышали, сидели спокойно в своей учебной. Не только буря, или метель, или вьюга не могли прервать их занятия, но уверительно скажу, что таковое явление природы придавало мыслям их ту неописанную прелесть наслаждения, то неизъяснимое блаженство, которое любит питаться необычайным, так как пламень его единствен к предмету единственному в мире.

— Куда, право, какое чудное дело — заморские науки! — сказала Маремьяна Харитоновна, зевая и смотря на зевающую дочь свою Катерину, на зевающего князя Чистякова.

— Покойный батюшка мой никогда не хотел занять нас этим, несмотря, что у него в доме был свой феатр.

А погляди на Елизавету! Она как будто в веселый летний день рвет цветы в саду, несмотря, что снег бьет в окна. О, заморские науки!.. Катерина! Хотела бы я, чтоб ты прилежнее их училась. Любо, право, смотреть, как Елизавета учится.— Она, чтоб не помешать упражняющимся, на цыпочках подошла к дверям и стала. Катерина и князь Гаврило Симонович сидели молча около печки.

Молодые влюбленные читали какую-то книгу и были растроганы. На сей раз проходили они урок не о замор-

ских науках, ибо г-жа Простакова кое-что понимала, и они говорили русским языком.

Никандр читал: «О! ты, всевечный, благий, живительный огнь, разлитый во всем круге творения, о любовь! Душа моя благословляет тебя, расстилаясь пред троном горнего милосердия с благодарностию за водворение тебя в сердце моем!»

Он остановился и положил книгу; смотрел с чувством неизъяснимой нежности на роскошную прелесть, в коей плавали взоры Елизаветы, на то волнение груди ее, которое давало знать счастливому: «В этом уверена, ибо сама чувствую».

— Понимаешь ли, Елизавета,— спросил он,— всю силу слов сих?

— Я чувствую ее,— отвечала она, взглянув на него; алая заря осветила щеки ее, и взоры заблистали. Никандр преклонил голову к груди своей, вздохнул, поднял книгу, опять положил, и казалось, чувствовал сладкое мучение, его пожирающее, но ни за все сокровище света он не хотел бы от него исцелиться.

«Они как будто на феатре»,— думала про себя Маремьяна Харитоновна, совсем не понимая такого разговора.

Елизавета прервала молчание:

— Отчего ты так пасмурен? Или для тебя не довольно разделять то священное чувство, которое наполняет души наши и с каждым мгновением оживляет существо? Или неблагополучны мы в настоящем? Будем довольны сим, пока милосердный бог сделает нас в будущем еще благополучнее!

«Гляди, пожалуй! — сказала про себя мать,— она точно так говорит, как та сумасбродная актриса, которая помогла батюшке разориться. Ну, право, она точная актриса!»

Никандр отвечал:

— Прелестная девица! Так, любить тебя святейшею любовию и видеть соответствие есть благо, которого не променяю я ни на все блага мира сего! Но ты не властна располагать своею рукою; ты имеешь родителей. Как ни кроток, как ни добр отец твой, но все он — богатый дворянин, а я — беднейшее творение, во всей земле русской не находящее себе ни отца, ни матери!

Е л и з а в е т а. Ты их найдешь в нашем семействе; как скоро приедет батюшка, я все открою ему, буду просить,

умолять, заклинать. Он нежный отец и сжалится на слезы своей дочери.

Никандр. А если нет?

Елизавета. Не пугай меня таким жестоким предсказанием! Но если бы и в самом деле истребил он всю жалость ко мне, смотрел равнодушно на горькие мучения,— что же? Он может только не соединять меня с тем, кому предана душа моя; но соединить с другим бессильны все силы земные. Законы равно простираются на бедных и богатых, низких и знатных, детей и родителей.

Никандр. А между тем как изгнанный Никандр будет влачить в пустыне скорбную жизнь свою, дом Простаковых посетит какой-нибудь молодой прекрасный дворянин.

Елизавета. Хотя бы сам воплощенный ангел!

Никандр. О! бесценный друг мой! ты еще не знаешь, что значит время, настояние родителей, просьбы юного красавца.

— Ничто в свете не разлучит сердец наших,— вскричала торжественно Елизавета, протянув к нему руки свои; и Никандр с быстротою ветра вскочил со стула и прогрузился в ее объятия.

Маремьяна, протирая глаза, сказала задыхающимся голосом: «Нет! на феатре не так!»

Ужасный вопль ее раздался по всему дому.

Князь Гаврило Симонович и Катерина подскочили с ужасом; со всех сторон бежали: из девичьей, из людской, из кухни, и все слышали, как Маремьяна, стоя на пороге и хлопая по бедрам обеими руками, ужасно кричала: «Бездельник, мошенник, вор, душегубец, чудовище, изверг, дьявол, сатанаил!» Но никто из людей не знал причины такого гнева, и все глядели друг на друга разиня рты. Один Гаврило Симонович и Катерина с нежным соучастием смотрели на преступников, стоявших в некотором бесчувствии. Кто опишет удивление князя Гаврилы, когда увидел он, что Елизавета, вместо того чтобы бежать с ужасом в свою спальню, упасть в обморок на постель и отдаться в волю истерических припадков,— Елизавета с кротким величием берет за руку пораженного Никандра, подводит к матери, и оба становятся на колени?

— Матушка! — сказала она, подняв к ней взор,— я дарю вам сына в этом молодом человеке.

— Ах! — завопила опять Маремьяна, протянув на них с сильным гневом обе руки,— ах! бездельница, бесстыдница! Тому ли я тебя учила? — Она бросилась к ним, но грех ее попутал: большим карманом своим зацепилась она за ключ в дверном замке, рванулась, как сноп повалилась на стоявших на коленях, и все покатились.

— Помогите, помогите! — кричала Маремьяна, вставая с полу,— эти разбойники уморят меня; — и с сим словом, подбежав к Елизавете, дала ей две преисправные пощечины, а потом и Никандру достался такой же подарок, только с указными процентами. Елизавета близка была к лишению чувств; ее подхватили и повели положить в постель. Никандр стоял как оглашенный. Он уставил глаза на Маремьяну и был неподвижен.

— Что ты смотришь на меня, душегубец? — сказала она, поправляя измятый чепчик.— Вон в сию минуту, вон из дому, и если ты покажешься когда-либо вблизи нашего дому, то на нас не пеняй. Вон, вон!

— О бедность! — сказал Никандр, выходя косными шагами из комнаты и ломая руки.— О провидение! зачем ты бедным людям даешь сердца? зачем осужденных судьбою на бедствия ты делаешь еще несчастнее?

Так восклицая, бедный молодой человек брел в садовую избушку. Там князь Гаврило Симонович укладывал его чемоданик, или, вернее сказать, кожаную сумку, и крупные слезы его одна за другою падали на белье.

— О бедность! о провидение! — вскричал еще Никандр и бросился в постель ничком. Когда первая буря сердечная прошла, он встал, подошел к князю и спросил его тихим голосом:

— Что вы это делаете?

Князь. Укладываю твой чемодан. Видишь, тебе объявили поход.

Никандр. Мне ничего не надобно. Я пойду так, как стою; зачем умирать с ношею на плечах?

Князь. Это — правда. Но зачем же умирать?

Никандр. Как? Вы думаете, я буду жить после всего того, что случилось?

Князь. Конечно, думаю; оттого-то и чемодан укладываю.

Никандр. Вы худо знаете сердце человеческое.

Князь Гаврило Симонович взглянул на него сначала довольно строго; потом, взяв за руку с отеческой нежностию, сказал:

— Молодой человек! Ты видишь на голове моей седины и говоришь так! Почему думается тебе, что я не претерпел многих таких бурь, какую ты теперь терпишь. О юный друг мой! Ты учись узнавать сердца людские, а с меня будет. Предел мой недалек. Итак, послушай старца; он будет говорить тебе, как отец.

Терпение есть величайшая из добродетелей. Вмести в сердце твоем все и огради его терпением. Не думай, что одни бедные имеют в нем нужду! Нет! Без него нередко стенают на пышных ложах и блестящих тронах. Оно возвысит тебя в собственных глазах твоих; а это всего лучше. Пусть поносят тебя люди, чернят клеветою память твою; ты взглянешь на небо, отнесешь душу свою к источнику добродетелей и скажешь: «Отец небесный! я невинен!»

Тебе велено выйти — и выйди! Велено сегодня, в такую страшную бурю, что и собаки не показываются из нор, что ж делать! Тебе велено,— а велеть имеют они право; исполни хотение их и выйди; чемодан твой готов.

Князь Гаврило Симонович вытащил из кармана маленький кошелек и, отдав его молодому другу, сказал:

— Вот тебе пятьдесят червонных. Ты удивляешься? хочешь спросить, где я мог взять деньги? О! это до тебя не касается. Они стоят мне многих горестных часов! И я плакал, сын мой, и я страдал в свое время, но недолго; я принимал бальзам терпения и успокоивался. Уверен, что ты известишь меня о месте своего пребывания, а особливо, если будешь в чем иметь нужду. Сколько в силах, помогу, и две трети уступлю тебе. Прости, сын мой; бог да благословит тебя!

Никандр пал на колени; князь Гаврило Симонович положил на голову его руки, возвел глаза к небу и сказал со слезами:

— Милосердый отец всего творения! Благоволи послать юноше сему в настоящей жизни еще часы радостные, если он будет добр и не уклонится от путей твоих!

Потом подал он на плеча ему чемодан, привязал и, взявши за руку, вывел.

«Прости, сын мой!» — «Прости, благодетель мой!» — были единственные слова юноши и старца. Издали слышны были всхлипывания Никандровы.

Глава XV

Уныние

После такого неприятного дня следовал вечер еще неприятнее. Буря и вьюга не утишились; ветер выл по саду и звенел в щели на оконных ставнях. Елизавета бредила, лежа в постели; Катерина плакала и вздыхала, сидя на краю кровати; г-жа Маремьяна Харитоновна, которой первый порыв гнева прошел, бегала из комнаты в комнату, звала на помощь всех домашних; все приходили, но помочь никто не умел.

Я не знаю, как соединить в одном сердце напыщенность и добросердечие; однако ж две сии оттенки нрава были соединены в г-же Простаковой. Изгнать Никандра из дому в такую негодную погоду было дело гордости и спеси. Жалеть о том спустя два часа было свойственно жалости и добросердечию. Более всего тревожила ее мысль, что и как скажет о том своему мужу. Он был беспримерно кроток, но с первого дня брака захотел быть старшим в доме и был до сих пор. Двадцать раз при каждом свисте ветра в окна она подбегала, смотрела и отдала бы дюжину лучших уборов своих, только бы Никандр возвратился. Она смотрела, выглядывала, прислушивалась, но видела один снег, слышала один свист ветра. Так застала ночь семейство в деревне. Елизавета на несколько времени забылась или, как говорила мать, заснула.

Пробило девять часов. «Ах, как поздо! — вздохнув, сказали мать и дочь, поглядев одна на другую.— Как поздо, а его еще нет!»

Я за несколько приличное почитаю теперь сделать небольшое рассуждение о словах: *ах! как рано* и *ах! как поздо,*— а все в одно и то же время.

Когда несчастный преступник, сидя в темнице, ожидает звуку девяти часов, когда позовут его в тайные храмины, где лежат цепи, клещи, топоры и все орудия к пытке, то, слыша звук колокола, вздрогивает и говорит, скрежеща зубами: *«ах! как рано!»*

Когда влюбленный молодой человек, получив в первый раз благосклонную, нежную улыбку от своей красавицы, которая назначает ему милое свидание под тению ветвистого дуба, как скоро появится заря вечерняя и звезды усеют небо,— он ждет, боясь дышать, боясь

сделать малейший шум; слышит, бьет девять часов, и говорит со вздохом: *«ах! как поздо;* а ее нет!»

Я мог бы привести не одну тысячу примеров, из коих увидел бы читатель, что в одно и то же время для одних бывает рано, для других поздо, но важнейшие происшествия отвлекают меня; именно: как скоро мать и дочь Простаковы произнесли: *«ах, как поздо»,*— удар бича раздался на дворе; был слышен топот усталых коней и шум челядинцев.

— Приехал, приехал! — раздавалось со всех сторон. Маремьяна и Катерина смотрели на дверь залы, не смея дохнуть, как после нескольких минут Иван Ефремович ввалился в залу в дорожном своем облачении. После всех приветствий, ласк, вопросов и ответов Простаков сказал: «Я был бы домой к обеду, если бы не такая несносная погода. Ветер выбивает глаза у лошадей; с непривычки они бесятся; беспрестанно сворачивают, рвут упряжь, и только и дела, что чини».

Меж тем как люди вносили и раскупоривали большие короба с покупками, Простаков спросил: «Что ж я не вижу прочих? Где они?»

— Я думаю,— отвечала Маремьяна в смущении,— что уже спят.

— Спят? — сказал муж недоверчиво,— удивительно, что и князь Гаврило Симонович, и мой Никандр, и нежная, добрая моя Елизавета спят, когда жена моя и Катерина ожидали отца и друга! Авдотья! разбуди барышню и вели быть здесь. Иван! поди разбуди Гаврилу Симоновича и Никандра; скажи, что я приехал.— Они удалились, а Простаков начал показывать свои подарки.— Это тебе, друг мой,— сказал он жене,— вот тафта, вот атлас, вот кисея и все подобные вздоры. А это для дочерей, такого же разбору. В этой коробке сукно, каземир, хороший холст и прочее для князя и его товарища. А в той коробке для одного последнего несколько хороших книг русских и французских; коллекция эстампов известного художника, ящик с красками и еще кое-что. Что ж я никого не вижу?

Авдотья вошла, и один вид ее объяснял наперед ответ. Сколько Маремьяна на нее ни глядела, сколько ни мигала, сколько ни кривлялась,— что могла понимать бедная девушка, когда все знала по догадкам?

— Скоро ли выйдет Елизавета? — спросил Простаков.

— Она совсем не выйдет,— отвечала Авдотья.— У нее жар в голове, озноб во всем теле и бог знает что.

— Что это значит? — спросил удивленный старик с соучастием отца.

— Это пройдет,— сказала Маремьяна с некоторым притворным спокойствием,— ей скоро после обеда стало немного дурно, заболела голова: конечно, небольшая простуда, но она скоро пройдет; ей теперь гораздо лучше дать успокоиться.

— Пусть так,— был ответ Простакова,— но где же...— В ту минуту вошел Иван.— Что?

— Князь Гаврило Симонович не будет!

— Конечно, они все решились сделать праздник мой хуже будней,— сказал с сердцем Простаков.— Почему же не будет его сиятельство, когда я от души просил пожаловать? Что делать изволит он?

Слуга отвечал: «Он сидит в углу комнаты своей, пред ним стоит свеча и лежит Библия; он, кажется, ее не читает, а смотрит в потолок и горько плачет».

Страшный мороз, сто раз холоднее, чем вьюга на дворе, проник грудь Простакова. «Плачет? — сказал он диким голосом, от которого Маремьяна и дочь ее задрожали.— Он плачет под кровлею дома моего,— плачет человек добродетельный, которому я дал убежище! О! я молю бога, чтобы не мое семейство было виною слез его. Иначе я сам испрошу громы на головы нечувствительных, которые извлекают слезы из очей несчастного, но доброго человека».

— Почему знать, друг мой? — сказала Маремьяна,— у всякого свои причины!

— Без сомнения,— отвечал муж,— и я даже не хочу проникать в тайны сердца, пока оно само не откроется добровольно. Но Никандр?

Все были в глубоком молчании.

— Верно, я сбился с пути и заехал в дом сумасшедших,— сказал Простаков с досадою.— Где и что Никандр? — спросил он у человека. Тот стоял как столб и не отвечал ни слова.

Простаков взглянул на жену испытующим взором; она взяла его с трепетом за руку, отвела в гостиную и сказала: «Друг мой! Никандра нет уже в доме!»

— Где же? — спросил муж таким голосом, что жена, желая поправить галстук на его шее, оторвала целый конец батисту: так худо могла она владеть своими руками. Но надобно было все объяснить так, как было. Маремьяна утопала в слезах, рассказывая мужу о дневной сцене,

о чтении, признании, объятиях, пощечинах и изгнании из дому. «Я думаю, что и ты то же бы сделал, милый друг мой»,— сказала она под конец, ласкаясь к своему мужу.

Простаков долго стоял в самом пасмурном унынии; смотрел то на жену, то на снег, все еще лепившийся у окон целыми грудами; потом сел и спросил ее с рассеянностию:

— Что бишь ты мне сказала?

Маремьяна довольно ободрилась, подошла к нему с видом человека, которого поступки прежде по неведению клеветали, но он оправдался и получил всю прежнюю доверенность. Она сказала:

— Я думаю, что ты сам отдашь справедливость моему поступку и сам не захочешь видеть в доме своем соблазн, а, упаси господи, по времени и разврат; ты также велел бы выйти Никандру, этому неблагодарному, этому...

— Быть может,— возразил муж громче обыкновенного, дабы остановить пылкое красноречие жены своей,— быть может, и я то же бы сделал, и именно то же; но, клянусь великим сердцеведцем, совсем не так безумно, как ты! Правда, у меня никогда не было и в уме, чтобы в Никандре дать жениха своей дочери, да и сам князь Гаврило Симонович говорит, что приличия никогда забывать не должно: иди всякий своей дорогой, не скачи дерзко вперед, но не оставайся по одному малодушию и назади. В чем состоит все дело? Никандр полюбил дочь нашу: самое простое действие природы и самое обыкновеннейшее; он молод, пылок, она хороша и достаточна; а для человека бедного это также пособляет в любви. Елизавета ему тем же отвечала,— еще обыкновеннее; он учен, нежен, чувствителен, и чего ей больше? Она подумала о нашей благосклонности и со всем доверием, как говорила ты, протянула к нему обе руки.

— Как, мой друг? — спросила Маремьяна с недоумением и досадою.— Ты стал бы равнодушно смотреть, как эта беспутная девчонка и молодой нахал машут руками и вешаются друг другу на шею, как было у батюшки на феатре.

— Ты совсем не отгадала, жена,— сказал Простаков, также в свою очередь с досадою.— Я давно говорю тебе, что я то же бы сделал, но только не так. Заметя непристойность,— ибо и совесть моя называет это, если не больше, то верно непристойностию,— я отвел бы Никандра в

садовую его избушку и сказал: «Молодой человек, ты любишь мою дочь Елизавету, но женою твоею она не будет. Итак, если ты честен, оставь нас. Во всех нуждах, какие тебе встретятся, относись ко мне, я по силам буду помогать тебе, ибо я тебя полюбил, и буду любить, пока не оставишь ты стезей добросердечия и чувствительности. Так, молодой человек! Ты не имеешь родителей; я тебе заменю отца, но Елизаветы за тебя не выдам, ибо приличия никогда забывать не должно»,— говорил князь Гаврило Симонович; а что он говорил правду, за то ручается моя совесть.

Конечно, я не дозволил бы видеться ему с Елизаветою, но и не гнал бы из дому, пока не сыскал приличного ему места по службе. Видишь, жена, следствия были бы те же, и молодой человек оставил бы дом наш, осыпая благословениями, вместо того что теперь, окруженный бурею, свистящею среди лесного мрака или поля бугристого, нося на плечах снег, на лице иней, он борется с холодом, зверями пустынными и, скрежеща зубами, произносит на главы наши достойное проклятие.

Маремьяна заплакала, муж ее задыхался от слез, гнева, досады и чувствительности.

— О Маремьяна! — вскричал он.— О бесчеловечная, жестокая женщина! кто внушает в сердце твое лютость? Неужели ты, казня меня так много, не чувствуешь ужасного угрызения совести?

Она стояла молча. Вдруг отворяется дверь залы, и князь Гаврило Симонович вошел подобно привидению ночи. Кровавы были от пролитых слез глаза его, щеки бледны, колена тряслись, он подошел медленно, и Простаков с воплем пал в его объятия. «Все знаю,— кричал он,— мне все известно, достойный друг мой. О! если б я мог когда-либо загладить ее жестокость!»

— Есть провидение и никогда не дремлет,— сказал князь Гаврило Симонович, указав на небо.

— Верю, верю и на него только надеюсь!

Когда несколько все пришли в себя, Простаков спросил жену холодно: «Что ты дала ему на дорогу?» Жена взглянула на него и онемела. «Чем ты снарядила его?» — сказал он важно, вставая с кресел и не двигаясь с места. Жена потупила голову и продолжала молчать «О! понимаю; к горькому несчастию моему, очень понимаю!» — вскричал Простаков, сложив у лба обе руки свои и закрыв лицо.

— Не беспокойтесь,— сказал князь Чистяков,— я довольно снарядил его, и покудова он ни в чем не будет иметь нужды.

— Ты? Но ты сам что имеешь?

— Сколько имел, и тем поделился и, наградя его родительским благословением, отпустил.

— Вечный мздовоздаятель да наградит и благословит тебя,— вскричал Простаков, вторично его обнимая.

Глава XVI

Жид Янька

Боже мой! что делает время!

На двадцать первом году жизни моей допустил ли бы я кому-нибудь, самому даже несговорчивому профессору, уверить меня, что в двадцать восемь можно, хотя и не совсем, забыть то, что прежде было предметом самой стремительной страсти; по крайней мере не более помнить, как одно имя предмета оной, и то вспоминая минут пять, не более. Куда ж девались прежние чувствования? Исчезли ль они во мне вовсе? Охладела ль кровь в жилах моих? Нет; все едва ли не более усилилось. Куда ж прежнее девалось? И сам не знаю, а чувствую, что его нет более, и уверен, что, увидя предмет, при воспоминании о котором прежде душа моя пылала сладостным огнем, и все бытие перерождалось,— теперь, говорю я, не иначе взгляну на предмет тот, как на листы бумаги, на которых красным карандашом пачкал я харицы в первые месяцы ученичества; или спустя несколько лет, еще обиднее, пачкал бумагу, сочиняя какое-нибудь четырехстишие. Не правда ли, что и для великих поэтов и художников утешно видеть младенческие труды свои? Но они смотрят на них с тою улыбкою, которая означает ясно: какая разность с теперешними нашими творениями!

О друзья мои! Если вы плачете под игом бед жестоких,— утешьтесь! Пройдет несколько времени, и вы увидите розы, расцветшие на вашем шиповнике. Если мучитесь вы пожирающею страстию любви и видите, что предмет ее слишком отдаляется от сочувствия,— о! утешьтесь и будьте покойны! Представьте, что спустя несколько лет, ну пусть и несколько десятков лет,— красота ваших обладательниц, их прелести, нежность их взоров, их улыбок,— все, все пройдет, и невозвратно, и на место тепе-

решних богинь предстанут — увы! — грозные парки, которые если и не будут резать нити дней ваших мгновенно, то по крайней мере умерщвлять вас медлительно ворчаньем, бренчаньем, подозрением, злостию, словом: всеми адскими муками.

Все предоставьте времени, друзья мои, и утешьтесь так, как нередко утешаюсь я, предоставляя все врачу сему безмездному.

Так или иначе рассуждали все в фамилии Простаковых, только наконец все и вправду несколько успокоились,— разумеется, один больше, другой меньше. Простаков был довольно весел и занимался своими делами по-прежнему, то есть день проводил, осматривая хозяйство с князем Гаврилою Симоновичем, а вечер — в разговорах все вместе.

С Елизаветою давно он помирился, только не мог надивиться случаю, что сам привез в дом пансионного любовника своей дочери.

Он спокойно, так, как и Катерина, ожидал вызова от князя Светлозарова. Князь Чистяков рассуждал, шутил, и все так нравилось целому семейству, что Маремьяна Харитоновна награждала его веселым взглядом, муж — дружеским пожатием руки, Катерина — приметным желанием слушать его более и более, а нежная Елизавета — кроткою улыбкою.

Может быть, некоторые напомнят мне, что я не сказал, откуда бедный, почти нищий князь Гаврило Симонович мог дать пятьдесят червонных своему любимцу?

Я нимало не забыл о сем и скажу, когда мне покажется кстати, только предуведомлю, что нескоро.

— Ну, любезный друг,— сказал однажды Простаков, взглянув весело на своего гостя,— ты давно ничего не говоришь нам, что случилось с тобою после похорон достойного тестя твоего князя Сидора Архиповича Буркалова? Мы все собрались теперь вместе.

— С сердечным удовольствием,— отвечал Гаврило и, помолчав, начал.— Я остановился на вступлении моем в ворота дома, в сопровождении двух честных пастухов, которым замышлял за труды отдарить, давши по куску хлеба.

Вошед в покой, где стоял прежде гроб покойника, я от приятного недоумения выпучил глаза и разинул рот. Посередине стоял стол, накрытый скатертью и уставленный пятью или шестью блюдами, несколькими бутылками вина

и большим графином водки. Гости мои были в подобном положении, меж тем как княгиня Фекла Сидоровна, которая уже пооправилась и, с дозволения Марьи, могла присутствовать при наших поминках, сидела в углу с младенцем на руках.

— Что это значит? — спросил я, как скоро почувствовал употребление языка. Я покушался было опять думать, что и подлинно жена моя имела большое сокровище, но от меня таила, чтобы я, будучи от природы щедр, что доказал ей перетаскиваньем всего платья моей матери и после пожертвованием единственного движимого имения — коровы, за выкуп оного, не указал и ему той же дороги. Но похороны отца ее удерживали меня так думать.

Вместо ответа жена взяла меня за руку, вывела в сени, провела двором, подвела к хлеву, и — о чудо из чудес! — моя корова стояла там над большою копною сена.

— Княгиня! — спросил я заикаясь,— уж не колдовство ли это или самый злой сон? — Я сильно протирал глаза, желая подлинно удостовериться.

— Нет, любезный князь,— отвечала Феклуша с улыбкою,— это ни колдовство, ни сон. Садись обедать с гостьми, а после я сделаю тебе объяснение.— Таким образом, принялись мы насыщаться даром, столь чудесно ниспосланным. Пастухи, которые ничего не знали о происхождении великолепного гроба, ни такого богатого обеда, почли, что я и подлинно богат, да скрываю свое богатство. Они ели, как голодные волки, не останавливаясь ни на минуту, и во весь обед только и были слышны сии слова: «Это вино, право, прекрасно, ваше сиятельство князь Гаврило Симонович! Это блюдо имеет особенный вкус, ваше сиятельство княгиня Фекла Сидоровна». Мы молча с женою друг на друга взглядывали: она улыбалася, я принимался есть, опять не понимая, откуда жена взяла столько денег, чтоб выкупить корову и поднять такой банкет.

Наконец поминки кончились. Гости мои, пастухи, ушли, приговаривая беспрестанно: «Много обязаны, ваше сиятельство князь Гаврило Симонович; чрезмерно благодарны, ваше сиятельство княгиня Фекла Сидоровна!» — «Вот то-то же,— думал я.— Это не тот уже голос, когда вы провожали меня с вытравленного моего поля».

Я потребовал от княгини своей объяснения, и она подала мне большое письмо. Распечатываю, гляжу на под-

пись и вижу,— о! как я не догадался прежде,— вижу подпись жида Яньки, сажусь с движением и читаю вслух своей княгине:

«Почтеннейший князь Гаврило Симонович! Благодарю великому предопределению, в глазах которого равны и князь и крестьянин, и староста и жид Янька. Предназначением Саваофа я время от времени, хотя понемногу, хотя кое в чем могу одолжать и одолжаю христиан сея деревни; но если б князья ее и крестьяне были богаче меня, я душевно уверен, что бедный Янька давно бы погиб с голода и, брошенный на распутии в поле, был добычею зверей плотоядных. Так! Я беру залоги и проценты; но кто не берет их? Та только разница, что жид терпит (иногда по необходимости) несколько месяцев сверх срока, а христианин христианина на другой день волочет в тюрьму. Князь! Я родился с тем, чтоб любить всех меня окружающих как братьев и друзей, но никто не хотел видеть во мне ни брата, ни друга. Что делать? Неблагодарность бывала иногда отличительною чертою не только целых семейств и областей, но веков и народов. Так бедному ли жиду Яньке не ожидать ее? О нет! Он не столько счастлив, и долговременные опыты так его в том утвердили, что даже и не ищет вознаграждений, а сердце его любит страстно одолжать. Не думайте, любезный князь, что я, говоря это, даю вам кое-что на замечание! О, совсем нет! Вы добры, но бедны; пособлять бедным велит бог, бог евреев, бог христиан, бог твари всея! Возвращаю вам вашу корову, ибо она ни мне, ни детям моим теперь не нужна. Хочу, чтобы поминки тестя сколько-нибудь стоили звания вас обоих, и все прошу душевно принять с доброхотством. Как скоро будете в чем-либо иметь нужду, приходите ко мне, и я постараюсь удовлетворить вам по возможности, не призывая в помощь вексельных листов, маклеров и свидетелей. Как мне ни приятно одолжать честных людей, но искренно желаю (и думаю, вы довольны были бы исполнением моего желания), чтобы никогда и ни в ком не иметь нужды. Но если вышнему то не угодно, сердце и сундук Яньки для вас отверзты.

С глубоким почтением есмь,
ваш преданнейший слуга

Янька жид».

— О Янька, Янька! — вскричал я воздыхая.— Добродетель твоя достойна всякого христианина.

Весь вечер провели мы с женою в восхищении, размышляя о будущем своем хозяйстве. Я был непомерно весел, ибо глядел на сына и жену, которой не видал более суток, и помышлял о возвращении моей коровы. На досуге строили мы великолепнейшие из всех возможных *воздушных замков*.

— Корова опять у нас,— говорила княгиня Фекла Сидоровна,— чего ж больше? Батюшкин дом мы продадим и можем, выкупив поле, накупить семян на посев. Рожь и пшеница уродится; огород у нас теперь огромнее, чем прежде, а топтать его не будет больше надобности. О! я предчувствую, что со временем будем мы если не богаче всех князей нашей деревни, по крайней мере довольнее, ибо постараемся довольствоваться тем, что у нас быть может.

Благоразумие жены восхищало меня. Я пал в ее объятия и клялся никогда более не топтать огородов, и сдержал досель свое слово; но она... Увы! сколько слез стоило мне несдержание слова своего княгинею Феклою Сидоровною!

К ночи начался опять довольно сильный осенний дождь. Но, уверяю, я смотрел на него с удовольствием, так что состояние сердца переменяло в глазах наших действия природы. Правда, и то немало придавало нам тогда веселия, что сокровище наше, наша корова возвратилась.

Тут вошел к нам незнакомец и сказал, что везет купца, хозяина своего, на ярмонку; что дурная погода застигла их в поле; что они ожидали успокоиться в сей деревне, но, к несчастию, огни были везде погашены и ни у одних ворот не могли достучаться.

— Этому я верю,— сказал я, взглянув на княгиню,— помнишь ли, Феклуша, какова была ночь родин твоих? Нигде не хотели отпереть.

— В этом есть разница,— отвечала супруга моя с важностию: — тогда был ты, а теперь он везет купца, и, может быть, богатого.

— О! пребогатого и прещедрого,— подхватил извозчик.

— Хотя бы он был щедрее всех щедрых на свете, я не могу пустить его. У меня только и есть покоев, что этот, где стоим, да вот другой вдесятеро меньше, где спим. Суди

сам, друг мой: у меня маленькое дитя, крик поминутный, всю ночь возня,— словом, хозяину твоему покойнее ночевать в повозке, чем в моем доме.

Извозчик запечалился, и мы также, как вдруг вспомнил я, что у меня еще есть целый пустой дом моего тестя, и предложил извозчику там поселиться. Предложение принято с радостию. Марья развела на очаге огонь, чтобы вскипятить воды (я не знал тогда, на что бы это купцу, но через несколько лет открылся свет в глазах моих: это значило пить чай) и разогреть жаркое. Я отдал купцу, человеку старому, с страшною бородою, но приятному и миловидному, ключ от шкапа, в котором лежали книги моего тестя. Я никогда в него и не заглядывал.

— Не вздумается ли вам позабавиться чтением,— сказал я с хвастливым видом, чтоб показать купцу, что я не обыкновенный князь в нашей деревне и читать умею.

— Посмотрю: может быть,— отвечал купец,— я намерен пробыть здесь до тех пор, покудова мне вздумается. Я думаю, вы за квартирой не постоите?

— Боже мой! она мне совсем не нужна.

Однако ж мне неприятно казалось, что вместо удивления, что я умею читать, он толкует об отдыхе. Чтоб поразить его и наказать за прежнее невнимание, я сказал еще бесстыднее, что сам очень люблю чтение и нередко целые вечера занимаемся им с женою попеременно.

Купец поднял на меня глаза, и я не мог не закраснеться, солгав так безбожно, ибо Феклуша никак не могла различать более пяти первых букв; но я подлинно читал немногим чем хуже лысого дьячка Якова, который был удивлением всех окрестных приходов.

— Хорошо,— сказал купец весьма сухо,— я сам свободное время провожу в чтении.

Я пошел от него недоволен. «Этот купец или немножко глуп, или очень груб, что не умеет или не хочет различать людей»,— сказал я, вошед к княгине, взяв со стола ночник и уводя ее в спальню с сыном.

Он пробыл у нас около недели. Посещал мой дом, говорил часто с княгинею и, казалось, был немало доволен. Мы старались, сколько позволяли наши обстоятельства, угощать его. Особливо приметно было, как он прельщался моим сыном.

Глава XVII

Клад

Чрез несколько дней, как гостил у меня купец, крестили моего сына. Когда Марья, которая была вместе с попом, крестным отцом и матерью, пришла домой и объявила, что сына моего нарекли Никандром, то я вздрогнул и онемел, и княгиня моя заплакала. Марья, также рыдая, уверяла, что никак не могла уговорить и упросить попа дать лучшее имя.

— Вы удивляетесь, друзья мои, не видя причины нашей печали,— сказал князь Гаврило Симонович, обратясь к удивленному семейству Простаковых.— Так, она была мечтательная, но не меньше того чувствительна.

— О злодей! о тиран! — вскричал я с бешенством, боясь взять на руки сына. И подлинно поп нам сделал самую колкую насмешку, обиду и даже навел хлопоты. Не только в высоких фамилиях князей Чистяковых и Буркаловых, но ни во всех благородных домах нашей деревни не было ни одного такого имени; и сия новость чрезмерно нас опечалила. Известно, что всякая фамилия имеет любимые имена, которые, по наследству от дедов переходя ко внукам, производят, что в целой деревне слышно только несколько имен как мужских, так и женских. Сын мой по деревенскому закону должен бы наименован быть Симоном, а его сын — Гаврилою и т. д. по порядку. Посудите ж о негодовании всех благородных из нашей деревни, когда услышали о моем необычайном и, следовательно, непростительном вольнодумстве в таком важном случае.

— Как,— говорил староста собравшимся на ту пору у него гостям,— как можно только ругаться памятию отца своего? А князь Гаврило это делает явно! Не сказано ли где-то (дьячок Яков очень знает где), что благословение отцов строит домы? Как же может покойный князь Симон благословить внука своего Никандра? Поделом будет, если дом его, обрушась, передавит всех беззаконников. Но чтоб таковой соблазн не распространился и нам не навлечь на себя праведного от бога наказания, в силу данной мне инструкции думаю я повестить во всей деревне, чтобы сколько возможно остерегались ходить в дом князя Гаврилы и тем раздражать долготерпение божие.

Через час я все это узнал. К нам пришла княжна Угорелова, с которою жена моя была дружна еще в девках. Я содрогнулся от опасности, в которой все мы находились.

— Пусть грех сей обратится на голову того, кто в том виновен,— вскричал я,— клянусь, я не виноват!

Настал полдень, и меня пришли звать к гостю моему для расчета. Вошед в избу, увидел я, что старик читал с глубоким вниманием одну из книг моих, а пять или шесть лежали подле. Купец снял очки, уговорил меня сесть и спросил дружески:

— Это ваши книги?

— Мои, и достались по наследству.

— Я думаю, они вам в деревенском быту не нужны?

«О! — сказал я сам себе,— видно, ты не знаешь, что я урожденный князь!» — и уже замышлял было о способе, как бы ему поискуснее дать знать, что я не последний из просвещенных людей в деревне, не оказавшись, однако, самохвалом,— как купец, не дождавшись моего ответа, спросил попросту:

— Не уступите ли вы мне эти семь книг? У вас еще больше останется.

— Почему и не так, государь мой, если...

— Я обижать не люблю и дам хорошие деньги.

С сим словом вытащил он из-за пазухи большую *кожаную кису,* развязал, считал, пересчитывал, все вслух, и, выложив на стол золотом сто *рублей,* спросил ласково: «Довольны ли вы этим?» С судорожным движением встал я со скамьи, все жилы мои трепетали и глаза заблуждались. Купец, верно, ошибся; он почел чувство высочайшей степени неожидаемого счастия за верх негодования.

— Отчего же вы сердитесь? — сказал он, *взявшись опять за кису.*— Если сего мало, так скажите прямо.— С сим словом выложил еще с пятьдесят рублей тою же монетою; я взглянул на деньги, на него и все был в прежнем положении. Купец несколько наморщился, выложил еще пятьдесят и спросил холодно: — Теперь будете ль довольны вы?

Ужас, чтоб не оскорбить такого почтенного человека, возвратил мне несколько употребление чувств. «Довольно! — сказал я, щелкая зубами и потирая руки, как бы от страшного озноба, хотя пот лил градом с лица моего. Купец принял опять веселый вид; собрал книги, позвал ямщика и велел уложить их в повозку. Потом, оборотясь ко мне, сказал: «Благодарю, дорогой мой хозяин, за покойную квартиру». С сим словом вынул из кармана горсть мелкого серебра, положил на стол, пожал дружески мою руку и вышел так доволен, как будто бы получил неожи-

данно какое-либо сокровище. Скоро сокрылся он из виду, но я все еще был в полузабытии. При малейшем шуме казалось мне, что купец возвратился взять назад свои деньги; с воплем вскакивал я, бросался на стол и покрывал грудью свое сокровище. Но купец не возвращался, и я напоследок пришел несколько в себя. Пересмотрел деньги, машинально спрятал в карман и, как отчаянный, побежал домой. Княгиня Фекла Сидоровна и княжна Макруша Угорелова, которая еще гостила, ужаснулись, взглянув на меня. Они ахнули, а Марья подняла крик.

— Что это сделалось,— вопила она,— с вашим сиятельством?

— Ничего,— отвечал я,— где сын мой Никандр? Я хочу видеть сына моего, хотя бы звали его не только Никандром, но и еще чуднее!

Жена, гостья и Марья ахали и крестились. Я побежал в спальню, схватил дитя на руки, вылетел, как стрела, на двор и что есть мочи кричал: «Это мой сын Никандр, Никандр!» Феклуша и княжна упрашивали меня войти в избу и не отдавать себя и сына на позор целой деревне, ибо они считали меня в отчаянии и помешательстве; но я не переставал кричать громче прежнего: «Это мой сын Никандр!»

Мало-помалу скопилось множество народу у моих ворот. Я у всякого спрашивал: «Знаешь ли, как зовут моего сына? Никандром; да, княжны и князья, его зовут Никандром!» Все качали головами, опускали руки и уходя говорили друг другу тихо: «О, бедный, взбесился, и не мудрено; до чего не доведет бедность?»

Когда так торжественно всем повестил я сам, что сына моего зовут Никандром, они удалились от ворот, и я вошел в комнату довольно покойно и отдал плачущей княгине дитя.

— О чем ты плачешь,— спросил я,— и тогда, когда надобно благодарить бога и веселиться?

— Поди успокойся, любезный мой князь; может быть, несчастию и пособить можно. Княжна говорит, что и не такие дела делают за деньги. Поди усни.

— Ничего не надобно,— вскричал я.— Хотя бы поп дал сыну имя еще необыкновеннее, то и тут переменять не надобно. Ты ошибаешься, друг мой, не чудное имя сына привело меня в такое восхищение, которое ты почитаешь сумасшествием, а знай: я нашел *клад!*

— Клад! — вскричали все: княгиня — оторопев и

взглянув на меня с недоумением, как бы почитая это изобретение новым признаком сумасбродства; Марья — присевши от страха по необыкновенности случая; княжна — помертвев от зависти, как мне показалось; а все три раз по десяти произнесли: «Клад? ахти!»

— Уж не давешний ли старик помог вам, князь,— сказала Марья с робостью.— Не ворожея ли он какой, не колдун ли?

— Пусть он колдун или еще и больше того, а только действительно он помог найти клад!

— Так,— продолжала Марья,— верно, чернокнижник: я заметила, он с большим прилежанием читал какие-то претолстые книги.

Слово «чернокнижник» привело меня в смятение. Мне сейчас представилось, с какою щедростью заплатил он мне за книги. Я взглянул на Марью пасмурно и не мог отвечать ей.

Скоро княжна Макруша раскланялась; но, как приметил я, без прежней искренности и довольно холодно. О зависть! что ты делаешь? Как издеваешься над сердцами человеческими?

Как только вышла сиятельная гостья наша, я наскоро рассказал жене и Марье о своей находке и показал деньги. Все мы дивились или глупости, или непомерной щедрости купца, или и подлинно великому, но сокровенному достоинству книг наших.

— Это недаром,— говорила со вздохом Марья,— верно, он чернокнижник.

— Хотя бы он был сам злой демон и тогда, если начнет делать людям добро, переменится он в ангела,— сказал я сердито и побежал к другу моему жиду Яньке. Он крайне радовался счастливой перемене моего состояния, обещался пособить советами в заведении хозяйства; но никак не хотел взять от меня той суммы, в чем заложено было платье жены моей и что переменил я коровою.

— Янька! — сказал я несколько горячо.— Когда я был беден до нищеты, не краснеясь принимал от тебя дары твои. Когда я теперь слава богу... то ты не обижай меня отказом.

Янька взял деньги и обещал прийти ко мне на вечер праздновать крестины. «Вы, князь, ни о чем не беспокойтесь! Со мною будет всего довольно!»

Мы расстались веселы.

Глава XVIII

Чернокнижник

Возвратясь домой, я был вне себя от радости.

— Ну, жена, с Янькою я квит; теперь можешь ты наряжаться в розовое платье, не краснеясь от стыда, и белое, не бледнея от злости. Все наше, и никому ничего не должны! Теперь посоветуем, как нам вести хозяйство. Я думаю нанять работника и девку в помощь Марье, а она станет смотреть за домашним хозяйством и нашим наследником, меж тем как мы по наступлении, бог даст, весны и лета будем работать в поле.

— Изрядно,— сказала жена, которая в теперешних обстоятельствах никак не хотела забыть, что она — урожденная княжна Буркалова и настоящая княгиня Чистякова.— Изрядно, друг мой, это все хорошо; но у Мавруши, дочери старостиной, такой прекрасный сарафан из голубой материи, что нельзя не прельститься.— Она потупила глаза.

— Прельщаться вредно,— сказал я очень философски.— Если б не эта беда, не вытоптал бы я своего огорода.

Замолчав на несколько времени, опять принялись говорить о будущем богатстве.

— Уже мы перестроили дом и сделали новый час от часу огромнее; поля наши неизмеримы, стада неисчетны, слуги блестят в золоте и серебре, и, наконец, мы поехали в карете, запряженной шестью вороных коней,— сказал я улыбаясь.

— Нет, белых,— отвечала жена доказательно.— Это гораздо приличнее; на мне будет белое платье, белая шляпка, так следует и лошадям быть белым.

— Ты совсем не имеешь вкуса,— сказал я, подняв нос с важностию знатока,— надобно смотреть на симметрию; и лысый дьячок Яков это очень хорошо рассказывает, а ему можно, кажется, больше верить, нежели кому-нибудь другому; он бывал в Москве и очень недалеко от самого Петербурга.

Пораженная моим доказательством, княгиня не знала, что и отвечать; но призналась с невинностью, что слово «симметрия» для нее не очень понятно!

— Давно бы об этом сказала,— подхватил я.— Все тебе растолкую. У тебя черные глаза, черные брови, черные волосы, а потому и лошади должны быть вороные! Вот тебе и симметрия! Понимаешь?

Несмотря на превосходную симметрию и важный вид мой, мы никак не могли согласиться; у каждого в голове была своя симметрия. Спор становился горячее, час от часу запальчивее; наконец, дошло было до того, что я почел за нужное поднять прародительский жезл и хотел сделать симметрию между им и спиною моей княгини, как вдруг отворяется дверь, и удивление мое было немалое, увидя, что вошли староста, человека три десятских, человек пять князей с пасмурным и величавым видом.

— Добро пожаловать, почтенные господа,— сказал я, упрашивая их сесть. Я был уверен, что они пришли поздравить меня с благополучием, и намеревался принять самый боярский вид.— Что скажете, милостивые государи, новенького?

Староста. Да, ваше сиятельство, мы слышали некоторую новость о вашем обогащении! Дай бог, только бы это было законным образом!

Я. Я очень рад, любезный Памфил Парамонович! Бог благословил меня нечаянным образом. Теперь у нас с женою идет разноголосица, как устроить хозяйство. Она хочет так, а я иначе. Вы кстати пожаловали. Будучи такой мудрый человек и зная совершенно политику унаваживать землю, пахать, сеять и жать хлеб, вы, конечно, подадите мне благоразумный совет.

Староста. Не хвастовски сказать, я в этих делах из первых знатоков в деревне и не откажусь пособить вам, как скоро вы удовлетворительно будете отвечать на мои вопросы.

Я *(с удивлением)*. Вопросы? В чем?

Староста. Вы знаете, думаю, что у меня есть наставление или инструкция от земского суда, в которой именно предписано мне иметь неослабный надзор над всеми, между прочим и ворожеями, колдунами, оборотнями.

Я. Хорошо, господин староста.

Староста. А под сими титлами разумеются с позволения вашего и чернокнижники.

Вдруг понял я, к чему клонилось дело; хотя робость и была мне свойственна, а особливо пред таким человеком, каков староста деревни, который имел наставления или инструкции от земского суда, однако чувство своей невинности есть самый острый меч для рассечения плевел клеветы и злобы.

— Что далее скажешь, староста? — сказал я надменно, помня, что я не прежний бедняк. Слово «старо-

ста» без прибаутки «господин» было ударом для Памфила Парамоновича. С первого дня его старостава он не слыхал подобной обиды. Желчь разлилась в груди его, глаза засверкали, он трепетал от гнева за униженную честь свою.

Староста. Так, видно, придется доказать вам, князь, что я здесь подлинно староста; и что имею особое наставление или инструкцию от земского суда. Итак, именем того знаменитого судилища спрашиваю вас, откуда вы получили клад?

Слова: «колдун, чародей, чернокнижник, клад» — и прежде навели на меня великий страх; а теперь, когда староста делает допрос, казалось бы, что я лишусь чувств от ужаса; но вышло напротив. Вот новое действие натуры человеческой! Я решился быть храбрым, хотя бы то стоило не только жизни, но и потеряния великого моего сана.

Я. Откуда я взял клад, староста? Тебе до этого какое дело? Я не спрашиваю тебя, где взял ты недавно барана с двумя овцами, молодого жеребенка и много кое-чего другого; конечно, все это куплено не за свои деньги. Но я не спрашивал, да, думаю, и никто из сих высокопочтеннейших гостей, которые у тебя были.

Высокопочтеннейшие гости мои поглаживали себя по бородам и, казалось, были довольны мною.

Староста. Не о том дело, князь Гаврило Симонович; но зачем упускать из виду чернокнижника, который может обморачивать людей? Если б вы его задержали и объявили мне, может быть...

Я. Он честнейший старый человек. А если почему и можно его назвать чернокнижником, так разве потому, что купил у меня тестевы книги; а книги эти и подлинно от давнего времени были отменно черны.

Разговор становился то живее, то тише. Иногда грозили мне всеми наказаниями, какие приготовлены для чародеев и их сообщников. Иногда улещали теми наградами, какие ожидают доносчиков на великих злодеев в мире; и я не знаю, чем бы кончился такой политический разговор, если бы жид Янька не вошел с своим работником, который обременен был съестным и напитками.

— О чем такой шум в сем знаменитом собрании? Не лучше ли вечер провести веселее, чем о пустом спорить?

— Конечно, и мы о том же несколько раз говорили,— сказали князья и прочие именитые люди, глядя с отеческою нежностию на расставляемые по столу бутылки. Да

вот видишь все Памфил Парамонович и его сиятельство в чем-то не ладят.

Староста. О пустом спорить? Янька, нет! Ты тут ничего не понимаешь. Если б дело шло о водке, о вине и других напитках, может быть ты...

Янька. Если дело идет о человеке, то и я судить могу, и я имею сердце.

Староста. Ты — жид, так у тебя и сердце жидовское!

Я. В его сердце более любви к ближнему, чем у тебя, староста, ко взяткам и прицепкам!

Все князья. Ах боже мой! что-то будет!

Староста. Извольте, князь, шествовать со мною!

Я. Куда?

Староста. В сборную избу; там порассудим миром о чернокнижнике и его сообщниках. Я очень знаю свою должность, ибо у меня есть наставление или инструкция от земского суда. Дело такой важности, а я не намерен отвечать за других. Извольте идти, князь Гаврило Симонович!

Я. Изволь ты прежде, староста, сходить к черту, а я намерен провести ночь дома и притом весело.

Страшный бунт начался. Староста бесился. Гости то его, то меня склоняли к перемирию, если нельзя уже к миру. Марья и княгиня Фекла Сидоровна плакали взрыд, дитя вопило; десятские приступали по приказу старосты брать меня, я грозил и силился хотя и тщетно вытащить безэфесный тесак из ножен. Словом: такой происходил вой, крик, шум и гарк, какого от создания мира едва ли слышно было.

Жид Янька, который во все это время стоял молча, поджав руки, наконец решился действовать. Он раздвинул толпу, попросил скромно выслушать в молчании одно слово; они склонились, и он начал говорить:

— Знаменитые князья и почтеннейшие люди нашей деревни! вы нередко слушали по часу жида Яньку, когда он увещевал вас в шинке своем не пить больше, а особливо в долг, и не принимал ваших залогов; но вы упрашивали меня, я склонялся и отпускал в долг. Когда я делал вам удовольствие, вас слушаясь, сделайте и вы мне, послушавшись и меня. Я буду просить вас о миролюбии и кротости! Вы очень кричите громко! хорошо, если не можете воздержаться; однако ж признайтесь, что, говоря тихо и без жару, можно говорить умнее, а особливо о де-

лах такой важности, какое приключилось и в сем знаменитом обществе, именно о чернокнижии. Помоги моему неведению, высокопочтеннейший староста Памфил Парамонович; растолкуй мне, что такое чернокнижник?

Староста. Ворожея злой.

Жид. А что такое ворожея?

Староста. Колдун!

Жид. Что ж такое колдун и что он делает?

Староста. Всякие пакости людям. Он наводит засухи, проливные дожди; портит скот; делает людей оборотнями и прочее и прочее.

— Если так, то ворожеи и подлинно злые люди,— продолжал жид,— и стоят наказания. Но посмотрим, что сделал старый проезжий, гостивший в доме князя Гаврилы Симоновича? Ему полюбилось несколько больших старинных священных ваших книг, и он купил их. Книги эти знаю я потому, что покойный князь Сидор Архипович Буркалов приносил ко мне не один раз закладывать, но я не брал. Что ж тут злого сделал старый купец? Кого превратил он в оборотня? Ничего не бывало: он сделал добродетельнейший поступок; он поправил состояние знаменитой, но недостаточной фамилии князей Чистяковых! Итак, высокопочтеннейший староста Памфил Парамонович, и вы, знаменитые князья, со всем благородным сим собранием! не гораздо ли лучше, вместо того чтобы спорить о том, о чем все мы ничего верного не знаем, и драть горло ужасным криком,— не сто раз ли лучше и похвальнее начать праздновать крестины сына почтенного нашего хозяина?

Не дожидаясь ответа, он подошел к столу, налил большой кубок хорошего вина и почтительно поднес к Памфилу Парамоновичу. Староста поглядел на кубок, на жида, на все собрание и с легкою улыбкою сказал: «Право, Янька Янкелиович, ты — великий искуситель!» С сим словом взял он кубок, поклонился на все стороны и выпил.

Князья и все сочлены знаменитого сего собрания подняли радостный крик и ударили в ладони. Мир водворился. Праздник мой продолжался долго. Еще говорили и спорили о колдунах, оборотнях и чернокнижниках, но уже без шуму, без ссоры, и гораздо за полночь разошлись по домам, желая друг другу доброй ночи.

Глава XIX

Знание большого света

Хозяйство свое устроили мы с женою довольно хорошо. Я нанял работника Фому и работницу Маврушу, купил лошаденку на место павшей от голода. Плетень, разделявший огород мой от тестева, разобрал я, чем сохранил в домашней экономии несколько денег, ибо зимою не покупал дров. Поле свое также выкупил. Дни шли в занятиях, а зимние вечера никто не отгадает в чем,— в чтении! Так мне пришла благоразумнейшая мысль научить жену мою знать обычаи большого света. «Но чем же,— думал я,— можно сделать это удобнее, как не чтением хороших книг? Тут увидит она, что есть князья, совсем не похожие на князя Гаврилу; есть княгини другого рода, чем княгиня Фекла; словом: она узнает то, о чем до сих пор и понятия не имела». Ах! она и подлинно то узнала! Но уже слишком много! С таким похвальным намерением пошел я в дом тестя, отпер шкап, вынул около сотни маленьких книжек (большие все взял старый купец) и с важностию начал рассматривать. Они почти все были с раскрашенными картинками. А что этого прелестнее? Первая попавшаяся мне книжка была: «Бабьи увертки». «Это недурно,— сказал я улыбаясь. — Надобно княгине Феклуше показать, какие есть уроды из ее пола, дабы она могла остерегаться; княжны Макруши я не боюсь, ибо она во многих случаях ясно доказала непорочность нрава; пусть они будут дружны. Но о других княжнах и княгинях я подумаю, порассмотрю».

Продолжая перебирать свою библиотеку, нашел я книги, следующие по ряду: *о Бове Королевиче; о Принцессе Милитрисе; о Еруслане Лазаревиче; о Булате-молодце; об Иване-царевиче и Сером волке* и прочие такого же рода. Все сии сокровища перенес я к себе и начал в свободные вечера почитывать и научать жену мою знать свет. Хотя я тогда и не знал, как порядочно думать, однако почти то же думал, как и тот, кто сказал docendo difmus[1], приятное удивление моей княгини веселило меня; я читал сколько можно лучше и всё с жаром. Она печалилась и чуть не плакала, слыша, как принц или принцесса, гонимые злым волшебником, беспрестанно разлу-

[1] Правильно: docendo discimus — уча учимся *(лат.— Ред.)*

чаются и не могут наслаждаться своею любовию беспрепятственно.

— Ах, как это жалко! — говорила она, воздыхая,— что, милый друг, если б в то время мешал тебе злой чародей, когда ты лазил через забор в бобовую беседку, что бы сделал ты?

— Я? — был ответ мой с движением гнева и угрозою руками,— да я, знаешь, что б с ним сделал?

— А что, любезный князь?

— Ну, право, — отвечал я, задумавшись, — теперь хорошенько не придумаю; а уж, верно бы, что-нибудь да сделал.

Когда читывал я о знаменитом подвиге какого-нибудь рыцаря, как он в темную ночь с величайшею опасностию, сломив себе шею, карабкается к окну возлюбленной своей царевны, Феклуша не смела дохнуть, глаза ее уставлялись на мне. Но когда доходил я до того места, где рыцарь, как-нибудь оступясь, летит вниз, падает с шумом, и хотя не ушибается, ибо он рыцарь и ушибаться не должен, однако падением разбужает царскую стражу; она спешит; окружает несчастного, оковывает цепями и волочет в тюрьму,— тут-то Феклуша произносила: «Ах!» — и веретено выпадало из рук ее. «Ах, слава богу! — продолжала она спустя несколько минут, — слава богу, что забор наш был невысок, да и стражей не было, кроме батюшки, который, воротясь из гостей от Яньки, так спал, что, упади сто рыцарей с неба, он не проснется».— «Конечно», — обыкновенно отвечал я с видом гордости, видя, что природные дарования и чувствительность моей супруги от чтения совершенствуются.

В таком препровождении времени застала нас весна зеленая. Я с Фомою, новым своим работником, отправились в поле, а княгиня с Марьею и Маврушею занялись огородом. Все шло очень хорошо, и, когда пришло время жатвы, я с отеческою нежностью смотрел на блестящие поля свои и на большой зреющий огород.

— О! любезный батюшка, — вскричал я сквозь слезы. — Как справедливы были последние слова твои! И подлинно, что было поле мое в прошлое лето? О любовь, любовь!

В знак сыновней благодарности к памяти доброго отца, по окончании жатвы и собрав весь хлеб и овощи огородные, отслужил я панихиду и сделал поминки.

Что рассказывать долее об единообразной жизни

моей? довольно упомянуть, что так протекли два лета и две зимы. Летом занимались мы сельскими работами, а зимою — чтением. И то и другое шло очень успешно. Дом мой стал полон всякого добра; а Феклуша так с самого начала пристрастилась к просвещению и так охотно принялась, что в течение сих двух лет нашей брачной жизни изряднехонько читала и писала. Одна разве поповна могла в сем перещеголять мою княгиню, а впрочем, ни дочь старосты. Я все это видел. Сын мой уже ходил немного, и, глядя на меня, произносил, с улыбкою протягивая ручонки: «Князь тятя, тятя князь!» О, как это любо! Я от восхищения плакал и обнимал Феклушу, которая научила его лепетать такие милые слова.

В один зимний вечер, когда я только что кончил самую любопытную сцену моего витязя, и именно, как он, победя все препятствия и опасности, дошел до спальни жены своего друга и приятно започивал там, княгиня меня спросила:

— Скажи, пожалуй, друг мой, как это можно? Вить она — замужняя женщина!

— Так что ж? Посмотри, что делается в свете,— продолжал я, горя нетерпеливою ревностию более и более научать ее.— В свете, если дочь бежит из дома родительского, сын похитит невинную девушку, муж обольстит другую, жена примет в спальню домашнего друга,— это такие безделицы, о которых мало и думают, и даже самые молоденькие девушки, разумея именитого рода, рассказывают все тонкости сих происшествий с такою непринужденностию, с таким хладнокровием, что, смотря на них, искушение берет уверительно сказать: «Бедные малютки! ах! вы скорбите, что не сами на месте тех обольщенных, и с нетерпением ожидаете минуты и случая сделать такое же отважное дело».

Но это все, говорю я тебе, пустяки, которые на другой день забывают. В свете бывают дела гораздо поотличнее, и нередко, именно: там жены отравляют и режут мужей, чтоб выйти за любовников; мужья — жен, чтоб соединиться с любезными; мачехи — пасынков, чтоб своим детям доставить имение; вотчимы делают то же и для тех же причин. Сын тягается по судам с отцом, брат с братом, сестра с сестрою; друг на друга клевещут, публично чернят, обманывают, разоряют и бог знает что. Если б не боялись телесного наказания, верно бы яд или железо оканчивали скорее производство дел такого рода. Ты мо-

жет быть, удивляешься,— сказал я жене своей,— откуда я все это узнал, ибо в книгах сих рыцари того не делали? И не мудрено,— они были люди старого века! Небезызвестно тебе, душа моя, что дедушка мой большую часть жизни провел в городе. Все это рассказал он подробно моему отцу; а как я ближайший его родственник, а потому и наследник, то все сведения сии без всякой тяжбы достались мне.

Прошла зима, настала весна, потом лето, и мы в поте лица своего трудились, благодаря бога, что имеем силы и способы. В один таковой день, как был я в поле с своим Фомою, слышу жалостный вопль на соседней ниве. Мы бежим и что же видим? Князь Акила Варфоломеевич нещадно бил княгиню Варвару Вуколовну, жену свою. Мы с Фомою принялись разнимать, но долго не могли успеть; наконец кое-как удалось. Княгиня Варвара, освободясь от пламенных объятий мужа, побежала с поля, оправляя волосы и платье; а князь Акила кричал как сумасшедший: «Ах она злодейка! пришлось умереть от стыда».

— В таких случаях, любезный князь,— отвечал я уверительно,— должно утешать себя, приводя на мысль, что в большом свете бывает и хуже сего. Там нередко...

— Черт побери этот большой свет,— вскричал князь Акила,— там живут не мои жены; и мне до них нужды нет, хоть все перевешайся. А я бью свою за то...

— Полно, полно, любезный князь, успокойся и предоставь все времени. Оно...

— Мне успокоиться? Нет! иду сей же час и докажу ей...

Решительность его меня смутила. «Он и вправду наделает беды,— думал я, судя по твердому его виду.— Как бы мне отвести его от такого тяжкого греха за безделицу, о которой в большом свете часто и не думают». Мне вспала предорогая мысль.

— Э, князь! — вскричал я с радостию.— Покуда буря в сердце твоем пройдет, переночуй у меня. Ты знаешь, я теперь благодаря бога не по-прежнему. Княгиня моя изготовит сытный ужин; а жид Янька мне искренний приятель; вечер проведем весело, а там что бог даст.

Князь Акила Варфоломеевич несколько ломался, наконец воспоминание о приязни ко мне жида перемогло его. Он согласился; а чтоб не быть неблагодарным, начал со всех сил жать мою ниву. Светлый месяц взошел уже на безоблачное небо, как мы приближались к дому.

Вошед в комнату, вижу, что Марья затопила печку; а молодой князь Чистяков сидел, поджав ноги, на прилавке и смотрел на огонь.

— Где же княгиня? — спросил я.

— Видно, куда-нибудь отлучилась, — отвечала Марья. — Я сейчас только с огорода, где полола целый день.

Посидев минут десять с князем Акилою Варфоломеевичем, я опять спросил:

— Марья! да где ж княгиня?

— Право, не знаю, — отвечала она.— Не пойти ли поискать ее у княжны Макруши? Она нередко там бывает с некоторого времени.

— Дело! — сказал я.— Но прежде дай нам огня на стол, потом зайди к жиду Яньке и скажи, что у меня есть гость. Понимаешь? А потом пойди и к княжне Макруше.— Марья поставила свечу и вышла.

Посидев несколько времени, я нечаянно увидел у образа сложенное письмо. Беру в руки, смотрю на подпись; мороз подрал меня по коже: я узнаю руку моей княгини и, не могши устоять на ногах, опускаюсь на скамью и трепещущими руками развертываю письмо.

— Что с вами сделалось, любезный князь? — спросил гость.

— Ничего,— отвечал я и начал читать про себя:

«Сиятельнейший князь и благороднейший супруг мой!

Ваше сиятельство так много насказали мне любопытного о большом свете, что родили непреодолимое желание видеть его, пожить в нем и своим опытом удостовериться в истине слов ваших. Прощайте, сиятельнейший князь, и не печальтесь. В прекрасных книгах своих найдете вы много подобного. Принцесса Милитриса Кирбитьевна оставила мужа своего Дурандаса, чтобы следовать за прекрасным и дражайшим ее Маркобруном. Когда и принцесса это сделала, для чего не сделать того княгине? а путеводитель мой ничем не хуже Маркобруна, и также князь, только не такой, как ваше сиятельство. Вить Дурандас же утешился, взяв к себе любезную принцессу Голощепу; почему же и вашему сиятельству не утешиться, склонив какую-нибудь княжну Макрушу, княжну Акульку, княжну Матрешку или другую какую-нибудь из знаменитых домов нашей деревни? Прощайте! Влюбленный в меня проводник (с которым уже я давно знакома) понуждает скорее выйти из ваших чертогов, чтобы не на-

грянуло ваше сиятельство, обремененный серпами и косами.

Вам преданнейшая ко услугам и проч.

P. S. Марья ничего не знает; ее нечего и спрашивать».

Как сноп повалился я со скамьи на пол. Пришед в себя, вижу, что я опять на скамье, поддерживаемый князем Акилою Варфоломеевичем и Марьею. Из глаз князя видел я, что он прочел несчастное письмо и ему известен стыд мой и поношение!

— Полно, князь, ребячиться, — сказал он, обняв меня одною рукою, а в другой держа кубок с вином.— За здоровье неизвестного героя, который сыграл с тобою такую несносную шутку! Видно, брат, этот князь не по-нашему. Виват! — С сим словом опорожнил он кубок.

— Бесчеловечный! — сказал я с тяжким вздохом, — ты можешь шутить в такое время!

— Ничего,— сказал он.— В таких случаях, любезный князь, должно утешать себя, приводя на мысль, что в большом свете бывает и хуже сего. Там нередко...

— Что мне до большого света? — возопил я болезненно.

— Полно, полно, любезный князь, успокойся и предоставь все времени.

— Оно во гробе, мое успокоение,— отвечал я.

— Пустое, брат! Можно еще и на земле найти его. Я очень тебе благодарен, что ты привел меня в самого себя. Я теперь все забыл и покоен совершенно. Княгиня Варвара не хуже Феклы Сидоровны умеет готовить ужины, а я также не в ссоре с жидом Янькою. Пойдем-ка, брат, ночевать ко мне; за сыном присмотрит и Марья; а там что бог даст.

Сколько он ни говорил, но тщетно. Тяжкая гора лежала на сердце моем. Мозг в костях оледенел, я едва мог дышать и думал, что задохнусь. Князь Акила Варфоломеевич утешал меня и пил вино; опять пил и опять утешал, напился допьяна, но нимало меня не утешил.

— Ну, когда так, бог с тобою. Пусть он тебя утешает,— сказал он несколько сердито и собравшись идти.— Пойти было к княгине Варваре Вуколовне. Она хотя, правда, и виновата, но и я изрядно дал ей знать себя. Нескоро опять за то же примется.

Он ушел. Я лег в постелю и только около утра мог пролить немного слез, и грусть моя несколько рассеялась. Но я был в сильном жару. Марья сказывала, что всю ночь

бредил. «Что делать, Марья? может быть, и умру»,— отвечал я и опять погружался в забытие.

Так провел я два дни и три ночи.

Глава XX

Прощай, родина!

Поутру на третий день после побега жены моей взошло прекрасное солнце на голубом небе. Я встал с постели, взглянул на спящего тихим сном своего Никандра, и слезы полились по щекам моим. «Невинный младенец,— сказал я,— ты не знаешь мучений отца твоего; дай бог, чтоб и никогда не узнал их, а особливо не испытал над собою». Легонько коснулся левою рукою к его темени, поднял правую вверх и воззвал: «Боже! не оставь сироты сего!» Малютка проснулся, протянул с улыбкою ко мне руки свои; я схватил его, поднял вверх и вскричал: «Отец милосердый! приими его под кров свой; у него нет матери!»

Сладкое утешение разлилось в душе моей. Мысли мои прояснились. Казалось, что в сию минуту получил я новую кровь, новое сердце, все бытие новое. «Как! — сказал я,— или для того предаюсь постыдному унынию, недостойному мужчины, утомительной праздности, меня расслабляющей, что жена моя была распутная женщина? разве это со мною одним случилось? О! забуду неблагодарную и стану жить для сына!» Того же утра отправился я с Фомою в поле к немалому удовольствию всего моего семейства. Марья от радости не знала, что и делать.

— Так,— твердила она,— я была уверена, что бог вас помилует, и вы опять будете веселы по-прежнему. Пусть княгиня Фекла Сидоровна рыскает по свету. Она нигде не будет покойнее, как в сем доме. Раскается, но поздно. Бог рассудит ее и того бездельника.

— Оставь их, Марья,— сказал я важно,— и не говори больше ни слова.

Нельзя сказать, чтобы я покойно ехал по своей деревне. Мне казалось, что все нарочно на меня пялили глаза, что было и справедливо. Я то краснел, то бледнел и только понуждал Фому погонять лошадь. Назад ехал уже покойнее, на другой день и того более, а по прошествии недель шести я хотя и не забыл Феклуши, однако и вспо-

минал об ней без того болезненного чувства, которое мучило меня в первые дни. Я начинал верить, что со временем совершенно утешусь. Посещал людей, сам иногда принимал их и говорил: «Так! время — прекрасный лекарь в душевных болезнях».

Увы! горькое бедствие ожидало меня. В один день, на солнечном закате, радостно входил я в деревню подле телеги с последними снопами. «Слава богу,— сказал я,— с полем разделался. Теперь работы пойдут домашние; это гораздо легче». Я с улыбкою приводил в порядок большой пучок васильков, которые нарвал в подарок сыну.

Вошед в комнату, я никого не вижу. «Быть может, они в огороде»,— подумал я и пошел туда; но там была одна Маврушка, которая вытаскивала морковь и репу. «Где же прочие?» — спросил я. «Не знаю, я с обеда самого здесь»,— был ответ. Опять вхожу в комнату и совершенно равнодушно, без всякого злого предчувствия, сидя на скамье, смотрю с веселым видом, как Фома с телеги переносит снопы на гумно.

Наконец Марья входит, и одна.

— Как! — спросила она,— вы уже и дома? А где же почтенные гости? — И с сими словами поставила на стол две бутылки виноградного вина.

— Ты сошла с ума, Марья,— вскричал я нетерпеливо,— о каких гостях говоришь ты? я никого не видал, пришед домой. Где сын мой?

Марья онемела.

— Где сын мой! — вскричал я со гневом,— куда ты девала его?

Марья побледнела и сказала с трепетом:

— Он оставался здесь с гостями, как пошла я к жиду.

Я окаменел! Тут-то уже горькое предчувствие наполнило душу мою. Подобно неподвижному истукану сидел я на скамье, устремив страшный взор на Марью. «Говори все, как было»,— сказал я, скрежеща зубами, и Марья открыла, что незадолго пред тем в деревне появилась богатая коляска и прямо ехала к моему дому. Любопытство вывело Марью за вороты. Из коляски выходят два господина и спрашивают ее: «Не это ли дом князя Гаврилы Симоновича Чистякова?» — «Это!» — «Дома ли он?» — «Нет, он в поле».— «Конечно, он не осердится, когда мы несколько минут отдохнем у него!» — «О нет! он такой добрый».

Они вошли и сели. «Не сын ли это его?» — «Сын!» — «Как зовут?» — «Никандром».— «Который ему год?» — «Около двух с половиною». — «Кто крестил его?» — «Отец Онисифор, поп нашей деревни!» Гости, казалось, были довольны ее ответами. «Поди сюда, малютка»,— сказал старший из них и подал ему пряник и побрякушку. Дитя отменно было весело и наконец осмелилось сесть старику на колени! «Есть ли у тебя, старушка, в доме хорошее вино?» — спросил старик. — «Нет, — отвечала я,— князь Гаврило Симонович им не запасается, а берет на случай гостей у жида Яньки, который содержит шинок».— «А далеко ли этот шинок?» — «Довольно! на другой стороне деревни». — «Что делать? — сказал гость. — Тебе надобно потрудиться, старушка, и сходить, а мы за труд наградим». — «Охотно б рада, но дитя на кого покинуть?» — «Мы постережем».

Словом: гости дали Марье денег, она пошла, а, пришедши назад, нашла одного меня, а коляска с учтивыми гостьми пропала, а с ними вместе не стало и сына моего Никандра.

— Ясно все! Они украли его,— закричал я таким голосом, что Марья задрожала.

— Бог милостив,— сказала она,— может быть, гости уехали, а дитя где-нибудь бродит по деревне. Вить это бывало нередко и прежде. Сохрани, мати божия! неужели-таки гости эти людоеды?

Я бросился на улицу. Бегал, крича везде: «Никандр! сын мой! где ты?» Был во всяком доме, спрашивал у всякого проходящего, у старого и малого. «Не знаю»,— был всеобщий ответ.

Наступили сумерки. Нося в душе целый ад, в крайнем изнеможении брел я домой с воплем и стенанием. Конечно, это слабость; но всякий отец, представь себя на моем месте, и он застенает, а если нет, я в глаза скажу ему: «Это не твое дитя, оно есть плод распутства жены твоей. Можно обмануть легковерного мужа, но природу никогда».

В таком состоянии вхожу в дом, и новое несчастие поражает меня новым ужасом. Марья лежала без чувств на полу; Фома и Мавруша плакали, силясь поднять ее. «Что еще за новость?» — сказал я, отступив назад.

Фома отвечал: «Как ушли вы искать молодого князя, Марья плакала, стенала и ломала себе руки. «О! я несчастная,— говорила она.— Может быть, я причиною сей

потери! но бог милосерд, он, конечно, сжалится надо мною». Она все еще надеялась и читала молитвы. Но когда услышала ваш стон и голос, она ахнула, упала на пол и умерла». Удар сей отвратил первый, и я не сошел с ума, хотя весьма был к тому близок. Приложив руку к сердцу Марьи, я увидел, что биение его остановилось. «Так! она умерла, надобно поднять ее»,— сказал я тихо.

Я сам не понимал чувств своих. Так, я лишился сына! потеря безмерная, но и Марья любила меня с материнскою нежностию. О! как горестна, как плачевна была для меня ночь та! Что значит потеря неверной жены против потери сына? Одна мысль неверности первой есть уже утешение! Но что мог сделать невинный младенец? О! как мучительно было мое положение!

На третий день опустил я тело Марьи в могилу подле почтенного отца моего князя Симона. Я не мог плакать. Бродил днем, подобно ночному привидению. Сколько жид Янька ни утешал меня, но я худо принимал его участие. Так прошло еще несколько дней, как однажды, сидя подгорюнившись, увидел я собранные в углу под лавкою книги мои, по коим я просвещал мою княгиню. Горестное воспоминание растерзало меня. «Мерзкие сочинения! — вскричал я,— да будет терпеть такие же муки во аде ваш сочинитель, как здесь поступлю я с вами. Мавруша! разложи на очаге огонь, да побольше». Меж тем я нагнулся и начал поодиначке таскать их из-под лавки и швырять на пол. Но, о чудо! когда я таким образом тормошил мою избранную библиотеку, рвал, а некоторые книги грыз зубами, слышу — что-то под рукою зазвенело; вытаскиваю и вижу довольно большой кошелек, развязываю, и глаза мои ослепились, золото посыпалось. Я стоял долго, не шевелясь ни одним суставом, как под конец увидел между червонцами маленькую записочку; читаю: «Утешьтесь, князь! я с добрым намерением взял вашего сына!»

«Так! это деньги за моего сына?» — вскричал я в бешенстве и начал сеять червонцами по комнате и топтать ногами. Такая горячность моя продолжалась около получаса; я проклинал похитителя и предавал его во власть целым полчищам бесов; проклинал Феклушу и едва ли не самого себя за свое неразумие. После по обыкновенному ходу природы поуспокоился; холоднокровно сжег свои книги, а там еще холоднокровнее начал собирать раскиданные червонцы. Что делать? Надобно было чем-нибудь утешиться. Я насчитал их с лишком сотню.

Сентябрь месяц был в половине; а я все еще находился в несносном положении, то есть: я уже не плакал (или по крайней мере редко), не рвался, не топал ногами, но и ни в чем не находил удовольствия. Сердце мое было подобно зеркалу, разбитому в тысячу кусков. Хотя каждый из них и представляет часть своего предмета, но все вместе составляют преотвратительную картину. «Нет,— сказал я,— здесь никогда не буду я спокойнее. Эта ленточка приводит на мысль неверную Феклушу, этот пучок васильков — пропавшего сына; эта трость и прочие безделушки напоминают об отце и Марье, которые уже в могилах. Нет, не останусь здесь более. Пойду, куда провидение управит шаги мои. Сноснее страдать между людьми, не знающими тому причины, страдать под небом незнакомым, где не ощущал я никаких радостей в жизни».

Утвердясь в сей мысли, взял я лист бумаги, перо и написал следующее письмо:

«Любезнейший мой друг, Янька Янкелиович! Я не могу жить в сей деревне, ибо несчастлив; а мысль о прежних счастливых днях, здесь проведенных, делает меня еще несчастнее. Я намерен удалиться и, может быть, надолго. Не иду прощаться с тобою, ибо знаю, ты станешь удерживать; я не соглашусь ни за что, а это больше еще обоих нас опечалит. Итак, прости, Янька, великодушный друг мой! У меня остаются два домика, а один с небольшими приборами; поле, огороды и достаточный запасец в хлебе и прочем,— всё тебе оставляю. Если Фома и Мавруша захотят служить и тебе, хорошо; если вздумают отойти, отпусти и награди. Это письмо, я других форм не знаю, будет перед всею деревнею и даже, если нужда потребует, перед всяким судом утвердительною бумагою, что я оставляю тебе все свое имение; ибо уверен, что, когда возвращусь, ты со мною поделишься. Такой доверенности не сделал бы я никому. Ты, может быть, любопытен знать, куда я пойду отсюда? И сам, право, не знаю, однако намерен пробраться к столице. Деньги у меня есть, и на первый случай довольно. Прости, мой верный друг, прости, Янька!

Князь Гаврило Симонович
княж Чистяков».

Запечатав письмо и сделав надпись, я оделся по-дорожному. Уклал в небольшую сумку белье, кое-что из платья и позвал Фому.

— Друг мой, — сказал я, — сегодня иду в ближнюю деревню к приятелю и, может быть, пробуду там дня два-три. Мне нужно успокоение.

— О! конечно, — сказал Фома весело, — это правда, ваше сиятельство! Я заложу лошадь и вместе...

— Нет! ты оставайся; дома не без дела, а я пойду пешком. Завтра поутру отнеси это письмо к жиду Яньке; смотри ж не забудь,— оно очень важное.

Устроя таким образом все, я вышел; несколько минут плакал на кладбище, прощаясь с могилами родительскими. Будучи в поле, сто раз оглядывался к деревне, которая синелась вдали, быв освещаема последними лучами заходящего солнца. Начало смеркаться. Я еще оглянулся и протянул к ней руки с плачем. «Простите, смиренные мои хижины, простите, добрые друзья и прислужники, простите, могилы отца моего и князя Сидора, моей матери и Марьи. Прости всё!»

Густой туман пал на деревню. Я обтер слезы, отворотился и пошел далее, закрыв глаза руками.

Часть вторая



Глава I

Объяснение сочинителя

Несколько раз в первой части сего сочинения обещал я читателям пояснить некоторые места; а другие, и без моего обещания, того требуют. Хотя сочинители вообще, а особливо журналисты, не всегда исполняют свои обещания и мало тревожатся, слыша за то осуждения и даже ругательства, однако уверены, что они делают то или по забывчивости, или не зная и сами, как сделать яснее, что воображение их первоначально произвело темным. Поясняя одно обстоятельство, они затемняют другое; делая одну мысль, одно происшествие правоподобнее, неприметно наводят недоверчивость к другим. Словом: сочинители бывают из доброй воли в таких иногда хлопотах, как стряпчие, распутывая за деньги самое ябедническое дело. Но как еще у меня благодаря бога до того не дошло,— то и намерен спокойно приняться теперь за объяснения.

Во-первых, думаю, некоторым покажется очень сомнительно, что Иван Ефремович так легко мирится всегда с женою и дочерьми, приметя их небольшие непристойности. Соглашаюсь, что тут прекрасный случай открывался мне в лице г-на Простакова наделать множество превосходных нравоучений, разругать без пощады развратность нынешних нравов, когда сыновья и дочери дерзают любить без ведома родителей, чего в старые времена — упаси, боже! и не слыхано. Правда, государи мои: это было бы очень кстати, и я сделал бы, может быть, решась на то, недурно, и именно не упустил бы того из виду, если б писал комедию или трагедию; — но как я мог решиться, описывая жизнь почтенного старца, налгать на него такую небылицу? Он сам того не делал. В нем доброта и чувствительность сердца были в таком высоком степени, что иногда подходили к детской слабости. Его

один и тот же бездельник мог обмануть тысячу раз. Он замечал то,— ибо умен был от природы и довольно учен от чтения книг. На один миг рассерживался, но не более. Стоило только наморщить брови и сделать вид нуждающегося человека, Иван Ефремович невольным движением хватался за кошелек свой и отдавал, что мог, думая: «Авось человек этот на сей раз меня не обманывает!» По такому точно побуждению он думал, что довольно одного его родительского взора, а в случае большой надобности — слова или двух, чтоб дочерям своим и жене показать непристойность какого-либо поступка. Он был уверен, что они хорошо его понимали, чувствовали одно,— и совершенно успокоивался. Сверх того, Маремьяна Харитоновна довольно, кажется, сделала разительное наставление на щеках Елизаветы, такой нежной, такой чувствительной!

Другое сомнение читателя не меньше важно. Все видели, что князь Гаврило Симонович родился в деревне, воспитан в самом бедном состоянии, оставил родину, правда, хотя не без денег, но тому уже прошло двадцать лет. Неужели он ото ста червонцев мог что-нибудь сохранить у себя, проживая такое долгое время без всякой посторонней помощи? Это невозможно; да и все не забыли еще, в каком виде за несколько месяцев появился он в доме господ Простаковых. Откуда ж, из каких достатков мог он дать Никандру пятьдесят червонцев? Сверх того, он сам объяснился, что не все отдал, а только поделился. Следовательно, у него должно еще остаться по крайней мере столько же.

В ответ на это, признаюсь, теперь не в силах достаточно удовлетворить желанию читателей; а на всякий случай расскажу следующую иностранную повесть. Хотя она из числа восточных, следовательно, должна быть выдумана; однако многие правдивые люди божатся, что она истинная.

Один индейский Великий Могол был государь мудрый, добрый, благочестивый и правосудный. Главное его старание было не пропустить ни одного дела, служащего к пользе и славе отечества, не наградя щедро того, кто произвел оное. Вельмож двора своего за такие подвиги награждал почестями, возвышением санов и разными знаками отличия. Купцам помогал деньгами, ободрением торговли, сложением пошлин и проч.; хлебопашцев награждал хорошими орудиями к возделыванию земли, силь-

ными быками и тучными овцами. Все были довольны, все счастливы, и тихо, и въявь благословляли имя монарха благодетельного. Однако и он — кто б тому поверил? — имел свою слабость, и слабость непростительную, в таком просвещенном государе; именно он не обращал никакого внимания на факиров [1] земли своей. Вельможи о сем недоумевали; купцы смотрели равнодушно; чернь несколько негодовала; факиры бесились.

Взаимная любовь между монархом и народом есть нечто великое, священное, приятное земным и небесным жителям. Поколебать ее весьма трудно, но нет таких трудностей, которые преодолеть не покусились бы злоба и мщение. Итак, факиры, подобно лютым скорпионам, пресмыкались по земле Индейской; всюду оставляли яд свой, но он долго был недействителен, ибо никто не хотел слушать внушений их, будто Могол не верит богам отечественным, втайне поклоняется чуждым и потому благочестие его есть только притворная личина. Почему же? Потому, что в пять или шесть лет владычествования он не подарил ничего ни на один пагод; [2] ни одного факира не пригласил к столу своему; а прежние благочестивые Моголы делали то каждый день; принимали сих богомольцев по целым стаям и любезно с сими праведниками беседовали по целым часам. Так проповедовали факиры по городам, селам, полям и лесам, везде, где только находили следы человеческие. Прежде, как я упомянул, их совсем не слушали. Они не пришли в уныние и продолжали такое, по их мыслям, богоугодное дело. После их стали слушать, но верить никак не хотели; а наконец, поверили, и смятение разлилось по лицу Индии. Недолго было неизвестно сие монарху мудрому. Все ожидали повелений, но он не давал никаких и улыбался суетливому опасению друзей своих. Он был добр и умен и стоил счастия иметь их. Что же? Он дождался того, что в один день перед царскими его чертогами, на обширной площади, явились целые тысячи факиров, громогласно вопия на безбожие Моголово и предвещая близкое падение целой Индии. Великое множество черни сопровождало их, желая защищать благочестивых старцев в случае какой-либо обиды и любопытствуя знать, как и чем Могол удовлетворит их.

[1] Монахи, шатающиеся по Индии в виде нищих.

[2] Храм индейский.

— Спасайся, государь! — кричали вельможи Моголовы.— Беги к раие[1], брату твоему, пока меж тем мы укротим волнения.

— Вы не так советуете, друзья мои,— отвечал Могол с твердостию и величием.— Пойдем к факирам и народу. Отец должен знать причину неудовольствия детей своих.

Вышед на площадь в сопровождении удивленных вельмож, он обратил речь к факирам, спрашивая о вине сего стечения. Первостепенный из них открыл ему все, и Могол отвечал:

— Хорошо, дети мои! Я признаю справедливость ваших требований и удовлетворю им! Чрез тридцать дней после сего сбирайтесь все на поле у главного пагода. Там буду я, со всеми великими двора моего, вместе с вами пиршествовать и всех оделю дарами приличными; а между тем пошлю гонцов ко всем раиям, подвластным скипетру моему, прислать сюда ко дню тому всех факиров из земель своих.

Народ поднял радостный крик и пал ниц во прахе. Факиры преклонили колена пред монархом, и все сопровождали шествие его в чертоги благословениями.

С каким нетерпением ожидали назначенного дня! Наконец он настал. Могол, в сопровождении многолюдной свиты и вооруженных телохранителей, явился в показанной долине. Там стояло великое множество огромных столов с яствами и напитками. Факиров собралось до тридцати тысяч человек. Все ели, пили и восклицали громко, желая Моголу долголетия.

Пиршество кончилось. Могол взошел на возвышенный трон, нарочно приготовленный, и воззвал: «Смиренные факиры! Я обещал вам, сверх насыщения, дары приличные. Теперь исполняю свое обещание».

Он дал знак, и огромные шатры по обеим сторонам трона раскрылись. Там в скирдах лежали новые одежды, факирам приличные. Подле шатров тех пылал великий костер дров.

Могол продолжал: «Старцы благочестивые! Одеяние ваше от долгого ношения превратилось в рубище, и вы более походите на нищих, нежели на почтенных факиров земли Индейской. Итак, теперь всяк из вас да подойдет к костру сему, ввергнет туда все платье свое, все, ничего на себе не оставляя, и тут же получит из шатров тех

[1] **Раии** — род королей индейских, подвластных Великому Моголу.

новое». Смертная бледность покрыла щеки каждого факира. «Повелитель! — воззвал главный из них, преклонив колена.— Нищетою и смирением обреклись мы богам своим и без наказания от них не можем преступить своей клятвы! Это рубище воздерживает нас от злого кичения!»

«Хорошо,— отвечал Могол,— но я также дал слово одеть вас в новые одежды и должен его исполнить. Верховный факир! Подходи первый к огню и повергай в него свое рубище!»

Факиры озирались один к другому с крайним смятением. Они бы покусились еще попытать своего красноречия, но важное лицо монарха, а более грозный вид бесчисленной толпы его телохранителей их от того удержали. Нечего было делать! Трепещущими ногами подходили они к огню, кидали свои вретища и получали новое платье.

Когда таким образом все переоделись и стояли в глубоком молчании, устремя мутные взоры свои на костер,— Могол велел потушить огонь; назначенные прежде к тому служители начали разрывать пепел и в короткое время насыпали у подножия престола кучи денег, в коих насчитали более трех миллионов золотых монет индейских.

Общее удивление, стыд и уныние факиров были неописанны. Чело Великого Могола пылало строгостию правосудия.

«Гнусные лицемеры! — воззвал он. — Это ли знаки нищеты и смирения, коими обрекались вы богам нашим? Удалитесь от лица моего! Вы не достойны гнева Моголова!»

Факиры, преклонив смиренно головы, разошлись в разные стороны; и во все время продолжительного владычествования его не появлялись вблизи столицы. Могол найденное сокровище роздал воинам и народу, коих благодарные гласы возносились к небу.

Вот иностранная повесть. Из нее заключит читатель, что хотя князь Гаврило Симонович и подлинно при первом появлении своем был похож на совершенного факира, но это отнюдь не доказывает, что у него не могли быть деньги. Но где же он взял их? О! это совсем другой вопрос, который, без сомнения, не останется нерешенным в свое время, хотя и весьма нескоро.

Доволен ли сам объяснением моим читатель или нет, не знаю. По крайней мере я имел искреннее желание удовлетворить его хотя покудова.

Третие объяснение будет состоять в том: может быть, некоторые из читателей подумают, что князь Гаврило Симонович рассказывает повествование свое непрерывно, в уреченное время, каждый день сряду, так, как у меня иногда бывает несколько глав одна за другою, в коих описывает жизнь свою. Совсем нет! Его иногда прерывали на целые дни и недели, и он молчал. У господ Простаковых также было не без занятий: то хлопотали по хозяйству, то уезжали в гости к деревенским своим соседям, то сами их угощали; а это иногда занимало их по целым, как сказал я, неделям. До сих пор молчал о сем потому, что это такие безделицы, которые и в глазах самого Ивана Ефремовича не стоили никакого внимания, да и к повести моей совсем не принадлежат. Я описываю то только, что входит в состав ее, и теперь говорю о сем так, на всякий случай.

Четвертое возражение, какое могут мне сделать, будет то, что г-н Простаков, такой добрый, такой чувствительный ко всем, любя Никандра с отеческою нежностию, так скоро и так легко успокоился, лишась его почти трагическим образом. Что он пошумел на жену, побранил ее, это сделал бы и другой, не столько добрый, благодетельный человек. Стоит только представить такую бурю, какая была в сочельник; молодость и беспомощность бедного Никандра: то иной не только пошумит, но покусится на что-нибудь и большее; а г-н Простаков на другой день забыл и после не вспоминал. Он в этом случае сам на себя не походит!

Об этом только что сам я думал; и потому-то, отвращая сие нарекание от добродушного Простакова, отвращаю и от себя. Дальнейшее по сему объяснение увидят во второй главе; а эта пусть будет предисловием ко второй части.

Глава II

Открытие тайны

В первой части оставили мы семейство Простаковых в ожидании писем от князя Светлозарова; а как их не было, то в слушании рассказывания о жизни князя Гаврилы Симоновича. Таким образом в сем нерешительном положении прошло довольно времени, и настало заговенье перед

масленой. Иван Ефремович казался необыкновенно озабочен, но чем, того никто не знал. Печали не видно было на лице его, но оно показывало какую-то тень беспокойства, задумчивости и нерешительного положения души. Все домашние это заметили, но никто не смел спросить о причине, ибо наперед был уверен, что ничего не узнает. Даже так думала Маремьяна Харитоновна и не спрашивала. Кто ж отважился первый на такое великое дело? Можно догадаться, что князь Гаврило Симонович. Именно так!

В самое заговенье, когда все по порядку подходили к Ивану Ефремовичу с поздравлениями и уходили каждый за своими надобностями, остался с ним один князь Гаврило Симонович, как человек, у которого не было никакого особенного дела. Они сидели в разных углах, взглядывали друг на друга, отворачивались, опять взглядывали, потупляя глаза вниз и тайно вздыхая, опять отворачивались.

— Право,— вскричал Простаков,— это положение тягостнее, чем в дурную ночь стоять лагерем против неприятеля, с которым надобно в такое же дурное утро сражаться!

— Я почти то же думаю, — отвечал князь Чистяков, взглянув на него значительно.

— А что ты думаешь, князь? — спросил Простаков, закинув на лоб колпак и положив на стол трубку.— Крайне любопытен знать, что ты скажешь!

— То, — отвечал князь,— что целый дом давно замечает некоторую тайну на сердце вашем! Она тем для всех несноснее, что делает вам, как догадываться можно, большое затруднение!

— Это не совсем несправедливо,— продолжал старик.— Если положение мое и не есть совершенно беспокойное, то уж, верно, затруднительное! Можешь ли ты, князь, добраться истины?

— Надеюсь.

— Право? — вскричал Простаков, вскочив со стула; подбежал к князю шагами юноши, сел подле него и спросил разительно: — Так ты постигаешь причину настоящего моего положения? Любопытен знать мысли твои и доводы!

— Их два,— отвечал князь равнодушно.— Первый: неполучение писем от князя Светлозарова; а второй — неизвестность об участи несчастного Никандра!

— Нет, совсем не отгадал! — воскликнул Простаков, захлопав руками, и на лице его изобразилась величавость человека, который уверился, что в свою очередь умеет быть таинственным. Но тут внутренний голос шепнул ему: «Подумай хорошенько, Иван Ефремович!» Он думал, немного покраснел и вдруг, взяв за руку князя Гаврилу Симоновича, сказал вполголоса: — Ты не совсем не прав, любезный друг! — Князь Гаврило Симонович взглянул на него тем тонким, испытующим, но вместе доброжелательным взором, который, при всей наружной важности, говорил сердцу любимому: «Откройся мне!»

Г-н Простаков подвинул стул свой еще ближе и сказал:

— Что касается до вызывных писем князя Светлозарова, то я готов хотя навсегда от них отказаться! Правда, мне не совсем неприятно было бы видеть дочь свою за таким знатным и богатым человеком, а особливо, когда он успел уже склонить к тому и сердце ее; но все это охотно предоставляю случаю и времени. Что ж касается до участи молодого Никандра, то правда, что я некоторым образом сам дал повод, приведши его сюда, к продолжению этой ребяческой любви, которая теперь стала уже не ребяческою. Так, любезный князь! к крайнему моему унынию узнал я от самой Елизаветы, что этот Никандр есть один и тот же, который любил ее слишком за три года в пансионе, за что его оттуда выгнали, а я должен был взять дочерей домой. Что делать? Однако ж, князь, не положение сего молодого человека, которого я сам сделал несчастнее, меня теперь тревожит!

— Как? — возразил князь пасмурно. — Вы нимало не заботитесь о том, что, может быть, несчастный молодой человек борется теперь со всеми ужасами нищеты и отчаяния?

— Тише, тише, любезный друг; не горячись преждевременно,— сказал Простаков.— Ты обидишь меня горько, когда подумаешь, что я хотя на одну минуту мог быть зол и несправедлив,— выслушай тайну мою! Она хотя не есть важная государственная тайна, но довольно важна для всего моего семейства. Спокойствие его так же мне приятно и дорого, как великому государю мир и тишина между подвластными ему миллионами.

Когда приехал я в последний раз из города, ночь была для меня самая несносная. При каждом визге ветра я вздрогивал и думал: «Это стон умирающего Никандра!» Едва настало самое раннее утро, я вышел в свой каби-

нет, где Макар, старый слуга мой, затоплял камин. «Макар! — сказал я, — сегодня великий праздник у господа, но я лишу тебя удовольствия провести его с детьми и внучатами: тебе предлежит поход!» Макар немного поморщился, но как скоро я сказал, что дело идет о человеколюбии, старик улыбнулся и отвечал: «Готов на край света!» Как скоро собрались все вместе, я позвал Макара и сказал громко: «Макар! я хочу послать тебя не близко и сей же час!» — «О! милостивый государь, как скоро дело идет...»

Я вздрогнул, боясь, чтоб он одним словом не открыл моей тайны.

— О большой надобности! — вскричал я почти сердито.— Сейчас поезжай, а я дам тебе письменное приказание к старостам деревень моих. Ступай в кабинет мой и жди приказаний.

Бедный опечаленный старик вышел, почитая себя обманутым. Маремьяна и обе дочери приступили ко мне с выговорами, что я забыл человечество и в такой великий праздник разлучаю отца от его семейства из мелочных барышей.

«О! — думал я сам в себе,— именно о поправлении твоего бесчеловечия, Маремьяна, пекусь я и надеюсь успеть». Мысль эта веселила меня, и я в ответ на пылкие представления их улыбнулся. Это Елизавету опечалило, Катерину сделало недовольною, а Маремьяну так раздразнило, что она насчитала мне тысячу дел, за которые журю ее, а сам делаю.

— Таков человек,— говорил я,— наставления делать он — великий искусник, а поступать по ним? О! это уже предоставляет другим: так точно, как немецкий пастор увещевал прихожан своих жить мирно с женами, но как один из них сказал: «Господин пастор! ты говоришь очень хорошо, но для чего дерешься каждый день с своею пасторшею?» — «Свет мой! — отвечал пастор,— я доход получаю за то, чтоб говорить вам проповеди; но чтоб и самому поступать по ним, за то надобно по крайней мере получать вчетверо!»

Все почли меня полупомешанным; но я перецеловал их с нежностию супруга и отца, и они увидели, что ошиблись в своих мыслях.

Вошед в кабинет, нашел я Макара очень печальным.

— Макар, не тужи,— сказал я.— Правда, ты должен разлучиться на несколько дней с семейством, но вить

это для тебя не новость. Помнишь, как были мы в походе? — Слово «поход», как магический прут, провело черту удовольствия на лице старика. Я это заметил и продолжал: — Я хочу сделать очень доброе, богоугодное дело; сам не могу по обстоятельствам, а положиться не на кого, ибо оно требует строгой тайны. Теперь, Макар, выбирай! Остаешься ли дома с семьею или хочешь услужить мне и богу?

— Как скоро так,— вскричал Макар,— готов — хотя за море. Сделавши доброе дело на масленой, можно без греха повеселиться и в великий пост!

— Итак, послушай! Вчера без меня жена, рассердясь за что-то на Никандра, выслала его из дома. Я, хорошенько рассудя, нашел, что в доме нашем быть ему и подлинно не нужно, но также умирать с голоду и больше того не годится. Думаю, он прежде всего пойдет к старому городскому священнику Ивану, от которого я взял его. Итак, друг мой Макар, чтоб не потерять времени, поезжай сейчас в город; если найдешь его у священника, хорошо; а нет, подожди день, другой,— авось! Вот деньги и письмецо к нему. С богом!

Макар отправился,— и чрез пять дней воротился с ответом, в котором молодой человек с жаром благодарит за неоставление, с чувствительностию просит извинения в нанесении нам печали и клянется вечно не видать моей дочери и отказаться от руки ее, хотя бы она сама то предлагала.

— Это хорошо, благородно с обеих сторон! — сказал князь Гаврило Симонович.

— Вот мой план в рассуждении будущей участи его, ибо, истинно признаюсь, не буду спокоен, пока не сделаю сколько можно счастливее сего молодого человека; план мой, говорю, состоит в том, чтобы посредством моих приятелей в городе, из числа которых Афанасий Онисимович Причудин, богатый и потому многозначущий купец, пристроит его к какому-нибудь судебному месту. Денег я не пожалею. Он будет умен и прилежен, и потому, подвигая его выше и выше, мы по времени выведем и в секретари. А! каков тебе кажется план мой?

— Прекрасный! — отвечал князь. — Я уверен, что при вашей помощи Никандр скоро возвысится; за честность и прилежание его я ручаюсь!

— Слушай далее,— продолжал Простаков.— Как он так уже по службе успеет, мы приищем ему порядочную

невесту из купеческого дома. Теперешняя дурь к тому времени выйдет из головы его; он женится и... Ну, каков планец мой? — Простаков спрашивал с торжественною улыбкою и крайне удивился, что князь наморщился.— Отчего ты морщишься, князь? — спросил Иван Ефремович невесело и с некоторым огорчением.

— Оттого, что я за исполнение последней половины вашего плана не ручаюсь. Такая дурь, как в сердце Никандра, и из такого сердца, как его, не скоро выходит.

Оба старики задумались; но Простаков скоро опять развеселился и сказал:

— Ну, посмотрим; до этого еще далеко! А настоящее дело, по которому я имею в тебе надобность, состоит в том: жена и Катерина безбожно пристали ко мне, чтоб я свозил их на эту неделю в город. Ты знаешь, как трудно отклонять их намерения, не сказав причины; а открыть ее боюсь. Оставить Елизавету дома опять покажется чудно, да и без пользы. Итак, видишь, надобно мне ехать с ними. Посуди ж; они там или в церкви, или на улице, или на вечеринке встретятся, и опять пойдет кутерьма; начнется задумчивостию, пойдут вздохи, потом стоны, там слезы; и Маремьяна Харитоновна, может быть, опять вздумает кончить все пощечинами. А такие происшествия куда как неприятны и тягостны, а особливо для отца.

— Равным образом и для меня,— сказал князь вздохнувши.— Чего ж вы от меня требуете?

— А вот чего, любезный друг: поезжай сегодня же в город. У меня готово к старому священнику письмо, в котором представляю тебя как общего друга нашего и родственника Терентия Пафнутьевича Кракалова. Он будет рад, а молодой друг наш и больше того. Ну, теперь понимаешь ли? Ты можешь занять Никандра на всю неделю, так что он не вздумает зевать на площадных паясов или играть в жмурки в какой-нибудь дворянской фамилии. Вы пробудете дома, а я избавлюсь несносной неприятности, могущей случиться при какой-либо встрече. Как настанет великий пост, все позволяется. Я уже буду дома, а вы там хоть сами превратитесь в паясов и играйте в жмурки, сколько хотите. Старый отец Иван ничего не знает из случившегося в моем доме и думает, что Никандр для того удалился, что более не нужен.

Договоры Ивана Ефремовича показались князю Гавриле Симоновичу весьма справедливы. Ему и самому оставаться одному в доме казалось скучно; зевать по-пу-

стому в городе — еще скучнее; а что могло быть приятнее, как провести это время наедине с Никандром?

Он запасся подарками к священнику и Никандру и после обеда уехал под видом будто по делам господина Простакова. На другой день рано выехал Иван Ефремович со всем семейством.

Глава III

Изгнанник

(Повесть Никандрова)

Городской священник Иван, прочитав письмо от Ивана Ефремовича, дружески обнял г-на Кракалова. Восторги Никандровы были неописанны. Он вздыхал, улыбался, плакал, хохотал и, вешаясь поминутно на шею к Гавриле Симоновичу, думал: «Счастливый человек! ты ее видел; на тебе покоились иногда взоры ее; может быть, она прикасалась рукою своею к руке твоей!» Он целовал с нежностию руки растроганного старика.

Праздничные дары г-на Простакова еще больше склонили отца Ивана в пользу родственника его Кракалова; он хотел было отвести ему особую комнату, но оба друга решительно, в один голос, от того отказались. Они думали: Гаврило Симонович: «Мне надобно быть с ним неразлучно, того требовал г-н Простаков!» Никандр: «Ах, может быть, он хотя слово об ней скажет!»

Поутру следующего дня отец Иван вошел в комнату гостей своих.

— Терентий Пафнутьевич! — сказал он, оборотясь к князю,— я пришел пред вами извиниться. Хотя городок наш и невелик, однако ж к этой неделе съезжаются почти все окрестные дворяне. Итак, я, совсем не представляя, что вы, милостивый государь, ко мне пожалуете, вчера еще дал слово на всю неделю. Утро обыкновенно в церкви, обед у одного, ужин у другого; разве только в субботу не будет ли ко мне кто-либо на вечер. Право, очень совестно.

— Совсем не для чего, батюшка,— вскричал князь с приметным удовольствием.— Я приехал сюда не для масленой, а единственно провести несколько досужих дней с моим приятелем; и думаю, что он, несмотря на моло-

дость, согласится лучше проводить со мною время, чем где-либо.

— О! без всякого сомнения, — отвечал Никандр, — чего мне искать на вечерах у людей незнакомых?

Священник был рад такому ответу и, еще раз извинясь, вышел с улыбкою. После обеда остались они одни, и Никандр сидел у окна, а князь Гаврило Симонович ходил большими шагами,— оба задумавшись. Никандр смотрел томными глазами на князя, как бы умоляя его сказать что-нибудь: «Здорова ли она? не было ли когда разговора о нем?» — тщетно! Князь очень проникал в мысли молодого человека и ломал голову, как бы одним разом навсегда отдалить его от такого покушения, которое будет бесплодно. Они понимали мысли один другого и были недовольны, каждый больше сам собою, нежели товарищем.

Наконец князь остановился, выступил одною ногою вперед и, вынув руки из карманов, вскричал: «Так!» — подошел с улыбкою к окну, сел против Никандра и сказал ему с ласкою друга:

— Кажется, молодой человек, ты имеешь ко мне доверенность? Да и должен иметь, ибо я заслуживаю ее нежною к тебе любовию. Отчего же до сих пор не знаю я, кто ты и откуда?

— Потому,— отвечал Никандр пасмурно и со вздохом,— что я и сам о том ничего не знаю!

— По крайней мере,— возразил князь,— ты что-нибудь да знаешь; а иногда из самой малости доходят люди до великих открытий. Неужели с тобой ничего-таки не случилось?

— Были, конечно, некоторые приключения, да с кем их не бывает; но таких, из коих бы я мог что-либо заключить о себе,— нимало!

— Я очень любопытен слышать и те, какие с тобою случались. Чего не видит один глаз, то увидит другой: оттого у нас по два глаза и по два уха. Я прошу тебя...

— Если это вам угодно, я скажу все, что было.

— Пожалуй, пожалуй! — вскричал князь, и Никандр начал:

— Как я стал понимать себя несколько, то увидел, что живу с одною матерью, старухою древнею, в маленьком домике, также древнем, в губернском городе Орле. Она научила меня читать, а приходский дьячок — писать; и я в десять лет возраста был в обоих искусствах неплох.

Нередко приставал я к матери моей с вопросами, кто был мой отец, как его имя, как фамилия? «Это тебе не нужно»,— отвечала она обыкновенно; а что это нужно, то я понимал, слыша, как ребятишки моего возраста с важностию величали друг друга полными именами, прибавляя к фамилии словцо «господин», а я все слыл просто Никандр и печалился.

В один день, как я сидел с дьячком и писал, подъехала к домику нашему карета. Мы крайне удивились, а еще больше, когда вошел полустарый человек, как показалось нам, купец. Мать моя, по-видимому, была ему незнакома. Он отвел ее в особую комнату, пробыл там около четверти часа, наконец вышел с узлом в руке. Глаза матери моей были заплаканы. «Никандр,— сказала она,— поди сюда, — и отвела меня трепещущего в ту же комнату, где была с незнакомцем. — Ты от меня теперь уедешь, друг мой, — продолжала она, — прости!» С воплем, я уцепился за платье ее, крича: «Куда, матушка?» — «Милое дитя,— отвечала старуха,— ты не мой сын; с этим человеком ты прислан был ко мне на воспитание; теперь он берет тебя назад. Прости!»

Восхитительная мысль озарила сердце князя Гаврилы Симоновича, и он вдруг, сообразя все обстоятельства, время и самое имя, устремив пламенеющие взоры на молодого друга, спросил трепещущим голосом:

— Больше ничего она не сказала?

— Ах! — отвечал Никандр,— я бы не хотел лучше знать дальнейшего объяснения! Она, под обещанием всегдашнего молчания, открыла мне, что ей удалось некогда у человека, привозившего ей деньги, а мне белье, выведать, что я побочный сын какого-то знатного господина, который объявить обо мне не смеет, а уморить с голоду не хочет; а потому воспитывает тайно, под одним именем Никандра.

Князь Гаврило Симонович опустил руки; глаза его невольно обратились в пол; он вздохнул и сказал протяжно: «Жаль! Продолжай...» И Никандр продолжал:

— Вошел прежний незнакомец, взял меня за руку, посадил в карету и отвез в известный вам пансион. Скоро привык я и к новому моему жилищу и пробыл там около четырех лет весьма покойно и весело. Главный надзиратель наш, господин Делавень, был вместе и муж мадамы и наш учитель; он и подлинно знал некоторые приятные искусства в довольном степени, а особливо в живописи, и

я много успел от его приохочивания. Мне исполнилось уже пятнадцать лет, как появились у нас девицы Простаковы. Я увидел их, и сам не знаю отчего при первом взгляде на старшую десятилетнюю Елизавету сердце мое забилось неизвестным для меня до тех пор биением. Ах! один взор милой малютки очаровал меня. С каждым днем умножалась моя к ней привязанность, и я старался не пропустить ни одной свободной минуты, чтобы не быть вместе с нею. Прилежность моя удвоилась. Я хотел показать Лизе, что не нестоящий человек ищет сердца ее. О! тогда и в ум мне не входило подумать о той страшной разности, какая находится между безродным, безыменным человеком и дочерью достаточного дворянина.

Казалось, Лиза понимала взоры мои, отгадывала причину необычайного румянца на щеках, когда я прикасался к руке ее в танцевальных уроках. Я осмеливался пожимать ручки ее, мне тем же отвечали. Будучи легче ветра, танцуя с нею, был самый дурной танцор, когда за болезнию или по другим причинам не было там Лизы, а если и была, но не участвовала в танце.

Началась ревность. Иногда я с намерением занимался другими девицами, особенно теми, кои были лучше ее лицом, богатее, блистательнее. Молодая любовница моя рвалась от досады, платила мне тем же; но я с тайною радостию усматривал в ней то уныние, ту принужденность, которая есть обыкновенный признак печального состояния сердца. Это — кто б подумал? — это произвело между нами переписку. В первый раз, идучи из классов в зимний вечер, осмелился я всунуть ей в руку маленькое письмецо. Она взглянула на меня тем кротким, тем проницающим взором, который говорит: «Я знала, что ты меня обманывал своею холодностию. Ах! и я тебя обманывала моим притворным равнодушием!»

Так переписка наша продолжалась несколько лет. Я взрос, и мне исполнилось девятнадцать лет, как Елизавета была пятнадцати. Тогда произошло то печальное приключение, которое, конечно, вам известно и за которое велено мне оставить место, столько для меня прелестное! О! как рад был я, что имения моего не рассматривали и мне достались все ее письма. Теперь читаю я их непрерывно, сравнивая Лизу-малютку с Елизаветою-девицею. Так, почтеннейший друг мой: в настоящем положении чтение писем тех составляет единственное благо дней моих. Ни одна смертная не наполнит собою моего сердца;

я решился провести жизнь в одиночестве и надеюсь находить между горестнейшими минутами и довольно сносные. В самых затруднительных обстоятельствах, когда горесть и даже бедствие тяготило душу мою и делало жизнь ненавистною, я раскладывал письма моей Елизаветы; моей, ибо она отдала мне сердце свое, и получал облегчение, утешение, сладость душевную.

Вы кажетесь недовольны, великодушнейший друг мой; но успокойтесь. Я уверяю вас святейшим уверением, пусть Елизавета отдает руку другому, пусть с восторгом страсти падет в объятия счастливого смертного, пусть народит ему детей, столько же прекрасных, как и сама она,— я всегда буду любить ее, как теперь. Не то люблю я, что составляет чувственную Елизавету; нет, я люблю в ней предмет великий, единственный для меня в мире, и буду любить тогда, когда она будет материю многих детей от другого, с равным пламенем; ибо любовь моя не есть любовь только чувственная.

Князь Гаврило Симонович пылал неудовольствием. «Как можно,— думал он,— в такие лета так много полагаться на свой ум, особливо на свои чувства! Право, он будет несчастнее, чем я, истоптавши огород свой!»

— Молодой друг мой,— сказал он, взяв Никандра за руку,— чтоб находить удовольствие, и удовольствие постоянное, в таких чувствах, надобно совершенно быть уверену, что предмет любви твоей будет тому соответствовать.

— О! надобно быть мною, чтоб понимать сердце ее! — вскричал Никандр.

— Худо, очень худо,— сказал князь.— Отец ее, добрый, честный, чувствительный старик, не заслужил такой неблагодарности!

— Неблагодарности? — возразил Никандр. — Да покарает небо сердце неблагодарное! Не клялся ли я ему, что никогда не буду искать случая видеть ее? Даже если б она предлагала мне руку без воли его: никогда не соглашусь растерзать сердце отца чадолюбивого и старца благодетельного! Я лягу во гроб и, испуская последнее дыхание от тоски, скорби и мучения, скажу к судии верховному: «Так, я любил Елизавету, любил святейшею любовию и никогда не думал быть обольстителем!»

Последнее слово немного заставило князя Гаврилу Симоновича задуматься. Черти, вытаскивающие раскаленными клещами язык обольстителя, так живо изображен-

ные на картине у фалалеевского старосты Памфила Парамоновича, ясно представились его воображению. «Молодой человек,— продолжал он размышлять,— так судит! О Иван Ефремович, любезный друг мой! если и дочери твоей сердце в таком же состоянии, как сего юноши, много слез будет стоить тебе пансионное воспитание в губернском городе!»

Сим кончился вечер. Утро встретили они спокойнее, но не довольнее. Никандр по крайней мере рад был тому, что нашел случай излить на словах душу свою, и хотел продолжать; но князь Гаврило Симонович, которому совсем не хотелось сего, спросил его:

— Ну, милый друг, что ж случилось с тобою по выходе из пансиона?

Никандр был несколько смешан таким вызовом, ибо все мысли его и красноречие напряжены были думать и говорить о Елизавете; но князь Гаврило Симонович совсем не к тому расположен был. А молодой человек, в утешение себе, видя, что нельзя уже говорить об одной своей любезной, решился при всяком удобном случае напоминать об ней и тем сколько-нибудь облегчать свое сердце.

Он повиновался долгу и продолжал.

Глава IV

Живописец

(Продолжение)

Собрав в узелок белье и письма моей Елизаветы, вышел я на улицу. Хотя солнце еще не закатывалось, однако было к тому близко. В городе Орле жил я около десяти лет, но не более знал его, как бы и никогда в нем не был; кроме двора моей мамки, пансионных классов и небольшого сада, все мне было неизвестно. Несколько часов шатался я по улицам, зевая по сторонам снизу вверх. Блестящие кареты, прекрасные лошади, богато убранные слуги и пышные барыни привлекали взоры мои и возбуждали некоторое удивление, но не более. «Ах,— говорил я сам себе,— Елизавета в простом белом платьице, опоясанная алою лентою, сто раз прекраснее, сто раз прелестнее вас, гордые женщины, с блистательными вашими убранствами!»

Блуждая таким образом и размышляя, ибо я, начав

любить, начал и размышлять, и прибился к одной площадке, которой окружающие предметы столько были для меня любопытны, что не мог не остановиться. На правой стороне возвышался большой каменный дом, наверху которого прибит был *деревянный, раскрашенный, двоеглавый орел*. В дом сей входило и выходило множество людей. Входящие имели на лице начертание ожидания, держали в карманах руки и ими помахивали; выходящие оттуда были печальны, имели руки на свободе и, одною утирая пот, другою чешась в затылках, отходили прочь. Тотчас, по обыкновению моему, ударился я в рассуждения. «Это, конечно, царский дворец, где живет или сам монарх, или его наместник. Входившие туда люди, видно, являлись на поклон; а как ему было недосуг или сердит, то он их худо принял; и оттого-то они невеселы. Очень помню, что когда, бывало, господин Делавень дерется с мадамою Ульрикою, то и на глаза не кажись ему».

С улыбкою удовольствия, что так легко решил сию многотрудную задачу, отворотился я к левой стороне. Изумление мое было неописанно: вижу маленький ветхий домик, с разбитыми окошками, а над дверьми его прибитый круг, на коем также нарисован двоеглавый орел и куда также входило множество народа. Входящие туда также держали руки в карманах; но разница в том, что на лицах выходящих вместо печали видна была радость, а иные даже припрыгивали от удовольствия и весело вскрикивали. Тут я стал в пень. Сколько ни думал, сколько ни рассуждал, сколько ни ломал голову, ничто не помогало. Устремив быстро глаза на дверь сего загадочного дома, стоял я неподвижно. «Что за пропасть! — вскричал я с досадою,— орел и там, и тут орел: как будто и это такой же царский дом, только маленький; отчего ж такая разница на лицах выходящих людей?»

Не успел я произнести последних слов, как увидел вышедших из маленького дома двух человек. Один был высокого роста, худощав, имел всклокоченную голову и мундир, как можно было догадываться, зеленого цвета. Он держался за эфес шпаги и обращал кровавые глаза по сторонам. Перед ним стоял малорослый, колченогий, головастый человек в кофейном сертуке, вертя шляпу в руках и поминутно кланяясь низко. Поговорив несколько между собою, они расстались. Человек в мундире пошел к большому дворцу, а малорослый, с веселою улыбкою, прибрел ко мне и спросил:

— Что ты так пристально смотришь, молодец?

— Удивляюсь и рассматриваю два царские дома: тот большой и этот маленький,— сказал я с великою важностию.

Он. также уставил на меня глаза и спросил:

— Да кто ты и откуда? Уж не из Китая ли?

Я чистосердечно открыл ему участь свою, что меня выслали из пансиона, где я многому учился; что, не имея ни родственников, ни знакомых, нахожусь в недоумении, где мне ночевать.

— О! этому горю покудова пособить можно,— отвечал он.— Милости прошу на ночь ко мне; а если ты чему-нибудь путному научился, то мы и местечко приищем. Что, например, ты выучил в пансионе?

С краскою стыдливости вычислил я ему: французский и немецкий язык, красноречие, поэзию, мифологию, древности. Он глядел на меня и колко усмехался: это немножко меня раздосадовало. «О! постой же, когда ты такой,— думал я; и с движением мщения проговорил: — логику, онтологию, психологию, космологию, словом — метафизику, этику, политику, гидравлику, гидростатику, оптику, диоптрику, катоптрику»,— и уже с парящим витийством хотел было вычислять Аристотелей, Платонов, Кантов, Лейбницев и многих других, как с ужасом заметил, что карло мой переменил улыбку на совершенное равнодушие и тихо качал большою своею головою. С трепетом остановился я.

Помолчав несколько, сказал он:

— Не учился ли ты, друг мой, чему-нибудь лучшему, полезнейшему этого вздора?

Со стоном произнес я: «Нет!» — и слово «вздор» заставило меня снова вздрогнуть.

— Например: каким-нибудь искусствам? — спросил он.— Ведь там, я слышал, и им обучают.

— Да,— отвечал я сухо и печально,— я учился, сверх того, музыке, танцеванию, фехтованью и живописи.

— Как? — воскликнул он, подпрыгнув, выпуча глаза и открыв рот,— и живописи?

— Да,— отвечал я,— и едва ли хуже пишу всякими красками, как мой учитель.

— Ну,— сказал карло, обняв меня с горячностию,— ты теперь счастлив, ни о чем не печалься; дом мой почитай своим. Знай, молодой человек: я сам живописец и чуть ли не первый в городе, назло проклятым злодеям,

моим соперникам; а человек с достоинством не может не иметь их, сколько ни старайся. Зовут меня Ермил Федулович Ходулькин. Хочешь ли быть моим помощником? Занятием твоим будет растирать краски, писать картины, которые полегче, разносить по домам и получать деньги.

С радостию принял я предложение его, и оба пошли домой. Дорогою зашла речь о царских дворцах, которые привели меня в такое замешательство.

— Ты прав, любезный друг,— сказал Ермил Федулович,— хотя домы те и не царские дворцы, как ты думал, однако они оба имеют величественные имена: большой называется *присутственным местом,* а маленький *кабаком.* Ты спросишь, без сомнения, чем занимаются в обоих? А вот чем: в первом, то есть большом, судят, рассуждают, оправдывают или обвиняют; словом, все, что есть в природе, подлежит суждению места того: люди, скот, четвероногие и пернатые, рыбы, пресмыкающиеся, плоды, древа; все, все без исключения! В маленьком казенном доме собираются простые люди в свободное время забыть на минуту житейские свои горести, и вкусив от искусственного дара божия, сиречь выпив вина, и подлинно на время их забывают!

— Разве и у тебя есть горести,— спросил я,— что и ты был там?

— Как не быть. Молодой человек! поживи больше в свете, больше и узнаешь; но я на этот раз был за другим делом. Заметил ли того пожилого и худощавого человека, что в мундире и при шпаге?

— Как не заметить!

— Ну так знай, я теперь на свой счет веселил его и доставлял способ забыть житейские скорби.

— Ты очень добрый человек,— сказал я.

— Может быть, ты и правду говоришь, но теперь опять ошибся,— отвечал живописец,— я имею нужду в том человеке. В большом царском доме разбирается дело по просьбе моей, а дело это в руках его, и он должен дать ему оборот.

— Как,— вскричал я с робостию,— поэтому ты имеешь тяжбу?

— Тяжбу, любезный друг, и самую непримиримую, а причина ее следующая.

Сосед мой, мещанин и хороший мне приятель, хотя вдвое богаче меня, каким-то образом достал прекрасную

заморскую утку с двумя утятами. Как у него на дворе нет пруда, а утки, известно, воду любят, то он ставил большое корыто. Кот наш как-то это позаметил, прельстился на одного утенка и в глазах всего семейства задавил его. Сосед мой, вместо того чтоб прийти ко мне и посоветоваться, как и должно в делах такой важности, по наущению жены своей вздумал отмстить. Около двух с половиною лет назад жена моя и дочь от первого брака сидели у забора и лущили бобы; а сосед, приметя, что кот мой притаился на против стоящем заборе и крался к воробью, почел случай сей благоприятным; взял полено, тихонько взлез на забор над головами жены моей и дочери и, не заметя того, ибо он пристально смотрел на кота, со всего размаху пустил поленом. Это имело пренесчастные последствия, как сейчас услышите сами. Кот ушел, а полено, ударясь в забор, отскочило; попало на ногу гулявшей индейки и ее переломило; там, отскоча еще, попало на двух цыплят и до смерти задавило. Все подняло шум и вопль. Сосед от сильного ли размаха рукою, когда кидал полено, от гнева ли, что не попал в кота, или устрашась крику жены моей и дочери, не удержался на заборе и свалился на наш двор, почти на головы сидевших. Хотя он их не больно ушиб, однако свалил на землю. Жена и дочь хотели вдруг вскочить, но как-то неловко поворотились и пришли в самое неблагопристойное положение. Сосед быстро убежал. Все эти несчастия приключились в мое отсутствие. Пришед домой, я нашел вопль, крик, слезы и ругательства. Сколько я ни упрашивал, сколько ни склонял жену к миру, нет; должен был поутру призвать к себе господина Урывова, которого видел ты у маленького царского дома. Мы сочинили просьбу, где ясно и подробно описаны были увечье индейки, смерть двух детей ее и страшное бесчестье, причиненное жене моей и дочери. Мы требовали законного удовлетворения. Таким образом подал, и меня уверяют, что тяжба моя скоро кончится в мою пользу.

— Как? — спросил я,— так уже тяжба твоя длится два года с половиною?

— Дела такой важности,— отвечал живописец,— скоро не делаются. Тут есть о чем подумать!

Когда вошли мы в покой дома моего хозяина, он представил меня двум женщинам, сидевшим за какою-то работою, как своего помощника в живописи: одной было около сорока, а другой — двадцати пяти лет. Обе, кивнув ко мне головами, пристально осматривали всего, рост, во-

лосы и платье: так я судил по их внимательным взорам. Казалось, они одобрили выбор Ермила Федуловича и в один голос сказали: «Садитесь!»

Тут начался разговор.

Жена. Что, доволен ли господин Урывов твоим угощением?

Муж. Кажется. Он клянется, что тяжба скоро кончится, и в нашу пользу.

Жена. А мне кажется, что кто-нибудь из вас великий плут. Или этот Урывов, обманывая, нас волочит, чтоб только что-нибудь выманить; или ты, пропивая сам деньги, меня обманываешь!

Муж. Ты, жена, очень бесстыдна, правду сказать! Разве не видишь, что у нас новый человек в доме, будущий мой помощник?

Жена. А какая мне нужда; хоть бы сам городничий был тут, то скажу, что я никого не боюсь и властна говорить, что мне хочется.

Муж *(приосанясь)*. По крайней мере ты не должна забыть, что я муж и старший в доме...

Он не договорил; жена вскочила с бешенством, быстро подбежала к нему, дала пощечину и, спокойно севши, сказала:

— Молчи, негодяй! Я докажу тебе еще и не так старшинство твое.

— Батюшка, кажется, не виноват,— возразила дочь, несколько величаво; и в то же мгновение получила такой же подарок, как и отец. Все замолчали. «Ну,— думал я,— теперь видно, что муж старший в доме!»

Мы отужинали в сумерках, и хозяйка повела меня с ночником на чердак, где была маленькая горенка, выбеленная глиною. Там на узенькой и коротенькой кроватчонке лежал войлок, два мешочка с овечьею шерстью и кусок холста, из которого делают мешки. Это все значило: постеля! Небольшой столик и два стульчика составляли убранство.

Положа узелок свой в угол, я лег и, предавшись размышлениям, сказал: «Правда, хорошо и здесь; но в пансионе было лучше: там была покойнее постель, там была Елизавета! Что ж делать? меня оттуда выгнали...» Я вздохнул и скоро уснул среди рассуждений о приключениях дня того.

Глава V

Совет соседа

(Продолжение повести Никандровой)

На самом раннем утре вошел ко мне Ермил Федулович. Я уже был одет, ходил по своей комнате и размышлял. «О чем задумался, господин Никандр?» — спросил он. Получив ничего не значащий ответ, сел, посадил меня и сказал: «Прежде нежели примемся мы за труды получать деньги и славу на свои произведения, ты должен знать образ моей жизни и характеры моего семейства. Федора Тихоновна, жена моя, взята не из беззнатного дома одного мещанина, и она у меня вторая. Дочь Дарья — от первого брака. Главное несчастие мое состоит в том, что я мал ростом, косолап и не так-то силен; а как назло теперешняя жена моя велика ростом, сильна и страшное имеет желание ссориться и драться. Что делать, друг мой; видно, такова участь моя! Поживешь на свете, так и больше узнаешь. Я пришел к тебе объясниться, чтобы ты не удивился, если часто видеть будешь такие же происшествия, какие видел вчера. Это бывает, как по подряду, каждый день, однако не мешает мне трудиться и доставать столько денег, чтобы становилось на свое пропитание и на угощение господина Урывова. О проклятая тяжба!»

Несмотря ни на что, мы занялись работою. Хозяин и подлинно был не последний в своем роде; но как в городе больше было богатых купцов, чем богатых дворян, то он больше писал иконы, чем портреты или исторические картины, в чем также он был немногим неискуснее меня.

Проведши около месяца в доме, я ко всему привык. Федора Тихоновна с утра до вечера носилась, как вихрь, из комнаты в комнату, махая руками и крыльями своего чепчика. Она за все сердилась и за все ругалась. Если муж встанет рано, она кричала, что разбудил ее; если поздо, что он великий лентяй; если он кашлянет, чихнет, улыбнется, наморщится,— что бы ни сделал, во всем жена находила неудовольствие и бранилась; даже если ее укусит блоха, она кричала на мужа, упрекая его, что он тому причиною. Словом, ее можно было уподобить Мильтонову Сатане, когда он носится по аду, стараясь найти выход.

Все это нам не мешало заниматься работою. Муж сносил крик и брань самым философским образом. На

жесточайшие брани жены он отвечал обыкновенно: «Так, так, душенька; но, пожалуй, перестань!»

Надобно отдать справедливость, что Федора Тихоновна и Дарья Ермиловна обходились со мною иначе. Они, казалось, наперерыв старалися угодить мне. При завтраке, при обеде, при ужине всегда оказывали мне ласки и самую дружескую приязнь; и я заметил даже между ими некоторое неудовольствие, если одна в чем-нибудь упреждала другую. Особливое усердие оказывали они, когда хозяина не было дома, и старались одна от другой скрыть то.

Чтобы приятно изумить Ермила Федуловича и доказать, что я не денежный живописец, украдкою написал я портрет его во весь рост. Правда, тут была небольшая ложь, именно: голову и рот сделал я поменьше, рост выше и ноги попрямее; и выставил картину сию на стене, когда ожидал его, ибо он пошел к богатому купцу, с заказным образом бессребреников Космы и Дамиана, которым он каждый год отправлял молебны.

Нельзя изобразить радости и удивления Ермила Федуловича, когда увидел он портрет свой и узнал, что я писал его. Посмотрев долго на картину и в зеркало, он воскликнул: «Нет! такие дарования и искусство не должны скрываться под спудом: пред богом грех, а пред людьми стыдно! Я сам немногим чем напишу лучше».

Я несколько усомнился в искренности последнего выражения, а жена и дочь откровенно признались, что ему и в жизни не удастся написать так. Я отблагодарил их улыбкою, а они приняли ее также с улыбкою и радостным взором.

В короткое время Ермил Федулович разблаговестил в целом городе, что у него в доме портретный живописец, какого никогда в свете не видано. Везде начали меня звать; я не упрямился и спустя несколько месяцев сделался и в собственных глазах великий человек. Дворяне, дворянки, купцы и купчихи со всем семейством желали иметь свои портреты, и только моей работы, может быть и потому, что кроме меня никого не было из портретных живописцев.

В таковом торжестве и славе провел я следующую зиму и весну. Денег накопил довольно и был весел, сколько мог, разлучась с Елизаветою, видя восхищение хозяина и его семейства, ибо я получаемые деньги за труды свои разделял с ними пополам; а эта половина едва ли не боль-

ше значила всего дохода, получаемого им от своих *угодников.*

— Это сокровище! — говорила жена мужу; и хотя попрежнему бегала, ругалась, кричала, а иногда и била бедного Ермила, однако по привычке мы все от того не были в унынии.

В мае месяце, вечер был прекрасный, и мы с хозяином вздумали прогуляться и на свободе поговорить о той славе, какую приобретает по достоинству великий живописец. Не успели мы пройти улицы, попадается сосед Пахом Трифонович. Ермил закраснелся и хотел отворотиться, как Пахом подошел, взял его дружески за руку и сказал: «Здорово, сосед!» Ермил в замешательстве скинул шляпу, сделал косою ногою полкруга назад и отвечал, еще больше покраснев: «Спасибо!»

Начались объяснения, споры, укоризны, а кончилось тем, что Пахом увел моего Ермила к себе в дом. «Прошу и вашу честь»,— сказал он, оборотясь ко мне, и я пошел.

Когда все уселись и Ермил Федулович выпил стакан искусственного *дара божия*, веселье сделалось общее. Пахом возгласил:

— Любезный мой Ермил! О чем мы тягаемся? Клянусь, о пустяках! Недавно узнал я, что господин Урывов великий плут. Знай: он был и моим стряпчим и время от времени обещал, что дело наше решится скоро, и в мою пользу.

— Как так? — вскричал Ермил, выпуча глаза.

— Да так же,— отвечал Пахом.— Как скоро узнал я об этом, то и решился во что бы то ни стало помириться с тобою, без помощи судейского правосудия. Итак, любезный друг и соседушка, согласен ли ты за все зло, какое я причинил, взять от меня барана?

— Почему бы и не так,— отвечал Ермил,— но что-то скажет жена?

— Ты добрый человек,— возразил Пахом,— но самый дурной муж. Признаюсь, и меня жена подбила к злодейству убить твоего кота, отчего и начались все беды. Знаешь ли что? Я тебе открою тайну, что ты вперед не будешь жены бояться!

— Скажи, пожалуй,— говорил тихонько Ермил, придвигаясь к Пахому,— какая это тайна? А она бы мне была под нужду!

— Поколоти ее преисправно раз, два, три, вот и вся тайна: я знаю это на опыте.

— Хорошо, любезный сосед, что ты велик, а жена твоя каракатица; но посуди обо мне и Федоре Тихоновне!

— Не мешает,— возразил Пахом,— чего нельзя сделать силою, то можно хитростью. А, право, стыдно, что ты, выходит, настоящий батрак у жены своей. Попытай-ко!

— Изволь,— сказал Ермил решительно, опорожнив еще стакан *дара божия,*— что будет, то и будет! Полагаюсь на власть господню!

Таким образом, призвав г-на Урывова, объявили, что они помирились, и просили сделать письменно все, что к этому нужно, а они неблагодарными не останутся.

В сумерки оба приятеля простились; Ермил тащил за рога молодого барана, а я держал за хвост, чтоб он не вырвался. Когда прибыли домой, раздался со всех сторон вопль:

— Что это значит? откуда взяли барана?

— Я помирился с соседом,— отвечал Ермил сухо; и с тех пор не могли добиться от него ни слова. Сколько жена ни бесилась, сколько ни бранила его, он молчал и делал свое дело. А какое? Тихонько принес из кухни скалку и с чердака большую рогатину. «Что это, что это?» — вопила жена, но муж молчал, укладывая то и другое подле ящика с красками.

Когда Федора Тихоновна увидела, что он немного хмелен и молчит как рыба, удовольствовалась дать ему несколько пощечин и вышла из комнаты готовить ужин.

Тут Ермил Федулович поставил подле дверей стул, взял в руки скалку и взмостился на него. Я спрашивал о причине такого приготовления, но он молчал и не смел дохнуть.

Через несколько времени жена показалась с важностию и грозно спросила, стоя в дверях: «Где негодяй Ермошка?» — как страшный удар скалкою поразил ее по затылку. «Ах!» — возопила она, упала на землю и каталась брюхом. Но Ермошка, творец сего подвига, соскочил быстро, вцепился в волосы левою рукою, а правой бил во что попало без всякой жалости, приговаривая за каждым ударом: «Вот тебе негодяй, вот лентяй, вор, бездельник, вот тебе Ермошка!» На лице его видно было отчаяние.

Видя, что Федора Тихоновна перестала визжать, он

немного успокоился, сел с важностью в углу и взял в руки рогатину. «Ермил Федулович,— вскричал я,— это что значит?» — «Поживи в свете,— отвечал он,— и больше сего увидишь!»

Жена, видя, что муж отошел, вскочила, завизжала, засучила рукава, бросилась; но окаменела, увидя, что Ермил Федулович сидел, выставя рогатину как на медведя. Сколько она ни кидалась, сколько ни переменяла мест, рогатина все была против нее. Нечего было делать! Она удовольствовалась тем, что раскидала его краски и дала несколько пощечин Дарье Ермиловне.

Так почти проходил каждый день. Хозяин мой очень помнил наставления соседа, что где нельзя управиться силою, надобно прибегать к хитрости. Каждый день выдумывал он новую: скалкою повергал жену на землю, бил а рогатиною защищался.

Но увы! горесть снедала доброе сердце его. Я приметил, что для него было полезнее и приятнее быть биту, чем самому бить. Однако, как уже начал, то и продолжал. «Заведенного порядка переменять не должно»,— говорил он, тяжко воздыхая.

В один день, поколотив Федору Тихоновну, он как-то неосторожно уколол руку ее рогатиною, увидел кровь и пал на землю без чувствия. Скоро кровь жены унялась, но бедного, доброго Ермила Федуловича подняли мертвого: ему сделался удар!

Глава VI

Два привидения

(Продолжение повести Никандровой)

На третий день похоронили бедного Ермила Федуловича. Один я был на могиле; ибо жена и дочь от отчаяния не могли выйти из дому. Печаль моя была нелицемерна. Я любил доброго хозяина, несмотря, что он был косолапый карло. Более всего тревожила меня мысль о будущем. Что я буду делать? где приклоню голову? В таком расположении духа пробыл я целый месяц. Хотя ласки матери и дочери не только не уменьшались, а день ото дня становились больше и нежнее, однако я решился, не

дожидаясь, пока укажут двери, выйти, хотя и сам не знал куда. «Господь управит стопы сироты несчастного»,— думал я; и начал в один день укладываться. Федора Тихоновна увидела это и, подбежав ко мне с участием и тревогою, спросила:

— Что ты хочешь это делать, любезный друг?

— Хочу оставить вас,— отвечал я,— мысль, что я вам в тягость, меня мучит. Скорее соглашусь скитаться по миру без пристанища, чем озаботить вас!

— Скитаться? нас озаботить? — вскричала она,— сохрани, милосердый боже! Напротив, я отдаю тебе все краски и прочие снадобья, клоняющиеся к живописи, и надеюсь, что ты у нас останешься не на короткое время.

С должною благодарностию принял я предложение своей хозяйки, и, едва она ушла с улыбкою на губах, вдруг показалась дородная падчерица ее.

— Что, любезный друг, ты хотел нас оставить? — сказала она.— Это безбожно огорчать так жестоко людей, которые тебя любят как родного!

— Уже отдумал,— отвечал я,— и пробуду здесь до тех пор, пока вам не наскучу.

— Это значит навсегда останешься,— подхватила Дарья; с жаром пожала мою руку и вышла весьма довольна. Итак, я решился покудова жить в сем доме и трудиться. Предлагала было Федора Тихоновна переселиться мне вниз, где опочивал покойный супруг ее; но я почел сообразнее остаться на чердаке и, несмотря на ее увещания, там и остался.

Недели чрез три после сего в одну ночь, уже поздо, сидел я в храмине своей за свечкою, углубившись в размышления. Все представилось тогда унылому моему воображению, все самые мелкие обстоятельства в пансионе и после, в доме покойного Ермила. Вся душа моя полна была горестных представлений, и я произнес тяжкий вздох.

Немало было изумление мое, когда услышал, что за дверью, на чердаке, мне также отвечали тяжелым вздохом. Я встал, прислушивался, ничего не было. «Это мне почудилось»,— сказал я, садясь и опять вздыхая. Вздохом отвечали и мне.

Нет,— думал я, вскочив,— тут есть какая-нибудь тайна. Уж не тень ли доброго Ермила пришла мстить преступной Федоре?» Мороз разлился у меня в сердце. С тре-

петом подхожу я к дверям, отворяю и два шага отскакиваю назад. Нечто белое, пребольшое, с распущенными волосами, стоит в недальнем расстоянии от дверей.

Хотя сначала и поколебалась моя храбрость, однако я скоро призвал на помощь свою метафизику; в один миг прочел в уме трактат de possibili et impossibili[1] и, утвердясь хорошенько в духе, сел на стуле, взявши на всякий случай в руки рогатину. «Если,— думал я,— покойный Ермил Федулович удачно защищался сим оружием от злой и бешеной женщины, то уж от привидения очень можно».

Привидение вошло в двери, двигалось, пришло тихо ко мне, протянуло руку и сказало с нежностию: «К чему такое вооружение, любезный друг?» Я взглянул и узнал высокую и дородную Дарью Ермиловну в самом легком спальном платье. Покрасневши немного от изобличения моей храбрости, поставил я рогатину в угол и сказал: «Садись, Дарья Ермиловна».

Она. Несмотря на такую тихую и месячную ночь, я не могла уснуть. Мысль за мыслью наполняли голову мою; сердце билось так сильно, и я решилась пойти к тебе разгуляться. Я как знала, что ты еще не спишь.

Я. Да, я сидел и рассуждал.

Она. Правда, ты к этому великий охотник. Но признайся мне чистосердечно, о чем ты всегда рассуждаешь? Нередко я говорю с тобою несколько минут, а ты, кажется, и не слышишь и где надобно сказать «да», ты говоришь «нет».

Я. Быть может, это от рассеянности.

Она. Знаешь ли, любезный друг, что говорят и замечают об этом люди?

Я. А что такое?

Она. Недавно была я у одной приятельницы моей; она тебя немного знает и завела речь,— как ты думаешь, любезный друг, что она говорит о частой твоей задумчивости?

Я. А что?

Она. Что ты влюблен.

Тут Дарья застыдилась и потупила голову. Я не знал, что и отвечать ей: открытие сие поразило меня. Как могла узнать приятельница ее, что я люблю Елизавету и выгнан за то из пансиона. Словом, смущение мое было неописан-

[1] возможном и невозможном.

но; но как же увеличилось оно, когда целомудренная Дарья Ермиловна погодя немного спросила, заикаясь: «А знаешь ли в кого, мой милый?» — «Нет,— отвечал я, более заикаясь, и готов был от имени Елизаветы, столько милого, столько драгоценного для меня имени, упасть в обморок от стыда и горести, но, собравшись с духом, сказал довольно покойно: — В кого же?»

— В меня,— отвечала она; опять потупила голову и перебирала пальцы рук, сложенных на коленях.

— Ах,— вскричал я, уставив на нее глаза неподвижно.

Боже мой! с какою радостию отказался бы я от жизни, только бы услышать от Елизаветы: «Я люблю тебя!» Но такое признание Дарьи Ермиловны,— сколько я ни нов в свете, однако понял, что значат слова ее,— привело меня в огорчение, гнев, бешенство. Мне казалось святотатством требовать соответствия от того сердца, в коем Елизавета господствовала.

Дарья ошиблась. Она смятение мое почла робостию и замешательством от неожиданности такого счастия; взяла меня с нежностию за руку и сказала томным голосом: «Почему же и не так, любезный Никандр? Честной и законной любви стыдиться не для чего! Бог ее благословит. Знаешь ли? Этот дом и все, что есть в нем, принадлежит мне, как наследнице после батюшки. Федора Тихоновна выходила за него в одной рубашке, следовательно, в имении нет ее участия. Так, друг мой,— продолжала она (обняв и подлинно очень по-дружески),— мы с тобою будем жить пресчастливо. Ты великий искусник, деньги у нас всегда будут; а чтобы мачеха не беспокоила нас своим визгом, то мы эту ведьму и по шеям. Не правда ли?»

Едва кончила она замысловатую речь свою и хотела было еще обнять нежнее прежнего, как мы услышали на чердаке легкий шум и пыхтение: «Боже мой! — сказала Дарья в крайнем замешательстве,— это, верно, мачеха! Что мне делать? Выскочить в окошко высоко; переломаешь ноги! А как пойти к ней навстречу?»

И подлинно мы не знали, что начать, а должно было решиться скоро. Вдруг отворяется дверь, и Федора явилась в таком же наряде, как и Дарья.

— Как? — сказала она, стоя на пороге,— ты еще не спишь, Никандр?

Она ступила шага два и оторопела, увидя падчерицу.

— Ба! — вскричала она,— а ты зачем здесь? Возможно ли? Девка, середи ночи, у холостого мужчины, в таком наряде: о бесстыдница!

— Ни больше, ни меньше,— отвечала Дарья,— как и ты! Возможно ли: вдова, середи ночи, у холостого мужчины, в таком наряде: о бесстыдница!

«Ах!» — завопила Федора, подскочила и такую пощечину отвесила падчерице, что та пошатнулась; но также в свою очередь скрикнула «ах!», также отвесила пощечину мачехе, от которой та слетела с ног, но скоро вскочила и обе вцепились одна другой в волосы и начали таскаться до тех пор, пока не упали на пол, где, уже катаясь, продолжали поединок, вычисляя одна другой добродетели; меж тем стол полетел на пол и эпиктетовский подсвечник [1] сокрушился на части.

«Видно, здесь я больше не жилец,— сказал я сам себе,— дожидаться нечего, пока обе воительницы кинутся на меня. Тогда я приму такое истязание, какого Ермил Федулович во всю жизнь не видывал, и славному живописцу Никандру достанется участь славного певца Орфея» [2].

Таким образом, взяв сумку с пожитками и рогатину, ударился бежать. Подлинно я рассуждал справедливо: едва только выступил за порог, как обе героини вскричали: «Куда?», вскочили быстро с полу и бросились ко мне; но я уже успел притворить дверь и, накинув петлю, заложил щепкой. Сколько они ни кричали, то просили, то грозили, я себе спустился потихоньку с лестницы, вышел на двор, а там и на улицу.

Ну, что мне делать середи ночи под открытым небом? Звук колокола на башне у кладбища, подле валу городского, из чего узнал я, что уже час за полночь, решил мое недоумение. «Пойду,— думал я,— и лягу где-нибудь в роще, окружающей могилы».

Вошед, избрал я густой кустарник подле памятника, представлявшего молодое миртовое дерево, громом расщепленное. Я постоял несколько времени, смотря на дерево, потом вздохнул, положил сумку у кустарника и лег, придвинув к себе рогатину.

[1] Известно, что Эпиктет, философ, писал при глиняном подсвечнике.

[2] Орфей, по преданию древних, растерзан был вакханками, не могшими склонить его к соответствию на любовь их.

Глава VII

Привидение третие

(Продолжение повести Никандровой)

Не пролежал я под кустарником более четверти часа, как увидел в отдалении нечто белое, движущееся ко мне. «Боже мой! — думал я,— видно, эту ночь провести мне всю с привидениями. От двух кое-как я ушел; что-то будет с третьим?» Я подвинулся в самый кустарник, прижал к себе рогатину и решился не спускать глаз с привидения. Оно подходило ближе и ближе; сердце мое трепетало больше и больше; наконец, подошед, село у памятника с миртовым деревом. Тут увидел я, что это была очень молодая еще девушка. Она положила небольшой узелок у ног и при малейшем шуме вскакивала, озиралась, вздыхала и опять садилась.

Эта приятельница, видно, пламеннее Дарьи Ермиловны, а ожидаемый нареченный жених уж слишком холоден, что так долго заставляет себя дожидаться. Я решился быть свидетелем любовной сцены и отнюдь не мешаться: какое мне дело до других.

Колокол ударил два часа; красавица вздрогнула, вскочила и вскрикнула: «Боже мой! уже два часа, а его нет!»

«Что делать, друг мой, потерпи,— говорил я сам в себе,— терпение умножает цену удовольствия».

Наконец показались двое мужчин. Незнакомка встала; по всему телу приметен был трепет; грудь ее волновалась; дыхание было тяжелое и прерывистое.

Герои пришли. Один показался мне весьма страшен. Он был в длинном темном плаще; а другой, поласковее, в купеческом платье. У них начался разговор.

В купеческом платье. Как, любезная Наталья, ты уже здесь?

Наталья. Более часа.

В плаще. Покажи-ка свое приданое!

Наталья. Вот оно.

Она подала узелок. Человек в плаще развернул его, пересмотрел с радостною улыбкою и сказал: «Хорошо! это бриллианты, это жемчуг, а это деньги. Сколько же деньгами?»

Наталья. Не знаю: я взяла, сколько нашла.

В плаще. Хорошо, после пересчитаем!

Он опять завязал спокойно узел, отдал товарищу, поглядел на него пристально и сказал твердым голосом:

— Ну, брат, два часа; пора ехать!

— Пора,— отвечал тот, стоя на месте.

В плаще. Ну, ступай же ты с узлом к повозке; а с нею управлюсь я и один.

При сих словах отвернул он полу плаща и вытащил пребольшой нож. Я оцепенел, а бедная Наталья издала звук ужаса и упала без чувств у подошвы памятника.

— Тем лучше,— вскричал человек в плаще, подходя к ней.

В купеческом платье *(вынув из кармана пистолет)*. Нет, приятель, ты не убьешь ее! В этом пистолете пуля; а я промахов не даю!

В плаще. Не с ума ли ты сошел? Что тебе в этой девчонке? Только лишние хлопоты. Вить надо же когда-нибудь лишиться ее?

В купеческом платье. Хорошо, но я не люблю лишаться таким образом. Пусть ее живет; она может на неделю приятно занять меня; а там с богом на все четыре стороны: не нужна мне,—так может понадобиться другому; словом, я решился взять ее с собою.

В плаще. Я даю тебе слово ни к чему не принуждать тебя в рассуждении какой-то деревенской дворянки, которую прошлого лета видел ты в городе и пленился, ибо у отца ее, говорят, много денег. Что хочешь с тою делай, я не вплетусь, и ты меня не замешивай; а когда уже в это впутал, то я хочу кончить так, как привык. Привычка, ты знаешь, другая натура.

Тут он ступил шаг вперед; товарищ прицелился, вскричал: «Слушай!..»

Меж тем как они спорили, я рассуждал, лежа в кустарнике: «Вижу, что без беды не обойдется! Если убьют бедную девочку, то кинут тут же, и меня могут подозревать; если начнут резаться, то и того хуже. Ну, что делать?»

«Ах! — продолжал я рассуждать,— если б удалось мне, если б помог бог спасти сию несчастную! Как бы она была мне обязана, как благодарны ее родители! Приятно сделать доброе дело, но иногда очень трудно!»

Такое желание внушило мне чрезмерную смелость. Я показался сам себе великим рыцарем; а рыцари обыкновенно искали опасных приключений, и очень мало или

совсем не рассуждали так, как я, где надобно было действовать.

При сей мысли я перекрестился три раза, призвал на помощь моего ангела-хранителя, взял рогатину, вскочил как бешеный с ужасным ревом и, не дав опомниться, сильно треснул по рукам того, что с пистолетом, а там и другого, от чего у них выпали оружия и узел с приданым Натальи. Меж тем страшно вопил я: «Ага! попались вы нам, бездельники! Ребята! скорей, сюда, сюда!»

Незнакомцы ударились бежать, а я, топая ногами и стуча рогатиною по надгробным камням, кричал: «Архип, Кузьма, Макар! ловите, ловите, перенимайте!»

Когда они скрылись за ограду, я бросился к месту побоища, и, опасясь, чтоб бежавшие, опомнясь и никого не видя, не воротились, взял Наталью на плеча, в руки рогатину, оброненный узел и пистолет и пошел в самую чащу рощи закинув нож как можно дальше. Когда пробирался меж деревами и кустарниками, стараясь разводить прутья, чтоб не оцарапать лица спасенной жертвы, Наталья пришла в себя и сказала со стоном: «Боже! куда несут меня? Ах! жива ли я?»

Поставив ее на ноги, я сказал:

— Успокойся, милая девица, ты жива; а что лучше, спасена твоя невинность. Узнай во мне твоего избавителя, к которому можешь иметь братскую доверенность. Ничего не опасайся, но только молчи. Злодеи могут воротиться; я один тогда не управлюсь, и оба верно погибнем. Молчи и предайся в мое распоряжение.

Она шла подле меня, держась за руку. Все члены ее трепетали. Мы достигли, казалось, безопасного места. Ветвистая ель, окруженная можжевеловыми кустами, сделалась нашим убежищем. Я велел залезть туда Наталье, подал ей узел и рогатину, натаскал еще хворосту, вполз сам и лег подле, обняв одною рукою рогатину, а другою пистолет.

Наталья молчала, тяжело вздыхая.

Чрез час услышал я, не очень далеко, громкие голоса прежних незнакомцев. «Наталья! — сказал я тихо,— они приближаются сюда; не смей дохнуть». Она задрожала и сделалась как каменная.

Я испугался. «Жива ли ты, милая девица?» Слабое «ах!» был ответ ее.

Я изрядно принял оборонительное положение: лег ничком, головою к тому месту, откуда слышал голоса ближе и ближе; рогатину положил у правого бока, а пистолет,

взведши курок, взял в руку и думал: если Наталья от ужаса как-нибудь изменит себе и они пойдут искать, то, кинувши все рассуждения, выстрелить по человеку в плаще, а с другим управляться с помощью божиею и рогатины.

Они подошли к нашей ели и говорили громко и запальчиво.

В плаще. Хоть плюнь! Везде никого и ничего! Видно, этот плут как-нибудь вышел из ограды с своею находкою; а узелок изрядный! Она где-нибудь под могилою издыхает. О трус, трус! ты первый побежал!

В купеческом платье. Кто не бережет головы своей. Он насказал такое множество людей!..

В плаще. Однако ж вышел один, и, как приметно по голосу, молодой человек!

В купеческом платье. Кто ж это думал? Могли быть и многие!

В плаще. Признайся, что гораздо б лучше, если б ты не мешал мне.

В купеческом платье. Никогда не признаюсь. Девочка, правда, мне нравилась больше, чем моя купчиха и в первые дни нашего союза, и я хотел провести несколько времени не худо; но клянусь, я согласился бы кинуть ее на кладбище, на произвол случая, чем видеть легковерное дитя умерщвленным.

В плаще. Ты не стоишь быть в моем круге. Твоя робость, вечное недоумение, твоя совесть...

В купеческом платье. Что я не робок, то доказал тебе сегодни и прежде во многих случаях; и оттого теперь внутренно терзаюсь.

В плаще. Лучше расстаться, чем страдать с безмозглым. Прощай, любезный друг купец, дворянин, князь и прочее и прочее.

В купеческом платье. Прощай, дорогой мой крестьянин, мещанин, иностранный купец и прочее, и прочее.

Слова сии произносили они, задыхаясь от гнева. «О, если б был при мне мой кинжал! О, если б был у меня пистолет!» — говорили они, скрежеща зубами и уходя в разные стороны.

Когда все умолкло, я высунул голову из можжевельника и увидел, к великой радости, багряную зарю на восточном небе. «Наталья, выйдем!»

Мы выползли. Наталья отошла на несколько шагов, пала на колени, простерла руки к небу и залилась слезами.

По губам ее можно было приметить, что она хотела нечто сказать. О! без сомнения, она молилась, и великий сердцеведец, конечно, простит ее за ту горесть, какую причинила она своим родителям!

Вставши, она подошла ко мне, взяла быстро мою руку и поцеловала со всем жаром чувствительной благодарности.

— Перестань, Наталья,— вскричал я, отняв руку,— и на самую добродетель находят часы искушения.

Н а т а л ь я. Как, вы меня знаете?

Я. Нет, милая невинность; я знаю имя твое потому, что один из злодеев произнес его при первой встрече с тобою у каменного миртового дерева.

Н а т а л ь я. Отведите меня к батюшке: пусть у ног его умру я!

Я. Хорошо; но как мы это сделаем? Чернь уже бродит по улицам. Что скажут о тебе и обо мне, когда увидят, что я иду с тобою так рано из-за города? Твоя бледность, расстроенность, вздохи, которых скрыть не можешь, дадут многим праздным людям повод к догадкам; а догадки бывают иногда вреднее известности. Не лучше ли нам подождать, пока отойдут обедни: тогда мы свободно, выждав всех, пойдем к отцу.

Она склонилась на мое замечание, села у ели и предалась безмолвной горести.

Когда обедни кончились, мы позади всех прихожан пошли к отцу Натальи, богатому купцу. Вошед в покои, мы не нашли в передней никого. Входим в залу, также никого нет. В гостиной увидели, что старый купец сидел, облокотясь на обе руки, у стола; а жена стояла на коленях пред образами, ломала руки, плакала и молилась.

— Батюшка! Матушка! — вскричала Наталья, упав на пол посредине и протянув к ним руки. Старики бросились к ней, обняли заблудшую дочь, плакали от радости и смеялись от огорчения. Наталья не в состоянии была разделять их восторгов: ей опять стало дурно, и по моему совету она была положена в постель, а я, хоть также всю ночь провел без сна, в беспокойстве, то с привидениями, то в сражении с полуночными витязями, однако скрепился и, рассказав родителям, что знал сам, подал узел. Благодарность их была нелицемерна. «Требуй от меня всего, молодой человек,— вскричал купец,— всего моего имения мало наградить тебя за возвращение моей Натальи, единственного нашего дитяти!» Я попросил позволения пробыть

у него несколько дней, пока приищу для себя приличное место. Он с радостию на то согласился, и мне отвели особый покой, прекрасно убранный.

Глава VIII

Искать места

(Продолжение повести Никандровой)

У доброго купца прожил я с неделю в отдохновении, как тогда сам думал я, а сказать просто, в бездействии и лени. Наталья совершенно помирилась с родителями и смотрела на меня время от времени, менее робея и мешаясь. Разговоры ее были просты, умны, приятны. Хотя и не училась она по-моему рассуждать, однако замечания ее касательно общежития были правильнее моих. Она чувствовала прекрасно, не могши по-ученому назвать именами своих чувствований. Я находил крайнее удовольствие, бывая с нею наедине, что почти случалось всякое утро, рассказывать ей рыцарство мое в известную ночь. Я, как на самом деле, кричал свирепым образом, махал палкою вместо рогатины и ползал по полу, как будто все еще в можжевеловом кустарнике под елью. Словом: я походил на самого лучшего актера. Наталья плакала, подавала мне руку и смотрела в глаза мои, так что если б не Елизавета занимала всю душу мою, все сердце, то я, верно, пал бы к ногам ее и клялся вечною верностию. Но уже было очень поздо, невозвратно!

От прелестной Натальи узнал я, что обольститель ее введен в их дом самим отцом. Он назывался Семеном Андреевым, купцом какой-то дальней губернии. Хотя он был уже не в первых летах молодости, но его ловкость, привлекательность, ласки были обворожительны. Наталья не находила подобного ему ни одного из купцов, посещавших дом отца ее. Время от времени сердце ее к нему прилеплялось, а кончилось все известным образом. После узнал я, что такие происшествия нередки: от родителей бегали крестьянки, купчихи, поповны, дворянки и даже княжны и графини.

Проведши так, как уже сказал, неделю, вспомнил я, что пора думать искать места, приличного званию моему и способностям. Объявив о сем купцу, получил в ответ:

«Хорошо, друг мой, с божиею помощию!» Он улыбнулся, а я вышел на улицу.

Внутренно хотелось мне занять какое-нибудь место в том большом царском доме, о котором покойный Ермил Федулович насказал так много удивительного. «Что может быть прелестнее,— говорил я, идучи по улице,— как быть сочленом такого знаменитого судилища, коему подвластна вся природа! А стоит только подойти поближе, то по лицу моему узнают достопочтенные члены, что я гожусь быть их товарищем». Так рассуждая, пришел я на площадь и стал прямо крыльца, саженях в десяти. Знаменитые члены (я узнавал их по мундирам, всем без исключения похожим на мундир г-на Урывова), как заведенная машина, одни шли важными шагами *из большого дома в маленький,* а другие *из маленького в большой.* «Конечно, и у них много житейского горя,— думал я,— что они в таком множестве ходят утешаться; и, видно, природа в великом беспорядке, что все возвращаются приводить ее суждениями своими в устройство. Жалки же и вы, великие люди!»

Я простоял тут около двух часов, однако ни один из сих великих людей не спросил меня, зачем стою. С досадою пришел я домой.

— Что, друг, нашел ли место?— спросил купец.

— Покудова нет, а посмотрю завтре,— отвечал я с принужденностию.

— Пожалуй, и нам скажи, как найдешь,— сказал купец, улыбаясь по-прежнему; и мне досадна показалась его насмешка. «Что ж такое,— думал я,— что сегодни ни один из судей природы не поговорил со мною? Неужели и завтре они также будут спесивы? Не думаю!»

Я не думал, однако ж случилось так. Целые две недели ходил я к большому царскому дому, и великолепные судии не удостоили меня ни одним словом. К большому моему огорчению, как только возвращался, хозяин встречал вопросом: «Что, любезный друг, нашел ли место?»

«Постой же,— сказал я, оставшись наедине,— завтре окончу все дело. Как уж видно, что эти гордые судьи не хотят спросить меня, быть может, чтоб не унизить своего сана, то благопристойность требует, чтоб я сделал вызов прежде. Я это завтра же сделаю; остановлю которого-нибудь на площади, когда будут идти *из малого дома,* следовательно утешась в житейских горестях; буду говорить как можно красноречивее и великолепнее, а это, конечно,

тронет самые суровые сердца, и они предложат мне быть их собратом». Будучи упоен такою мыслию, я неприметно принял гордую наружность, говорил протяжно, и когда Наталья обращала ко мне речь, сопровождая кротким, нежным взглядом, я отвечал сухо и коротко. Вот что значит задумать только сделаться великим человеком!

На другой день, в надлежащее время, вышел я из дому и стал на площади. Простояв около часа, твердя речь, которую должен сказать, увидел выходящего *из малого дома* одного из великолепных моих судей. Я снял шляпу и ожидал приближения. Но как велика была радость моя, когда узнал г-на Урывова. Едва он подошел, я низко поклонился, стал против него и, размахивая руками, сказал с жаром: «Великолепнейший из членов величественного судилища всея природы! о ты, который судишь и рассуждаешь о всем, мир сей наполняющем! Не ты ли приводишь в согласие разрушающиеся части всего сущего на земли? Так! ты укрощаешь свирепых львов и кровожадных тигров! Ты воспрещаешь змеям и жабам разливать смертоносный яд свой! Ты примиряешь тягчайшие вражды, какова была между Ермилом Федуловичем и Пахомом Трифоновичем за переломленную ногу индейки и обесчещение жены его и дочери!..»

— Это какой-то сумасшедший,— сказал г-н Урывов, глядя свирепо.

— Прошу, милостивый государь, выслушать до конца,— отвечал я,— и вы будете довольны.— Тогда продолжал:— Так! величественный муж! все доказывает, что труды твои и занятия безмерны, бесчисленны до того, что и о самом себе подумать некогда! Это видно по этому серому перью, прильнувшему к твоему мундиру; по этим волосам, гордо торчащим в разные стороны; это видно из кровавых глаз, всюду с должною сану твоему важностию озирающихся; словом: из всего вида и образа, похожего на летящего с неба Веельзевула!

Тут я остановился, будучи очень доволен, что так дерзко все выговорил; но г-н Урывов смотрел на меня с большою свирепостью.

— Скажи, дружок,— спросил он,— в котором месте сорвался ты с цепи?

— Крайне соболезную,— отвечал я с соучастием,— что вы в этом *маленьком доме* не все забыли горести житейские. У меня есть деньги, пойдем: я повеселю вас не хуже Ермила Федуловича! — С сим словом взял я дружески его

за руку, как он взмахнул палкою, ударил меня по спине и, примолвив: «Какой бездельник!» — пошел в *большой дом*.

Я отскочил на сажень, печально поглядел вслед ему и сказал вздыхая: «О, как свирепы бывают знатные и великие люди! Конечно, рассуждая о всей природе, где есть дикие звери и твердые камни, сердца их ожесточаются к человеку!»

Пришед домой, я все рассказал хозяину.

— Поговорим откровенно, друг мой,— сказал хозяин, уводя меня в свою комнату.— Я заметил в тебе довольно учености, феоретических познаний, а что всего больше и дороже, доброе сердце и благородные мысли. Ты не знаешь света, правда; но, не живши с людьми разного звания, нельзя и знать его. Ты безроден; нет ничего. Знаменитое имя предка и великие подвиги его не украсят бездельного потомка, разумея в глазах умного человека. Однако ж без звания прожить нельзя, а хотя бы и можно, то не годится: это стыдно для всякого. Как скоро ты существуешь, то уже стал член общества; а с сею обязанностию ты должен трудиться, по силам делать помощь сему обществу. Итак, друг мой, ты должен иметь звание и должность, и я тебе и то и другое придумал.

Луч удовольствия блеснул в глазах моих. Мне вообразилось, что он тихонько от меня склонил знаменитых судей природы принять меня их сочленом. Купец продолжал:

— О чем теперь буду говорить тебе, о том прежде переговорил с женою, и оба согласились. Я уже прихожу в старость; кроме дочери, нет у меня детей; итак, я хочу усыновить тебя, отдать мое имя, имение и Наталью. Что скажешь, молодой человек? Хотя она и подпала заблуждению, но оно было больше плод разгоряченного воображения, нежели истинной страсти. Она успокоилась, и если не любит еще тебя, так, верно, скоро полюбит, и я дозволяю тебе искать того и стараться.

Кто б не пришел в восторг от такого благодетельного предложения? Но я был поражен им, как громом, стоял, не двигаясь с места и не говоря ни слова. Купца это удивило: он спросил о причине, и я в смущении признался, что давно уже влюблен.

— В кого?— вскричал он с большим удивлением, и я рассказал ему подробно все свои преключения до времени, когда выгнан из пансиона.

— Это вздор, мечта, дурачество, которого и молодость твоя оправдать не может,— сказал купец с важностию.— Почему не любить; но надобно избирать предмет, который соответственнее нашему состоянию, званию, характеру. Что пользы было бы мне, если б влюбился я в какую княжну или графиню? Были безумцы, которые влюблялись и в своих государынь; но какую выгоду получил? Утешение скатиться и после умереть в доме сумасшедших! Какая цель любви твоей, Никандр? Разве не уверен, что отец твоей любовницы никогда не согласится ее за тебя выдать? Знай, что это точно будет так! Похитить ее, обольстить, сохрани боже, да ты к тому и не способен: сердце твое ужаснется вместить в себе такой разврат. Но если бы любовь и довела тебя до такого ослепления и ты нашел к тому способы,— что после?— бедность, несчастие, угрызения совести. Вот награды, какие следуют за безумною любовию! Подумай, сын мой, хорошенько, и я скоро спрошу об ответе. Надеюсь, чад выйдет из головы твоей.

Я думал день, два, три, неделю, две и целый месяц, но был в прежних мыслях. Елизавета, подобно юному, прелестному божеству, носилась в душе моей в каждую минуту. Мысленно лобызал я милый образ; сердце мое наполнялось сладкою теплотою, чистый священный огнь пылал во всем составе моем, и я чувствовал умножение любви своей с каждым мигом, с каждым новым биением сердца. Я не скрывал сего от купца, и он непритворно на то досадовал.

— Ну, когда так,— сказал он однажды,— то надобно тебе, друг мой, оставить дом наш. Не мудрено, горячка твоя может пристать к Наталье. Что толку: она полюбит тебя, не будет твоею, и новое мучение поселится в нашем доме. Так, сын мой, тебе надобно оставить дом наш.

— Я охотно сделал бы это, благодетельный человек,— сказал я,— но не знаю, куда пристать. Судья природы весьма жестоко поступил со мною, и я уже не надеюсь...

— Не беспокойся,— отвечал купец с улыбкою,— я приискал местечко, на первый раз изрядное. У меня есть приятель из ученых этого города. Должность его преподавать публичные уроки или говорить речи о науке метафизике, в коей он весьма силен, и за то почитаем в городе от именитых людей. Он давно ищет себе секретаря, который бы знал правописание, ибо должность его будет переписывать набело сочинение господина Трис-мегалоса: так называется ученый.

Я с радостию принял предложение почтенного моего хозяина. Он написал одобрительное обо мне письмо, вынул из комода кошелек золота, положил на стол и сказал с ласкою: «Хотя ты и будешь жить не у меня в доме, однако всегда почитай меня отцом и другом. Господин Трисмегалос человек простой и очень добродушный; он, верно, тебя полюбит и сколько можно о тебе со временем постарается. Однако он имеет и слабости, о которых я должен сказать тебе не в предосуждение господину ученому, но для того, чтоб ты, зная об них, не дивился и не огорчил тем доброго старика; именно: он страстно влюблен в матафизику, славянский язык и пунш. Все сии три предмета занимают его совокупно и без меры. Он редко о чем говорит, кроме метафизики; редко другим языком, кроме славянского; и очень редко что пьет, кроме пуншу; однако ж публичные речи его на обыкновенном языке, ибо так предписало ему начальство; зато он утешается в гостях и дома, рассужая славянским. Если ты сколько-нибудь поговоришь с ним этим языком, он полюбит тебя, как сына. Теперь время, когда люди пьют чай: поди, ты, верно, застанешь его дома; работник мой понесет за тобою пожитки и укажет дом. Вот письмо к господину Трис-мегалосу и двести червонных: они тебе пригодятся. Прости, любезный друг!»

Тут обнял меня с родительскою ласкою. Я плакал, также обнимал его, как сын доброго отца; простился с женою его и дочерью и в сопровождении работника вышел. Я не сказал, что во время пребывания моего в доме купца честное семейство снарядило меня бельем, обувью и проч. Дорогою перебирал я в мыслях все церковные книги, какие только удавалось мне читывать, и затверживал самые громогласные слова и выражения. С трепетом сердца вступил я в вороты дома Трис-мегалоса.

Глава IX

Метафизик

(Продолжение повести Никандровой)

Вошед в покой, встречены были старухою в запачканном платье. «Что вам надобно, господа?» — спросила она. Я отвечал, что г-на Трис-мегалоса, к которому имею письмо. Она ввела в его кабинет. Там пребольшие шкапы

наполнены были пребольшими книгами и толстыми тетрадями. У окна стоял столик, накрытый черною клеенкою; на столе большой самовар, а у стола два пожилые господина с багряными лицами держали по большому стакану в руке. Они оба обратили на меня блистающие взоры, и я оробел, не зная, которому из них подать письмо. Один был высокого роста, с надменным видом; другой мал, коренаст и с головою едва ли меньше, как была у Ермила Федуловича, нос луковицею, с прешировими ноздрями.

— Чего ищеши зде, чадо?— спросил последний. Вдруг догадался я, что это сам Трис-мегалос, и с почтением подал письмо. Он прочел, улыбнулся, засунул в нос с горсть табаку, закинул голову назад, отчего она походила на дельфинову, и сказал:— Благо ти, чадо, аще тако хитр еси в науках, яко же вещает почтенный благоприятель мой! Ты пребудеши в дому моем аки Ное в ковчезе, и треволнения никогда же тя коснутся. Добре ли веси правописание?

Я отвечал со смирением:

— Мню, честнейший господине мой, яко добре вем; ни чим же менее великоученейших мужей.

Трис-мегалос поражен был ужасом. Он вскочил, выпялил глаза и осматривал меня с благоговением. Зато приятель его поднял такой жестокий смех, что стакан из рук его выпал. «Ну, нашла коса на камень!» Он продолжал хохотать.

Трис-мегалос сел и с видом увещания сказал другому:

— Что смеешися, о Горлание! Не есть ли во времена наши, егда погибло все изящное на земли, и нравы развратишася; не есть ли, глаголю, чудо, зрети юношу сего в толиком благомыслии, вещающего языком мудрейшим и доброгласнейшим? О Горлание, Горлание! Почто глумишися?

Обняв меня, сказал он:

— Воссяди, чадо, посреде нас и вкуси от пития сего, им же утешаемся.

— Не тако, о господине,— отвечал я,— юн бо есмь, и необыкох вкушати от пития, его же нарицают пуншем.

— Добре,— отвечал он,— обаче воссяди!

Таким образом, я сел; разговор сделался веселее; Горланиус довольно грубо насмехался над нами, слыша беспрестанно: *аще, обаче, абие* и проч.

Когда г-н Горланиус ушел по вечеру, то метафизик отвел мне горенку, похуже, правда, чем была у меня в доме

купца, но зато гораздо лучше, чем на чердаке у Ермила Федуловича. На другой день рассказал он мне о будущей моей должности, которая и подлинно состояла только в том, чтоб переписывать его речи; а как они были на обыкновенном русском языке, то мне это весьма легкою показалось работою. Более двух месяцев провел я в переписке; после полудня уходили с Трис-мегалосом в его садик, разговаривали дружески и с приятностью, и господин ученый сделал мне величайшее снисхождение, говоря со мною простым русским наречием, и позволил мне говорить таким же, прибавя, что пока хорошенько не выучусь славянскому, то не должно во зло употреблять языка того, так, как нечистыми руками прикасаться к святыне. Под вечер обыкновенно приходил к нам Горланиус или присылал звать к себе, куда с великою охотою ходил Трис-мегалос. Дом Горланиуса был подле нашего и сады смежны. Внутренние уборы и прочие вещи были вдесятеро богаче, чем у нас. Семейство Горланиуса составляли: возрастная дочь Агафья, такая же племянница Анисья (обе, сколько можно было применить по первому взгляду, довольно нахальные девки), древний старик и пожилая безобразная баба Соломонида, которая, однако же, тем не меньше нравилась своему хозяину; а насмешники пропустили слух, что племянница Анисья была среднее пропорциональное число между Соломонидою и Горланием, которому приводилась роднее, чем племянницею. Теперь можно догадываться, какому порядку и благопристойности должно быть в доме филолога, ибо это было звание Горлания, который, ростом, ревом или рычанием заставляя трепетать других, сам нередко трепетал от визгу Соломониды, которую обыкновенно для краткости, или из особливой приязни, называл Соломоном. «Соломон! — кричал он при каждом нашем появлении в дом,— поставь самовар! Нет, Соломон, это сделает Агафья или Анисья: а ты, Соломон, поди к погребщику с этою записочкою».

Гостить в таком доме мне совсем не нравилось; однако бывал очень часто, ибо того требовал Трис-мегалос: я любил доброго старца и исполнял волю его. Доверенность его ко мне и дружба с каждым днем умножалась. Он читал свои речи прежде мне, чем в собрании; требовал мнения, а иногда и советов; а что всего больше делало чести для сердца человека многоученого, то и принимал их. Сердце его было мне открыто, кроме одного случая. Нередко он задумывался, сидел, ни на что не обращая внимания и да-

же не слыша, если его спрашивали; потом вставал быстро, улыбался, хлопал руками и говорил: «Добре, добре! тако сотворю!»

Я почитал такие явления вдохновением метафизики, а иногда пунша.

Таким образом проведено лето, осень и часть зимы. Как вечера начались ранее, то и мы ранее отправлялись к Горланию. Там Горланий без отдыха пил; Трис-мегалос иногда отдыхал, подходил к Анисье, величал ее голубицею, краснейшею той, какая была в Ноевом ковчеге; иногда брал за руку, хохотал, раздувая ноздри, и опять отходил к стакану. Анисья вертелась, как бес, давала щелчки старику, отчего он нередко морщился и приходил в смущение, когда она толковала о его парике и очках, что все хотел скрыть он. Я обыкновенно садился у фортепиано, играл арии; Анисья прыгала по-сорочьи, а Агафья, на ту пору смирная, сидела подле меня и пела, как чижовка на примане. А вся эта картина была преизрядная.

В одно утро меня позвали в кабинет Трис-мегалоса. Вхожу и вижу, что он сидит с важностию и улыбается, глядя на толстую тетрадь и лист исписанной бумаги.

— Сядь, друг мой,— сказал он. Я сел, и он начал продолжать:— Теперь открою тебе дражайшую тайну сердца моего. Не думай, как многие из непросвещенных, что я полюбил только метафизику, язык славянский и пунш. Так, люблю и их, но не одних! Увы! в преклонной старости лет моих полюбил я паче меры и благообразную Анисию, племянницу велемудрого Горлания.

Он остановился и тяжко вздохнул.

— Почто смущается сердце ваше?— сказал я.— Муж толикой учености, как вы, сделает великую честь именитой девице, предложив ей сердце свое и руку.

— Каждодневно делаю сие,— сказал он,— но всуе: она гордее Навуходоносора, ...

. . . .

. . . .

. . . . Тьмократно увещевает ее Горланиус склониться на мои желания; но она, для отдаления сего вожделенного брака, дает мне задачи многотрудные. Например, однажды она сказала мне: «Доколе не кончите своего трактата, не войду я на брачное ложе ваше!» Увы! сын мой Никандр; много трудился я, но без пользы. Во-первых, по ее велению доказал я неоспоримо,

что душа наша во лбу между глазами. «Хорошо,— отвечала она; и на другий день в письме пишет:— Теперь хочу, чтоб доказано было, что душа наша в затылке». О злоумышления на честь метафизики! О святотатство, равняющееся отцеубийству! Но что делать: я покусился и на сие злодейство, ибо любовь к Анисье превозмогла любовь мою к метафизике: и вот ты видишь начертание на сто семидесяти листах с половиною, где ясно и неоспоримо доказано, что душа человеческая имеет пребывание свое в затылке, с тем, однако, что она властна прейти в чело. Таким образом, исправил я свое преступление, сколько мог. Ты, сын мой, приими на себя труд отнести к свирепой сие начертание.

Теперь выслушай писание, при коем понесешь ты рассуждение о душе в затылке.— Он взял лист, еще вздохнул и начал читать:

«Днесь посылаю начертание, в коем узриши, на коликое злодейство умыслих аз, окаянный, из единыя любви моея, доказав душе нашей быти в затылке, и аще поволиши, то и невозвратно. Возымей надо мною жалость и престани, избраннейшая дево, отлагати день брака нашего. Ты единая для мя стала днесь метафизика: воочию твою зрю онтологию; на челе пневматологию; а на затылке, увы! днесь психологию. Не буди свирепа, яко же свиния дубравная, или птицы, у коих поврежден затылок, а вместе с тем душа и разум».

Такое дурачество, и притом в такие лета, привело меня в жалость к доброму старику, почтенному Трис-мегалосу. Я выдумывал разные средства, как бы его вылечить. Говорил много и, кажется, основательно, но тщетно: он вздыхал, обращал глаза вверх, и казалось, что и подлинно скоро душа его переселится изо лба в затылок, и невозвратно. Я решился льстить его страсти, чтобы по крайней мере успокоить, если не навсегда, то хотя на время, а там ожидать, что он сделает. Я понес письмо и трактат. Анисья приняла их с хохотом, издевалась над стариком, честя его безумцем; а читая его письмо, едва не задохнулась от смеха.

Я краснел от стыда и досады за добродушного Трис-мегалоса. Анисья показалась мне так гадка, так распутна, что не только не заслуживала называться племянницею всемудрого Горлания, но ни последнего пастуха. «Завтре буду отвечать письменно»,— сказала она; и я вышел.

«О Трис-мегалос, Трис-мегалос! — говорил я, идучи улицею.— Как не рассудил ты, что со столькими любовьми управиться трудно человеку и не в твои лета? Шутка ли! любовь к метафизике, к славянскому языку, к пуншу и еще Анисье; и все сии любови, как вижу, страстные! О несчастный Трис-мегалос!»

Глава X

Метафизическая комедия

(Продолжение повести Никандровой)

— Что скажешь?— спросил Трис-мегалос на пороге, ожидая нетерпеливо моего возвращения.

— Неможко лучше,— отвечал я.— Прелестная Анисья, с восторгом облобызав хартию вашу, сказала, что завтре будет ответствовать.

Старик мой был вне себя от радости; сто раз обнимал меня, а я краснел со стыда, видя, как он весел от моего обмана. Для меня легче было бы слышать его стоны, чем теперь смотреть на улыбку, происходящую от заблуждения. День прошел для него весьма приятно, а для меня совсем напротив. Ежеминутно укорял я себя за обман свой.

Едва проснулся я, уже слышен был по всему дому шум и крик моего хозяина: «Не получена ли хартия от лепообразныя Анисии?» Ему отвечали «нет», и он умолкал. Когда после за завтраком рассуждали мы с ним вместе о последнем его трактате, то есть о человеческой душе в затылке, вдруг приносят письмо. Глаза ученого наполнились огня; руки его дрожали при развертывании его: он весь похож был на страждущего лихорадкою. Прочитав письмо, он сел; страшная бледность покрыла щеки его; глаза устремлены были в потолок. «О правосудный боже!» — сказал он, подал мне полученное письмо и погрузился в глубокое безмолвие.

Беспутная Анисья благодарила г-на Трис-мегалоса за трактат и просила его написать еще в последний раз, в знак искренней любви и вечного постоянства, комедию, каковой род сочинений она преимущественно любила. После сего опыта любви обещала уже более не сомневаться и отдать ему руку и сердце.

— Что имам творити? — кричал горестно Трис-мегалос. — Мне ли, славному метафизику сущу, употребити силы души моея на толико маловажное дело, каково есть комедия?

Он долго сетовал, тем более что отроду не занимался сим родом сочинений. Для него гораздо было бы легче написать трактат о душе в брюхе, в пятках, чем комедию. Лет тридцать пять или сорок назад читал он Теренция, Плавта и некоторых других, когда еще не посвящен был в таинства метафизические. Он задумался и молчал. Изобретательная сила души его жестоко страдала долгое время, что видно было по напряженным жилам и поту, катящемуся со лба. Наконец воззвал он:

— Анна! поставь самовар! Так, сын мой! — продолжал он, обратясь ко мне. — Читал я некогда, что одну страсть надобно изгонять другою страстию. Вижу, что мне не одолеть упорства целомудренной Анисьи; писать же комедию мне невозможно. Итак, сын мой возлюбленный, я хочу, удвоив или утроив, если потребно будет, любовь мою к пуншу, забыть любовь к Анисье.

— О нет, — возразил я, — удвоение любви к пуншу может быть опасно! Не лучше ли попробовать написать комедию?

Долго мы спорили; наконец удалось мне кое-как уверить его, что таким делом занимались важные люди. Он согласился; начал думать о плане комедии; посещал попрежнему Горлания и был от него посещаем. Спокойствие в доме возобновилось, и я увидел, что и такими безделками можно занимать важных людей, каков, например, был Трис-мегалос. Как скоро кончит комедию, думал я, то я же постараюсь задать ему чрез Анисью трагедию или поэму, пусть меньшее дурачество выгоняет большее.

Однажды он объяснился мне с веселою улыбкою, что план уже готов, и просил помогать ему. «Понеже, — говорил он, — я метафизик, то и комедия моя должна быть метафизическая». Итак, мы начали оба трудиться. Проходит месяц, другой и так далее; настает июнь, и комедия готова, поправлена и переписана набело.

— Теперь не устоит жестоковыйная, — говорил Трис-мегалос, с улыбкою глядя на тетрадь; — кто не пленится толикими прелестьями, какие сияют в сей комедии!

Чтоб развеселить его, я взялся вслух прочесть бессмертное сие творение, которое когда-либо бывало на зем-

ле русской и едва ли когда будет и в Германии, где столько великих метафизиков.

Действующие лица: Мудрость; Глупость; Любовь; Ненависть; Добродетель; Порок; Знание; Невежливость; Трис-мегалос; Анисья; Никандр.

Так; и мое имя вмещено было, чтоб его обессмертить!

Содержание комедии: Любовь, в виде почтенной пожилой старушки, с очками на глазах и поминутно кашляя, приходит к богине Мудрости жаловаться на жестокосердую Анисью, что она не склоняется на любовь такого человека, каков Трис-мегалос. Она объявляет, что к сему подустили Анисью пренегодные девки Глупость и Невежливость, склоненные к тому могущественным разбойником Пороком. Мудрость, ужаснувшись такого неслыханного происшествия, посылает чадо Никандра позвать к суду Анисью; а Добродетели поручает пригласить почтенного Трис-мегалоса. Все являются. Мудрость судит и произносит решение: Анисье сейчас же выйти замуж за Трис-мегалоса; Глупость и Невежливость осуждает целый год не показываться в профессорских кабинетах; а Пороку никуда не казать глаз. Анисья слушается гласа Мудрости и отдает охотно руку ее наперснику; но беспутные Порок, Глупость и Невежливость уходят с грубостию, объявив Мудрости, что слушаться ее не намерены; что больше всего станут гнездиться в ученых кабинетах и там породят чад и внучат. Мудрость пожимает плечами; а чаду Никандру, в вознаграждение его преданности к Трис-мегалосу, дарит из библиотеки его полные издания Лейбница и Канта.

Прочитав несколько страниц из комедии, об изяществе которой можно судить по содержанию, я начал входить в жар. Уже голос мой становился громче; уже руки начали размахивать; Трис-мегалос, с неописанным восторгом устремив на меня глаза свои, раздувал ноздри величественно, как услышали охриплый голос г-на Горлания. Я спрятал рукопись, и метафизик в первый раз немного был недоволен посещением филолога.

Когда обыкновенные приветствия между учеными приятелями кончились, разговор зашел о любви. Как меня больше не таились, то и продолжали беспрепятственно. Горланиус слушал с досадою зельные жалобы Трис-мегалоса. Наконец, сделавшись от нескольких стаканов некоего пития еще грознее, вскричал:

— Ну вот тебе, дружище, рука моя,— чрез неделю будет Анисья твоей женою! Я сегодни же погрожу, а завтре решительно велю выйти из моего дома в одной рубашке; так поневоле прийдет к тебе. Будь уверен! Это я сделать в состоянии!

— О! — отвечал Трис-мегалос,— да будет по словеси твоему!

Видя, что я лишний, хотя и не гонят из комнаты, пошел в сад и сел на дерновой скамье у забора. Вдруг слышу голоса в соседнем саду Горланиусовом; прислушиваюсь и узнаю голос целомудренной Анисьи и Антипыча. Так назывался сын одного достаточного купца, малый молодой. Я несколько раз видал его в доме у Горланиуса. Он был небольшого роста, хром на левую ногу, весь покрыт пятнами; губы имел преогромные и был великий воевода (как я узнал после) на кулачных поединках.

Я полюбопытствовал; поглядел в щель забора и увидел деву Анисью, сидящую на дерне в объятиях хромоногого Антипыча.

«Вот лекарство от любви,— думал я, крайне радуясь своему открытию.— О почтенный и добрый Трис-мегалос! заслуживал ли ты такое вероломство?» Без души бросился я в покой, взял, не говоря ни слова, за руки Трис-мегалоса и Горланиуса; дал знак, чтоб они хранили глубокое молчание, и повел в сад; указал на щель, а сам поотдаль от них также взглянул в дырочку. Прелестная чета сидела по-прежнему обнявшись. Антипыч говорил: «Правда, дорого заплатил бы, чтоб этот старый дурачина Трис-мегалос скорее кончил свою комедию. Ты не поверишь, душа моя, какое доставляю я удовольствие своим приятелям, читая в шинках рассуждения влюбленного лешего о душе во лбу и о душе в затылке! Думаю, комедия не хуже будет!»

С сими словами они обнялись; он потрепал ее по шее и приложил туда толстые губы свои; как вдруг возопили Горланиус и Трис-мегалос. Первый: «О бесстыдная дочь, недостойная Соломона, матери своей!» Второй: «Горе мне, многогрешному и проклятому!»

Горланиус бросился бежать домой, чтоб, поймавши хромоногого беса, доказать пред ним преимущество прямоногого человека; а бедный метафизик упал без чувств. Я поднял вопль и с помощью кухарки отнес и положил его в постелю. Он скоро опомнился, но чад из ученой го-

ловы его не выходил. Он беспрестанно твердил: «Горе мне!»

Во всю ночь не отходил я от его постели. Он ежеминутно просыпался и кричал: «О любовь, любовь! о предрагоценные мои сочинения о душе в челе и затылке и многодрагоценнейшая комедия! для кого писал я вас? Чтоб хромой урод читал в шинках и на торжищах! Горе мне, многогрешному!»

Глава XI

Родственная любовь

(Продолжение повести Никандровой)

Чрез несколько дней телесная болезнь его миновалась, но душевная нимало. Он был беспрестанно пасмурен, с дикостию обращал по сторонам взоры; а когда они встречались с моими, то он краснел от стыда. Скука и уныние водворились в нашем мирном обиталище. Г-н Горланиус не только не заглядывал к нам, но не писал ни одной строчки. Конечно, ему совестно было, что, быв таким славным ученым, он был такой дурной отец. Анисья никуда не выходила; ибо, как мы узнали стороною, Горланиус в первом жару справедливого гнева прибил ее до полусмерти восемьдесят девятым томом энциклопедии, изданной Парижскою академиею в александрийский лист. Никогда энциклопедия не приносила большей пользы, как теперь, заставив беспутное творение по крайней мере пробыть в доме с месяц. Анисья не могла шевельнуть свободно ни одним членом, и все волосы были выщипаны. Конечно, Горланиус искал в затылке ее души, согласно с последним трактатом Трис-мегалоса. Мы также с своей стороны не хотели ни о чем осведомляться.

Пришед в одно утро в его кабинет, я немало удивился. В лежанке пылал огонь, а Трис-мегалос сидел на стуле и спокойно кидал в печь по тетради исписанной бумаги. Кучи лежали на полу подле него. Увидя меня, он улыбнулся и сказал:

— Сын мой! Пора оставить дурачества, какого бы рода они ни были. Вот я делаю тебе пример, и ты увидишь, что я отказываюсь от всякой любви, кроме одной. Всякая любовь, к чему б то ни было, каков бы ни был предмет ее, если она выходит из меры, есть непростительное дураче-

ство. Однако человек с тем родится на свет, чтоб быть рабом и игрушкою многоразличных глупостей. Любил я страстно метафизику и беспрестанно заблуждался; любил до безумия славянский язык и был для всех смешон; любил Анисью и стал сам себе противен! Я любил пунш, и он один не сделал мне видимого зла; а потому я намерен теперь обратить к нему одному всю нежность мою и горячность; что ж касается до прочего, пропади всё! Анисью душевно презираю; славянским языком не скажу ни слова; о метафизике и думать не хочу; трактаты мои о душе во лбу и затылке, равно как и метафизическая комедия, давно обращены в пепел; а теперь смотри: вот рассуждение о душах животных, где доказано, что они иногда умнее и человеческих, да только смертны; вот другое — о занятии верховного существа до создания мира; а это, в трех томах, о будущих занятиях его по разрушении оного.

Говоря таким образом, он одну тетрадь за другою клал в печь и холоднокровно мешал кочергою. В полчаса обратились в пепел труды сорока лет.

— Это прекрасно,— сказал я,— что вы так строго поступили с неблагодарною Анисьей, которая за любовь вашу платила злом; в рассуждении же метафизики и славянского языка скажу вам мое мнение: всему есть мера и время. Но что касается до пунша, то, мне кажется, не для чего и к нему умножать доброжелательство. Не будет ли довольно с него и настоящего?

— Нет, сын мой; ты знаешь, какая пустота теперь в сердце моем: выкинув вдруг три любви, надобно чем-нибудь ее наполнить; а иначе потеряется равновесие и могут произойти дурные следствия.

Никак я не мог оспорить его. Каждый день я проповедовал, он каждый день пил и спустя два месяца не походил на себя. Слабость и судорожные припадки нападали на него; он жаловался коликою, головною болью и удушьем; я все сие приписывал излишеству любви его к пуншу, а он — к недостатку. Он шатался, как тень. Приметно было, что прежние любови его свирепствовали в сердце; и он выгнал их только на языке. Подходя к шкапу, он невольным образом брал книгу потолще, раскрывал, произносил с улыбкою: «Глава III, de miraculis» [1]. Вдруг, вспомня о своем обещании, он повергал книгу на пол, топтал ногами и скрипел зубами, произнося с бешенством:

[1] О чудесах (искаж. *фр.— ред.)*

«Неблагодарная метафизика!» Так точно поступал он, запнувшись что-нибудь сказать по-славянски или нечаянно произнеся имя Анисьи.

Сидя однажды поутру со мною, он говорил:

— Любезный друг! Вижу, что жизнь моя увядает и я быстрыми шагами спешу ко гробу. Надеюсь, ты дождешься терпеливо сей радостной для меня минуты и не оставишь несчастного, а в награду останется тебе этот домик со всем к нему принадлежащим. Библиотеку мою, которая стоит мне довольно дорого и состоит большею частию из умозрительных бредней, оставляю тебе с тем, чтоб продать первому безумцу, который купить пожелает, и то в течение одного года. А если в сие время не сыщется в городе такого сумасшедшего, то сожги; иначе великие несчастия, подобно моим, могут случиться и с тобою. Будучи в пеленах, лишился я отца; на десятом году и матери; . . . . Хотя у меня нет ближних родственников, а одни дальние, которых не видал и в глаза, однако и они могут помешать тебе в спокойном владении моим имением; а потому теперь же хочу устроить все законным порядком и написать духовную. Я послал уже за приказным служителем и священником.

Меж тем как я уверял, что желаю ему долголетия Мафусаилова, а он божился, что каждый проведенный день считает праведным наказанием неба за безумные его любови, услышали мы у дверей великий шум.

— Конечно, священник с приказным,— сказал Трис-мегалос.— Но о чем так шуметь им?

Вскоре и подлинно вошел приказный, но не один: ибо ввалилась с ним целая толпа мужчин, женщин и детей разного возраста и пола.

— Прошу садиться, господин приказный,— сказал Трис-мегалос;— а вы кто, честные господа, и зачем пожаловали?

— Ах! и подлинно так,— вскричали все в один голос.— Ах, бедненький!

Трис-мегалос глядел на меня, я на него, и оба не догадывались, что бы это значило? Но скоро все объяснилось. Пожилая женщина, чепурно одетая, подошла к нему с жеманным видом и сказала:

— Как, любезный дядюшка, вы уже не узнаете и ближних своих родственников? Я Олимпиада — племянница ваша в седьмом колене; это доктор, муж мой, а это две дочери; а дома осталось два мальчика и девочка.

Трис-мегалос вскричал со гневом:

— Хоть бы там остались целые сотни тысяч мальчиков и девочек, я не хочу и знать их, равно как и вас самих, ибо и вы меня не знали!

Тут подошел доктор, посмотрел на него в лорнет, взял за руку, пощупал пульс и, пожав плечами, сказал:

— Жаль, крайне жаль, но нечего делать!

— Что за дьявольщина,— говорил Трис-мегалос с удивлением.— Никак это стая бешеных! Чего жаль тебе, государь мой?

— Посмотрите, почтенные господа, посмотрите только в глаза ему: какие мутные, красные и как дико обращаются! — Все пристально смотрели и ахали.

Доктор хотел продолжать:

— По всему приметно, что душа его...

— Что? Не в затылок ли переселилась?— вскричал Трис-мегалос.— Если ты так думал, так врешь, господин доктор. Это написал я в угодность одной беспутной девке, которой того хотелось; а сам как прежде, так и теперь уверен, что душа наша во лбу, между глазами. Ну, что теперь скажешь, господин доктор?

Он посмотрел на всех с величеством, торжествуя победу над доктором; но увидел, что все только пожимали плечами и кивали головами.

Тут выступил другой, с виду похожий на ремесленника, и сказал:

— Ну, милостивые государи, видно, делать больше нечего: простимся с ним, если он кого узнает; а там...

— Как мне узнать вас,— сказал вспыльчиво Трис-мегалос,— когда отроду никого не видывал? Убирайтесь поскорее к черту; у меня есть дело!

— Как?— подхватил ремесленник,— и меня не узнаете? Ах, боже, мой! Да вить я Зудилкин, брат ваш в осьмом колене; а это Малания, жена моя,— а это — сыновья, которые изрядно уже помогают в слесарном ремесле моем!

С сим словом подошел он к Трис-мегалосу, обнял его с жалостным видом и сказал:

— Прости, дражайший братец!

Тут со всех сторон поднялся вопль: «Прости, дядюшка, прости, сватушка, прости, дедушка!» Все толпились

обнимать его: кто хватал за колени, кто за руки, кто за платье. Трис-мегалос не на шутку взбесился. Задыхаясь от гнева, он прежде отпихивался; а там начал изрядно стучать по головам руками и лягаться пинками. Но как и то не помогло, то он заревел: «Помогите, помогите, они меня задушат!»

Тут высокий человек, стоявший до сих пор в стороне и по виду похожий на полицейского, с важным видом выступил и сказал:

— Оставьте, господа; перестаньте! Уж этим не поможете! — Потом подошел к Трис-мегалосу и сказал учтиво:— Государь мой! извольте следовать за мною добровольно, буде в силах.

Трис-мегалос. Куда?

Полицейский. С тех пор как приключилось вам несчастие, жалостливые ваши родственники упросили правительство дать вам убежище в известном доме, где будут иметь над вами лучший надзор, нежели здесь. Да и подлинно: в таком состоянии, как теперь, вы можете все перепортить; а сему быть неприлично, ибо имение ваше принадлежит близким родственникам, которые за их о вас попечение стоят того, чтоб все досталось им в целости.

Трис-мегалос. Да откройте мне ради бога, о каком несчастии все вы жалеете и в какой известный дом хотите вести?

Полицейский. Если вы в состоянии понимать...

Трис-мегалос. Как? Я не в состоянии понимать?

Полицейский. То я вам все открою. Несчастие, вас постигшее, о коем так печалятся родственники, состоит в том, что вы невозвратно лишились рассудка; а известный дом есть дом для сумасшедших. Довольны ли?

Трис-мегалос задрожал. Каждый мускул его двигался; то багровая краска гнева, то бледность ужаса появлялась попеременно на щеках его. Полицейский взял его за руку и довел уже до дверей, как Трис-мегалос уперся и вскричал: «Нет, бездельники, я докажу вам!» Но жалостливые родственники обступили его, связали руки и ноги и в таком наряде вынесли на улицу, взвалили на телегу, и полицейский поехал. Трис-мегалос ужасно кричал. Прохожие спрашивали: «Что это значит?» — «Везу сумасшедшего»,— отвечал полицейский; и они, крестясь, говорили: «Упаси боже всякого православного!» Я провожал его со слезами до несчастного дома.

Воротясь назад, я нашел жилище наше полно родственников. Кто таскал столы, кто посуду, кто ломал шкапы, кто звенел рюмками и стаканами. Словом: целый содом.

Доктор, подошед ко мне с важностию, сказал:

— Изволь, сударик, убираться вон! Дом сей принадлежит мне!

— Сей же час,— отвечал я, идучи в свою горницу укладываться.

Глава XII

Разные происшествия

(Конец повести Никандровой)

Став на колени у моего баульчика, вытаскивал я из него белье в сумку и, наконец, взяв в руку золотые деньги, хотел пересчитать их и положить в карман, говоря с довольным видом: «Благодарю провидение, пославшее меня в дом честного человека; теперь я надеюсь долго прожить без нужды, пока не найду приличного места».

— О мошенник, о бездельник! — раздался над головою моею голос; невидимая рука исторгла из рук моих деньги, и все мгновенно скрылось в воздухе.

— Чудо! — вскричал я, закрыв лицо руками. Дрожь проникла по всему телу. Успокоясь несколько, встаю, оборачиваюсь и вижу доктора, который сказал весьма сердито:

— Как это, дружок, не стыдно тебе красть в таком печальном случае? Разве это не все то же, что с пожару или из церкви? Благодари бога, что он послал меня сюда в то время, когда ты только что хотел деньги прятать! О! если б тут был слесарь Зудилкин, ты б с ним так легко не разделался.

— Когда так,— сказал я свободно, ибо совесть моя была чиста,— то, господин доктор, возвратите мои деньги; я нажил, я нажил их не в этом доме, а у одного честного человека, которого дочь...

— Хотелось тебе выдать замуж за легковерного и помешанного старика Трис-мегалоса? О дружок! за честное ремесло взялся ты, и будучи еще так молод! Сейчас убирайся, иначе я позову полицейского и докажу, что ты — причиною сумасшествия Трис-мегалосова; что ты вор и

грабитель, а там знаешь что? Тебя свяжут, закуют в железа и посадят в тюрьму. Ну, выбирай одно из двух, и теперь же; я человек решительный!

Страх меня обнял. Два слова: «железа» и «тюрьма» — много придали силы поражающему его красноречию. Я хотел подражать ему в решительности, поднял на плеча сумку и пошел быстрыми шагами вон.

Вышед из дому и прошед несколько улиц, я остановился и сказал: «Время рассуждать, что мне делать. Нечего и думать возвращаться в дом Ермила Федуловича: там Федора Тихоновна и Дарья Ермиловна хуже цепей и тюрьмы. В дом купца — стыдно. Это, может быть, покажется ему сомнительно; он начнет с доктором тяжбу: меня, как основание оной, и подлинно куда-нибудь засадят, а когда уже о переломленной ноге индейки судили два года с половиною и ничего не рассудили, то моя тяжба продлится по малой мере двадцать пять. Если же купец, сжалясь надо мной, и не станет тягаться, то все же велит выйти из дому и станет давать мне деньги. Не принять их — он обидится; принять — кажется, бесстыдно. Зачем, не заслужив, пользоваться добротою сердца щедрого человека. Лучше оставить этот город и искать других. Везде есть люди, следовательно везде есть надобность в познаниях. Стану учить музыке, языкам и живописи».

Порассудив таким образом, пустился я в дорогу. Был в селах, городах и городках.

Я каждый из них оставлял, или возбудив в ком-нибудь на себя неудовольствие, или сам будучи недоволен. Однако это имело свою пользу. Путешествие более всего научает человека узнавать людей, а потому просвещаться. На другой год страннической моей жизни прибился в этот город, познакомился с почетным священником Иваном и жил очень доволен в его доме, доставая столько денег, что не был ему в тягость. Тут осенью нашел меня господин Простаков и взял к себе. Мне и в ум не приходило, что Елизавета дочь его. Прочие обстоятельства вы знаете, почтенный Гаврило Симонович.

Конча повесть свою, Никандр сидел задумавшись.

Князь Гаврило Симонович сказал:

— Не печалься, Никандр. Господин Простаков — человек добрый и тебя любит; он имеет в рассуждении тебя хорошие намерения; именно: пристроить к месту и в том самом городе, где ты учился и производил рыцарства, ибо

у него там есть много знакомых именитых людей и какой-то богатый купец, с которым уже он ведет об этом переписку.

— Ах! Как опять далеко! — сказал Никандр.

— Тем лучше,— отвечал князь, вставая, ибо вошел отец Иван и объявил весело, что того дня ввечеру будут у него гости. День был субботний, накануне заговенья. Никандр принял весть сию с неприятностию; князь Гаврило Симонович с равнодушием, а оба начали готовиться к встрече гостей.

Оставя их в сем занятии, переселимся в городскую квартиру г-на Простакова с семейством. Муж ходил по комнате большими шагами, держа в одной руке шляпу, а в другой трость. Вид его показывал неудовольствие. Жена с таким же расположением сидела у столика, разбирая ленты и кружева, Катерина в одном углу, Елизавета в другом, обе зевая.

Жена. Уж как ты заупрямишься, так тебя ничем не переможешь!

Муж. Когда ты в этом уверена, то зачем и мучить себя по пустякам, стараясь перемочь!

Жена. Но зачем же, кажется, и не послушаться? Отец Иван звал так учтиво, так усильно...

Муж. Я, кажется, и не грубо отказался быть у него.

Жена. Посуди, там будет судья, исправник, много дворян и все с фамилиями. Что же мы одни будем сидеть дома?

Муж. Зачем сидеть? Я дал слово городничему, туда и пойдем.

Жена. Госпожи городничихи я терпеть не могу. Она так спесива, так надменна!..

Муж. Погляди на себя и спроси ее: что она о тебе скажет?

Жена. Я непременно буду у отца Ивана!

Муж *(уходя)*. Ты непременно будешь у городничего! Жена! Ты меня давно знаешь! Делай то, что я приказываю, и раскаиваться не будешь! Иначе... Я жду тебя у городничего.

На сей раз сделаю я небольшое отступление, поместив повесть, приличную к сему обстоятельству, читанную мною давно в какой-то старинной немецкой книжке.

Один муж любил горячо жену свою; во всем делал ей возможные увеселения; ласки его были нежны. Чего ж бы еще жене недоставало, чтоб быть благополучною в пол-

ной мере? А вот чего: муж был чрезвычайно ревнив; особенно он ревновал к своему соседу, настоящему прельстителю. Когда сосед глядел в окно своего дома, муж тотчас велел закрывать ставни своего. Если слышал голос его на улице, то мгновенно уводил жену в самую дальнюю комнату. Все в доме приметили его ревность, хотя он скрывал ее ото всех, а особливо от жены.

Случилось же по времени, на горькую беду ему, что необходимо надобно было отлучиться от дому на три дни. Он воздыхал, стенал и мучился, но необходимость на это не смотрит, и он повиновался ее велению. Проехав несколько верст, занимаясь женою и соседом, он с ужасом вспомнил, что не наказал жене не принимать соседа к себе в дом. «Иван! — вскричал он, побледнев,— сейчас отпряги одну лошадь и скачи что есть силы домой. Скажи жене, чтобы она отнюдь не принимала к себе соседа, сколько бы он ни просил, сколько бы ни заклинал: нет, нет!»

Иван поскакал, а господин все еще вопил вслед ему, наказывая строго. Приехав домой, Иван сказал госпоже: «Супруг ваш приказал вам отнюдь, ни под каким видом, никоим образом, сколько бы вам ни хотелось того, не садиться на спину Султана, нашего большого меделянского кобеля, и не ездить на нем верхом!»

Она крайне подивилась сумасшествию мужа, и Иван поехал обратно.

В первый день жена только думала, какая бы причина была мужу запрещать то, о чем она никогда и не мыслила; да и какое в том может быть удовольствие? Мысли сии занимали ее до ночи. Второй день прошел в рассуждении, почему бы этого и не сделать. Конечно, муж считает ее ребенком или куклою, что хочет заставить слепо повиноваться безумной своей воле. Она была в нерешительности. На третий день досада овладела ею. Она ходила из комнаты в комнату, но в воображении ее был меделянский кобель. Наконец, около обеда, она вскричала: «Так! покажу ему, что со мною так глупо шутить не должно». С сими словами быстро вышла на двор, где Султан на цепи попрыгивал, и села на него верхом. Но жестокий медиоланец, конечно не привыкший возить на себе кого-либо, озлился, зарычал, рванулся, и бедная госпожа покатилась кубарем на землю. Вскочив, бросилась она без души в покой, посмотрелась в зеркало, и — увы! — изрядный рог возвышался на лбу, и правый глаз украшался багровым под ним пятном; на руках было несколько

царапин от лап неверного Султана. Она заплакала горько, как в тот же миг повозка застучала на дворе и страстный муж, влетев в комнату, протянул к ней руки и с трепетом любовника остановился, увидя на лбу рог, на глазах слезы, под глазом синее пятно, а на руках кровь.

— Что это значит, моя дражайшая? — вскричал он.

— Ты должен был это предвидеть,— отвечала жена с бешенством,— тебе хотелось видеть меня в сем положении. Бесчувственный, изверг, чудовище! Вздумалось ли бы мне садиться верхом на меделянского кобеля, если б ты не прислал Ивана мне запрещать то?

Господин взглянул грозно на Ивана; но сей, с таинственным видом выведши его в другую комнату, сказал:

— Милостивый государь! правда, я вашим именем запрещал ей то, и без сего она подлинно бы и не вздумала; но обстоятельство сие вам открывает все. Если б я запретил ей не впускать соседа, то вместо того, что теперь беспрестанно думала она поездить верхом на Султане, тогда — впустить соседа, поговорить с ним было бы беспрестанное занятие мыслей ее. Что ж из всего? Она не скрепилась, поехала верхом и получила на лбу небольшой рог и под глазом синее пятнышко. Поверьте мне, она также бы не скрепилась, впустила бы соседа, а следствие? Может быть бы, к сему времени было у вас два рога, и пребольшие; несколько черных пятен на всех часах вашей жизни.

Господин поражен был истиною; обнял мудрого слугу и, говорят, навсегда кинул ревность.

Эта повесть весьма кстати пришлась к нашим господам Простаковым. Если б муж не так строго запрещал идти в дом отца Ивана, жена не так бы нетерпеливо того желала.

Проведши несколько времени в нерешительности, она наконец вскочила. «Дочки, одевайтесь! идем к отцу Ивану. Пусть его бесится, сколько хочет! Мы сносим двадцать его прихотей на день, так почему не снести ему одной нашей в год». Таким образом, уборка началась, продолжалась успешно и кончилась около восьми часов: самое способное время идти на вечеринку.

Когда вошли они в покой священника, вся знать уже собралась: судья сидел в первом месте и курил трубку; исправник держал в руках рюмку вина и, уверяя, что это — душеспасительный напиток, опорожнил ее. Госпожа судьи-

ха махалась опахалом, стараясь как можно больше вертеть средним пальцем правой руки, чтобы виднее сделать бирюзу в ее перстне, осыпанную розами. Госпожа исправничиха шептала ей на ухо: «Куда, право, как гадка эта госпожа Простакова! сделать на нее платье — много стоит; но самое платье не стоит ни полушки. А дочки-то: одна вертлявая кукла, другая деревянная статуя».

Священник принял г-жу Простакову с ее дочерьми отлично. Уже все уселись, завели разговор о будущем дне, о чистом понедельнике, как вдруг выходят из боковой комнаты князь Гаврило Симонович и Никандр. Он увидел Елизавету, она — его: оба вспыхнули. Никандр зашатался; глаза Елизаветы закрылись. Все гости пришли в смятение, как г-жа Простакова вскрикнула: «Ах! нам изменили! Ах, что-то будет!»

Она вскочила, взяла обеих дочерей за руки и хотела идти, как быстро вбежал Иван Ефремович со всеми знаками гнева и негодования. Он хотел что-то сказать, но жена, вскричав: «Виновата, крайне виновата, друг мой», его обезоружила. Он довольствовался раскланяться с гостьми и хозяином и ушел быстро; за ним его семейство. Елизавету мать и сестра вели под руки; князь увел Никандра в ту же минуту в его комнату.

— Какой странный человек этот Иван Ефремович,— говорил князь Гаврило Симонович,— а не без чего еще меня послал сюда! Как не суметь владеть поступками жены? — Вдруг пришла ему на мысль княгиня Фекла Сидоровна; он закраснелся и замолчал.

Глава XIII

Две речи

Гости не могли надивиться такому чудному происшествию. Скромный Простаков входил в великом сердце; бешеная (как обыкновенно величали) жена его стала кротка, как овца; Елизавета едва жива; молодой живописец не в лучшем положении; а старый приезжий гость был в великой печали. «Тут, конечно, есть тайна»,— вскричали все в один голос и приступили к священнику, требуя объяснения; но он божился, что и сам не больше других знает, как что старого гостя зовут г-ном Кракаловым, а молодого живописца — Никандром.

Все долго ломали головы, стараясь догадаться и тем блеснуть в целом именитом собрании, заслужив титло первого изобретателя; но что один произносил, то другой опровергал, и дело дошло прежде до небольшого, а там и до жаркого спора, вскоре до формальной ссоры, а там и брани. Уже слышны были с разных сторон звучащие прелестные слова: «Так может судить разумный бык! Так сказать может велемудрая индейка! Скорее догадается баран! С меньшим жаром визжит сука, змиею ужаленная! Такие замыслы вмещаются в голове, похожей на винную бочку, или в такой, которая нагружена ябедою, смутами, сплетнями и любовными шашнями! Ах! Что такое? Ага, догадалась! Как? что? докажи! и так ясно!»

Бог ведает что бы из сего вышло; и едва ли бы обошлось без кровопролитного сражения, если б не случился тут судья, который, видя такое нестроение природы, положил на стол трубку, а подле поставил стакан и, встав с важностию со стула, занял в комнате середнее место и сказал: «Почтеннейшие государи мои и государыни! Небезызвестно вам, что я уже несколько лет в знаменитом городе сем судьею и разбираю иногда дела не меньше запутанные! Итак, послушайте меня, я все объясню. Хотя, правда, верного я не знаю, но иногда разумные догадки справедливее очевидного. Никандр этот за несколько времени жил в доме у Простакова, и столько почитаем был от всего дома, как бы он был сын его. Итак, не доказывает ли это, что он в самом деле сын его, но побочный? Не только Никандр, но и никто в доме того не знает; итак, мудрено ли было ему влюбиться в Елизавету, а ей в него? Конечно, весьма легко! Ну, они и влюбились! Простаков это увидел и не знал, что делать. Хотя Никандр и незаконный, но все же сын, и Елизавета — сестра ему. Такая любовь ужасна. Итак, он выслал его из дому, отнюдь не переставая помогать. Своя кровь всегда говорит гласно! Но чтоб дочь вылечить от такой любви, а жене не подать подозрения, то он запретил им видеться с Никандром; а как они не знали, так, как прежде все вы, настоящей причины сего запрещения, то сегодни и увиделись. Как же ему и не сердиться?»

— Прекрасно! Точно так! Не может быть справедливее! — закричали все в один голос.— Но что ж этот господин Кракалов?

— Этот,— отвечал судья, напыщенный общим одобрением его догадок,— этот господин Кракалов, не что дру-

гое, как братец почтенной матушки Никандровой, а потому-то живет в доме Простакова и умничает. Я слышал от верных людей, что ни жена, ни дети не смеют ему сказать и слова.

— Так, точно так,— раздавалось со всех сторон, и судья продолжал:

— Но чтоб и впредь не могли приключаться в знаменитых наших собраниях подобные же смуты и колотырства, а водворился прочный мир и спокойствие на незыблемом основании, я хочу определить, чтоб завтра же этот беспокойный Никандр, как зачинщик ссор и браней, оставил наш город; в противном случае на третий день чрез полицию выслан будет с бесчестием.

— Прекрасно, превосходно! — гласили гости; а исправник, поглаживая щеки, примолвил:

— А я не пущу и в уезд.

Судья объявил о сем Никандру и вышел к собранию с торжествующим видом.

Никандр был в крайнем смущении.

— Куда побреду я теперь? — говорил он с тяжким вздохом и пожимая плечами.

— Куда поведет тебя рука провидения,— сказал князь Гаврило Симонович.— Признайся, что выйти из сего города по приказу безумного судьи гораздо сноснее, чем было выходить из дому Простаковых по приказу обиженной матери. Останься здесь, а я недалеко схожу.— Он накинул шубу и вышел.

На квартире господ Простаковых было нестроение хотя не так великое, как в доме священника, однако все же нестроение, и надобно было укротить его. Г-н Простаков был не судья, но зато добр и умен, и он примирил и примирился со всеми без такой красивой и замысловатой речи, какую говорил судья. Однако, как все уже поуспокоились, не обошелся без того и сказал жене и дочерям: «Из сегодняшнего приключения, хотя по себе очень маловажного, однако нанесшего нам несколько неприятных часов, узнайте, мои любезные, как глупо и вредно делают те жены и дочери, которые, совсем не понимая намерений мужей и отцов своих, стараются проникнуть в их тайны, делают ложные заключения, обманываются и поступают по своим прихотям. Отчего это происходит? От уверенности в своем уме, в своем достоинстве и превосходстве. А ум большей части женщин есть самый посредственный в сравнении с умом мужчины; мнимое их

достоинство состоит в кружении головы; превосходство в беспрестанно заблуждающейся чувственности. А что от сего выходит? То, чему и должно: беспокойства, неприятности, жалобы, слезы, вопль,— словом, мучение! Неужели им это приятно? Не думаю, и даже уверен, что нет; но они так легкомысленны, суетливы и до такой степени, могу сказать безумны, что соглашаются вечно страдать, только бы такой же безумной приятельнице сказать с торжеством: «Муж мой хотел того-то; но нет: я поставила на своем и сделала вот так-то!» Ну, стоит ли минута хвастовства сего, унижающего даже особу самую знатную, чтоб покупать ее потерею покоя на целый день? Не говорю, что женщины все таковы. О нет! Есть, хотя и не так-то много, подлинно умные, достойные и превосходные женщины; но приметьте; в чем всё это они сами поставляют? Вы увидите: ум — в сохранении в доме порядка, тишины, хозяйства; достоинство — в непорочности нрава, в приятности обхождения, в нежности всех поступков и чувствительности,— словом, в любезной уверенности о чистоте совести своей. Превосходство — в любви, искренности и преданности к мужу и в добром образовании детей своих. Если и вы, мои любезные, будете таковы, то хотя бы судьба повергла вас в самое нищенское состояние, то и в маленькой избе, проводя ночь на соломе, вы в глазах почтенного и доброго человека покажетесь умными, достойными, превосходными женщинами. Со слезами на глазах он будет умолять небо переменить вашу долю, если сам сделать того не в силах!»

Простаков остановился. Жена и дочери кинулись в его объятия. Их вздохи, но не тяжкие, их слезы, но не горестные, дали знать Простакову, что минута уклонения от надлежащего пути была только минута, и мысли жены и дочерей нимало не имели желания возобновить прежнее желание искать того и любить то, что запрещал муж и отец.

Вошедший Макар объявил, что какой-то господин желает с ним видеться. «Милости просим»,— сказал Простаков; но слуга примолвил, что гость хочет говорить наедине. Простаков вышел, и как велико было его удивление, узнав князя Гаврилу Симоновича! «Что?» — спросил он, и князь потребовал от него снисхождения назначить место поговорить вдвоем. Простаков повел его в свою комнату и запер дверь. Тут Гаврило Симонович объявил настоящее положение дел Никандра. «Если вы вздумаете

противиться,— сказал он,— то все дело испортите. Начнутся догадки, слухи, суждения, и какой-нибудь сплетенный праздными людьми вздор выдан будет за открытую истину. Дураков, а особливо злых дураков, надобно опасаться больше, чем змеи. Пресмыкающееся сие кусает, быв раздражено или опасаясь потерять без того жизнь; но дурак, особливо тот, который почитает себя знатным, сам нападает. Ему нет нужды, что он, преследуя предмет ненависти своей, трогает людей посторонних и обижает. О! тщеславиться еще будет, если удастся ему превознестись в силе пред кем-либо! А почему? Все потому же, что он — дурак!»

Доводы князя Гаврилы Симоновича показались Ивану Ефремовичу сильными. Он сел и начал писать письмо к Афанасию Онисимовичу Причудину, орловскому купцу, чтобы он принял... Тут г-н Простаков остановился.

— Послушай, любезный друг,— сказал он.— Мы посылаем Никандра в город, доставить ему место службы. Но ведь для этого мало ему имени, только что Никандр. С этим ничего не сделаем. Не правда ли, надобно дать ему фамилию, да и самое имя переменить, ибо происшествие, за которое выгнали его из пансиона, не у всех из памяти истребилось и может навлечь ему небольшие беспокойства.

Князь. Я сам тех же мыслей и только хотел о том сказать. Но как же назвать его?

Простаков. Подумай-ка! Вить ты же прекрасное имя выдумал себе при приезде ко мне князя Светлозарова.

Они оба задумались, устремив взоры в потолок. Погодя несколько минут, князь радостно ударил в ладони и сказал:

— Чего больше думать. Батюшка мой имел довольно приятное имя и отчество; и фамилию дадим от села, где родился я.

— Хорошо, хорошо! Но как же?

— Симон Гаврилович Фалалеев!

— Ладно,— сказал Простаков и, подумав, начал продолжать письмо. Когда кончил его и запечатал, то вынул довольное количество денег и, отдавая то и другое князю, говорил: — Любезный друг! надеюсь, что ты сам все это отвезешь и самого Никандра. Он молод и неопытен! Ты представишь его купцу Афанасию Онисимовичу и

устроишь хозяйство. Только, пожалуй, не мешкай. Мне, лишась Никандра и тебя, будет крайне скучно.

— Я и без того хотел проводить его, а после поскорее возвратиться к вам.

Они простились. На другой день Иван Ефремович поехал в деревню. Об этом большая часть знаменитых жителей города утверждали, что он не стерпел стыда, видя, что любовь побочного сына его к сестре своей обнаруживалась. «Вот то-то,— говорили эти добрые люди,— если б он не притворялся, если б не был такой ханжа, то происшествие сие не наделало бы большого шуму. Мало ли что с кем случается?»

До полудни того же дня провел князь в найме повозки, приуготовлении, в укладке и прочем, принадлежащем к дальнему пути. Никандр делал, что ему князь приказывал, но делал большею частию наизворот, и старик принужден был сказать ему: «Сиди на месте и не трогайся!»

При расставанье почтенный отец Иван, обняв Никандра с трогательною жалостию, сказал:

— Прости, сын мой! Ты должен удалиться. В этом месте очернено имя твое, а что для тебя будет печальнее, то имя и твоего благодетеля.— Тут добрый пастырь самых негодных овец рассказал все, о чем судил по догадкам судья и в чем поверило ему высокоименитое собрание. Никандр плакал, а священник продолжал: — Кто б такой ты ни был, не хочу знать имени отца и матери, не нужна мне фамилия твоя, знатная ли она, или ничтожная; для старца седого довольно, когда уверен он, что у тебя нрав кроткий, сердце непорочное, правила благородные. Во всякое время, любезный друг, когда счастие обратится к тебе спиною, приходи под смиренный кров мой. Пусть все люди возненавидят тебя, мое сердце всегда к тебе сердце отеческое. Никогда не думаю, чтобы ты мог подпасть гнусному пороку; а погрешности и щек старческих не должны покрывать румянцем! Одна высочайшая мудрость от того свободна!

— Непрерывная любовь,— вскричал Никандр, повергшись в объятия священника,— предохранит меня от всех нападков порока. Простите!

Выехав из города, Никандр стал на ноги в повозке и неподвижными глазами смотрел на город, в котором, думал он, еще находится Елизавета. Время от времени куполы церквей, крыши домов темнели, терялись, и скоро все исчезло.

Никандр закрыл платком лицо, сел подле князя Гаврилы Симоновича, в другую сторону молча смотревшего, и думал: «Правосудный боже! для того ли я пришел на сию сторону, чтоб видеть ее целые месяцы, упиваться неописанным блаженством быть подле нее и после расстаться навеки. Навеки?..» — произнес он со стоном и лег ниц лицом, горько плача.

Глава XIV

Письма

Приехав в назначенный город, князь и Никандр нашли в купце Афанасии Онисимовиче в первый день добродушного старика, во второй — умного, в третий — задумчивого и не великого приятеля разговаривать. Никандра принял он с отеческою ласкою и упрашивал ни о чем не заботиться, ничего не опасаться, ибо он все берет на себя. «С того времени, как лишился я дочери,— говорил он, обращаясь к князю,— люблю беспомощных людей как родных. У меня теперь никого нет, совсем никого, господин Кракалов. Неблагодарная дочь оставила дом мой; пусть же молодой Симон будет мне вместо сына!»

Чрез три недели Никандра определили, и он с трепетом сердца вступил во святилище, где служил г-н Урывов. Еще через три, о небо! он сделался его начальником! Скоро привык он к своей должности и исполнял ее рачительно. Прежние его *великие люди* показались ему теперь поменьше, но и по многим причинам решился он не сводить с ними нималого дружества, стараясь наиболее снискать благоприятство старших чинов, своих начальников, и приязнь отличнейших по своему поведению и знанию товарищей. Афанасий Онисимович и Гаврило Симонович одобрили его намерение, прося не переменять его; и тщетно Урывов с братиею предлагали ему посетить вместе с ними *дом утешения.* «Нет,— отвечал Никандр,— если теперь и была бы у меня какая горесть, то там ее не утешат».

Его обыкновенно за такие ответы считали полубезумным; он это знал, но мало беспокоился.

В одно утро, когда Никандр был у должности, а купец Причудин на рынке, князь Гаврило Симонович полу-

чил письмо. Распечатав, он немало удивился, нашед в нем Ивана Ефремовича записку на имя Никандра, писанную совсем не рукою Простакова.

От г-на Простакова к князю Гавриле Симоновичу.

Ты, любезный друг, гораздо меня теперь счастливее, или по крайней мере покойнее. А я не знаю, что и делать! Приехав из города домой, через несколько дней получил я письмо от князя Светлозарова с просьбою согласиться на желание сердца его быть супругом Катерины и моим сыном! Мы с женою думали да гадали и наконец решились принять предложение, кажется выгодное для нас и дочери, тем более что сердце ее давно уже то одобрило. Послав ответ к князю, я был посещен им, и он показался мне гораздо лучше, чем прежде. Шумная веселость его обратилась в тихую, нежную. Слова его показывают довольно ума и доброты сердечной. Пробыв несколько дней в нашем доме, он поехал к отцу требовать формального позволения. Хотя он в таких уже летах, что мог бы сам располагать своими поступками, однако он того не делает и — хорошо! Это обстоятельство придало ему цены в глазах наших.

Вслед за его отъездом один из моих соседей, человек, правда, пожилой, но добрый и достаточный, предложил руку Елизавете. Я вдруг дал согласие, и хотя Маремьяна сильно противилась, доказывая, что дочери ее худое будет житье в доме господина Созонтова, ибо дети его от первого брака — дочь-вдова старше Елизаветы, невестка с тремя детьми; однако и мои доказательства были неплохи, и она скоро также дала согласие. Но Елизавета... Сам демон вселился в эту девку! Едва мы о том сказали ей — боже мой! откуда взялись вопли, слезы, обмороки! она заупрямилась и сказала твердо, что лучше хочет быть в монастыре, чем замужем. Что мы ни говорим, как ни просим, как ни угрожаем, ответ ее всегда один. Она целует наши руки, говорит: «Не погубляйте меня, я — ваша дочь!» — и уходит. Что нам делать? Глядя на прыганье и приготовление Катерины, мы улыбаемся; взглянув на вечный туман в глазах Елизаветы, горестно вздыхаем.

Прошу покорно сказать мне твое мнение по обоим сим обстоятельствам. Мы с женою ума не приложим. Кажется, не худо бы мне самому отписать к старику Светлозарову о намерении его сына; и я это сделал бы, да не догадался взять адреса. Прости! Дружба моя к тебе неизменна. Хотя

Никандр причинил мне немало горьких часов, но я люблю его по-прежнему. Не он виноват! Скажи ему о том и обними за меня. Каково занимается он своею должностью? Надеясь всего хорошего от твоих попечений и его дарований, есмь и проч.

Иван Простаков».

Князь Гаврило Симонович подумал хорошенько и написал в ответ, что советовать в таких случаях поспешно, значит советовать худо; а потому подождал бы Иван Ефремович настоящего ответа недели через две. Потом, на досуге сидя, вертел в руках пакет на имя Никандра. «Что бы писал к нему Иван Ефремович? — думал князь.— Если объявляет о сватовстве Созонтова на Елизавете, то это неблагоразумно, и вообще ему совсем писать не надобно». Вдруг мысль родилась в нем: «Не от Маремьяны ли Харитоновны? точно так! она, видно, примирилась с ним в сердце и прислала в том уверение. Да и надпись, кажется, женской руки!»

Мысль сия казалось ему истинною, и когда Никандр возвратился, то он с улыбкою сказал ему: «Господин Простаков тебе кланяется, а жена его, чтоб уверить, что больше на тебя не сердита, вот прислала письмо!»

Никандр покрылся румянцем, распечатал письмо и затрепетал. Вынул из середины листов небольшую бумажку, пристально устремил на нее глаза, прижал ее к сердцу, потом к губам и залился слезами. «Творец! — вскричал он, взглянув на небо,— заслужил ли я это счастие?»

— Что с тобой сделалось, господин Фалалеев,— спросил князь Гаврило Симонович,— что пишет к тебе Маремьяна?

Никандр молча подал ему бумажку, и князь побледнел, увидя миниатюрный портрет Елизаветы. Негодование его пылало на лице. «Обманутый отец,— вскричал он,— ты столько добродушен, а дочь тебя обманывает! Что она пишет тебе? подай письмо!»

Никандр читал его, то бледнея, то краснея. Страшное борение сердца между надеждою и отчаянием видно было на каждом мускуле. Прочитав письмо, он положил его на стол, облокотился головою на обе руки и был неподвижен. Князь взял письмо и прочел следующее:

«*Никандр!* Единственный любимец души моей и сердца! Жестокая буря сбирается над моею головою. Какой-

то сосед сделал родителям предложение на мне жениться. Они дали на то согласие и мучат меня поминутно своими увещаниями, которым никогда не могу последовать! Так, друг мой; твоя Елизавета никогда не будет женою другого, хотя бы он был какой король. Никакие угрозы не поколеблют меня ни на одну минуту. Если я не буду твоею — о! слишком и эта велика жертва для рока. Зачем прибавлять такие несчастия, которых слабое бытие смертного снести не может? Так, Никандр; так, бесценный друг мой! Елизавета пребудет верна тебе до самой могилы! Утешься моею решимостью сколько можешь! Посылаю к тебе свой портрет, и своей работы. Когда нам самим нельзя быть вместе, так по крайней мере он сколько-нибудь заменит твою потерю. Сто раз принималась я написать и твой, скопляла в мыслях все черты, все оттенки лица твоего, принималась за кисть, но глаза наполнялись слезами и кисть выпадала из рук. Что делать? не могу! Можно изобразить величайшего своего врага, но милого друга в разлуке невозможно. При одном воспоминании о потере сердце сильно заноет, забьется, руки задрожат, дыхание стеснится. Прости! Со всею любовию, со всем пламенем души моей остаюсь твой друг, твоя

Елизавета.

П. П. Ты, может быть, любопытен знать: как удалось мне отправить к тебе письмо? Это и подлинно трудно. Известна тебе привычка батюшки, что когда занят он многими письмами, то обыкновенно призывает меня и, принимаясь писать другое письмо, заставляет запечатывать конченное и сделать адрес. На сей его привычке основала я надежду, приготовила письмо, но не имела духа вложить в пакет. При всяком движении батюшки я вздрогивала, бледнела и не знала, что делать! Однако решилась. «Пусть он увидит,— думала я,— что любовь моя не ребячество, и перестанет мучить, уговаривая выйти за другого». Таким-то образом ты имеешь это письмо и будешь иметь вперед, если можно. Ах! мне нельзя ожидать от тебя: я не нахожу никакого способа.

Для тебя также будет непонятно, почему я знаю, что ты вместе с князем Гаврилою Симоновичем? Ах! это мне не скоро удалось проведать. Я дожидалась несколько недель, пока доброго Макара послали в город. С сильною просьбою приступала я к нему порасспросить о тебе и

месте пребывания. Возвратясь, он открыл, что ты поехал вместе с князем в день нашего отъезда; а потому и догадалась я, что вы вместе».

Никандр пребывал в прежнем положении. Князь Гаврило Симонович, щипая в мелкие кусочки письмо и портрет Елизаветы, говорил:

— Право, эта девушка сошла с ума. Как ни любил я княгиню Феклу Сидоровну, однако не предпринял бы такого дела! — Но в ту минуту совесть сказала ему: «Разве вытоптать огород свой не то же самое? разве предаться праздности, потерять поле, а с ним и дневное пропитание менее безумно, как Елизавете писать письмо к мужчине, которого она никогда не надеется быть женою, а ему об этом сетовать? О! Этого б не было, если б она не надеялась. Надежда провождает несчастных до края могилы».

Он сложил в кучку лоскутки бумаг и замолчал, как Никандр поднял голову и спросил отрывисто:

— Где портрет ее, где письмо?

— Вот то и другое,— отвечал князь, показав на кучку.

Никандр поднял вопль. Он задыхался от мучения и порицал Гаврилу Симоновича жестоко; ломал руки и бил себя по лбу в отчаянии.

— Молодой человек! — вскричал князь строго,— до коих пор будешь ты младенцем? Прощают людские слабости; но дурачества никогда. Слабости и дурачества бывают разные, смотря по летам и состоянию; и доходят до того, что уже называются безумием. Богатый старик, влюбляющийся в молодую девушку, делает дурачество; но оно простительно, ибо он один впоследствии страдать должен. Но молодой бедняк, который осмелится возвесть глаза на дочь богатого человека, быв принят отцом ее со всем добродушием, привлекает от всех сильное нарекание. Если предмет любви не отвечает, его называют безумным; а если отвечает, тут терпят многие, даже целое семейство: отца называют дураком, мать — безрасчетною, дочь — беспутною, а любовника — бесчестнейшим человеком, заслуживающим всякое презрение. Итак, Никандр, если страсть до такой степени ослепляет тебя, что ты согласишься равнодушно переносить такие оскорбляющие мысли, то неужели захочешь, чтобы имена благодетелей твоих и самой Елизаветы так жестоко страдали?

— Никогда! — вскричал Никандр, и благородная ре-

шительность заблистала в его взорах.— Ее спокойствие для меня драгоценнее жизни. Пусть один я буду мучиться! Отпишите, князь, господину Простакову, что я решился твердо, и никогда имя Елизаветы не будет произнесено мною.

Князь обнял его, и спокойствие, по-видимому, возвратилось.

Глава XV
Ответ

Когда друзья наши провождали время в городе, занимаясь каждый своим делом, господа Простаковы в деревне были в большом смятении и суетах. Князь Светлозаров приехал и подал Ивану Ефремовичу письмо от отца своего, в коем написано было, что старый князь почитает за честь и удовольствие породниться с таким почтенным семейством, ибо он очень много наслышан о благоразумии г-на Простакова, хозяйстве и бережливости жены его и образованности дочерей. Хотя, правда, замечал старый князь, любезный сын его мог бы найти, судя по знатности своего происхождения и богатству, невесту приличнее; но он уверен, что союз, составленный сердцем, гораздо крепче, чем основанный на расчетах выгод и древности фамилий. Письмо оканчивалось родительским благословением.

Господин Простаков был им доволен, г-жа Простакова еще больше, а Катерина от радости была как помешанная. Уже представлялись в воображении ее те блестящие экипажи, те пышные убранства, то великолепие, которое будет окружать сиятельную княгиню Катерину Светлозарову. Она и подлинно стала мало смотреть на прочих, а ходила вздернув нос, величавыми шагами, как научил ее нареченный жених, уверя, что все знатные дамы в столице точно так поступают. Вместо того чтобы сказать, как и было прежде: «Матушка, не пора ли накрывать на стол? уже батюшка пришел с гумна»,— она говорила: «Ma chere maman! Я смею думать, что уже время ставить на стол куверты на пять персон; mon cher papa изволил возвратиться из вояжа, во время которого изволил он осмотреть хозяйственные заведения касательно хлебопашества».

Иван Ефремович заметил это новое дурачество в своей фамилии и молчал. «Почему ж и не так,— думал он.— Если это нравится будущему ее мужу, надобно подделываться. Прихоти и дурачества знатных людей надобно терпеливо сносить». Г-жа Маремьяна Харитоновна не могла надивиться, глядя на величавую походку и слыша протяжный голос Катерины. «Вот так-то бы надобно и тебе, Елизавета»,— говорила она; но Елизавета обыкновенно отвечала с кротостию: «Матушка! такое принуждение для меня тягостно».

Словом: Иван Ефремович склонился на неотступные уговаривания жены, просьбы князя и Катерины и, не дожидаясь решительного ответа от друга своего князя Гаврилы Симоновича, дал свое полное согласие и благословил молодых влюбленных. Бракосочетание назначено быть на Фоминой неделе.

Какая кутерьма поднялась в доме! какое стечение купцов с шелковыми материями, лино-батистом, галантерейными вещами и проч. и проч. Все заняты были: кто кроил, кто перекраивал, кто шил и проч. и проч. В таковых суматохах прошло недели три, как Иван Ефремович получил письмо от Гаврилы Симоновича. Он был очень рад, ушел в кабинет и сказал, надевая очки и разламывая конверт: «Посмотрим, что-то он скажет? Я не сомневаюсь, что он одобрит мои намерения и решительность».

«Друг мой, Иван Ефремович!

Мы оба старики и собираемся говорить о довольно важном предмете; а потому хочу я говорить с тобою, а не с вами, то есть с твоею головою и сердцем, а не с вашим благородством и богатством. Мысли мои искренны, так, как бы пред судом божиим; смотри же, и ты подумай о них сообразно с достоинством лет твоих и саном отца. Письмо твое разделяется на две части. Ты хочешь выдать замуж дочерей своих. Похвальное намерение! Ты желаешь видеть Елизавету за господином Созонтовым? Ты прав. Она не хочет за него выходить, по крайней мере теперь? Она права! Ты желаешь дочери своей счастия, желаешь скорее возвратить ей потерянное спокойствие, восстановить мир и тишину в доме? Ты делаешь хорошо! Она спрашивает свое сердце, может ли оно любить, разумеется как должно, чтоб быть счастливою, предлагаемого тобою человека? получает в ответ: *никогда!* и отказыва-

ется от руки его. Она делает прекрасно! Так, друг мой, может быть это *никогда* превратится когда-нибудь в *нескоро,* но пока оно есть *никогда,* сердца нежного, кроткого и чувствительного принуждать не должно. Это будет то же, если бы убийца, пронзая грудь твою кинжалом, говорил: «Добрый человек! ступай на тот свет! там, говорят, гораздо лучше, чем на этом!»

Если девица, стоя у олтаря священного, с бледным лицом, с мутными глазами, трепещущим голосом скажет: «Так! я буду любить своего мужа!» — неужели думаем, что от сих вынужденных слов, произнесенных хотя у святилища, существо ее переменится; что любовь к одному обратится в ненависть, а равнодушие к другому — в любовь? Нет! это было бы чудо. Девица, которой сердце никем еще не занято, может, и то иногда, и по нужде, выйти за человека, который для нее ни се ни то; так точно, как дерево может окаменеть, но камень одеревенеть никогда; и если она потому не хочет быть женою того, что любит другого, то всего лучше, всего благоразумнее все предоставить времени. Если б я был один из древних странствующих рыцарей, то на щите своем поставил бы девизом: «Все горести лечит время».

Все мною написанное значит, что советую тебе оставить Елизавету на произвол самой судьбе. Никандр дал святую клятву не говорить об ней ни слова, а чтобы и не мыслить, на то он еще не решился. Но и сего довольно от такого пылкого молодого человека.

До сих пор о Елизавете довольно, и, я надеюсь, ты послушаешь совета твоего друга. Теперь буду говорить о Катерине, но не знаю, примешь ли ты мои причины, которые состоять будут в следующем.

В письме твоем заметил я некоторую скрытность, которая немного оскорбительна для друга. Ты показываешься нерешительным, дать ли согласие свое князю или отказать, а все объясняет, что на первое ты гораздо согласнее. Я покажу тебе письмо твое, где ты увидишь, что рука твоя дрожала, когда старался показать мне, что письмо князя не трогает твоего сердца. Эту ложь я прощаю, а что это была настоящая ложь, того совесть доброго друга моего не скроет. Писать мне много не для чего, ибо надеюсь быть прежде к вам, чем придет время сочетания. Слава богу, что теперь пост! Послушай! быть может, князь Светлозаров теперь и честный человек; время все может сделать; но что он был за несколько лет один

из бесчестнейших людей, извергов земли русския, это истина. Не дивись моим словам. Около двадцати лет я его знаю; он меня знает также, но оба друг друга по имени. Ты удивляешься, добродушный старик, для чего при одном имени его я просил дать мне другое имя? Никогда не открыл бы сего, если б этот распутный человек не простер так далеко своих требований и не стал свататься за дочь твою. Любя тебя, я хочу доказать любовь ко всему семейству. Однако посмотрим: время все изменяет. Молодой бездельник, пришед в мужеские лета, может сделаться достойным человеком; но надобно, чтоб это было дознано, доказано, чтоб было очевидно. Что касается до мнения твоего писать к отцу его и требовать согласия, то, пожалуй, не трудись! Отец его послан за Байкал, когда сыну не было и девятнадцати лет; и теперь, думаю, и могилы его отыскать нельзя. В заключение прошу не упоминать ему о моем имени и не давать согласия на брак; я сам скоро буду и объясню, что тебе покажется темно в письме моем.

Друг твой князь *Чистяков.*

П. П. Непростительно виноват. И забыл было! Существо движущееся, кружащееся и называющее себя князем Светлозаровым, совсем не князь и не Светлозаров. «Как? что? кто же?» — спросишь ты. Истинно не знаю, что он теперь, но совершенно известно мне, что он был беспутнейшим из дворян, поставляющих славу быть чудовищами».

Иван Ефремович поражен был письмом сим. Всякий отец, разумеется добрый и нежный, поставь себя на его месте, и легко увидит, как побледнел этот старец и сердце его окаменело. Закрыв глаза и опустя голову на стол, он был несколько времени в страдальческом положении.

«Нет,— сказал он,— этот князь Гаврило Симонович какой-то странный человек! Он утешается делать мне загадки и меня мучить. Но кто и подлинно скажет мне, кто таков в самом деле этот господин Светлозаров? Как ни думай, все выходит теперь в голове моей *тма.* Какое трудное дело воспитать дочерей и отдать их замуж так, как хочется, не претерпевши тысячи мучений и страданий! Которому князю мне теперь верить? Чистяков, кажется, добр и честен; Светлозаров нежен, трогателен! для чего первый не предостерег меня в то время, как послед-

ний показался первоначально в моем доме? Но и то правда, он не воображал, чтоб посещение сие могло продлиться более нескольких часов! Но зачем после молчал? Ах! он не молчал, помню, что нет: он говорил много, хотя я не все понимать мог. Что же теперь делать?»

Он нещадно ломал себе голову, но по-пустому. Одно намерение опровергалось другим; прекрасное изобретение разрушалось от ничего не значущего прежде выговоренного слова или даже взора. «Боже мой! как должен быть осторожен человек! — говорил Простаков,— а особливо тот, от ума которого зависят честь, спокойствие, радости жизни тех существ, которых называется он отцом!» Тут вспомнил он выражение князя Гаврилы Симоновича, когда он при родах жены своей, не имея ничего к своему пропитанию, говорил: «Боже! для чего каждый человек стремится произвесть подобное себе творение, а редкий предварительно думает, как поддержать будущее бытие его?» Правда,— продолжал Простаков,— я не мог опасаться уморить детей голодом, но не гораздо ли хуже сделал, не умев воспитать их как должно! Для чего не держал их в доме своем? Разве не мог бы я выучить их дома всему, что в их состоянии нужно? Пусть они не умели бы говорить иностранными языками; им и не для чего. Я заметил, что эта чума пристала к нам от чужестранцев и любящих все чужое и так распространилась, что, начиная от палат, дошла до хижин беднейших дворян. Что причиною? Для чего все наши предки говорили языком природным, хотя знали и другие; а были многие великие люди, любили добродетели не на словах, а старались исполнять их на деле? Первый из русских, который в собрании своих соотчичей без нужды заговорил иностранным языком, доказал тем или свою напыщенность, или эгоизм; а то и другое стоит жестокого наказания. О! как был я непростительно виноват, согласясь на представления жены и пославши дочерей в городской пансион! Дочери мои не знали бы говорить по-французски, не читали бы в подлиннике «Альзиры», «Андромахи», «Генрияды», но также и «Терезии Философки», «Орлеанской девственницы», «Дщери удовольствия» и прочих беспутнейших сочинений, делающих стыд веку и народу; они не умели бы приятно играть на фортепиано, но не имели бы и нужды в горестных тонах оного изображать чувствия души, изнуряемой домашними горестями».

Глава XVI

Оборот в деле

Когда г-н Простаков думал продолжать свои рассуждения, дабы на чем-нибудь основаться, Маремьяна Харитоновна вошла быстро в его кабинет и сказала: «Что ты до сих пор здесь делаешь? это непростительно! Князь Виктор Аполлонович поет прекрасно арию, и надобно признаться, что у батюшки моего на феатре лучшие певцы так не певали. Пойди послушай!»

— Чтоб сам сатана побрал и певца, и все ноты его! — вскричал Простаков.— Зачем ты мне мешаешь думать?

Маремьяна крайне изумилась. Сперва назначала мужа (разумеется, в мыслях) сумасшедшим, потом брюзгою, там самым несносным стариком, выжившим свои лета.

Жена. Не от его ли сиятельства князя Гаврилы Симоновича получили вы письмецо? оно, как приметно, заняло вас, Иван Ефремович, столько, что вы забыли о зяте и о дочери?

Муж. Если ты назовешь князя Светлозарова зятем прежде, чем обвенчается он на дочери, я рассержусь больше, нежели как сердился во всю жизнь свою. Имею к тому причины. Да, письмо это от Гаврилы Симоновича! Но я половину имения своего отдал бы, чтоб оно пришло недели за две прежде, пока я не давал согласия. Садись, мать, и слушай! дело идет о твоей дочери!

Он прочел письмо. Маремьяна многого не понимала; но что и поняла, и то покрыло ее бледностию.

— Как? — спросила она со стоном,— неужели Виктор Аполлонович...

— Посмотрим,— отвечал муж.— Я при удобном случае сделаю ему два-три вопроса, на которые тогда же потребую ответа. Смотри ему пристально в глаза, а я не премину. Если увижу, что невинность будет отпечатлеваться на его взорах и на всем лице,— о! тогда укажу Гавриле Симоновичу двери, и поди, куда хочеть. Лживых и таинственных людей терпеть не могу. Это, если не ошибаюсь, есть признак преступления.

Маремьяна Харитоновна согласилась на его предложения. Она любила Катерину матерински и потому ужасалась сделать ее несчастною. Но как не верить и князю Виктору Аполлоновичу? По всему видно, что Гаврило

Симонович — клеветник, тонкий обманщик и много имеет причин таиться от Светлозарова.

С нетерпением ожидала она минуты, когда начнется такое любопытное объяснение. Иван Ефремович тысячу раз замышлял, но тщетно. Тридцатилетняя деревенская жизнь сделала его крайне тупым в таковых случаях. Ложась спать, он клялся, что объяснится с князем поутру; утром обещал сделать это ввечеру, и так далее. Он походил на должника, который несговорчивым заимодавцам говорит: «Придите завтре, послезавтре», и так далее. Доброе сердце его терзалось, и в том прошло недели полторы.

В это время Иван Ефремович, проходя вечером свою залу, нечаянно взглянул на пылающий камин. На карнизе стоял алебастровый Геркулес, поражающий стоглавую гидру.

«Ба! — сказал Простаков, остановясь; — если сей удалец один сражается и побеждает стоглавого змея, то почему мне не переговорить с князем Виктором Аполлоновичем, имея подле себя жену, детей и письмо Гаврилы Симоновича? Посмотрим, что-то будет?» С такою благородною решительностью вошел он в столовую, засунув важно руки в камзольные карманы, и, садясь на софе, сказал:

— Помнится мне, князь...

— Приехал! приехал! — раздалось со всех сторон.

Иван Ефремович, вскочив, спросил:

— Кто?

— Терентий Пафнутьевич Кракалов,— отвечал вошедший Макар с радостною миною. Простаков неимоверно обрадовался. «Теперь все лучше,— говорил он сам себе,— ну вот тут посмотрим!» Г-н Кракалов вошел. Все семейство по очереди обнимало его, кроме Елизаветы, которая из глаз его читала, что он знает тайну письма ее; застыдилась и отошла к стороне. Князь Гаврило, добрый и снисходительный человек, не хотел поражать ее новым несчастием. Он обнял Елизавету, сказав: «Вы сделались в отсутствие мое гораздо полнее, лучше: не правда ли?»

Елизавета чувствовала ложь в словах его, закраснелась и не отвечала ни слова.

Все успокоились. Князь Светлозаров кидал значительные взоры на князя Гаврилу Симоновича.

— Ну,— сказал Простаков,— вы извините, Виктор Аполлонович, что мой приятель и родственник помешал

разговор наш; мы можем теперь продолжать его. Скажите, пожалуйте, я думаю, батюшка ваш уже стар да и слаб?

Князь Светлозаров. Без сомнения! Если бы не любовь моя к достойной вашей дочери, то я безотлучно был бы в доме его; ибо он так слаб, так слаб, что всякий день надобно ожидать...

Князь Чистяков понял намерения своего друга, взглянул на него значительным взором и спросил:

— В которой губернии изволит проживать родитель ваш?

Князь Светлозаров. В Иркутской, господин Кракалов; очень далеко.

Простаков. Вы служили в полках?

Князь Светлозаров. О! бывал нередко и в сражениях! У меня хранятся три шляпы, пулями простреленные!

Князь Чистяков. Я слышал, что вы были в жестоких сражениях, где не одни шляпы получали раны! Помните ли в Москве Тверскую улицу и ночь на восемнадцатое ноября в тысяча семьсот тридцать...

Князь Светлозаров *(быстро)*. Как? что...

Князь Чистяков. Не изволите ли припомнить имя одной несчастной женщины, которая называлась Феклою Сидоровною, княгинею Чистяковою?

Князь Светлозаров *(вскочив)*. Что значит это? Кто вы?

Князь Чистяков. Князь Гаврило Симонович Чистяков! Что скажете?

Виктор Аполлонович покрылся смертною бледностью.

— Люди, карету! Я забился в дом разбойников, бродяг и самозванцев.

— Самозванцев?— сказал князь Чистяков таким голосом, какого от него не только не слыхали, но и не ожидали. Глаза его пылали гневом и мщением.

— Боже мой! что это значит? что из этого выйдет? — кричали в один голос Иван Ефремович, жена его и дети.

Князь Светлозаров исчез как молния и ускакал; на лицах всего семейства написано было неудовольствие, и все смотрели на князя Гаврилу такими глазами, из которых понимал он: «Ты чудный человек, Чистяков! Мы тебя приняли в дом, дали убежище, одели и обули, а ты

вместо благодарности производишь в самом доме сем одни неприятности и беспокойства!»

— Понимаю мысли ваши,— сказал князь, обратясь к семейству.— Нельзя вам утаить желания знать подробнее обо мне и князе Викторе Аполлоновиче. Я не успел еще того сделать, и если вы сколько-нибудь усумнитесь в честности моих намерений, то ошибетесь! Клянусь, вы должны благословлять мудрое провидение, если этот князь Виктор не возвратится более в дом ваш! Почему же? — спросите вы. Так, я обязан отвечать на вопрос ваш, и сделаю это, когда вы успокоитесь и будете в лучшем состоянии, чтобы слушать меня. На первый случай я даю вам следующий совет: отпишите к князю Светлозарову, чтобы он упросил отца своего к вам лично пожаловать, ибо дело, о коем идет речь, того стоит. Если он уклонится от сего по причине болезни, занятий или чего-нибудь другого, так требуйте, чтобы сын привез вас самого к нему. Посмотрим, что будет отвечать он.

День прошел невесело. Нельзя сказать, чтобы все довольны были оправданиями и советами Гаврилы Симоновича. Стоит только раз почувствовать и обнаружить к человеку сомнение в его честности и недоверчивость к доброте сердца, тогда не скоро станешь смотреть на него с тем спокойным видом, который один делает разговоры двух стариков занимательными.

Уходя в спальню, г-н Простаков сказал: «Хорошо, князь, я подумаю о твоем совете». Маремьяна была крайне брюзглива, а Катерина — о! как можно быть ей веселою, лишась, может быть, навсегда прекрасного титла княгини, лишась великолепия, знатности и удовольствия пощеголять перед сестрою, заводя в доме своем балы, феатры и маскерады!

На другой день Иван Ефремович отписал к князю Светлозарову в город, согласно с мнением Гаврилы Симоновича; а между тем просил сего последнего объяснить им о себе больше и открыть чистосердечно, почему известен ему Виктор Аполлонович, и притом с такой дурной стороны?

— Я никогда не был намерен таиться в своих поступках; а что я до сих пор не совершенно открылся — тому причина уже вам известна: первое, не было удобного времени; а второе, я думал, что, быв беспутным молодым человеком, можно быть честным в зрелом возрасте; третие, мне хотелось покудова быть в деле сем посторонним и

предоставить собственному уму вашему заметить, что такой жених, который блестящею наружностью, хвастовством, песенками, прыжками, французским языком и прочими нелепостями начинает нравиться вашей дочери, тот же час должен быть выслан из дому. Я радовался, видя ваше к тому желание, и согласие свое на то изъявил, кажется, очевидно, отказавшись даже с ним видеться. Но что делать! Это взяло совсем другой оборот, и Светлозаров остался надолго, дабы заразить ядом своим все окружающее его. Я не мог представить, чтобы он имел желание жениться на Катерине, а вы ее выдать; но это случилось! «Что делать? — думал я.— Если он понравился, почему и не так: может быть, он теперь и путный человек». В сих мыслях пробыл я до тех пор, пока не узнал из письма вашего, что князь Светлозаров получил от отца своего согласие. «Ба! — сказал я,— так он все прежний бездельник? Нет, ему не должно быть зятем доброго человека! Я очень знаю, что давным-давно отца его нет на свете».

— Посмотрим, что он скажет,— отвечал Иван Ефремович, пожав плечами.— Боже мой! Как легко ошибиться и с самым чистым намерением сделать добро погубить ближнего! О Светлозаров! Если ты подлинно таков, как говорит князь Гаврило Симонович, то лучше бы в доме моем были тогда похороны, когда у тебя карета изломалась, я имел бы причину отказать тебе!

Ввечеру того же дня князь Чистяков начал продолжать повествование жизни своей следующими словами.

Глава XVII

Ошибка в приметах

Я остановился в рассказах своих на выходе из деревни. Печаль моя была безмерна. Лишиться в такое короткое время жены и сына и оставлять родину очень больно. Случись это с превеликим профессором или с самым превеличайшим стихотворцем, то первый не найдет столько разумных мыслей, чтобы утешиться, а другой — слов, чтобы описать рану сердечную. Утешать несчастного весьма легко; но утешаться в несчастиях — довольно трудное дело.

Намерение было пробраться в Москву. «В столице,— говорил я,— не как в Фалалеевке: там должен быть другой свет; люди всё знатные, а потому ученые. Там, верно, жены от мужей не бегают и никто не крадет чужих детей. О! в столице жизнь прекрасная!»

Проведши в дороге дней до пятнадцати, я прошел несколько деревень и вступил в изрядный город. Боже мой! как удивился я. Какие высокие домы, какие нарядные платья, какая величественная церковь! Что значит против этого дом старосты, подвенечное платье княгини Чистяковой и церковь, где я венчался и скоро после похоронил своего тестя? Уж не Москва ли это? Сердце мое забилось приятно. Мне и подлинно подумалось, что я достиг той великолепной столицы, где все люди ученые, следовательно очень умны, добросердечны, приветливы и милостивы.

Рассуждая таким образом, я пришел на небольшую площадь, и как время было обеденное, то сел на углу шинка и, вынув из кармана хлеб, лук и бурак с маслом, начал есть. Передо мною похаживал пожилой человек в зеленой курточке с желтыми обшлагами, имея на голове шляпу, похожую на гриб, а в руках — длинную палку. Он на меня пристально поглядывал и наконец подошел.

— Скажи мне, дружок,— спросил я,— как называется этот город?

Он. Фатеж, Курской губернии уездный город. Он очень знаменит репою и морковью, а еще больше тем, что многие мещане поступили в военную службу, правда солдатами, но после вышли и генералами.

Я. Это делает подлинную честь и им и месту родины. Но ты что такое, приятель? Теперь, кажется, мирное время, а ты так страшно вооружен этой рогатиною?

Он. О! ты, видно, ничего не понимаешь! Здесь в торговые дни бывает хуже, чем на сражении: съезжается народу премного. Люди кричат, лошади ржут, быки мычат, овцы блеют! А что тут сделаешь без оружия? Я именуюсь хранителем народной тишины и спокойствия, а попросту — будошником. Должность же моя — укрощать неспокойных людей, которые то и другое нарушают.

Тут он с веселым лицом оперся на свою палку и поглядывал во все стороны. Но скоро кушанье мое его соблазнило. «Ну-ка, мужичок, поделись со мною»,— сказал он, подошед ко мне. Быть может, я и поделился бы, если б он получше наименовал меня; но слово «мужичок»

сделало меня жестокосердным. «Как? — думал я,— урожденный князь Чистяков не что другое, как мужичок? О, тени предков моих вознегодуют, если я сделаю по желанию сего грубияна!» «Друг мой,— сказал я спесиво,— советовал бы тебе поучиться узнавать людей получше; а то, видишь, поседел, а не умнее последнего ребенка нашей деревни. Нет тебе ни крохи хлеба!» Он пошел молча, а я, чтоб больше наказать его за невежество, начал есть с таким чавканьем и мурнычаньем, что на десять саженей слышно было. Однако я скоро сжалился. «Может быть,— подумал,— он и подлинно голоден; почему не дать куска хлеба?» Только было хотел я приняться за нож, чтоб отрезать, как хранитель тишины и порядка подбежал ко мне и с самым хладнокровным видом влепил в спину около дюжины ударов плетью, приговаривая: «Не чавкай, не мурнычь, не нарушай тишины и порядка!»

Вскочив с воплем, вскричал я: «За что ты бьешь меня, безжалостный человек? что я тебе сделал?»

— Я сказал уже причину,— отвечал он и отошел в сторону. «О! так не в одних деревнях делают несправедливости»,— говорил я, укладывая сумку, в намерении сейчас оставить город.

Проведши еще с неделю в путешествии, я немного ослабел от усталости; а как тогда подходила уже осень, то я и решился в одной большой деревне пробыть столько, пока начнутся морозы. В таком намерении избрал я хороший постоялый двор и договорился в цене за постой.

Семейство Агафона, моего хозяина, состояло, кроме его, человека довольно древнего, из жены его, молодой бабы, и ражего батрака. Агафон женат уже был на двух, но детей не было; а когда женился на третьей, то бог благословил брак его. Молодая жена разумно увещевала его, что причина бесплодия двух первых жен была усталость, изнурение; ибо он, будучи хотя и богат, заставлял их все делать. «А потому, говорила, если хочешь, чтоб бог благословил тебя наследниками, надобно нанять батрака Кузьму, который служил несколько лет у моей матушки. Он очень работящ и так усерден, что во всем на него положиться можешь, как на самого себя!» Агафон был убежден; принял Кузьму, и жена на осьмом месяце брачной жизни обеременела; а потому муж не мог ею налюбоваться, а жена всем верховодила. Она подходила к зеркалу, поправляла шелковый платок и улыбалась, ибо и

подлинно была недурна. Она пела песенки, прыгала и резвилась.

По прошествии дней пяти я совершенно отдохнул; но как слякоть продолжалась, то и решился остаться еще на несколько времени.

В один вечер, отужинавши, пошел спать в покойчик, где обыкновенно опочивали приезжие. Около полуночи поднялся страшный в доме шум, беганье людей, ржание лошадей, всеобщее смятение, так что я вышел посмотреть, что такое? В сенях застаю множество слуг и спрашиваю: кто пожаловал? «Князь Светлозаров с супругою»,— отвечают мне.

Не успел он выговорить всего, как показался молодой боярин, важно выступая и ведя под руку женщину молодую. Я устремил на них взоры и стал неподвижен, узнав в княгине Светлозаровой княгиню Феклу Сидоровну. «Небо!» — вскричал я, не могши удержаться. Слуги по приказанию господина взяли меня за руки, с торжеством вывели за вороты и кинули в грязь. С растерзанным сердцем вскочил я и бросился к воротам дома, один хохот был мне ответом. Пробыв там около получаса, я озяб, ослаб, измок и, видя, что силою ничего не сделаю, пошел искать квартиры в другом доме. Хорошо, что при мне были мои деньги. Ночь была мрачная, дождь лился ливнем. Проведенная мною во время родин жены моей и смерти тестя была блаженная в сравнении с этою. Тогда у меня была любимая, верная жена, а не было денег, и я страдал. Теперь есть деньги, но вероломная и преступная жена! Как же велико должно быть мое страдание? Везде было заперто, заколочено. «Ну,— говорил я в помешательстве,— когда назначено умирать, так умирай»,— и с тем вышел я из деревни, бредя по колени в грязи.

Прошед несколько часов, я едва тащил ноги; и, переходя один узкий мостик через ров, пошатнулся и упал вверх ногами. Благодаря случаю ров был не глубок, однако я сильно ушиб ногу и голову. Не успел отвести дух, как услышал страшный голос из-под моста:

— Кто тут? Какой дьявол носит в такую ночь?

— Бедный путешественник,— отвечал я.— В деревне никто не пустил меня ночевать, так я пошел далее.

— С нами одинакое несчастие случилось,— сказал незнакомец.— Меня также не пустили, и я решился проводить ночь под этим мостом. Ложись и спи. Правда, хотя

и мокро, но зато сверху не льет дождь. Не от скупого ли отца ушел ты?

— Нет,— отвечал я,— неверность жены и потеря сына заставили меня удалиться от места рождения.

— О! и это довольная причина, чтоб быть несчастным! — Мы уснули, и уже рассвело, как встали. Мы оба были выпачканы нещадным образом; грязь сделала нас похожим на разбойников. Товарищ мой был человек молодой, высокого роста и крепкого сложения. На лице его каждая черта показывала душевную гордость ко всякому человеку, который бы покусился сделать ему хотя малое принуждение. По дороге рассказал он мне, что его отец есть очень богатый священник в городе Фатеже, где побили меня за нарушение тишины и порядка. Скупость и непомерная жестокость отца были несносны для чивого сына. Не получая от него никогда ни копейки на свои удовольствия, он наделал долгов на счет его и был за то жестоко наказан. Наскуча наконец жить в совершенной нищете и в поругании у других молодых развратников, его знакомцев, решился он запастись один раз навсегда отцовским имуществом, оставить дом и жить в отдалении, на свободе. Он прошел весь круг наук и, судя по дарованиям и успехам, был бы некогда достойным человеком; но пагубная пылкость нрава, неумеренность в словах и поступках навлекали на него частые побои, которые вместо исправления доводили его до отчаяния. Отцу хотелось видеть его на своем месте, а молодой Сильвестр и не думал ни о чем другом, как быть славным воином.

В пути он сказал мне: «Ты знаешь теперь меня и мои намерения; мне также хотелось бы знать о тебе и твоих приключениях; а они должны быть занимательны. Шутка! Тебе, кажется, не более, как около двадцати пяти лет, а уж успел лишиться жены и сына!»

— С великим удовольствием,— отвечал я,— но здесь не место; дай прежде отдохнем где-нибудь в деревне, и там ты узнаешь.

Он. Да куда ты пробираешься?

Я. Думаю в Москву.

Он. Браво! Нельзя лучше! И я туда же. Что может быть лучше города Москвы? Об ней так много прелестного рассказывают, что нельзя не плениться, и не видав ее! Там, говорят, были бы только деньги,— ну, на случай и немного ума, разумеется, когда он есть, а нет, так и

нужды мало,— были бы одни деньги, и ты имеешь все, что хочешь, и будешь, чем поволишь.

Я приятно взглянул на него и невольным образом опустил руку в карман.

Время было уже около полудня, как увидели мы вдали близ версты деревушку. Услышав позади себя небольшой шум, мы оглянулись. Саженях во сте скакала тележка, в три лошади запряженная, а по сторонам человек шесть конницы. Новый приятель мой смотрел пристально, изменился в лице и сказал, потирая лоб: «Так! Это проклятые драбанты из Фатежа; я знаю по их наряду и алебардам. Ну, прощай, дружище; покудава расстанемся». С сим словом он бросился в ближний лес и мгновенно исчез. Я крайне дивился сему поступку. Неужели отец, если он объявил мне подлинную истину, будет так далеко преследовать своего сына и так постыдно, с таким вооружением, как разбойника?

Тележка остановилась со всем конвоем. «Стой!» — вскричал запачканный старик, вылезая. Он подошел ко мне, витязи спешились и меня окружили. Я задрожал.

— Что ты за человек? — спросил приезжий герой.

Я. Я Иду в Москву из села...

Он. Не мешает и в С.-Петербург идти, а все надобно иметь вид и мне именно знать, кто ты?

Я. Но позвольте и мне, честный боярин, осведомиться, кто вы, что так сердито и самовластно поступаете?

Он. Хотя я и не обязан удовлетворять всякого бродягу, но как отец твой у нас почетный человек и в тесной связи с судьею, исправником и заседателями, то изволь слушать и не противься. Я слыхал, ты изрядный удалец.

Тут он, распахнув полы шинели, из одного кармана вынул бумагу, из другого — очки и, надев их на нос, начал читать важнее всякого дьячка.

«Ордер канцеляристу Застойкину.

Ехать тебе, Застойкину, немедленно и вскачь из Фатежа по пути к Москве, понеже, как слышно, туда убежал Сильвестр, сын попа Авксентия, обокрав отца на немалочисленную сумму денег. По сказке показанного попа Авксентия приметами он, Сильвестр, таков: росту высокого, лицом смугловат, глаза черные, волосы на голове также. Поимав его, Сильвестра, также немедленно и вскачь везти тебе, Застойкину, обратно в Фатеж; буде же

он, Сильвестр, учнет противиться и чинить неподобные увертки и отпирательства, то ему, Сильвестру, связать назад руки; а буде он, Сильвестр, от того не уймется, а паче непокорством задерживать станет путеследование, тогда связать ему, Сильвестру, и ноги, и, положив в телегу, ехать не мешкая и вскачь. По прибытии имеешь ты неукоснительно и пространно о всем приключившемся рапортовать».

— Что скажешь, честный господин? — спросил Застойкин с лукавым видом.

Я. Очень рад, что вы настоящего Сильвестра не поймали. Он, правда, сию минуту был со мою, но, увидя вас, узнал, что вы за люди, и бросился в этот лес.

Он. О нет! Хитросплетательствами меня не обманешь. Как? выше прописанные приметы не точно ли сходствуют с тобою?

Я. Совсем нет. Смотрите все: я росту среднего, лицом не смугл, а только, быв в дороге довольно долго, загорел; глаза у меня голубые, а волосы темно-русые.

Он. Как? *(К команде.)* Посмотрите на его волоса! Что может быть чернее?

Команда. Ничего, ничего! Точная грязь!

Господин Застойкин взглянул опять в свой ордер и прочел:

— «Буде же он, Сильвестр, учнет противиться и чинить неподобные увертки, то ему, Сильвестру, связать назад руки!» Ну, ребята, исполняйте по ордеру! — И вмиг скрутили мне так руки, что не мог шевельнуть ни одним пальцем.

— Боже мой,— кричал я,— разве мне запрещено говорить в свое оправдание?

— Нимало,— отвечал он,— в ордере о губах и языке ни слова не сказано, и ты можешь действовать ими, сколь душе угодно. Ребята! обыщите его карманы: может быть, у него дурной умысел. Не мудрено сыскаться и оружию! Известно всему Фатежскому уезду, что из простых воров делались нередко престрашными разбойниками.— Сперва вынули из кармана кошелек с деньгами.— О! он изрядно запасся, надобно спрятать для сбережения.— Открыли сумку, и нашли небольшой нож, которым я резал хлеб.

— Ну, вот! — закричал Застойкин,— не говорил ли я, у него есть дурной умысел? Смотри, какой ножище! На,

Иван, спрячь,— сказал он к одному из драгунов.— Смотри, чтоб не потерять: это важный документ.

Я смотрел на все сперва помертвевшими глазами, наконец, видя их хищничество, пришел в исступление и вскричал: «Вы все разбойники и стоите виселицы! Разве так исполняется провосудие? О, без наказания вы не останетесь!»

Господин Застойкин, не отвечая мне ни слова, опять поглядел в лист:

— «...а буде он, Сильвестр, от того не уймется, а паче упорством станет задерживать путеследование, тогда связать ему, Сильвестру, и ноги».

Он спросил команду: «Господа честные, скажите по чистой по совести, унялся ли он, Сильвестр, и не упорствует ли паче?»

— Паче, паче! — кричала команда, связывая мне ноги. Положили на тележку и поскакали. Около трех дней были мы в дороге. Г-н Застойкин не пропускал ни одного шинка; потчевал всю команду, а платил к пущей горести из моего кошелька; меня кормил одним хлебом и водою. «Разве так предписано вам в ордере?»— говорил я, умоляя дать мне чего-нибудь получше. «В ордере сего нет, но так водится. При умерщвлении плоти смиряется и душа; а твоя, видишь, какая неугомонная».

В Фатеж прибыли мы поздо ввечеру. Меня отвели в тюрьму, развязали руки и ноги и положили на соломенную постель.

— Почивай покойно,— сказал Застойкин,— завтра посетят тебя господа заседатели.

Глава XVIII

Суд и расправа

Сначала думал я, что досада на несправедливость судей не даст мне уснуть во всю ночь; но усталость после столько беспокойных дней и чистая совесть сделали совсем напротив, и я проспал до самого позднего утра, как мог приметить из маленького окошечка моей каюты.

Чрез несколько времени вошел ко мне важный муж в сопровождении Застойкина. «Встань с постели и отвечай по сущей справедливости, ибо господин сей есть его благородие заседатель!»

Заседатель. Ну, господин Сильвестр, думаю — ты погулял изрядно! Шутка ли, украсть у отца около двадцати тысяч, а осталось так мало, что не стоит труда и считать!

Я. Ах, боже мой! Да разве мертвые восстают из могил? А сверх того, мой отец и сотой доли не имел таких денег!

Заседатель. Что пустое молоть! Он сам говорит, что ты украл около трети его имущества. Знаешь ли, что отец не только не хочет простить тебя, но не соглашается и видеть. Он письменно объявил, что если ты не пойдешь в солдаты и не исправишься там, то это ясный знак, что на свете нет средств тебя исправить, и потому он исключит тебя от наследства. Ну, хочешь ли в военную службу?

Я. Совсем нет, милостивый государь! Отец мой на смертном одре благословил меня, и довольно. Другого отца мне не надобно; а кто отлучит меня от наследства, так пусть покойно им сам пользуется, ибо я добровольно оставил свою родину и пробираюсь в Москву искать счастия.

Господин заседатель немало подивился словам моим.

— Не помешался ли ты от страха в уме,— спросил он,— что такую мелешь нелепицу?

— Ни малой, почтенный господин,— отвечал я,— не чувствую в себе перемены кроме, что от долгого пощения сильно отощал. Видно, у господина Застойкина на ту пору, как он брал меня, глаза были мутны, что он нашел черты лица моего похожими на приметы, в ордере описанные. Извольте вывести меня на свет, и вы легко уверитесь. Да и смею ли я шутить над такою особою, как ваше благородие?

— О! Конечно! Пойдем!

Меня ввели в особую горенку, где приказано было, вымывшись и вычистя хорошенько платье, войти в присутствие. Когда, исполня и то и другое, явился в оное, где было три человека судей и секретарь за особым столиком, то первые велели секретарю читать ордер как можно внятнее, останавливаясь на каждом пункте. Судии при каждой примете взглядывали на меня и потом, пожав плечами, друг на друга.

— Все объяснилось! Это не Сильвестр,— сказали они единогласно.— Однако ж надобно послать за попом Авксентием; пусть он подтвердит то самолично.

Авксентий, седой, но плотный и дородный старик, вошел в присутствие, согнувшись до пояса.

— Что, батюшка,— вскричали судьи,— это ли Сильвестр, сын твой? — Священник поднял голову, взглянул и, опять потупя, сказал со вздохом:

— Ах нет! он на него и не походит; тот и с лица совершенный вор и разбойник! Горе мне! — Он сказал, согнулся ниже обыкновенного и вышел.

Судьи, помолчав несколько, спросили меня: «Ну, кто ж ты и где твой вид?» Этот вопрос немало смутил меня; однако, скоро поправясь и приведши на память много приключений из тех прекрасных книг, которыми просвещал свою княгиню, сказал: «Милостивые государи, я небогатый мещанин Симбирской губернии, урожденец из сельца Фомкина; имея позволение везде торговать невозбранно и видя, что на родине мне не счастливится, продал, что было получше, накупил товаров и отправился в путь, думая пробраться к Москве; но проклятые разбойники в здешней губернии на меня напали, ограбили все, даже и билет, а мне удалось спрятать деньги так хорошо, что они их не доискались; однако господин Застойкин нашел, и теперь у меня совершенно ничего нет. Итак, я прошу вас, высокопочтенные господа, оказать мне милостивое правосудие, выдав новый вид, и приказать возвратить деньги!»

— А сколько по твоему счету было их у тебя? — спросил судья торопливо.

— Более ста червонцев и десятка два рублевиков, не считая мелочи.

Тут все свирепо поглядели на Застойкина, который стоял в стороне, дрожа всем телом и делая рукою и глазами какие-то непонятные знаки.

— А как имя твое?

— Гаврило Симонович Чистяков,— отвечал я, боясь уже приставить прелестное словцо «князь».

Тут велели нам выйти, говоря, что они присудят, что гласят законы. В молчании сидели мы в передней около часа. Застойкин был пасмурен необыкновенно и вздыхал; а я размышлял, куда идти, получа пашпорт и деньги. С удовольствием справедливого мщения сказал я товарищу: «Что, честный господин, не говорил ли я тебе, что ты ошибаешься? Если б ты меня не трогал, а особливо не связывал, как разбойника, или по крайней мере кормил

получше во время дороги, то я из благодарности тебе что-нибудь дал бы; а теперь спасибо; ничего не получишь!»

— Если бы ты, господин мещанин,— отвечал он,— сказал мне по чистой совести о своих деньгах и таком благородном своем намерении, то получил бы половину оставшегося от путевых издержек или по крайней мере больше четырех червонцев, которые показал я налицо; а теперь ничего не получишь.

— Посмотрим! Почему так? Каким образом?

— Увидишь, и очень скоро! — Тут позвали его в присутствие.

Мороз подрал меня по коже. «Как?! — думал я,— не получу того, что принадлежит мне по всем законам и что получил я за потерю сына? Нет, быть не может! Ты, господин Застойкин, хочешь испугать меня? Но нет, брат, не на такого напал!» Внутренно утешался я тем смущенным и печальным видом, с каким Застойкин будет отдавать мне мои деньги. «О! — говорил я,— чтоб больше наказать сего негодного крючка, то стану, считая деньги, бренчать как можно сильнее!» Тут позвали и меня. На особливом столике лежала моя сумка; подле нее три мои рубашки, там два шелковых платка, подле кошелек, а на нем четыре червонца, два полуполтинника, несколько четвертачков, гривенников и пятачков.

Судьи, посидев с важностью несколько времени, дали знак секретарю, который встал и, держа в руках лист бумаги, читал: «По довольном рассуждении определено: 1) Гавриле Симонову сыну Чистякову, симбирскому мещанину, урожденцу из сельца Фомкина, на место покраденного у него разбойниками пашпорта выдать другой, по коему бы мощно было ему, Чистякову, беспрепятственно проживать во всех местах, где пожелает».

При сих словах один судья привстал и подал мне бумагу. «Это вид твой»,— сказал он; я взял, поклонился, и чтение началось. «2) Но понеже он, Чистяков, был на дороге в неподобном образе и положении, то Застойкин и мог ошибиться, признав русые волосы и голубые глаза за черные; а сверх того, нашедши у него оружие, ножом называемое, взять с собою к должному допросу. 3) По сим изъясненным обстоятельствам проезд туда и обратно, а равномерно харч на воинскую команду и прочие путевые расходы должно поставить на счет виноватого, сиречь его, Чистякова, и немедленно взыскать. *А по справке:* все расходы, на комиссию сию происшедшие, по шнуровой

книге, данной Застойкину, составляют одиннадцать рублей двадесять копеек; то для сего следует, конфисковав имение его, Чистякова, продать с публичного торгу, и именно: деньгами у него имеется налицо четыре червонца, каждый в два рубли сорок копеек, составит девять рублей шестьдесят копеек; три рубахи, по тридцати семи копеек каждая, один рубль одиннадцать копеек; два шелковых платка, по пятидесяти по две копейки, один рубль четыре копейки; кожаная сумка в сорок копеек и нож в две копейки с деньгою; итого одиннадцать рублей семнадцать копеек с деньгою. А как из сей справки усматривается, что недостает на уплату казне у него, Чистякова, двух копеек с деньгою, понеже мелкое серебро в цену не приемлется, да и промен ему неизвестен, и потому следовало бы взыскать с него, Чистякова, вышеозначенную сумму, но как канцелярист Застойкин подал самолично объяснение, что он обязуется в непродолжительном времени недостающее количество денег внести из своего капитала ходячею монетою, равно как и заплатить деньги по оценке за имущество его, мещанина Чистякова: то как мелкое серебро, так и прочее отдать в его собственность; а мещанина Чистякова от казенного взыскания учинить свободным. А поелику Чистяков показал, что он не чинил никакого сопротивления, за каковое надлежало бы вязать ему руки по ордеру, а паче того ноги; а Застойкин во всем чинит запирательство; свидетелей же нет, понеже шесть человек команды, быв прежде неоднократно изобличены в пьянстве, воровстве и прочих непотребствах, за свидетелей приняты быть не могут: то обстоятельство сие предать суду божию».

Я стоял, подобно деревянному истукану, и утирал пот, градом лившийся со лба. Судьи и секретарь встали и вышли величаво, не сказав мне ни слова, а каждый взяв со стола по одному червонцу. Проклятый Застойкин с улыбкою укладывал в сумку мои пожитки и взвалил ее на плеча, звеня в руке серебряными деньгами.

— Что, брат,— сказал он,— не я ли говорил правду? Прощай! Пойти было выпить за твое здоровье; скоро кончатся обедни.

— Ну, хорош же я теперь! — сказал я, вышед из святилища фатежского правосудия и стоя на площадке.— Что мне делать? Куда пойти? Я почти наг и бос, голоден и истощен! Так,— вскричал я, взглянув на против стоящую церковь, у коей двери были отворены,— не к кому

более на земле прибегнуть, кроме тебя, существо милосердое! Ты теперь один останешься моим защитником! Ты не оставишь погибнуть несчастному! — В сих мыслях, со слезами на глазах, пришел я в церковь. Там увидел стоящего на коленях перед образом попа Авксентия, за которого я пострадал. С величайшим умилением молился он, и я внятно услышал сии слова: «Господи! Ты даруеши человеку богатство для того только, чтобы он был милосерд к братии неимущей. Умоляю благость твою умножить мои сокровища, да и аз вкушу сладость благотворения!»

— О добродетельный старец,— вскричал я,— да благословит тебя бог своею милостию! Как счастлив ты, находя во глубине души своей то блаженство, ту сладость, которая проистекает от благотворения.

Не думая нимало, не дожидаясь выхода его из церкви, я побежал; мне указали дом, и я вступил в него с радостною мыслию: теперь под сим смиренным кровом, в недрах кротости и благотворения успокоюсь я.

Глава XIX

Говорить и делать

Вошед в сени, я поджидал, не выйдет ли кто-нибудь; но только слышал из комнаты по правую руку, которую почел кухнею по запаху, из нее выходящему, голос женщины, которая страшно била кошку за украденную почку, и мальчика, басисто плачущего о сей потере. Не ожидая окончания суда над бедным животным, ибо суд надо мною был еще очень памятен в уме моем и желудке, я отворил комнату на левую руку; вошел — нет никого; вхожу в другую, и восхищение мое было неописанно! Накрыт был небольшой столик, а на нем стояли два графина с водками белою и зеленою; одна тарелка с пирогами, другая с прекрасною ветчиною; там икра, там колбаса, там целая копченая курица.

— О благодетель человечества, о великодушнейший из смертных, о отец Авксентий! — говорил я, простирая руки к столу, толико прельстительному. Потом, не занимаясь никакими рассуждениями, выпил большую рюмку водки и начал доказывать удальство свое над ветчиною, колбасою и полатком. Когда я понасытился и отплатил своему

желудку за несколько времени пощения, то увидел, что хозяин шел домой. «Он идет,— вскричал я.— О, как же рад будет этот добродушный человек, увидя, какое одолжение мне сделал!» Тут вышел я в приемную комнату, чтобы его встретить и обрадовать нечаянно добрым делом, которое сделал он, сам того не зная.

Хозяин вошел, держа в одной руке большую трость с золотым набалдашником, а в другой шляпу. Увидя меня, он спросил с удивлением:

— Что ты здесь делаешь, приятель?

— Благодетель мой! — вскричал я с восторгом,— ты до такой степени добр, что и в отсутствие свое помогаешь бедным! Знай, я — тот несчастный, которого здешнее правосудие почло за беглого сына твоего Сильвестра и лишило меня всего, так что и копейки не имею. Я был в отчаянии до тех пор, пока не услышал в церкви моления твоего, которое открыло мне благодетельную твою душу. Тут утешение проникло сердце мое. «Нет,— думал я,— верховная благость не оставляет миром оставленных»,— и пошел в дом твой. Радуйся и веселися, добродетельный человек; прииди и вижды!

С живостию схватил я его за руку и ввел в комнату, где оказал такую храбрость над завтраком. Поп, увидя это, покраснел багровою краскою. Я причел то действию стыдливости, когда открываются благодеяния скромного человека, и сказал:

— Ничего, не краснейся, отец мой! За здравие твое.

Тут быстро схватил я рюмку и графин, налил и, не дожидаясь благодарности, выпил.

— Ох, злодей! — вскричал поп, сделав совсем другое лицо, чем на молитве. Он бросился ко мне, крича: — Окаянный, кто ты и что делаешь?

— Я тот самый, который...

— Нет! много завелось в Фатеже разбойников и грабителей; и городничий ничего не смотрит!

— Отец Авксентий, подумай: я не имел ни копейки денег и был голоден; о первом спросите у высокопочтенных судей, которые меня допрашивали, а о последнем — у колбасы, икры и пирогов, которые все...

— Ты вор и разбойник,— вскричал поп. В ту минуту вбежала женщина около сорока лет, бренча ключами.

— Что? что? — спросила она.

— Обманщица, бездельница, неверная! — возопил поп.— Как пустила ты бродягу, который съел весь мой

завтрак, а чрез полчаса будут у меня господа судьи и заседатели?

— О боже! — вскричала ключница.— Да я ему кости переломаю! Как он сюда закрался?

— Я сейчас,— кричал поп,— иду к городничему, чтоб этого злодея с бесчестьем выслали из города и наказали за умышленное воровство! — Он быстро вышел.

— А я,— кричала ключница,— прежде, чем его вышлют, отомщу за съеденную ветчину и колбасу; сейчас же кочергою переломаю руки, чтоб они не так были длинны! — С сим словом она бросилась в кухню.

— Изрядно, — говорил я в крайнем замешательстве,— полагайся теперь на умиленные речи: беда, да и беда! — Движимый инстинктом, я бросился за кухаркою и запер на крючок двери.

Скоро раздался сильный удар кочерги в дверь. «Ничего,— думал я,— успеешь выломать дверь и без меня», после чего начал совать в карманы пироги, оставшуюся ветчину и копченую курицу. А как я все сии подвиги делал слишком торопливо, и притом полупьяный, то на беду опрокинул стол, и все полетело на пол; между прочим, ящик столовый выскочил, а из него небольшой ящичек, сделанный из черного дерева и совершенно похожий на те, какие наши фалалеевские сиятельства делают для хранения своих старых грамот. «Кстати,— подумал я,— сегодни вручили мне новый пашпорт, а случай посылает и ковчег для его сбережения, а без того в дороге он и вправду попортиться может». Итак я, засунув за пазуху совсем не нужную вещь попу, а мне в дороге весьма необходимую, отворил окно и хотел лезть, как увидел умиленного молельщика, идущего с конвоем к воротам. Я прикрыл окно и ждал, пока все взойдут на двор; потом скоро отворил опять, выскочил на улицу и ударился бежать что есть мочи. Подкрепя телесные силы завтраком, я мог идти, не отдыхая, несколько верст. Хотя морозы были уже хороши, но я решился не идти днем, а по ночам. «Когда Авксентий,— говорил я,— за сыном посылал такую страшную команду, то за мною, верно, уже не усомнится. Меня поймают, и тогда как у меня нет ни полушки денег, то не лишиться бы и последнего балахона».

Обыкновенно по утрам останавливался я в самых бедных деревенских избах, обедал и спал до вечера. Если подле деревни случался лес, я выходил раньше, а не то так в сумерки. Настал декабрь. Ночи были светлые; я не

мог быть спокоен, пока не оставил границ Орловской губернии и не вошел в Тульскую.

Чем питался? — спросите. Подождите: я все скажу откровенно, как прилично искреннему человеку.

Бежав из Фатежа, так сказать, не оглядываясь, я до тех пор не думал ни о чем другом, как только, чтоб быть подалее, пока велся провиант мой, похищенный у Авксентия. Когда он издержался, и я, задумавшись, размышлял о способах добрести до Москвы, машинально вынул из-за пазухи билетный ящичек, чтобы положить в него свой пашпорт. Тут нечаянное открытие изумило меня: ящичек был весьма тяжел, чего я в суматохе, бежав от попа Авксентия, вовсе не заметил. Но по вскрытии ужас заступил место изумления: я нашел в ящике до двухсот червонных. Что делать? Не всякий ли честный человек назовет меня настоящим вором; а я от природы более всего отвращался от сего подлого порока. Отнести деньги назад, значит предать себя в руки правосудия, которое, если повелит уже меня и повесить, то ни моя совесть, ниже кто-либо другой не назовет его неправосудным. В невинном страдании можно найти некоторое утешение, но страдать по заслугам крайне горестно.

В сем печальном расположении моего духа обратил я унылый взор на проклятый ящичек и увидел на дне его свернутую бумагу. Беру, разгибаю и нахожу следующее:

«Любезный друг Иуда Исахарович!

Ты худо платишь за дружеские мои услуги; а это в купеческих оборотах не годится. Ты присылаешь мне в подарок двести червонцев за такое дело, за которое и четырехсот мало. Не я ли известил тебя, что один молодой весельчак, дворянский сынок, имеет нужды в деньгах и закладывает последнюю четверть своего наследия за восемь тысяч рублей, которая стоит по крайней мере впятеро. Я и сам бы не уступил сего счастливого случая, да на беду все деньги были вразброде, то на крестьянах, то на купцах, то на судьях и проч. К тебе я отослал его, и ты прекрасное поместье купил за бесценок. Точно купил, потому что выкупу и ожидать нельзя. Посуди же! А ты благодаришь только двумястами червонцами. Стыдись, чадо израилево!

Но оставим это. Я думаю, что и у жидов есть хотя маленькая частица совести, а потому и ты за мою комис-

сию пришлешь еще хоть двести червонных. Вить это, право, не для меня, а для собственной твоей пользы, потому что случай сей был не последний; я имею в виду еще несколько молодчиков, которых имение могу перевести в твои руки, если только ты будешь со мною делиться хорошенько.

Авксентий».

— О! — воскликнул я со гневом, — когда ты такой мерзавец, то не раскаиваюсь, что жидовские червонцы попались в мои руки. Ты недостоин был воспользоваться ими, добыв их столь гнусным образом. Справедливо говорили добросовестные отцы, деды и прадеды наши: «неправо нажитое впрок не идет».

Так я судил тогда, но теперь, рассудя порядочнее, думаю, что поступок мой никак не извинителен. Но я не скрываю от вас и моих слабостей.

После того я зашил золото в свое платье, оставя несколько на обыкновенный расход, и пустился в дальнейший путь. Вошед в рубежи Тульской губернии на закате солнца, вступил я в деревушку и, осмотрев, по обыкновению, все домы, постучался в самую бедную, полуразвалившуюся избу. Меня впустили, и я, увидев, что хозяйка моя древняя старуха и живет одна, решился отдохнуть несколько времени. Старуха, видя, что я, делая сие предложение, будто невзначай побрякиваю деньгами в кожаной мошне, с радостию согласилась иметь меня своим нахлебником, на сколько времени мне угодно.

Глава XX

Чего не изменит случай?

Господин Простаков очень был доволен рассказами князя Гаврилы Симоновича, и великий пост кончился. Весна встретила семейство доброе среди тихого наслаждения простою покойною жизнью. Если чад из головы Катерины и не совсем вышел, если Елизавета иногда задумывалась, если оба сии обстоятельства и покрывали иногда туманом взоры Ивана Ефремовича, то это было на одну минуту; он по-прежнему развеселялся и целое семейство одушевлял сим чувством.

От Никандра получали часто письма, где он уведомлял о продолжении к себе дружбы доброго купца и благосклонности начальников. Он возвышался званием и скоро

надеялся быть офицером. Причудин обещался сделать для всех их богатый стол, а главному дать денег в долг. Разумеется, что один Иван Ефремович и Гаврило Симонович вели сию переписку, а прочие в доме ничего не знали.

Настал май месяц. Сады и леса опушились прелестною зеленью; цветы благоухали; поля волновались подобно морю; вся природа обновилась, блистая прелестью юныя невесты, идущей к олтарю с женихом. Как же не радоваться, как не веселиться, как не наполниться сладкою негою добрым, чистым, благородным сердцам деревенского нашего семейства?

Они сочувствовали с целою природою и были счастливы! Но надолго ли? увы! Что значит счастие человека на земле сей, где все так коловратно, переменно, мгновенно? Не есть ли это дым, тень, мечта? В чем кто ни положи его — в богатстве? Оно подобно песчинке, которую бурная волна то выкинет на берег, то опять вовлечет в бездну! В почестях? Они подобны юному цветку, полевой травке, которая на восходе солнца цветет прекрасно, и всякий прохожий ею любуется; но подует вихрь,— и где алые листы, где изумрудная зелень? В соответствующей любви? О, как обманчиво, как лживо это счастие! всякая любовь подобна игрушке! Словом, кто в чем ни положи это мечтательное чувство, это счастие, всегда обманется. Все выйдет: суета сует.

Это маленькое отступление принадлежит к следующему происшествию.

В один прекрасный вечер князь Гаврило Симонович пошел прогуляться в поле, ибо Иван Ефремович занят был составленим плана и сметы для построения новой винокурни. Рассматривание кончилось, а князя нет. Вечер прошел, и настала ночь, а его все нет. Иван Ефремович встревожился, спрашивал поминутно, но никто не мог отвечать другого, кроме *нет!*

Все семейство было в необыкновенном беспокойстве. Иван Ефремович разослал всех людей, пеших и конных. На часах ударило двенадцать. Все, вздрогнув, вскричали: «Ах! как позно, а его нет!»

— Ложитесь спать,— сказал Простаков, ходя по комнате большими шагами и потирая лоб рукою. Оставшись один, он поглядывал то в то, то в другое окно; но никого не видал. Слуги возвращались одни за другими, и каждого ответ был: *нет!* Так провел всю ночь Иван Ефремо-

вич; то садился, то вставал, то опять садился, но все не мог ни на минуту успокоиться.

— Куда бы ему деваться? — рассуждал он.— Если сбился с пути, так всякий крестьянин указал бы ему дорогу! Если хотел оставить дом мой, так где найдет он лучше убежище? Но он не сделал бы сего, не объявя мне причины, не простившись с теми, которые его любили как родного; да он взял бы что-нибудь из своих пожитков, а то все цело и на своем месте! Если напали разбойники, так что они у него найдут? Сертук, шляпу, трость. Нет, это пустое; разбойники на таких людей не нападают; всего вернее, что он сбился с пути, места для него незнакомы, время ночное, в поле никого нет, и он шатается. Но вот взошло солнце; все крестьяне выйдут кто на работу, кто за промыслом, и он, верно, скоро воротится.

Основавшись в сей мысли, он успокоился и терпеливо дожидался возвращения Гаврилы Симоновича; и когда жена и дети, вошед, спросили его: «Что?» — он сообщил им с видом уверенности свое замечание, и все принялись за обыкновенные свои занятия.

Большой шум на дворе прервал оные. Конечно, князь пришел! и люди обрадовались. Простаков бросился к окну и остановился с крайним удивлением. «Что бы это значило?» — сказал он тихо. «А что такое, друг мой?» — спросила жена, вставая от пялец. Она подошла к окну и также остолбенела, видя полицейского офицера, вышедшего из повозки, и человека четыре команды. Молчание продолжалось до самого прихода офицера.

— Позвольте спросить, не вы ли хозяин дома? — сказал офицер довольно учтиво, судя по его званию.

Простаков. Точно так; что вам угодно?

Офицер. У вас укрывается какой-то князь, который...

Простаков. Нет, государь мой, прошу остановиться, у меня точно живет один князь, но он совсем не укрывается. Он честный человек и ходит везде прямо и открыто.

Офицер *(иронически)*. О честности его имеют рассудить другие. Пожалуйте, представьте его сюда: я имею повеление от правительства взять его с собою.

Простаков. Не знаю я намерений правительства, однако повиновался бы, если бы мог. Но князь, у меня живущий, вчера вечером ушел прогуливаться и до сих пор не бывал.

Офицер (*с сильным движением*). О боже мой! долго ли этот человек будет укрываться от рук моих? Двадцать раз почитал я его пойманным, но он ускользнет, как ускользнет!

Простаков. Бога ради скажите, для чего вы его ищете?

Офицер. Крайне жалею, что вы в рассуждении этого человека обманывались. Он страшный разбойник и имеет большую партию; грабитель, зажигатель — словом, человек, давно заслуживший казнь; но судьба ему благоприятствует: он вкрадывается в разные домы под бесчисленными видами; то великим господином, то нищим, то игроком, то чем хотите! А для чего? чтобы все рассмотреть, узнать нравы и после бесчеловечно обмануть легковерного хозяина. Жаль, очень жаль, что он догадался или кто из шпионов его дал знать ему, что пребывание его в вашем доме стало гласно, как ни скрывал он имя свое.

Иван Ефремович, жена его и дочери стояли как исступленные, не двигая ни одним членом. После глядели друг на друга, не говоря ни слова, и трепетали; бледность покрывала щеки их.

— Боже милосердый! — сказал наконец Простаков со стоном, взглянув на небо и подняв руки,— для чего сострадательное сердце мое так часто обманывается? для чего взор мой так туп, недальновиден, что не может отличить хитрого злодея от жалкого человека! Мог ли я подумать? Я открывал ему душу свою; все, что я ни делал, было с его согласия. Я называл его другом своим и, клянусь, любил более всех людей, после моего семейства. О, как больно, как тяжко, стараясь делать добро, обращать его на чудовище!

Таковы были жалобы Ивана Ефремовича. Он ходил по горнице неровными шагами, ломал руки и проливал горькие слезы.

— Ну, что же мы теперь сделаем, господин офицер,— продолжал он,— видите, его нет и, вероятно, не будет!

— Я не сомневаюсь в том,— отвечал офицер,— для него не лестно встретиться со мною. Видно, мне еще проискать его месяц, другой. Он так проворен, как будто сатана в нем сидит и действует.

Маремьяна перекрестилась, примолвя: «С нами крестная сила!»

— Мне надобно все его имущество опечатать и представить куда следует,— сказал офицер.

— Извольте делать, что знаете; я покажу и жилище этого злодея,— отвечал Простаков и повел гостя в садовую избушку. Там нашли белье, подаренное Иваном Ефремовичем, и старое рубище, в коем он появился к нему. Офицер поднял его, посмотрел в карманах, но кроме грязи ничего не нашел. «Куда брать эту дрянь»,— сказал он, кинув с сердцем лохмотья на пол; но раздавшийся звук металла переменил вид его. Он опять поднял, смотрел, пересматривал, щупал и наконец весело вскричал: «Вот! Подайте нож!»

Когда он распорол под мышками, то посыпались червонцы. По перечтении нашлось их слишком пятьдесят. Простаков пялил глаза и сам себе не верил.

— Это на всякий, видно, случай позапасся князь,— сказал офицер, пряча деньги.— Теперь вам не о чем беспокоиться. Я прошу, первое, извинения, что вас потревожил; а второе, если этот плут появится... Но где ему сметь! Прощайте.— Он вышел, сел в повозку и ускакал.

Господин Простаков провел день в безмерном унынии; семейство его так же; все вздыхали, плакали и говорили: «Ах! можно ли было подумать?»

Чрез два дни Иван Ефремович получил письмо.

«*Милостивый государь!*

Теперь вы, конечно, более не удивляетесь, отчего я встревожился при имени злодея, им произнесенном. О, я довольно наслышался! Ужас потрясет кости ваши, когда узнаете все его деяния. Но оставим это ненавистное мне, да, думаю, и вам, имя и обратимся к тому, что прервал изверг своими клеветами. Вы меня понимаете, почтенный Иван Ефремович! Позволено ли мне будет явиться к вам в том звании, какое имел я прежде? Одного слова довольно, и я у ног ваших и достойной дочери.

Светлозаров».

Простаков прочел письмо вслух и спросил: «Что скажете?»

Катерина закраснелась, как огонь, и потупила глаза; а Маремьяна вскричала:

— Что ж? почему и не так? Вить все дело пошло бы прекрасно, и до сих пор ты видел бы дочь княгинею, если б этот мерзкий урод Гаврило Симонович всего не испортил. Теперь все понимаю. Он боялся, что ты, дав

дочери в приданое много денег, не оставишь ему на воровство! О негодный, о проклятый человек!

— Так или не так,— сказал Простаков,— но да будет воля божия! Когда все согласны, не хочу и я противиться!

Он взял лоскуток бумаги и написал: «Милости просим! кем вы были прежде, тем будете для нас и теперь! Глаза мои открылись. Спала личина с чудовища, и оно больше не обманет меня. Все ожидаем вас с охотою».

На другой день приехал блистательный князь, и всё окружающее его изъявляло богатство и пышность: экипаж, карета, ливрея и проч. и проч.

Начались объяснения, переговоры, догадки, а кончилось тем, что князь Светлозаров в глазах всего дома показался умным, ученым, приятным человеком, который верно устроит прочное счастие жены своей; а князь Чистяков — такой изверг, такой злодей, которого давно надобно рубить, вешать, колесовать, на суставы разрезать.

— Ну, Иван Ефремович, что теперь скажешь? — твердила Маремьяна величаво и жеманясь,— не говорила ли я тебе, как скоро показался этот негодный князь Чистяков, что принимать его не надобно. По виду его замечала я, что он разбойник, и самый страшный! А! что теперь скажешь? Видишь, что и жены муж должен слушать?

— И я батюшке замечала,— сказала жеманно Катерина,— но он не изволил послушать.

Князь Светлозаров отплатил одной нежным взглядом, другой — почтительною уклонкою головы; а Простаков, вздыхая, пожимал плечами и говорил:

— И на мудреца бывает довольно простоты! Теперь и сам, конечно, вижу, что все его рассказы были обман, хитрость и лукавство. Слава богу, что ничего худшего не вышло!

Князь Светлозаров оставлен погостить на несколько дней, чтоб жених и невеста лучше познакомились, как замечала Маремьяна Харитоновна. Свадьбе положено быть перед Филипповым постом, до которого времени князь Виктор Аполлонович будет то в ближних деревнях своих, то у нареченного тестя провождать время.

Господину Созонтову, продолжавшему свататься за Елизавету, предложено подождать, пока кончится брак Катерины; ибо выдать дочь за князя не шутка и вдруг играть две свадьбы тяжело.

Может быть, покажется чудно, что Простаков, решившись прежде не принуждать Елизаветы в сем случае, теперь так свободно рассуждает выдать ее за г-на Созонтова? Вот его на сей раз слова: «Правда, я не хотел принуждать ее, но это единственно из уважения к Гавриле Симоновичу; а как он оказался вор, разбойник, зажигатель и вообще великий злодей, то было бы бесчестно слушаться его советов. Назло бездельнику сделаю то, что он мне [не] советовал. Елизавета как хочет, а иди за Созонтова! Я до сих пор был снисходителен, тих, любил чувствительность и следовал ее уставу, но почти всегда и везде бывал обманут, а теперь сделаюсь жесток, непреклонен, неумолим даже, и надеюсь, что сердце мое менее страдать будет. Около Филиппова поста Катерина будет княгинею; а после крещения Елизавета или во гробе, или за Созонтовым».

Бедная Елизавета плакала и молчала. Она думала, рассуждала, предпринимала сегодни одно, завтре другое намерение; а все на поверку выходило: страдай, когда судьба твоя так несчастлива! «Боже мой,— говорила она,— чем виновата я, что этот князь Гаврило Симонович оказался недостойным дружбы нашей и доверенности? Можно ли из ненависти к обманщику погублять дочь? Как жестоки иногда бывают люди и требуют, чтоб другие с улыбкою сердечною принимали тяжкие от них удары! Согласно ли это с законом кроткого неба, разлитым по всей природе? Ах! сердце говорит: «Нет!» и трепещет! Хладнокровный рассудок замечает: «Не должно быть, однако есть!»

Что ж делать человеку? неужели он рожден на страдание?

Часть третья



Глава I

Где же он? — Увы! Не знаю

Меж тем как в деревенском доме г-на Простакова происходила суматоха,— хотя, впрочем, и приятная, — по случаю приготовления к свадьбе, — в Орле, в доме почтенного Афанасия Причудина господствовала совершенная тишина, мир и довольство. Не было восторгов шумной радости, тех, блистающих наслаждением взоров, тех пылающих от быстрого кипения крови щек; но кроткая, мирная улыбка носилась по челу старца, и Никандр, или, как Афанасий называл его, Симон, видя сие постоянное спокойствие, которое есть награда чистоты душевной, сам нечувствительно принимал в сердце сие впечатление. Время от времени образ Елизаветы в нем изглаживался, и он, вспоминая об ней, говорил со вздохом: «Что ж делать? Зачем мне погублять ее любовию и себя мучить? Нет, сколько возможно, постараюсь истребить пагубное чувство сие!»

Внимательный Афанасий приметил сию перемену и радовался, ибо ему отчасти известна была тайна молодого Симона. С улыбкою сказал он однажды: «Поздравляю, молодец; чад приметно выходит из головы твоей; ты становишься веселее. Хорошо! предоставь мне пещись о твоем благополучии; а от тебя требую только быть трудолюбивым по службе и вести себя честно. О! этого весьма довольно, кто не хочет быстро прыгать по утесам к храму Славы. Лучше ползти. Хотя и никогда таким образом не достигнешь внутренности приманчивого храма того, но и не оборвешься и не полетишь стремглав в пропасть!»

Никандр отвечал: «Я постараюсь, благодетель мой,

удовлетворить вашим желаниям. Сколько собственное побуждение того требует, столько, или и более, то тихое веселие, которое покоится непрерывно на лице вашем. Оно есть плод мудрой, добродетельной жизни, и помрачить оное было бы с моей стороны крайне неблагодарно».

— О сын мой! — сказал старик.— Твои взоры еще неопытны! Почему знаешь ты, что я не проливаю втайне горестных слез, оплакивая свое безумие, которое другому, вероятно, стоило больших, бесчисленных слез и страданий! Так, друг мой! совесть мучит меня жестоко, и если что сколько-нибудь утешает меня, так одна мысль, что я желал сделать доброе дело, хотя и сделал зло, и невозвратное.

— Зачем же так печалиться? — вскричал Никандр с важным видом профессора нравственной философии.— Прочтите все права и законы, и вы увидите, что и тяжкие преступления избавляются наказаний, потому что виновник оных совсем не хотел того сделать; одна судьба — злой рок...

— О Симон, Симон! — возразил старик,— я хочу застрелить ястреба, сидящего у куста с голубкою в когтях; стреляю — и убиваю спавшего в кусте том человека. Законы оправдают меня, избавят от телесного наказания, ибо и в самом деле злоумышления не было; но какие законы воспретят сердцам жены, детей, отца и матери страдать бедственно о потере матери, отца, сына? Кто остановит их вопли, кто удержит их рыдания? Кто, окаменив меня, скажет: «Смотри, это — твое дело; однако ты отнюдь не беспокойся и будь весел по-прежнему, ибо тебя законы оправдали»?

Никандр почувствовал справедливость и замолчал. Хотя и хотелось ему знать тайну своего благодетеля, дабы приискать способы оправдать его пред собственною совестию, но скромность не дозволяла ему пуститься на такое неблагоразумие, которое могло бы огорчить добродетельного человека. «Я буду,— сказал Никандр сам себе,— поступать так, чтобы как можно реже приходило ему на мысль воспоминание неумышленного преступления. Для сего удвою свою бдительность, не упущу ни одной удобной минуты, чтобы доставлять ему возможные удовольствия».

Старик заметил такое старание юного друга, и сердце его прилепилось к нему отеческою нежностию.

Чрез несколько дней Никандр, идучи в присутствие,

прощался с Причудиным. Вдруг новое явление поразило их и радостию и недоумением. Г-н Кракалов, вошед в двери, бросился в их объятия. Когда обнимания и приветствия кончились, Афанасий спросил: «Скажи, пожалуй, Терентий Пафнутьевич, чему приписать твое явление и в таком странном виде? Платье измято, выпачкано, волоса всклокочены, борода на четверть, щеки бледны, и весь ты походишь на колодника, ушедшего из острога?»

— Я-таки и был не много в лучшем месте, чем на каторге, однако бог помог вырваться. Всю ночь я бежал, а поутру прибыл к вам; надеюсь, Афанасий Онисимович не откажет дать мне на несколько времени успокоения, а там поможет деньгами съехать в деревню к Ивану Ефремовичу. Я думаю, добрый друг крайне беспокоится, лишась меня таким чудным образом.

— Каким же? — вскричали оба друга с сильным участием.

— После расскажу, когда прийдет время,— отвечал г-н Кракалов,— и вы узнаете, какую несносную шутку сыграл надо мною один бездельник, и именно нареченный князь Светлозаров. Теперь мне нужен покой. Бежал всю ночь, не оглядываясь, подобно Лоту, когда небесный огнь истреблял преступный Содом. Думаю, что моему Содому достанется по крайней мере земный огнь.

Он ушел в покой Никандров, молодой человек — к должности, а купец — в свою контору.

Целая неделя прошла в великом веселии, ибо Никандра произвели в офицерский чин.

По прошествии первого шума, неизбежного в таких случаях, в доме Причудина все пошло по-прежнему; и хотя он раза два спрашивал г-на Кракалова о причине выезда его из дома Простакова, однако Терентий Пафнутьевич отговаривался каким-нибудь образом, а обещал сделать то по возвращении из деревни, куда хотел ехать на другой же день, чтобы успокоить встревоженное семейство. Афанасий Онисимович и тем был доволен. Настало утро следующего дня, и в тройном совете определено г-ну Кракалову ехать под вечер. Около полуденного времени он уже собрался совсем, и Афанасий вручил ему письмо к Ивану Ефремовичу и деньги на дорогу, как вдруг приносят письмо на имя Терентия Пафнутьевича. Он взял его и пошел в свою комнату.

— Ба! — сказал князь, распечатав письмо и взглянув на подпись,— это от Никандра; посмотрим!

«Милостивый государь!

Страшное удивление ваше будет не меньше моего, когда прочтете прилагаемое при сем письмо ко мне от господина Простакова. Оно поразило меня ужасом, и я теперь как сумасшедший. Принимайте свои меры и действуйте, как знаете.

Я не могу теперь вас видеть, а потому пойду обедать к купцу Аристарху. Под вечер буду дома. Ваш преданный и проч.

Никандр».

— Видно, что-нибудь новое,— сказал князь, складывая письмо.— Уж не выдали ль Елизавету замуж? Тем лучше! Если нельзя обойтись без дурачеств, то надобно как можно скорее их оканчивать. Что-то скажет Иван Ефремович?

«Любезный друг мой Никандр!

Я расположен к тебе по-прежнему, хотя и не могу видеться с тобою; буду помогать тебе во всем, как отец, но потребую и от тебя сыновнего послушания. Ты еще так молод, так неопытен, что легко можешь обмануться и вместо сильной ненависти к гнусному пороку почувствуешь к нему склонность, ибо злодейство никогда не ходит с открытым лицом, а вечно под какою-либо обманчивою личиною. Верь мне, друг мой, когда и я, в мои лета, так обманут, то что может быть с тобою? Горько мне признаваться в своих глупостях, но что делать? Пусть, видя их, другие исправляются. Ты знаешь, как любил я человека, известного в доме нашем под именем князя Чистякова. Чего бы я для него не сделал? Чем бы не пожертвовал? Но что вышло? Как ты думаешь, кто этот Чистяков? Злодей, отверженный небом; изверг, утешающийся бедствиями, текущими по следам его; чудовище, которого взгляда надобно страшиться, как Василискова,— словом, этот князь есть не кто другой, как известный разбойник, принимающий на себя разные виды и имена. Мстящее правосудие везде его преследует. Хотя он столько хитр, что до сих пор может укрываться, но когда же нибудь не избегнет поносной казни. За месяц он,— как видно, проведав о мерах правительства,— вечером бежал из моего дома, а рано поутру приехала команда брать его. Везде искали, но тщетно. Теперь, если злодей тот покажется в доме доброго Афанасия Онисимовича, сейчас предай его в руки полиции, а

письмо это покажи г-ну Причудину. Прощай! Остаюсь с прежнею к тебе любовию и проч.».

Кто опишет положение князя Гаврилы Симоновича по прочтении письма сего! Волосы его стали дыбом; крутящиеся глаза налились кровью, на щеках выступил гнев в сине-багровых пятнах. Он обратил к небу взоры, хотел что-то сказать, но губы его дрожали. Он скрежетал зубами и трепетал всем телом. Природа его не выдержала долго такого сильного борения; он застонал и пал на пол.

Около четверти часа пробыл в сем ужасном состоянии; потом пришел в себя, встал и, сев на стуле, с письмом в руках, сказал: «Творец! мог ли я воображать, чтобы кто-нибудь имел обо мне такие мысли? А теперь и Простаков, и он это пишет. О несчастный, обманутый старец! Твоя недоверчивось, твоя ветреность и легкомыслие в эти лета стоят жестокого наказания! Пусть же будешь ты наказан, пусть и подлинно, смотря на глупость твою, другие исправляются. Отнимаю от тебя навсегда сердце свое; падай в пропасть, куда влечет тебя этот изверг, этот князь Светлозаров. Рука верного друга, друга опытного, моя рука, не поддержит тебя. О! застонешь и ты, как я теперь; но ты не успокоишься, ибо гремящий голос совести скажет тебе: «Ты виноват и стоишь сего наказания»; меж тем как я, не только не скрываясь пред людьми, как говоришь ты, но пред самим тобою, великий испытатель сердец — я обращу к тебе взор мой и скажу: «Проникни душу мою и испытуй! Ум мой и сердце могли впадать в заблуждения и проступки; но чтобы сердце хотело посредством злодейства насытить страсти свои, а ум изобретал к тому способы,— о! никогда, никогда. Существо мудрое и милосердое! Ты сам — вернейший свидетель путей жизни человеческой!»

Проговоря сие, князь довольно успокоился, и черты лица его приняли постепенно прежний вид. Подумав несколько, он сказал: «Надобно мне сей же час вывести из заблуждения добродушного хозяина и Никандра. Хотя я принял другое имя из доброго намерения, но оно ложное. Пусть Афанасий узнает истинное, хотя оно и оклеветано».

Причудин встретил его предложением завтракать, но князь, взяв его за руку, сказал таинственно: «Мне нужно с вами несколько поговорить, и теперь же».

— Так пойдем,— отвечал купец,— в мою молитвенную комнату; туда никто не входит без особого моего приказа.

Они вошли, сели, и князь начал:

— Существом невидимым и непостижимым, сими изображениями великих мужей, угодивших ему, клянусь, Афанасий Онисимович, говорить тебе истину. Одно странное приключение, о котором по времени узнать можешь, привело меня в прошлую осень в южную часть Курской губернии, где, быв и бос и наг, прибился к дому Простакова. Он принял меня, как можно ожидать от доброго и чувствительного старца. Несколько времени жил я счастливо, как вдруг,— конечно, небо судило наказать меня,— в доме том появился человек, называющийся князем Виктором Светлозаровым. Это имя известно мне около двадцати лет, равным образом мое ему. Я имел причину просить господина Простакова переменить мне имя и фамилию, и он дал то, под которым меня теперь знаете.

Скоро приметил я, что князь Виктор старается обольстить младшую дочь Простакова, которая по пылкости своего сложения, ветрености и суетной гордости начала оказывать ему знаки соответствия. Это меня опечалило, и я догадку сию сообщил отцу. Следствие было то, что догадка превратилась в истину; однако Простаков, из жалости ли к дочери, или также по легкомыслию и суетности, дал согласие князю выдать за него дочь, только бы он доставил письменное согласие от своего отца. Оно доставлено; старый князь с радостию соглашается. Но как я знал от самого сына, что отец его более двадцати лет за нестерпимые бездельства сослан в ссылку, где, вероятно, давно уже истлели кости его, то и сообщил о сем Простакову. Это имело свою силу; я принужден был открыть настоящее имя свое — и тогда один взор мой достаточен был изгнать злого духа из дома друга моего. Но спустя несколько времени, вышед в поле, был я похищен злодеями со стороны самозванца Светлозарова, привезен в какие-то леса и брошен в тюрьму, где также пробыл около месяца, пока удалось уйти и прибыть к вам.

Меж тем злодей оклеветал меня в глазах Простакова, обнес извергом, разбойником, а он сообщил о сем молодому вашему питомцу, чтобы он предал меня в руки правосудия.

Тут князь Гаврило Симонович остановился. Г-н Причудин, помолчав, спросил:

— Почему же знает вас и преследует этот князь?

— Потому знает, что он обольстил некогда и увез жену мою и боится, чтобы я, рассказав Простакову как о сем,

так и о других обстоятельствах, не меньше его унижающих, не помешал ему в женитьбе; однако ж я, сколько мог, сказал.

— И после этого,— примолвил Причудин,— Простаков так малодушен! Но какое же настоящее имя ваше?

— Князь Гаврило Симонович Чистяков!

Причудин быстро вскочил со стула, задрожал, устремил страшно глаза на князя и не мог долго выговорить. Наконец трепещущим голосом спросил: «Где ваша родина?»

Князь. На конце здешней губернии, село Фалалеевка.

Причудин. Имя бежавшей жены вашей?

Князь. Фекла.

Причудин. Вы помните пожилого купца, который купил...

Князь. Книги моего тестя и такою дорогою ценою?

Причудин. Вы имели детей?

Князь. Одного сына Никандра, которого у меня украли.

Тут Причудин отскочил с воплем, схватился руками за седые волосы и с воплем терзал оные. Князь подскочил к нему, хотел удержать, но сетующий старик кричал:

— Накажи меня, умертви, истреби! Я похититель Никандра, твоего сына!

Князь Гаврило Симонович смотрел на рыдающего старика и не говорил ни слова. Так прошло с обеих сторон несколько времени, как Гаврило Симонович, проговорив задыхающимся голосом: «Где же он? куда вы девали моего сына?» — зарыдал горько и упал на стол, обняв голову руками.

— Увы! не знаю,— отвечал Афанасий Онисимович. Дрожащими ногами подошел он к князю, обнял его и говорил, также рыдая: — Утешься, несчастный отец! ты только что несчастен, но невинен. О! положение твое есть блаженство противу преступника виновного, которого совесть убивает здесь на земле, а там, в вечности, ожидает горькое мздовоздаяние.

Так прошло около двух часов. Они плакали, утешали один другого, отирали слезы и опять плакали, обнимаясь.

Глава II

Новый князь Чистяков

Пришло время обеда, но об этом ни один из них не думал. Стол был накрыт, но никто из слуг не смел доложить хозяину. Когда еще была дочь его при нем, то и она не смела сделать того без позволения. Так завел Причудин, желая, чтобы никто не мешал ему в то время, когда он отделялся от земли и возносился к трону вечного, испрашивая милосердого прощения в грехах своих.

— Итак,— спросил Гаврило Симонович,— тебе, любезный друг, неизвестно, куда девался сын мой? Каким же случаем ты лишился его? Не бойся, не скрывай от меня истины; я привык переносить великие несчастия. Больно было сердцу моему, очень больно, когда я, вошед в свою деревенскую избу, не нашел сына! Так, я походил на беснующегося; но тому уже прошло с лишком двадцать лет. Воспоминание, правда, горестно, но ничего не значит против того, когда оно было начальное чувство потери. Власть вышнего неограниченна, и должно покориться ей без роптания.

— Выслушай мое признание,— сказал Причудин и начал: — Покойный дед мой был тоже князь Чистяков и жил в первой молодости своей в сельце Дурнове, где такой же урожай был на князей, как и в Фалаеевке. Он приходился деду твоему в осьмнадцатом колене, что доказывает древность и обилие нашего дома. Наскуча единообразностию деревенской жизни и не имея по смерти отца почти никакого имущества, он оставил родину и пришел в Орел.

Тут благоприятствующая судьба управила шаги его в дом богатого купца Причудина, которому представил он свои услуги. Купец был хотя и богат, однако не презирал бедных князей, как ныне водится, и принял его в дом свой в качестве работника. Молодой Вавила, дед мой, не погнушался с своей стороны сим званием. Он принялся за дело свое плотно и в течение немногих лет успел так много приобресть доверенности хозяина, что тот сделал его приказчиком. Дед мой имел особенную способность к торговле, приносил много барыша, и хозяин, увидев верность его и честность, выдал за него дочь свою, единственную наследницу. Князь Вавила в воздаяние некоторым образом за благодеяние тестя кинул свою фамилию, напоми-

навшую ему его сиятельное нищенство, и принял фамилию Причудина. Я, внук его, лишась родителей, начал управлять довольно умно большим имением, и с каждым годом богатство мое умножалось. Мне исполнилось сорок пять лет, как жена моя скончалась, оставя одну дочь Надежду пяти лет. Я был неутешен о сей потере, тем более что, владея большим имением, не имел наследника мужеского пола; жениться же в другой раз, сорока пяти лет, значит нажить сорок пять тысяч мучений на каждый день. Итак, я решился лучше допустить, чтобы исчезла фамилия Причудиных и Чистяковых, а имущество отдать на богоугодные дела, чем добровольно обязаться страдать, привыкши вести жизнь удовольственную. Так протекло еще пять лет, и я отдал дочь свою Надежду в пансион, лучший в сем городе, ибо мне хотелось видеть ее за дворянином. Вот что значит родиться от княжеской крови! Да, сверх того, мне нечего было другого и делать. Без жены и без родственников, на кого мог бы я оставлять дочь в случае частых моих отлучек по купеческим оборотам? Она же не такой товар, чтоб свободно можно было поручить приказчику.

В одно время вздумалось мне пересмотреть все старинные записки покойного моего отца. Я рылся и, между прочим, нашел небольшую тетрадку, по которой подавал он в церковь молиться за здравие и упокой. Тут увидел я в первой статье имя князя Симона Гавриловича Чистякова, а во второй — отца его князя Гаврилу.

Сердце мое забилось от радости. «Вот,— сказал я,— остались еще князья моей фамилии. Они, верно, люди бедные. Почему мне не взять у которого-нибудь из них малолетнего сына, не воспитать, как должно, не уделить части моего имущества, не обижая дочери, и не восстановить чрез то благородного дома. Вить когда ж нибудь и они были богаты!»

Размыслив таким образом, я стал осведомляться, где бы найти мне улусы князей Чистяковых. Я посоветовался с Никоном, молодым тогда, но вернейшим из моих приказчиков. Он разумно рассудил, что ничего нет лучше, как, начиная с родины моего деда, объездить несколько миль кругом, осведомляясь, нет ли где кого-либо из князей Чистяковых. Я охотно согласился, снабдил Никона разными наставлениями и деньгами и отпустил. Через три недели возвратился он к полной моей радости, объявив, что в селе Фалалеевке есть и подлинно князь Гаврило Чистяков, сын того покойного князя Симона, которого

отец мой поминал за здравие. «Он недавно женился,— примолвил Никон,— также на княжне, и скоро будет отцом».

Таким образом, ты видел во мне того проезжего купца, который купил у тебя такие церковные книги, кои у него давно были. Я хотел только сделать тебе небольшой подарок, не возбудив подозрения, а не дал больше, чтоб не приманить к лени. Уехав, решился я новорожденного сына твоего сделать участником моего богатства, а покудова оставить на попечение матери. Я располагался взять его с вашего согласия, когда исполнится ему лет восемь, а между тем невидимо помогать вам. Но, любезный Гаврило Симонович, побег жены твоей (я знал это потому, что чрез каждые два месяца Никон потаенно осведомлялся) переменил образ моих мыслей. «Как можно ему,— говорил я,— содержать сына до осьмилетнего возраста, согласно с моим предположением? Если взять его теперь, отец не утерпит видеть сына как можно чаще; дитя узнает, что он — князь, а притом имеет богатого родственника, который взялся воспитать его, следовательно, никогда не оставит». Это могло помешать его нравственности, успехам в науках и моим намерениям.

Таким образом, я его похитил и сделал так, что отец не знал, где сын, а сей не понимал ничего о самом себе. Ах! прекрасные планы мои уничтожены ничего не значущим происшествием.

Воспитав его в совершенной неизвестности, после отдал я в один из здешних пансионов.

Едва переводя дух, с пламенеющим взором, приближился к нему князь Гаврило Симонович и спросил: «Не в пансион ли мадам Делавень?»

Причудин удивлялся изменению лица князева и его вопросу.

— Почему вы так догадываетесь? — спросил он с сильным движением.

— Потому,— отвечал князь,— что я знаю одного молодого человека, которого зовут Никандром. Он, ничего сам о себе не зная, воспитывался в помянутом пансионе на счет неизвестного благодетеля и был выгнан оттуда за один поцелуй, данный им девице Простаковой.

— Боже! Боже! — вскричал Причудин.— Это он, это мой Никандр, это сын твой! Сие самое обстоятельство разлучило нас!

Князь Гаврило Симонович стоял молча, глядел на

небо, и слезы умиления струились по лицу его! «Благодарю тебя, творец милосердый»,— говорил он с тихим восторгом человека, нашедшего потерянное сокровище, и бросился в объятия Афанасия Онисимовича.

— Ты его знаешь,— ты об нем слышал? Где он, где?

— Узнай, добрый старец,— сказал князь,— как непостижимы пути провидения! Молодой Симон, твой воспитанник, есть Никандр, сын мой!

Радостное недоумение изобразилось на всех чертах лица Афанасия Онисимовича. Он смотрел с восторгом на князя, простирал к нему руки и вдруг отступал назад; недоверчивость покрывала взоры его, и он говорил:

— Нет, я не стою вдруг такого благополучия! Ты меня приятно обмануть хочешь, Гаврило Симонович!

Но сей отвечал:

— Никогда не обманывал я честного человека. Вот письмо, мною сегодни из присутствия полученное. Видите, тут молодой Симон подписывается Никандром, и господин Простаков в письме своем называет его тем же именем. Это значит, что мы оба вступили в дом его под сими именами, а обстоятельства принудили переменить их. Впрочем, сам Никандр расскажет все обстоятельства своей детской жизни.

— Это очень вероподобно,— отвечал Причудин,— но, не удостоверясь совершенно, не надобно предаваться безмерной радости; ибо, сохрани боже, если обманет нас в этом случае добродетель *Надежда,* как обманула меня *Надежда,* дочь моя, бежавшая из сего дома, из сих родительских объятий с каким-нибудь извергом, ибо честный человек, полюбя ее, мог требовать открыто. О, тогда горько будет, князь, переносить обман своего сердца! Я хочу лучше все узнать верно, точно; и если все так, как ожидаю, тогда предамся всей веселости молодых дней моих. Сейчас посылаю за Никоном, который приказчиком на холщовом заводе моем, за две версты от города. Я не теряю к нему прежней доверенности, но и видеть не могу. С тех пор как Никандра выгнали из пансиона, я не был на заводе, а он в моем доме. Он один может лучше всех нас решить сие дело, ибо он посещал Никандра как у няньки, так и в пансионе, приняв всегда вид приезжего издалека, дабы отклонить мысль, что родители Никандровы или родственники в сем же городе.

Афанасий сейчас вышел, послал повозку, приготовленную для князя Гаврилы и уже запряженную, как можно

скорее привезть Никона; а другую коляску отправил искать Никандра по всем домам, где, по его мнению, вернее можно было найти. Когда возвратился он в покой, то князь сказал:

— Я припомнил одно обстоятельство из жизни Никандровой. Правда ли, что вы чрез Никона внушили няньке, будто он — побочный сын какого-то знатного человека?

— Так,— вскричал радостно Афанасий,— это правда! Никон сказал мне, что всегда по его приезде она мучит нещадно расспросами: кто это дитя, откуда, кто родители, есть ли родственники? Он не знал, что и отвечать. Итак, я велел сказать Никону, что дитя это есть незаконный плод любви двух знатных в Москве особ. Тут подтверждено ей наистрожайше хранить сию тайну, если не хочет лишиться обещанной награды. Но где! В тот же вечер узнали ближние соседи, дьячок, учивший грамоте, семинарист — началам счисления, а наконец, и сам Никандр. Я не только не сердился за такую нескромность, но радовался, что она приближает меня более к цели моего намерения, дабы Никандр и отец не знали друг друга до времени. К великому моему прискорбию, скоро узнал я, что отец моего воспитанника пропал без вести. Это обстоятельство удвоило внимание мое к последнему. При отправлении Никандра в пансион я наградил старуху вдвое более, нежели обещал. Соседки от зависти говорили: «Вскорми сто законных детей, так не получишь того, что эта ведьма за одного — прости господи!»

Когда они, таким образом разговаривая, более и более утверждались в истине своих заключений, коляска загремела на двор.

— Это, верно, Никандр, — сказал г-н Причудин. — Выдь на время, князь, в боковую горницу и молчи; я хочу прежде переговорить с ним.

Никандр вошел с встревоженным видом. Письмо, утром полученное, не выходило у него из мыслей. Купец дал знак рукою, и он сел.

— Что ты не хотел с нами отобедать,— спросил Причудин,— когда общий наш приятель отъезжает к общему также приятелю?

Никандр. Я не должен скрыть от вас, Афанасий Онисимович, что сегодни поутру пришло ко мне с почты письмо.

Причудин. Я читал то письмо, равно и твое к нашему гостю.

Никандр *(встревожась)*. Оба? Итак, вы знаете, что он...

Причудин. Князь Гаврило Симонович Чистяков добрейший и честнейший из всех моих родственников! Он оклеветан в глазах малодушного Ивана Ефремовича. О! хитрый злодей оклевещет доброго человека и в глазах самого мудреца,— так диво ли Простаков, который, будучи добр от природы, верит первому впечатлению, и, не выезжая из деревни никуда, кроме в ближний уездный город, совсем не знает свойства теперешних людей; а люди за тридцать лет совсем были отличны от теперешних.

Никандр. Я безмерно рад, что вы таких мыслей о князе: я сам трепетал, не верил, но боялся худых последствий.

Причудин. Оставим теперь это. Скажи мне, молодец, что принудило тебя переменить имя? А после расскажешь мне все, что знаешь о своей молодости.

Никандр. Я совсем не переменял имени, благодетельный старец; а Иван Ефремович, отправляя меня на службу, был в затруднении, как сделать это, когда я не имел никакого звания и одно бесфамильное имя Никандра.

Тут молодой человек с чистосердечием доброго, послушного сына открыл все случаи, бывшие с ним в первых летах молодости. Он рассказал о своих науках и, когда дошел до того пункта, как выгоняли его из пансиона, он, хотя закрасневшись, упомянул, однако, и о невинном поцелуе.

Когда он кончил и вздохнул тяжко, доложили Афанасию о приезде приказчика. Он сделал знак, и Никон вошел, поклонился и стал в стороне, как водится у купцов, ожидая приказаний.

— Подойди ко мне, Никон, поближе,— сказал Причудин,— и погляди пристальнее на этого молодца; вспомни, не видал ли ты его когда?

Никон подошел, глядел с ног до головы на изумленного Никандра, наконец радостно вскрикнул, обнял его, прослезился и сказал сквозь зубы: «Это он! это тот самый, которого, помните, Афанасий Онисимович, мы...»

Он не кончил, как Причудин с криком кинулся в объятия Никандровы; из боковой комнаты выбежал растроганный князь Гаврило Симонович, протянул руки, повесился на шею к Никандру и говорил:

— Ты сын мой, Никандр! узнай во мне отца твоего, а в сем престарелом человеке — твоего друга и благодетеля.

— Как? — сказал Никандр в полубесчувствии,— вы?

— Я — отец твой,— отвечал князь, и Никандр пал к ногам его, обнял колена и рыдал.

О, как счастливы были они в это время!

Когда все несколько успокоились и сели по местам, Афанасий Онисимович сказал торжественно:

— Теперь пусть злые люди ненавидят нас, пусть клевещут, пусть преследуют злословием, которого мы не заслужили и, уповая на милость божию, не заслужим. Что нам нужды до их суждений, и суждений пристрастных, основанных на зависти, гордости, спеси и прочих таких же причинах! Поставим счастие наше в доброте сердец, в исполнении должностей относительно к богу и отечеству; не отпустим нуждающегося от дверей наших опечаленным и не станем заботиться, что мыслит о нас человек, блистающий звездами. Уверен, благословения первого достигнут к престолу судия правосудного, а поношения и проклятия последнего обратятся на кичливую главу его.

Часть дня, вечер и половина ночи прошли в радости и веселии целого дома. Последний из челядинцев чувствовал на себе щедрость и благоволение господина. Все были одарены, сообразно каждого званию и трудам. К ужинному столу приглашены были лучшие купцы в городе и частию дворяне, хорошие приятели Причудину. На дворе выставлены бочки меду, пива и вина и огромный стол для всех работников и слуг, приехавших с гостями. Афанасий Онисимович рассказывал всем с великим жаром, как бог нечаянно в тот день благословил его радостию, возвратив обиженного им родственника и потерянного питомца, князя Никандра Гавриловича.

— Так, почтенные посетители, этот бедный молодой человек, живший у меня под именем Симона Фалалеева, есть князь Чистяков, мой родственник, правда хотя и очень дальний, но у меня, с тех пор как бежала беспутная дочь, остался единственным и будет моим наследником. Так, наследником; а этот господин, почтенный отец его, другом моим и товарищем!

Разгоряченный неожиданною радостию и отчасти несколькими рюмками хорошего вина, Афанасий Онисимович говорил много, громко, и, относясь к каждому, спрашивал: «А? Каково?»

Все изъявляли удовольствие соответствовать усердно радости его, кто искренно, кто притворно,— ибо он был богат. Когда богач хочет, чтобы о счастии его другие радовались, то надобно хотя как-нибудь, но радоваться.

На другой день поутру, прежде нежели князь Гаврило с своим сыном вышли из спальни, г-н Причудин надел праздничный кафтан свой с серебряными пуговицами и пошел к г-ну губернатору; его не задержали в передней, ибо знали, кто он, и впустили в кабинет; но слуги знали также и господ городничего, исправника, судей, и не впускали. Тут, верно, есть какая-нибудь тайна?

Объяснив хорошенько его превосходительству свое дело, он просил сделать акт, по которому бы Фалалеев, служивший в присутственном месте, был уже князь Чистяков и принят в его канцелярию. Его превосходительство с охотою на все согласился; и через несколько дней Фалалеев торжественно провозглашен князем Чистяковым и помощником секретаря по канцелярии.

Князь Гаврило и Никандр Чистяковы были полны признательности к своему благотворителю.

— Я должен сделать больше сего из благодарности к вам,— говорил Причудин,— ибо от меня несколько лет были вы игралищем сурового случая, а теперь так великодушно прощаете.

По приказанию г-на Причудина тогда же начались в доме нужные поправки и перестройки, дабы сообразно с достоинством новых своих родственников он мог назначить им жилище.

Глава III

О деньги!

Когда все надлежащим образом было окончено, то Причудин отвел разные покои князьям, отцу и сыну, и приставил особую услугу. После того все принялись за дела свои: Никандр уходил в канцелярию, купец — в контору, а Гаврило Симонович занимался чем хотел. Послеобеденное время проводили в разговорах, или старики играли в шашки и вспоминали мелочи молодых лет своих.

В один из таковых часов Причудин сказал:

— Для чего ты, князь, не расскажешь нам своих приключений; а они должны быть довольно любопытны.

— Я хотел только об этом предложить вам,— отвечал он,— и приводил в памяти происшествия в тот порядок, в каком они со мною случились. Вечер хорош; пойдем в садовую беседку и назначим ее местом нашим повествований, пока летнее время продлится.

Они пошли, сели на скамьях, и Гаврило Симонович рассказал им начало свое и происхождение, успехи в любви с их следствиями. В несколько вечеров дошел он до того места в своей повести, как остановился в маленькой деревне Тульской губернии в избе доброй старухи, где и решился с помощию украденных у попа Авксентия денег прожить довольно времени нескудно и не будучи никому в тягость.

— Проживши в деревушке недели три, я кое с кем познакомился. Крестьяне уважали меня как мещанина, и притом нескудного. У проезжего торгаша купил я на несколько рублей всякой мелочи и роздал ребятам и девкам: кому зеркальцо, кому платочек, кому сережки или колечки. Эта пышность и щедрость привлекла ко мне новое уважение и благосклонность. Когда я входил в какую избу, поднимался радостный шум: кто сметал скамью, кто отряхивал со шляпы снег,— словом, все заняты были приятным беспокойством меня успокоить. Правда, и я неблагодарен не был. «Добрые, мирные люди,— говорил я,— вы столь малым довольны и счастливы! У вас не вижу я ни гордого старосты, ни спесивых князей, ни корыстолюбивых судей, как в Фатеже и Фалалеевке, и вы гораздо счастливее тамошних обитателей».

День ото дня откладывал я дальнейшее путешествие свое в Москву, и когда приходило на мысль, что должно оставить свою хозяйку, то я всегда делался пасмурен. Но не дряхлая старуха была тому причиною, а прекрасное общество, в кругу которого я тогда находился. Какое же общество,— спросите вы,— в дикой деревне, в избе бедной старухи? Да: тогда и мое воспитание не представляло уму и сердцу лучших удовольствий. По заведенному исстари обыкновению во всех почти краях России на зимнее время с позволения старосты (ибо полиция существует с тех пор, как в первобытные времена несколько семейств соединились вместе) молодые люди избирают хижину какой-либо вдовы или и замужней женщины, только бы не было об ней дурной славы, и назначают оную сборным местом для вечерних работ молодых девушек, куда и приходят они с веретенами, самопрялками, шитьем и проч.

Таковой-то чести удостоилась и моя хозяйка. Каждый вечер собирались к ней наши красавицы; одна пряла лен, другая шила, третия вышивала шелками, меж тем как звонкие песни их раздавались на всю улицу.

Хотя таковое увеселение и очень хорошо, однако опо скоро могло бы наскучить, если б деревенская политика не изобрела способа поддержать оное. Для сего открыт был невозбранный вход всем деревенским холостым парням. Не запрещалось, правда, присутствовать там замужним женщинам и женатым мужчинам, но слишком часто пользующиеся сим правом непременно прослывут распутными, а потому и примеры тому редки, и только одни молодые вдовы и вдовцы, хотя бы они были и с седыми бородами, могут без зазрения совести разделять сие веселие.

Девушки наряжались на *посиделки* (так называются сии вечеринки) как бы в церковь или идучи в гости к старостихе; а мужчины, ревнуя один другому в убранстве, приносили туда красавицам подарки и гостинцы, для хозяйки же все съестное, чтобы она приготовила хороший ужин; и когда она тем только и занята была, молодцы гремели — кто на гудке, кто на волынке, кто на рожке, а которые были покрепче грудью, пели всякие песни.

Когда я впоследствии времени в бытность мою в Варшаве представлял великое лицо секретаря первого вельможи, то бывал на самых великолепных концертах, слыхал пение лучших певцов и певиц парижских, римских и венских, но никогда не чувствовал такого удовольствия, как на посиделках моей хозяйки.

Когда все уставали — один надувать волынку, а другой петь,— тогда принимались есть и пить, и все сопровождаемо было веселым смехом и радостным шумом. Во все пребывание мое в хижине не заметил я ни одного томного взора, ни одного тяжкого вздоха, ни одного горестного на лице отпечатка. Таковые праздники непрерывно продолжались всю неделю, кроме середы, пятницы и всех праздничных дней.

В один воскресный день после обеда растянулся я на полатях, свеся голову, и размышлял о прошедшей и будущей жизни своей. Вдруг быстро отворяется дверь, вбегает высокая, дородная, прекрасная девушка (у простого народа всегда видно, женщина или девушка, по головной повязке или кокошнику) в парчовой телогрее на лисьем меху и в шелковом сарафане. Черные волосы ее перепле-

тены были белыми бусами и коса — богатыми лентами. Большие черные глаза ее, осененные длинными ресницами, блистали; но только не светом кроткого впечатления, но какого-то дикого упоения, для меня совершенно тогда непонятного. Она казалась возрастом двадцати лет или с небольшим. Я никогда дотоле ее не видывал, но первый взор на нее внушил совершенное расположение души в ее пользу.

Когда вошла она в избу, или лучше, как и прежде сказал я, вбежала, то, остановясь посередине и видя, что хозяйка моя спит на лавке, подняла такой ужасный хохот, что я вздрогнул и подвинулся назад, а старуха проснулась. Я опять высунул голову до носа, боясь, чтоб она меня не приметила и не замешалась. Тут начался разговор.

Старуха. А! это ты, Аннушка? Здравствуй, милая! Чему ты так обрадовалась, вошедши ко мне в избу?

Аннушка. Как же не смеяться? Я было сперва подумала, что ты уже умерла!

Старуха. Спасибо за усердие! Где была ты во все это время? Тебя целый месяц не видать на посиделках.

Аннушка. Все скажу. За месяц перед сим муж тетки моей из ближней деревни прислал звать к себе дядю моего Карпа и меня для того, что жена его, моя тетка, при смерти больна. Мы поехали, да и приехали... *(Плачет.)*

Старуха. О чем же плачешь, Аннушка? Лучше и здоровее без нужды смеяться, чем без нужды плакать.

Аннушка. Право? Ну, так я буду все смеяться. Приехавши, увидели мы, что тетка моя лежит на постели, бледна как мертвая, суха как щепка, а глаза такие смешные. *(Хохочет.)* Вить смеяться, ты говоришь, здоровее, чем плакать. *(Начинает петь.)*

Старуха. После напоешься, любезная Аннушка, а теперь скажи, что ты там видела и делала.

Аннушка. Изволь! Муж тетки моей, подошед к дяде, поклонился в пояс и сказал: «Не взыщи, любезный шурин, что я потрудил тебя. Видишь, сестра твоя, а моя жена, очень дурна. Ты богат, а я беден: пособи мне деньжонками, чтобы я мог позвать ворожею; а здесь у нас есть славная колдунья и знает исцелять всякие болести. За нею присылают из города даже, только она требует заплаты вперед, а без того ни с места. Таково-де водится и у городских лекарей». Дядя мой сильно поморщился и почесал в затылке, однако вынул кису и отсчитал своему зятю деньги, чтобы призвать колдунью. Она не

замедлила приехать. Ах, какая страшная! *(Хохочет.)* Когда она стала подле больной, то начала на всех дуть, плевать и кривляться. Мы прежде испугались ее, но еще больше, когда и тетка моя начала дуть и плевать на колдунью и кривляться пуще, нежели она. То-то чудеса! После множества самых удивительных диковинок, какие делала колдунья, она призналась, что более уже за собою мудростей не знает и что больная, конечно, сильнее в колдовстве, нежели она, и, вызвав всех в светелку, она спросила мужа: не позаметил ли он за женою своею чего-нибудь особенного? Он отвечал, что не без того, ибо она повадилась по ночам ходить к соседу, давно уже прослывшему *знахарем;* и что он, подметя то, прокрался в сени его сквозь слуховое окно, а там и в избу, где нашел, что сосед учил ее чему-то мудреному. Сосед, осердясь на него, побил больно; зато и он, дождавшись жены поутру, так поколотил ее, что она и до сих пор не встает с постели. После сих слов дядя мой, взяв шурина за руку, сказал: «Я, брат, рос и жил долго в Туле, а потому более твоего знаю. Пойдем к жене твоей и попытаемся, нельзя ли вылечить ее моим лекарством. Вить я сам в таких делах *знахарь,* хотя и состарелся холостым».

После сего они пошли в избу к больной, и оба, вцепясь ей в волосы, сволокли на пол и начали лечить так чудно, что смешно было и смотреть.

Тетка кричала, скрипела зубами, дригалась ногами, но лечение продолжалось до тех пор, пока она не замолчала. Ее опять уложили на постелю и дали отдохнуть. Однако, как они усердно ни лечили, тетка на пятый день умерла; ее похоронили, и мы с дядею возвратились домой.

Старуха. Избави боже всякого знаться с знахарями и колдуньями! Долго ли до беды!

Аннушка. Прощай, бабушка; завтре я буду у тебя с самопрялкою; мне теперь очень хочется плакать; но как ты сказала, что смеяться здоровее, то я лучше буду смеяться.

Тут, засмеявшись громко, она вышла. Хотя я вошел уже в дальние края от Фалалеевки, гораздо дальнейшие, нежели какие посещал дядя мой, бывавший в Орле, однако не видал подобного явления. Будучи немало озлоблен смехом прекрасной Аннушки в таких случаях, в которых и самый холоднокровный, самый развратный невольным образом проливает слезы горести, я не знал, что об ней думать. Не забудьте, что теперь говорящий с

вами ни воспитанием, ни родом жизни, ничем не разнился от жителей деревни, в коей ночевал тогда.

По выходе Аннушки, свесясь до половины с полатей, сказал я старухе: «Бабушка! не правда ли, что весьма редко видала и ты, как долго ни живешь на свете, таких прекрасных девушек столько бесстыдными? Возможно ли смеяться подобно бешеной, рассказывая последнее время жизни родной тетки? О, если б покойный князь...»

Старуха. Какая нам нужда до князей, голубчик? Ты, видишь, мещанин и, видно, все знался с благородными. Бог с ними! Если б знал ты, какова была Аннушка года за три, то, верно бы, не упрекал ее.

Я. Ты меня одолжишь, бабушка, когда расскажешь, отчего такая пригожая девушка стала так отвратительна.

Старуха. Изволь, Симоныч, я все расскажу тебе, и ты, верно, после не будешь ругаться ею.

Тут она взлезла на печку, села против меня, потерла лоб, почесалась в затылке, раза два кашлянула, как иногда делают готовящиеся сказать публичную речь, где б то ни было, и начала так:

— Я родилась в здешней деревне, вышла замуж, схоронила его и надеюсь, что и меня схоронят в ней же. Это я говорю для того, чтобы показать тебе, что вся подноготная здесь мне известна. Ты заметил на конце нашей деревни две избы, одна против другой через улицу. Они теперь пусты, как старые могилы.

Было время, что и в них жили люди, и люди добрые. В избе по левую сторону жил крестьянин Иван, старый вдовец, с своею дочерью Аннушкою. Ты ее видел, и более говорить нечего. По правую сторону — вдова Марья, также старая женщина, с молодым сыном своим Андреем. Ты не видал его, так надобно об нем кое-что сказать. За три года был он двадцати пяти лет, высок ростом, румян, силен, работящ.

Хотя Иван и Марья были беднейшие крестьяне в нашей деревне, однако и самые богатые не стыдились признаваться пред всем миром[1], что пригожей Аннушки лучше прясть, ткать и вышивать ни одна девушка не умеет; что удалого Андрея ни один молодец не превзойдет в прилежности к полевой и домашней работе. Общая бедность сделала, что избы их стали как бы общие. Иван, видя Андрея в своей, обходился с ним как с родным сыном;

[1] Собрание лучших людей изо всей деревни.

Марья так же поступала с Аннушкою. Как только Аннушке минуло семнадцать лет, а Андрею — двадцать пять, то родители ударили по рукам и назначили день свадьбы.

Мне уже около семидесяти лет. В это время перебывало в деревне нашей много добрых старост, а больше — злых. В то время как сосватали Андрею Аннушку, был уже у нас старостою теперешний Онисим. Хотя он и стар и своих детей имеет, а по-нашему должен быть брюзглив и скуп, однако Онисим прослыл и тогда уже во всей деревне старикам — братом, возмужалым — дядею, а молодым — отцом. Ты, Симоныч, не нов у нас и видел, как встречают его, когда он идет по улице. Ни одного подьячего так не встретят! Словом: староста Онисим вплелся в это дело, и, зная, как бедны жених и невеста, пришед к Ивану, сказал: «Ты добрый человек, Иван, но очень беден; будущий зять твой Андрей также дорогой парень, но также беден. Я, может быть, и не стою того, но богаче вас вдесятеро. Вот мое желание. Как скоро ты обвенчаешь детей, то я отдаю им пару лошаденок и одну корову, несколько овец и что нужно в доме. Разбогатеют — отдадут; не мне — детям моим. Когда я буду и в могиле, они, верно, вспомнят об Онисиме и детям скажут: «Онисим был не злой староста».

Иван поклонился ему до земли за такую ласку, и день свадьбы назначен. Староста нарядил несколько баб для вспоможения невесте в приготовлениях к венцу, а в числе их была и я. Воскресный день настал, и чуть показался свет, мы все были на погах. Не успели третьи петухи пропеть, как у дверей избы Ивановой раздался стук, а потом и голос: «Гости!» Когда отворили двери, видим, что входит мужчина в синем городском кафтане, в красной рубашке, с черною бородою с проседью; он кинулся на шею к оробевшему Ивану и сказал: «Как? ты не узнаешь брата своего Карпа?» — «Ах»,— сказал Иван с плачем и также повис на его шее.

Когда поуспокоились, то Иван рассказал о своих обстоятельствах, примолвя, что тогдашний день был днем венчанья дочери его с соседом Андреем. Дядя осмотрел невесту, покачал головою, расправил усы, погладил бороду и сказал: «Брат Иван! Ты знаешь, что я одинок на свете. Проживши в Туле более десяти лет, я понакопил кое-чего и решился провести остаток жизни с тобою и твоею дочерью. И в Туле считался не последним мещанином, а здесь и подавно таковым не буду. Для того-то

я и вздумал в женихи твоей дочери выбрать тамошнего же мещанина. Он, правда, постарее меня, но зато умен и достаточен. Итак, кинь брат Иван, своего Андрея и дождись моего жениха. Невесте же на первый случай вот и приданое».

Тут вынул из-за пазухи большую, кожаную мошну, развязал и на стол высыпал целую кучу денег, все серебряных. Ни полушки медной не было! Все мы ахнули, а Иван не сводил глаз с серебра. Все от радости засмеялись; только одна невеста стояла бледна как снег, опершись о косяк. «Дядюшка,— сказала она со слезами, — на что нам серебро ваше? Мы и без него до сих пор были счастливы!» — «Ты деревенская дура,— отвечал отец.— Если мы были счастливы и без серебра, то с ним будем вдесятеро счастливее!» — «Что хотите, то и делайте, а я не хочу ни серебра, ни золота: отдайте мне одного Андрея». С сим словом она вышла вон. Два брата смеялись над упорством Аннушки, ударили по рукам и начали подгуливать. Никто во всей деревне ничего не знал о сем происшествии.

Ах, Симоныч; ты, верно, согласишься, что и у старух есть сердце, хотя не такое, как у молодых девушек, но все же сердце. Оно и теперь надрывается, когда вспомню о том, что после было. Выслушай меня далее!

Глава IV

С богатством ли счастье?

Пора была летняя, и солнце взошло уже высоко, как на дворе Ивана показался Андрей середи тучи народа. Он вошел в избу, поклонился на все четыре стороны и оторопел, увидя дядю Карпа, ему совсем незнакомого. Тут начали они, то есть отец невесты, дядя и нареченный жених, разговаривать.

Отец. Что так принарядился, Андрей?

Андрей. Как, батюшка; разве в день свадьбы не должно понаряднее одеться?

Дядя. Разве сегодне свадьба? Что ж я жениха не вижу?

Андрей. Не во гнев вашей милости, я жених.

Дядя. Не верю, да и верить не хочу. Я жениха знаю, как сам себя, и он должен быть сюда скоро.

Андрей. Когда ты не веришь, то мне и надобности мало в твоей вере. Где же невеста?

Иван. Опомнись, Андрей; это мой родной брат Карп, дядя невесты и тульский мещанин!

Андрей смешался в словах и не походил сам на себя. Опомнившись, он хотел приласкаться к дяде Карпу, но дядя Карп был неприступен. Во время сей расстройки растворяются двери и входит седенький, маленький старичок. «Вот Автоном, вот жених Аннушки», — вскричал дядя Карп, обнимая гостя. Андрей стоял, как береза в поле. Он не отвечал уже ни слова; сел на скамье у дверей и смотрел в пол так пристально, как будто бы искал там клада.

Надобно сказать правду, что седенький жених был одет еще пышнее дяди Карпа; однако все не помогло. Когда подвели к нему невесту и он начал говорить ей городские речи, она сказала наотрез: «Хотя бы ты был богаче вдвое, втрое, не хочу быть твоею!» — «Это ребячество, — сказал отец, — и оно пройдет. Чем-то потешит жених невесту?» Жених выбежал и скоро вместе с батраком втащил большой сундук, открыл его и начал вынимать: отроду не видывано таких сокровищ! Какие серьги, перстни, монисты, епанечки, сарафаны, кокошники, всего сила несметная! Дядя Карп, глядя на то, усмехался, а отец Аннушки смотрел, как голодный волк на задавленную им овцу... Невесту уволокли в особую избу; и сколько она ни рвалась, сколько ни плакала, мы одели ее в подаренные платья и привели пред жениха. Он взял ее за руку и потащил в церковь; мы все шли позади, а в некотором отдалении тащился Андрей. Он так одурел, что всякий почел бы его пьяным.

Не знаю, как и сказать, Симоныч. Тогдашний священник наш был пречудной человек: для него не было разницы, кто стоит в церкви, крестьянин, купец или дворянин. Он часто и много говаривал такого, что едва ли понимал и писарь мирской избы, однако и я кое-что поняла; именно: он говорил, бывало: «Пока вы стоите на молитве, то должны все равно молиться богу. Бог не смотрит на ваши наряды, а смотрит на усердие. Когда же выйдете из церкви, тогда помните, что вам повелено повиноваться старшим, как во всем свете водится. Он, бывало...»

— Однако, бабушка, — сказал я, перевертываясь на другой бок на своих полатях, — ты обещала мне рассказать об Аннушке.

— Изволь, — сказала она и продолжала рассказ. — Итак, когда началось венчанье, то отец Михаил, спросив, по обыкновению, у жениха о желании его жениться на невесте, получил в ответ: «Да!» Дошла очередь до невесты, — она отвечала: «Нет!» Батюшка изумился, а поезжане ахнули; о женихе и говорить нечего. Сколько дядя Карп ни грозил ей глазами, сколько другие ни делали знаков,— ничто не помогло. Ей предложен был вторично вопрос тот же, и тот же получен ответ. После чего отец Михаил, несмотря на просьбы дяди Карпа, заклинания жениха, не стал венчать. Как же стыдно было всем нам, а особливо жениху и дяде! Проходя мимо Андрея, я заметила, что он все еще плакал, но тогдашние слезы его совсем не походили на прежние.

Что и рассказывать тебе, каково Иван принял дочь свою, узнав об ее упрямстве. Я всегда ее любила, и рассказывать о ее горе и мне горько.

Когда Аннушку упрятали в чулан, то за чарками немного поуспокоились и решились терпеливо ждать, пока невеста угомонится. Три дни прошли в самом свадебном веселье, и мы праздновали, как будто бы в самом деле кончили дело. Одной Аннушки никогда не было на пиру нашем.

На четвертый день около обеда пожаловал к нам добрый староста. Все были ему очень рады, и дядя Карп поднес чарку лучшего вина. Он выпил и, севши, сказал: «Поздравляйте меня, добрые люди, я нашел клад».

Некоторые. Ахти! Велик ли? надолго ли стать может?

Староста. Для многих покажется ничего нестоящим, но для меня очень велик. А надолго ли стать может, не знаю; а думаю, что на самое короткое время.

Дядя Карп. Э! Пафнутьич! Будто ты мот! В чем же состоит он? В серебре, золоте, жемчуге? Ты знаешь, что я сам кое-чем промышлял в городе и цену знаю. Покажи клад, авось что-нибудь и куплю.

Староста. Он не продажный, а заветный; и, кроме меня, никому не дается в руки.

Жених. Выкушай-ка еще чарку да расскажи, как ты нашел клад. Мне во всю жизнь не удавалось.

Староста. Я и без чарки расскажу. В последний воскресный день, когда все мы были в церкви и видели неудачу его милости жениха, в самые сумерки приходит ко мне Андрей и говорит: «У меня давно уже нет отца;

будь ты отцом моим и дай мне благословение!» — «На что?» — «Тебе известно, что я несчастлив. Не в дальней отсюда деревне квартирует полк, и начальник охотно принимает в свою команду свободных людей. Завтре поутру я буду там». — «Хорошо, сын мой; но старая мать твоя?» — «То-то и дело! У меня и остается только новая изба да старая мать! Возьми и ту и другую себе. Теперь война с бусурманами; вить надо же кому-нибудь умирать за царя и церковь. Может быть, меня и убьют: сделай поминки о душе моей!»

Я не мог слушать слов доброго парня без слез. Пошел к его матери, посоветовался, снарядил его всем нужным на дорогу, на что прошло два дня, и сегодни рано поутру, взяв правою рукою руку безутешной старухи, а левою рыдающего сына, вывел их со двора на улицу, указал ему перстом дорогу, ибо на ту пору слов у меня не случилось, и повел старуху к себе в дом, где и намерен держать ее в покое до самой ее смерти. Теперь дайте чарку вина и поздравьте меня, добрые люди.

Тут он сам взял со стола чарку и с великим веселием выпил. Все смотрели на него сперва с удивлением, а там подняли такой жестокий хохот, что стены тряслись; и дядя Карп сказал: «Так это-то клад твой, староста? Не завиден же!»

Отец и жених также хотели ввязаться, как сильный стук в боковой каморке заставил всех броситься туда. Как же испужались мы, увидя бедную Аннушку на полу без всякого движения. Долго бились мы над нею; наконец она открыла глаза, осмотрела всех пристально и так громко засмеялась, что мы еще более испугались. Глаза ее сделались, как два горячих угля, а щеки из бледных вмиг стали, как красный мак. «Что с тобою сделалось, Аннушка?» — спрашивали все попеременно; и она, вскочив с полу, весело отвечала: «Вы прежде смеялись, когда я плакала; теперь и я смеюсь! Ах, как же это хорошо! Он будет на сражении, его убьют, зарубят, застрелят, кровь его...» Тут она задрожала, села тихо на скамье, глядела на всех сухими глазами, перебирала пальцы, щипала одну руку другою до крови, и я не заметила ни одного вздоха. У первого старосты полились из глаз ручьем слезы. Он бросился к ней, схватил в охапку и, подняв вверх, спросил: «Что сделалось с тобой, милая девушка?» Она вместо ответа захохотала, прижалась к нему и сказала тихо:

«Где я?» Тут все ясно поняли, что бедная Аннушка *рехнулась*.

Отец, дядя Карп и жених подняли страшный вопль, какой бывает при опускании в могилу любимого человека. «Теперь поздно, — сказал староста, утирая платком усы и бороду, с которых ручьем текли слезы,— я покудова возьму ее к себе; авось не даст ли бог своей помощи».

Староста увел ее, и мы обедали как на поминках. Много кое-чего было поесть и попить, но никто ни к чему не дотрогивался. Иван боялся взглянуть на брата Карпа, Карп — на жениха, а сей — на обоих. Но что говорить долго? Жених на другой же день уехал, через несколько недель умерла добрая Марья, и Иван, считая себя виноватым в смерти ее, закручинился, захворал и скоро после скончался. Карп взял к себе Аннушку, призывал множество знахарей, множество потратил денег, но помощи нет как нет; Аннушка все та же.

Тут старуха отерла слезы, сползла с печки и сказала:

— Добро, почивай, а я пойду навещу Аннушку.— Она вышла.

Тщетно вертелся я по полатям, не могши сомкнуть глаз. Образ любезной и не в меру несчастной Аннушки носился передо мною. Однако в самые сумерки начал я дремать, как опять дверь избы отворяется, и слышу вой моей хозяйки.

— Что тебе сделалось? — спросил я.

— Ах, Симоныч! Если бы ты видел! До самых сумерек сидела я у Аннушки и слушала ее унывные песни. Подали свечу, для того что дядя Карп лучин и терпеть не может. Вдруг кто-то стучится; отворяется дверь, и видим: входит высокий детина в зеленом платье, да и на шапке его зеленое перо. Мы сейчас догадались, что он — солдат и егерь. Аннушка уставила на него большие глаза свои, равно как и я. Она побледнела, а я, прости господи мое согрешение, была столько глупа, что, узнавши гостя, закричала: «Андрей! Ты ли это?» — «Андрей!» — сказала тихо Аннушка, протянула руки, хотела встать и опять упала на скамью. Все мы бросились к ней, она вздохнула раз, два, три; глаза закрылись, и, Симоныч, уже Аннушки нет более на свете. По первому зву прибежали и священник и староста и утвердительно сказали, что к завтрему надобно готовить гроб. Ах, моя Аннушка, милая Аннушка! Не сходнее ли бы мне, дряхлой старухе, опуститься в землю, чем тебе, милая девушка!

Старуха рыдала неутешно. Я на один шаг, так сказать, видел несчастную, но не мог удержаться от слез.

— Что ж там делается? — спросил я.

— Сам посуди! Андрей или умрет скоро, или также сойдет с ума; дядя Карп как отчаянный; староста как малый ребенок; один добрый отец Михаил, хотя сквозь слезы, утешает всех. Не будешь ли ты завтре на похоронах?

— Сохрани меня боже,— отвечал я.— Не мудрено, что еще войдет блажь в голову поколотить дядю Карпа!

— Да он-таки того и достоин, — отвечала старуха и опять ушла.

Отдохнув довольно в сей деревне, я решился с первыми петухами ее оставить; хозяйка моя пришла домой около полуночи и, уставши от похоронных хлопот, крепко заснула. В уреченное время встал я, оделся, положил на стол несколько денег и, перекрестясь три раза, вышел на улицу и пустился в путь, прося бога сделать настоящую жизнь Аннушки блаженнее прежней.

Глава V

Страсть к наукам

Я был уже верстах в пятнадцати от деревни, когда взошло солнце, и твердо решился не останавливаться нигде более суток, дабы тем скорее достигнуть знаменитой столицы Москвы. Март месяц делал путь мой легким, и я чрез две недели достиг сей великолепной столицы, которая мечталась мне еще в Фалалеевке.

Я стоял у Серпуховских ворот около часа и пялил глаза во все стороны. Народ, подобно волнам большой реки, колебался. То въезжали в город, то выезжали в каретах, колясках, на санях, санках, а щеголи и на дрожках, ибо уже показывалась в некоторых местах каменная мостовая. Крик людей, стук и скрипение экипажей такой делали шум в ушах, что я с непривычки не мог ничего расслышать и в глазах затуманилось. Давно мне хотелось есть, но я боялся пройти ворота. Однако, видя других, которые не лучше были одеты, а входили бодро, перекрестился и последовал их примеру. Не успел я пройти улицею шагов

сто, как ужас мой был неописан. «Поди! поди!» — кричали мне сзади. Я оглянулся, и вижу карету, быстро скачущую в шесть лошадей. Я бросился опрометью вправо. «Поди!» — кричат и тут. Карета мчалась встречу. В совершенном помешательстве кидаюсь влево. «Поди!» — встретило меня и там. «Ну, пропал я», — думал сам в себе; совершенное отчаяние овладело мною; я попятился назад и услышал звонкое: «Ах!» Едва успел оглянуться и увидеть молодую, богато убранную женщину, за которою шел господин, весь в галунах, и только хотел поучтивее извиниться, сказав, что у меня назади нет глаз, а потому простили бы великодушно, что я толкнул ее, как великорослый господин в галунах подбежал ко мне и так ловко треснул кулаком по макуше, что я зашатался и грянулся наземь. «Ах! — раздались опять разные голоса, но уже страшно басистые, — ах, разбойник! Но нет, не уйдешь!» Два бородатые мужика подняли меня, держа за ворот, и один говорил: «Видишь ли, злодей, что ты наделал! Целый лоток с пирогами опрокинул в грязь! Сейчас заплати мне за весь убыток, или пойдем на съезжую!»

— Что это такое съезжая, друг мой? — спросил я.

— А такое милое местечко, где сейчас допытаются правды и вдруг обиженной стороне окажут должное правосудие!

— Правосудие? — вскричал я задрожав. — О, изволь, друг мой, я убыток плачу! Как велик он?

Мужик начал считать пироги.

— Видишь, их было тридцать три, и каждый по грошу; смекни-ка, что будет?

— Пятьдесят шесть копеек, — отвечал я.

— О, о! — говорил мужик, чеша затылок,— видно, без съезжей не обойдется?

— Да сколько же?— вскричал я нетерпеливо, вытащив кису с мелкими деньгами.

— А вот видишь: три раза по двадцати, и стало восемьдесят, да за три девять копеек, потому что эти три пирога очень изувечены; итого девяносто пять. Ну, отсчитывай, а не то ступай со мною! — Он взял меня за ворот; но я, боясь, чтоб не насчитал более рубля, сейчас расплатился и пошел далее медленными шагами, лепясь около стены. Мужик собрал пироги, обдул, обтер и опять закричал:

— Сюда, сюда! у меня горячие!

Прибившись к постоялому двору, я нанял уголок и расположился жить, пока не найду тропинки к славе и счастию. Хозяйский сын, великий весельчак, обещался на другой день показать Москву и все в ней любопытное. Он сдержал свое слово и неделю целую водил по всем улицам, площадкам и соборам. В первые дни с каждым шагом удивление мое умножалось. Как скоро попадался господин в галунах, я намеревался на сажень отпрыгнуть в сторону, но проводник меня удерживал за руку, говоря: «Не бойся, это простой слуга, но, как видно, богатого человека или мота. По времени узнаешь ты и таких людей, которые, промотав имение, живут только игрою; нередко ложатся спать с тощим желудком, а наутро выезжают в карете четвернею, имея лакея, блестящего золотом».

Скоро я познакомился с улицами московскими и, бродя иногда довольно далеко, находил свою квартиру, прося проходящих указать мне дорогу в улицу, в которой квартировал я.

Во время таковых прогулок я всякий раз останавливался перед дверьми, над которыми прибита была картина, изображающая корабль у пристани, из которого выгружали бочки на берег, где сидела госпожа богато одетая, а дьявол подавал ей виноград. Всякий раз рассматривал эту картину несколько минут. Однажды, как я глядел долее обыкновенного, вышел из дверей купец с черною бородою и спросил ласково: «Что ты здесь зеваешь, молодец?»

Я чистосердечно открыл ему удивление, что нарисованная госпожа с таким довольным видом берет виноград от злого духа, о котором и помыслить страшно! Купец захохотал громко и сказал: «О! видно, ты недавно здесь; а то бы довольно насмотрелся на таких духов. Здесь их много; и знатные барыни не отказываются от их прислуг».

Купец насилу мог вывести меня из недоумения, в коем был я погружен его словами, рассказав обстоятельно об арапах. «Как я примечаю, — говорил он,— что ты здесь не имеешь никакого дела, не хочешь ли идти ко мне в приказчики? На первый случай занятие твое будет немудреное; а именно: из бочек переливать вино в бутылки и, засмолив их, приклеивать ерлычки. Содержание у меня недурное и плата достаточна».

Я с охотою согласился на его предложение, в тот же

день рассчитался с содержателем постоялого двора, перешел в погреб к купцу, искупил постель с прибором, на толкучем рынке — изрядное платье в купецком вкусе, и на другой же день вступил в отправление должности, любуясь сам собою.

Время текло быстро. Дело свое делал я сколько можно лучше, и все меня любили, то есть хозяин, жена его и кухарка. Я старался быть всеобщим другом и успел всех в том уверить. Настала весна. Хозяин мой, Савва Трифонович, любил меня как родного. Каждый раз как езжал он на Воробьевы горы или в Марьину рощу с самоваром и пирогами, женою и приятелями, всегда брал и меня. Жизнь моя была покойна, но скоро переменилась от самого мелочного случая.

Однажды, будучи в погребу один, услышал я голос прохожего, кричащего: «Книги, книги!» Охота читать была во мне одною из врожденных. Я зазвал его и купил несколько поэм, трагедий, комедий и философических романов. Заплатя деньги, я получил от торгаша в придачу: «Логику» и «Метафизику» Федера и Баумейстеровы сочинения.

Я проводил целые ночи в чтении; прочел поэмы, трагедии, комедии и оперы, но, признаюсь, не нашел в них ни складу ни ладу. Везде ложь, фанатизм, приноровление ко времени, старание угодить большим людям.

«Эти вздоры меня не тронут»,— сказал я важно, уложив все поэмы и феатральные сочинения под кроватью, чтоб могли пауки завести гнезда прочные. Начавши читать метафизику, я не мог не плениться, хотя и ничего не понимал. Чем далее читал, тем воображение мое становилось пылчее; но — увы! — чем с большим жаром старался я постигнуть истину, тем с большим жаром она от меня уклонялась. Я гонялся за нею, как страстный любовник за несговорчивою красавицею; но проку не было нисколько. Занимаясь метафизическими делами, я забыл о физических, то есть засмолять бутылки и прилеплять к ним ерлыки. Господин Савва Трифонович заметил упущение по должности, напомянул мне раз, другой, а после сделал и выговор.

— Что же делаешь ты, господин Чистяков? Разве все спишь?

— Ах, нет! — отвечал я, — меня соблазнил злой дух, и я начал учиться метафизике!

— О небо! — вскричал купец,— и подлинно злейший

из нечистых духов в тебя вгнездился! Возможно ли, не зная ничего более, как читать и писать, и то кое-как, приняться за такую великую науку? Если хочешь быть счастлив и продлить свой век без больших хлопот, то, пожалуй, кинь метафизику, а всем сердцем прилепись к познанию доброты вин и искусству поддабривать. Будущим великим постом еду я в Петербург покупать на бирже вино, возьму тебя с собою, и ты скоро ко всему прилепишься и по времени будешь сам хорошим купцом! Подумай-ка хорошенько о деле и кинь пустяки!

Сколько ни умно говорил купец, но никак не мог выбить из головы моей прелестной метафизики, в которую влюблен был я страстно и клялся вечною верностию. Я ужасался изменить такой великой науке, которая измеряет все сущее и несущее; рассуждает о духах, об аде, рае и о прочем такой же важности.

Добрый Савва был терпелив; великодушно сносил леность мою еще несколько месяцев; наконец, видя, что я близок к помешательству, сказал однажды:

— Ну, Гаврило Симонов, вижу, болезнь твоя неизлечима. Так и быть; буди воля божия! Я тебя полюбил и хотел устроить твое счастие; но как всякий человек полагает счастие по-своему, то и я не противлюсь. С приятелем моим Бибариусом, славным здешним метафизиком, уже я условился. Он соглашается принять тебя к себе, поить, кормить и обучать всем наукам в течение трех лет за сходную цену. С богом!

— Нет, великодушный покровитель мой, — вскричал я, тронутый его щедростию,— я сам столько имею денег, что могу довольствовать высокоученого Бибариуса.

— Оставь упрямство,— отвечал купец,— надень это платье, мною приготовленное, и пойдем.— Он купил для меня кафтан, панталоны и жилет — словом, все нужное, чтоб представлять порядочного статского человека.

Когда одевался я, он говорил:

— Если страсть твоя к метафизике простынет, как обыкновенно простывают все страсти, то приходи ко мне опять, надень прежнее твое купеческое платье и будь участником в трудах моих и выгодах.

— Нет, — говорил я, — этому не бывать! Статочное ли дело, ученому человеку нацеживать вино в бутылки и засмолять их? Ему гораздо приличнее вот так, например...— Тут я схватил бутылку, мигом раскупорил и,

к великому удивлению Саввы Трифоновича, выдудил одним разом полбутылки вина.

— Вижу,— сказал он, — что в тебе есть способности быть ученым человеком!

Бибариус принял нас весьма дружески и не знал, где посадить почтенного Савву Трифоновича. Он был уже седой старик, хотя имел не более пятидесяти пяти лет от роду. Науки изнурили тело его. Смотря на бледное лицо, впалые глаза, трясущийся весь состав, нельзя не сжалиться и не почувствовать сильного омерзения к учености; но я был непоколебим. Условия заключены, телеги с моим имуществом и платою господину Бибариусу приехали, и я остался в его доме, проводя со слезами честного Савву.

— Не плачь, друг мой,— говорил купец,— мы не навек рассталися. В начале каждого месяца бываю я с книгою у господина Бибариуса. Мы будем видеться не редко.

На другой же день принялся за меня ученый и начал с этимологии латинского языка. Он был и подлинно знающий человек, а я прилежный ученик, и потому дело шло успешно, и оба были друг другом очень довольны. По утрам проходили, кроме латинского языка, историю, географию и мафематику. Послеобеденное время посвящено было рисованию и музыке, чему научил меня особый учитель, приятель Бибариуса. Праздничные дни посвящены были покою. Я или прохаживался, или рассуждал с гостьми, посещавшими моего профессора, также людьми учеными, или на досуге дудел на флейте. По прошествии года я довольно был силен в латинском языке и других предметах. Бибариус был рад, и Савва Трифонович еще больше. Он из благодарности удвоил плату, и потому почтенный профессор принялся с новым жаром на другой год. В присутствии Саввы он открыл уроки свои рассуждением, что начать учиться, так же как начать исправляться в пороках, никогда не поздо. «Многие,— говорил он,— начинали знакомиться с науками в маститой старости и достигали степени великих философов. Дарования в людях разделяются розно. Одни в первой юности обнаруживают величие и богатство своего гения, каков был Пиндар, Тасс, Волтер и другие, которым удивлялись уже и тогда, когда они не могли надеть платье без посторонней помощи. Другие, напротив, как, например, Мильтон, в преклонной старости

начали свои творения, достигали храма славы и получили венцы, вечно зеленеющие, хотя могилы их поросли травою, прахи разрушились и рассыпались. Памятники великих людей воздвигнуты в душах потомства; и они не прежде разрушатся, как солнце померкнет и прежняя нестройность воцарится в мире».

После такого предисловия Савва Трифонович удалился, вероятно опасаясь, чтобы не соблазниться и не кинуть погреба, пристрастясь по-моему к наукам. Тут началась логика, мафематика, энциклопедия, римские права, моральная философия и проч. и проч. Словом, в продолжение еще двух лет я сделался самым ужасным ученым, который готов нападать на всякого прохожего и мучить диспутами о душе, об уме, о жизненных духах и других важных предметах. На флейте также играл довольно приятно. Торжество мое было неописанно. Где ни ходил я, что ни делал, все мечтались мне разные части философии. Потеря Феклуши нимало меня не трогала. Конечно, должно было сему случиться, чтоб соблюсти равновесие мира. Почему знать, что не расстроилась бы Harmonia praestabilitata[1], если б не украли моего сына? Даже во сне мне являлись жизненные духи в видах различных.

Надобно признаться, что профессор мой, как ни учен, как ни добр, был, однако, человек и имел слабости, не говоря о великой склонности к раскупориванию бутылок, он же пламенно любил и жену свою, о которой я не сказал ни слова, потому что в течение трех лет не видал ни разу и от него не слыхал ничего, а знал от посторонних. Так он был очень ревнив? — спросите вы. Разумеется! Другая слабость,— кажется, несовместна в голове ученого человека,— страшно боялся чертей, привидений, мечтаний и всего тому подобного. С великим жаром рассуждал он о чертях, доказывая возможность не только их существования, но и явления людям в различных видах животных. «Ибо,— примолвил он,— если б черт (которое имя происходит от слова «черчу, очертываю», то есть окидываю сетями, ловлю) явился в собственном виде, человек не снес бы того и, конечно б, умер».

Я крайне дивился сим слабостям в таком разумном старике.

[1] Предустановленная гармония *(лат.)*.

Глава VI

Успехи в любви и науках

Когда курс учения кончился и я в глазах Бибариуса, и особенно в своих собственных, казался достойным вступить в большой свет для сыскания звучной славы, учитель мой в один день велел мне быть готову выдержать испытание. На сей конец созвал он около дюжины ученой собратии, которые в таких случаях никогда не отказываются от зва, и пригласил Савву Трифоновича, который и явился, сопровождаемый работником, обремененным кульками; а что в них было, легко всякому догадаться.

Тут каждый из ученых начал задавать мне вопросы, кто из онтологии, кто из пневматологии, кто из богословии естественной. Сначала я немного смешался, но скоро так приосамился, говорил так резко, что самых испытателей привел в удивление. «О! видно, вы, господин Бибариус,— говорили почтеннейшие мужи,— не тщетно теряли время над сим человеком; он стоит похвалы и награды».

После сего старший из них встал, взял большой исписанный лист бумаги и прочел гласно, что Гаврило Симонов сын Чистяков получил свидетельство об успехах в науках за общим их подписанием, которое иметь для всякого должно быть лестнее, чем множество патентов.

Все по старшинству подписали, и бумага вручена мне. Я был вне себя от восхищения.

После сего началась пирушка во всем значении сего слова и продолжалась до ночи, то есть до тех пор ели, пили и кричали, пока все осипли и языки не в силах уже были выговаривать и русских, не только латинских слов. Добрый Бибариус ни в чем не уступал каждому. В следующее утро я принес должную благодарность своему благодетелю за его попечения и клялся вечно оные помнить.

— Этого не довольно,— говорил старик,— что я сделал; я приискал тебе и местечко, которое вскоре ты получишь. Тебе известен господин Ястребов, которого племянников обучал я некогда; он — знатный дворянин. Секретарь его — уже старый человек и более не нужен; а потому, как скоро кончит он какое-то важное поручение в Петербурге, то тотчас и отставлен будет, а на его место будешь определен ты. Не дивись: он это обещал мне и, верно, сделает!

— Я не тому удивляюсь,— вскричал я,— что вы хотите еще меня благодетельствовать; я знаю ваше доброе сердце и привык видеть беспрестанные ваши одолжения! Меня поражает то, что его провосходительство хочет удалить человека за то, что он устарел, служа ему!

— Это в моде между знатными людьми,— отвечал Бибариус с важностию опытного человека.— Всякий хочет теперь иметь секретаря — молодого человека, который был бы ловок, умел ходить, сидеть, смотреть, как водится в свете, и был бы собою недурен, чтобы гости и гостьи не улыбались, на него глядя. Это и благоразумно. Что толку в старике, как бы он знающ ни был?

Я поверил господину Бибариусу и спокойно ожидал отставки устарелого секретаря. Вы спросите, неужели-таки все эти три года провел я так единоообразно, без всякого приключения, которое бы стоило того, чтоб о нем упомянуть? О! со мною случилось немаловажное приключение, которое, сколько ни было само по себе приятно, однако после погрузило меня в печаль и сетование.

Однажды под вечер вошел ко мне Бибариус с веселым видом и выступая прямо, что было редко, ибо он ходил обыкновенно повеся голову. Несколько раз гляделся в зеркало, гладил себя по щекам и прихорашивался. Я думал, не с ума ли сошел господин ученый, как он подошел ко мне и спросил:

— Каков я кажусь тебе, господин студент? не правда ли, что ты почитал меня дряхлым и ледащим, ни к чему не годным старичишком? А? не так? Знай же, что очень ошибался! Сказать ли правду? Я чрез несколько месяцев буду отцом: жена моя сегодни мне то объявила!

Тут обнял меня дружески и, севши, продолжал:

— Я буду говорить с тобою откровенно. Около пяти лет, как я женился на дочери пастора. Как она ни была ловка, приятна, занимательна, однако я заметил, что уже были у нее родины. Хотя сие меня и не очень трогало, однако я, не знаю почему, сделался ревнив, и в продолжение пятилетней брачной жизни ни один мужчина не видал жены моей.

— Ревность есть порок,— отвечал я,— и надобно от него остерегаться. Иногда муж, слишком ревнуя к своей жене, сам бывает причиною, что она забывает правила благопристойности и делается неверною.

— Быть может, и правда,— отвечал профессор,— но дело иное — преподавать уроки нравственной философии,

а иное — поступать по ним. Возьми всех великих людей нашего отечества и увидишь, что и они не без слабостей; пишут так, а делают иначе. Итак, мудрено ли, что профессор метафизики ревнив, а особливо имея на то основательные причины? Так, молодой друг мой, я из всех возможных зол избрал меньшее, то есть, женясь, я запер жену, как колодницу, и до сих пор никуда не выпускаю. Приятно мыслить мне, что в этом отношении я — султан, хотя у меня одна, а не тысяча невольниц.

— Дело доброе,— говорил я,— но зачем жену вести на счете невольницы?

— Кто хочет быть совершенно покоен,— отвечал профессор,— тот, по моим мыслям, должен так делать. Творения, женщинами называемые, суть нечто особенное! Что сегодни их прельщает, то завтра будет предметом ненависти. Что любит поутру, то под вечер сделается постылым. Из одной ветрености, любопытства, от безделья, или, как они сами выражаются, вздумалось полюбить то, что прежде было в омерзении. На сем глубоком познании основал я брачную жизнь свою; и благодарю провидение, что до сих пор не имел причины раскаиваться. Нимфодора, жена моя, кроме меня и старой поварихи, никого не видит; зато она целомудренна, честна, предана мужу и скоро его сделает отцом миленького Аполлона или молодой Музы!

— Ваше добросердечие и откровенность,— сказал я,— требует ответствия. Признаюсь перед вами, что и я довольно счастлив в любви, скоро буду отцом и всем, однако же, обязан ревнивому мужу!

— Как? каким образом?— вскричал Бибариус.

— Извольте выслушать,— отвечал я,— и после судите. Около шести месяцев назад, идучи по нашей улице и рассуждая о аргументах а priori и а posteriori, противу соседских ворот услышал я тихий голос: «Гаврило Симонович!»

Я остановился, увидел древнюю старуху и спросил, что ей надобно.

— Хотите ли быть счастливым человеком,— говорила старуха,— и умеете ль хранить тайну?

— Сколько тебе угодно,— отвечал я, предчувствуя, что это будет любовное приключение. Проводница взяла меня за руку, привела на дворик, что подле нашей квартиры, и ввела в покой. Там нашел я прекрасную жен-

щину около двадцати пяти лет, которая приняла меня учтиво.

— Какова она приметами? — спросил Бибариус побледневши,— и не смежны ли покои те с нашими?

— Что с вами сделалось? — вскричал я.— Вы несколько переменились в лице!

— Это ничего,— отвечал профессор, успокоясь,— у меня такая привычка; ревнивость к жене переменилась во всеобщую. Я не могу покойно слушать ни об одном любовном приключении, не поставя себя на месте бедного мужа, отца или брата. Однако это ничего. Пожалуй, продолжай, а я мешать не буду.

— Когда обыкновенные приветствия кончились,— говорил я,— красавица извинилась в причинении мне труда звом своим. Я узнал, что она несчастна и требует моей помощи. «Я слышала,— говорила она,— что вы человек искусный и знаете способ помочь злополучной. Муж до такой степени ревнив, что я со дня брака до сих пор не вижу в глаза ни одного мужчины; он утешается моими стонами, но не доставляет мне никакого удовольствия и держит взаперти, как узницу. Я не в состоянии более терпеть; хочу с ним развестись и в этом требую вашего содействия».

Прежде нежели мог я что-нибудь советовать, чувственность сказала мне: «Не упускай удобного случая». Я послушался ее голоса и скоро был счастливым любовником. Едва первые порывы страсти кончились, как услышали мы звук ключа, отпирающего дверь той комнаты, где мы находились. «Боже мой,— сказала незнакомка,— это муж! Куда деваться?» Тут схватила она меня, указала рукою, и я вмиг очутился под кроватью. Муж вошел, пыхтел, шарил, жена тысячу раз спрашивала, что ему надобно, но он не отвечал ни слова. Когда ушел, заперши по-прежнему дверь, я выполз из-под кровати и наградил прелестную половину его нежнейшими ласками. Она клялась мне безмерною любовию, а меня принуждала обещать хранить тайну и никак не разведывать, кто она такая!

Около полугода прошли в таких забавах. Муж очень часто заставал нас, но присутствие духа моей любезной никогда ее не оставляло. Она прятала меня то в шкап с черным бельем, то в угол за салопом, то где ни попалось, только бедный старик никак не мог найти своего соперника. Третьего дня она удвоила мое благополучие, объявив, что носит в утробе плод моей нежности. Итак, гос-

подин Бибариус, я сам скоро буду отцом, хотя и не будут называть меня сим именем!

Тут обнял я почтенного старика с сыновнею нежностию, но он казался каменным. Пот лился со лба ручьем, колена его дрожали, он хотел что-то сказать, но только стон выходил из посиневших губ его. Не отвечая ни слова на мои приветствия, он вынул из комода ключ, взял меня за руку и повел в кабинет, в котором я не был ни разу, ибо он никогда не призывал меня туда. Я не нашел там ничего. Профессор отпер дверь в другую комнату, ввел меня, прошел еще две и, указав на вставшую с крайним удивлением женщину, спросил: «Она?»

Я чуть не лишился чувств, узнав мою незнакомку. Она была не в лучшем положении. Гнев на мою открытность, стыд при взоре на мужа сделали ее бесчувственною. Я ожидал важных происшествий, готовился выдержать свою ролю, как должно неробкому человеку, которого судьба поставила на скользкую дорогу, но дело обошлось без моей храбрости. Бибариус подошел к жене, ласково обнял ее и сказал:

— Не бойся! все известно мне, и я прощаю. Один я виноват. С сих пор клянусь оставить глупую ревность, ключ от дверей закинуть в колодец и плод любви твоей к сему другу любить, как родное чадо.

Я не ожидал такого оборота, а особливо от ученого; ибо класс сих людей нежность обращения ставит в порок. Но Бибариус был, как видно, сверх учености и умен. Я обнял его с горячностию сына и обещал не посещать более его терема. Мы все помирились и ужинали в первый раз все трое вместе.

Скоро секретарь г-на Ястребова возвратился из Петербурга, исправя очень хорошо свое дело, а потому скоро был отставлен, и Бибариус повел меня к боярину. Я трясся как в лихорадке, вступая в палаты вельможи. Юлий Кесарь не в большем был затруднении, переходя с войсками Рубикон, как я, переступая пороги. Г-н Ястребов был мужчина около сорока пяти лет, высокого росту, крепкого сложения и самого спесивого вида. Он кивнул головою к Бибариусу, окинул меня всего глазами и спросил: «Вы согласны на известном положении остаться служить при мне?» — «За счастие почту угодить вашему превосходительству»,— отвечал я, низко изгибаясь. Он сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я удовлетворительно, и ему понравился. В тот же день простился

я с благодетелем моим Бибариусом, который не мог удержаться от слез, расставаясь, и обещал с всею нежностью любить дитя, имеющее произойти от его супруги. Но бедный человек! Не прошло и месяца, как лишился скоропостижно жизни, и достойная супруга его, которую бросился было (я) утешать, спустя неделю по смерти мужа вышла замуж за какого-то француза, который отправлял стряпческие дела. Недоброхоты поговаривали, что жена немалое участие имела в апоплексии мужа, но мало ли что наскажут злые люди. Мне, как и должно, указали двери, и я кинул навсегда неверную.

Около полугода уже служил я г-ну Ястребову, и, казалось, были друг другом довольны. Я старался не только угодить ему или жене его, но самому последнему слуге в доме. Мало-помалу входил я к нему в доверенность и достиг того, что надменный вид Ястребова делался снисходителен при моем появлении. Скоро привык я к своей должности, писал и переписывал беспрестанно и приобрел доверенность г-на Ястребова до такой степени, что сделался его Меркурием в любовных делах, а с тем вместе получил офицерский чин и общее почтение от всех, имевших в нем нужду. Да! и великие люди не без слабостей. Все происходим от Адама!

Однажды, позвав меня в свой кабинет, он сказал: «Я полюбил тебя, господин Чистяков, и хочу сделать счастливым; только требую, чтоб ты был предан ко мне искренно и берег мои тайны, как должно секретарю». Когда я уверил его в беспредельной моей привязанности, он сказал: «Так, я богат и знатен, но не могу обойтись без посторонней помощи. Госпожа Бывалова вздумала полюбить меня. Она — дама знатная, давно вдова и везде уважена по бесчисленным связям родственным. Это последнее обстоятельство прилепило меня к ней всем существом, выключая сердце, ибо оно принадлежит прекрасной Лизе, которую я обожаю и которую содержу на своем иждивении. Видишь, что две противодействующие силы обладают мною, не говоря уже о жене, которая и до сих пор влюблена в меня до дурачества и преследует каждый шаг мой. Итак, господин Чистяков, это обстоятельство принуждает меня вверить тебе тайны мои. Года четыре назад жена моя, усмотря, что я отлично вел одну из ее горничных девушек, так осердилась, что готовилась подать разводную, и родственники насилу ее от того отклонили. Из сего ты можешь заметить, что надобно тайну

хранить как можно лучше. Хотя я жены и не люблю, однако, имея возрастных дочерей, соблазна подавать не надобно. Вот тебе два письма: одно к Лизе с извещением, что буду у нее ужинать; а другое к госпоже Бываловой с извинением, что я до такой степени занят, что никак не могу посетить ее прежде завтрашнего утра!»

Едва я вышел из его комнаты, как одна из девушек позвала меня к госпоже. Я нашел ее одну, лежавшую на софе, опрысканную духами, натертую белилами и румянами.

Сделав мне предисловие, в коем объясняла надежду свою на мой ум и проницательность, она открыла, что тому уже около осьми дней, как прельстилась молодым драгунским офицером, который давно за нею волочится, и она, видя непорядки мужа, решилась сделать счастливым нового искателя; а потому намерена дать ему о том знать запискою, которую приготовила.

— Ну,— примолвила она,— можешь ли ты хранить тайну? а счастлив будешь! Доставь это письмецо к господину офицеру по надписи и ожидай надлежащей награды.

Я не знал, что и делать. Столько вдруг поручений! Отказаться после сделанной доверенности, значит раздражить. Итак, я, уверив ее превосходительство в совершеннейшей преданности, вышел, имея три любовные письма.

Глава VII

Награда чистосердечия

«Вот тут-то надобно показать, что недаром учился,— говорил я, оставшись наедине.— Всем угодить невозможно, а особливо в одно время; итак, надобно подумать! Его превосходительство на вечер будет у Лизы, поутру у госпожи Бываловой. Итак, теперь же побегу к сей знатной особе, а там и к прелестнице. Отказы надобно делать скоро. Хотя я теперь в связи с знатными людьми, однако дурных привычек их перенимать не хочу и волочить никого не стану».

Утвердясь в сих похвальных мыслях, я пошел к превосходительной. Вошед в переднюю с гордым видом, так,

как секретарь и посланник знатного любовника, я был остановлен слугою, который не пускал меня далее.

— Ты, дружок, меня не знаешь,— вскричал я,— вот письмо от его превосходительства Ястребова, и я секретарь его, а притом и офицер.

— Хотя бы вы были он сам, то и тут нельзя. Ее превосходительство изволит теперь молиться, и никто не смеет помешать; подождите, она скоро позвонит.

«Молится,— думал я, садясь на скамейке,— вот забавно! Она молится вечером за те грехи, которые будет делать ночью. Прекрасно! Это значит располагаться в делах своих хозяйственно».

Уже составил я прекрасную речь, которую готовился говорить к прекрасной госпоже Бываловой, как она позвонила. Меня вводят, и я вижу женщину около сорока лет, застегивающую щипцы у молитвенника. Она умильно на меня взглянула, сняла очки и спросила: «Ты от него?» — «Так, ваше превосходительство»,— отвечал я, подав письмо. Она взяла, вздохнула и начала читать; но приметно было, что чтение не очень ей понравилось. Кончив чтение, она наморщилась и после спросила: «Который вам год?» — «Двадцать осьмой»,— отвечал я. «Что получаете жалованья?» — «И сам покудова не знаю; что угодно будет назначить его превосходительству».

— Если он скупо будет награждать, то приходите ко мне,— говорила новая моя покровительница,— я взяла на себя обязанность исправлять его недостатки.

Поблагодаря ее превосходительство за то участие, которое она во мне принимала, пошел с другим письмом к прелестной Лизе. Она жила в изрядных покоях, прибранных очень чисто. Вошед в гостиную, я увидел Лизу, роскошно лежащую на атласной софе. Когда прочла письмецо, то спросила: «Вы служите у господина Ястребова?» — «Так,— отвечал я,— у него исправляю я должность секретаря».— «Старайтесь не потерять этого места; его превосходительство бывает щедр и награждать любит. И прежний секретарь оставался бы, но он, будучи стар и притом неловок, не мог нравиться его домашним. Госпожа Ястребова,— продолжала Лиза,— не из числа древних пастушек, которые любили долго воздыхать по-пустому. Нет! она объявляет торжество своего победителя и сама ждет случая наградить его в минуту слабости, как она обыкновенно выражается. Но как у нее вся жизнь

состоит из таких минут, то один насмешник сочинил изрядную эпиграмму, которая носилась по городу целые два дня».

— Почему вы так хорошо ее знаете? — спросил я.— Не думаю, чтоб вам случалось часто видеться!

— Напротив,— отвечала Лиза,— мы с нею хорошие приятельницы и часто сходимся в феатрах, клубах и маскерадах. Собственно из угождения к ней оставила я прекрасного офицера и занялась ее мужем. Я наперед поздравляю вас, господин Чистяков, с занятием настоящей должности и советую не упускать случая к выказанию своих достоинств.

Когда я вышел, то не мог надивиться ветрености Лизиной. «Правда,— говорил я,— письмо к драгуну довольно убедительный знак скромности госпожи Ястребовой, однако Лиза делает худо, да и глупо, о том объявляя, а особливо посторонним».

На другой день поутру, когда вошел я в кабинет Ястребова с бумагами, он показался мне весел и доволен сам собою. «Вы Лизе очень понравились, господин Чистяков, и она просила меня не оставлять вас в нуждах. Я обещал и сдержу слово; а на первый случай вот жалованье за прошедшие полгода и за полгода вперед».

Спрятав деньги в карман, я поклонился и, наполнясь благодарного усердия и преданности к особе его превосходительства, сказал с жаром: «Милостивый государь! Я почувствовал к вам искреннюю приверженность и старался доказать то во всякое время. Я был бы истинно счастлив, если б ваше доброе имя не страдало. Я очень понимаю, что значит честь, а особливо в высокой фамилии. Вы добродушны и смотрите вокруг себя спокойными глазами; меж тем другие клевещут, осмеивают и во зло употребляют доверенность вашу. Вот, милостивый государь, доказательство справедливости слов моих! Прочтите эту бумагу и принимайте свои меры!»

Тут подал я письмо жены его к драгунскому офицеру. Он прочел со вниманием, поглядев на меня пристально, и так захохотал, что я боялся, чтобы он не лопнул. Он велел позвать жену, и когда она явилась, то он все продолжал хохотать. Я не понимал, что бы это значило и как можно так веселиться, читая любовное письмо жены к офицеру. «Что с тобой, друг мой, сделалось?» — спросила жена весело и также смеясь, не зная еще и причины мужней радости.

— Я удивляюсь, сударыня,— отвечал муж,— что ты, имея дочерей-невест, сама так неопытна! Можно ли было думать, чтоб этот фаля, этот питомец Бибариуса, способен был к делам, требующим ловкости, тонкости и большой привычки. Ну, теперь ты сама себя наказала за непростительную нерасторопность. Думала ль ты, что нежное письмо твое, над которым, вероятно, столько времени ломала голову, вместо прекрасного молодого драгуна будет читать твой муж? На! Пошли с кем-нибудь другим!

Изумление супруги было неописанное, равно как и мое. Она покрылась багровою краскою и, приняв письмо, вышла, взглянув на меня крайне сердито. Я стоял, побледнев и дрожа во всем теле!

— Видишь, как ты глуп, господин студент! Что толку в твоих науках, когда они не делают тебя умнее, а вместо покровительства навлекают гнев и гонение. Ты стоишь большого наказания, но я извиняю; однако сам догадаешься, что после случившегося тебе в доме моем нет места. С богом! Выйди в сию минуту и больше не показывайся на глаза.

Как увидел он, что я от крайнего изумления не трогаюсь с места, то дал знак двум дюжим лакеям, которые схватили меня за ворот, вытащили из кабинета, там приемной, там со двора за вороты и, толкнув в шею, оставили на улице.

«Ну вот тебе и награда за усердие и преданность! — говорил я, идучи по улице.— Видно, люди совсем переменились или в книгах пишутся одни небылицы! Я и до сих пор иногда вздыхаю тяжко, вспоминая о Феклуше, а господин Ястребов чуть не захохотался до смерти, читая об очевидной неверности жены. Чего ж ожидать от детей? Что скажет такая мать дочери, начинающей развращаться? Что подумает сын о всем поле, видя старую мать свою на пути срама и поношения?» Тут с чувством прочел я стишок из Горация, где стихотворец говорит:

Damnosa quid non imminuit dies?
Aetas parentum, pejor avis, tulit
Nos nequiores mox daturcs
Progeniem vitiosorem [1].

Я направил шаги к дому г-жи Бываловой.

[1] Чего не изменит губительное время? Отцы наши, быв хуже дедов, произвели нас худших; а мы в свою чреду произведем потомство порочнейшее.

Привратник сказал, что она поехала к обедне, оттуда будет в гостях, там у вечерень, после в феатре, на ужине,— словом, меня уверил, что в тот день ее нельзя видеть. Итак, я пошел слоняться; побывал в Кремле, посетил некоторые церкви, и когда настало полуденное время, то я начал думать, в котором бы трактире отобедать. Подходя к одному, я остановлен был наружностию знакомого, как казалось, человека. Он стоял, опершись об угол и устремив глаза в землю. Лицо его было бледно, взоры пасмурны, платье в лохмотьях; это была картина нищего, стыдящегося своего состояния.

«Кто бы подумал,— говорил я,— что сей бедняк тот самый Хвостиков, который за два года так часто посещал Бибариуса, прежнего учителя своего! Но тот был полон, весел, а этот...»

Я подошел ближе и с сердечным участием обнял старинного знакомца. Когда первые приветствия кончились, он говорил:

— Так, любезный Чистяков; счастие гневно обратилось ко мне спиною. Теперь я в таком положении, что хоть в воду. Жена с грудным младенцем сидит без куска хлеба. Они ожидают меня, а чем мне их обрадовать? Я сам тощ, наг и бос!

— Это худо,— сказал я,— тем более, что сегодни и сам я лишился места единственно по глупости; однако у меня денег довольно, и я поделюсь, а там посмотрим! — Восхищение Хвостикова было непомерно; он не мог наблагодариться. Искупив все нужное к обеду, мы с довольными лицами пошли к нему на квартиру, где он просил меня пожить, пока не найду приличного места. Дорогою он мне говорил следующее:

— Первая глупость моя, которая стоит наказания, была та, что я по выходе из училища скоро женился, не подумав прежде, чем буду кормить жену и будущих детей. Марья, дочь дьячка, у коего квартировал я, была та соблазнительница. В первый год супружеской жизни померли тесть и теща и родился сын. Тебе известно, что в свете таков обычай, что без денег ничего нельзя сделать. Человек рождается, окрещивается, растет, женится, родит, умрет — на все и всегда надобны деньги; а как у меня их было мало, то в один год дошли мы до нищеты. Но пока был я при месте, то хотя кое-как пробавлялись; потеряв же с месяц тому назад место службы, я удивляюсь, как до сих пор не умер с голоду.

Причиною сей потери было глупое чистосердечие и преданность к пользе вельможи! Тебе известно, что я служил в канцелярии графа Дубинина, человека знатного и слывущего умницей. Я преклонился к пользам его всею душою; старался как можно угодить, но гордый вельможа смотрел на меня тем величавым видом, который говорит: «Ты червь; ползай во прахе и считай себя счастливым, что я из презрения не хочу раздавить тебя!» Долго выискивал я способы обратить на себя милостивое его внимание, как, наконец, подумал, что нашел желаемое. Заметил я, что граф не только не знает правил русского красноречия, но даже и правописания. «Постой же,— думал я,— при первом случае обнаружу в себе великого знатока в том и другом; приобрету удивление, а там и любовь. Чьим достоинствам удивляются, тех и поневоле любят». Скоро нашелся к тому прекрасный случай. Граф, спеша куда-то ехать, подал мне письмо, сказав: «Запечатай и теперь же отошли по надписи». Когда я остался, то прочел письмо и к великой радости нашел, что в нем были беспрестанные ошибки против свойств языка, грамматики и правописания. Подумав хорошенько, я начал поправлять; чернил, вычернивал и так написал письмо графское, что ни одного слова живого не осталось. Совершив такой славный подвиг, я положил письмо к нему на стол и спокойно пошел домой, думая, как приятно удивится граф, узнав, что в штате его есть такой великий мудрец.

На другой день, как скоро явился я, он спросил: «Письмо отправлено?» — «Никак нет, ваше сиятельство; вот оно! Не угодно ли прочесть вновь; у вас было довольное количество ошибок, и я выправил; теперь думаю, получше будет!»

Представь себе грозный и вместе презрительный вид, с каким взглянул на меня граф Дубинин. Ужас объял меня; я дрожал; но преступление уже сделано. «Меня учить вздумал ты? — сказал он тихим и протяжным голосом.— Мне учитель не надобен! — С сими словами исщипал он письмо с моею поправкою в лоскутки, кинул мне в глаза и, отворотясь, проворчал: — Поди с глаз, скот, и никогда не являйся!»

Вот тебе, любезный друг, моя повесть. Вперед поклялся я не поправлять ошибок знатных людей, чтобы после не каяться.

Когда он кончил рассказ свой, мы пришли в его квар-

тиру, или, лучше, нору, где нашел я молодую женщину с дитятем. Она была довольно недурна, несмотря на нищенское платье; приняла меня ласково, особливо когда Хвостиков объяснился, что я — их благодетель. День прошел весело, и ночь проспал я покойно на войлоке.

Наутро пошел я к почтенной г-же Бываловой, но она была заперта в молитвенной; прихожу в другой и третий раз, и она то у обедни, то у всенощной. «Вот редкая женщина,— говорил я, — по-видимому, ей не более сорока или сорока пяти лет, а она только и думает о святости. Это похвально, и нельзя сердиться, что меня не допускает. Когда-нибудь да увижу эту добрую барыню, которая сама вызвалась пособить мне в нужде».

В сем ожидании провел я недели три и почти начал терять терпение.

Глава VIII

Невидимка

Наконец настало благополучное время; меня допустили к госпоже Бываловой. Она сидела на софе пред налоем, на коем лежала большая церковная книга и ноты. Она начала речь: «Ты, может быть, удивляешься, что я так долго тебя не допускала. Мне известно, что ты лишился места, и догадывалась, что ходишь ко мне искать покровительства; потому, прежде чем могла что-нибудь обещать тебе, хотела удостовериться, будешь ли ты того стоить, то есть имеешь ли те добродетели, которые мне нужны: терпение и скромность. Как ты оказался соответствующим моим ожиданиям, то я и склоняюсь в твою пользу. Хочешь ли служить у меня секретарем? Дело твое будет вести мою переписку, где ты должен сохранить нужную скромность; а в свободные часы читать мне духовные книги, на что понадобится терпение. Содержание все мое, а сверх того, и порядочное жалованье. Согласен ли?»

Что тут упорствовать? Я в тот же день переселился в дом ее от Хвостикова и месяца два провел очень хорошо. Дом госпожи Бываловой, один из лучших домов в городе, не мог мне не понравиться. Хотя служителей обоего пола было и много, но управитель, человек опытный,

содержал в нем такой порядок, что все сие множество составляло как бы одно семейство.

Корреспонденция наша была не обширна, и мне заниматься письменными делами ее было нетрудно; но зато чтение житий немного тягостно. В десять часов вечера в доме все утихало, и я входил с нею в молитвенную, садился за налой, она подле меня, и чтение продолжалось иногда за полночь. Ее превосходительство вздыхала, плакала от умиления и говорила: «Ах! когда любовь человека к человеку бывает причиною важных происшествий, то что может любовь духовная?» Такой восторг мешал ей замечать, что у меня пересыхало во рте и язык мешался. Однако, как она всегда поступала со мною ласково, содержание было хорошее, жалованье получал исправно, а сверх того, и подарки, то я продолжал службу ревностно и не роптал; да она и наперед сказала, что я буду иметь нужду в терпении.

Прошел и еще месяц жизни моей в сем доме, как ее превосходительство сделалась больна и не выходила из спальни; а потому как письма, так и чтение остановилось, и я имел время отдохнуть. Однажды в полночь я просыпаюсь с удивлением. Нечто пламенное сжимает меня в объятиях, осыпая страстными поцелуями. На вопрос мой: «Кто?» — мне отвечают на ухо, так тихо, что с трудом можно слышать: «Молчи, любезный друг, и пользуйся своею победою. Если ты скромен, то счастье твое будет постоянно. Никогда не спрашивай меня ни о чем; в последний раз говорю с тобою». Незнакомка замолчала, но зато не переставала оказывать нежных ласк. Я кинул все расспросы. Часа чрез два невидимка ушла, а я уснул очень приятно.

На другой день пристально разглядывал я всех женщин в доме, но догадаться не мог. Одна толще, другая выше и проч. и проч. Постороннему, однако ж, нельзя. Проходит день, другой, неделя; болезнь госпожи моей не уменьшилась, и незнакомка продолжает посещать исправно мою келью. В угодность ей я молчал и не тратил времени в пустоглаголании. Чрез месяц, не к великой, однако ж, для меня радости, госпожа дома вышла, и занятия наши начались. Хотя невидимка реже ко мне приходила, однако все-таки бывала и ласки ее не охладевали.

Прошел год, как я блаженствовал в сем доме и не мог ничего пожелать лучше; однако враг-искуситель

наустил меня, и я пожелал видеть незнакомую любовницу. Как ни старался я умерить любопытство, представляя, что тем огорчу ее стыдливость; но нет! Демон силен; одолел мое благоразумие, и я решился употребить тот же способ, как и Апулеева Психея, желая увидеть нежного супруга.

В одну ночь, когда я пришел в спальню после чтений Миней, причем слушательница немало воздыхала, обращая слезящие глаза к небу, я зажег прежде приготовленный потайной фонарик, поставил его под кровать и с трепетом сердца ожидал прибытия таинственной богини. Она и не замедлила. Когда настала минута, удобная к открытию тайны, я склонил руку под кровать, вынул фонарь, открыл и — о небо!..

«Ах!» — вскричал я. «Ах!» — вскричала г-жа Бывалова.

Тут я увидел ясно свое неразумие, но весьма поздо. Пролитое полно не бывает. Ее превосходительство вскричала и скоро скрылась за висевшую картину. Я долго стоял как помешанный, а осмотрев картину, нашел за нею потайную дверь, которая вела в маленький коридор или гардеробную. Оставшись один в жестоком отчаянии, проклиная пагубное любопытство и любопытных, я оделся, спрятал в карман деньги и вещи, подаренные госпожою, сел в креслы и решился дожидаться окончания плачевной сей комедии.

На рассвете услышал я на дворе стук кареты и звук бичей. Когда же все замолкло, то управитель вошел в мою комнату, вручил почтительно письмо и стал к стороне, ожидая ответа. Я распечатал и читал:

«*Малодушный!*

Или не довольно оказала я тебе свою слабость, что решился сделать меня посмешищем целому дому? Разве ты был недоволен? Разве имел в чем нужду? Признайся, что нет; а только ветреность и хвастовство исторгли из рук твоих счастие, тебя ожидавшее. Я полюбила тебя нежно и хотела сделать счастливым, если ты будешь послушен. Я не находила надобности принуждать себя; ибо, имея большой достаток и знатное имя, мне не для чего лишать себя удовольствия. Видишь, какого благополучия лишился ты по своей необузданности? Теперь все потеряно, и невозвратно! Я уезжаю в украинские свои деревни;

а ты, думаю, также не почтешь приятным оставаться в моем доме. Управитель мой выдаст тебе две тысячи рублей в награду за труды твои. Суди, сколько бы ты был счастлив, если б менее любопытствовал».

Первая мысль по прочтении письма была потребовать от управителя обещанных денег; но он извинился, представляя, что у него наберется не более тысячи рублей, которые и получу я, если дам расписку в две. Я охотно исполнил его требование, получил деньги и вышел с тем, чтобы никогда не возвращаться. Будучи богат, я нанял порядочную квартиру и слугу; занялся чтением, прогулками и феатрами. До сего последнего рода увеселений я скоро пристрастился; посещал почти каждое представление и вознамерился сам сделаться комическим сочинителем. Феатр всегда казался мне превосходным заведением, имеющим право едва ли не на большее уважение, чем некоторые училища. Правда, нередко лицо Александра Великого, или Тита Веспасиана, или Марка Аврелия представляет бездельник, развратник или плут. Но какое мне до того дело; только бы хорошо действовал. Что мне нужды, что девица, представляющая невинность, готовую взойти на эшафот, только бы не осквернить чистоты своей от прикосновения могущего тирана, на самом деле есть беспутная девка, которая ищет пожилых сиятельных сатиров, дабы поубавить золотистое их сияние? Если она на феатре богиня, с меня и довольно: пусть дома будет, чем хочет. Большая часть многоученых людей порицают актеров домашнею жизнию, а в некоторых государствах правосудие так было неправосудно и жестоко, что лишало их чести погребения.

Так рассуждал я на досуге, как объявили в газетах, что в такой-то день будет в первый раз представлена драма, в которой первую роль будет играть новоприезжая из Петербурга актриса Фиона. Если б я знал содержание той пиесы, то, верно, не пошел бы; но, не зная, я полетел. Народа было стечение великое; нетерпение всех видеть Фиону было чрезмерно, и едва показалась она, как гром рукоплесканий раздался по партеру. Я пялил глаза, сколько мог; и чем более глядел, тем больше уверялся, что славная актриса Фиона есть почтеннейшая княгиня Фекла Сидоровна Чистякова. Рост, осанка, голос — все, все открыло ее в глазах моих! Правда, она сделалась очень приманчива; но чего не делает время! Она, может

быть, также училась у какой-нибудь профессорши, как я у Бибариуса. Различные чувства двигали мною. Любовь, ненависть, сожаление, гнев, чувственность и мщение попеременно овладевали моим сердцем. Когда зрелище кончилось и знатнейшие люди бросились на сцену осыпать новую актрису поздравлениями и обнадежить выгодами, я пошел к выходу, дабы узнать жилище моей княгини, а после уже подумать, на что решиться. Хотя ей было уже за двадцать пять лет, но она с помощию искусства, а особливо на феатре, при свечах, казалась прелестною! Да кто в таких случаях из женщин и не прибегает к помощи искусства?

Подъехала богатая карета князя Латрона, человека весьма знатного, щеголеватого и великого охотника до актрис, танцорок и вообще всех нимф радости и веселия. Феклуша, осыпанная алмазами и жемчугом, вышла, последуемая гайдуками и скороходами его светлости, села в карету и поехала. Я бросился бежать сзади и столько имел силы, что не упустил из виду ни на минуту. Карета остановилась на Тверской улице у великолепного дома. Феатральная богиня вышла и скрылась.

Почти всю ночь провел я без сна, рассуждая, что мне делать с своею женою. Я весьма хорошо знал по слуху, что князь Латрон есть человек значительный; а потому и заключил, что не он был похитителем моей княгини. Разные страсти меня тревожили; от любви переходил я к ненависти, и мщение кипело в сердце. С таким намерением переменил я квартиру и нанял комнату в трактире на Тверской улице, чтоб удобнее исполнить план свой. Дни проходили за днями и составляли месяц, а я страдал и не мог видеться с женою. Сто раз лучше не видать неверной, чем быть свидетелем ее бесчинства. Смотря на нее в феатре, я почти не узнавал ее. Та ли это Феклуша, которая в набойчатом платье выходила ко мне на огород или изгибалась под коромыслом? Нет! Это знатная женщина, воспитанная в неге и роскоши. Ее надменный вид, ухватки, поступь — все показывает глубокое познание нравов настоящего времени и уверенность в своем превосходстве и любезности.

Зима наступила. Вечером сидел я у себя в комнате и без всяких мыслей смотрел на дым, выходящий из моей трубки. Прошедшая жизнь представлялась мне в том порядке, как она происходила; задумчивость овладела мною, как голоса двух человек в боковой комнатке рассеяли

меня. Они были трактирные мои знакомцы и соглашались звать меня пить чай. И подлинно, один скоро взошел, сделать предложение, и я не отказался. Один, молодой человек в двадцать пять или под тридцати лет, приятный собою, довольно востер, знающ в светском обращении и тому подобном. Товарищ его был около тридцати пяти лет, так, как и я, пасмурен, угрюм и нелюдим. Однако нам не мешало это быть веселыми. Выпив по стакану пуншу, мы сделались откровеннее обыкновенного, и веселый приятель спросил меня: «Скажи, пожалуй, друг мой, нет ли у тебя в Орловской губернии в селе Фалалеевке родственника князя Чистякова?» Сначала сей вопрос привел меня в замешательство; но я скоро оправился и отвечал бодро: «Ты удивляешь меня, говоря, что есть князья моей фамилии. Я сын серпуховского мещанина, очень бедного, и за воспитание, каково ни есть, обязан благотворению посторонних людей».

— Я очень рад,— сказал незнакомец,— что ты не из роду князей, из которых одного изрядно я попотчевал. Слушай мою повесть: она коротка и не наскучит. У меня есть прекрасное намерение, которое теперь же сообщу и тебе; я думаю, ты не откажешься пособлять честному человеку в добром предприятии. Уверяю, раскаиваться не будешь, ибо прибыль пополам.

Он начал следующим образом.

Глава IX

Тройственный союз

Отец мой, господин Головорезов, был богатый дворянин, имевший усадьбу и дом недалеко от славного города Курска. Воспитание мое было по-тамошнему самое лучшее. В семнадцать лет я умел читать и писать по-русски, а на французском языке мог браниться не хуже всякого француза. Отец мой любил до крайности псовую охоту и меня; мать же мою и сестру ненавидел, ибо последнюю почитал он залогом любви жены своей к кому-то другому. Хотя все соседи старались разуверить его в сем, как они говорили, предубеждении, однако отец мой находил причины им не верить. Главное упражнение мое было ездить с отцом на охоту; на досуге же я гонялся за дворовыми девками и, собрав слуг, велел им бить друг друга и не мог налюбоваться, видя кровь, текущую из зубов и носов,

а волоса, летящие клоками. Отец дивился остроте изобретения сего и уверял, что я со временем буду великим человеком. Когда мать моя вступалась за кого-либо, отец кидал на нее взор презрения и заставлял меня плевать ей в глаза, что и делал я с великим искусством.

Дела наши шли довольно хорошо, но один неблагоразумный поступок отца все испортил.

Однажды он, возвращаясь с охоты, где был и я, заехал к крепостному нашему кузнецу. Как батюшка был тогда более надлежащего в духе, то начал очень нескромно шутить с женою сего Вулкана, пригожею чернобровкою, настоящею Венерою. Ковач сильно рассердился, и скоро дело дошло до того, что мужик схватил молот и грозил размозжить ему голову. Тут я советовал отцу отложить расправу до утра; но когда урожденный дворянин послушается совета, сколько бы, впрочем, оный ни был разумен? По его приказанию кузнеца схватили, связали руки и ноги, взвалили на наковальню, и батюшка имел удовольствие отомстить ему самым жестоким и позорным образом. Я возвратился домой и как ни наказывал псарям молчать о сей шалости, но проклятые проговорились, все в доме узнали, и не успел еще батюшка поутру воротиться из кузницы, как прибывшая из Курска команда его взяла, и через несколько времени его отправили, как слышно было, охотиться за Байкалом.

Оставшись полным господином над поступками своими, я захотел быть один господином имения; а потому, посоветовавшись с разумным псарем, поехал в город и подал челобитную, в которой изъяснял, сколько умел, что один имею право на наследство.

Дело мое длилось около полугода; я прожил уже четвертую долю имения, то на обеды, то на подарки, как, наконец, вышло в мою пользу. Сестру совершенно отлучили от наследства, а о матери сказано, что я обязан кормить ее по смерть.

Возвратясь с торжеством в деревню, я объявил решение суда. Бедняжки ахнули: мать рыдала, а сестра упала на колени. Но я был мужествен, как и должно дворянину; сестру вытолкал в шею, объявив ей, что в Курск прибыл из Москвы один князь, который охотно принимает к себе в услужение хорошеньких девушек; мать поселил я на скотном дворе.

Два года жил я прямо по-дворянски. У меня были каждый день пиры, игрища, скопление друзей бесчислен-

ное; зато я каждую неделю давал и вексельки, но нимало о том не беспокоился. Один из приятелей уверил меня, что в Москве и Петербурге все знатные люди так поступают. Однако все скоро взяло другой оборот. Несговорчивые заимодавцы, наскуча моими отказами, приступили к суду, который был тогда для них уже снисходителен. Все имение мое описано, продано с публичного торгу; я выехал из деревни с двумя слугами и несколькими сотнями денег. В Курск стыдился я показаться, а потому поехал искать счастия в Орле. Но как и там, думал я, если не мое имя, то, верно, отцовское известно по сказанному происшествию, то рассудил за благо назваться щеголеватым именем князя Светлозарова.

В лучших домах принят я был отлично. Я не совестился рассказывать о своем богатстве, о знатности и силе близких родственников, а все с тем намерением, чтобы соблазнить какого-нибудь богатого купца отдать за меня дочь свою. Это — единственное средство поправить худые обстоятельства промотавшегося дворянина.

Между многими домами я очень часто вхож был к господину Перевертову, старому богатому откупщику. Он был большого роста, имел голову с котел, был сед, но вместе миллионщик, и потому принимаем был везде с отличною почестью. Он имел одну только дочь, устарелую невесту, и на нее-то обратил я все мое внимание, а отцу оказывал всевозможные услуги.

Старый Перевертов хотя был очень скуп для других, но для своих увеселений не щадил ничего. Обычай его был странный. Конечно, оттого, что родился в низком состоянии, он под старость не кинул подлых обычаев. Он имел на содержании купецкую дочь, крестьянку и горничную девку, которые стоили ему недешево. Сего рода богини требуют от богатых и старых любовников не менее расходов, как и знатные барыни.

Однажды старый Перевертов позвал меня таинственно в свой кабинет. Я думал, что он, уведав угождение мое к предурной его дочери, прельстился моим сиятельством и сам мне станет предлагать о женитьбе, как он вывел меня из заблуждения следующим объяснением: «Любезный князь! Ты, может быть, удивляешься моему вкусу, что я не ищу любви у этих щеголеватых барынь и их манерных дочек? Так! терпеть не могу тощих и бледных, вертлявых кукол, у которых в пятнадцать лет седеет воображение, утомленное феориею наслаждения в любви.

Мне нравятся одни простого состояния женщины, которые богаты телом; а до духа мне и дела нет! Знай, любезный князь, у меня есть на примете прекрасная крестьянка, хотя она слывет и княгинею. Около двухсот верст отсюда есть деревня Фалалеевка, наполненная бедными князьями. Жена одного из таких князей, не более двадцати лет от роду, румяна, здорова, полна. Я ничего не пожалел бы, только б ее достать в деревенский сераль мой. Не возьмешь ли на себя, милый друг, привезть ее; ибо мне в такие лета обольщать в глазах мужа трудно. Издержек я не пожалею; и дам тебе письмо к тамошнему старосте, который много мне обязан и не пожалеет трудов.

Подумав несколько времени, я охотно согласился. «Теперь-то и угодить старому сатиру»,— думал я и чрез несколько дней выехал в сопровождении одного своего слуги, запасшись золотыми колечками, сережками, платками, тафтою разных цветов и прочими приманками деревенских красавиц. Я уноровил так, что приехал в Фалалеевку в самую полночь. Когда староста прочел записку, в которой, между прочим, сказано, что за содействие в моем предприятии обещается ему сто рублей, то не знал, как лучше принять меня. Мне хотелось быть никому не известным, а потому он отвел мне светелку, коляску запер в сарай, а лошадей —в конюшню и, узнав на другой день, в чем состоит дело, вышел молча; через полчаса вошел с молодою девушкою, которую я прежде почел было за княгиню Чистякову, как он сказал: «Вот вам, сиятельнейший князь, княжна Макрида Угорелова, которой Фекла Сидоровна, вас пленившая, хорошая приятельница». Я прослезился перед Макрушею, объявляя, как я горю пламенем к прекрасной ее подруге. Не знаю, мои ли слезы, или кольцо, надетое на ее палец, а платок на шею, вдруг ее убедили, и она поклялась, что я скоро получу желаемое.

И подлинно, на третий день после сего свидания княжна пришла ко мне с княгинею, и под каким-то предлогом нас оставили одних. Мне, хотя урожденному дворянину, Фекла показалась пригожею, и мысль овладеть ею сделалась господствующею. Может быть, вы, господин Чистяков, не знаете, как легко привлечь деревенскую красотку. Я вдруг поцеловал ее руки и упал на колени, клянясь вечною любовию. Она, бедняжка, сего никогда не видала от мужа своего, деревенского пентюха, и менее

нежели через час, смеясь и плача, сделалась моею. Ее неловкость мне полюбилась, и я решился, вручив старосте обещанные сто рублей, провести с нею несколько времени в полном удовольствии, пока склоню ее бежать со мною, ибо она тогда не решилась. Спустя дней пять она пришла ко мне с узлом и сказала: «Поедем! Я теперь уверена, что в этом нет греха: муж мой растолковал, что другие делают и более». В ту же минуту я ускакал и скоро прибыл в деревню, где господин Перевертов имел свою дачу, которую назвал «Пафосом».

Старик был в восхищении, но зато молодая крестьяночка сильно испугалась, узнав, что я был временный любовник, а постоянный будет он. Несколько дней она не хотела осчастливить его, но после подарки влюбленного, мое красноречие, примеры купеческой дочки и комнатной девушки решили ее сомнения, и Перевертов в одно утро вручил мне дорогой бриллиантовый перстень, сказав, улыбаясь: «Вот вам за труды, князь!»

Случай сей почел я благоприятным и, с великим жаром объявив страсть мою к его дочери, просил родительского соизволения. Он выпучил глаза, в которых совсем я не находил желаемого ответа. «Как? — вскричал он.— Вы так далеко смеете простирать свои желания? Это крайне безрассудно! Разве не знаете, что дочь моя единственная наследница обширного имения, собранного мною неусыпными трудами в течение каких-нибудь пятидесяти лет? Многие богатые люди, имеющие высокие государственные чины, давно ищут руки ее; но я не тороплюсь. Ей еще не исполнилось и тридцати, а невеста с миллионом приданого найдет знатных и молодых женихов и в пятьдесят лет. Прошу, князь, со мною не ссориться и сейчас оставить дом мой с тем, чтоб более не показываться». Он отвернулся и ушел. Я велел заложить лошадей и уехал от неблагодарного, проклиная его со всеми миллионами.

В продолжение почти пяти лет вел я жизнь кочевую. Объездил множество городов и сел; сносил счастие и несчастие и, прибыв в Москву, подружился с сим почтенным приятелем, который так же, как и я, борется с судьбою. Он оставил скупейшего отца, попа фатежского, и пошел искать счастия.

Вдруг вспомнил я о Сильвестре, о попе Авксентии и фатежском правосудии и смешался; но скоро, пришед в себя, спросил:

— Что же далее, почтенный приятель?

— А вот,— продолжал он,— скоро услышите. Прожив в Москве несколько времени, я нечаянно увидел мою Феклушу на феатре, и мгновенно страсть моя возобновилась не столько к ней, сколько к бриллиантам, на ней блиставшим. Скоро узнал я, что она на содержании у знатного польского боярина князя Латрона, который, будучи уже полустар, так ревнив, что и представить невозможно. Он не отпускает своей пленницы никуда без себя, и в феатр ездит она в его карете, в сопровождении кучи слуг. Однако, несмотря на сии предосторожности, я успел увидеться с нею после представления. Она узнала меня, приятно удивилась и со слезами рассказала, что готова бы мне отдаться со всем своим имением, которое не ничтожно, но не знает как и боится старого богача, который очень могущ. «Нет, ничего, прелестная моя Феклуша,— отвечал я,— посмотрю и, верно, найду способ похитить тебя из когтей зверя». Однако, сколько мы ни думали с Сильвестром, моим другом, не находим возможности двоим управиться. Одному надобно безотлучно сидеть на козлах, другому быть у веревочной лестницы, ибо все двери на запорах; а третьему —в ее покое и подавать, что полегче и выгоднее. Итак, милый друг, согласен ли ты быть членом в нашем союзе; а ненагражденным не останешься! Имущество разделим на четыре равные части: одну Феклуше, так, как невесте на приданое, а последние три — по себе. Я поскачу в Петербург, а вы куда хотите, и делайте, что вам полюбится.

— Как не соблазниться таким прелестным предложением! — вскричал я с радостию, хотя у меня сердце обмирало, и мщение волновалось с каждою каплею крови. Мы дали друг другу руки и, чтобы союз был крепче, выпили бутылки две вина и разошлись.

Лежа в постели, я размышлял, как бы лучше отомстить обманщику и вероломной женщине. Мне впала предорогая мысль, и я заснул приятно. Сновидения представляли торжество мое.

Поутру, когда товарищи мои принялись каждый за свое дело,—один готовить экипаж, а другой веревочную лестницу,— я бросился в дом Латрона. Слуга сказал мне, что я не могу его тот день видеть, ибо он занят важными делами.

— Это не мешает,— говорил я,— поди и доложи. Дело, за коим пришел я, не есть просьба, до меня касаю-

щаяся; я пришел для него самого. Если теперь меня не выслушает, то завтре об эту пору будет страдать и ужасно раскаиваться.

Слуга, посмотрев с удивлением мне в глаза, вышел, а чрез несколько минут ввели меня в кабинет вельможи.

Глава X

Мщение

Я увидел в нем человека в летах, большого роста и дородного собою. Он сидел за столом, бумагами укрытым, и развернутая книга пред ним лежала. Я поклонился и стоял молча.

— Что скажешь, друг мой? — спросил он.

Когда объяснился я, что имею надобность говорить с ним наедине и по его приказанию слуга вышел, тогда я подробно рассказал об умысле бездельника Светлозарова и вероломной Феклуши. Его светлость запылал гневом и, вскочив, закричал:

— О! я умею отомстить за честь свою! Не ее ли, неблагодарную тварь, из праха поставил я на блестящей дороге? Не я ли осыпал ее благодеяниями? О! сию минуту почувствует она всю тяжесть моего мщения! Она погибнет, как погибает насекомое под моими ногами.

Он хотел было идти, но я осмелился остановить и сказал, низко поклонившись:

— Простите, милостивейший государь, дерзость мою: я советую вам подождать. Вы должны прежде увериться, что я не клеветник и не с намерением сплетаю сказки. А сверх того, для вас не довольно наказать преступницу: надобно, чтоб и тот бездельник, который не страшится сделать вам сие огорчение и возвесть недостойные глаза на предмет страсти такого человека, понес не меньше тяжкое наказание. Итак, я советовал бы вам не только не показывать недовольного вида, но еще сделаться благосклоннее обыкновенного; и вместо того, чтоб запирать двери на замки, отвести ей покой с особливым ходом, чтобы мы не подвергались опасностям лезть по лестницам.

Князь подумал и посмотрел на меня выразительно.

— Понимаю взор ваш, милостивейший государь,— вскричал я.— Вам кажется сомнительно мое предложение? Но кто запретит вам поставить на тайной страже

целые десятки слуг, которые всё будут видеть, будучи сами невидимы?

Это его успокоило, и он обещал, что если слова мои справедливы и он уверится в неверности особы, им любимой, то не оставит наградить меня по достоинству.

Я вышел из его дома очень весел. Нимало жалости к Феклуше не осталось в моем сердце. Пришед в трактир, я не нашел еще моих сообщников и ожидал их с приятным равнодушием. Признаюсь, что мщение есть порок, но оно весьма сродно сердцу человеческому. Как не скорбеть ему, когда предмет единственной любви его, приверженности,— существо, для удовольствия которого не жалеешь трудов, здоровья,— так постыдно изменяет и предается другому, который ничего подобного не сделал? Я начал рассуждать по правилам логики и неоспоримо сам себе доказал, что я делаю прекрасно. Негодных людей должно наказывать как для собственного их исправления, так и для примера прочим.

К обеду собрались в трактир мои товарищи, будучи весьма веселы от успеха в начальных своих предприятиях: Сильвестр приготовил крепкую повозку, запряженную в три лошади, а князь Светлозаров хорошую лестницу. Чтоб быть отважнее, мы принялись за бутылки и на досуге рассуждали, что каждый сделает с своею находкою, которую получит от богатства Фионы.

— Я намерен,— говорил Сильвестр,— блудную жизнь кинуть. Куплю маленькую деревушку и буду заниматься хлебопашеством. Мне наскучило уже предаваться всегдашним опасностям и жертвовать вольностию и, может быть, жизнию из пустяков!

— А я совсем иначе сделать намерен,— сказал князь Светлозаров,— я, живучи в Петербурге, постараюсь определиться к месту, а Фиона выйдет на феатр. Моя ловкость и деятельность, а ее прелести и приманчивость, надеюсь, в скором времени выведут меня в люди. Я знаю многих, которые, идучи сею дорогою, сделались людьми счастливыми!

— И это не худо,— заметил Сильвестр,— но ты, господин Чистяков, что намерен делать с своими деньгами?

Я отвечал, что о том довольно времени будет и тогда подумать, когда положу их в свой карман. Под конец нашего обеда трактирный мальчик ввел к нам в комнату молоденькую девочку, которая спросила: «Где я найду князя Виктора Аполлоновича?»

— А что тебе надобно, голубушка?— спросил он.— Ты видишь его во мне.

Девушка вместо ответа подала ему письмецо, которое как скоро прочел он, то сделался как бешеный. Он прыгал, смеялся, глядел на всех блестящими глазами, а после сел за стол, написал несколько слов и, отдавая девке ответ вместе с несколькими рублями серебра, сказал:

— Поди, душенька, и отнеси это прекрасной госпоже твоей; только будь скромна.

Когда посланница вышла, мнимый князь, выпивая рюмку, вскричал:

— Се жертва благодарности счастию, покровительствующему любви! За мной, друзья, courage! [1]

— Не с ума ли ты сошел, приятель? — спросил Сильвестр.— Что за причина неумеренной твоей радости?

— На, прочти,— вскричал названый князь,— и подивись путям провидения!

Сильвестр читал:

«Я не знаю, дражайший мой, я ли, ты ли, оба родились счастливыми. Не беспокойся более изыскиванием средств к моему побегу; не задумывайся об опасностях, они миновались, и я сегодни же еще успокоюсь в твоих объятиях! Вот что случилось: сегодни поутру против своего обыкновения призывает меня к себе мой сиятельный и, посадив подле себя, говорит ласково: «Любезная Фиона! чувствую, что до сих пор поступал с тобою несправедливо и жестоко. Моя опытность в познании женщин делала меня недоверчивым к твоему постоянству, и я употреблял насильственные меры сберечь твою добродетель. Но как теперь вижу я, что ты — Феникс в женском поле, то сей же час переменяю свое поведение. Прекрасные покои в нижнем этаже, к которым сделан совершенно особенный подъезд, будут твоим жилищем. Ты можешь принимать посетителей и сама уходить к подругам, когда тебе вздумается. У тебя будет свой экипаж, особая услуга, словом, все, что может жизнь молодой женщины сделать приятною».

Я, проливая слезы, бросилась к нему на шею и так искусно представляла лицо благодарности, столько оказала нежных ласк, что он пришел в удивление и посмо-

[1] Смелее! *(фр.)*

трел на меня диким взором. Я, не ожидая такого приема на мои нежности, немного изумилась; но он, приняв прежний вид, сказал: «Хорошо, мой друг, благодарить будешь после, а теперь я обременен делами. Ты будешь обедать в новых своих покоях».

Так, милый друг; это пишу я из той комнаты, где ожидаю тебя в полночь. Укладываться стану не прежде, как наступит ночь, ибо опасаюсь подать какое-либо подозрение. Прости, ожидаю вожделенного часа с неописанным нетерпением».

— Ну, что скажете, господа? Не счастливец ли я? — спросил князь избоченясь.

— Конечно, конечно,— отвечали мы в один голос.

— Право,— продолжал он,— если б я был побольше учен, то на сей случай написал бы превосходную комедию. Да, господин Чистяков, помнится, ты поговаривал, что учился где-то, и довольно успешно! Одолжи-ка, брат, меня и напиши комедию; а предмет, право, того стоит!

— Изволь, я напишу славную трагикомедию и начну трудиться, как скоро кончим свое дело!

— Почему же трагикомедию? Надеюсь, тут ничего печального с нами не будет!

— Ты позабыл разве о князе? Представь положение его завтрашнего дня! Шутка разве лишиться обожаемой любовницы, стольких драгоценностей, и в одно время?

— Правда, дорого бы заплатил, чтоб только увидеть, что он будет делать!

— Ну, если не увидишь, то по крайней мере можешь услышать!

— Авось!

Они начали одни укладываться в повозку, ибо я объявил, что обстоятельства не позволяют покудова оставить Москву.

Желанное время настало. Сильвестр сел на козлы и выехал со двора, а мы с князем пошли сзади пешком. Кибитка наша остановилась шагов за сто от дому князева, и мы, подошед к воротам, нашли стоящую маленькую вестницу Феклушину, которая, взглянув на нас, при помощи фонарика узнала, улыбнулась, отворила дверь, и мы вошли. Прошед около десятка ступеней вверх, поворотили в коридор. Тут я сказал: «Брат, ступай же ты один, а я останусь на страже; не равен случай; как скоро

что позамечу, то сейчас дам знать; а вы убрать нужнейшее можете и вдвоем. Когда же все готово будет, скажи, и я помогу нести». Он был доволен моею догадкою и пошел.

Спустя минут десять я подошел к прихожей Феклушиной, запер дверь и поднял ужасный вопль: «Сюда, сюда! воры, разбойники! бьют, режут!» Я услышал звонкое: «Ах!» Князь толкнулся в двери, но я крепко держал и продолжал кричать. В минуту набежало человек двадцать слуг, вооруженных, а вскоре и сам князь с бешенством, пылавшим в каждой черте лица его.

Отворив двери, мы вошли. Преступники, подобные осужденным на казнь, стояли с помертвелыми лицами. Феклуша, увидя меня, еще вскрикнула и упала в обморок.

— Неверная, неблагодарная женщина! — сказал князь, дал знак, и вмиг их связали по рукам и по ногам.

Увы! я был свидетелем жестокой экзекуции. Феклушу раздели, оставя в одной рубашке... Но зачем описывать жестокость наказания? Оно было соразмерно с ее поступком. Я тронулся ее страданием и несколько раскаялся в своем мщении. Когда сие наказание кончилось, по приказу князя ее подняли, босую в одной рубашке вытолкали на снег и заперли ворота. Я окаменел, страдая об ее участи, но нечего было уже делать! «Вот награда тебе, распутная женщина»,— думал я, стараясь ожесточить сердце, но оно трепетало, и я почти плакал.

Дошла очередь и до его сиятельства. О! с ним неимоверно жестоко поступили. Все тело его обратилось в одну рану. «Так наказываю я,— говорил Латрон,— тех злодеев, которые дерзают оскорблять меня! Отведите сего преступника в погреб и велите домашнему моему врачу посетить его».

Когда слуги унесли Светлозарова, ибо он не только не мог идти, но едва дышал, то князь, оборотясь ко мне, сказал: «Ты, друг мой, приходи завтре после обеда; я буду тогда свободен и постараюсь наградить тебя за твою преданность!»

Я поклонился низко и вышел. Легши в постель в моем трактире, я долго не мог уснуть: происшествия ночи волновали меня. «Какая разница между Латроном и Ястребовым,— говорил я.— Один хохочет, узнав об измене жены своей, а другой неверность любовницы омывает кровию. Тот за усердие выгнал меня с бесчестием из дому, а сей

хочет наградить. Вот как разно платят великие люди за услуги малых людей».

Я проснулся около обедень и рассуждал, каким-то образом наградит меня его сиятельство? Если деньгами или подарками, так у меня и того и другого довольно от щедрот богобоязливой г-жи Бываловой. Всего бы лучше сделал он, если б принял в свою канцелярию. Он так знатен, что скоро мог бы составить мое счастие. А почему знать, может быть он это и сделает? Я довольно учен, обращался уже немало времени в больших домах и стыда ему не сделаю. Стоит мне только намекнуть ему о том, то он, верно, согласится, и я, год, другой послужа, попаду и в секретари его! А это не шутка!

Ввечеру я отправился в путь. Дорогою выступал так важно, так надуто, как человек, из деревенских целовальников в короткое время попавший в откупщики. Крайне жаль было мне, что ни один знакомый не попался навстречу, которому имел бы случай сказать: «Знаешь ли, к кому я иду? К князю Латрону! Он именно сего вечера велел посетить себя!»

Едва вступил я в вороты, как двое огромных слуг подхватили меня под руки и повели вверх по лестнице. Я легко улыбнулся и думал: «Вот что значит угодить знатному боярину! Думал ли я заслужить такую почесть, живучи в Фалалеевке? и в голову не приходило! То ли дело в столице? Правда, Ястребов поступил со мною несправедливо; но вить не все на свете Ястребовы, и князь Латрон ясным тому доказательством». Когда ввели меня в таком параде в кабинет его сиятельства, я увидел, что он бледен, пасмурен и, казалось, сам не свой. Задумчивость его была так велика, что он не приметил нашего прихода, пока слуги не сказали громко: «Вот он!» Тогда господин взглянул на меня кровавыми глазами и молчал. Я, поклонившись низко, сказал:

— Милостивейший государь! вчера имел я счастие получить приказание явиться к вашей светлости.

— Так, коварный бездельник,— говорил он,— ты пришел кстати. Я отблагодарю тебя за услугу, от которой лишился я прелестной Фионы, без коей жизнь мне в тягость! Исполните, что я вам приказывал.

Слуги взяли меня за ворот и потащили. Я трепетал как в лихорадке; зубы мои стучали, губы тряслись, я стонал и не мог произнести ни слова. Страдание Светлозарова живо мне представилось. Проведя меня чрез несколько

дворов, ввели в небольшой погреб, освещаемый малою лампадою.

— Вот постель ваша,— сказал один из проводников, указав на маленькую кроватку, покрытую хрящовым холстом.

Оставшись один, я в помешательстве упал на постель и предался отчаянию.

Глава XI

Отчаяние

До самого утра пробыл я в одинаком положении. Мысли клубились в голове, подобно туманным облакам, вихрем раздираемым. Я старался возобновить в душе прекрасные рассуждения, читанные мною во время учения: «Mundus hic est quam optimus; virtus nullo dominatu premitus» [1] и проч.; но они только меня раздражали.

Около полудня вошел ко мне пожилой мужчина, похожий на дворецкого, судя по румяным щекам и толстому брюху. Он поставил на маленьком столике ржаной хлеб и бутылку с водою. «Что это такое?» — спросил я. «Пища ваша и питье»,— отвечал он; вышел и запер дверь. О жестокость! О бесчеловечие! Можно ли потому только, что богат и могущ, самовольно отнимать свободу у вольнорожденного? Не есть ли это издеваться над законами и пользоваться правом сильного, которое есть то же самое, что право разбойника? Нет, не унижу себя повиновением тирану и отвергну скудный дар его. Лучше погибну голодною смертию, но не забуду, что я урожденный князь и ученый человек!

Я отворотился лицом от стола и упрямился до вечера. Но там начал соблазняться. Взглянул на хлеб и невольным образом начал есть исправно, запивая водою.

Около двух недель провел я таким образом в моем уединении. Всякий день дворецкий посещал меня два раза; приносил хлеб и воду, поправлял лампаду и уходил молча, несмотря на приступы мои с вопросами. Тут пришла мне в голову дорогая мысль. «Что до сих пор дурачусь? — говорил я.— Дворецкий, правда, плотен и брюхат, а я поистощал от долгого пощения, однако ему за пятьдесят лет, а мне нет и тридцати. Что мешает мне, как

[1] Мир сей есть наилучший; добродетель никакою властию не угнетается *(лат.)*.

прийдет ввечеру, на него кинуться, привязать к этому столбу и спасаться бегством? Непременно это сделаю. Убийцы и разбойники усугубляют свое преступление, убегая из заключения, но мне для чего не сделать этого, когда я невинен и заключен в неволе насильством?»

Я вывязал из кровати веревку должной длины, спрятал и ожидал его с трепетом сердца, как бы готовясь на разбой. Он появился, поставил хлеб и воду и едва подошел к лампаде, как я бросился на него с зверством и сшиб с ног. «Ах,— вскричал он,— помилуй!» — «Если ты хоть слово пикнешь,— говорил я,— то сейчас удушу; но если будешь молчать, то дело обойдется тем, что привяжу тебя легонько к этому столбику и уйду. Тогда на первый твой крик кто-нибудь придет, ты будешь свободен, не мучась двух недель и не постясь ни одного часа! Ну, что скажешь? избирай, не мешкая!»

«Что мешкать? — говорил он задыхаясь,— я давно избрал; изволь вязать! Шутка ли морить себя на хлебе и воде?» — Я привязал его к столбу и, пользуясь темнотою вечера, бросился бежать. Не успел я достичь ворот, как раздался жалобный голос моего узника: «Помогите, ах, помогите!»

«Бог тебе поможет»,— сказал я и побежал прытче прежнего в свой трактир. Подошед к нумеру, мною занимаемому, я осмотрел замок и был рад, нашед все в целости; отпираю, вхожу, все на своем месте. «Слава богу,— говорил я,— не во всех трактирах так честны содержатели. Теперь надобно заказать хороший ужин, чтоб наградить убыток желудка с лихвой».Таким образом, поевши со вкусом и выпивши стакана два вина, я лег спать с приятным воображением и проснулся, когда взошло солнце и везде раздавался звон колоколов.

Я почел за благо тотчас рассчитаться с хозяином, укласться и выйти из трактира, ибо уверен был, что князь Латрон от пленного Светлозарова мог узнать о месте моего пребывания и опять похитить в темницу. На сей конец позвал я хозяина и велел подать счет, из которого увидел, что за квартиру и за пищу, за прислугу, за напитки должен я пятьдесят рублей невступно. Хотя это было и крайне дорого, однако, не любя зачинать споров без необходимой надобности, я согласился и пошел в чемодан. Но — увы! — видно, злая судьба при зачатии моем решилась делать мне всякие пакости! Я шарил во всех уголках, но нигде не находил кошелька, в котором лежали мои

деньги. Колена мои затряслись, пот выступил на лбу, и я дрожал, как злодей при чтении ему смертного приговора.

— Что с вами сделалось, господин Чистяков? — спросил хозяин.

— А то,— ответил я с лютостию тигра, потерявшего детей своих,— что вы отведаете московского правосудия! Где девались из чемодана мои деньги? А их было немало.

— У кого был ключ от дверей? — спросил он холоднокровно.

— У меня, без сомнения!

— Дверь ваша была ли заперта?

— Разумеется!

— Все ли было на своем месте, когда вошли вы?

— Казалось так вчера, но сегодня совсем иначе.

— Что вы вчера об этом не сказали? У меня трактир, как океан: беспрестанный прилив и отлив. Вчера ввечеру и сегодни поутру выехали из моего трактира около полусотни людей и столько же въехало новых.

— Но можно ль было подумать,— вскричал я, вышед из терпения,— что в этом океане найду воров и мошенников. Для чего ты — хозяин, что не смотришь? Или ты делишься с плутами и держишь поддельные ключи?

— Господин честный! — сказал хозяин, поклонившись,— если вы не заплатите должных мне денег, а более всего станете упрямиться и нарушать должную тишину и порядок, я позову квартального надзирателя, и тогда поговорите с ним о плутах и поддельных ключах! Прошу подождать! — С сим словом он вышел.

«Что мне делать теперь? — думал я.— Меня ограбили, ничего не осталось, кроме несколько белья, платья и малого количества денег, бывших у меня в кармане во время плена.

Не лучше ли убраться с остатками, пока не посадили в тюрьму?» С сими словами я наскоро уклал в чемодан все и, вышед задним крыльцом, бросился бежать. Гораздо спустя узнал я, что хозяин мой и не думал идти искать правосудия, а только смотрел, что буду я делать. Видя побег мой, он чуть не лопнул от хохота и послал работников, которые на улице, топая ногами, кричали: «Держи, держи!» Я, слыша то, как заяц ударился в сторону.

Я бродил до сумерок по улицам московским, а еще не подумал о ночлеге: так возмущены были мысли мои. Я в таком был огорчении, что жадными глазами смотрел каж-

дому прохожему в лицо, чтобы, узнав в нем вора, грабителя, убийцу, протянуть к нему руку и сказать: «Брат! Я товарищ твой! Станем вместе мстить сим извергам, сим чудовищам, которые называются честные люди!»

Видя везде кроткие лица, умильные взгляды, дружескую улыбку на губах, я говорил: «Нет, не обманете меня, крокодилы! Вы улыбаетесь, но зубы ваши и когти ужасны! Мне надобен друг, у которого бы мрачные были взоры, глаза кровавы, бледные, тощие щеки; чтобы волосы стояли дыбом. В нем познаю я подобного мне несчастного и кинусь в его объятия».

Голова моя закружилась, в глазах потемнело, и я упал в бесчувствии лицом в снег.

Опамятовавшись, почувствовал, что еду в карете. Это меня немало поразило. «Как я забрался сюда,— думал я,— ибо очень помню, что упал в снег». Ощупав около себя, нашел чемоданчик мой при мне. Неужели провидение хочет наградить меня за несчастия, невинно претерпенные? Видно, так! Через четверть часа въехала карета на пространный двор, посредине которого возвышался довольно хороший дом.

Вышед из кареты с помощию двух слуг, весьма усердно мне прислуживавших, вошел я в большую залу и не смел поворотиться от робости и замешательства. Все показывало, что господин дома был богатый и знатный человек. Мне пришло на мысль, не попался ли я опять к князю Латрону, который велел отвезти меня в другой свой дом и там мучить за побег. Я побледнел и задрожал. Тут подошел ко мне человек лет сорока с небольшим, в прекрасном платье, с брильянтовым перстнем на руке и золотыми пряжками на башмаках.

— Вы не робейте, молодой человек,— сказал он дружески.— Это дом такого человека, который не любит, чтобы хотя слеза пала на помост покоев его или один болезненный вздох развеялся в воздухе, которым он дышит.

— Ваше превосходительство! — отвечал я, успокоясь,— я не имею чести знать хозяина сего дома; но смешался несколько при воспоминании одного человека, который крайне меня обидел.

— Благодарите провидению,— говорил незнакомец,— что вы попались господину Доброславову. От него никто не выходит опечаленным, и он, конечно, не оставит пособить вам по возможности.

— Я буду обязан и вашему превосходительству,— отвечал я, низко кланяясь,— если вы, милостивейший государь, замолвите словечко и исходатайствуйте мне защиту и покровительство у господина Добрславова!

Его превосходительство обещал это сделать, я продолжал изгибаться, как двери с шумом растворились и вошел мужчина кроткого вида и величественного роста. Мой превосходительный бросился к нему, снял богатую шубу, и я увидел на груди Доброславова две блиставшие звезды.

Он взглянул на меня милостиво; я поклонился так, что чуть не уперся носом в пол; Доброславов кивнул с улыбкою головою и пошел далее, а за ним и мой знатный, отдав шубу одному из лакеев. С крайним недоумением спросил я у сего последнего, кто тот господин, который пошел позади? «Это Олимпий, камердинер его превосходительства,— отвечал сей,— и также крепостной человек, как и мы!»

Я немного застыдился от своего невежества. Но мог ли подумать, чтоб слуга щеголял в золоте и брильянтах? Конечно, господин Доброславов — примерный барин!

Через четверть часа Олимпий вошел и объявил, что его превосходительству сегодни недосужно заняться мною, а подождал бы до утра. Между тем отвели мне маленькую вверху горенку, довольно чисто прибранную, подали хороший ужин, и я заснул, прославляя благость провидения и щедроты его превосходительства.

Глава XII

Примерный человек

Когда проснулся я и задумался о будущей судьбе своей, вошел ко мне Олимпий и сказал: «Господин наш — примерный человек! Он богат, знатен и много имеет сильных друзей; но все орудия сии употребляет не на что другое, как на благотворения. У него назначено два дни в неделе, в которые собираются к нему все имеющие нужду в помощи. Отставные воины без пансионов, беззащитные вдовы и сироты, бедные девушки, не могущие найти женихов без приданого,— все приходят к благодетельному Доброславову и получают отраду. Он старается делать милости тайно, надеясь, что правосудное небо воздаст ему в день общего суда. Вчера ты испытал над собою опыт его благотворности! Прогуливаясь под вечер в карете, он уви-

дел тебя лежащего в снегу; сжалился, подобно Иерихонцу, вылез из кареты, велел посадить тебя, а сам пошел пешком.

— О, если б,— вскричал я,— таковых людей было больше в свете, то и подлинно он был бы недурен! но покуда встретишься с одним добрым и честным человеком, то тысяча плутов и жестокосердых окрадут тебя, удручат, высосут кровь и после будут тщеславиться, что не съели и с костями!

Около десяти часов позвали меня в кабинет Доброславова. С терпеливостию выслушал он повесть мою, в коей доказывал об успехах в науках, об услугах, оказанных Ястребову и Латрону, и наградах, за то полученных.

Доброславов пожал плечами и сказал с кротостию:

— Что делать, друг мой; в твоем состоянии возьми девизом своим терпение и жди, пока случай переменит твои обстоятельства. Роптать на людей знатных и сильных — значит в волнующееся озеро кидать каменья. Усмиришь ли его этим?

Как скоро ты столько учился, то можешь занять должность, которую тебе предложить я намерен. Хотя и я человек, следовательно, подвержен разным слабостям и порокам, однако по внушению горнего милосердия нахожу сладкую отраду в сердце своем помогать по возможности прибегающим ко мне с просьбами в нуждах. Хочешь ли ты занять место как бы секретаря? Должность твоя состоять будет в том, чтобы рассматривать просьбы, вести реестр и справляться, сто́ят ли помощи те, кои о том просят; ибо нередко разврат надевает личину беспомощной добродетели, получает помощь и употребляет ее к развращению других. Надобно уметь и помогать; иначе вместо благотворителя выйдет развратитель нравов, сообщник бездельников. Я знаю одного вельможу, знатного заслугами предков и чрезмерным богатством. Он захотел слыть милосердым человеком и велел во все праздники дома своего, то есть рождения, именин, венчанья, похорон и проч., развозить по улицам мешки с медными деньгами и давать по нескольку всем, протягивающим руки. Кажется, дело само по себе богоугодное, достойное похвал и подражания; но какие следствия? Благородная бедность кротка и стыдлива, подобно невинной девушке. Она не кричит о подаянии, не бросается в ноги прохожему с пронзительным визгом; но стоит, потупясь, и предоставляет испытательному взору доброго человека по ее бледным щекам,

по тяжким вздохам, по своей застенчивости судить, что она имеет нужду в помощи.

Богач мой думал не так. Толпа нищих бродяг обоего пола и разного возраста окружала с воем возы его с деньгами. Все получали, а которые проворнее и бесстыднее, те два и три раза вдруг. Оттуда бросались в шинки, напивались, бесчинствовали и, пропив всю ночь, выходили на улицы грабить прохожих.

Я не хочу сего. Итак, друг мой, буде ты согласен у меня остаться, я рад. Ты будешь отыскивать несчастливцев, убитых роком, которые вздыхают втайне и молчат. Приводи таковых ко мне; доставляй случай услаждать судьбу их и разделяй со мною сладость благотворения. О! благословение утешенного страдальца есть благовонный фимиам пред троном горнего милосердия! Оно, подобно чистой воде, омывающей тело, омоет душу твою и, уподобя ее некогда верховному херувиму, сделает достойною стоять при олтаре небесного агнца.

Слезы выпали из очей добродетельного; он отер их с улыбкою, и я, бросясь со слезами к ногам его, целовал с умилением благодетельную десницу. Я вступил в должность столько приятную и с месяц плавал в удовольствии. Ах! как сладостно быть утешителем несчастного! Для сего только пожелал бы я богатства, пожелал бы скиптра и диадимы!

Утро посвящено было отобранию просьб и рассмотрению оных; послеобеденное время употреблял я на освидетельствование просящих. Куда ни появлялся, везде встречаем был стонами, воплями, клятвами в неимуществе, а провожаем уверениями в вечной благодарности. Однако я на все смотрел испытующим взором и нередко отказывал; именно я, ибо его превосходительство во всем мне совершенно верил. При всей, однако ж, проницательности моей (сколько ее во мне ни было, я всю истощал без остатка), случилось сделать однажды промах, и довольно большой. Молодая девушка, сопровождаема старухою, приступила ко мне с умолением. Описание несчастий ее так разительно, слезы ее о потере матери и брата так трогательны, лицо ее, каждое движение так убедительны, что я совершенно поверил, и красавица с старухою получили помощь довольно значущую, хотя я и не подумал справиться о их жизни.

Недели чрез две после того, призван будучи к Доброславову, я увидел строгость и негодование, носящиеся по

лицу его. Такая необыкновенность меня поразила, и я с робостию спросил о причине.

— Ты сам причиною моего неудовольствия,— отвечал он.— Точно ли ты осведомился о состоянии и роде жизни той старухи и девушки, о коих недавно так много ходатайствовал?

— Признаюсь, нет; но их наружность, их слезы...

— Были обман и притворство! Выслушай, что вышло. С некоторого времени завелась в Москве шайка бродяг, которая наносила беспокойство полиции, а жителям — обиды и грабительство. Долго не могли открыть следа к их убежищу, однако нашли. Старуха и дочь ее, тобою мне рекомендованные, были: первая — содержательница воров, а другая — любовница их начальника. С помощию денег, мною им данных, они бросились подкупить темничных стражей, чтоб, освободя любезных им узников, бежать из города, по крайней мере на несколько времени. Им не удалось, они пойманы, и если ты хочешь удостовериться в истине, выходи в первый торговый день на площадь, где увидишь воздаяние по заслугам.

— Боже! — вскричал я, побледнев и с трепетом отступив назад.

— Друг мой,— продолжал Доброславов,— я не хочу подражать другим, которые, на моем месте, верно бы, тебя за подобную ошибку лишили места. Я требую только, чтобы ты впредь был рассмотрительнее и не почитал того добродетелию, что носит ее образ. Сказывают, что крокодил, заползши в кустарник, представляет плачущего младенца. Неопытный человек приближается, ищет и бывает жалкою добычею ужасному чудовищу.

Я поклялся вновь помнить его наставления и поступать по ним. Год службы моей прошел; я был очень доволен Доброславовым, а он мною.

Пора упомянуть о другом приключении, которое имело на меня большое влияние, или, лучше сказать, я на него. В первые месяцы службы моей у Доброславова, посещая феатры и прочие публичные собрания, познакомился я с молодым французом Лупианом. Он был молод, пригож, ласков, тих и добр, как казалось; и я подружился с ним от чистого сердца. Он родился в Москве, а потому совсем не походил на француза. В короткое время он познакомил меня с своею матерью, славною содержательницею пансиона, где воспитывались молодые девицы из хороших домов. Старуха меня полюбила, и все мы трое

приятно проводили вечера. Меж тем отошел учитель истории; мне предложено место его, и я с радостию принял, рассчитывая, что занимать два места и из обоих получать жалованье, гораздо нехудо. Таким образом, поутру я занимался делами г-на Доброславова, а после обеда часа три преподавал урок и уезжал делать свидетельства о просящих. Я не объявлял о новой должности его превосходительству, боясь, чтоб он не запретил. Корыстолюбие было тому виною, а притом и тщеславие, что я в силах отправлять две должности. «Если не совсем несправедливо сказано,— думал я,— что слуга не может служить двум разным господам, то, верно, уже не для всех: вот я служу двум, и оба довольны мною».

В один вечер мадам, отведши меня в свою спальню, посадила и начала говорить вздыхая: «Я надеюсь, почтенный друг, что вы уважите намерения чадолюбивой матери, и если откажетесь помогать ей, то, верно, сохраните тайну, которую она вверит сердцу вашему. Вы сами можете быть отцом и тогда будете судить, что значит любовь к единственному сыну».

Вступление поразило меня; воображение запылало. Я так живо вспомнил об Никандре, как бы вчера только лишился его, и клялся помогать мадаме в ее предприятиях, чего бы то ни стоило. Она продолжала:

— Вы заметили, думаю я, в пансионе моем девицу Марию, которая так скромна, тиха, прекрасна лицом и душою; но вместе так застенчива, так стыдлива, что краснеет при приближении каждого мужчины? Она не может без трепета выслушать слово «любовь», хотя сама есть плод пламенной любви, то есть побочная дочь одного знатного господина и какой-то княжны, которая скорее согласилась подарить любовника дочерью, нежели выйти за него замуж и тем, огорча своих родственников, навек себя обесславить. «Я охотно бы соединила судьбу мою с твоею,— говорила она в часы пламенных восторгов,— но сам рассуди: предок твой, который первый стал известен в летописях России, жил во времена Петра Великого; а мой был урожденный князь, прямо происходил от Рюрика и уже при дворе царя Иоанна Васильевича Грозного был ближним боярином».

Против таких доказательств и не любовнику устоять нельзя. Он терпеливо ожидал разрешения своей богини, когда она родила Марию, то отдала ее в мои руки на воспитание. Отец и мать по временам клали в один иностран-

ный банк на имя дочери немаловажные суммы, так что теперь ее приданое простирается до ста тысяч. Посуди, любезный друг, какая невеста! Давно назначила я ее для своего сына, который, как сам ты согласишься, ее стоит; но — жестокие предрассудки! — мать ее, которая теперь за князем Деревяшкиным, хотя дряхлым, но презнаменитым стариком, ведущим род свой от князя Кия, и слушать не хочет, чтоб дочь ее была за кем-либо, как не за гвардейским офицером из знатного дома: она очень пристрастна к сему классу! Теперь ты несколько понимаешь план мой. Другого не осталось, как склонить прелестную Марию к любви сына моего; а там, верно, обстоятельства примут другой вид. Гвардеец не возьмет ее, она будет моею невесткою, а вы получите достаточное награждение.

Вы, может быть, не догадываетесь, чего я хочу от вас просить? Выслушайте! Я, как мать, без навлечения подозрений взяться не могу содействовать моему сыну; похвалы матери сомнительны. Вверить кому-либо опасно. Я окружена девицами, их горничными девушками и прочею сволочью, которая редко меня оставляет. Всего удобнее взяться за сие дело вам, человеку постороннему, на которого никто не обращает особенного внимания, а сверх того, учителю! Ну, что вы на это скажете? Согласны ли помогать мне? А благодарность моя будет соразмерна вашему одолжению.

Так говорила красноречивая мадам, и я задумался, что отвечать бы ей на такое лестное предложение. На размышление потребовал я несколько часов и обещался ответ принести на другой день в ту же пору.

Лежа у себя на постеле, я рассуждал так: «Луциан — мой приятель, мать его очень меня любит: почему же и не услужить? Мариина мать, несмотря на свою сиятельность, есть вздорная женщина, которая не заслуживает доброго слова. Она и в пожилые лета так, видно, ветрена, как избалованный ребенок. Я усердствовал двум уже боярам, но награжден худо; теперь постараюсь сделать им противность и посмотрю, что будет!

Поутру написал я на имя Марии письмецо, в котором весьма живыми красками, в самом роскошном, пленительном виде представил любовь к ней милого Луциана. Сколько прелестей, сколько наслаждений, сколько блаженства ожидает ее в объятиях юноши! Я намеревался письмецо это вложить в тетрадь ее, когда буду экзаменовать

при уроке; а потому советовал на другой день доставить мне чистосердечный ответ таким же образом.

Я исполнил по своему предположению удачно, и мадам была вне себя от восторга, о том услыша. «Вы рождены быть великим человеком»,— заметила она, и я улыбался, расправляя бакенбарды. Я соглашаюсь охотно, что таковой поступок мой непростителен и достоин всякого нарекания; но я решился открыть вам всю истину, не закрывая и пороков своих.

На другой день с потупленными взорами, с пылающими щеками, с колеблющеюся грудью прекрасная Мария вручила мне тетрадь свою, в которой я, нашедши письмецо, искусно вынул, и по возвращении в кабинет содержательницы оба прочли следующее.

«Сердце мое не терпит скрытности и притворства. Так Луциан меня любит? Вы доставили мне неожиданную, прелестную новость! Я сама давно люблю его страстно, но боялась обнаружить движение сердца моего. Как скоро вы принимаете в том участие, я более не скрываюсь и скажу чистосердечно, что как только найдете случай, я со всем пламенем повергнусь в объятия моего любезного!»

Госпожа надзирательница с удивлением, подвинув очки на лоб, глядела на меня пристально, а я хохотал во все горло.

— Вот что значит,— говорил я,— быть откровенною, чистосердечною! Вот что значит воспитываться в вашем пансионе!

— Не шутите насчет воспитания в моем пансионе,— сказала мадам,— могу вас уверить, что оно не уступит самому лучшему воспитанию в каком бы то ни было парижском институте.

По довольном совещании переписка продолжалась. Я заставил скоро Луциана писать от себя, то есть переписать мною сочиненное. Нельзя изобразить восхищение молодой невинности, когда она прочла начертание руки своего дражайшего. Словом, не прошло четырех месяцев, как прозорливая мать заметила и сообщила мне, что Мария носит под сердцем залог любви и счастия. «Теперь надобно подумать,— говорила она,— как хорошо кончить дело, которое начато так удачно. Это уже беру я на себя, господин Чистяков, и вас более не затрудняю! Вы можете спокойно ожидать развязки и награды, достойной трудов ваших. Равным образом развлекаться вам ученпем также не советую; посвятите всего себя на услуги Доброславову и оставлены не будете».

Мне чуден показался такой мгновенный перелом; но я успокоился, представя, что и той награды, какую получу после окончания сей комедии, будет для меня достаточно и без жалованья за мои уроки. Я прилепился всею душою к пользам Доброславова, исправлял свою должность, иногда посещал мадам, был принимаем ласково, и жизнь моя текла, как тихий светлый ручей в цветочной долине. Немного, правда, возмутило меня происшествие с прекрасною просительницею, о чем я упомянул незадолго пред сим; но как благодетель мой забыл о том, то и я мало заботился. На целый мир смотрел я равнодушно. Тогда свирепствовали в Польше внутренние мятежи, в Турции — война, в Швеции — голод; но я, вздохнув о бедствии стражущего человечества, говорил: «Сами виноваты! Зачем народ хочет больше значить, нежели должно? Больше быть счастлив, нежели можно? Безумствовать и за то мучиться есть удел бедного человека. Блажен, кто подобно мне, нашед мирное пристанище, живет, довольствуясь малым и не стремясь овладеть тем, что простирается далее круга возможности».

Глава XIII

Царица ночи

В одно утро, когда я, сидя в своей комнате, рылся в бумагах, крайне изумился, услыша в кабинете Доброславова смешанный крик, похожий на женский. Как сего прежде не случалось никогда, то я пришел в беспокойство и бросился туда. Кто опишет мое смятение при виде на такую картину! Доброславов сидел в креслах, положив голову на стол и закрыв ее руками. Мария стояла пред ним на коленях, обнимала с рыданием ноги его и с воплем говорила: «Сжалься, родитель мой!» Подле нее лежало в маленькой люльке кричащее дитя, а в углу стояла, потупясь, печальная мадам.

Едва успел я окинуть глазами все предметы, которые так меня поражали, как мадам взглянула на меня с яростию, подскочила, схватила за руку, и, протянувшись к Доброславову, завопила: «Вот, милостивый государь, тот злодей, изверг, который ввел в соблазн неопытную девицу; он поверг ее своими адскими советами в объятия пылкого Луциана. Вот свидетели его вероломства! Прочтите,

милостивый государь, прочтите и уверьтесь в моей и сына моего невинности. Один хитрый плут сей всему виною. Несчастные письма его, коими развращал он Марию, нашла я, когда бедствие было уже невозвратимо!»

Тут она с видом обиженной невинности подала Добро-славову письма мои к Марии, которые, можно сказать, сама мне диктовала или по крайней мере все читала прежде, нежели отдавал я Марии. Эта новость поразила меня. Я стоял как вкопанный; взглядывал то на мадам, то на Доброславова. Я терялся сам в себе!

Наконец его превосходительство поднялся, взглянул на меня, правда без гнева, но раскрасневшись и с пылающими глазами от негодования.

— Мне недосуг теперь заняться с вами,—сказал он,— подите в свою комнату и ждите, пока я позову!

— Милостивый государь! — вскричал я, рассердясь не на шутку.— Извольте выслушать прежде, нежели обвините!

— Оставьте меня,— сказал он и отворотился.— Я вышел с сердцем, полным досады и гнева на вероломную мадам и легковерного Доброславова. Две недели не видался я с ним, да он редко бывал и дома, как уведомлял меня служивший мне мальчик. Однако стол мой продолжался по-прежнему, и я терпеливо ожидал минуты примирения или совершенного разрыва нашего союза.

В один раз я читал какую-то книгу и остановился на следующем разительном месте: «Безумен, кто дерзнет мечтать, что он знает сердце человеческое, тайные его изгибы, движения, пристрастия, отвращение. Не так непостоянен ветр, носящийся по челу небесному; не так переменно зыбкое лоно моря, как изменчивы, непостоянны сердца человеческие! Мы не понимаем, часто не отгадываем собственных желаний: как же можем постигать чужие?»

Едва кончил я слова сии и начал приводить их в логический порядок, вдруг вошел ко мне Доброславов, сел с важным видом и начал говорить:

— Так, господин Чистяков! Ты причинил мне неудовольствие. Виноват ли ты или нет, но неудовольствие все тем же остается. Дело совсем кончено. Мария уже женою Луциана, который, по моему старанию, пристроен к месту. Я все забыл, простил всех, и прежде нежели мы примемся за обыкновенные дела свои, я хочу знать, какое имел ты участие в сей интриге?

— Милостивый государь! — вскричал я,— если б ма-

дам открыла мне, что Мария есть дочь ваша, то, клянусь, я не вступился бы в такое дело! Но я совсем и не воображал того!

Тут рассказал я с полным чистосердечием обо всем, как происходило. Когда кончил я свою повесть, Доброславов говорил: «Вижу, что ты не виноват в рассуждении меня, и доволен. Но касательно самого дела ты виноват много! Однако, чтобы доказать, что я имею к тебе бо́льшую еще доверенность, нежели прежде, то открою план мой об устроении твоего благополучия. Знай, что здесь есть общество благотворителей света. Благодеяния его изливаются втайне, и члены его, равно как и место собрания, неизвестны. Самые члены не знают друг друга, заседая в полумасках. Новый член вписывается в книгу под именем звезды, стоящей вертикально в минуту вступления его в сей орден. Хочешь ли иметь понятие о высокой таинственной мудрости, которая пронзает небеса и освещает сокровенные движения горних духов? Хочешь ли знать замыслы европейских дворов, намерения бояр, весь ход подлунного мира? Хочешь ли вместе со мною и моим другом, который есть главный руководитель и просветитель общества, быть светилом мира, другом людей и повелителем? Или просто, как несмысленная чернь называет великих людей сих — масоном?»

Я сидел, устремив взоры на Доброславова. Такое странное, чудное предложение меня изумило. Сердце мое затрепетало приятным трепетом, и кровь быстро волновалась в груди. Изъявив ему чувствительнейшую благодарность за то высокое мнение, которое он обо мне имеет, я сказал, что с детскою покорностию предаюсь его руководству.

— Хорошо,— говорил он.— Тайное предчувствие внушило мне, что духи наши были в братской связи еще прежде, нежели небытие оживилось и природа почувствовала биение пульса. Отселе не иначе буду называть тебя, как братом, и ты меня тем же именем. Несколько времени назад я предложил сообществу о принятии нового брата, которого ум, бдительность, а особливо скромность, испытал я в годичное время. Все единогласно утвердили мое предложение, и тебе стоит явиться только,— что мы ввечеру вместе и сделаем.

Я снова благодарил моего благодетеля, и оба расстались очень довольны один другим. Голова моя кружилась; воображение пылало. Весь день походил я на страждущего горячкою. «Как? и я буду понимать действия неба и

духов, его наполняющих? Я буду слышать их беседы, любоваться их образом, без сомнения прелестнейшим? О! как же непростительно грешат те, кои издеваются над священною метафизикою, а особливо над мудрейшею дщерию ее пневматологиею! Коль скоро достигну я той высокости, какую обещает мне Доброславов, тогда докажу буйным невеждам, что они грубо обманываются; разрушу сомнения света, открою завесу непроницаемую и покажу небожителей!»

Так сгоряча рассуждал я, забыв, что Доброславов требовал от меня более всего молчаливости. Но человек слаб! Как не восхищаться, готовясь проникнуть в недра неба и увидеть такую редкость, как духи! В старину они все-таки почаще являлись людям, а ныне как в воду упали.

День прошел в сем мечтании; настали сумерки; Доброславов вошел ко мне с Олимпием, завязали мне глаза, вывели из дому, посадили в карету, и поехали. Благодетель увещевал меня не робеть, и я был довольно бодр. Чрез час карета остановилась, мы вышли. Долго водили меня, и наконец Доброславов сказал: «Стой здесь до времени». С маски моей сняли повязку и — о ужас! — я увидел обширную комнату, обитую черным сукном, на котором из белого вышиты были птицы, четвероногие, гады, рыбы и насекомые. Посредине комнаты стоял большой стол, уставленный свечами, за которым сидели, потупя головы, в молчании около пятидесяти человек в черных мантиях, на коих изображены были пламенными красками таинственные знаки, как-то: созвездия, планеты, духи парящие и ползающие, добрые и злые.

Первенствующий из них встал, взошел на кафедру, поклонился собранию весьма низко три раза, а потом говорил: «Почтенные, высокопочтенные, просвещенные и высокопросвещенные братия! Позволено ли будет говорить мне о принятии в общество наше достойного сочлена?»

Тут все встали, также низко поклонились ему три раза и сказали: «Говори, Высокопросвещеннейший наставник наш и брат!»

Он начал громко и размахивая руками; говорил так высокопарно, так замысловато, что я не мог понять ни одного слова. Куды? Он упоминал о небесной гармонии, о брачном сочетании звезд, о выспренном плане Еговы, начертанном для создания человека. С час продолжалась речь сия, и я впал в уныние, что ничего не понимаю. «Конечно, я еще недостоин понимать языка истинной мудро-

сти»,— думал я и перестал слушать. Сердце мое заныло.

Наконец оратор кончил вопросом: «Согласны ли, братия?» Вместо одобрительного ответа они со всей силы начали хлопать по своим лайковым передникам. Тогда говоривший речь подошел к телескопу, навел его на звезды, долго смотрел, наконец вписал что-то в большой книге, развернутой на столе, и громко возгласил: *«Козерог* будет имя ищущему просвещения *младенцу!»* Тут некоторые вышли в другую комнату, а прочие запели песню, в продолжение которой покрыли меня мантией, на голову надели шляпу и начали поздравлять. Со всех сторон раздавалось: «Поздравляю тебя, *почтенный Козерог!* Ты ступил на светлую стезю истины. Ты принял в себя луч разума, истекающего из небесных чертогов; да возможен нарещи тебя вскоре *отроком,* а потом и *братом!»*

Я только что кланялся во все стороны, не зная, как назвать кого.

Тогда начальный вышел, а за ним и все мы. Я увидел преогромную залу, великолепно освещенную; стены ее обиты были розовым бархатом. На стенах висели прекрасные картины в великолепных рамах. На одной изображен был Адам в объятиях Евы, когда они были еще в счастливом состоянии невинности. На другой — восхищенный мудрец, взирающий пламенными глазами на прелести юной красавицы, моющейся в ручье. На третьей — Соломон в кругу множества девиц красоты неописанной. Одна окуривала его одежды, другая опрыскивала благоуханием востока, третия переплетала волосы золотом и жемчугом. Все картины были подобного содержания. Зала окружена была диванами из пунцового атласа. Посредине стоял большой стол, уставленный яствами и напитками.

Когда все уселись и довольно понасытились тем и другим, начались веселые разговоры, и радость заблистала на глазах каждого; ибо и видны были одни только глаза, нос, рот и подбородок; а верхнюю благороднейшую часть головы покрывали прежние полумаски. Один говорил о прелестях покойной, довольной жизни; другой отдавал преимущество любви прелестной девицы; третий доказывал, что без вина и самые пламенные объятия покажутся ледяными. Все говорили, все шутили, однако без насмешек, без колкостей, а прямо по-братски, и оттого веселость была непритворная. Один я сидел молча, не зная, как и к кому отнестись.

Сидевший подле меня спросил:

— Что ты молчишь, *почтенный брат Козерог?* Или тебе не полюбилось увеселение наше? Клянусь, таково должно быть всегда увеселение мудрого! Спроси у Высокопросвещеннейшего, он подтвердит!

— Не оттого молчу я, что мне здесь не нравится, а, никого не зная, не смею говорить.

— Как? — сказал сосед.— Тебе стоит только взглянуть на спину каждого, так и узнаешь имя его. Там написано пламенными словами имя той звезды или планеты, под которою он записан в книгу превечной мудрости. Я называюсь *Скорпионом.* Там сидит *Телец,* который, видно, знатный барин, ибо всегда является в брильянтах и говорит важно и протяжно. Вот *Большой Пес,* или *Сириус,* и, судя по словам, должен быть великий подьячий: так все речи его крючковаты! Вот *Овен,* и, как приметно, купец. Вот *Водолей,* как кажется, эпический стихотворец. Только он не выдерживает своего имени: воды боится, как яду, а вливает в себя одно вино. Его лучше бы назвать *Виновлей.* А что касается до меня, то я ношу почтенное звание актера на здешнем феатре и прошу покорно ко мне. Вы должны быть честный человек, когда удостоились совосседать с нами, и притом по представлению Высокопросвещенного.

— Хорошо,— отвечал я,— но как мне узнать вас в лицо, не видя его и не зная имени?

— Ничего,— отвечал он,— стоит вам только на сцене, где после представления собираются феатральные боги, богини и их обожатели, сделать *масонский* знак, так я и догадаюсь.

— Какой же это знак? — спросил я с нетерпением.

— Указательным пальцем правой руки,— отвечал он,— коснись большого на левой; потом изобрази кружок на лбу и почешись в затылке, то я мигом догадаюсь, что ты сочлен знаменитого сего святилища.

Во время ужина *брат Скорпион* рассказал мне имена всех сочленов и догадки свои о состоянии каждого в свете. Я нашел в одной зале весь скотный двор земный, небесный и преисподний. В самом деле: тут были Львы, Тигры, Медведи, большие и малые, Змеи, Скорпионы, Раки, Гуси, Лебеди и проч. и проч.

Когда пресытились от благ земных, Высокопросвещенный три раза ударил по столу молотком, и глубокое молчание настало. Оно продолжалось около двух или трех

минут, после чего все, возвыся гласы, воспели следующую песнь:

Ликуйте, братья, путь свершая
И музикийский глас внимая;
Глядите, мудрость где живет!

Чтоб не иметь в пути препоны,
Се истины святой законы
Вам Геометрия дает. (2)

Строитель мудрый всей вселенной,
Во братски души впечатленной,
Ведет нас в радостный эдем.

Чтоб жизнь там в благе провождати,
Он сам благоволил нам дати
Блистающу звезду вождем. (2)

По окончании сей сладкогласной песни все мы уселись по диванам. Мгновенно раздалась невидимая огромная гармония; быстро отворяются потаенные двери залы, вылетает хор юных, прелестных нимф, одетых в греческом вкусе, в белых легких одеждах, с полуобнаженными полными грудями и цветочными венками на головах. Пламень разлился в груди моей, взоры налились сладкою влагою и с дикостию вожделения обращались от одного предмета к другому. Прелестные нимфы сии начали пленительную пляску. Они кружились, обнимались, сближались и опять разбегались. Каждое их движение было огонь, ветр. Если одна обнаруживала гибкий, стройный стан свой, другая блистала очаровательною белизною; одна — быстрым, все проницающим взором, другая — томным, нежным, умоляющим. Словом, что черта, что взор, что малейшее движение, то новая прелесть, новая нега, новое наслаждение. Я покушался думать, что достиг эдема Магометова и окружен вечно невинными гуриями; или, просидя один вечер за столом, помощию нескольких бокалов вина столько уже просветился, что достиг блаженства видеть небожителей и упиваться сладостию их взоров. Весь состав мой обратился в восхищение; каждое дыхание было подобно кроткому огню юного майского солнца, которое согревает распускающуюся розу, не утомляя нежного недра ее палящим зноем.

На стенных часах в зале пробило двенадцать часов, и вмиг все утихло; музыка остановилась, пляски также; все девицы стояли в глубоком молчании, которое продолжа-

лось несколько секунд. Тогда встал Высокопросвещеннейший с своего дивана и сказал громко: «Которую из сих прелестных назначаете вы царицею ночи сея?»

«Прекрасная Ликориса да будет царицею, да усладит тебя своею любовию»,— раздались голоса почтенной братии; и в то ж мгновение из-под полу возник престол, блестящий резьбою, представляющею купидонов в разных положениях. По правую сторону его, на особливом столике, стояла фарфоровая урна, а по левую — миртовая диадима. Высокопросвещеннейший встал с своего места, подошел к одной из нимф, возвел ее на трон, возложил на голову венок, и, облобызав румяную щеку ее, сел на свое место. Прелестная юность взяла арфу, наложила белые персты,— все умолкло,— и чистый звонкий голос ее раздался в сопровождении звонких струн.

Блажен, кто в жизни жить умеет,
К прелестному хранит любовь!
Его природа не хладеет,
Хотя и охладеет кровь.

Кто любит, юн под сединою;
Вино согреет хладну кровь.
В объятьях с нимфою младою
Блаженство даст ему любовь!

Алчные взоры мои пожирали певицу неподражаемую. Любовь, подобно огню молнии, поразила сердце мое, и оно запылало. Она одна казалась мне достойною моих объятий, а прочие все обыкновенные прелестницы. Один звук ее голоса возвышал меня к небу, и я пил прелесть наслаждения с румяных уст ее; но мысль, [что] она будет в объятиях другого, дряхлого старика, погружала меня в оледенение. Сердце каменело; невольно отвращал я взоры и стенал. Не понимаю, что могло вдруг так нечаянно воспламенить меня к Ликорисе, которой я не знал, но мог положить наверное, что она многих из общества собратий моих сделала счастливыми. Это или обаяние торжественности, с какою происходило действие, или великая роскошь окружающих предметов, новость одежд девических, сладость гармонии, а наконец, чад от вина, за столом выпитого,— вероятно, все вместе сделало меня обожателем Ликорисы, и я поклялся употребить все старания сделаться счастливым.

Пение кончилось. Братия встали и подошли к трону. Богиня заставила каждого из нас вынимать из урны жре-

бии, на коих написаны были женские имена, греческие и римские. Дошла очередь до меня. С трепетом и почти нехотением опускаю руку, вынимаю, читаю вслух: «Лавиния»,— и вмиг девушка с потупленными взорами, с закрасневшими щеками, с волнующеюся грудью берет меня за руку, отводит и сажает на диван. От стыдливости она не смела поднять глаз, а я, движимый любовию к Ликорисе и ревностию, сидел отворотясь, как вдруг с ужасом увидел, что стены залы поколебались, свечи в люстрах постепенно потухли, диваны начали двигаться, и в один миг очутился я в небольшой, чистой, уединенной комнате, в углу которой горела лампада. Все умолкло.

Глава XIV

Находка

Лавиния недовольна была продолжительным моим молчанием и бесчувственностию. Она с нежностию и даже восторгом сжимала меня в пламенных объятиях, давала мне страстные поцелуи, но я и не глядел! Утомясь от тщетных стараний, она сказала с досадою: «Не превратились ли вы в мрамор, *почтенный Козерог?»* Звук голоса привел меня несколько в себя; я взглянул на нее пристально и затрепетал. Незнакомка, приметив то, сказала с улыбкою:

— Неужели вы, почтенный брат, так новы в обращении, что дрожите, оставшись наедине с женщиною? Если так, то напрасно: мы совсем не ужасны!

— Княгиня Фекла Сидоровна! — сказал я, отталкивая ее одною рукою, а другою сняв маску. Она ахнула, побледнела и упала на диване без чувства.

Кроме негодования и досады, я ничего не чувствовал к ней в ту минуту и нимало не старался привести в чувство. «Презренная женщина! — говорил я.— Ты стоишь не сего наказания. Ты отравила дни мои горестию; ты заставила вести кочевую жизнь и быть во всегдашней опасности лишиться пристанища. О порок! как ужасны следы твои! Стоит издалека взглянуть на тебя с приятностию, ты с быстротою ветра прилетаешь и в ужасных объятиях сжимаешь несчастную жертву!»

Лавиния моя, пришед в себя, сказала с геройскою твердостию:

— Князь! не станем часов сих наполнять упреками: что прошло, то невозвратно! Гнев и досада тут невместны. Я уверена, что и ты в течение пяти или шести лет нашей разлуки не невинен. Не предлагаю тебе моих объятий, ибо ты не найдешь в них утехи, а я привыкла видеть у груди моей благополучных. Однако ж это не мешает быть нам друзьями и доставлять один другому выгоды. Назначь мне любую из подруг моих, и ты в непродолжительном времени будешь доволен. Я сама иногда бываю царицею ночи.

Такие рассуждения княгини были, конечно, плоды закоренелого бесстыдства, однако ж они развеселили меня против чаяния. Если б она заплакала, упала к ногам, раскаивалась, просила прощения, примирения и проч., то любовь моя могла возобновиться ежели не совершенно в сердце, то, верно, в воображении; ревность стала бы мучить, терзать, и я, конечно, был бы вновь несчастен. Но как философствующая супруга моя была так равнодушна, то ее спокойствие перелилось в меня, и я смотрел на нее как на старинную знакомку, с которою долго не видался.

— Ты изрядно умствуешь,— сказал я ей,— и после моего просвещения, видно, доучивалась в благоустроенной школе?

— Не без того,— отвечала она, улыбаясь.

Но когда я рассказал ей о потере сына, Феклуша заплакала. И распутная мать — все же мать и может любить дитя, не терпя отца его.

Всю ночь провели мы в болтанье, и я рассказал ей чистосердечно мои любовные похождения. Мне хотелось тем кольнуть Феклушу и показать, что если она может прельщать сердца людские, то и я на свой пай не последний соблазнитель. Таковы сердца человеческие!

Но что было чуднее, то Феклуша, выслушав о том, покраснела, и хотя улыбалась, однако не могла скрыть досады. Опять повторю: таковы-то сердца человеческие! — Тут я признался в сильной страсти моей к Ликорисе. Лавиния захохотала.

— Знаешь ли,— сказала она,— что Ликориса есть любовница Высокопросвещеннейшего? Он стар и дряхл, не может уже наслаждаться любовию; по крайней мере утешается тем, что и другие лишены девических объятий Ликорисы.

Ликориса мне хорошая приятельница и нередко, плача на груди моей, признается, что старый Высокопросвещен-

нейший крайне для нее несносен. Она со всею нежностию поверглась бы в объятия другому, но судьба ее несчастная до того не допускает.

— Почему же? — сказал я.— Разве не жребий располагает выбором красавицы?

— Так,— отвечала она,— для всей собратии избираются подруги жребием, но по уставу общества для Высокопросвещеннейшего назначается царица ночи, избираемая общим согласием. Как все члены знают пристрастие его к Ликорисе, то ее и избирают чаще всех; а если иной пожелает сам иметь прекрасную девушку сию и избирают царицею другую, то старик отказывается, уступает сию честь другому, а себе назначает Ликорису. Как он есть глава и законодатель, то ему все покорствует.

— Но как вы попадаете сюда,— спросил я,— и свободно ли можете выйти?

— Попадаем мы в общество случайно, как и ты, но уже не пользуемся такою свободою. Мы можем только прогуливаться в саду сего дома, обнесенном высокою оградою. Однако, как скоро которой из нас наскучит, она может просить, и ее выпустят с обязательством не открывать тайны и местоположения дома. Но можно ли наскучить райскою жизнию? Говорят, что во все время существования сего ордена был такой пример один, и то потому, что некто из собратий, человек именитый, прельстясь красотою своей богини так, как ты прелестьми Ликорисы, не хотел видеть ее предметом наслаждения других и уговорил просить выпуска, который она без затруднения и получила.

В таких и сим подобным разговорах провели мы ночь, как глухой звук колокола раздался по комнатам.

— Это значит,— сказала Лавиния,— что настало утро и братия должны готовиться к отъезду в домы для исполнения должностей своих до будущей субботы. Собрание бывает один раз в неделю. Надень маску, любезный князь, и прости! Положись на меня в рассуждении Ликорисы. Она скоро наградит страсть твою; и если, сверх того, ты станешь равнодушно смотреть на мои поступки, то, уверяю, очень доволен будешь!

Когда вышел я в залу, то при слабом свете маленькой лампады увидел большую часть собратий. Доброславов подошел ко мне, взял за руку и вывел; в передней завязали мне глаза, и мы поехали домой, где я и господин Доброславов проспали до полудня. Конечно, и он бодрствовал всю ночь. Во весь день не видался я с ним.

Наутро другого дня он позвал меня к себе и говорил:

— Любезный брат и друг! Чтоб действовать хорошо в новом звании твоем, надобно знать цель и предопределение общества, коего ты сочлен. Свет сей при самом лучшем устройстве со стороны Великого Строителя, бренными людьми так испорчен и искажен, что неотменно требует стараний мудрого, чтобы происшествия следовали установленным порядком. Сколько есть честных и добрых семейств, которые от холоду и голоду лишаются жизни? Сколько есть бессмысленных злодеев, которые блестят золотом и жирными щеками, коих душа так тоща, так безобразна, что походит на дьявола более, чем на подобие божие? Итак, не благородно ли, не согласно ли с правилами Верховной Мудрости устроять равновесие, то есть у богатого безумца отбирать часть имущества и отдавать неимущему мудрецу? Одного заставишь сим образумиться и познать тщету земных имуществ, а другому доставишь способы разливать свет ума своего в обширнейшем круге! Но богатые безумцы горды и упрямы. Представления истины их не трогают, ибо они закоренели в заблуждениях. Чтобы воспламенить в них угасшую искру божества, нет другого способа, как возбудить их от сна лестию, угождениями и *таинственным просвещением.*

На сей великий предмет я и Высокий Строитель нашего общества избираем тебя, любезный друг. Вчера в собрании видел ты *братий Тельца* и *Гуся Полярного.* Первый из них — граф, а другой — заводчик; оба — крезы и безумны, как истуканы, но притом злы и своенравны, как мартышки. Ты по нашему старанию сперва к *Полярному Гусю* вступишь в услужение и будешь помогать нам в том, чего потребует польза мира. После примемся и за *Тельца.* Как скоро успеешь в том и другом, то награда тебе будет соразмерна трудам, и остаток жизни ты будешь вести в довольстве.

Я прельстился таким предложением, от которого, может быть, и отказался бы, если б образ милой Ликорисы не преследовал меня во сне и наяву. Я обнадежил Доброславова последовать всем его намерениям и расстался, будучи обнимаем несколько раз. Я наперед веселился, что буду восстановителем равновесия в природе и помощником великим людям в том, чего требует польза целого мира. О! Как это прекрасно! Это столько же трогало душу мою, сколько прелести Ликорисы мое сердце.

Под вечер я пошел в феатр, чтобы по окончании пред-

ставления увидеть *почтенного брата Скорпиона*, но на тот раз играли немецкую комедию славного автора и на немецком языке. Все зрители утопали в слезах, и вздохи заглушали слова актеров.

— Что вы находите в комедии сей печального, что так скорбите? — спросил я у одного старика, подле меня сидевшего.

— Ах,— отвечал он с тяжким вздохом,— как можно быть равнодушну, смотря на большую часть зрителей горько плачущих? Впрочем, я сам по-немецки ни слова не разумею!

— Чувствительность всегда похвальная добродетель,— сказал я и, оборотясь к другому соседу, спросил: — Скажите, пожалуйте, содержание сей жалостной комедии, если понимаете язык!

— Как не понимать, государь мой. Хотя я родился и в Польше, но все же происхожу из благородного дома фон Вольф-Кальб-Гаузов, что в Нижней Саксонии; а потому как сохранил свой отечественный язык, так и достоинство немца, то есть благородство, чувствительность и всегдашнее присутствие духа. Знаете ли, отчего в России большая часть шорников, колбасников и трубочистов все немцы? Именно оттого, что они с неподражаемым благородством выправляют ремни, с нежною чувствительностию начиняют колбасы и с геройским мужеством лазят по крышкам домов, чистя трубы!

— На все согласен,— отвечал я,— но желал бы знать содержание комедии. Пожалуйте, потрудитесь.

— Извольте. Вот оно. Один благородный немецкий барон, имея от роду не более пятидесяти лет, женился, по обыкновению всех баронов Священной Римской империи, на пятнадцатилетней девушке и против всех обыкновений прижил с нею, собственно он своею баронскою особою, двух детей. Он любил жену свою, как прилично благородному немцу, то есть с чувствительностию и присутствием духа; пил пиво, курил табак, ездил с собаками в поле и проч., как водится у баронов.

Молодой баронессе такая жизнь не понравилась; она украдкою познакомилась с каким-то повесою и, верно, уж французом и, оставя мужа и двух детей, бежала куда глаза глядят. Хотя такие происшествия в высоких баронских домах нередки и всякий благородный немец должен смотреть на то с присутствием духа, однако с нашим бароном сделалось иначе. Ах бедный, жалкий человек! Он

предался унынию, оставил свои забавы, перестал ездить за зайцами, отказался от пива и табаку,— и увы! — он в течение времени еще больше сделал! Сколько слуга ни уговаривал его поесть чего-нибудь, чтоб не умереть с голоду,— предлагал райские кушанья, как-то салат с салдереею, жареный картофель, даже масло, колбасы, сыр голландский,— тщетно: все не помогло!

Тут благородный фон Вольф-Кальб-Гаузен, сложив крестообразно руки, взглянул жалобно к небу и залился слезами, проговорив сквозь зубы: «Чего ожидать от несчастного, которого и бутерброд не прельщает!»

Такая горесть помешала ему заметить, что я встал и вышел из феатра. Идучи домой, я не мог надивиться безумному хвастовству и спеси сего немецкого пустомели. В последствии времени я узнал, что многие из сих спесивых безумцев, не находя на родине куска хлеба, приходят в Россию, нередко с котомкою за плечьми и в лохмотьях; и скоро, с помощию таких же выходцев, как и они, подлостию, ласкательствами и всеми низкими средствами достают себе выгодные места и после с гордостию и бесстыдством презирают и теснят природных русских. Тогда узнал я, что мы в гражданской образованности еще весьма далеки от других наций; потому что таких примеров нигде не найдешь, кроме как у нас.

Глава XV

Великое предприятие

Наутро вошел ко мне Олимпий, сел дружески и сказал:

— Я пришел к тебе по приказанию господина Доброславова и буду говорить о том, что он поручил. Знай, что я также член общества просветителей и называюсь там *почтенным братом Дельфином*. В числе братии заметил ты *Полярного Гуся*, который в свете называется Куроумов и есть богатейший откупщик? Он не только не скуп, как другие, но так быстро богатство свое расточает на друзей и подруг, коих он любит страстно, что имение его скоро обратится в дым. Итак, непростительно было бы для общества просветителей равнодушно смотреть на безумное употребление имения, сего дара божия, который дается свыше на благодеяния, богоугодные заведения, вообще на

вспомоществование бедному человечеству. Дабы великое преднамерение ордена нашего произвести в действие сообразно с его целию, мы избираем тебя, любезный брат. Ты будешь священным орудием Вышнего и получишь как там блистательный венец, так и здесь блага мирские. Для сего сделаешься ты камердинером Куроумова и получишь от Доброславова полное наставление, по которому поступая, верно успеешь в нашем высоком предприятии. Одна из любовниц богача того есть моя искренняя приятельница, и помощию ее ты будешь принят в дом его под именем ближнего ее родственника. Разумеется, должно хранить в тайне, что ты сам член того же общества.

Бог, помогающий благим намерениям, не откажет и нам в своей помощи. Пойдем к прекрасной Лизе.

— Как? — вскричал я.— Неужели это Лиза, которая некогда принадлежала господину Ястребову?

— Она самая,— сказал Олимпий.— Как я первый ее друг, то и поставляю обязанностию пещись о благосостоянии своего друга. Знатный боярин думал, что одним блеском экипажа, в котором приезжал к ней, хвастливыми рассказами о величии предков и своем собственном достаточно может прельстить пригожую девушку! Лиза увидела, что она должна томиться голодом на атласных диванах, смотрясь в великолепные зеркала, или искать другого любовника. Я принял на себя стараться о ее участи, и она скоро сделалась обожаемым предметом Куроумова, который умеет любить, как должно богатому откупщику.

Мы достигли жилища Лизы, и она приняла Олимпия как нежного друга; вспомнила и обо мне и, смеючись, спросила:

— Как? уже не у Ястребова?

— Худо служить тем,— сказал я,— которые не знают чести!

— И за оказанные услуги,— подхватила Лиза,— платят рассказами о победах своих предков и добычах, полученных от неприятеля.

Узнав намерения наши, она одобрила оные в полной мере, приказала мне остаться у себя, ибо Куроумов прислал сказать, что будет у нее ужинать. После обеда Олимпий ушел, а я занялся с Лизою ворожить на картах.

— Намерение ваше, любезный друг,— сказала она,— весьма похвально. Если только можно, то надобно унимать безумца от его дурачеств; а если он знатен или богат, следовательно упрямее злой женщины, то должно самые по-

роки его обращать в добрую сторону. Если непременно уже надобно реке выступить из берегов своих, так пусть течет она среди полей и, удобряя землю илом, доставит богатую жатву, чем снесет хижину бедного хлебопашца и сделает несчастным целое семейство.

— Ваша правда, прекрасная Лиза,— отвечал я.— Может быть, намерение наше, если разобрать по правилам нравственной философии, не совсем согласно с честию; но так и быть! Прежде всеми силами старался я не уклоняться от путей ее, но всегда бывал обманут, притеснен и бит. Теперь пускаюсь я наудачу; не слишком строго стану смотреть на свои поступки и погляжу, не лучше ли выйдет?

— Уверяю, что лучше,— вскричала Лиза, и мы услышали стук кареты у подъезда.— Это Куроумов! Стань, друг мой, в углу и будь благоразумен.

Чрез несколько минут ввалился в двери огромный мужчина под пятьдесят лет. Брюхо его походило на бочку; багровые щеки и подбородок колебались, как студень; он протянул руки к красавице и прошипел, оскаля клыки: «Здравствуй!» Тут увидел я, что сказать слово для него было труднее, чем для Сизифа вскатить камень на гору в пропастях тартара.

Лиза, с нежностию потрепав его по щекам, сказала:

— Милый друг! Я нередко слыхала от тебя, что имеешь нужду в камердинере, который мог бы исправлять и секретарскую должность. Вот мой двоюродный брат, который учился с успехом многим наукам. Он отошел от знатного барина, который не платил ему жалованья, и я прошу принять его к себе. За верность его и исправность я ручаюсь, как за себя.

Куроумов, окинув меня мутными глазами, сказал:

— Я не имею нужды в камердинере и никогда тебе о том не говорил. Теперешний, у меня служащий, человек искусный, применился ко мне, и я им доволен.

— Как? Ты можешь быть так слеп? — сказала Лиза в гневе.— Разве не замечаешь, что он ласкается ко мне и хочет заменить собою место твое в моем сердце?

— О! Этому не верю! Он в таких уже летах...

— Мне не верить? Ах, я несчастная! Такая ли награда за безмерную любовь мою? Знай же, слепой человек, что камердинер твой и вместе управитель и поверенный, мне уже открылся в своей страсти! Стоя на коленях, он умолял меня дать согласие, после чего обещался нанять дру-

гой дом и содержать меня гораздо пышнее, нежели безобразный скряга, как называл он тебя.

Лиза проливала горькие слезы. Я стоял и удивлялся великому ее искусству. Куроумов то бледнел, то краснел и машинально утирал пот, градом лившийся на усы его и бороду. Наконец сказал он с великим гневом:

— Как? Безобразный скряга? Содержать лучше меня красавицу? Нет, бездельник, не удастся! Сейчас же вон из моего дому!.. Утешься, Лиза, ты забыта и не отмщена не останешься!

С сими словами надел он на палец Лизы брильянтовый перстень и, оборотясь ко мне, продолжал:

— Ты остаешься у меня и, надеюсь, будешь доволен мною, как и сестра твоя Лиза. Поедем отмщать, а после я буду здесь.

Лиза провожала нас, представляя печальное лицо и умоляя Куроумова не забыть обещания посетить ее в этот еще вечер. «Не забуду, моя душенька»,— говорил он и с сильным кряхтеньем уселся в карете, а я подле него. Во всю дорогу он стонал, и стон его походил на скрыпение старого дерева, сильно вихрем колеблемого.

Когда въехали на двор и Куроумова высадили из кареты, он грозно закричал: «Подайте бездельника Савкина!» Когда Савкин явился, то я увидел пожилого старичонка с седенькою бородою и лысиною. Ростом был он не более двух аршин с вершком, тощ, подслеповат, немножко горбат и курнос. Как можно было почесть его способным влюбляться, а особливо в Лизу? Однако Куроумов почел его изрядным еще молодцом. «Как,— вскричал он,— осмелился ты, поганый сын, открываться в любви такой особе, которую я сам люблю, и еще называть меня безобразным скрягою?»

Бедный Савкин помертвел, выпучил глазенки и дрожал, не зная, что отвечать хозяину; ибо он совсем ничего не понимал. Такое положение его почел Куроумов за признание в грехе, рассвирепел, поднял пудовую десницу свою, занес ее на Савкина, крепко замахнулся; но маленький кащей отскочил, и толстый откупщик растянулся на земле.

Савкин поражен был новым ужасом и хотел бежать, но приказчики и лакеи, почитая поначалу, что он сделал уголовное преступление, поймав, подвели к Куроумову, который меж тем, вставая с помощию трех человек, говорил: «Господи помилуй! Злодей уморит меня! Вижу теперь яс-

но его преступление! Вытолкайте сего бесчинника в шею со двора, заприте вороты, а животишки его выкидайте через забор!»

Богатых слушают скоро. Часть работников начала бедного Савкина щипать и толкать в затылок, а другая бросилась за его пожитками и, не щадя ничего, начала швырять чрез забор на улицу. Бедный Савкин не мог противиться; он шел, обращая глаза к небу, и говорил: «Господь да воздаст тебе, о Куроуме, яже воздаеши рабу его Савкину!» Через пять минут все было окончано: хозяин приказал отвести мне покои прежнего управителя и поверенного и, севши в карету, сказал: «Ну, Гаврило Симонов! Теперь еду я к Лизе и буду там ужинать; ты между тем осмотри новое твое жилище и перевези какие имеешь пожитки от прежнего хозяина!»

Он съехал со двора. Мне показали будущие мои два покойчика, довольно порядочно убранные. Распорядя все, я бросился в дом Доброславова, рассказал ему и Олимпию о своих успехах и обоих привел в восхищение. «Не робей, друг мой,— говорил первый,— как скоро окончание будет соответствовать началу, то ты награжден будешь с избытком». После сего он с добрый час делал мне наставления, как поступать, и отпустил, наградя кошельком, полным золота, чтоб одушевить мою бодрость, и велел на третий день, как скоро Куроумов съедет со двора, поспешать к нему, дабы вместе отправиться во собрание просветителей. Я простился, и двое слуг потащили мое имение.

На другой день вступил я в новую должность, которая, по словам самого Куроумова, состояла в том, чтоб вести переписку с его красавицами, во-первых, с Лизою, а там Машею, Грушею и проч.; а после смотреть над приказчиками и поверять их счеты.

Господин Куроумов вместе с тем, что был богатый откупщик питейных сборов, имел большие заводы отечественных изделий, кои отправлял за море. Дом его снаружи походил на дворец, а внутри был хуже сарая. Передняя в сем доме была обширная комната, увешанная кнутьями и пуками лоз; ибо Куроумов слыхал, что знатные отличаются, между прочим, от других и тем, что жестоко наказывают людей своих за маловажные вины, а часто и невинно, по одной прихоти, чтоб бедняки не забывали, что они имеют господина. «Мы господские!» — крестьяне многих говорят с таким лицом и таким голосом, как будто бы

хотели выразить: мы осужденные в жизни сей на одно страдание! Господин Куроумов хотел доказать, что он — помещик, хотя и недавний, и в доме его раздавались стоны. Зала дома того была богато расписанная комната с позолоченными карнизами; зато вместо люстры висел мешок копченых окороков, а взамен жирандолей стояли бураки с икрою разных родов. Все комнаты были убраны подобным сему образом. Где стояли кадки с салом, где кучами лежали говяжьи сырые кожи; а в спальне, в которой блистала штофная кровать, стоял чан с дегтем, который в плошках курился местах в десяти. Кто-то из иностранных врачей уверил Куроумова, что он подвержен апоплексии и, верно, погибнет, если в спальне его не будет деготь беспрестанно гореть в известной пропорции.

Помня твердо последнее наставление Доброславова, я не намеревался из головы моего хозяина выгонять овладевших им дурачеств, а только хотел переменить направление их по своим видам. Я знал, что сделать его путным человеком дело невозможное, ибо он избалован счастием, если сим именем можно назвать богатство и получаемые чрез него выгоды. Первый день провел я в рассматривании всего дома и живущих в нем; потом, рассудя, что скоро действовать значит действовать худо, положил не прежде приступить к исполнению плана, как, вызнав хорошенько порядок жизни, образ мыслей, страсти и — буде есть — добродетели Куроумова; а между тем, чтоб время не пропадало, приложить все старание склонить на соответствие прекрасную Ликорису. «Кажется, Феклуша,— говорил я,— обязана содействовать. Я так великодушно простил ее! Она меня обнадежила! Чего сомневаться?»

На другой день ввечеру, как скоро мой Куроумов съехал, чтоб представлять *Полярного Гуся,* я бросился к Доброславову, сел с ним и Олимпием в карету, и поскакали. Теперь уже глаз мне не завязывали. Дорогою я рассказал им свои замечания и намерения в рассуждении Куроумова.

Глава XVI

Принц Голькондский

Когда вступили мы в залу в своих величественных нарядах, то нашли уже несколько человек из собратий, в числе которых заметил я *Полярного Гуся* и маленького

Скорпиона, который, увидя меня, подскочил, как приметно было, с удовольствием, взял меня за руку и сказал с дружескою укоризною: «Что же, *любезный Козерог,* не сдержал ты своего слова? Я всякий раз смотрел во все глаза, не увижу ли кого делающего *масонские знаки,* но, не видя никого, сам принимался, чесал затылок нещадно, но попустому.

— Этому есть важная причина, дорогой *Скорпион,*— отвечал я.— На сих днях назначен я к миссии при дворе сильного владельца, однако ж сие обстоятельство не помешает мне каждую субботу присутствовать в собрании просветителей мира. Как скоро кончу с успехом важную мою миссию, тогда непременно посещу тебя и постараюсь приобрести дружбу.

— Я совсем тебя не понимаю,— сказал *Скорпион.*

— Что делать! — отвечал я с важностию.— Значит, ты еще не просветился и взор твой не может подобно моему расторгать завесу вечности и созерцать духов!

Скорпион с благоговением отступил; возвещено о прибытии Высокопросвещеннейшего, все уселись на своих местах, и когда вошел он в залу, то братия, вставши, запели песнь:

Блеснул, блеснул троякий свет!
Прогнал лучами мрачность ночи!
К святилищу преграды нет:
Питайтесь истиною, очи!
При свете тройственных лучей
Познайте чин природы всей!

Во время сего пения Высокопросвещеннейший в предшествии семи горящих светильников, сопровождаемый кадильницами благовонными, шествовал к своему седалищу. Прибыв к оному, воздел к небу руки и про себя молился. Потом начал говорить, сперва тихо, а после громко и с жаром: «О ты, великая единица, совокупившаяся с соцарствующею тебе двоицею и вращающая всеми числами до девяти! Непонятна ты для мира подлунного, невидима, непостижима! Но взоры мудрых друзей твоих проницают в состав твой. Недра твои, подобные океану огненному, наполненному выспренных плодов от древа жизни, для них отверзты! Они проницают непроницаемое и видят, как ты громоносною рукою, взяв в персты циркуль измерения и утвердив один конец на персях своих, вращаешь, очертываешь».

Тут я, приметя, что при всем внимании опять ничего не могу понять, перестал и слушать; а единственно занял воображение Ликорисою и ее прелестями. Сколько Высокопросвещеннейший ни кричал, сколько ни горячился, я глядел на него покойно, думая: «Ах! скоро ли настанет минута удовольствия, гораздо большего, чем созерцать духов в недрах вечности!»

Речь кончилась; я с нетерпением ожидал минуты, когда вступим в эдем, обещанный в предыдущей песне; но назло моему нетерпению просвещенные братия опять затянули уныво:

Отыди прочь, жестокосердый,
Пред кем напрасно слезы льют;
Беги, скупый, немилосердый,
Здесь ближним помощь подают!

По окончании пения, походившего более на плачевный вой голодных волков, все встали, и я увидел, что мой *Полярный Гусь* притащился к столику, на котором лежала разгнутая книга живота, и что-то вписал в нее. Тут по порядку следовали *Телец, Овен, Лев* и многие из отличнейших животных. Что касается до меня и смиренного *Скорпиона,* то мы стояли поодаль и смотрели на толпящихся. Когда вошли в чертог духовной радости (так братия называли комнату с бархатными обоями) и уселись за стол, я спросил *Скорпиона:* «Для чего просвещенные братия теснились к книге и что в ней вписывали?»

— Как?— спросил он с удивлением,— где ж был ты, когда великий настоятель говорил прекраснейшую речь в свете?

— Признаюсь,— сказал я,— что был недалеко, однако ж и не в той мрачной зале. Мысли мои блуждали в месте гораздо приятнейшем, и я очень одолжен был бы, если б ты открыл мне причину!

Скорпион согласился и во время ужина рассказывал следующее: Высокопросвещеннейший, открыв очень ясно гармонию духов и симпатию душ, посредством чего они, быв заключены в телах, могут видеть одна другую и разговаривать, хотя бы одна была в Москве, другая — в Филадельфии, одна — в аде, другая — в раю, доказал, что помощию сей гармонии усмотрел он одно несчастное семейство, состоящее из отца, мудрейшего старца; жены его, добродетельнейшей женщины; двух сыновей, храбрых, как Марс, величественных, как Аполлон; и двух до-

черей, прелестных, как Венера, и целомудренных, как Диана.

Отец с семейством жили сперва в Москве доходами с обширного имения; но когда родилась у всех сильная охота странствовать, то и они отправились в С.-Петербург, сели там на корабль и пустились в океан. Долго плавание их было благополучно; наконец поднялась ужасная буря. Четыре месяца носило корабль по волнам, угрожая разрушением, что и последовало у неизвестных берегов. Старик ухватился за корабельную доску, старуха за него, за нее сын, за того другой, а там следовали и дочери. Тринадцать дней их носило по пенящимся волнам, пока выкинуло на берег. Они, без сомнения, погибли бы в волнах, если б не составили *цепи*, из чего заключить должно, что они *масоны*. Там наскочило на них несколько сот диких людоедов, которые, связав им руки и ноги, отвели в плен, туда, где со страшных скал низвергается с ревом Миссисиппа[1]. Участь семейства самая жалкая. Людоеды так скупы, что без денег не дают ничего, а потому честные пленники едят траву и коренья подобно Навуходоносору. Но государь сей был великий гордец и грешник, так его и следовало наказать; но за что терпят добродетельные?

Скорпион рассказывал повесть таким унывным голосом, что я засмеялся громко. Высокопросвещенные, споря с жаром о наслаждениях, какие приличнее душе по исходе из тела, того не заметили.

— Чему ж ты смеешься, брат? — спросил *Скорпион.*

— Чудесности твоего повествования, — отвечал я. — Прочти все путешествия около, вдоль и поперек света, нигде подобного не сыщешь. И почему все это известно Высокопросвещеннейшему?

— Посредством гармонии душ, — отвечал он. — Прошлая ночь была звездная. Чтоб узнать судьбу мира, Великий Настоятель глядел на небесного Дракона. Нечаянно глаза его обратились к западу; он увидел старца у истока Миссисиппа, вступил с ним в разговор и все узнал.

— Но каким образом?

— Как? ты сомневаешься? Или тот, кто проницает бу-

[1] Одна из величайших рек в Северной Америке, славящаяся своим водопадом.

дущее, смотрит в пучину небес и постигает вечные тайны, или тот не увидит чрез океан, горы и леса? Так, любезный *Козерог,* это было! Его Высокопросвещенство, вступя в разговор с пленными, узнал, что лихие дикие не хотят отпустить их без пяти тысяч рублей выкупу. А как на проезд понадобится столько же, то благочестивый муж и предложил собранию, не согласятся ли просвещенные братия внести сумму сию? Он говорил так пленительно, что братия *Телец, Полярный Гусь* и *Западный Рак* тотчас подписались на пятнадцать тысяч рублей, которые деньги завтра же доставлены будут Высокопросвещенному, а он по внушению симпатии перешлет куда следует.

Я не мог воздержаться, чтоб не засмеяться снова, слушая сии нелепости. Когда стол кончился и, по обыкновению, явились красавицы и начались танцы, я заметил, что моя Феклуша кидала на меня пасмурные взоры, но зато Ликориса превосходила сама себя. Ее легкость, любезность, пламень в каждой черте делали ее богинею. От меня не утаилось, что она украдкою бросала на меня взоры. Я был в восхищении, и когда Высокопросвещеннейший спросил под конец, кого избирают царицею ночи, я первый вскричал: «Ликорису!» «Ликорису!» — раздалось со всех сторон, и она воссела на троне. Когда приблизился я к урне и вынул с крайним волнением жребий, смотрю и со стоном произношу имя: «Филомела». Итак, я лишаюсь случая видеться с Феклушею, а с тем вместе и с Ликорисою. Лавиния моя вскоре досталась *Скорпиону,* и надежда моя возобновилась. Я подхожу к нему и говорю ласково: «Любезный брат! Подруга моя прекрасна, как майский день, свежа, как юная роза! Не хочешь ли, я уступлю ее тебе, а ты отдай мне Лавинию!» — «С охотою»,— отвечал он. Мы разменялись; сели на диванах и скоро очутились в уединенных опочивальнях.

— Что, любезная моя княгиня? — говорил я, нетерпеливо отвязывая маску,— каковы твои успехи?

— Я не знаю, что и сказать тебе, друг мой; вышло то, чего я и не ожидала. Ликориса или полупомешанная, или великая плутовка! Когда я открыла о страсти твоей к ее прелестям, она улыбнулась, покачала головою, залилась слезами и спросила: «Какого он состояния?» — «Об этом я ничего не могу решительно сказать,— отвечала я,— только слышала, что он знаменитый человек!» — «И богат?» — «Опять не знаю, однако надеюсь!» Тут по секрету

она открыла мне, что происходит из владетельного дому князей Тибетских; что в молодости лишилась родителей; что какой-то злодей отнял все ее владение, чрезмерно большое; и что она дала клятву не отдаваться в любовь никому, кроме разве такого же князя, который помощию оружия или золота возвратит похищенное имение. Теперь суди, как знаешь!

— Что ж тут долго думать,— вскричал я,— когда она такая знатная княжна и не совестится быть жрицею в сем храме, то что мешает мне самому быть светлейшим князем или владетельным принцем?

Лавиния одобрила мысль мою смехом, и мы услышали легкую походку. Дыхание мое остановилось, сердце затрепетало, кровь запылала. Двери тихо отворяются, входит Ликориса и с нею сонм прелестей. Белое спальное платье обвивалось около лилейного стана ее. Щеки ее горели румянцем стыдливости; она потупила взор и молчала. Кротко волновалась грудь милой красавицы.

Мгновенно упал я на колени и возгласил самым феатральным голосом:

— Прелестная, обожаемая княжна! Прими признание в пламенной любви владетельного принца, который во прахе[у]ног твоих умоляет о соответствии! Я буду счастливейший из всех обладателей народов, когда ты удостоишь меня благосклонным взором!

Проговоря такую красивую речь, я схватил с жаром ее руку, покрывал пламенными поцелуями и беспрестанно твердил:

— Прости, дражайшая княжна, дерзость, что осмелился возвести на тебя взор любви моей. О! как обрадуется престарелый родитель мой и многочисленные мои подданные, когда узнают, что я возвожу на трон такую богиню!

— Встаньте, принц,— сказала она нежным, сладости исполненным голосом.— Вам приличнее быть у груди моей, чем у ног. Такой достойный мужчина может ожидать соответствия и от самой принцессы.

Я кинулся в ее объятия и прижал к сердцу.

Когда сели мы на диване, я не видал уже Лавинии. Она, видно предоставила мне одному пещись о своем благополучии.

— Скажите, княжна, чем вы несчастны? Подруга ваша рассказала мне, что злодеи лишили вас владения, ограбили? О! наименуйте мне их только, и через несколько

недель огромное войско моего родителя явится защищать права ваши!

— Ах! — сказала Ликориса с тяжким вздохом,— неужели буду я виною страшного кровопролития! Я сего ужасаюсь и желала бы, любезный принц, чтоб дело обошлось без таких насильственных способов! Тиран, выгнавший меня из владений, соглашается уступить мне все за несколько тысяч рублей.

— Это прекрасно! — вскричал я с величайшею важностию.— Завтре же отпишу к моему отцу и вскоре получу золотые кучи, которые предоставлю вашему распоряжению.

— А где владения вашего родителя?— спросила она.

Я немного позамешался, но скоро оправился и отвечал:

— Столица отца моего есть Гольконда в Индии. Там золота, алмазов целые горы! Там...

— Да вить Индия очень далеко, слыхала я.

— То другая. Вить их много! Индия, подвластная отцу моему, недалеко от Каспийского моря, и письмо к нему обращается в три недели, а в хорошую погоду и того меньше.

Однако, хотя княжна время от времени становилась нежнее, а я лгал час от часу бесстыднее, но кончилось тем, что звук утреннего колокола застал нас в некоторой размолвке. Княжна Тибетская хотела уверения в любви моей, то есть требовала золота; а где его взять? Я не алхимист! Сколько я ни умолял непреклонную, она клялась, что не прежде сделает меня счастливым ее обладателем, пока получит ответное письмо от отца моего с приложением червонцев. Она вырвалась из моих объятий.

Надевая маску, я вздыхал. Жестокая! Думал ли я, что ничтожный металл подействует над сердцем твоим более, чем знаменитое титло принца Гольcондского?

Глава XVII

Успехи в просвещении

Не получив успеха в любви, я хотел иметь его по крайней мере в поручениях просветительного общества. На сей конец, представя в уме своем все наставления Добросла-

вова в надлежащем порядке, однажды вошел я в комнату Куроумова и говорил:

— Милостивый государь! Не удивляйтесь, если я буду говорить вам истину. Вы любите Лизу, сестру мою; она вас обожает; а потому и брат ее не может не любить вас чистейшею любовию и не стараться о пользах ваших. Недавно начитал я в иностранных газетах, что один парижский откупщик, гораздо менее вас имеющий капитала и ума, удивил всех сограждан тонкостию мыслей своих, великостию воображения и благородным употреблением богатства. Дом его, который можно назвать дворцом, блестит золотом, дорогими картинами, эстампами и всякого рода редкостями. Библиотека самая избранная. Знатнейшие вельможи за счастие почитают у него отобедать, провести вечер за концертом и вообще побеседовать. Не жалко ли, что вы, с таким умом и с таким просвещением, нимало не печетесь сделать имя свое известным свету, чтобы и об вас печатали в газетах, переводили на все иностранные языки и во всех столицах говорили о ваших неподражаемых добродетелях, как-то: вкусе, гостеприимстве и милосердии к неимущей братии?

Куроумов был восхищен моим витийством. Он прежде задумался, потом завел со мною длинный разговор, каким бы образом достичь той великой цели, о которой я проповедовал. Я уговорил его вытаскать прежде все бочки с салом, говяжьи кожи, деготь и прочие мебели; а на себя брал обязанность приискать для него новые в лучшем вкусе мебели, прекрасную библиотеку и картины известнейших мастеров. Куроумов на все с радостию согласился, проклиная прежнего управителя Савкина, который столь был бессмыслен, что во всю жизнь не читал ничего в газетах, кроме о торгах и подрядах, и нимало не знал толку в картинах.

В тот же день все было из дому вытаскано в сараи; и когда новый мудрец Куроумов уехал на вечер к Лизе, чтобы обрадовать ее дорогим ожерельем и вестию о прозорливости и усердии брата ее, я бросился к Доброславову, рассказал все и привел его в восторг. Он придал мне в помощь Олимпия, и мы в час набрали на толкучем рынке великое множество разных мебелей, книг и древних картин, что всё едва на десяти возах мог притащить в дом своего хозяина. Нельзя вообразить его восхищения при первом взоре на сии драгоценные оттенки вкуса и великой мудрости. Равным образом и я был поражен, взглянув на

него и не видя ни усов, ни бороды, и остриженного в последнем вкусе.

— О небо! — вскричал я.— Какому божеству обязаны вы таким счастливым превращением? Конечно, какой-либо благодетельный гений, следующий по стопам великих людей...

— Этот гений,— сказал с улыбкою силена Куроумов,— небольшого роста, с черными сверкающими глазками, с полными румяными щечками; словом, это сделала сестра твоя Лиза. Она, шутя и играя, остригла мне голову и бороду. Впрочем, я рад! Теперь сам не понимаю, как мог в прежнем безобразном виде нравиться девушкам, а более всего заседать в присутствии просвещеннейших людей? Знай, друг мой, я — член такого сословия, которое проницает тайны будущего и созерцает духов! Правда, я не достиг еще сей степени совершенства и ношу смиренное имя почтенного брата *Полярного Гуся;* но скоро посвящен буду в просвещенного брата, и тогда сам буду видеть духов и с ними беседовать!

Я оказал притворное удивление и благоговение к такой великой особе, насказал множество примеров, кои будто читал где-то, как великие просветители мира вызывали духов и проч. *Полярный Гусь* был в неописанном восторге и наперед рассказывал мне, о чем будет рассуждать с духами.

Мебели, картины, эстампы и книги — все поставлено в списке непомерно дорогою ценою. Я рассказывал ему имена живописцев, граверов и сочинителей, которых никогда и на свете не бывало; да я и сам не знал тогда имени ни одного из лучших живописцев.

Чтобы не наскучать подробными рассказами о всех глупостях, в которые по общему нашему наущению вдавался Куроумов, я скажу, что в течение двух с небольшим месяцев мы высосали у него до полумиллиона,— то на выкуп пленных или содержащихся в тюрьмах, то на вспоможение благородным фамилиям, кочующим в Камчатке, на берегах Урала, Енисея и проч. Редкое собрание проходило, чтобы Высокопросвещенный не говорил с отличным витийством о том, к чему уже *смиренный брат Козерог* склонил прежде Куроумова. К общему нашему несчастию, откупщик сей, вдавшись в праздность, лень, совершенное сладострастие, оставил дела свои на попечение приказчиков, которые по заведенному порядку пеклись больше о себе, чем о хозяине. По подрядам сделались значущие

неисправности; имение Куроумова описано, и дом с библиотекою и картинами продан с публичного торга. Тут с удивлением смотрел он, что нашим редким картинам и книгам, которые так дорого стоят, никто не удивляется и продают их за бесценок. Я был при плачевном сем позорище. Сначала Куроумов стоял неподвижен и дико смотрел на кричащего аукциониста. Глаза его сурово по сторонам обращались. Из одного скрежета зубов было видно, что он не трус. Потом нередко бил он себя по лбу и ломал пальцы.

Когда все кончилось и ему новый покупщик дома указал на двери, я не знаю, какое дурачество, или, лучше сказать, бешенство обуяло мною так, что я вдруг забыл все наставления мудрого моего Доброславова, наполнился спесью, хвастовством о великих подвигах своих, или, правильнее, бездельствах, и, отведши Куроумова на сторону, сказал, коварно улыбаясь и сильно шаркая ногами:

— Простите, *почтеннейший Полярный Гусь!* Не припомните ли не простого *брата Козерога?* Знайте, это самый я!

Куроумов смотрел на меня сперва с удивлением, а потом с бешенством.

— Как? — вскричал он.— Так я был игрушкою, орудием обмана? О! это не пройдет вам даром, злодеи! — Он погрозил палкою и вышел на улицу довольно бодро. Откуда взялись силы у человека, который не мог прежде сойти с лестницы и сесть в карету без помощи нескольких слуг? Я смеялся вслед ему, крича:

— Добрый путь *Полярному Гусю!*

Сделавши сие дурачество, я опомнился; был недоволен собою и решился ничего не сказывать о сем Доброславову, опасаясь выговора. Я пришел в его дом и занял прежнюю должность. Господин Высокопросвещенный и Олимпий осыпали меня похвалами, отсчитали значущую сумму денег и позволили отдохнуть, пока не придет время снова действовать. К пущему моему огорчению, Куроумов был прост до ребячества. Он всем знакомым и незнакомым рассказывал о своем несчастии и его причине, и один насмешник нанял стихотворца, который и сочинил преколкую сатиру, в коей представил *Полярного Гуся,* совершенно ощипанного, а потому, вместо того чтоб парить к звездам и созерцать духов, смиренно путешествующего пешком, повеся голову, по колена в грязи.

Куроумов прочел ее и поклялся непримиримою к нам ненавистью. Мои сотрудники в просвещении о сем узнали посредством своих шпионов и, с своей стороны, начали рассуждать о средствах, каким бы образом у ощипанного *Гуся* поукоротать язык.

Между тем заседания по-прежнему продолжались. Ликориса посещала мою опочивальню, но была все так же непреклонна. Она ожидала ответа царя Голькондского, моего державного родителя. Я приписывал вину молчания или дурной погоде, или неисправности почт, или разбойникам, которые могли посланцев с деньгами ограбить, убить, утопить и проч.

Она, по-видимому, соглашалась, ласкала меня, как сестра, и обещала вечную любовь и верность, как скоро возвращу ей похищенное владение! Я терялся в замыслах, как бы обмануть ее и достичь своей цели.

Часть четвертая



Глава I

Лекарства от ипохондрии

Когда князь Гаврило Симонович довел повесть жизни своей до того времени, как он оказал такой знаменитый подвиг просвещения над *Полярным Гусем,* купец Причудин отправился в другой город по торговым делам своим; итак, князь, оставшись с сыном Никандром, отложил продолжение повествования до возвращения своего друга.

Настала осень суровая, и октябрьские ветры зашумели. Листья с дерев сыпались градом. Свинцовые тучи носились по орловскому небосклону и наводили сумрак на челе природы. Ее уныние,— несмотря на счастливое состояние наших героев,— неприметно наводило какую-то задумчивость на их лица. Князь Гаврило вспоминал о днях протекших, а сын его о своей незабвенной Елизавете, которая тем более занимала сердце его, тем нераздельнее наполняла душу его, тем блистательнее представлялись пылкому воображению юноши девические прелести предмета обожаемого, что природа, источник радостей, мать-утешительница горестных, чертеж вечныя мудрости, рассматриванием которого утешается плачущий, успокаивается скорбный и самый неверующий с кротким благоговением возводит взоры к высоте звездной — и поклоняется,— что самая, говорю, природа казалась стенящею под бременем и поминутно замирала до весеннего воскресения.

Однако же таковое расположение унылого духа Никандрова не помешало ему заметить, что отец его не только день ото дня, но час от часу делался пасмурнее, дичее, так сказать, неприступнее. Князь Гаврило оставил всю наружную опрятность. Сертук его целую неделю не чищен, волосы столько же времени не чесаны. Глаза его были мутны, щеки бледны и впалы. Отужинав как можно

раньше, он запирался в своем кабинете и не прежде появлялся, как по возвращении сына от должности к обеду. И тогда он походил на мертвеца, из гроба восстающего.

Таковое непонятное поведение опечалило нежное сердце Никандрово. Он хорошо замечал, что отец его не в совершенном здоровье, но никак не мог открыть источника его болезни. Спросить же о сем у самого князя казалось ему нескромностию, могущею навлечь его негодование. Столько был он нежен и разборчив. С тех пор как впервые увидел он Елизавету, в неделю отсутствия г-на Причудина, она менее всего занимала его мысли. Так, он попрежнему любил ее, может быть, еще и более, но мысль: она под кровом родительским, в объятиях семейства, старающегося доставить ей возможную рассеянность, если не увеселение,— ах! как сравнить ее положение с положением старца, которого юность и мужеские лета протекали в бурном, треволненном море мира сего? Он сирота на земле многолюдной,— и одни сострадательные были доселе его сродниками. Если бы Никандр с самых пелен своих воспитывался пред глазами родителя, быть может, он не был бы подвержен той робости и застенчивости, которые препятствовали ему открыть отцу свои сомнения и опасения,— но теперь он любил князя со всею детскою нежностию, но и благоговел пред ним, как пред посторонним человеком, мужем мудрым по своим бесчисленным опытам. Хорошо ли это или худо, только всякий может видеть тут следствия домашнего и постороннего воспитания.

Однако Никандр, не решась испытать сам отца своего, нашел, по-видимому, способ открыть источник его болезни, а потому найти лекарства к исцелению, именно: он на листе бумаги описал приметы лица князева, поступки, движения, пищу, питье и проч. и, не упоминая имени, предложил всем славнейшим, многоученейшим врачам орловским, которые более всего превозносимы были мотоватыми наследниками, кладбищными священниками и аптекарями, которым они доставляли хлеб изрядный. Но, увы! — российский, германский, галльский и великобританский эскулапии, все порознь — никак не могли согласиться в причине болезни и средствах к ее исцелению. Что одни утверждали клятвенно, то другие с проклятием отрицали; итак, Никандр должен был испытать последнее, то есть составить медицинский совет и послушать, что они скажут в общем присутствии.

Не смея сделать того у себя в доме, он заказал самый деликатный обед в лучшем из тамошних трактиров. Все приняли его предложение безотговорочно, собрались, и всякий был доволен и ласковым обращением хозяина, и его угощением. Русский нашел хороший пирог и добрые щи; немец — бутерброд, ветчину и сосиски, француз — суп и соусы, а англичанин — ростбиф и бифстекс.

Напитки также учреждены были сообразно кушаньям.

Когда обед кончился и гости были в лучшем расположении своих духов, Никандр открыл заседание витиеватою речью, в которой, пространно объясня состояние больного, просил у них совета и помощи. Медики, подумав немного, присудили говорить младшим сначала, и так произошел следующий диспут.

Русский. По моему мнению, милостивые государи, так этот больной приблаживает. Несмотря на его причуды, выломать бы двери, противу воли влить ему в горло стакан доброго пуншу; если это не помогает, влить и другой, а если и тут нет удачи, приняться за третий. Отвечаю, что тогда лекарство подействует.

Француз. Ах боже мой! как можно столь насильственно обращаться с больными? Подлинно это прилично одним только господам русским! Пунш? Это будет яд человеку в ипохондрии! Я совсем другого мнения! По всему видно, что у него кровь сгустилась; мокрота спеклась; итак, должно непременно разбить и то и другое. А для сего нет лучшего лекарства, как приискать молодую, пригожую, здоровую, ловкую девушку. Это универсальное лекарство от ипохондрии. Да у меня и на примете есть такое сокровище в медицине. Племянница, или, как другие злословят, дочь любви содержательницы здешнего пансиона для благородных девиц, весьма к тому способна. О! Роза Инносанс! — имя ее — есть феникс в женском поле! Она полна и румяна, как русская горожанка; величава, как немецкая баронесса; нежна, как английская мисс; и ловка, изобретательна, прелестна, как французская актриса. Она в пансионе преподает уроки девицам о поведении, и успехи беспредельны. Сколько помощию ее дарований ипохондриков я излечил от сей страшной болезни. Так, господа! я предаю душу мою всем чертям огромного сего света, если она в одну неделю не поставит нашего больного на ноги так, что он будет смеяться и плясать; и если не совсем перестанет запираться в кабинете, так уж, верно, не за тем, чтобы задумываться и си-

деть, повеся голову. Все же это весьма немного будет стоить. Какой-нибудь брильянтовый перстенек, жемчужное ожерелье, индейская шаль и тому подобные безделушки для вас ничего не значат.

Немец *(захохотав)*. Вай, вай! Вот что называется быть медиком по моде. Я думаю, что вы девиц и вдов подобным универсальным лекарством захотите лечить от ипохондрии! Не много же благодарны будут вам аптекари, в аптеках коих совсем не составляются такого роду медикаменты, а привилегию сию единственно себе присвоили французские учители и содержатели мужских пансионов. Послушайте меня! Иена, Лейпциг и Геттинген довольно знают, каков Грабшауфель. Имя мое — одно уже мое имя достаточно вселить обо мне мнение, которого я достоин! Так, больной в ипохондрии, но не от сгущения крови *(к французу)*, с вашего позволения, а от разлития желчи и воспламенения мозговых и кровяных фибров. *(К Никандру.)* Вы говорите, что больной часто задумывается?

Никандр. Так!

Немец. Не ворочает ли он иногда глазами в сторону, сам не трогаясь с места?

Никандр. Бывает!

Немец. Не случается ли, что он растворяет рот, будто что хочет сказать, вдруг останавливается, замолкает и кажет недовольный вид?

Никандр. Помнится, что и то несколько раз было.

Немец. Сего достаточно,— и я утверждаю, что нет в свете лучше следующего лекарства. Как больной запирается и никого к себе не пускает, то надобно и его запереть снаружи и не выпускать целую неделю. Не давать ему ни есть, ни пить; а можно в боковой комнате заводить пирушки, играть симфонии, петь песенки, вальсировать и тому подобное. Когда же примечено будет, что от пощения желчь придет в первое свое состояние и больной не в силах будет встать с постели, тогда можно приняться за дальнейшие лекарства, но отнюдь не за французские, а немецкие, именно: давать пиво, есть салат, масло. сыр, и изредка выкурить трубку табаку. Это возымеет удивительное действие! Я знаю на опыте. Что скажет высокоименитый Тодборуг?

Англичанин. Я скажу, что если бы Грабшауфель так рассуждал в Англии, то его несколькими днями заперли бы в дом сумасшедших прежде, чем нашего боль-

ного, который, правду сказать, также недалек от этого. Русский судил довольно грубо, француз отменно глупо, а ты, немец, совершенно безумно. Нет! в Англии не так лечат от сей болезни. Совет мой таков: зарядить пистолет двумя пулями, и когда выйдет больной, подать ему и сказать: «Жалкий человек! ты в тягость себе и другим. Оставь свет, если он тебе опротивел. По всему видно, что утопиться считаешь ты смертию медлительною, зарезаться — отвратительною, удавиться — подлою. Вот пистолет! самая скорая, благородная, величественная смерть, и большая часть лучших мужей и мудрецов британских ею умирали. Зато всякий и считает их народом единственным, великим». Пунш твой, господин русский,— по себе наилучшее питье,— в сем случае ни к черту не годится. Твоя мамзель, монсье француз, достойна быть повешенною. Твой салат и твое пиво, немец, приличны больше быкам, каков ты и сам по справедливости! Пистолет, один пистолет есть универсальное лекарство в ипохондрии.

Немец. Правду говорят, что если бы всех бешеных англичан запирать в домы и ковать в железы, то целая Англия превратилась бы в доль-гауз [1] и на делание цепей недостало бы железа всей Сибири и Швеции.

Русский. Я охотно отступаюсь от мнения своего касательно больного, но от пуншу никак; и надеюсь, что наш дорогой приятель и теперешний хозяин не оставит сейчас же предписать самый исправный рецепт.

Француз. По мне, как они себе хотят, а мамзель Роза — есть неоцененное лекарство от сгущения крови и жизненных соков.

Англичанин. Оба вы хорошо и делаете, что сговорчивы; но что касается до Грабшауфеля, то он, сколько я знаю, настоящий немец; то есть глуп, как баран, зол, как мартышка, и упрям, как украинский бык!

Немец. Подлинно. Тодборуг изрядно малюет портрет свой. Клянусь, у меня в парике больше ума, чем у него в голове.

Англичанин. Так непростительно и даже безбожно такую драгоценность держать во тьме. Пусть идет парик твой просвещать народ российский!

С сим словом англичанин сорвал с немца парик, бросил за окошко и спокойно сел по-прежнему. «Ах!» — раздалось отовсюду. Грабшауфель вскочил как бешеный,

[1] Дом сумасшедших в Лондоне.

схватил бутылку с пивом и со всего размаху пустил в неприятеля, который, уклонясь от поражения, с важностию подошел к храброму доктору, схватил его за уши, ибо ни волоска на голове не было, и поволок к окну, чтобы выбросить на улицу, вслед за париком. «Mein Gott, Jesus, Maria!»[1] — кричал немец, не переставая, однако, упираться сколько было силы и исправно действовать ногами и руками по чему ни попало. Бог знает чем бы все это кончилось, если бы русский лекарь, с помощию устрашенного хозяина трактира и Никандра, не бросился разнять состязателей в науках и силе. Что касается до француза, он хохотал во все горло, говоря:

— Клянусь всеми бывшими, настоящими и грядущими медиками, что пунш редко, а бесподобная Роза Инносанс никогда не была поводом к таким кровопролитным подвигам, как салат, бутерброд и пистолеты! Виват Роза и все ей подобные докторши от ипохондрии.

Поединщиков розняли. Англичанин поправил взъерошенные волосы, надел шляпу и, взяв Никандра за руку, сказал:

— Прощай! не забудь употребить моего лекарства, и вы все сегодни же будете спокойны.— С сим словом он вышел. Бедный Грабшауфель, надевая пред зеркалом принесенный с улицы парик, с плачем отирал кровь, текущую с разодранных ушей его.

— Безбожник! — говорил он с яростию.— Такие предписывать лекарства! Не есть ли он кровопийца, душегубец! Если б я был повелитель, я велел бы таких медиков вешать, топить, колесовать, четвертовать. Нет, даром ему это не пройдет! У меня уже почти готово сочинение на трехстах восьмидесяти семи страницах in folio, в коем неоспоримо доказано, что способ лечения английского есть настоящее убийство, достойное казни как в здешней, так и в будущей жизни. Сегодняшний случай подает мне материю умножить сочинение мое по крайней мере двумястами страницами.

Выходя, предавал он страшному проклятию Тодборуга, всю Англию и всю вселенную, где только терпят таких кровожадных медиков. Русский вышел, качая головою, а француз — распевая песню.

Итак, Никандр лишился надежды помочь бедному отцу своему. Он предоставил излечение его остальным

[1] Бог мой, Иесус, Мария! *(нем.)*

трем врачам, именно: богу, телесному сложению и времени. Едва кончил он расчеты с содержателем трактира и собирался выйти, вбегает слуга их дому. Бледное его лицо, блуждающие взоры и трепет во всем теле привели и Никандра в подобное содрогание.

— Что такое? — вскричал он, уставив на слугу неподвижно глаза свои.

— Князь! — отвечал тот,— положитесь на помощь божию — и не пугайтесь. У нас в доме не совсем здорово! более всего будьте твердым и не пугайтесь. Велика власть и милость господня!

— Говори, говори!

— Батюшка ваш — почтеннейший князь Гаврило Симонович...

— Скорее, скорее.

— Невозвратно, бесповоротно, на веки веков...

— Умер? — вскричал Никандр с отчаянием.

— Нет, ваше сиятельство,— подхватил слуга,— слава всевышнему и всем святым угодникам, ваш батюшка здравствует по-прежнему, но только несколько...

— Не мучь меня, говори все, я готов слушать, если только жив он...

— Жив и здоров, но только — невозвратно, бесповоротно, на веки веков сошел с ума!

Никандр, как ударом грома пораженный, затрепетал, потрясся и мгновенно пал без чувств на пол.

Глава II

Сочинители

Чрез несколько минут Никандр, пришед в себя, видит, что он окружен хозяином трактира, хозяйкою и детьми их. Слуга натирал ему виски уксусом так усердно, что чуть не содрал кожи. Между несколькими посторонними узнал он Голякова, сына довольно зажиточного деревенского дворянина. Сей подошел к Никандру с дружеским соучастием и сказал:

— Любезный князь! не лучше ли тебе пойти домой и не подвергаться неприятности быть предметом ротозеев, которые сплетут на твой счет какую-нибудь глупую сказку.

— Никогда,— возразил Никандр,— не переступлю я порога того дома, где страдает несчастный отец мой!

Когда все немного поуспокоились и Никандр с г-м Голяковым и слугою остались одни, то оба приятеля приступили к последнему с расспросами, почему он утвердительно полагает, что отец его лишился рассудка?

Слуга отвечал:

— Нельзя другого и думать! Как скоро его сиятельство начал запираться и вести такую уединенную жизнь, все слуги и служанки — по обыкновению, от первого до последнего, начали догадываться, подозревать, подглядывать, подслушивать и таким образом добираться причины, отчего князь так переменился. Первый клюшник усмотрел, что батюшка ваш иногда сидит за полночь за свечою. Открытие сие сделано сквозь замочную скважину. Портомоя слышала нередко, что он что-то бормочет, стучит об стол руками и ногами о пол.

Всякий догадается, что таковые открытия не могли, да и не должны были остаться без надлежащих замечаний, а после и заключений. Одни догадывались, что родитель ваш, конечно, был в свое время великий грешник и теперь очищает душу постом и молитвами. Другие утверждали, что он больше похож на колдуна и по ночам упражняется в чернокнижии и что стук, в комнате его происходящий от топанья ногами, есть призывание и приход злых духов, с коими он беседует. Признаюсь, что я и сам был несколько в сих мыслях, а особливо слыша иногда очень явственно произносимые слова: *злой дух, дьявол* и проч. Весь дом боялся близко и подходить к колдовскому убежищу. Скоро, однако, мы выведены были из сего заблуждения. Известно всем, что в городе сем есть старая цыганка, которая прославилась своими колдовствами и ворожбою. Мы тихонько отправили к ней депутатов, и она, расспрося хорошенько об образе жизни его сиятельства, вашего батюшки, и рассмотрев все обстоятельно, подумала, погадала и, наконец, сказала решительно: «Нет! Господин ваш не колдун. *Первое:* такого рода люди всегда дела свои производят тайно, остерегаясь, чтобы никто близко и не подходил. Главное их упражнение происходит в дремучем лесу или открытом поле, а по крайней мере на чердаках. *Второе:* всякий ворожея, чернокнижник или колдун не может действовать далее двенадцати часов ночи. *Третие:* ему нет нужды быть собеседником дьяволов, ибо он, будучи богат, может

найти хороших приятелей и между людьми. А как князь Гаврило Симонович совсем иначе сему поступает, ибо он живет в прежнем своем кабинете, делает странности почти до обеда, то надобно заключить,— да так оно и есть,— что он, бедный, рехнулся ума».

Сим велемудрый оратор кончил свое повествование. Никандр погрузился в мрачную думу, несмотря на всю глупость сих рассказов. Но молодой его приятель Голяков, вместо того чтобы соучаствовать, спустя несколько секунд поднял такой ужасный хохот, что Никандр и слуга вздрогнули, и первый не удержался, чтобы не выговорить ему за поступок, не сходственный ни с их приязнию, ни даже с благопристойностию.

— Потерпи,— возразил Голяков,— и ты сам будешь также смеяться. Будь надежен! Отец твой так здоров, как был и прежде. Головой отвечаю, что у него та же болезнь, которая несколько времени назад старшего брата моего доводила до крайностей. Выслушай небольшое сие приключение, и я уверяю, что ты совершенно успокоишься.

Незадолго до того времени, как вытолкали тебя из пансиона,— ты простишь дружескую речь,— я приехал в деревню к отцу своему погостить, пока не найдется места по службе. Там застал уже старшего брата моего Якова, который выпущен был из московского училища и проживал дома с тою же надеждою. Брат мой был человек ученый, самый ужасный из всех возможных метафизиков, самый упрямый из философов и самый задорнейший из стихотворцев и притом, что всего опаснее, трагических. К большому несчастию, отец наш ничего далее не знал в науках, как подписывать кое-как свое имя на письмах, сочиняемых заштатным пономарем нашей деревни. Мать моя и того меньше знала. Посуди ж о их удивлении, когда брат Яков говорил им о таинствах метафизики и поэзии; когда толковал об афоризмах, категориях, ямбах и анапестах! Кто чего совсем не понимает, тому долго слушать о том покажется скучно, а особливо если имеет возможность не слушать. Долго сносил отец мой метафизические нападки сыновние, наконец сказал прямо, что он не только никогда не занимался такими пустяками и впредь заниматься не будет, но советует и сыну бросить сии дурачества. Яков,— как и следует ученому человеку,— называл его без обиняков простофилею и гусем, мать — индейскою курицею, сестер — дрофами и проч. Старик сердил-

ся и проклинал тех, кои присоветовали ему посылать сына в такое важное училище.

Чтоб отомстить отцу и еще более обнаружить великолепие своих дарований, Яков принял самое отчаянное намерение,— именно, сочинить трагедию, и притом такую, какой в свете не было, не будет, да и быть не должно.

Однажды, когда мы остались наедине, он сказал мне: «Так, брат, я хочу обессмертить свое имя и тем оказать важную услугу своей фамилии, месту рождения, отечеству, веку, всей вселенной. План трагедии готов. Она взята из жизни царя Иоанна Грозного и будет состоять из десяти действий или более. Я не люблю ни греческих, ни римских, ни французских трагиков. У них все как будто без души,— без вкуса, без чувства. Мне нравятся одни немецкие, а более английские трагики. У них везде природа, да и какая еще природа? Natura naturans, а не naturata [1].

Действующих лиц в трагедии моей будет до десяти тысяч человек. Зачем без нужды стеснять себя? Первое действие заключит в себе жизнь царя ото дня рождения до совершенного возраста, когда он сам уже вступит в управление областями. Для большей точности и извлечения чувствительных слез у зрителей не премину представить вначале, как гордые советники, правители царства, в малолетие царя обижают всячески венчанного младенца. Он плачет, просит пощады,— а что сего чувствительнее? Далее откроется всеместный в Москве пожар, от которого горят две трети города, дворцы и соборы, меж тем как царская сродница, великая колдунья, вместе с своею дочерью летают по воздуху и раздувают пожар. Не правда ли, что это совершенно по-шекспировски? Колдуньи летают по воздуху! — Ах, как это разительно! Впоследствии представится их казнь, побиение бояр, разные внутренние мятежи, язвы, голод, взятие царем Казани, Астрахани, искоренение новгородских дворян и духовенства, и все сие величественное зрелище заключится убиением сына и смертию царя. Все это будет одушевлено; нравы и обычаи века соблюдутся. Целые армии сразятся, и кровь будет течь реками, крики и стоны взойдут на небо; волки и вороны будут пожирать убитых на сражениях или погибших от голода и язвы. В пристойных местах

[1] Природа созидающая, а не природа созданная.

будут показываться шуты и скоморохи. Словом, я хочу, чтобы моя трагедия была зеркалом целого мира. Если и она не произведет желаемого впечатления, то есть жалости и ужаса, как предлагает Аристотель, то горе отечеству и веку! Тогда ясно увижу я, что все похожи на невежду отца моего».

Так рассуждал красноречивый брат мой Яков,— и с неутомимою деятельностию принялся за свою работу; а я отправился гостить к родственнику в дальнюю деревню. Спустя недели две весь дом ужаснулся. Надобно знать, что брат жил в особом домике в саду. В самую полночь начинался у него такой шум, такая возня, как бы домовые со всего света выбрали его своим седалищем. Слышен был по временам стон, аханье и болезненный вопль. Стулья двигались, окна звенели, столы трещали и прочее,— словом, никто не смел и подойти. Поутру отец спросил у Якова, что было причиною необыкновенного шума в его покоях? «Не знаю, ничего не слыхал»,— был ответ его. Другая, третья и четвертая ночь прошли так же, весь дом погрузили в мрачное уныние, и отец мой, хотя человек старый и не ученый, однако для возобновления тишины и порядка в доме решился попытать, не возвратит ли он дней своей храброй юности. Утвердившись в сих мыслях, сколько можно скрытнее, собрал он совет, состоящий человек из шести дворовых людей, которые были посильнее и поотважнее. В совете сем определено в ту же ночь, запасшись оружием и крестною силою, пойти ратовать с домовыми; ибо они полагали, что один такого шуму не наделает. Как скоро ударило одиннадцать часов ночи, время, в которое обыкновенно злые духи начинали свои упражнения, отважный родитель мой с воинством своим выступил в поход, не позабыв поставить две свечи пред образом Георгия Победоносца. Один из воителей нес большой фонарь.

Поминутно ограждаясь одною рукою крестом, а другою держась кто за саблю, кто за ржавое копье, которое за триста лет бывало в действии противу татар, ратники вошли в коридор, который был первым ходом к братниным покоям. Не без удивления увидели они, что в противулежащем углу оного висел маленький зажженный фонарь, на полу стояли кресла, на коих сидело некое страшилище в рубищах. Голова его лежала на ручке кресел, и потому лица явственно распознать было не можно. Храбрецы наши оторопели; дрожь разлилась по их жилам.

«Архип,— шептал отец мой,— пойди погляди поближе, кто там; у тебя копье, так издали достать можешь!» — «Избави меня мати божия,— отвечал Архип,— мне жизнь не надоела! Как можно самому лезть в рот злого духа? Вам, сударь, сходнее; вы барин,— да и сабля ваша недавно чищена, а моим копьем и с собакою не сладишь, не только с дьяволом!» Тут все перекрестились. Долго были они в нерешимости и стояли в молчании. Полночная тишина господствовала в доме, как вдруг в некотором отдалении послышался слабый, изможденный голос:

«Помилуй, пощади!» — «Нет милости, пощады!»

Раздался ужасный рев, сопровождаемый страшным треском, как бы целый дом рушился, и вмиг боковые двери с шумом растворяются; быстро выбегает страшилище с обнаженным кинжалом, устремляется к другому, сидящему в креслах, поражает его несколько раз, потом грызет кинжал зубами и, задыхаясь от бешенства, топает ногами.

Герои окаменели; между тем как одно привидение так жестоко управлялось с другим, они подобно мертвым стояли без движения; губы их посинели, страшная бледность покрыла щеки; они не смели взглянуть один на другого. Беда беду родит, говорит пословица: так и с ними. Наихрабрейший из всех храбрых на кулачных боях и кабачных поединках — Архип, на которого отец полагался, как на каменную стену, Архип задрожал, поколебался и упал бы на пол, если б не поддержало его копье; но он так им стукнул о пол, что возбудил внимание привидения. Оно оглянулось. Кровавы были взоры его: густая черная борода висела до пояса, голову украшала шапка, подобная сахарной голове. Несколько секунд оно рассматривало пришельцев и вдруг, вскричав:

Измена адская! что вижу пред собой!
Погибните вы все в страданьях, муке злой! —

с сими словами бросилось к открывателям духов. «Да воскреснет бог и расточатся врази его!» — кое-как прошептал дрожащими губами отец мой и первый обратился в бегство; за ним следовали все по мере отваги, один быстро, другой еще быстрее; однако все благополучно убрались, прежде нежели злой дух мог наказать их за любопытство.

Я ничего тогда не знал о сем, ибо приехал домой на рассвете той ночи, когда рыцари оказали такую отвагу.

Около обеда явясь к отцу, я нашел его необыкновенно пасмурным. Расстройство видно было из каждой черты лица его.

— Сын мой,— сказал он, посадив меня.— Я очень несчастлив! — Тут, чистосердечно рассказав мне о причинах и следствиях ночного ратоборства, присовокупил: — Так! я имею теперь причину страшиться, что брат твой Яков чрез свои проклятые науки спознался с нечистыми духами и предал им свою душу. Как можно только спать в таком месте, где столько ужасов; а он и не подумает! о я, злополучный!

— Батюшка,— сказал я шутливо, чем немало удивил старика,— вы напрасно крушиться изволите! Сын ваш никогда не входил в такие союзы; а он трудится над прославлением себя, своей фамилии, отечества, века и целой вселенной,— словом: он занимается *трагедиею*.

Старик выпучил глаза.

— А что это за особа, друг мой? — спросил он стремительно,— уж не матка ли дьявольская?

Я пространно описал ему достоинство и прочие принадлежности сего высокого творения. Отец вздыхал при каждом слове, возводил глаза к образу богоматери всех скорбящих и наконец сказал:

— Так! теперь понимаю все несчастие. Он, бедный, или лунатик, или совершенно сумасшедший. Надобно поскорее помочь.

Наказав мне строго никому не открывать о нашем разговоре, велел заложить лошадей и поскакал в ближайший городок. Мне хотелось переговорить с братом и, несмотря на запрещение, предостеречь его, но сколько ни стучался у дверей его домика,— тщетно. Видно, он сочинял тогда самый свирепый монолог. К вечеру возвратился отец — и с лекарем. Когда все отужинали, родитель поведал о новом намерении своем прежним совоителям, увещевая не робеть, ибо проказничает не другой кто, как сын его, который совсем не знается с чертями, хотя часто говорит и пишет чертовщину.

Когда наступило урочное время, отправились мы все к трагику, запасшись на сей раз вместо сабель и копьев довольным количеством веревок. Вошед в коридор, Архип — мужественный Архип — ничего уже не страшился. Он с другим слугою притаился у дверей, из коих должно было показаться пугалище. Оно не заставило долго дожидаться. Скоро поднялся такой смешанный шум и гул, что

подлинно можно было покуситься думать, что брат мой сделал притон дьяволам или сошел с ума. Вскоре отворились двери, и он бросился на вчерашний предмет своей ярости. Но не успел сделать и пяти шагов, как Архип с товарищем схватили его сзади; прочие прибежали, свалили с ног, вырвали кинжал и скрутили руки и ноги веревками. Брат мой походил на беснующегося. Тут подошли мы и увидели на стихотворце старинное маскерадное платье; на голове была бумажная шапка, наподобие прежних корон царских. Когда избавили его от сих украшений, равно как накладной бороды и усов, лекарь приступил к нему с орудиями лечения, или, лучше, пытки. Сколько бедный Яков ни умолял его помиловать, сколько ни заклинался не писать не только таких ужасных трагедий, но ниже слезных драм, ниже комедий,— тщетно. Отец был неумолим. Якову пустили кровь, выбрили затылок, приложили к нему шпанскую муху, и отец приказал двум слугам не отходить от его постели, пока не заживет рана и не отрастет затылок.

В ту же ночь преданы всесожжению новая его трагедия и все прочие сочинения, не исключая даже ни одной немецкой и английской феатральной штуки. Я должен был всей библиотеки братниной переводить заглавия, и при малейшем сомнении отец клал книгу в огонь, приговаривая: «Исчезни, нечистая сила!»

Чучела его, представлявшая какого-то знатного пленника, изрублена в куски. Брат мой скоро излечился, забыл о своей трагедии и о прославлении отечества, века и вселенной. Если и отец твой страждет сею ужасною болезнию, то его легко вылечить, потому что он и умнее и опытнее брата Якова. Пойдем к нему и посмотрим.

Приятели наши отправились к князю Гавриле Симоновичу и, к счастию, застали, что он только садился за ужинный стол. Он ласково принял гостя и пригласил сесть с собою. Никандр и товарищ его не без удивления приметили, что больной был весел, говорлив и шутил с приятностию. Когда стол кончился и сын намекнул ему о перемене поведения, столько обеспокоившего целый дом, а особливо его, старик, улыбнувшись, сказал:

— Друг мой! Ты нов в свете и не знаешь, что люди, дерзнувшие пуститься на поприще славы авторской, и не то еще делают! Так, Никандр, я хотел и хочу сделаться сочинителем!

— Праведное небо! — вскричал сын с горестию.— Мог ли я подумать, что с вашим умом можно сделаться столько...

— Глупым, хочешь ты сказать? — подхватил князь,— потише, друг мой! Быть сочинителем отнюдь не глупо; но только надобно знать, как за ремесло сие приняться.

— Милосердый боже! — сказал Никандр еще печальнее,— пусть бы вы писали роман, комедию или что-нибудь полегче; а то трагедию! Клянусь, сочинение трагедий и молодых людей с ума сводило. Спросите у моего товарища.

— Кто ж сказал тебе, что я пишу трагедию,— спросил князь с некоторым удивлением, и Никандр объявил ему чистосердечно и подробно о своей печали, видя его в такой задумчивости, о замечаниях целого дома, о советах докторских касательно способов излечения от ипохондрии, об рыцарствах молодого трагика Якова и общих их догадках.

Гаврило Симонович, сколько ни был важен, не мог удержаться от смеха. «Друзья мои,— говорил он,— теперь и я, с своей стороны, открою вам тайну мою. Так! мне пришло на мысль досуги свои посвятить размышлению и для большего собственно своего удовольствия, а может быть, и пользы общества, сделаться сочинителем. Надобно было только избрать род сочинений, коими бы мог прославить имя Чистяковых. В том вся и сила. Всегда надобно, прежде нежели обмакнешь перо в чернилы, подумать основательно: хорошо ли знаешь предмет, о коем писать хочешь; будет ли приятен и полезен людям; достаточно ли сил к его совершению? Если не так, то сочинитель никому не принесет пользы, кроме продавцам чернил, бумажным фабрикантам и делателям ваксы; ибо нет зла, в коем бы сколько-нибудь не было и пользы.

Основавшись на сих истинах, начал размышлять, к чему я более способен и за что приняться.

По довольном обдумывании...»

В самую ту минуту вошел курьер и требовал, чтобы Никандр немедленно шел к г-ну губернатору. «Сейчас возвращусь»,— сказал Никандр отцу и гостю и поспешно вышел.

— По довольном обдумывании,— продолжал князь Гаврило Симонович,— напал я прежде всего на эпическую поэму, как достойнейшее произведение гения человеческого. Я перебежал в уме всех эпических стихотворцев,

нашел в них необъятные дарования, неисчерпаемое воображение, парящую пылкость и прочее, но вместе с тем столько же вздору и нелепостей, и совершенно ничего для пользы мира земного. Например: сделался ли кто-либо лучшим человеком, лучшим гражданином, прочитав в «Илиаде», как Ахиллес, не хотя отдать Агамемнону пленной своей наложницы, называет царя царей пьяницею и сукиным сыном? Или в «Одиссее» описание спальни волшебницы Цирцеи, где перечислены, кажется, все булавки, коими сия могущая блудница ушпиливала свои прелести. А известно, что Гомер считается у нас отцом эпического стихотворства и все его брали и берут за образец.

Таким образом, оставя эпопею в покое, спустился я к трагедии. О древних и говорить не хочу. Никогда не находил я в них того, чего искало мое сердце, и не понимаю, как могут восхищаться ими новейшие, которые узнали природу человеческую, науки, искусства! Да и то уже одно, что каждый из них написал такую кучу трагедий (если филологи говорят правду), кажется, довольно доказывает, что они писали трагедию в два присеста. Чему же доброму и быть тут?

Итак, обратимся к новым: французские трагедии показались мне узкими, мелкими лодками, на коих чучелы Ахиллесов, Агамемнонов, Гекторов, Александров и Кесарей плывут по пузырящемуся ручью, одеты будучи в шитые камергерские кафтаны, с кошельками на косах, в париках XVII века. Английские трагедии и списки их немецкие большею частию похожи на пространную долину, коей взор обнять не может. Там пенятся реки, кипят ручьи — подле болот, где квакают лягушки и шипят змеи. Прекрасные цветы — розы, лилеи и гвоздики — растут, перепутаны крапивою и репейником; громы гремят, молнии раздирают небо, освещая мечи ратоборцев и кровь, ими проливаемую; меж тем как шуты в гремущатых колпаках скачут пред ними, бренча щелкушками. Надобно, однако ж, отдать справедливость, что Англия и Германия могут хвалиться несколькими истинно достойными трагиками, которые совершенно превзошли древних и новых всех веков и народов и могут служить достойными образцами.

Нашед, что я не в силах не только превзойти, но и сравниться с сими последними, не захотел быть ниже их, вздохнул и спустился к комедии.

Происхождение или начало сего рода сочинений не думаю я приписывать желанию исправить людские нравы. Основательнее положить можно, что им обязаны мы мщению, злобе, ненависти. Кто лично противу кого не смел обнаружить сих качеств, тот выставлял противника под ложным именем, не забыв так его раскрасить, что всякий мог легко догадываться. А первоначально и сею учтивостию пренебрегали. Я нашел, что сей род театральных сочинений наводнил целую вселенную, ибо начало их происхождения есть общее людям. Хотя в собственной жизни моей есть довольно случаев, могущих быть поводом к не худым комедиям и даже *слезным*, в коих некоторые немцы так много отличились, но я, чувствуя какое-то отвращение писать что-либо соблазнительное, оставил в покое и Талию, как Мельпомену. Да, теперь до такой степени унизилась нравственность, развратился вкус даже и в нашем отечестве, что никто из так называемых лучших людей не будет смотреть в другой раз комедию, в которой мало похабных двоезначений, соблазнительных положений и вообще всякой возможной низости. Если кто-либо подлинно из жалости к соотчичам затеял написать настоящую комедию, которая исправляла бы нравы, а не развращала, его освистали бы при первом представлении. Стоит внимательно раз десяток посмотреть в театре вокруг себя, что делают молодые девушки, полу- и целые невесты! Зардевшись от кипения крови, едва переводя от жару дух, с полуоткрытыми губами, влажными от изнеможения глазами смотрят, как молодой военный или придворный повеса объясняется в любви девушке, без сведения отца ее и матери, без всякого намерения жениться на ней (ибо о сем вале-дешамбр прежде уже объявит любезной своей Лизетте), после того увозит,— возит, возит и, наконец, привозит на прежнее место. Дело дойдет до аханья родителей, их плача и стона, проклятий и проч. Что делают тогда наши молодые зрители и зрительницы? Тут они занимаются кушаньем апельсинов, питьем лимонаду, рассказами и толкованиями о прежних явлениях, их пленивших, и ждут нетерпеливо, пока молодые безумцы ударят в ладоши и застучат ногами. Знак сей объясняет, что дело пошло опять о разврате; красавицы перестают разговаривать — и смотрят не переводя духа. Вот истинное изображение теперешней комедии.

А потому, кинув все сии бредни, вздумал я описать собственную жизнь свою. В ней найдут немало комедий,

трагедий и слезных драм. Я не виноват буду, если глупцы не сумеют воспользоваться моим примером. Исступления мои, испугавшие Никандра и весь дом, были следствия раскаяния, сожаления, неудовольствия и прочих страстей при рассматривании хода моей жизни.

Ударило двенадцать часов; гость простился и вышел; а князь Гаврило, ложась спать, говорил:

— Видно, сына что-нибудь важное задержало.

Глава III

Брак не состоялся

Поутру спросил князь у слуги: «Когда пришел домой Никандр?» Вместо ответа подана ему записка, в которой князь прочитал следующие строки:

«В полночь уезжаю по препоручению г-на губернатора. Не хотел беспокоить вас прощанием. Надеюсь скоро возвратиться».

Князь несколько обеспокоился. «Почему же бы,— говорил он сам себе,— не написать яснее, куда именно едет, зачем, надолго ли? Неужели и мой Никандр есть обыкновенный сын?»

Чай и завтрак показались князю невкусны. Он оделся наскоро и спешил объясниться с губернатором. «Вам совершенно не для чего беспокоиться,— сказал его превосходительство, выслушав сомнения князевы,— сын ваш послан мною нарочно, чтобы дать ему случай отличиться и возбудить внимание вышнего начальства. Куда и зачем послан — сказать до окончания дела не могу. Оно довольно важно и требует до времени скрытности».

Хотя князь и не совсем доволен был губернаторским ответом, но делать было нечего, и он решился часы уединения посвятить на описание своей жизни, оставив запираться по-прежнему и навлекать подозрение домашних и соседей.

Как в доме Причудина до времени ничего любопытного не происходит, то перенесемся и мы в деревню господ Простаковых. Может быть, там что-либо увидим примечательное.

Наступил ноябрь месяц. Князь Светлозаров, подобно майскому ветру, носился по дому Простакова. Катерина цвела, как алая полная роза. Улыбка покоилась на стар-

ческих устах Ивана Ефремовича. Веселая Маремьяна Харитоновна бегала, суетилась, все осматривала, приказывала, переприказывала,— однако без гнева и брани. Одна Елизавета была ко всему равнодушна. Пасмурное спокойствие лежало на глазах ее. Общая радость, казалось, нимало ее не трогала. Она была сирота в объятиях отца и матери; была как бы чужая, даже незнакомая в целом доме. Большую часть дня просиживала в своей спальне за книжкою, за пяльцами и в подобных тому упражнениях.

Наступил день бракосочетания. Все в доме поднялись очень рано. Везде раздался шум и стук. Кто повелевал, кто исполнял — все были не без дела. Свадебные билеты заранее разосланы. Когда все собрались в залу, Иван Ефремович спросил Катерину:

— Что же ты не одета по-надлежащему? Скоро восемь часов; до ближней церкви час езды. Поди сейчас; я приказал карету закладывать.

— Ах боже мой! — вскричала Маремьяна с важностию.— Что хочешь ты, друг мой, делать? Неужели навсегда посрамить себя? Венчать дочь после обедни! Это прилично только крестьянам и купцам, а благородная девица должна венчаться в полночь! Вспомни, как выходила замуж комиссарша, советница и другие!

Князь Светлозаров и Катерина были ее мнения; но ничто не могло убедить хозяина. Он, подобно Зенону и Кратесу, стоял твердо в своем намерении. «Хочу,— говорил он,— чтобы дочь моя, прежде нежели принесет обеты в постоянной любви и верности своему мужу, принесла мольбы всевышнему, прося у него милосердого воззрения в будущем ее состоянии. Катерина! иди одевайся, надобно поспевать к обедне».

Должно было послушаться. Мать и дочка начали наряжаться, а князь Виктор приказал и свою карету закладывать.

Званые гости и гостьи съехались, и, после небольших споров касательно убора невесты, все были готовы. Кареты подвезены, отец благословил образом обрученных, жених подал руку невесте,— двинулись, как на дворе раздался шум и топот скачущих. Все бросились к окнам, считая кого-нибудь из гостей свадебных; но немало изумились, увидя необыкновенную перемену в лице князя Виктора. Он задрожал. Рука его выпустила руку Кате-

рины. Дыхание его сперлось. Если бы не поддержали его устрашенные зрители, он упал бы на пол.

Когда все суетились и не знали, что делать, двери гостиной быстро отворяются; входит молодой человек в мундире, сопровождаемый другим, обремененным железами. Шесть человек команды за ними следовали.

«Никандр!» — вскричала Елизавета, протянув к вошедшему молодому человеку руки свои и не трогаясь с места. «Никандр!» — сказал Простаков, отступив назад; «Никандр!» — молвила Маремьяна, закуся язык и опустя руки.

Так! Это был сам Никандр. Он подошел к Простакову с учтивостию и сказал:

— Прошу извинить меня в том беспокойстве, какое причинил вам! Оно спасительно для всего вашего дома.

Тут приведенный узник выступил вперед и, подав руку князю Светлозарову, окаменевшему на своем месте, сказал:

— Приятель! жизнь, нами проведенная, мне наскучила. Все открыто правительству, которому судьба меня подвергла. Недостает только твоего подтверждения. Следуй за мною!

Никандр дал знак, и вмиг оковы загремели на руках князя Светлозарова. Стража окружила обоих друзей и повлекла вниз по лестнице. Никандр сказал Простакову:

— Я исполняю предписание правительства. Дом ваш избавился злодея, которого хотели вы сделать сыном и который разлучил вас с умным, добрым и истинно любившим вас человеком, князем Чистяковым. Так! он обижен вами, но не питает ни гнева, ни мщения. Чувства его выше сих движений. Не думайте, что я, как сын его и друг, говорю пристрастно. Нет! во время пребывания моего в вашем доме, быв чужд во всей природе, я нашел уже в нем благодетеля и мудреца. Оставляю дом ваш с приятною надеждою, что вы будете питать к отцу моему такие чувства, какие питали прежде и каких он всегда достоин!

Тут Никандр раскланялся, вышел, сел в повозку и ускакал. Положение всего семейства было неописанно. Катерина, как главное действующее лицо, была в страшном расстройстве; Простаков, устремив глаза на дверь, в которую увели нареченного зятя и куда скрылся Никандр, стоял неподвижно. Маремьяна, взглядывая то на мужа, то на дочь, шептала:

«Ах мати божия! что это сделано с князем Виктором? Как? Никандр сын князя Гаврилы Симоновича?»

Елизавета была как каменная. Она не слыхала и половины слов Никандровых, так поражено было все существо ее. Глаза ее блуждали, голова кружилась, колена подгибались; наконец слезы как град полились по лицу ее, она застонала, закрылась руками, удалилась в спальню и упала ниц на постелю. Казалось, что на ту пору страх к отцу, стыдливость противу матери, гостей и домашних — все забыто Елизаветою. Один удаляющийся Никандр занимал все мысли ее, все чувства.

Иван Ефремович, как и должно мужчине, а притом мужу и отцу, первый пришел в себя и, севши на софу, сказал:

— Господи, твоя воля! с тех пор как в доме моем показались князья, сделался я несчастен! Один князь выгоняет другого, один чернит другого. Прежде полиция ищет Чистякова, как вора и разбойника, но не находит, теперь молодой Чистяков так же поступил с Светлозаровым. Дело это на шутку не походит! Кто-нибудь из них да злодей. Надобно узнать истину. Не допущу так позорно шутить надо мною — человеком старым.

— И природным дворянином,— подхватила Маремьяна, получив употребление чувств.— О, если б так поступили в доме покойного моего батюшки, у которого были балы и феатры.

— Чтоб черти побрали все такие феатры,— вскричал муж вспыльчиво.— А чем худа комедия, теперь только у нас сыгранная? стоит представить стук алебард, звук цепей. Как бы то ни было, я должен добраться истины, а иначе сойду с ума. Завтра же еду в Орел и там увижу,— что станем думать и что делать!

Какая перемена в доме! Из гостей некоторые уехали, других уняли отобедать, чтобы приготовленное даром не пропадало. Жалко было смотреть на Катерину, с каким печальным лицом скидывала она брачные наряды. От стыда и грусти отказалась она от обеда, легла в постель и плакала с досады. День прошел очень скучно, тем более что ожидали и готовились провести его весело и приятно. Гости к ночи разъехались — рассказывать домашним и посторонним, какие чудеса происходили в доме Простаковых. На другой же день Иван Ефремович пустился в дорогу доискиваться истины.

В крайнем смущении на пятые сутки путник наш въехал в орловские ворота. Тогда рассуждал он, где остановиться; ехать в дом Причудина, как делывал он прежде, почитал теперь неприличным; ибо он наверное полагать мог, что старик давно известен от Никандра о подозрениях его на князя Гаврилу Симоновича. А притом и встретиться с Никандром было для него чрезвычайно тягостно. Он остановился в трактире.

Просидев в общей зале около часа, увидел он, что все бросились к окнам. Он тому же последовал, выставил голову на улицу и вмиг бросился от окна с таким стремлением, как будто бы в глаза ему кинулось чудовище. Чуть не сбил с ног трех таких же любопытных.

И подлинно причина ужаса была достаточна! Едва, как сказал я прежде, выставил он в окно голову, как увидел конвой с обнаженными тесаками, а в средине оного князя Светлозарова с его товарищем, вместе скованных. Они походили на ночные привидения! Где прежняя князева ловкость, его приятность, его веселость! Увы! открытый порок страшится сам взглянуть на себя.

Когда увели узников, любопытные оставили окна или бросились к двери, Иван Ефремович сидел неподвижно на стуле. Воображению его беспрестанно представлялись железа, и в ушах раздавался звук их. К обеду только, когда понабралось довольно народу, он несколько пришел в себя. Разумеется, что в числе разных материй, обыкновенных при трактирных столах, не позабыто было и о колодниках. Более других отличился малорослый, пузатый, нечесаный человек в штатском мундире. Он перебивал речь у всех и соединял три важные искусства вместе. Он ел, пил и говорил беспрестанно. Правая рука его двигалась, как маятник у часов, от тарелки ко рту, а левая стирала пот с багряного лица его. Когда обед кончился, Иван Ефремович не без причины почел, что пузатый вития лучше других удовольствует его любопытство, почему, пригласив его напиться вместе кофию, просил сказать, кто такие были давешние преступники и какая судьба их постигла?

— Понеже,— отвечал пузан,— благоугодно вашему высокоблагородию ведать точную правду, то я, нижайший, потщусь изложить ее в кратком экстракте. Я состою по службе повытчиком в уездном суде, того ради все мне известно. Вышереченные колодники суть: один, что повыше, сын священника, а другой по справкам оказался

урожденный дворянин, как и ваше высокородие. Оба они, промотавшись, пустились в законопреступные чинения. Они имели подложные виды и имена. То являлись купцами, то дворянами, князьями, графами и прочее, смотря по надобности. Они были воры, разбойники, зажигатели. Похищали у отцов дочерей, у мужей жен, а все для прибытку. Недалеко от города, в дремучем лесу, открыто их логовище, где держали они человек двадцать товарищей и великое количество девок, ими похищенных. Теперь повели их вертеп сей обнаружить, после чего, освободя заключенных обманом, воров сих отправят делать богомерзкие хитрости за Байкалом.

Всего чуднее и смешнее, что сии плуты, а особливо дворянской породы, как и ваше благоутробие, пускались иногда в странные затеи. Если примечали, что какой-либо отец семейства глупенек, а мать спесива, они являлись в великолепном образе и виде, предлагали себя женихами, получали согласие, увозили жен в свой вертеп, делились ими и приданым, а после запирали в подземные норы. Недавно один из них, дворянин-ат, пронюхав, что в дальней деревне здешней губернии проживает богатый, но преглупый старичонка — как бишь имя его? Дураков? нет! Филин? нет!

— Все равно,— вскричал Простаков, почесавшись в затылке.

— Да, да! — продолжал пузан.— Его звали Простофилин. Мошенник-ат и въехал в дом его, вскружил головы жене, сущей обезьяне, и дочери, настоящей повесе, и вскоре объявлен женихом. Но на беду его — в доме-то Простофилина проживал какой-то один мелкотравчатый князь, который знал про плута и донес старому хрычу. Удалец наш, видя, что хитросплетения его не удаются, однажды за деревнею поймал врага, да и в свой вертеп. После нарядил товарищей своих гусарами, драгунами и черт знает чем, которые, прискакав в дом Простофилина, начали везде шарить и искать того, который был у них же под стражею. Они обнесли его вором и разбойником, каковы были поистине сами, и глупый Простофилин всему поверил, возвратил слово свое честному жениху и только хотел уже обвенчать дочь свою, как вдруг один из наших, малый бойкий, вот как бы и я, сын того князька, что, помните, я докладывал вашей чести...

— Довольно! — сказал Простаков, утирая пот.— С меня будет! Вот вам за труды! — Он подал серебряный

рубль, и пузан, приняв оный с благоговейным поклоном, вышел, согнувшись в дугу и промолвя:

— От щедрот вашего высокородия пойду повеселиться и с приятелями потешиться над Простофилиным. Экой урод! Нет, меня бы так не провели! Куды!

Иван Ефремович остался в самом горестном состоянии. Стыд, досада и раскаяние волновали душу его. «Куда теперь обращусь я? — говорил он с горестию,— как взгляну на дочь, которую по своей ветрености и необдуманности едва не погрузил в бездну погибели? Что скажу жене, легковерной, тщеславной матери, когда сам я был участником в ее глупостях? Я имел истинного друга, всею душою радеющего моим пользам, и лишился его по своему малодушию. Кто утешит меня! Кто даст совет, когда целый дом стенает?»

Так жаловался Иван Ефремович на судьбу свою. Три дни провел он в трактире, не могши решиться, повидаться ли с князем Гаврилою Симоновичем или нет, ибо он заключал, что по разорении разбойничьего вертепа он будет освобожден и непременно пристанет к Причудину. Часто намерялся он идти, упасть в его объятия и сказать: «Прости! я был обманут злодеем!» Он брал шляпу и трость, выходил на улицу и опять возвращался назад. Стыд не допускал его исполнить сие намерение.

Таким образом, под вечер четвертого дня надумался он ехать обратно в деревню. Сел в кибитку и отправился. Дорога была благополучна, и с ним ничего не случилось необыкновенного до одного селения, на половине дороги до дому. Настала ночь суровая, дождь и снег сыпались с неба, и так Иван Ефремович решился взять отдых и дать оный людям и лошадям в избе крестьянской.

Глава IV

Одни умирают — другие посягают

Когда г-н Простаков поотогрелся и смотрел задумчиво на дым, вьющийся из его трубки, услышал он в сенях голос хозяина, довольно грубо звучащий: «Нет места, голубушка! иди далее». — «Сжалься! — отвечал слабый, дребезжащий голос,— я изнемогла от стужи! Везде в деревне спят».

Известно, что Иван Ефремович имел доброе, жалостливое сердце. Он схватил со стола свечу, бросился в сени и увидел женщину почти в таком же состоянии, в каком явился к нему впервые князь Гаврило Симонович.

— Войди сюда,— сказал он, и незнакомка, вошед в комнату, бросилась к ногам и сказала задыхающимся голосом:

— Будьте великодушны, милостивый государь! Позвольте несчастной провести ночь в уголке сей хижины. Хозяин не пускает меня, чтобы вас не обеспокоить.

— Какое беспокойство?— вскричал он, поднимая ее.— Сядь и отдохни!

Незнакомка была женщина стройная. Бледное лицо ее не мешало заметить, что она имела некогда прелести. Платье ее, несмотря на беспорядок оного, было не крестьянское. Осмотрев ее наружность, Иван Ефремович спросил:

— Кто вы и чем может служить вам человек достаточный и довольно доброхотный? как имя ваше и какое состояние?

— Я несчастная,— отвечала она,— и это одно только имя заслуживаю. Нет у меня ни звания, ни состояния. Может быть, вам известно, что в здешней губернии открыто общество развратных людей, не имевших ни стыда, ни веры, ни совести. Я одна из злополучных жертв обольщения, которых держали они в заточении. Правительство, разрушив безбожное скопище, дало нам свободу; но что значит свобода, когда потеряно душевное спокойствие и утрачено бытие гражданское?

Иван Ефремович сильно тронулся словами несчастныя. Живо представилось ему, что он едва не вверг сам дочери своей в такое бедствие, в какое погрузили незнакомую молодость и неопытность. Сердце его размягчилось, и он вдруг решился дать ей убежище в своем доме.

— Кажется,— говорил он,— вы имели порядочное воспитание. Бедствия и лета вразумили вас, что кто устраняется от соблюдения правил, почитаемых обществом и верою, тот устраняется от счастия и спешит в погибель. Я дам вам место в моем доме, где будете вы заниматься по своему желанию. Я имею двух возрастных дочерей и надеюсь, что они найдут в вас опытную и благонамеренную советницу и подругу. Разумеется, они не должны знать источника вашего несчастия. Имя ваше?

— Ха́ритина!

— Сего довольно!

После такового разговора отведено Харитине место для ночлега, а поутру Иван Ефремович отправился в дальнейший путь, наняв у крестьянина повозку для принятой гостьи. Когда достигли они конца путешествия и муж представил гостью своему семейству, то Елизавета, взглянув на нее с соучастием, сказала: «Вы несчастливы,— я буду почитать вас сестрою». Катерина, напротив, едва ее приметила, а Маремьяна, взглянув на мужа, пожала плечами. Когда Харитине отвели покойчик и Простаков дал приказание дочерям уделить ей несколько из своего белья и платья, Маремьяна, оставшись одна с мужем, спросила:

— Что, друг мой, что видел и слышал?

— Своими глазами видел все и уверился в своей глупости. Князь Светлозаров есть изверг, достойно наказанный. Оставим его. Пусть с сего часа в последний раз произнесено ужасное имя сие!

— Но откуда,— продолжала жена,— выкапываешь ты всякую сволочь? То Никандр, то Харитина и бог ведает! Одного избавились, так надобна другая!

— Она несчастна,— говорил муж,— и этого довольно, чтоб всякий спешил помогать ей.

Прошло около месяца после сих приключений, и семейство мало-помалу начало забывать оные. Муж и жена были довольно веселы, а Катерина иногда шутила даже насчет своего замужества, уверяя, что жених не оставил на сердце ее ни малого впечатления. К Харитине все привыкли. Иван Ефремович нашел ее умною, воспитанною; Маремьяна — трудолюбивою, знающею шить, вышивать и проч. Дочерям также она нравилась своим кротким нравом и нежностию чувствий. Казалось, все предсказывало продолжительное спокойствие и мирную, приятную жизнь деревенского семейства, как неожидаемое несчастие повергло его в бездну плача и было предшествием многим другим несчастиям.

Дней за десять до праздника рождества Христова Иван Ефремович отправился, по обыкновению своему, в город для закупок. Лета ли его или неосторожность — произвели в нем легкую простуду. При сем случае сделал он два весьма важные проступка. В деревне простужался он нередко и всегда счастливо выходил из сей опасности, но, будучи в городе, послушался приятелей и принял к пользованию себя лекаря — родом неаполитанца. Другой проступок, что он не уважил болезни и поехал с лекарем

домой, чтобы не опечалить семейства. К горести всех приехал он крайне затруднителен. Маремьяна, Елизавета, Катерина и их гостья не отходили от болезненного одра старца добродушного. Кто стенал, кто вздыхал, кто плакал. Один медик синиоро Мортифиоро был важен и спокоен, привыкнув к подобным явлениям. «Государь мой! — говорил он Простакову,— благодарите милосердому провидению, что я призван, а не иной кто, пользовать вас в болезни. Городские товарищи мои настоящие живодеры и ничего не понимают в науке лечения. Я учился в Равенне и могу, не хвастаясь, сказать, с отличными успехами. Бог за то и благословил меня. Редко кто из попадающих в мои руки на меня жалуется. Искусство мое всякому хулителю оковывает язык. Я объехал всю Европу и знаю, как лечить всякого. Англичанину даю приемы как лошади, французу — как козлу; немцу — как быку, а русскому — как африканскому негру. Русскому столетнему старику надобно давать столько же действительные лекарства, как сорокалетним англичанину и немцу, тридцатилетнему французу и двадцатилетнему италианцу. Все последние четыре народа в означенный возраст приходят в настоящую силу и крепость, а первые ее не теряют».

Господин Мортифиоро в силу своих правил, основанных на глубоком познании нравов и образа жизни всех народов, так плотно принялся за г-на Простакова, что в начале пятого дня болезни попросил сей священника и бумаги для заготовления духовной. И священник и бумага привезены к ночи. Иван Ефремович написал завещание, выисповедался и причастился, как следует доброму христианину; после того, спокоен будучи в совести, сказал он семейству, рыдающему вокруг одра его:

— Друзья мои! Конец старца, отца, мужа и друга вашего близок! Всегда старался он говорить вам истину, а тем более готов сказать ее в минуты расставания с здешним миром. Маремьяна! Благодарю тебя за любовь и верность. Ты добрая жена, а если не будешь тщеславна и горда в выборе женихов для дочерей, то будешь и добрая мать. Поручаю твоему сердцу благо детей наших, всех людей, мне повинующихся, и нашей Харитины. Если духи усопших имеют понятие о делах земных, для меня будет сладостно видеть, как жена моя, мой первый друг, исполняет мои желания и, милуя несчастных, уподобляется существу небесному. Сыну моему родительское благословение! Пошлите нарочного в Орел к князю Гавриле Симоновичу

и сыну его Никандру. Скажите первому, как я на смертном одре страдаю, воспоминая, что мог так сильно ошибиться и негодовать на человека невинного. Просите у обоих прощения. Всякий из вас пред кончиною узнает, как приятно умирать, не оставляя на земле заимодавцев! Помогайте Харитине, сколько можете. *Блаженни милостивии, яко тии помилованы будут!* Пусть благодарная слеза и постороннего человека окропит гроб мой. Это будет фимиам пред троном судии звездного. Дочери! повинуйтесь матери своей! Служители и служительницы, повинуйтесь госпоже своей! таков устав божий и царский. Обнимите меня! простите!

С сим словом голова его склонилась. Закрылись вежды; дыхание остановилось. Его не стало. Всеобщее рыдание наполнило стены дома. Вопль и стоны — в то время непритворные — раздавались в каждом углу всей деревни. Старые и малые, мужчины и женщины толпились к одру оледенелого Ивана Ефремовича; целовали благодетельные руки его и благословляли память добродетельного. Все семейство не знало, что и делать, так расстроены были мысли каждого. Ближние соседи должны были учредить чин погребения. Одели покойного в мундир с раненою полою и как следует опустили в мрачную могилу, в конце сада, где кудрявая липа, солетняя Ивану Ефремовичу, осеняла его в часы полудня знойного, когда, бывало, на зеленом дерну лежал он с книжкою и трубкою табаку. Место избрано по его желанию. Согласно с просьбою слезящей Елизаветы, на могиле сей розданы были крестьянам и крестьянкам подарки, купленные покойным к празднику.

Пустота господствовала в душе каждого в продолжение всей зимы, но с началом весны по совету доброхотных соседов все несколько поутешились. Елизавета насадила на могиле отца своего кусты диких роз, фиалок и незабудок и приходила туда вздыхать о своих потерях. Маремьяна и Катерина занялись по-прежнему своими упражнениями, и казалось, что прочный покой и довольство водворились. Но увы, как непостоянны умы и мысли человеческие! и древний старец на краю могилы не может сказать: «Я так думаю и делаю и всегда так думать и делать буду!»

Как на беду оставшейся фамилии Простакова, приехал к ним с утешением молодой граф Фирсов, который воспитывался вместе с сыном Ивана Ефремовича в кадетском корпусе, был выпущен в гвардию, где, по заведенному

давно правилу спустив с рук две трети имения, должен был идти в отставку и поклониться оставшейся части имущества. Он пребывание имел в изрядном городе Мценске, но, видя, что городские невесты, кои поблистательнее, не очень прельщаются потемнелым его сиятельством, склонил внимание свое к деревенским. Ему много хорошо насказали о сундуках Простакова, и наш граф, найдя благоприятный случай, с одним из родственников своих явился к услугам Маремьяны Харитоновны, запасшись всеми гвардейскими ухватками.

И подлинно, он был настоящий соблазнитель. Молод, пригож, блестящ, говорлив, шутлив,— словом, он был в квадрате князь Светлозаров. Катерина и тут не устояла! Видно, уже судьба располагала ее за сиятельного. Объяснения скоро начались по форме; все стороны, казалось, спешили к скорейшему окончанию дела; однако Маремьяна, сколько проучена уже будучи первым женихом, столько по совету Елизаветы и Харитины, хотела обстоятельно осведомиться о его сиятельстве. На сей конец написала она как сумела письма три к старинным своим приятельницам, которые еще в девках посещали, бывало, феатры и маскерады покойного ее батюшки. Она считала их совестными женщинами и со вкусом; а потому и просила дать ей надобное известие и совет, тем более что они живут в городе Мценске или в окрестностях оного.

Чрез несколько времени получила она ответы, которые состояли из возможных похвал молодому графу. Одна писала, что он ужасно как умен, говорит по-французски беспримерно, танцует, поет,— словом, он есть душа общества. Другая уведомляла, что у него в Мценске дом меблирован в последнем вкусе; карета, лошади, скороходы, музыканты и проч. и проч. первые в городе.

Как не соблазниться таким описанием Катерине, и даже Маремьяне, которая, читая письмо, говорила дочери с нежною улыбкою: «Так точно было у покойного твоего дедушки!»

Следовательно, более нечего и думать? Подлинно так! Мало и думали. Катерина в скором времени сделалась сиятельною, и влюбленный супруг повез ее вместе со всем семейством в город — показать великолепие и все веселости тамошней жизни. Елизавета пролила слезы на могиле доброго отца своего; поклялась памяти его не уклоняться от невинности нрава и чистоты сердца, воспоминанию любимца души своей принесла она обеты вечной

любви и верности, хотя бы не только сиятельства, но и самые светлости предлагали ей руки свои.

Князь Гаврило Симонович и Никандр не без удивления и вместе соболезнования услышали о происшествиях в фамилии Простакова. Они оплакали смерть доброго старца и, вздохнув, сказали: «Брак Катерины не предвещает много доброго! — и Елизавета будет теперь обращаться в городском шумном доме. Ах! чего иногда не делает дурной пример и для сердца самого чистого, непорочного?»

Таким образом, оставя госпож Простаковых, молодого графа с его графинею и всех прочих охотников до шумных забав, обратимся к скромным и добрым друзьям нашим, князю Гавриле Симоновичу, его сыну Никандру и Афанасию Онисимовичу Причудину. Занявшись то сватовством, то смертью, то браком в одном семействе, другое давно мы оставили; но зато и займемся теперь им подолее.

Глава V

Верх просвещения

Господин Причудин, окончив торговые дела свои, возвратился домой к общему удовольствию. Препровождение дня расположено было по-прежнему, и потому в первый свободный вечер князь Гаврило Симонович начал продолжение повествования жизни своей следующими словами:

— Вы видели из последней статьи моей повести, в каком состоянии был и относительно просвещения, любви к Ликорисе и имущества. Проведши довольное время покойно в доме господина Доброславова, продолжая присутствовать в чертогах мудрости, в один день посещен был я моим хозяином и наставником, который сказал приятельски: «Друг мой! ты довольно отдохнул после знаменитого подвига над *Полярным Гусем!* Человек родится действовать; пора и тебе приняться за другое животное — поогромнее прежнего. Ты заметил *Небесного Тельца?* Не страшись! Он не умнее *Гуся,* несмотря на свою огромность. Тебе давно известно, что он есть граф Такалов, старик богатый и который помощию нашего просвещения страстно влюбился в благотворения, хотя совершенно не разумеет искусства кстати делать оные.

Надобно помочь бедному человеку сему; и к тому избран ты, любезный друг. Олимпий объяснит план действия».

Сказав сие, он дружески пожал у меня руку и удалился, а вслед за ним вошел Олимпий и говорил: «Поздравляю тебя, почтенный брат, с таковыми успехами! не всякий так проворно просвещается! Иному и в жизнь не поверяют дел толико важных. Трудись, друг мой,— человеком будешь! Следует теперь вступить тебе в службу к графу Такалову; ничем ты скорее успеть в сем не можешь, как понравясь жене его, которой он так же охотно слушается и боится, как малый ребенок своей мамы. Она ветрена, влюбчива, нахальна, но вместе так набожна, что каждый день бывает у трех обеден в сопровождении семнадцатилетней девушки Ефросиньи, которая есть настоящий ее список, как нравом, так и лицом, и которую называет питомкою, в предосуждение клеветникам, рассказывающим о ее рождении всякие небылицы. Итак, надобно тебе первоначально бегать следом за нею по церквам, бить сколько можно больше поклонов и вздыхать слезно, а там посмотрим! Я тебе сначала укажу ее».

Таким образом, поговорив обстоятельно о новом сем назначении, отправились мы к дому графа Такалова и уселись в некотором отдалении. Как скоро зазвонили в колокола, графиня наша показалась в карете, запряженной шестью лошадьми. Мы поспешили за нею, и как тогда не было моды скакать по улицам как бешеным, то мы легко не оставляли ее из виду. Пришед в церковь, уставился я поотдаль от графини и так неумеренно кувыркался, такие издавал воздыхания, так колотил себя в грудь, что во всей церкви меня слышно было, и Олимпий принужден был шепнуть мне, чтоб я поубавил ревности, а то подвергнусь опасности быть выведен с бесчестием как соблазнитель. Я послушался благоразумного совета и немного поукротился.

С сего дня начались духовные мои ратоборства и продолжались около двух недель, пока сделал я начало к достижению своей цели; и произошло сие довольно любопытно. Однажды, когда я, забыв наставление Олимпиево, богомольствовал с величайшим жаром и по церкви разносились мои завывания, графиня принуждена была на меня оглянуться, причем оказала некоторый вид удивления. Лакей ее худо понял движение госпожи своей, подошел ко мне и сказал:

— Милостивец! Если ты привык молиться с таким

шумом и неистовством, то мог бы делать то за оградою или по крайней мере на паперти, а то беспокоишь людей и походишь больше на кощуна! Лучше выйди!

— Призри на моление, ангел-хранитель мой,— сказал я вместо ответа и, повалясь на пол кубарем, три раза стукнул лбом об пол и тяжко вздыхал, ограждаясь крестным знамением.

— О, о! — сказал лакей, взяв меня за руку,— так я тебя, дружок, и выведу, когда ты столько упрям! — С сим словом он меня потащил, но я, произнося смиренно: «Господи! Вонми рабу твоему!» — изрядно упирался. В храме произошел подлинный соблазн, и графиня, кликнув лакея, сказала важно: «Оставь его! Он никого не беспокоит! Молись, друг мой,— продолжала она, оборотясь ко мне,— сердце смиренно и сокрушенно бог не уничижит».

Я воспользовался предложением и с большим рвением молился. Иные сочли меня великим грешником, приносящим публичное покаяние; другие мошенником, который имеет свои виды. Третие, наконец, сумасшедшим, который сорвался с цепи. Всякий видит, что вторые были догадливее прочих.

По окончании церковной службы графиня, подозвав меня, спросила:

— Скажи, друг мой, о чем ты так усердно молишься?

— Милостивейшая государыня! — отвечал я, потупя смущенно взоры,— я умоляю господа дать мне место службы у такого господина, какого до сих пор был я секретарем!

— Москва обширна, и мест довольно,— сказала она.

— Но, милостивейшая государыня,— отвечал я,— где найти место по моим мыслям? Мне хочется вступить в дом смиренномудрого, благочестивого христианина. Хотя и многие предлагаемы мне были, но я находил, что хозяева их кощуны, лицемеры, порочные люди; и редкий из них в месяц бывает у службы божией, хотя в Москве у каждого почти дома есть церковь или церковка.

— Мне нравится образ твоих мыслей,— сказала графиня.— У мужа моего недавно очистилось место. Я поговорю ему. Будь завтра здесь. Когда ты понравишься, то будешь у него более приятель, нежели подчиненный. И прежний секретарь его был изрядный человек, да только упрям и не по достоинству высокомерен. Я надеюсь, ты будешь умнее.

С сим мы расстались. Я не забыл отвесить по поклону как ей, так и любезной ее Афросе. Когда, воротясь домой, отдал отчет, то Доброславов и Олимпий обняли меня за расторопность.

На другой день не преминул я поспешить в церковь и был так проворен, что, когда приехала графиня, я уже стоял на коленях у образа Неопалимыя Купины, подаренного ею церкви. Увидя ее прибытие, встал и почтенно поклонился.

— Благодари всещедрому провидению, — говорила она,— муж мой тебя принимает. Он человек честный, набожный и благотворительный. Сего дня под вечер приходи и явись ко мне.

Разумеется, что после того я нелицемерно молился небу за содействие в наших преднамерениях. Явясь в назначенное время к ее сиятельству, был принят благосклонно. Она представила меня мужу, вознесла похвалами, и я в тот же день переселился в дом их. Мне отведен покой,— и первое дело, какое поручено мне, было прошение на имя князя Латрона, в коем я должен был красноречиво доказать, что с его сиятельства несправедливо было снято достоинство градоначальника. Я трудился в поте лица и творением моим был доволен, а Такалов и того больше. Хотя оно не имело никакого действия, однако был награжден не худо.

Проведши у него около полугода, я беспрестанно рассуждал о благотворении и милосердии и так настроил воображение моего графа, что добродетели сии казались ему даже во сне в прекрасных видах. Когда он давал рубль какому-нибудь изувеченному на сражении офицеру или девке, лишившейся носа от излишней воздержности в жизни (что делал он без разбору), я сочинял в честь его похвальную оду, передавал ее тиснению в периодическом издании и получал награды и похвалы. Когда г-ну Доброславову показалось, что мы достаточно уже свели с ума Такалова, то в первое общее заседание Высокопросвещеннейший со всею пышностию объявил, что ночи тоя мы удостоимся — хотя издалека — видеть духов небесных и слышать слова их.

Таковое обещание наполнило существо каждого разными движениями: ужасом, восторгом, любопытством. Почти все содрогались при воображении о духах. Я и сам тогда не знал, что думать. Неужели и подлинно настоятель наш так могущ, что сподобился располагать духами? Откуда

власть такая? Почему другие не достигают сей степени просвещения? Я терялся в размышлениях, ожидая начатия сего чуда.

К полуночи ввели нас в особый покой, в котором я никогда еще не бывал. Посредине его возвышался олтарь, над которым висела малая лампада, едва освещавшая стены. На олтаре курились благовонные смолы и травы. Когда уставились мы полукругом около олтаря, Высокопросвещеннейший пал на колени и, подняв кверху руки, вещал умоляющим голосом: «Начало премудрости, источник просвещения, искра всякого разумения,— великая Единица! благоволи внять молениям верных твоих поклонников и ниспошли к ним единого от седми духов, предстоящих твоему престолу, да возвестит им твое изволение! Да сподобимся узреть лицем к лицу или, если днесь того недостойны, услышать слова его и увериться, яко ты, еси — ты, и несть иной разве тебе! Повели — и Гавриил, Захариил, Самуил, Михаил, Анноил, Рафаил, Офеил предстанут пред нами».

Он умолк, вслушивался и, скоро исполнясь восхищения, вскричал: «Внемлите! слышите ли кроткий полет вестника неба? Падите ниц и поклоняйтесь!» Он простерся пред жертвенником; мы все ему последовали и вскоре услышали следующие слова: «Благоговейте! Аз есмь Рафаил, предстоящий одесную престола всевечного! Приношу вам мир и милость! Пождите, время мало есть. Хощет повелитель неба, да уподобитесь ему милосердием к неимущей братии. Отдели каждый от избытков своих на богоугодные заведения! Когда сердца ваши раскроются к моим внушениям, вы меня узрите; днесь же не узрите!»

Голос умолк. Мы были как полоумные, пока слова настоятеля не привели нас в себя. «Встаньте,— сказал он,— и всякий из просвещенных назначь в книге живота, чем хощет он пожертвовать, чтоб узреть духов и уподобиться богу».

Тут все бросились к чудесной книге, и мой *Телец* подписался на двадцать пять тысяч рублей, которые деньги мною же в запечатанном пакете отвезены к Высокопросвещеннейшему. Граф совсем не подозревал, что и я состою в числе небесной животины. Однако, как ни хорошо расположили мы воображение *Тельца* своего, природная склонность, или привычка, или чей-нибудь злой совет взяли свою силу. Дня три после сего заседания граф

Такалов сделался необычайно пасмурен, вздыхал, уединялся и что-то шептал, сжимая на руках пальцы. Это привело меня в некоторое беспокойство. Предчувствие говорило: «Смотри! узнай причину таковой печали и умудрися!» Я вошел в его кабинет, бросился к ногам и сказал жалостнейшим голосом:

— Ваше сиятельство! Простите, что я осмеливаюсь вас беспокоить! Неограниченное мое усердие тому причиною! Смущение ваше потрясает душу мою. Откройте мне вину вашей горести. Может быть, не буду ли я столько благополучен, чтобы облегчить оную!

— Друг мой! — отвечал он, подняв меня. — Я только что хотел послать за тобою. Надобно тебе писать представление правительству. Основание его следующее: здесь в городе есть скопище злодеев, тем более опасных, что дела их несут имена добродетелей. Они называют себя просветителями мира и разными способами выманивают деньги у легковерных. Краснея от стыда, должен признаться, что и я на старости лет был столько глуп, что вошел в их шайку и позволил себя одурачить. Сколько они выманили у меня денег! И четвертый день назад я с тобою отослал к главному плуту двадцать пять тысяч рублей.

Тут, рассказав, какими образами высокопросвещенные доставали деньги, что я сам знал не хуже его, прибавил:

— Напиши, друг мой, представление, в котором объясни все сии душепагубные мерзости,— а я подам; и надеюсь, что правосудие не оставит без рассмотрения дела сего!

Я немало подивился таковому намерению графскому, равно как и Доброславов, которому не преминул я все рассказать того же вечера. «Ах он старый безумец! — вскричал Высокопросвещенный.— Так он думает открывать тайны, кои клялся сохранять свято? Надобно его просветить скорее!» Поблагодаря меня за усердие, отпустил и поехал посоветоваться с Высокопросвещеннейшим.

В первое после сего заседание увидел я также и *Небесного Тельца*. Настоятель сидел с важностию. Наконец, совершив обычные молитвы, сказал: «Времена развратные! век несчастный! злополучные землеобитатели! Любовь братская удалилась от мира сего! обеты священные не брегутся; честь и совесть изгнаны! Не есть ли сие предвестие гибельного падения машины звездной и совершен-

ного земли уничтожения? Так, просвещенные друзья мои и братья. Собеседуя с небесными жителями и открыв завесу вечности, познал я, что один из вас по сребролюбию, малодушию и ветрености хочет забыть свои клятвы и братьев своих открыть взорам непросвещенных!» Тут все общество восшумело; раздался общий ропот, и некоторые воззвали к великому просветителю: «Открой нам имя злополучного, дерзкого смертного! Мщение прольется на главу его!»

— Небо вам откроет его! — сказал просветитель, и, о чудо! стены покоя поколебались; раздался ужасный удар грома, свечи погасли; сильный резкий голос ясно произнес: *«Телец* — имя преступника!»

У всех волосы стали дыбом, а бедный *Телец,* упав на колени, произнес дрожащими устами: «Виновен, злополучный я! Впредь потщусь исправить вину мою двойным вспоможением». Едва кончил он слова свои, как двери с треском отворились. Мы вскочили, чая видеть целый полк духов, идущих карать преступного *Тельца,* но не мало смутились, а особливо я, увидя Куроумова, вошедшего в комнату с страшною свитою усатых драгунов с предлинными алебардами. Некоторые несли горящие факелы. Куроумов сколько мог кричал: «Вот скопище воров и разбойников! Здесь-то совершают они душепагубные свои чародейства! Пуще всего ловите проклятого *Козерога!* Он — самый злой мошенник и обманщик!»

Кажется, лишнее будет сказывать, что мы с первым его появлением бросились стремглав с места и старались скрыться. Так-то чиста была совесть у просветителей мира. Стулья падали, мы на стулья, общий шум, крик — словом, целый ад вселился. Да как и быть иначе в доме духов? В дверях мы стеснились; последние давали мне изрядные тумаки в спину, понуждая быть проворнее, я тем же платил передним и, выбравшись в другую, там в третью и четвертую комнату, пустился искать выхода из сего вертепа, трепеща в каждом суставе. С лестницы всходил я на лестницу; где было заперто, ломал двери и беспрестанно проклинал просвещение, которое знакомит с правосудием. Слава богу, что я, продолжая любить Ликорису, хотел уже несколько польстить страсти ее к золоту, почему, отсчитав двести червонных, взял с собою, как задаток тех несчетных богатств, коих ожидал от державного моего родителя, царя индейского. Я очень предвидел теперь, что мне не для чего возвращаться в дом

к Доброславову. Его очень хорошо знал мстительный Куроумов. Довольно с меня просвещения! Пора кинуть смотреть духов, пока сам не сделался духом.

Глава VI

Созерцание духов на чердаке

Проведя около часа в ночном странствии, останавливаясь с каждым мигом, прислушиваясь к шуму, делаемому собственными ногами и едва переводя дыхание, очутился я в пространном покое, слабо освещенном круглым окном. Я подошел к нему, выглянул и скоро догадался, что нахожусь на чердаке дома просвещения.

Погрузясь в мрачное уныние о будущей судьбе своей, я размышлял, облокотясь на окошко: «Боже мой! Каким превратностям подвержена жизнь человеческая! Сколько страстей волнуют вдруг сердца наши! Стоит ли временное имущество того, чтобы для приобретения его изобретать такие гнусные обманы? Да и стоит ли также пустое любопытство видеть невидимое того, чтобы для такой редкости кидать свое золото? О суета сует! Итак, я — князь Гаврило Симонович — пустился быть обманщиком? Так! совесть моя говорит, что если я не был сам совершенным плутом, то усердно помогал другим совершать свои плутни! А это разве не все равно? нет! Никогда я не ожидал сего от ученика велемудрого Бибариуса! Что-то сталось с моею княгинею Феклою Сидоровною; что-то будет с прекрасною Ликорисою, принцессою Тибетскою? Увы! что будет с принцем Гольконлским?»

Так оплакивая горькую участь свою и не видя впереди ничего лестного, не мог я не вздохнуть тяжко; как вдруг услышал легкую походку на лестнице, ведущей на чердак. Я задрожал и окаменел; но благодаря богу скоро пришел в себя и бросился в угол, где,. найдя, по счастию, кипу старых рогожек, зарылся как можно было глубже. Одни глаза и рот были на свободе. Спустя менее минуты является на чердаке — о ужас! Я подобился человеку, который, вспомня, что некогда шел по узкой, тонкой дощечке, лежащей над неизмеримою бездною, чувствует содрогание во всех мускулах; итак, вижу — является на чердаке существо совсем неземное. Лицо его, вмещавшее в себе все возможные прелести, сияло светом полного ме-

сяца. Длинные волоса, в небрежных локонах, раскиданы были по плечам и груди. Легкая мантия в греческом вкусе была единым покровом тела его. На груди висела таинственная перевязь, горевшая золотым огнем, в одной руке цветущая миртовая ветвь, в другой — драгоценный жезл. Обувью служили легкие сандалии, переплетенные лентами. Каждое его движение разливало благоухание. Подошед к окну, оно остановилось.

«Погиб несчастный,— говорил я сам в себе, дрожа всем телом и скрипя зубами.— Это, без всякого сомнения, один из духов, прибывших сюда выручить Высокопросвещеннейшего с почтенною братиею! Ах! как мог я, быв еще во тьме невежества, сомневаться в существовании духов и призывание их называть плутовством? О я, окаянный! Не своими глазами вижу теперь духа? Верно, великий призыватель помощию симпатии проникнул уже мои богопротивные хуления и сего прекрасного вестника послал быть своим отмстителем!»

Так горестно рассуждая, поручал я грешную душу мою милосердию божию и ждал кончины, зажмуря глаза, но вдруг новое происшествие заставило меня скоро раскрыть оные. Страшный шум, смешанный крик и род как бы некоторого грохота и рева раздался посредине лестницы. Я вновь затрясся, но сие не помешало мне заметить, что вестник небесный также задрожал и произнес, хотя тихо, но довольно явственно: «Ах, боже мой! что-то будет?»

Новое явление,— новый ужас! — с великим усилием тащится на чердак некоторое страшилище. Мрачную голову его украшали два великие рога. Пальцы на руках и ногах вооружены были страшными когтями. Длинный хвост величественно висел сзади, но уже дюжий драгун, за него уцепившийся, также явился с несколькими товарищами и бросился на злого духа, как я догадывался. Тут началось жестокое сражение при свете многих фонарей и факелов, принесенных другими драгунами.

Злой дух был подлинно немаловажный витязь, с неподражаемым искусством размахивал он руками, и, быть может, сражение скоро бы не кончилось, если бы он ратоборствовал с обыкновенными людьми, а не полицейскими драгунами, из коих иногда каждый не плоше сатаны. А сверх того, упрямый драгун, державшийся за демонский хвост, так сильно рванулся, уклоняясь от бесовской пощечины, что хвост лопнул — и оба соперника повалились на пол. Вся команда бросилась на дьявола, ужасно кри-

чащего, связала ему руки и ноги и поволокла вниз по лестнице. Долго еще слышны были адские его завывания.

Что касается до моего белого, прелестного духа, то он избежал необходимости сражаться с хранителями тишины и порядка! При первом появлении дьявола с преследователями своими он ахнул, вздохнул, колена его задрожали, подогнулись, и он опустился на пол без чувства. Он, конечно, привлек бы внимание многоочитых полицейских аргусов, если бы меньше черт был упорен; а то пленом одного его дело и кончилось. Да и самая строгая справедливость требует наказать злого и наградить доброго, не смотря, дух ли он или человек.

Глубокая тишина настала. Месяц перестал освещать чердак наш. Мрак и безмолвие усугубляли мой ужас! Шутка ли быть одному на чердаке — ночью, возле духа, правда хотя и не злого? (Он начал уже терять белизну лица своего, а вскоре и совсем померк.) Что мне мыслить? что мне делать? Тут, думаю я, разве бы только один премудрый Соломон был решительнее, и то с помощию своего волшебного перстня!

Проведши довольно времени в сем несносном положении, заметил я, что на чердаке начинает сереть, из чего догадался, что настает заря. Это меня обрадовало, ибо в Фалалеевке еще знал я, что в сие время дня духи теряют свою силу, добрые ли они, или злые. Я оградил крестом и встал. И подлинно уже рассвело, и я решился подойти к моему соседу. Он пришел в себя и, открыв глаза, сказал тихо со вздохом: «Боже! где я? где брат?»

Кто опишет мое удивление! Я не верил своим чувствам. Протирал глаза, чтобы увериться, не сон ли вижу я. Наконец удостоверился и, подбежав к духу, вскричал:

— Возможно ли? Ты ли это, прекрасная Ликориса? Какое счастие доставляет мне случай видеть княжну Тибетскую и в сем загадочном состоянии?

— Принц Гольконденский,— сказала Ликориса,— я надеюсь, что вы уважите мою просьбу и спасете меня и моего брата! Ах, вы были ко мне неравнодушны и уверяли...

— И теперь уверяю,— подхватил я,— что готов все сделать, что будет в моих силах,— но увы! проклятые драгуны изрядно надо мною подшутили. Знай, любезная Ликориса; они разжаловали меня из принцев,— и я теперь не более как бедный *Козерог*. Однако это не мешает мне любить тебя по-прежнему и служить, как должно верноподданному.

— Ах! — сказала Ликориса,— откровенность ваша должна родить во мне доверенность.— Знайте, я вас обманывала! — и я не больше, как Ликориса, сестра актера Хвостикова, который в сем сословии обманщиков носил имя *Скорпиона.*

— Небо! — вскричал я.— Так ты сестра моего приятеля! — Тут я обнял прекрасную девушку.

Когда довольно потолковали мы о ночном происшествии и общем нашем ужасе, Ликориса рассказала мне следующее: «Надобно знать, что бедность наша есть наследственная. Будучи еще в младенчестве, лишились мы родителей и обязаны милосердию родственников своим воспитанием. Брата отдали в училище, а меня взяла пожилая тетка, которая некогда отличалась на здешнем феатре и жила плодами трудолюбивой своей молодости. Я показалась ей достойною ее попечения, и она захотела видеть во мне другую себя. Она не жалела издержек, будучи уверена, что я со временем окуплюсь. И подлинно, когда вступила я на шестнадцатый год, то могла уже изрядно играть, петь, танцевать и кидать такие взгляды и делать телодвижения, которые достаточны были возжечь сердца самые холодные. Разумеется, что я была не без обожателей, и тетка не заставила их долго воздыхать и томиться. Первый, которому небесная судьба определила разрешить девический пояс мой, был пожилых лет вельможа, человек великого ума, но до такой степени любострастный, что готов был всем пожертвовать для красавицы, лишь бы насладиться ее прелестями. Правда и то,— тетка недешево продала ему начатки моей молодости. С сего времени до девятнадцати лет вела я жизнь, которой воспоминание невольным образом наводит краску на щеках моих. Тетка не пропускала ни одного случая, чтоб возвратить убытки, при воспитании моем понесенные. Хотя я ни в чем не имела недостатка, но и самой малости должна была ожидать из рук ее, и сие обстоятельство сделало наконец жизнь мою неприятною. В это время бедный брат мой не имел куска хлеба; я утопала в изобилии и была не в силах помочь ему. Я доставляла тетке тысячи, а брату не могла подать ни копейки. Я сама ничего, кроме прелестей, не имела; да и ими располагали другие.

Около сего времени нужда, необходимость и советы тетки нашей заставили брата моего пуститься на отчаянное предприятие — сделаться предметом народных толков, хвалы, хулы, рукоплесканий, свисту, словом — сделаться

актером! Однако это поправило его состояние. Жена его, моя дражайшая невестка, также пообразумилась. Добрые приятельницы растолковали ей, что не всегда полезно слишком много дорожить своими прелестями. «Молодость бывает однажды,— говорили они,— кто не умеет пользоваться ею, тот похож на скупца, который, лежа на грудах золота, умирает с голоду». Невестка была на этот раз очень понятлива, брат не упрям, и так дело пошло своим чередом. Она познакомилась с господином Доброславовым, который столько же не презирает утех физических, как и метафизических; а вскоре и мужа с ним познакомила. Высокопросвещенной братии давно хотелось в свите своей иметь человека проворного, и брат показался им к тому способным. Скоро сделался он участником в таинствах высокой мудрости, а узнав подробно связь и цель сего заведения, предложил и мне быть просветительницею.

Тем охотнее склонилась я на его представления, что зависимость от тетки казалась мне рабством, и я хотела любить по своей воле. Высокопросвещеннейший с господином Доброславовым осмотрели меня, нашли достойною жрицею того божества, к которому меня назначали, и я, собрав тихонько мои пожитки, переселилась в чертоги мудрости, мало заботясь о суждении тетки и ее приятелей.

Тут провела я два года в совершенном удовольствии, которое было бы ощутительным, если бы Высокопросвещеннейший был не столько ревнив. Но чего нельзя делать явно, то мы делаем скрытно. Брат затеял на мой счет живиться так же, как и тетка. Мне и самой наконец понравилось соединять *приятное с полезным*, и оттого-то вышла княжна Тибетская. Теперь знаешь ты Ликорису».

Почтенному брату *Козерогу* не очень приятна была такая откровенность. Куда девались милые мечты о невинности Ликорисы? Они улетели, как туман, и я видел в ней весьма опытную прелестницу — достойную отрасль преученой своей тетки! Что делать! Она теперь в несчастии, а несчастным помогать должно, хотя они и порочны.

— Но что же,— спросил я по некотором молчании,— что значит вчерашний маскерад твой и того злого духа, которому полицейские хвост оторвали?

— Ты правду сказал,— отвечала она,— что это был один маскерад. Высокопросвещеннейший узнал, что прочие братия, тратя свои деньги и до сих пор не сподобясь видеть обещанных духов и проникнуть завесу вечности, начали несколько роптать. Благоразумие требовало

сколько-нибудь удовлетворить таковому желанию. Для сего назначена была я и брат мой. Он должен был явиться в виде злого духа и требовать душу *Небесного Тельца,* понеже он оказался малодушным и неверующим тайнам высокой мудрости. Мне предоставлено было победить беса, уверяя, что *Телец* внесет в знак раскаяния и исправления вдвое более денег. Комедия расположена была прекрасно, как проклятый *Полярный Гусь* с своею свитою все испортил.

Тут прекрасная Ликориса окончила свое повествование. Хотя оно, как я и прежде заметил, не во всех статьях мне нравилось, однако я смотрел на нее, как на жертву соблазна и бедности. Ах! чего не делает нужда! Я решился помочь девушке и как-нибудь вывесть из сего дома. Но куда? Я сам не имел пристанища!

Мгновенно сделалась во мне чудная перемена. Прежняя безумная любовь моя улетела, а на место ее родилось какое-то особливое чувство сострадания, которое говорило мне: «Ты мужчина,— помоги девушке!» Сердце мое расположилось к ней как бы к сестре, и я, поцеловав ее побратски, сказал: «Утешься, моя милая! Пока Гаврило Симонович имеет кусок хлеба, ты не умрешь с голоду!» Тут в знак благодарности за редкое чистосердечие и я, с своей стороны, рассказал ей, ничего не тая, свои похождения.

Время обеденное прошло, и надобно было думать о выходе из тюрьмы своей. Мне вспал на ум честный благодетель мой, погребщик, который платил Бибариусу за научение меня всем мудростям. Я на него надеялся, как на отца,— и вся трудность состояла, как выйти самому и вывести мою милую подругу из такого места, над которым, вероятно, надзирают недремлющие очи полиции.

Отвязав крылья у моего милого духа, я скинул с себя мантию с знаком *Козерога* и, оставшись в обыкновенном уборе, пошел искать выхода из сего лабиринта, страшась на каждом шаге встретиться с одним из полицейских минотавров и оставя прекрасную мою Ариадну в грусти, скуке и нетерпении. В сем случае поступил я несравненно совестнее Тезея, которым так много хвалится древняя Греция. Тот, будучи любим, облагодетельствован своею любовницею, оставляет несчастную на пустом острове, а я из одной братской любви хочу одолжить красавицу и избавить ее от когтей правосудия, которые — надобно думать — навострены изрядно.

Глава VII

Совет в винном погребе

Спустясь с лестницы как можно тише, едва переводя дух, крался я из комнаты в комнату, страшась попасться в сети. Какое всюду опустошение! Куда девались прекрасные картины, увеселявшие взоры просвещенных? Где зеркала? Где лампады? Все исчезло! Как будто в доме сем было землетрясение. Чего нельзя было унести, то по крайней мере перепорчено. Толико-то ужасно правосудие! Кое-где, правда, валялись лоскутья от гиероглифических мантий и некоторые маски.

К счастию, опасение мое было напрасно. Нигде и никого не видя, сошел я на двор и что было силы бросился бежать к погребу благодетельного Саввы Трифоновича. Нашед его дома, я с видом кающегося грешника поведал ему всю истину и настоящее свое и подруги моей критическое положение. Когда я кончил речь, добрый Савва перекрестился с видом жалости и сказал: «С нами бог! Можно ли быть толку в этих науках, когда они знакомят с нечистыми духами! Прости меня, господи, что я отдавал тебя к Бибариусу! Можно ли только было подумать, что ты пустишься в богопротивное масонство! Ах, друг мой, ты явно лез в горло к бесу! Благодари всевышнего, что спас тебя заблаговременно,— и очисть душу свою покаянием!»

Проговоря такую проповедь, Савва склонился дать мне убежище с моею приятельницею, пока не утишится буря. Почему, снабдя меня женским платьем и кое-чем съестным, отправил обратно, чтобы мы по наступлении ночи оставили свой чердак и перебрались к нему; а между тем обещался поразведать, что сталось с моими собратьями, которых полиция полонила.

Ликориса с нежностью благодарила меня за соучастие в судьбе ее. Когда увидели мы, что темнота покрыла наш чердак, я взял ее за руку, свел вниз, и благополучно оба достигли погреба. Савва сдержал свое слово; мы были в совершенной безопасности и довольстве, но что сталось с Феклушею и прочими просветителями,— совсем было неизвестно.

Однако судьба невидимо пеклась об участи нашей. В один вечер, когда при свете ночника, за бутылкою вина беседуя с Саввою Трифоновичем, весьма живо описывал

я мои похождения, а Ликориса с женою его жадно слушали, уставя на меня глаза свои, вдруг отворяются двери, и мы поражены были удивлением и радостию, увидя Хвостикова. Он не меньше изумился, увидя тут же Ликорису; и по прошествии первых восторгов и обниманий сказал мне:

— Гаврило Симонович! Мне нужно кое о чем важном переговорить с тобою — и наедине.

— Не для чего,— отвечал я.— У меня нет ничего скрытного от любезных моих хозяев.— Так, почтенный брат *Скорпион!* Ты видишь во мне смиренного брата *Козерога.* Я имел честь в последнюю ночь просвещения, перед сим месяца за два, быть свидетелем, как ты с неподражаемою храбростию ратоборствовал на чердаке с упрямым драгуном. О, если бы проклятый хвост не порвался, с тобою бы не так легко разделаться было можно. Жаль, что прекрасная Ликориса, будучи тогда в сильном смятении и ужасе, не могла быть свидетельницею подвигов своего воинствующего брата!

Хвостиков при начале слов моих весьма замялся, выпучил глаза и не мог произнести ни слова. Наконец захохотал и, обнимая меня снова, сказал:

— Сильно удивляюсь, как я по голосу не мог тогда узнать тебя! Но и то правда,— кто б только подумал, что *Козерог* есть старинный мой знакомец?

После сего вручил он мне письмо; и лишь только взглянул я на надпись, то сейчас узнал руку целомудренной моей княгини Феклы Сидоровны. Оно было следующего содержания:

«Видно, на то произвела меня судьба, чтобы непрестанно играть мною, как играет ветер полевою былинкою. Я не столько была счастлива, чтобы подобно тебе избежать правосудия в известную ночь призывания духов. Поймав, меня потащили; я была без чувств, а опомнясь, нашла себя в темной комнате, едва освещенной. Три дни и три ночи один хлеб с водою были моим прокормлением, постелею служила связка соломы; стены украшены были паутиною, и вместо музыки раздавался шум от порханья летучих мышей. Ах, как сравнить сие жилище с храмом просвещения!

В четвертый день страж объявил, чтоб я следовала пред судию. Притом прибавил: «Его светлость — великий искусник допытываться правды. Он выведает, что вы

делали по секрету и какие богопротивности чинили! Ты еще молода, голубка, и я по христианской любви советую тебе сейчас ему во всем признаться, не дожидаясь пыток!»

При слове «пытка» кровь оледенела в жилах; я затряслась, и меня насилу приволокли пред судию грозного, у кресел коего стояла ужасная стража. Я взглянула на него, ахнула и совершенно лишилась чувств. Я узнала в нем князя Латрона, того самого моего обожателя, которому ты, радея, открыл маленькую мою неверность, за что была я жестоко наказана.

Когда очувствовалась, то нашла себя на богатом диване, окруженною женщинами. Мысли мои были расстроены; голова кружилась. Не могла выговорить ни одного слова. Одни стоны клубились в груди моей.

Через полчаса вошел сам князь Латрон, и все окружавшие меня оставили. С превеликою силою стащилась я с софы и упала к ногам его. Помедля несколько и устремя на меня страшные взоры свои, поднял он, посадил на софу и, седши сам подле, сказал: «Слушай меня, Фиона, внимательно; я буду говорить о довольно важном для тебя предмете. Я любил тебя страстно,— ты изменила и достойно наказана. Теперь ты попалась с шайкою обманщиков и должна быть более наказана. Я в деле сем верховный судия! Если ты обяжешься забыть прежние связи и не искать новых,— я тебя прощаю. Ты будешь по-прежнему принадлежать мне и будешь по-прежнему в довольстве и неге!»

Я думаю, мой любезный князь, будучи в таком состоянии, как я, и ты не усумнился бы тысячу раз отречься от твоей Феклуши! Как можно шутить пытками, и притом женщине? Итак, вторично повергшись к ногам его, я клялась любить его верно и больше прежнего. После того осталась в его чертогах, блистающих возможным великолепием. Но желая отплатить тебе за прежнюю любовь и за то снисхождение, с каковым принял ты меня в доме просвещения, а вместе с тем и Хвостикова, который не раз так нежно ласкал меня в том же месте, я пролила источник слез пред моим обожателем и сказала томным голосом: «Милостивейший государь! Когда я столько счастлива, что удостоилась вашей благосклонности, то позвольте принести к вам мольбу о своих ближних. В том обществе, в котором была я, находились также два мои брата, родной Чистяков, а двоюродный Хвостиков. Если и они не избегли, подобно мне, рук грозного правосудия, то не оставьте

для любви ко мне отпустить их. Благодарность их и моя будет беспредельна!» Он, поглядев на меня равнодушно, сказал: «Хорошо! посмотрю!» С сим словом вышел. На другой день он входит ко мне, и,— о радость! — с Хвостиковым. «Любезный братец!» — вскричала я, обнимая его, дабы он не обнаружил моей хитрости. Бедный Хвостиков стоял бледен, как смерть, и трепетал всем составом. «Что же, братец, вскричала я,— не благодаришь ты его светлость за высокую милость, тебе даруемую?» Хвостиков с размаху повалился к стопам судии своего, взмахнул рукою, как истинный актер, разинул рот, казалось, что-то покушался вымолвить, но язык окаменел, и он в сем жалком виде совсем не походил на того храброго беса, который так упорно выдерживал осаду от полицейских сыщиков и, конечно, не так бы скоро сдался, если бы не порвался величественный хвост его! Он был здесь настоящий скорпион, смиренное пресмыкающееся!»

Тут я присовокупил к закрасневшемуся Хвостикову:

— Не правда ли, господин *Скорпион,* что прекрасная Лавиния изрядно умеет писать портреты? Признаюсь, что из сей картины нельзя видеть того мужества, которого ожидал я после первого подвига на чердаке! И то правда! вы были актер и столько же превосходно представили на чердаке адского героя, сколько на сцене представляли земных! Но как вы в чертогах мудрости были смиренный *Скорпион,* то почему в чертогах знатного вельможи не быть смиренным преступником?

— Я думаю,— отвечал он,— что всегда вас храбрее. Когда вы так сильно устрашились меня на чердаке, то что уже сделали бы, будучи на глазах у судьи? Его одно слово столько же полновесно и для правого человека, как для грешника по крайней мере сотня самых сердитых бесов! Посудите ж, что будет для неправого?

— Я охотно соглашусь с вами,— сказал я и начал продолжать чтение письма:

«Князь Латрон сказал: «Встань, повеса; я прощаю тебя для прекрасной сестры твоей! Ты ей обязан жизнию. Будь благодарен ей. Но чтобы больше еще доказать ей мою любовь, то я постараюсь сделать тебя счастливым, равно как такого же повесу, родного брата ее Чистякова. С сей минуты вы ничего не опасайтесь от поисков правосудия, в каком бы мундире или юбке оно ни ходило! Яви-

тесь ко мне в Варшаве, куда я завтре отправляюсь, и я дам вам должности». С сим словом он вышел. Я рассказала подробно Хвостикову, что знала, и вздумала было сделать днем репетицию тем прекрасным действиям, какие представляли мы по ночам в доме Премудрости; но Хвостиков в сем случае оказался ниже даже самого *Скорпиона*. Он был весь снег и лед. Я употребила отсутствие князя Латрона на написание сего письма к вам, князь Гаврило Симонович, ибо я, сделавшись свободною, легко открыла место вашего пребывания. Как искренно вам преданная, советую не пренебречь обещаниями его светлости и пожаловать в Варшаву. Там я постараюсь употребить *все силы души и тела,* чтоб сделать вас сколько можно довольнее!»

По прочтении красноречивого и замысловатого письма сего долго смотрели мы друг на друга, не говоря ни слова. Наконец начался между нами следующий разговор:

Я. Беспутная, непотребная женщина. С тех пор, как впервые вышла на заре полоть капусту, ты до сего времени одинакова. Посудите, почтенный Савва Трифонович, о бесстыдстве этой твари! Едва успела она сделаться наложницею знатного и могущего сатира, то уже и начинает распоряжаться участию других, как будто какая княгиня или графиня, которая, добившись после долгих трудностей чести быть метрессою своего государя, начинает с презрением смотреть на его супругу и обещает чины и воеводства тем бездушным насекомым, которые, несмотря на знатность своей породы, на славные подвиги великих предков своих, на блестящие золотом и каменьями свои кафтаны с брильянтовыми пуговицами, не только не стыдятся, но даже за честь ставят публично тщеславиться, если удастся им поднять веер такой любимицы, застегнуть ей башмачную пряжку, получить от нее по носу щелчок и прочее...

Погребщик *(улыбаясь)*. Хотя Гаврило Симонович говорит дельно, но надобно признаться, что тут участвует личность, а потому, хотя горячность его извинительна, но как скоро человек говорит в жару страсти, надобно слова его взвесить и рассмотреть, все ли мысли его справедливы.

Хвостиков *(к погребщику)*. Вы превосходно рассуждаете, хотя...

Погребщик. В погребе, хотите вы сказать? Уве-

ряю вас, что иногда не только в погребе, но даже в хижине рассуждают правильнее, нежели в сенатах, парламентах, государственных советах! Не подумайте, Гаврило Симонович, чтобы я, говоря вам сие, чужд был чувствований стыда и чести! Совсем нет! Хотя я как человек не всегда сохраняю в себе сии чувствования, по крайней мере от всего сердца люблю тех, кто о том старается. Но позвольте мне сделать вам несколько вопросов?

Я. Охотно отвечать готов!

Погребщик. Бедный человек имел часть землицы. Посадил на ней молоденькое деревцо — яблоню; как оно у него одно и есть, то он употребляет все старание, чтобы возрастить его; этого мало; он столько им пленился, что хочет видеть его стройным, прекрасным деревом, чтобы со временем мог успокоиться под его тению и вкусить плодов его.

Хвостиков *(с важностию)*. Это аллегория или притча!

Погребщик. По мне все равно, как ни назовите. От худой ли почвы земли и непорочности соков, питавших молодое дерево, от бури ли и солнечного зноя, от небрежения ли самого хозяина,— только деревцо, которое начало уже цвести и обещало плоды прекрасные, гнется да гнется, а в скором времени и совсем склонилось через забор в сад богатого и сильного соседа.

Хвостиков. Понимаю! Что далее?

Погребщик. Бедный хозяин печалится, сетует, домогается как-нибудь возобновить права на дерево,— тщетно. Богач дает ему знать, что он не только не будет иметь части плодов, но если продолжит упрямство, то жестоко наказан будет и лишится остальной землицы.

Хвостиков. Отгадываю.

Погребщик. Бедному оставалось терпеть! Наконец, богач, по увещанию ли жены, детей или приятелей — все равно,— только призывает его и говорит: «Плоды яблони твоей так мне полюбились, что я не дам тебе ни одного. Однако, чтобы труды твои не совсем были тщетны, вот у меня другая яблоня, и я дозволяю тебе каждогодно собирать с нее плоды». Что, думаете вы, сделал нищий?

Хвостиков. Без сомнения, с радостною благодарностию принял предложение!

Погребщик. Ничуть не бывало! он с гордостию отверг его. Не глуп ли человек сей?

Хвостиков *(припрыгнул)*. Совершенный безумец, настоящий осел!

Я. Так! Однако, Савва Трифонович...

Погребщик. Однако, Гаврило Симонович! дело идет, что беспутная жена твоя охотится сделать тебе помощь на счет беспутств своих. Из сего заключаю, что и они к чему-нибудь бывают пригодны. Ты хочешь от помощи ее отказаться? Хорошо, если б она на сем основании обещала тебе быть впредь честною женщиною. Но она о сем и не думает, да, вероятно, и впредь никогда думать не будет.

Я. Разумеется!

Погребщик. Ну за чем же дело стало? Если бы ты был из числа тех безмозглых повес, которые обыкновенно ищут выйти в люди такими путями, я в это дело не мешался бы. Но я считал тебя с начала самого путным человеком, на которого счастие глядело исподлобья, а потому взял на свое попечение и отдал покойному Бибариусу для наставления в науках, когда уже увидел, что прилипчивая язва учености и к тебе пристала, а потому-то,— повторяю,— и теперь советую, перекрестясь обеими руками и помолясь образу Николая Чудотворца,— пуститься в Польшу. Нет у вас денег — я снабжу. Будете богаты — отдадите, с умом можно нажить деньги; но если без ума были бы у вас сотни тысяч — ни копейки не поверю. Ибо всего чаще безумные богачи умирают с голоду, когда не остерегутся промотать имение, родителями приобретенное.

Так наставительно проповедовал Савва Трифонович, и восхищенный Хвостиков вскричал: «Превосходно! Вы так, Савва Трифонович, основательно или аргументально рассуждаете, такие аргументы представляете, как...»

— А как и кто? — спросил погребщик.— Право, теперь не вспомню, а, верно, кто-нибудь был такой, и не отменно преумный человек!

— Что долго говорить,— вскричал я весело,— я согласен! Как скоро поисправимся, давай искать счастия в пространном море света сего, не заботясь,— откуда, из какого источника оно проистекает. Не правда ли, что золото и в грязи золото; да оно и добывается из черных и серых камней. Не глуп ли подлинно был я, что опять пустился следовать нравственной философии, которая столько раз тирански со мною поступала, да притом я дал уже однажды и клятву, оставя забобоны совести, попы-

таться, не буду ли счастливее, своротя немного с ее дороги. Наймем покойную повозку и пустимся. Я, как главное орудие к будущему счастию, сяду посередине; по правую сторону прекрасная Ликориса, а по левую брат ее, почтенный Хвостиков. Слыхал я, что люди, предавшись только одному злому духу, достигали счастья, по крайней мере в здешнем мире; неужели я рожден под таким неблагополучным созвездием, что, шествуя ко храму славы и счастия, сопровождаемый по правую сторону добрым, по левую злым духами, не успею в своем предприятии?

Мы все засмеялись. Я пожал руку у доброго Саввы Трифоновича; обнял Хвостикова и поцеловал зардевшуюся щеку Ликорисы. Она взглянула на меня томным, кротким, но вместе испытующим, всепроницающим взором, и я тут же дал слово своей совести любить ее как нежную сестру, хотя бы все боги и богини назначили меня наперсником любви и богатства.

Увы! Как скоро забыл я клятву мою! Как скоро милая сестра сделалась милою... — но о том после.

Глава VIII

Едут наши

В непродолжительном времени благодетельный Савва Трифонович снарядил нас по-дорожному, как должно людей, которые готовятся скоро иметь честь представлять роли братьев наложницы знатнейшего польского боярина. Подлинно важный чин! Мы наняли извозчика Никиту, старика плешивого, беззубого, но зато веселого говоруна. Он сам шутил над бывшими с ним несчастиями.

Поутру прекрасного летнего дня Савва Трифонович проводил нас за городские вороты, обнял каждого дружелюбно и воротился назад. Мы все не могли удержаться от слез. Я стал в кибитке и долго смотрел мрачными глазами на беспрестанно укрывающуюся Москву. В последний раз взглянув на возвышенные башни ее, на храмы божии, поклонился в знак разлуки с нею, вздохнул и сел в кибитку. Мне пришли на мысль все случаи, постигшие меня в Москве. Где-то моя невидимка? где Доброславов? где *Гусь Полярный* и *Телец Небесный?* Увы! сколько претерпел перемен от зла к добру, от добра ко злу? Я вторично вздохнул тяжелее прежнего, товарищи мои то

услышали и также вздохнули. Прелестная соседка моя приметила, что глаза мои еще не обсохли, и блестящая слеза повисла на ее реснице. Тихонько взял я ее за руку, с нежностию пожал, и мне тем же ответствовано. Как после сего не погрузиться в сладкую задумчивость, которая недолго, однако, продолжалась. Услыша вдруг подле себя дикий, охриплый, но страшно раздавшийся голос, мы вдруг подняли головы и с изумлением узнали, что наш Никита, размахивая кнутом, со всех сил надувался, чтоб громче спеть песню. Обернувшись к нам и оскаля десны, ибо зубов не было, спросил: «Что? Каково? О, если б вы меня в старые годы послышали! То ли дело!»

— И теперь весьма не плохо,— отвечал я,— но нам недосуг слушать. Итак, не лучше ли...

— Небось перестать? — вскричал он.— Да что вы теперь делаете, что вам недосуг?

— Рассуждаем! — отвечал Хвостиков с важностию молодого педанта, и Никита сказал ему:

— Если вы и подлинно рассуждаете, то, верно, не совсем благополучны; ибо так долго, как я, разъезжая по свету, бывал в Москве и Петербурге, бывал в Лейпциге, Берлине, Яссах, не говоря уже о мелочных городишках, а нигде не заметил, чтобы кто-либо в счастии любил рассуждать. Мы тогда за это ремесло принимаемся, как уже поздо. Право, так! Я сам весьма не рано пустился в рассуждения и оттого на старости таскаю бедные кости свои при зное летнем, при морозах зимних, в дождь и бурю. Что делать, государи мои! В доказательство правды выслушайте небольшую повесть.

Плешивый старик, который теперь сидит у вас на козлах, не всегда был только что Никита. Было время, когда большие и малые, богатые и полубогатые величали его Никитою Перфильевичем и, скидывая бобровые шапки, низенько кланялись. Я был не последним купцом в городке, хотя и небольшом, и торг производил лошадями. Торг, правда, был не очень важен, однако я жил в порядочном доме, ел, пил хорошо; водил жену и детей нехудо, а сам и не вылезал из красной рубашки и синего кафтана с славным кушаком. Статочное ли дело, чтоб я подумал тогда о смуром, какой на мне теперь?

Случись же на беду, что один из моих земляков равного моему состояния пустился в какие-то, леший ведает его, откупы. Мы прежде смеялись его затеям, но, сверх чаяния нашего, года через два он выстроил каменный

дом, завел лавки, посадил сидельцев, а сам только и упражнялся, что ходил по гостям, принимал их у себя и стал набитой брат исправнику, судье и даже городничему, человеку самому несговорчивому и угрюмому. Все они с улыбкой протягивали к нему руки и спрашивали о здоровье жены, детей и всего дома. Кого не прельстит такая счастливая и такая скорая перемена? Две особы начали мне беспрестанно шептать на ухо: «Кинь торговлю лошадьми, а возьмись за откупы и подряды. Теперь война, за границу надобно много фуража и провианта. Лошаденок у тебя около сотни. Теперь же на скорую руку дают большие деньги. В одно лето ты с помощию божиею больше обогатишься, нежели спесивый земляк наш!»

Кто устоит против внушений таких могущих советников, то есть злого духа искусителя и дражайшей моей супружницы? Хотя я тогда был и Никита Перфильевич, но все же Никита, следовательно человек.

Я взял на себя подряд, нанял работников и пустился к месту назначения. Но как я не знал хорошенько положения и расстояния тамошних мест, ни того, что я отнюдь не получу сполна заподряженной цены, а сверх того, должен буду одного дарить, другого поить, а третий сам возьмет; словом, как я был в сем случае дурак во всех статьях, то перевозка моя менее нежели на половине дороги села мне на шею. Спохватился, да поздо! Сколько я ни просил, сколько ни умолял, чтоб меня не притесняли, тщетно! В скором времени поставку отдали другим на мой счет, а имение конфисковано и продано в уплату недостающего долга. Я кидался как угорелый, к одному, другому, третьему — все по пустякам. Один хохотал надо мною, а другой бранился нечестными словами. Когда я был в состоянии дарить, я был: любезный друг, приятель, Никита Перфильевич; мне довольно почтительно кланялись, дружески пожимали руки, а теперь, как я сам стал гол, как бубен, то хотя так низко кланялся, как будто становился раком, они и глядеть не изволили; а один был такой грубиян — из немцев, правда,— что когда я намекнул ему, слегка, однако, сколько раз поил его допьяна,— он крепко рассвирепел, схватил меня за ворот, оборотил спиною к себе и, рукою давши за неисправность мою в поставке преисправную позатыльщину, а ногою нехудого пинка, вытолкнул вон, примолвя: «Молчи, бородатый скот! знай, я драгунский капитан!»

Что было делать с драгунским капитаном? Я вышел, вздохнувши и проклиная от чистого сердца советы злого духа и любезной супружницы.

Из всего имущества осталось у меня только одна жена, два сына, две дочери, три клячонки, одна собака и две кошки. Как хочешь смекай. Приехав домой, я сказал жене: «Ну, голубушка! наделали мы с тобою оборотов! Изволь-ка оборачиваться из кофты в сарафан!»

Хотя, правда, и грустно было в тогдашнее время, однако мы помаленьку успокоились. Я также оборотился из синего в смурый кафтан и начал, помолясь богу, извозничать. Бог благословил меня. Девок выдал замуж за порядочных мещан, сыновей женил на зажиточных невестах, и они теперь у меня каждый разъезжает на порядочной тройке.

Всякий раз, расставаясь, я беру с них крепкое обещание не пускаться в обороты, если сами не хотят быть оборотнями, получать позатыльщины и пинки в зад.

Таким образом кончил Никита замысловатое свое повествование, которое и подлинно рассеяло несколько грусть нашу. Мы в дороге были уже около двух недель, проехали несколько городов, городков, сел и деревень; и к вечеру одного прекрасного дня остановились ужинать и ночевать в небольшой деревушке, за день езды до Киева, который в тогдашнее время принадлежал Польше.

Глава IX

Продолжение пути

Думаю, излишнее будет пространно объясняться, что я уже с некоторого времени был счастлив в любви своей. Брат моей подруги смотрел на меня косо, а мы представлялись, будто того и не примечаем. До сего времени был он,— или по крайней мере казался,— равнодушен. Но случись на беду, что в сей вечер, который предназначен был успокоению от путевых трудов, вздумалось нам — мне и Ликорисе — прогуляться в ближнем перелеске, который непосредственно граничил с целым лесом. Когда мы в самой чаще забавлялись собиранием грибов, ужасная буря затемнила небо. Дождь с градом обрушился на наши головы; и мы всю ночь должны были провести под ветвями елей.

Настало утро прекрасное; мы вышли из своего убежища, но не знали, куда направить шаги свои.

Оглядываясь направо и налево, мы не нашли лучшего, как идти покудова наудачу до первой тропинки. Мы и достигли желаемого, но вдвойне, то есть нам попались две узкие дорожки.

— Слава богу,— вскричала радостно Ликориса.— Одна из этих тропинок, верно, ведет в нашу деревню.

— Без сомнения,— вскричал я,— и, верно, в правую сторону!

— Ах нет,— сказала она,— без сомнения, в левую!

— А почему так? — спросил я задорно.

— Потому, припомни! Когда мы искали грибов, в которую сторону склонялись?

— Помнится, больше влево!

— Точно!

— Итак, на возвратном пути эта левая сторона сделалась правою, следственно, надобно идти влево.

Мне показались причины ее довольно достаточными, легко согласился, пошел и, левою рукою обняв ее, правою отводил сучья, чтоб они не оцарапали нежного личика, полной груди и белых ручек моей сопутницы. Пользуясь густотою места, восхищаясь зеленью травы, ветвей древесных, пением птиц, мы сами приходили в некоторое сладкое упоение любви, поминутно останавливались, обнимались: итак, не могу наверное сказать, медленность ли нашего хода или долгота пути была причиною, что, как мы вышли на лужайку, солнце высоко уже стояло в небе. Вдалеке увидели мы деревню, радостно обнялись в последний раз и бросились бежать. Но кто опишет наше поражение, когда по всем приметам узнали мы, что деревня не та, где мы остановились.

— Гаврило Симонович,— сказала Ликориса, побледнев,— мы, конечно, сбились с пути! Что с нами будет?

— Посмотрим,— отвечал я,— быть может, ты и ошибаешься.

Тут увидел я мимоидущего мужика, которого, остановив, спросил:

— Постой, пожалуй, друг мой! Не тут ли вчера повозка тройкою остановилась на ночь?

Он. Никто не останавливался. *(Хочет идти.)*

Я. Погоди! где ж та, в которой повозка остановилась? Впереди или назади?

Он. Кто в ней едет, тот лучше знает!

Он ушел. Ликориса вздохнула.

Я. О чем вздыхать до времени? Войдем в деревню, там что-нибудь узнаем. То беда, что при мне нет денег ни копейки. Все остались в чемодане. То-то неосторожность! но кто ж знал! Я думаю, Ликориса, что и тебе надобно бы подкрепить силы. Шутка ли пробыть всю ночь на сыром воздухе, пройти столько верст пешком, в росистое утро, в легоньком платьице и башмачках!

Ликориса опять тяжко вздохнула, повеся голову к белой груди своей. Ни одной кровинки не было на щеках ее. Куда девалась охота к обниманьям, поцелуям, нежным ласкам? Мы иногда взглядывали друг на друга, но уже не теми пылающими взорами, которые представляли любовь и наслаждение. Вот что значит любовь без денег! Она есть нежный, прекрасный цветок. Пока берегут его и лелеют, пока животворный дождь и питательная роса напояют его стебли, он блестит как драгоценный камень. Лиши его сей пищи — и он исчахнет, совсем увянет.

— Постой, добрая подруга моя! со мной бывали подобные обстоятельства, и не одно, и я, как видишь, до сих пор жив и здоров. Теперь крестьяне обедают. Пойду и выпрошу хотя что-нибудь. Конечно, стол их не может сравниться со столом в доме просвещения, но что делать? — Я пошел в дом, у которого мы сидели.

Вошед в избу, я застал за обеденным столом, как видно, хозяина — рыжего дородного мужика. Подле него сидела жена, а там человек пять-шесть детей. Он с таким чавканьем убирал щи, как я в Фатеже хлеб с маслом, за что наказан был хранителем народной тишины и порядка.

Я. Почтенный хозяин! Нет ли у тебя чего-нибудь пообедать мне с женою, которая там?

Он. Как не быть! У меня добрые щи со свининою, вареная баранина, жареный поросенок. Хозяйка! поворачивайся!

Я. Будет, будет! нам не много надобно, мы люди проезжие! Но у нас теперь не случилось денег.

Он *(утирая усы)*. Хе, хе, барин! Дело плоховато! Этаким гостям мы не больно рады! Хозяйка, не трудись!

Я уже не смел и подойти к Ликорисе. Она сидела на скамейке, зажавши обеими руками глаза свои. По движению груди ее я догадывался, что она тихонько плачет. Бедная! мое неразумие довело обоих нас до сего состояния.

Вхожу в другую избу и получаю то же, в третьей — с лихвою, то есть отказ с насмешками, в четвертой еще больше, то есть отказ, насмешки и ругательства, в пятой — и того более, именно: ко всем прежним приятностям приемов прибавлены угрозы; словом, я обошел всю деревню и получил где более, где менее.

Повеся голову шел я медленно к моей Ликорисе, не зная, что и сказать ей, как увидел поднимающуюся пыль по дороге, а после усмотрел и тройку лошадей. «Милая супруга моя! никак, наша повозка! ободрись!» Кибитка приближалась, я уже ясно мог рассмотреть Никиту, о плешивую которого макушу ударяясь, лучи полуденного солнца делали ее подобною шару.

— Мне страшно,— сказала Ликориса, вздыхая,— чтоб брат не стал гневаться, что я провела ночь...

— Хоть лопни, да гневайся! Какая тебе нужда? Ты не девочка десяти лет и не под его присмотром. Почему почтенный брат не изволил гневаться, когда ты жила у господ просветителей? Впрочем, знай, я взял навсегда должность защищать тебя от всякого, кто б то ни был.

Кибитка подъехала, Никита тотчас узнал нас, остановил лошадей, соскочил с козел и, разинув с улыбкою широкую пасть, сказал:

— Эки гуляки! Куда вы запропастились? Шутка ли — такая ночь! Я в сарае, под кибиткою, не мог глаз свести, а они — где-то в поле — ай, ай!

Тут подошел Хвостиков с пасмурным лицом, но приметно было, что Бахус положил уже на нем печать свою.

Хвостиков. Не твое дело, Никита,— знай свое! А где ты была, сударыня, во все это время? Кто дал тебе право шататься по ночам, и притом с человеком незнакомым и посторонним!

Я *(с обидою)*. С посторонним, государь мой?

Хвостиков *(не смотря на меня)*. Я требую ответа, Ликориса!

Ликориса *(плача)*. Братец!..

Я *(важно)*. Господин Хвостиков! ты видишь, что бедная девушка ослабела от пути и голода. Ей нужно успокоиться и подкрепить силы. А там довольно будет времени удовлетворить твоему любопытству. Прошу заметить: любопытству, но отнюдь не более!

Он посмотрел на меня значительно и пошел вперед выбирать повыгоднее постоялый двор; Никита повел за

ним лошадей, а я с Ликорисою пошли за кибиткою. Она все еще плакала.

Я. Прошу тебя, не крушись понапрасну. Если он станет еще допрашиваться, я сыграю с ним такую шутку, что у него отпадет охота более тревожить такую добрую, такую нежную мою подругу.

При слове «подруга» она обратила ко мне томные глаза свои и улыбнулась, как улыбается вечерняя заря, когда уже последние лучи ее остаются на тверди. Один миг — их нет, и тьма горизонт покрывает. Так мгновенно сокрылся румянец Ликорисы.

Взъехав на двор, остановились. Хвостиков, подошед к сестре, сказал сурово:

— Готовь обедать! Это — твое дело!

Я *(подошед к нему)*. Совсем не ее, а хозяйкино. Пусть она ляжет. Когда обед будет готов, мы ее разбудим, поедим — и тогда сколько душе угодно расспрашивай. Приляг, Ликориса! А мы пойдем выпьем от усталости по рюмке водки и кое о чем потолкуем.

Нечего было делать. Вынув водку, пошли за вороты, сели на лавке и поосвежились, выпив по рюмке и закуся плотно. Между тем и Никита, управясь с своими лошадьми, вышел с деревянною чашкою щей, целым хлебом, квасом и сулейкою вина, начал отправлять свою должность весьма исправно, даром что не было зубов. Когда опорожнил он половину сулейки, то, став повеселее обыкновенного и слыша наши толки о прошедшей ночи,— спросил, выпуча глаза и не донеся ломоть хлеба на полвершка до рта:

— Скажите-тка, господа! Отчего бывает гром и молния?

Хвостиков *(важно)*. Отчего гром! Какой смешной вопрос! От туч.

Никита. А молния отчего?

Хвостиков. Также от туч!

Никита. Как же это? И молния и гром — все от туч! Уж бы тому или другому лиху быть! А то обоих бойся! Что-то неладно. Как я слыхал, так гром бывает оттого, что Илия-пророк, у которого лошадки-то не в пример удалее моих, а кибитка и того исправнее, разгуливает себе, батюшка, по небу, постукивает и тем потешается.

Хвостиков. Ха, ха, ха! Илия, лошадки, кибитка?

Никита. Ну что ж? А то лучше небось? Гром из тучи, молния из тучи! Да туча-то сама откуда?

Хвостиков. Разумеется, из облаков.

Никита. А облака разве не то же?

Хвостиков. Совсем нет! Туча есть пребольшое облако; а облако — так, маленькая тучка!

Тут я засмеялся громко.

Хвостиков. Чему радоваться изволите?

Я. Удивляюсь, как Никита не верит вам и не понимает истолкований такого многоученого физика!

Хвостиков *(пьет)*. Радуюсь, что в вас нахожу слушателя понятливее Никиты!

Я. Много чести, государь мой! Я не привык учиться у таких велемудрых учителей.

Он. Кажется, и я не неграмотей!

Я. Это вы сейчас доказали своим истолкованием грома, молнии и туч.

Он. Прошу истолковать лучше! *(Пьет.)*

Я. Не привык пред такими, как вы.

Он *(оборотясь ко мне лицом)*. Какими бы, например?

Я. Светилами мудрости!

Он *(щелкнув меня по носу)*. Бедняжка! ха, ха, ха! *(Отворачивается.)*

Я осердился. Да и куда годится такая глупая шутка? Итак, я, не теряя времени, так треснул его по макуше, что он стукнулся носом об стол, за которым сидел. Я примолвил:

— Бедняжка *Скорпион*, ха, ха, ха!

Он рассвирепел во всем знаменовании сего слова. Вскочил и, пользуясь преимуществом стоящего человека пред сидящим, вцепился мне в тупей обеими руками и давай теребить, приговаривая:

— Проклятый *Козерог!* Я посломаю тебе рога!

Я также приподнялся, ухватил его за оба уха и так рванул, что кровь на обоих показалась. После чего, покинув раненых, как не способных к сражению, одною рукою схватил за косу, другою так его прижал к себе, что он охнул, однако не покидал храбро действовать в моем тупее. У него из ушей капала кровь, а у меня из глаз — слезы!

Никита сколько ни усовещивал нас, приговаривая:

— Господа, перестаньте! Эки собаки задорные! уймитесь! что доброго! эки черти! ну, право, худо! сущие дьяволы! не слушаете? ну возьми вас сам леший, эдаких мошенников! сущие разбойники! Гляди, гляди! так волосы клочьями и летят. Быть тебе, Гаврило Симонович, так же

плешивому, как я; а тебе, господин Хвостиков, так же кургузому, как мой пегий мерин! уж и твой хвост на волоске висит. Да что растолковался с уродами? Дай доесть мои щи, а на закуску допью мою дорогую сулеечку.

Тут я собрал всю силу, дабы, как говорится, одним ударом окончить прю великую; кинул его пучок, схватил обеими руками, поднял вверх, потряс и нагнул, чтоб бросить на пол. Но как руки его окостенели в моем тупее, то и я за ним покатился, столик за нами, а за ним Никитина чашка со щами, его дорогая сулеечка с прочим убором. Тут-то Никита поднял вой:

— Сюда, сюда, Христа ради! Воры, разбойники! Сюда, сюда! убьются до смерти! Эки звери лютые!

Мгновенно набежало множество народа. Кто разнимал, кто хохотал, кто стоял молча, а Никита, одною рукою собирая стеклы от сокрушенной своей сулейки, другою гладя по затылку, приговаривал:

— Чтоб вам ввек не видать покою! что наделали вы, негодники!

Нас розняли. Мы встали и начали оправляться. Кто вычесывал волосы из моего страдальческого тупея, кто расчесывал косу и смывал кровь с ушей Хвостикова. Мы сидели на лавке и свирепо один на другого искоса посматривали. Вдруг на эту беду нежная Ликориса, которая, пробудясь от шуму и крику и услыша о драке, почла ее продолжением прежнего нашего разговора, плачущая Ликориса вышла и, закрыв глаза свои передником, стала поотдаль. Увидев ее прежде других, ибо она была ближе всех ко мне, сказал: «Зачем ты здесь, Ликориса! поди в избу!»

Соперник мой быстро оборотился, увидел ее, вскочил и, подняв руки, бросился, примолвя: «Я тебя, беспутная!»

Едва он со мной поравнялся, я тоже вскочил и так удачно стукнул его в спину, что он опрометью перелетел через порог и повалился ничком в грязь подле водопойни. Я подбежал к нему и, придавя его в спину ногою, сказал:

— Лежи здесь, злая лягушка, проклятый *Скорпионишка!*

Пришед на двор, я нашел все еще слезящую Ликорису, взял ее за руку и, введши в избу, сказал:

— Утешься. Будем обедать одни. Брат твой не стоит не только есть, но ниже смотреть на свет божий! Ты меня любишь?

Она устремила на меня глаза, в коих изображалось нечто странное: какая-то робость, недоумение.

— Ты об этом спрашиваешь? — сказала она.— Разве уже начинаешь меня не любить?

— Так оставим,— прервал я,— твоего глупого брата и отправимся одни в Варшаву. Мы будем с тобою неразлучны, а потому и сердца наши будут нераздельны. Неужели приятно будет тебе — тебе, которая составляет единственную прелесть жизни моей (Ликориса поверглась в мои объятия), единственное благо, которого так стремительно и так тщетно искал я,— неужели тебе приятно будет в продолжение дороги видеть, может быть, пять таких явлений или и больше? До сего дня брат твой был покоен; но рассуди, когда он взбесился, подозревая только тебя в любви ко мне, что ж будет, когда взаимная любовь наша сделалась ему теперь очевидною? Решайся, Ликориса!

— Я клялась любить тебя и готова следовать, куда поведет меня рука твоя!

Я призвал хозяина и Никиту, вышли под навес, вынули все пожитки Хвостикова, которые хозяин дома взял на свой отчет, запрягли лошадей и, севши в повозку бок о бок с Ликорисою, рука в руку, оставили деревню, где Хвостиков, как узнал я от работника еще прежде, покоился крепким сном, побежденный более водкою, нежели кровопролитным боем.

Кто опишет наслаждения любви, которою мы одушевлялись! Мы ехали остаток дня и, остановясь на ночь в селении, погрузились в сладкий сон. Я не прежде открыл глаза, как лучи солнечные начали печь лицо мое. Я нежился в приятной дремоте и мечтал о своем настоящем и будущем счастии. Вдруг раздается охриплый голос Никиты, затянувшего песню!

Глава X

Заморский принц

— Как тебе, Никита, не совестно, что ты только беспокоишь людей и не даешь спать со своим воем! какие теперь песни?

— Прошу не погневаться, милостивец,— отвечал он.— Я думал, что и сударушка твоя не спит, а на досуге пустились вы оба в богопротивное дело!

— Какое же, например?

— В рассуждение!

— А почему бы рассуждение было дело богопротивное?

— Самое негодное! что ты и взаправду, Гаврило Симонович, разве я совсем неграмотей? Прочти-ка ты все десять заповедей; нигде не сказано: не рассуждай украсть, не рассуждай убить человека! Там стоит просто: не крадь, не убивай. Правда, как глупому уму моему сдается, тебе не худо бы было немножко поразмыслить вчера ввечеру, именно так: «Я молод, девушка также молода и хороша. Черт весьма силен, и чернецов соблазняет, то как не соблазнить меня!»

— Ты, Никита, не кстати оказываешь свою ученость; пожалуй, перестань!

— Ничего,—отвечал он, сгоняя мух с лысины.— Я только хотел прибавить, что вчера ввечеру не заприметил я, чтоб ты охотился размышлять, а сегодни уже поздо!

Я согласился с мнением премудрого Никиты, и спокойно все продолжали путь наш. Дни проходили мирно и весело. Жизнь наша, сказавши по-стихотворчески, текла, подобно светлому потоку, стремящемуся по сребристому песку между берегов цветошных.

Проехав Киев верст за пятьдесят, следовательно вступив в самую внутренность Польши, Ликориса просила меня опять успокоиться несколько в первой деревне. Никогда в жизни своей не езжала она далее Воробьевых гор, Марьиной рощи и других окрестностей московских. Я легко на сие склонился, и хотя Никита довольно разительно вычислял убытки, какие понесет от лишнего простою, однако, как скоро я уверил, что беру на свой счет прокормление его особы и лошадей, а сверх того, даю ему по два хороших стакана вина в каждый день, он улыбнулся и изъявил полное свое согласие. К полудню въехали мы в изрядную деревню, которую особливо отличали две часовни с явленными образами. В стороне за деревнею, в довольном отдалении, стоял низменный дом, обнесенный высокою оградою. Я занял на лучшем постоялом дворе лучшую светелку и поселился в ней с прелестною своей подругою. Мы расположились пробыть тут до тех пор, пока не прискучится. Дни посвящены будут прогулкам, чтению, разговорам, а ночи покою. «Спешить некуда,— говорил я,— искать счастия никогда не поздо, так, как и просвещаться!»

На другой день пребывания нашего в деревне около обеденного времени увидели мы, что все жители в движении. Скоро узнали, что причиною тому был погребательный обряд богатого малороссиянина пана Златницкого. Я не обратил бы на это особенного внимания, если бы один из дворян, провожавший гроб, не остановился по случаю в одном со мною доме; ибо ему недосуг было следовать за покойным до самого Киева. За общим обедом мы разговорились, и дворянин сказал: «Государь мой! Вижу, что вы человек просвещенный, а потому честь имею предложить, не угодно ли выслушать небольшую повесть, написанную мною о покойнике. В нашем краю так мало людей, достойных слушать что-нибудь путное, что всякий считает за счастие встретиться с образованным человеком».

Я и Ликориса с удовольствием приняли предложение услужливого дворянина. Он вынул из кармана свиток писаной бумаги, прокашлялся и начал читать следующее:

— Всякий благоразумный человек, видя другого подверженным какому-либо пороку, обязан сожалеть о его несчастии; один гордый кажется сего не достоин, ибо его дурачество есть[1] совершенно произвольное. Гордость можно разделить на два вида: надменность и спесь. Надменным можно назвать того, кто, отличившись своими способностями и приобретши в кругу своем известность, явно тем тщеславится, стараясь помрачать заслуги других, спесивым же того, кто, ничего доброго не сделав, кичится пред другими или своим достатком, или знатностию происхождения.

В Украине незадолго пред сим жил некто пан Златницкий, богатый помещик. Род свой производил он прямо от малороссийских гетманов, и последних из них считал в числе ближних свойственников. Он был уже стар, но не имел никакого чина, ибо, несмотря на все увещания родственников и приятелей, никак не хотел вступить в государственную службу. «К чему мне служить,— говорил он,— когда и надежды нет дослужиться гетманства?» Он каждый день предавал проклятию Хмельницкого, который был первый гетман, подчинивший себя российскому скипетру.

Большую часть дня проводил он в особенной комнате, украшенной изображениями древних гетманов и жен их. Он садился посередине за стол, смотрел на портреты, потом прочитывал кучу старинных грамот и забавлялся сим

занятием, пока не чувствовал аппетита. Тогда, выходя из комнаты (вздыхая тяжко), говорил: «О, как счастлив я, что до сих пор не оскорбил памяти высокоповелительных предков моих соединением с подлыми людьми, ищущими чинов по службе! На что мне чины, когда я по одному происхождению благороднее всякого благородного?» Служители, если что надобно было подать ему или принять, должны были паче всего остерегаться подходить близко, ибо он боялся, чтобы дыхание их не смешалось с их дыханием. «Так всегда поступали,— твердил он,— турецкие султаны и гетманы малороссийские! Из всего соседства был только один пан Прилуцкий, которого, хотя и с крайним трудом, удостоивал он принятием в своей Коронной палате. Так именовал он комнату с портретами гетманов. Впрочем, никто даже из слуг не смел и заглянуть туда. Для снятия паутины и сметения пыли с изображений употреблялась единственная дочь его Евдокия, которая столько же была кротка, приятна, обходительна, сколько безумен и дик отец ее.

Но и пан Прилуцкий, с своей стороны, был не меньше странен. Хотя он не величался древностию происхождения, ибо оно было не так-то древнее, но зато в достоинствах по службе не находил никого себе подобного. Он душевно презирал пана Златницкого, но иногда посещал его. Он, говоря о нем, не пропускал ни одного случая посмеяться над его спесью, прямо безумною; а как сам был и подлинно заслуженный человек, в маиорском чине, то все нашли бы его не только сносным, но даже и любезным, если бы он пореже напоминал о своих заслугах. У него был сын Алексей, служивший в армии с отличием; и по уверению всех столько же приятен умом, душою и телом, сколько был его родитель в противоположности.

Однажды, когда Златницкий, готовясь к обеду, свертывал в кучу старые пергаменты в своей Коронной палате, послышался за дверьми оной страшный шум и крик, вскоре потом дверь быстро отворилась, и пан Прилуцкий ввалился задыхаясь.

Пан Прилуцкий. Здравствуй, почтенный сосед! Давно ли у тебя завелось такое вельможество, что и старому заслуженному маиору без докладу к тебе войти нельзя? Бездельники твои слуги вздумали было меня остановить! Дай было сесть! *(Садится.)*

Златницкий *(выходя из крайнего изумления)*. Не во сне ли я вижу эту ужасную новость? Как? Ко мне без

докладу? В присутствии высоких предков моих? Пан Прилуцкий! Выведи меня из страшного недоумения, я ли или ты сошел с ума?

Прилуцкий. Дай подумать и осмотреть тебя! Так, клянусь моею честию, что ты полупомешан! О каком присутствии предков говоришь ты? Я ничего не вижу, кроме нескольких мужских и женских харь в странных нарядах? Плюнь на них, братец, и не дурачься! Садись подле, и я скажу тебе приятную новость! Ведь я не с тем приехал, чтоб сердить тебя. Я умею отличить врага от приятеля. Когда, бывало, перед сражением...

Златницкий. Если ты хочешь, чтобы я говорил с тобою, то оставим сию священную палату. Тени предков моих не простят мне того бесчестия, которое наношу памяти их, говоря с таким человеком.

Прилуцкий. Вслушался ли я? С каким человеком? При этих картинах, напачканных деревенским маляром, не смеет говорить заслуженный маиор, который не робел стоять пред строем неприятельским?

Златницкий. Что значат наши чины в сравнении с достоинством происхождения? Я имею право на гетманство! о Хмельницкий!

Прилуцкий. Право на гетманство? Старый пустомеля! Кто ж мешал тебе оным воспользоваться? Кто допустил, что высокое достоинство сие перешло в другие домы? Когда исполнилось тебе осьмнадцать лет, ты, препоясанный мечом предков, явился бы на поле брани; не заботился о своей крови и покое,— пожертвовал бы и тою и другим ко благу отечества, и тогда, видя твои достоинства и заслуги, без сомнения, признательный монарх отличил бы тебя преимущественнее пред другими, хотя равных заслуг, но низшего происхождения! А то где был ты? Не далее десяти верст вокруг своей деревни! Зачем? Для поймания волка, лисицы! Что делал ты? Ел, пил, спал и прочее тому подобное! И ты еще жалеешь о утрате жезла гетманского? Если бы прослужил ты, подобно мне, в поле лет сорок, то, верно, был бы, как и я, маиором, а может быть...

Не дожидаясь окончания философской речи маиоровой, Златницкий схватил себя за уши и, произнеся задыхающимся голосом: «Мне быть маиором? О мои великие предки!» — быстро выбежал из Коронной палаты.

Пан Прилуцкий сначала было призадумался и сознался сам себе, что поступил слишком по-армейски. Вся-

кий посторонний, если будет осуждать Златницкого, то не похвалит и Прилуцкого. Но тот несколько извинит, кто знал причину его посещения, которая и откроется вскоре.

Сидя в креслах против портретов, он говорил сам себе: «Я служил сорок лет, дослужился маиорского чина и должен теперь на старости нести стыд — от кого же? От бесчиновного гетманского внука! Я сам — урожденный дворянин, маиор!»

Едва он окончил свои бормотанья, явился слуга и сказал: «Господин сего дома приказал объявить вам, чтобы вы сейчас оставили его в покое; иначе...»

«Иначе,— возгремел маиор, подняв трость свою,— иначе я переломаю тебе кости, когда ты пикнешь еще хотя слово! Скажи своему господину — гетманскому внуку, человеку важному, хотя и бесчиновному,— что я ожидаю от него посольства получше, нежели ты и все тебе подобные!» Слуга бросился вон опрометью, рад будучи, что скоро кончил свое посольство. Не замедля вошла добрая Евдокия и, трепеща, объявила именем отца то же, что и слуга. Старик смотрел на нее долго и пристально, потом самым дружеским голосом сказал: «Жаль, прекрасная, добрая девица, что не могу исполнить твоего требования! За пять верст приехал я, и собственно для тебя. Мне непременно надобно кончить разговор с отцом твоим; а там вдруг увидим, бывать ли мне в доме его чаще или никогда! Скажи ему об этом!»

Евдокия, которая была не без тайных предчувствий, быстро удалилась и, скоро воротясь, объявила маиору, что отец ее забыл все размолвки и готов провести с ним хотя целый день, только не в Коронной палате.

Маиор, подивясь про себя сему безумию, охотно согласился и, взявши Евдокию за руку, вышел. Скоро примирились, все вместе отобедали, и когда слуги удалились, то пан Прилуцкий, удержав Евдокию, намеревавшуюся также выйти, сказал: «Почтенный сосед! Согласись, что воспоминание заслуг предков наших тогда только хорошо, когда и мы тем же им отвечаем. Прадед мой во время сражения при Полтаве был только корнетом, но умел отличиться, и великий монарх наш наградил его поместьем. Дед мой умер поручиком, отец капитаном, а я и теперь живу в чине маиора. Не прекрасно ли это? Не лучше ли, когда и сын мой не более будет полковника, доставя способы своему сыну сделаться генералом, чем, быв сыном гетмана, умереть в совершенной неизвестности? Я вижу,

ты хочешь отвечать мне вопросом! Погоди! Сын мой Алексей по окончании войны возвратился домой капитаном! Каково?»

Златницкий. Много чести! разумеется, что люди его происхождения и тем должны быть весьма довольны!

Прилуцкий. А, а! Ты опять за свое? Но постой! Я буду говорить с тобою прямо по-маиорски, то есть: без обиняков! Этот капитан, сын мой, имел случай видеть в церкви дочь твою; она ему полюбилась, а вероятно, и он ей. Храбрый молодец пригожей девке противен быть не может. Словом, я приехал сватать дочь твою за моего сына! Теперь отвечай!

— Правосудный боже и святые угодники его!— вскричал Златницкий, побледнев и задрожав,— до чего дошла моя отчизна, когда и таковая дерзость должна остаться ненаказанною! Если бы за полтораста лет от подобного человека сделано было одному из предков моих подобное предложение, то оно неотменно было бы награждено поносною смертию, а теперь — небо! Оно остается ненаказанным! О Хмельницкий! Дочери моей не более двадцати лет, и по ее происхождению — кто осмелится предложить себя ей в женихи, кроме принца немецкого, и то не без опасения! Самые князья польские того не сделают, зная, кто я и кто она! Последнее время настало,— надо умереть!

— Так умирай скорее, старый безумец,— вскричал пан свирепо и вскочил с своего седалища,— по крайней мере ты избавишь и дочь и всех соседей от одного из величайших безумцев! И я глуп, что в угодность сына решился посетить сумасброда, единственного во всем околотке! Жаль только бедной дочери! Он заставит ее!

— Люди! сюда! — вскричал сердито Златницкий; но пан, вытаскивая свою саблю из ножен, отвечал: «Кто осмелится приблизиться к старому, заслуженному маиору, тот, верно, не воротится назад с ушами и носом!» — Он вышел без всякого препятствия, ибо слуги давно знали, что он любит сдерживать свое слово маиорское, сел на дрожки и уехал, проклиная спесь гордящихся своим происхождением. Златницкий от гнева, не удовлетворенного отмщением, упал без чувств, а Евдокия проливала горькие слезы. После сего никто в доме не смел произнести и про себя имени пана Прилуцкого; Евдокии запрещено было не только ездить в церковь, но и выходить в домашний сад. Что ж делать бедному сердцу ее?

Меж тем Прилуцкий, прибыв домой, поведал сыну своему Алексею об успехе сватовства. Он предавал проклятию всех без изъятия, которые так безумно величаются своими предками. Он окончил речь заклятием никогда более и ногою не быть в доме потомка гетманского.

— Вам очень легко, батюшка, исполнить свое обещание, но каково мне? Мое сердце всем чувством прилеплено к милой Евдокии. Я знал ее, будучи еще ничем, а теперь, когда я возвращался в дом ваш с полною надеждою, должен всего лишиться! Это несказанно больно!

Отец. Пустое, брат! Я в молодости своей был влюблен по крайней мере в десятерых, сватался, однако ж нигде дело не состоялось. Я женился на твоей матери, не чувствуя к ней совсем того, что называется страстию любовною, однако мало-помалу полюбил и постоянно продолжал любить до гроба. Я был ею всегда счастлив, меж тем как редкая из прежних моих красавиц не сделала мужа своего крайне несчастным. Постой, брат! У меня есть на примете предорогая для тебя невеста, и, верно, ты будешь ею весьма доволен, именно — Хавронья.

Сын. Ах, батюшка! да она крива!

Отец. Тем меньше будет всматриваться в пригожих гостей и хоть одним глазом, но смотреть больше на мужа!

Сын. Ряба, как огурец!

Отец. Меньше смотреться будет в зеркало!

Сын. Хрома и косолапа.

Отец. Меньше будет прыгать.

Сын. Стан и походка медведя!

Отец. Не будет вешаться на шею к другим!

Сын. При всем том, кажется, и зла!

Отец. Вот тут-то ты согрешил, ибо клевета есть великий грех. Шестой десяток доживаю, а ни шести красивых женщин не видал я добрых. Напротив того, не так-то пригожие поневоле стараются, чтобы если которая крива, то сохранить глаза душевные целыми; если ряба, то чтоб сердце было гладко, если хрома, косолапа, то чтоб невинность ее не хромала и не шаталась по сторонам. Возьми красавиц,— все их занятие есть суета. Они очень видят, что за ними гоняются целые десятки проворных подлипал. Если один отстанет, то все останутся девять, следовательно, остается только выбирать.

Сын. Я верю, что вы правы вообще, но о любезной и прекрасной Евдокии, верно, того не скажете?

Отец. Конечно, не скажу! Но что ж делать, когда она, по несчастию, гетманская правнучка!

Сын. Нельзя ли тут употребить некоторый обман?

Отец. И солдата бьют за обманы, что ж надобно сделать с офицером-обманщиком? По крайней мере повесить! Итак, с божиею помощию начнем думать о почтенной Хавронье!

С сим словом отец оставил сына в крайнем недоумении. Он думал, гадал, наконец, по-видимому решившись, вскричал: «Так, непременно так!» Старик начал посещать отца Хавроньи почаще, давать стороною намеки о причине сих посещений; был принимаем время от времени ласковее, дружелюбнее — и невеста с нетерпением ожидала дня, в который увидит жениха своего, без сомнения молодца совершенного. В доме пана Прилуцкого об Евдокии не было упоминаемо ни одного слова.

Но скоро целый околоток поражен был неслыханною в сторонах сих новостию, от которой все было ополоумели. Разнесся достоверный слух, что некоторый заморский владетельный принц, по имени Норд-Вест-Зюд-Ост, прибыл в Украину и пристал в одной недальней деревеньке пана Прилуцкого.

Пан ошалел, как и другие, и улыбался приятно, говоря: «Видно, ныне бесчиновные потомки гетманов вышли из моды, что светлейший принц предпочел мою малую деревню богатому селу Златницкого. Видно, он умеет отдавать преимущество заслугам личным, а не потомственным! Надобно поблагодарить его светлость за такую милость!»

Он приказал уже приготовлять коня своего бранного, чистить мундир с новыми галунами, саблю булатную и прочие снадобья, дабы по-надлежащему явиться пред очи принца, как окаменел на месте, услыша, что этот заморский Норд-Вест-Зюд-Ост с тем и приехал в Украину, чтоб свататься на Евдокии, дочери Златницкого. Кто опишет его изумление? Неподвижными очами глядел он на предстоящих, наконец, сложа накрест руки, произнес уныбно: «Видно, и кроме Златницкого есть безумцы на свете! Возможно ли? Нет! Не только не удостою этого принца своим посещением, но сейчас напишу к старосте, чтобы он ни самому ему, ни его свите не отпускал ни цыпленка, пока не заплатит наперед вчетверо противу настоящей цены!» Проговоря сие, он сердито плюнул и пошел в свою комнату.

Теперь в свою очередь надобно представить удивление, радость, восторг пана Златницкого, когда весть сия коснулась и его ушей. Он ходил по своей Коронной палате большими шагами, весело взглядывал на изображения предков и говорил: «Наконец, и на нашей улице праздник! О, как я хорошо сделал, что отказал глупому маиоришке в его предложении! То ли дело иметь зятем принца, которого имя так мудрено, что никак вдруг не выговорить; но какая в том и надобность мне? Это пусть знает дочь, а мне боле не надобно, как только, что зять мой — принц заморский!»

Во время сего рассуждения весь дом всполошился, услыша топот коней, звук труб и литавр и увидя довольно великое количество прискакавшего на двор воинства. Сначала почли их разбойниками, но скоро к общей радости узнали, что то прибыл чрезвычайный посол принца и требует от потомка высокоповелительных гетманов благосклонной аудиенции. По приказанию сего последнего посла под руки ввели в гостиную, и чрез несколько минут явился пан из своей Коронной комнаты.

Тогда посол, согнувшись ниже нежели в пояс, сказал: «Величественный потомок гетманов! Мой державный принц Норд-Вест-Зюд-Ост желает вам и дочери вашей мира и здравия! Мне, его высокому советнику, поручено возвестить вам в коротких словах причину его сюда прибытия! Он, наслышась о достоинствах дражайшей дочери вашей, просит от вас соизволения на брак, в чем также дозволил ему и его державный родитель. Но как они ведут теперь войну с окрестными жителями, то присутствие храброго сына необходимо, ибо он командует конницею и флотом; а потому, буде вы, высокопочтенный потомок гетманов, на брак сей соизволите, то дело привести к концу как можно поскорее, дабы родитель от долгого медления не соскучил».

З л а т н и ц к и й. Благодарю за честь, которую изволит делать мне принц Норд-Морд-Бес-Пес.

П о с о л. Норд-Вест-Зюд-Ост! Из этого примечаете, сколь древние короли были его предки. Он немного на это причудлив, не во гнев ему будь. Сколько предлагали ему невест королевен; но он, рассмотря их происхождения, находил домы их гораздо моложе своего дома.

З л а т н и ц к и й. Откуда принц Норд и прочее мог узнать, что мое происхождение есть древнее, нежели многих королей? Вить королевство его за морем?

Посол. Королевство, правда, за морем, однако ж он имеет обширный флот, на котором разъезжающие как военные, так купецкие люди весьма много могут поразведать и донести повелителю!

Златницкий. Вы говорите, что они ведут войну с соседями?

Посол. Кровопролитную, и каждый почти день бывает стычка!

Златницкий. Кто же такие ваши соседи?

Посол. Пренегодные! Одни свирепы, другие лукавы, третьи трусы и бегут от нас, как только появимся.

Златницкий. Все это очень хорошо, и я даю полное согласие на брак; вы можете объявить то светлейшему вашему принцу. Когда же я увижу его?

Посол. Никак не прежде, как по возвращении его из церкви после венца. Разве забыли вы,— знаменитый потомок гетманов,— что во всей Европе коронованные главы венчаются большею частию чрез своих послов?

Златницкий. Правда! Я что-то такое слыхивал!

Посол. Родитель принца моего так и хотел было послать меня для исполнения обряда бракосочетания, но он никак не склонился и хотел иметь удовольствие и честь видеть вас лично, когда он с честию то сделать может. Посему он убедительно представляет, чтобы и вы, с своей стороны, не медлили, когда уже дали свое благородное слово.

Златницкий. Чрез три дни свадьба!

Посол удалился с прежнею церемониею; а пан Златницкий, упоенный восторгом тщеславной радости, призвал к себе дочь, обнял и сказал: «Благодари богу и мне, что ты будешь принцессою!» Евдокия казала вид довольный, что отец причел чрезмерной ее покорности воле его; а прочие домашние, а особливо мамки и няньки, не могли надивиться, что она так охотно идет за какого-то заморского басурмана, любя с детства Алексея, что им было известнее, нежели кому другому.

Начались пышные приготовления к свадьбе. Златницкий ничего не щадил. Накануне разослал нарочных ко всему дворянству звать на свадебный пир, и чтоб больше кольнуть пана Прилуцкого, то приглашал и сего. Пан сначала было и руками и ногами прочь, но убеждения Алексея, наконец, его склонили. Он говорил: «Если вы не будете, то никто не подумает, что вы отказались, а всякий,— что вас не пригласили! Да и почему не поми-

риться? А сверх того, увидим заморского принца. Это ведь диковинка!» Старик дал слово.

Едва настал день свадебный, как дом и дворы Златницкого запружены были гостями, гостьями, с их чадами и домочадцами. Невеста, разряженная как можно великолепнее, принимала поздравления, как будущая принцесса. Вскоре увидели посла принцева с обширною свитою. Когда невеста села в карету, чтобы ехать в церковь, то многие любопытные хотели провожать ее. Посол крепко воспротивился, представляя, что преждевременное любопытство крайне вредно и принц будет гневаться, а сверх того, сам он — ближний его советник и посол — достаточно имеет прав к соблюдению чести принцевой. Златницкий, улыбнувшись, сказал: «Надобно уважать обычаи каждой земли, а особливо когда имеешь дело с коронованными особами!» Он дал знак, карета с невестою двинулась, посол с командою окружили ее, поскакали, а гости, воротясь в покои, забавлялись кто чем заблагорассудил.

Церковь была на другом конце села, около версты от дома господского; а потому недолго дожидались возвращения новобрачных. Они показались, и Златницкий приказал дворовым людям стрелять из ружей в честь их; со стороны конвоя принцева тем же ответствовано. Когда они входили в покои, хозяин поставил гостей в два ряда по сторонам, а сам стал у дверей в свою Коронную палату, дабы иметь удовольствие самому ввести в нее принца и рекомендовать ему своих предков.

Естественно, что взоры большого и малого стремительно обращены были на их светлости, но поражение многих было неописанно. Равномерно и Златницкий, протянув руки для обнятия зятя, с приметным ужасом отступил назад, и, одною рукою стирая пот с лица, а другою прочищая полузакрытые глаза, сказал со вздохом: «Конечно, злой дух потешается надо мной, что я ополоумел! Но ему даром не пройдет! И дьяволу не дозволю шутить над потомком гетманов малороссийских! Сейчас заказывается сто обеден для прогнания нечистой силы! Или, может быть, я от излишнего чувствования радости и без беса помешался, что мне совсем другое мерещится».

Тут, оборотясь к зятю, спросил:

— Скажите мне: отец ваш знатный заморский владетель?

З я т ь. Хотя не владетель, однако владелец в стороне своей почтенный!

З л а т н и ц к и й. В вашем владении есть море?

З я т ь. Небольшое, правда! Его сходнее назвать озером!

З л а т н и ц к и й. Однако ж по нем разъезжают военные и купеческие корабли?

З я т ь. Разъезжают,— хотя, правда, не корабли, но порядочные суда!

З л а т н и ц к и й. И у вас есть сильная гвардия?

З я т ь. Не очень, правда, сильна, но редко неприятель от нас здрав уходит!

З л а т н и ц к и й. Я слышал от вашего посла, что неприятели ваши свирепы, лукавы и отчасти трусливы?

З я т ь. Сущая правда! В наших сторонах и не водится неприятелей свирепее волков, лукавее лисицы и трусливее зайца.

З л а т н и ц к и й *(с скрываемою свирепостию)*. Понимаю! не такого ли же разбора и флот ваш?

З я т ь. Он состоит из полдюжины хорошо оснащенных лодок, на коих, разъезжая по нашему небольшому морю, берем в полон щук, судаков, карасей, а иногда и вельможные сомы попадают.

З л а т н и ц к и й *(задыхаясь)*. Итак, заморский принц Норд-Бес...

З я т ь. При венце переменил свое имя, и теперь зять ваш есть преданнейший ваш слуга и сын прежнего друга вашего пана Прилуцкого!

— Нет,— загремел Златницкий,— не черт виноват в обмане, а виноватого наказать должно! — С сими словами бросился он в свою оружейную палату, а гости, не зная — смеяться ли или бежать, решились скоро на первое; почему, ударясь к дверям оружейной, приперли и общими силами решились не дозволить неприятелю сделать вылазки до времени. Тогда пан Прилуцкий, быстро подошед к новобрачным, схватил их за руки, вывел, бросил, так сказать, в карету, велел стремглав скакать в свою деревню, а сам, вскоча на своего коня, пустился вслед вместе с великим советником принца и его командою. Когда они выпустили из виду деревню, то все поехали тише и пан спросил у советника:

— Скажите бога ради, что все это значит? Хотя я старый, заслуженный маиор, хотя бывал бог знает где и ви-

дал много черт знает чего, однако теперешней комедии не могу растолковать.

— Я вам ее растолкую,— сказал великий советник,— извольте выслушать. Вам известно, что полк, в котором служит сын ваш, стоит здесь не далее десяти верст. Я также служу в нем, и в том же чине. Мы добрые друзья и товарищи; а вы знаете, что военные люди в любовных затеях охотнее пособляют друг другу, чем гражданские. Сын ваш открыл мне старую любовь свою к Евдокии, а вместе неудачу в сватовстве, происшедшую от глупого предрассудка ее родителя. Тотчас составлен план. Алексей наречен заморским принцем, я послом, а свиту нашу составляли отчасти роты моей казаки, а отчасти дворовые люди. Оттого-то мы столицею себе выбрали дальнюю вашу деревню. Вы сами свидетель, что успех увенчал наше предприятие! Надеюсь за посольские труды попировать на свадьбе моего друга, да и казаки не должны быть забыты.

В продолжение сего рассказа карета и телохранители въехали на двор панский; витязи спешились, и господин посол принцев, высаживая из кареты счастливых супругов, сказал Евдокии:

— Я уверен, сударыня, что вы не жалеете о потере своего светлейшего титула!

Когда собрались в покои, пан Прилуцкий, обняв свою невестку с нежностию отца, обратился к сыну и сказал:

— Господин капитан! Ты совершенный повеса, ибо пристыдил отца своего, старого заслуженного маиора. Так ли думалось ему праздновать свадьбу своего единственного сына — капитана? Здесь не то, что в Москве и Петербурге, где нередко женятся и умирают скоропостижно и никто о том не думает. Здесь во всем любят порядок! Но скажи теперь сам, что буду я делать? Как приму любезную мою невестку? Кто проводит ее в брачную комнату? Кто будет подымать ее с постели на следующее утро? Кроме горничных девок, никого нет в доме! Разве ты хочешь и их перекрестить в статс-дамы и фрейлины? Ну сказывай, а я ничего не придумаю; стыд да и только!

— Батюшка! — сказал сын,— мы этому горю легко пособить можем, и скоро. Любезная моя жена пусть пойдет в спальню покойной моей матери, а проводить ее туда и поднять с постели — моя забота. Конница моя отправится в поле, где довольно найдет трусливых неприятелей, которых и возьмет в плен; пехота — в ближайший

лес, где есть рябчики и тетеревы, дрофы и бекасы и всякого рода воздушные жители, флот выступит в море и, верно, не возвратится без довольной добычи. Друг мой и посол с своею гвардиею отправится на проезжую дорогу, к дому моего тестя, и волею или неволею будет командировать на наш двор всех свадебных гостей, которые не замедлят оставить великого моего тестя и, верно, упрямы не будут. Вы, батюшка, по любви ко мне, верно, займетесь командою надзирательниц кур, простых и индейских, уток, гусей и прочего, а особливо приведением в порядок погреба, которым вы пощеголять можете! Я вижу, что вы все согласны на мое предложение! Теперь еще полдень, и к вечеру много кое-чего наделать можно. А чтобы не медлить, то я покажу пример деятельности.

Он взял за руку смущенную свою супругу и повел ее в комнату своей матери.

Пан Прилуцкий, потеряв его из виду, всплеснул радостно руками и сказал с видом восхищения:

— Не правда ли, господин посол, что сын мой со временем может быть хорошим полковником? Добро! Обеспечим прежде наш аппетит и жажду, а там примемся всяк за свое дело.

Как сказано, так и сделано. Между тем, как конница, пехота и флот принца заморского, равно и посол его заняты были ревностно своими делами, обратимся в дом высокоименитого потомка гетманов. Мы оставили его в оружейной комнате, которую держали назаперти устрашенные гости.

Когда он догадался,— ибо он во всю жизнь догадывался, а не мыслил,— что достаточно снабжен и гневом и оружием для отмщения нареченному принцу заморскому и своей дочери, которую также подозревал участницею в гибельном заговоре, равно как и пана Прилуцкого,— то со всего размаху толкнулся в двери. Видя же, что они заперты, пришел в большое бешенство и с страшным проклятием начал прорубать саблею себе выход. Гости увидели, что дело на шутку не походит, и — давай бог ноги. Суета ужасная! Шум, крик и аханья женщин неописанны! Однако кое-как все уселись в свои экипажи и пустились куда кому было надобно. Златницкий, наконец, прорубился, вышел и, никого не взвидя, от изнеможения сил телесных пал без чувств на пол. Тогда только служители осмелились к нему приблизиться; сперва при-

прятали как можно дальше его вооружение и после, подняв на руки, уложили на постель.

Посол и друг принца заморского стоял на большой дороге с своею командою. Кто из свадебных гостей ни равнялся с ним, он объявлял желание Прилуцкого, и все с великим удовольствием поворачивали к его деревне; ибо никто не опасался найти там столько ужасов, как в доме славного потомка гетманов. К вечеру Прилуцкий увидел себя окруженным великим собранием, он был весел, и все были веселы. Несколько дней прошло в шумном веселии, и первая Евдокия приступила с просьбами к мужу и свекру, чтобы они попытались, нельзя ли помириться с отцом ее. К сему присоединились многие соседи, и отправлено к пану торжественное посольство. Напрасно трудились! Он лежал на одре смерти, обкладенный изображениями своих предков. Едва усмотрел он прежнего посла от принца заморского, то опомнился, застонал, проворчал невнятно какое-то проклятие и скончался. Услыша о сем, Евдокия зарыдала, муж ее вздохнул от глубины сердца, а старый заслуженный маиор произнес громко:

— Вечная память! Но если бы он несколькими годами умер раньше, то мы все несколькими годами раньше были бы счастливы!

Мы от чистого сердца благодарили дворянина за его чтение. Он простился с нами и поехал в свое поместье; а мы вознамерились, пробыв еще дня два, отправиться в дальнейший путь. Оставшись одни, мы распорядили время свое философски!

Обыкновенно поутру я уводил Ликорису из деревни, показывал ей лучшие картинные места, вокруг разбросанные природою, и объяснял мудрые ходы и законы сей любимицы существа великого и премудрого. Мне и на ум не всходило, что я понес много горестей от излишнего рвения просвещать. Я просветил княгиню Феклу — и она меня покинула, просветил Ястребова — и с бесчестием вытолкан из его дома; просветил Куроумова — и чуть не попался в крайнюю беду. Но Ликориса ни на кого из них не похожа, думал я и успокаивался; притом же я не князь уже фалалеевский и не буду никогда занимать кого-либо таким безумным просвещением, каковое преподавал прежде. Нередко подходили мы к лесному дому,— так крестьяне называли загородный дом господский,— обходили его кругом, но не видали ни одного существа живого; не слышно было ни малейшего шороху. Сквозь расселины

ограды виден был обширный двор, поросший крапивою и репейником. Из щелей в стенах дома росла дикая ромашка, а на крышке кусты ракитника. Везде глухо, пусто!

— Видно,— сказал я своей спутнице,— дом этот давно необитаем! Жаль! — он на таком прекрасном месте!

Казалось, счастие мое постоянно и судьба перестала играть мною, как ветр полевою былинкою. Подле меня прелестная подруга, полная любви и нежности; мы наслаждаемся цветущим здоровьем, денег хотя и не так-то много, зато надеждам нет числа. Стоит только появиться в Варшаву, а там греби золото лопатою! По-видимому, чего мне недоставало? Но, ах! весьма многого. Именно? Послушайте!

По некотором времени пребывания нашего в деревне к великому моему недоумению и вместе печали заметил я, что нежная моя Ликориса становилась час от часу задумчивее, печальнее, невнимательнее к моим ласкам. Таковое состояние предмета любимого не могло не тронуть моего сердца. Сидя подле меня, склоня печальную голову к груди, она не слыхала слов моих, не внимала моим опасениям и жалобам, и нередко, когда уж я чересчур задорно приступал к ней с вопросами, она отнимала у меня руку свою и уходила; я также уходил в другую сторону с растерзанным сердцем. «Что бы это значило?» — думал я и терялся в догадках.

Между двумя сердцами, которые не созданы величаться своею жестокостию, таковая принужденность не могла продолжаться долго. В одно утро, вскоре по всходе солнечном, сидели мы в прелестном перелеске, на берегу светлого ручейка. В некотором отдалении в небольшом пруде крестьянин удил рыбу, по другую сторону пастух дудил в рог, собирая коров, овец и коз. Резвые ласточки кружились над нами с громким щебетаньем и дразнили деревенского мальчишку, который, обольстясь их смелостию, оставил собирать улитки и гонялся за ними. Томная Ликориса не могла не тронуться красами сельской природы в часы безоблачного утра. Картины сии совершенно были новы для девушки, воспитанной в великолепной столице, а по мере новизны сей умножалась ее чувствительность, а с нею вместе — мрачное уныние. Машинально нарвала она в передник несколько полевых цветов и также машинально начала составлять букет, беспрестанно переменяя прежнее расположение. Если бы не видал я движение нежных ее пальчиков, колебания

груди, то сказал бы: «Это образ горести, воздвигнутый из мрамора над могилою предмета обожаемого».

Чтобы сколько-нибудь развеселить ее или по крайней мере рассеять, я вынул из кармана флейту, которую во время прогулок всегда таскал с собою, дабы более уподобиться аркадскому пастушку, который поет похвалы прелестям своей любезной; я засвистал какую-то арию; Ликориса взглянула на меня, слеза пала на букет, она с негодованием кинула его в ручей и отворотилась, закрыв глаза передником.

— Что за бесовщина,— сказал я, положив флейту на траву и бросясь к Ликорисе.— Скажи, пожалуй, отчего в тебе такая скорая и сильная перемена? Разве ты более не любишь и я тебе в тягость? Разве сомневаешься во взаимной любви моей? Так напрасно, моя любезная! я все тот же! Сердце мое полно любовию; мысли всегда заняты прелестями моей подруги!

Она *(вздохнув)*. Подруги? Видно, я навсегда должна отчаиваться быть чем-нибудь для тебя более!

Я. Совсем не понимаю! Чем же можно быть еще более?

Она. Было несчастное время, о котором вспоминая, прихожу я в ужас; время злополучное, в которое, не чувствуя ни к кому ни малейшего влечения, многих делала я довольными. Я простирала к обожателям хладные, преступные свои объятия, была порочна и покойна! Теперь отверзты пламенные мои объятия, я так же порочна, как и прежде,— но где прежнее мое спокойствие или по крайней мере прежняя нечувствительность к своему положению? Увы! сердце мое раздирается! Чувствую, что нить жизни моей скоро истлеет и я увяну, как увянет к полудню эта свежая незабудочка, сорванная сего утра моею рукою!

Я *(про себя)*. Тут что-нибудь да кроется! или она сошла с ума, или меня свести хочет. Ничего придумать не умею! *(Вслух.)* Прекрасная Ликориса! Тебе известно, что у велемудрого Бибариуса учился я всяким хитростям, а после у высокопросвещенного Доброславова оказывал искусство свое на опыте. Но что касается до отгадывания загадок, то это в состав нашего просвещения нимало не входило, и я в сем настоящий профан. Прошу усердно объясниться попроще!

Она. Несчастная я, когда вы меня не понимаете. Очень ясно вижу, что сердце мое и до сих пор было вам незнакомо, чуждо, и оттого еще я несчастнее!

Я. Яснее,— прошу покорно, яснее!

Она. Если лед так глубоко положен в погреб, что лучи солнечные никак туда проникать не могут, то может ли растопить его слабый свет лучины.

Я. Сравнение прекрасно, но все не больше понятно, а потому прошу...

Она *(стремительно)*. И я исполню просьбу, чего бы мне ни стоило! Друг мой! Так! я теперь более нежели счастлива; я благополучна, ибо засыпаю и пробуждаюсь в твоих объятиях, но кто, какой небесный житель уверит меня, что объятия твои не сделаются со временем ледяными? Кто успокоит бедное страждущее сердце Ликорисы, что друг ее, единственный друг и путеводитель на земле сей, всегда останется другом ее; что другие красоты не изгладят из сердца его образа нежной, пламенной, слезящей Ликорисы?

Я *(с жаром)*. Моя вечная, торжественная клятва! Тобою, величественное небо, освещаемое златистыми лучами светила великого, тобою, прекрасная земля, увенчанная цветами и древами ветвистыми, тобою, мудрая природа, и ты, великий вседержитель всего сущего во вселенной, клянусь я любить вечно, постоянно мою нежную, добрую, несравненную Ликорису!

Она *(кидаясь ко мне в объятия)*. Так произнеси сию же самую клятву пред олтарем и священнослужителем оного и вместо подруги дай мне название твоей *супруги!*

Я *(в некотором онемении)*. Как, Ликориса?

Она. Чему ж ты удивляешься? Если и подлинно любовь твоя ко мне так постоянна, как ты меня уверяешь, если сердца наши должны быть расторгнуты одною только смертию, если ты во мне, а я в тебе находим единственный предмет, привязывающий нас к жизни, то почему тебе не осчастливить меня священным именем твоей супруги, дабы я, не краснеясь, пред всяким могла сказать: он мой! небо мне ниспослало его, церковь утвердила выбор моего сердца и благословила союз мой! Но пусть так! Пусть я, несчастная, осуждена оплакивать поносную участь свою; пусть буду предметом презрения для всякого пола и возраста, пусть будут сверстницы мои стыдиться моего сообщества, пусть матери показывают меня дочерям своим, как пример порока и предмет нарекания народного и гнева божия! Пусть так, я на все согласна! Но, друг мой милый, чем виноваты будущие дети наши,

что когда еще они не видали света дневного, ни разу не вздохнули воздухом, чем виноваты они, что жестокосердый отец тогда уже назначил им жизнь презренную, полную бедствий, угнетений, всякого злополучия?

Я *(после некоторого молчания)*. Но, моя нежная Ликориса, успокойся и выслушай! Неужели могла забыть ты, что я женат и жена моя еще жива?

Она. Жива? И ты без трепета, без стыда, без угрызения совести можешь произнести слово это? Она жива? Для тебя жива? Ах нет! она давно мертва для тебя! Не знаю и знать не стараюсь всех путей, которые проходила она в жизни своей, по крайней мере никак не могу забыть, что она первая старалась всеми мерами меня с тобою познакомить, повергнуть тебя в пламенеющие мои объятия,— она тем утешалась, того жаждала,— и я, несмотря на некоторую опытность, управляемая случаем, исполнила ее желание и из несчастной бесчувственной сделалась несчастною, чувствующею свое несчастие. Она жива?

Я *(несколько тронутый)*. Любезная моя! Благотворное небо снабдило тебя столько же дарованиями ума, сколько и сердца. Жизнь моя тебе принадлежит. Располагай ею по своей воле. Но есть случаи, коих человек переменить не может, или, лучше, не должен. Тебе небезызвестны законы.

Она *(с живостию)*. Законы? на что изданы законы? Не для того ли самодержец, впрочем благодетельный, добрый, кроткий, подписывает приговор к смерти, хотя с тяжкою горестию, что это нужно для блага прочих его подданных? Но кого обидишь ты, если изберешь меня женою? Кто будет от того несчастлив? Отца у тебя нет, нет матери, детей, а жена — я стыжусь при одном воспоминании ее имени и звания. Она была мать,— и не усомнилась оставить своего первенца! Может ли и имеет ли право, захочет ли такая женщина взыскивать за нарушение прав супружества, когда сама она того желает, того ищет и смеется, попирая ногами святейшие законы общежития?

Я. Вы, сударыня, прекрасно говорите, но такие обстоятельства требуют некоторого рассуждения!

Она *(горько)*. Понимаю! уже Ликорисе не говорят: «Ты, милая, добрая, нежная Ликориса!» — ее величают сударыней,— и кто? Довольно — понимаю! Бедная, до

безумия влюбленная, обожающая Ликориса не есть невеста для князя Гаврилы Симоновича княж Чистякова!

Я *(запальчиво)*. Совсем напротив, милостивая государыня! Князь Гаврило Симонович не столько безрассуден, чтоб мог ласкаться быть законным супругом прелестной княжны Тибетской! Моего родителя, державного короля Гольконденского, также злодеи разорили, и он оскудел золотом, без которого не может обойтись влюбленная, обожающая княжна Тибетская!

Ликориса уставила на меня большие глаза свои. Щеки ее еще более побледнели, губы покрылись цветом гиацинта, она пребыла несколько мгновений без всякого движения, только что судорожные потрясения двигали ее члены, наконец подняла прекрасные руки свои, ударила в лилейную грудь, застенала, зарыдала и преклонила лицо свое к дерну прибрежному!

Ссылаюсь на всех знатоков сердца человеческого! Можно противиться просьбам женщины, ее ласкам, ее нежности, но противиться слезам, слезам любящей и любимой особы — выше сил бренного смертного. Я полагаю, что прародительница Ева не иначе могла принудить Адама вкусить от плода древа познания доброго и лукавого, как пролив на груди его несколько волшебных слез своих! О праотец! как несправедливы те, которые укоряют тебя в слабости!

С чувством любви, нежности, раскаяния, с пламенем в груди кидаюсь я к ногам обожаемой любовницы и обнимаю ее колена.

— Ликориса! — вскричал я, подобно ей проливая слезы.— Благодарю всевышнему, что тебе не взошло на мысль сделать меня злодеем, убийцею, разбойником, зажигателем и отравителем! На все бы готов был, лишь бы не встречать более огорченного взора твоего, прелестная! Так! клянусь быть твоим супругом! Но как в образованном народе никакая страсть не может извинить преступления, то и мы обязаны согласоваться с постановлениями. По прибытии в Варшаву займу я место при князе Латроне, войду в любовь к нему и при удобном случае, открыв все, с благоволения его потребую разводной с моею княгинею, получу без всякого сомнения, и тогда, не опасаясь ничего, торжественно нареку тебя моею супругою княгинею Чистяковою!

Ликориса, как бы от сна пробуждаясь, с тихим, нежным, сладостным вздохом приподняла меня, прижала

к сердцу, и мне казалось, что новая жизнь, новая прелесть, новая нега разлились в ее взорах, на щеках ее, на губах, во всем существе!

Вышед из рощи, мы возвратились на квартиру. Когда первое упоение прошло, когда осушились слезы Ликорисы, когда я несколько мог отдельнее понимать свои чувства, кажется, совесть моя говорила мне: «Едва ли, Гаврило Симонович, ты не пошлый дурак, и едва ли почтенная Ликориса не изрядная плутовка!»

Глава XI

Веселый нищий

Прежде нежели приступлю к дальнейшему описанию жизни моей, по связи происшествий должен упомянуть о Пахоме. По сказанию крестьян деревни, Пахом сей за месяц до нашего прибытия у них явился. Он был уже старичок, с большим на спине горбом, черный засаленный платок покрывал половину лица его; ибо, по сказкам его, будучи некогда изрядный молодец, он лишился глаза и нескольких зубов на сражении, происходившем в Москве на Неглинной[1] между шубниками и железниками, с одной, а семинаристами Московской академии — с другой стороны. Пахом чудеса рассказывал о сей достопамятной баталии, которая еще была бы кровопролитнее, если бы полицейские драгуны, бог знает для чего, не вмешались в нее с нагайками. Обе стороны возвратились в свои границы, обремененные богатою добычею, именно: семинаристы — клочьями от бород купеческих, а сии — косами противников, латинскими букварями и богословскими диссертациями. Пахом ходил на деревяшке, ибо когда-то лишился правой ноги, а на левую хромал. Питался Пахом трудами рук своих, именно: бренчал на бандуре под крестьянскими окнами и тем размягчал сердца самые нечувствительные. Под звук своей бандуры певал он песенки всякого рода: сельские и городские, мирные и военные, набожные и любовные; и таким образом, угождая старикам и в поре людям, старухам, бабам и девицам, он от всех получал благоволение и подаяние. Каждый праздничный день Пахом являлся у ворот ста-

[1] Речка в Москве, текшая около Кремля, ныне высушенная.

росты с своею бандурою, играл и плясал до тех пор, пока не соблазнятся тем собравшиеся крестьяне и крестьянки и не начнут подражать ему. Правда, деревяшка и хромая нога несколько его затрудняли в пляске, но он не унывал, и такое его удальство отменно нравилось жителям. Они единогласно уступили ему полуразвалившуюся избушку, которой последняя хозяйка умерла от частых явлений покойного мужа ее, которого она мучила всякий день от сумерек до восхода солнечного; а он — с сего времени до сумерек утешался в шинке. Итак, переходя беспрестанно от утешения к мучению и от мучения к утешению,— он навеки утешился. Избушка эта стояла на выгоне, и всякий не смел ночью подойти к ней, страшась увидеть совокупное явление мужа и жены. Но *веселый нищий,* так обыкновенно все в деревне величали Пахома, был не труслив и спокойно почивал в благоприобретенном своем имении. Узнавши его и образ жизни, я сам утешался, видя кувыркание сего получеловека, и не мог не принести теплой, благодарной слезы милосердому богу за его дары ко мне. «Как,— думал я,— и я дерзаю иногда роптать на твое провидение, творец правосудный! У меня целы глаза, руки, ноги, я весь здоров и крепок, а бывал недоволен и плакал от малодушия, между тем как сей калека поет и пляшет!»

Однако ж, несмотря на уродливые прыжки его, я часто замечал иногда, что мрачный туман разливался в остальном глазе его и тяжкий вздох вылетал из груди, покрытой рубищем. Это особливо бывало ощутительнее, когда он играл предо мною и когда нежная Ликориса, обняв меня лилейными руками, запечатлевала страстный поцелуй на щеке моей. Он отходил от нас и — сколько можно было судить по его движению — утирал слезы. «Может быть,— говорил я Ликорисе,— и он любил когда-нибудь и потерял предмет любви своей. Истаивающий от жажды не может спокойно смотреть на другого, который пьет чистую, свежую воду. Любящий или любивший несчастливо не может смотреть равнодушно на счастливо любящихся». Как бы то ни было, мы полюбили веселого нищего, и я всегда с удовольствием слушал его балясы, в которых находил довольно ума и остроты. Казалось, что он, забывшись, оставлял свои шутовства и начинал говорить основательно, но вдруг, опомнясь, начинал играть какую-нибудь скоморошную песню и петь осиплым голосом. Никита находил особенное увеселение

в подтягивании Пахому, и тут-то выходил прекрасный концерт, нередко заставлявший и дворовых собак пристать к нему с своим воем.

Настало время пуститься опять в дорогу. Накануне выезда при закате солнца повел я свою подругу к лесному дому, чтобы проститься с прелестною сельскою природою, которою среди шума и грохота нельзя наслаждаться в столице. Обошед все кустарники, все холмики, все источники, сели мы у корня ветвистой черемухи, противу железных ворот ограды. Некоторая сладкая задумчивость покрыла нас, так сказать, туманными своими крыльями. Мы довольно времени пробыли в сем положении, и сребристая луна величественно явилась на голубом небе. Мы хотели встать и идти в деревню, как неожиданное явление нас остановило. Из чащи леса вышли два человека, довольно исправно вооруженные. Ликориса ужаснулась, почтя их за разбойников, но я успокоил ее и велел молчать. Незнакомцы подошли к железным воротам, и один из них засвистал громко три раза. Вскоре слышен стал такой же свист на дворе. Один из пришельцев поспешно пошел в лес и скоро возвратился, ведя с собою двух лошадей, грузно навьюченных. В ту минуту услышали мы звук ключей и скрып отпираемых ворот. Признаюсь, что тогда и я имел нужду в ободрении, ибо ничего нет вернее, что дом сей есть вертеп разбойников. Что делать? Положиться на волю божию.

Из ворот вышел высокий мужчина в темном сертуке. Он должен быть пожилой человек, ибо как снял шляпу, то месяц прямо заблистал на его лысине, которая была не хуже Никитиной.

Начался разговор:

Человек с лысиною. Здравствуйте, ребята! каков граф?

1-й из пришедших. Слава богу! У вас каково?

Человек с лысиною. По-прежнему! Об нем ничего не слышно?

2-й из пришедших. Совсем ничего! Пропал! что дитя?

Человек с лысиною. Живо! жаль, что у меня худой помощник; часто хворает; и я сам должен ночью обходить весь дом. Ну, сложите же провизию на двор, да и с богом! А мы уже одни перетаскаем в покои.

Пришельцы ввели лошадей на двор, сложили вьюки и, примолвя: «В субботу будем опять»,— удалились. Че-

ловек с лысиною запер извне вороты и сказал про себя: «Надобно обойти кругом!»

Едва он сделал шага два, как из-за угла появился,— мы крайне удивились,— появился Пахом, веселый нищий, в полном наряде, то есть в своих рубищах и с бандурою за плечами. Они оба остановились и рассматривали один другого со вниманием.

Пахом. Позвольте спросить вас, милостивый государь: не из этого ли вы дома?

Человек с лысиною. На что тебе? кто ты?

Пахом. По наружности моей безошибочно заключить можно, что я не более, как нищий; однако ж не простой нищий и не без дарований. Я не люблю торговать именем божиим, а смягчаю сердца людские моим искусством, ибо, правду сказать, играю и пою прелестно!

Человек с лысиною. С богом, с богом! в этом доме не любят таких весельчаков.

Пахом. А кто, с вашего дозволения, живет в нем?

Человек с лысиною. До тебя не касается — кто б то ни был!

Пахом. Ах! я вижу, вы сомневаетесь в моем искусстве; и я — для чести моего имени — сейчас должен вас разуверить.

Человек с лысиною. Поди, поди — не беспокойся!

Пахом *(вынимая кларнет)*. Прошу прислушаться. *(Начинает делать некоторые фантазии.)*

Человек с лысиною. Это или мошенник и шпион или бешеный. Уймешься ли ты?

Пахом. Больше слушайте, меньше говорите! *(Играет.)*

Я (тихо к Ликорисе). Этот Пахом — не простой Пахом,— *веселый нищий!*

Ликориса *(также)*. Я в крайнем удивлении! Он играет прекрасно — и мог бы веселить в столице, а не в шинках деревенских.

Человек с лысиною *(сердито)*. Если ты не перестанешь, то я прогоню тебя дубиною.

Пахом. Право! Так я уподоблюсь Орфею, игрою своею привлекающему к себе деревья!

В это время окно в доме открылось, и пред железною решеткою показалась какая-то женская фигура в белом одеянии. Лучи месяца освещали ее. Человек с лысиною, увидя то, не на шутку осердился, подбежал к Пахому,

вырвал кларнет и отвесил ему по горбу два-три удара, от чего музикийское орудие расссыпалось. И червяк имеет сердце. Как же Пахому не иметь его? По сему заключению догадаться можно, что и он в свою очередь осердился, пораспрямился и так звонко треснул врага своего по голове, что он вдруг полетел вверх ногами.

— Ах,— вскричал он, привставая,— ты дорого заплатишь за свою дерзость! Как, дворецкого знатного барина бить,— и нищему? Постой! люди! сюда!

Тут он бросился к воротам и начал отпирать. Мы трепетали об участи бедного Пахома, которому, верно, изрядно достанется; но Пахом сел на траву, начал что-то возиться около своей деревяшки и вдруг, взяв ее в руку, встал и бросился бежать быстрее оленя.

— Что за чудеса,— сказал я,— он одною ногою не владел, а другою хромал!

— Тут, верно, заключается тайна,— сказала Ликориса, вставая,— как бы узнать ее?

— Мы должны узнать,— сказал я,— может быть, мы назначены провидением быть орудиями, помощию которых оно делает несчастных счастливыми.

Мы поспешно пошли в деревню, рассуждая, что бы все это значило? Кто Пахом, кто человек с лысиною, кто незнакомка в белом платье за железною решеткою?

Глава XII

Кающаяся и раскаивающийся

Большую часть ночи не могли мы сомкнуть глаз, так любопытство нас мучило, а особливо Ликорису, которая, по сродной женскому полу нежности, брала участие в пользу Пахома. «Возможно ли,— твердила она,— чтобы подлинный нищий мог быть так умен и столь превосходно играл на кларнете? Верно, он благородный человек, но только несчастливый; и может быть, несчастливый от любви! Ах, как же он жалок! Но как он в один миг исцелел? Неужели кларнет его был волшебный талисман, который имел такую таинственную силу в руках человека с лысиною? Или он до сих пор притворялся хромым и безногим? Может быть, он и не крив?» — «Все может статься»,— говорил я и на утро другого дня пошел посетить нищего с мыслию во что бы ни стало выведать у него правду.

Видно, бедный Пахом один проводил ночь, а потому не для чего было ему долго нежиться в постеле. Избушка была заперта; итак, я спросил у резвящихся мальчишек, куда пошел Пахом? Мне указали на ближнюю рощу, и я догадался, что ему не без нужды до лесного дома. В самом деле, спустя несколько времени я его увидел. Он был в обыкновенном наряде, сидел под деревом, потупя глаза в землю и вздыхая поминутно. Едва я подошел к нему и хотел начать разговор, как услышал в правой стороне большой шум и разные голоса. Оборотясь, вижу странную картину, которая могла бы служить хорошим образцом для живописца. На небольшой полянке невдалеке от двух колясок дрались на поединке двое мужчин. Один, судя по епанче, шляпе и предлинной шпаге, показался мне испанцем; другой по долгополому кафтану с разрезанными рукавами и саблею — поляком. Подле них еще стояли двое: один неотменно должен быть француз, ибо, он вместо того чтоб принять участие в битве, кривлялся самым странным образом, размахивал руками, делал разные прыжки и, словом, совершенно представлял все телодвижения ратующих, приговаривая: «Браво, господа, браво! Courage! Хорошенько,— еще, еще!» Другой был, без всякого сомнения, немец, что можно заключить по огромной туше его с преогромным носом, украшенным багровыми прожилками, по большой трубке, которую курил он, опершись о дерево, и еще большей косе, плотно привинченной к затылку. У ног его стояла на коленях молодая плачущая женщина, которая была бы довольно миловидна, если б имела рост выше, а брюхо поменьше. Она обнимала колена у немца, приговаривая: «Батюшка! простите!» А он, спокойно выбивая золу из трубки об дерево, кричал к кучеру коляски, подле стоявшей: «Иван! набей еще трубку и подай бутылку пива!»

Пахом, казалось, не приметил как сих подвигов, так и моего пребывания.

— Что это такое, господин бандурист,— сказал я,— разве не видишь, что подле тебя делается? Надобно унять воителей! Теперь время мирное.

Пахом, подняв глаза, осмотрел сражающихся и, улыбнувшись, сказал:

— Попробую силы музыки, авось она не приведет ли в рассудок сих индейских петухов!

С сим словом он встал, взял в руки свою бандурку, поковылял к рыцарям и, не говоря ни слова, начал играть

веселую песенку, попевая и попрыгивая. Немец выпустил изо рту трубку и глядел на него с некоторым удивлением; испанец и поляк перестали драться и, опустя свои смертоносные орудия, глядели один на другого, как будто спрашивая глазами: «Какой дьявол подоспел сюда?» Что касается до француза, то он чуть не лопнул со смеху. «Это подлинно настоящий бард Фингалов[1], достойный воспевать подвиги своих героев!» Тут снова принялся он хохотать.

Пользуясь сею счастливою остановкою, я подошел к изумленным и сказал:

— Господа кавалеры! заклинаю вас всеми святыми и честию — оставить до дальнейшего времени ратоборства. Не гораздо ли лучше жить в мире и пользоваться дарами природы, чем головорезничать!

Испанец. Всеми святыми? Я был бы изверг моего отечества, если бы ослушался такого заклятия! *(Вкладывая шпагу в ножны.)* Всеми святыми? Клянусь святым Яковом Компостельским, я достоин был бы испытать все истязания святой инквизиции, если б не послушался вашего увещания!

Поляк *(скручивая в кольцы усы).* Вы говорили о чести? Кто лучше поляка знает честь? Дай руку, пан испанец; и чем нам проливать кров из жил один у другого, вольем лучше в них бутылки по две вина в корчме в ближнем селении! *(Они обнялись.)*

Немец. Что-то упомянуто о дарах природы? Признаюсь, я до них страстный охотник! Что, право, толку резаться? То ли дело сидеть за столом, на котором стоят блюды с ветчиною, колбасами, сосисками, сыром и кружка с пивом. Если еще к этому соблаговолит господь бог даровать трубку табаку, то я вижу небо отверзто и ангелов, играющих на органах.

Француз. Я меньше всех имею охоты не соглашаться на мир. Как скоро так, я — ваш, почтеннейший господин Шафскопф! — а с тем вместе Луиза моя.

Немец. Черт вас побери и обоих! хоть повесьтесь на первой осине!

Француз обнял его дружески, а потом еще дружелюбнее Луизу, которая после такого оборота в деле успокоилась, и все пошли в нашу деревню, будучи предше-

[1] Один из мелких государей древней Шотландии, которого не столько воинские подвиги прославили, сколько песни сына его Оссияна.

ствуемы Пахомом, который играл самый звонкий марш. Обе коляски за нами следовали.

Когда в моем покое все мы уселись за столом, где по приказанию г-на Шафскопфа поставлен был вскоре самый сытный завтрак, и когда мы довольно вкусили от даров природы и, следовательно, поразвеселились, я предложил обществу:

— Господа! пока жена моя (я сим именем почел за благо назвать Ликорису) и почтенная госпожа Луиза хлопочут в кухне об обеде, не худо бы нам сделать взаимную друг другу доверенность и объяснить тем, кто всего не знает, что значит сегодняшнее приключение?

Все охотно согласились. А как нищий Пахом был некоторым образом восстановителем спокойствия, то и ему дозволено слушать наши повествования, только в некотором отдалении, по требованию испанца и поляка.

— В моем отечестве,— сказал последний,— даже в Сеймовом собрании дозволяется присутствовать шутам и скоморохам, и ежели они заметят, что коронный маршал и великие советники от многого внимания задумываются, имеют право бренчать в бубенчики, хлопать хлопушками, пускать мыльные пузыри. Оттого господа присутствующие развеселяются, мысли их освежаются, и они делают премудрые решения!

По уговору испанец первый начал так:

— Мне много рассказывать нечего. Отец мой Амвросий был не последний мещанин из города Олмедо. Мать моя Агнеса была целомудреннее самого целомудрия. Она с головы до ног была обвешана большими и малыми крестами, образами и мощами, которыми от времени до времени наделял ее духовник отец Антоний, бенедиктинец. Четки матери моей были в полпуда. Что она ни делала, всегда призывала в помощь какого-нибудь святого. Таковое примерное благочестие перешло и в меня по наследству. Мне все дозволено было: браниться, драться, красть,— только бы все это было с помощию божиею!

Свободное время от домашних упражнений мать моя запиралась в свою молитвенную комнату с добрым отцом Антонием и с таким усердием каялась, что стон ее слышен бывал в другой комнате; она даже иногда вскрикивала, так строго увещевал ее духовник. Такие обстоятельства привели отца моего в жалость о бедной грешнице, тем более что чрез два часа покаяния она выходила к нам бледная, томная, расслабленная, так что

едва стояла на ногах. Когда отец мой подходил к ней с видом утешения, она ахала, крестилась и читала молитвы, составленные для прогнания бесов.

Такая единообразная жизнь, наконец, отцу моему наскучила; он сам захотел быть духовником жены своей и в силу сего намерения заблаговременно прибрал ключ от молельной. В один день, когда вздохи кающейся были сильнее обыкновенного, отец мой мгновенно явился пред нею. «О небо!» — вскричала мать моя и упала в обморок, несмотря, что от движения пришла в самое неблагочестивое положение. Зато святой отец не потерял присутствия духа. Он встал, ибо появление отца моего повергло и его на колени, оправился и сказал протяжно: «Как? испанца ли я вижу? Невозможно! Это должен быть самый злой еретик, или, и того больше, сам сатана, утешающийся помешательством благочестивых упражнений! Разве неизвестно тебе, что это одно из главнейших преступлений противу правил святой нашей веры? Ты достоин всесожжения!»

Не знаю почему, отец мой не внял разумным словам преподобного мужа. Он взбесился и, несмотря на страшную особу Антония, поднял лежавшие четки моей матери и давай крестить праведного по чему ни попало. Монах также навострил когти, но, будучи тучен, а притом стеснен своим одеянием, мало наносил вреда врагу своему. Сражение до тех пор продолжалось, пока монах, совсем обессилев и запутавшись в рясе, не повалился на пол с сильным стуком и кряхтеньем. Мать моя, пришедшая от падения сего в чувство, открыла глаза и, увидя духовника всего в багровых пятнах и кровь, текущую со лба, вскочила, закричала, и, прежде нежели отец мой успел и на нее поднять отмстительные четки, она подбежала к нему, вцепилась в усы и, скрыпя зубами, начала рвать со всей силы. Так и следовало поступить с нарушителем благочестивых занятий и оскорбителем достойной особы путеводителя души нашей к горнему блаженству; но я был тогда молод, следовательно, сколько неопытен, столько и дерзок. Я, окаянный, стоя в открытых дверях и видя сей неравный бой, вскричал: «Батюшка! извольте управляться с матушкою, а с монахом поспорю и я!» Тут, бросившись на Антония с размаху, я спутал его в рясе, как паук спутывает муху в паутине, и начал тормошить и терзать. Пленник мой, закрыв глаза, прошипел: «Ох! помилуй!» Я остановился и вижу, что и родитель мой с не

меньшим мужеством разделывался с дорогою половиною; она также сбита была с ног и жалостно вопила под ударами четок. Видя, что враги наши уже не противятся, мы поумягчились, дали монаху свободу уйти,— что он тотчас и исполнил,— а отец мой выволок жену из дому, кинул на улицу и запер двери.

Казалось, дело со всех сторон кончено, однако имело следствия, и притом удивительные. Хвала небу, смиряющему кичливых, противящихся законам монашеским!

Едва ночь наступила, уже я с отцом моим стенали в мрачных заклепах святой инквизиции. Пища наша был кусок черствого хлеба, питие — затхлая вода. Так усмиряли нас более года и чуть было насильно не сделали святыми. Наконец, вышло милостивое определение:

1) За наглое нарушение молитвы кающейся; за приведение ее нечаянностию в соблазнительное положение; за изувечение священной особы Антония; за растерзание спасительной ризы его; за святотатское злоупотребление четок, коими не надлежит наказывать мирского человека, кольми паче женщину, и прочие богохульства — преступника Амвросия во спасение души его и тела и в поучение другим — предать лютой казни — живого сжечь. Но он может спасти себя; и всегда милующая церковь открывает к тому верные и скорые средства; именно: да отдаст он половину имения своего жестоко оскорбленной им целомудренной жене Агнесе, а другую половину — в монастырь, какой сам изберет он, ибо милующая церковь и сие предает в его волю; а после сих опытов раскаяния,— да отречется пагубного мира и воспримет чин монашеский в монастыре, какой изберет сам, милующая церковь и на сие соизволяет. В противном случае — анафема!

2) Сына его Алонза, приличенного в таковых же святотатствах, наказать таковым же наказанием. Но милующая церковь и над ним смягчает праведный гнев свой. Если он душевно раскается, если у обиженных им целомудренной матери Агнесы и честнейшего отца Антония испросит прощения, то отпустить ему вину его. В противном случае — анафема!

Мы недолго с отцом рассуждали. Он скоро постригся, а я получил условленное прощение. С сего времени жизнь матери моей была беспримерной святости. Благочестивый

отец Антоний почти и не выходил уже из молитвенной. Он любил меня как родного сына. Его святость вскоре совершенно освятила и меня. Я только и делал, что молился и не мог удержаться от слез умиления, слыша тяжкие вздохи матери моей и ее духовника.

День ото дня становясь боговдохновеннее, я начал сам запираться и стенать подобно матери. Кощуны, которых и в самой Испании есть довольно, святые мои восторги называли бешенством. О разврат! о злочестие, меру превосходящее!

Через полгода, как начал я спасаться в уединении, бог наградил мое терпение. Нередко я видел во сне ангелов, которые со мною беседовали. Чтоб видеть их наяву, такой благодати был я еще недостоин. В одну ночь явился мне вестник небесный. Вид его хотя, правда, и не был так прелестен, как изображают италианцы на картинах, но как человек на человека лицом не походит, то так же точно и ангел на ангела. А что он был подлинно не бес, то я заметил из того, что у моего вестника не было рогов, петушьих лап и мохнатого хвоста, а черти тем и отличаются. «Внемли, Алонзо,— говорил мне ангел,— не забудь, что ты учинил смертный грех, преобидев священную особу Антония. Не прежде избавишь ты бедную душу свою от огня чистилищного, пока не пойдешь в Рим пешком и не приложишься к туфлю святейшего наместника божия и после не обойдешь всех монастырей, где есть римские угодники». Я проснулся, думал, раздумывал и так провел несколько недель. Раскаяние терзало душу мою! «Как ты, проклятый грешник,— говорил я сам себе,— как покусился ты на такое богомерзкое дело, чтоб воздвигнуть окаянные руки на драгоценное чело Антония, денно и нощно утешающего кающуюся мать твою? оле моего прегрешения!»

Решившись оставить дом родительский, где все напоминало мне о грехе моем, я взял благословение у матери и духовника ее и пустился в путь, обещаясь уведомлять их из каждого места, где почувствую оскудение в деньгах, а они — уверяя, что никогда меня не оставят.

В продолжение пяти лет обошел я монастыри Испании, Франции, Италии, Венгрии и Богемии. Из особенного усердия вздумалось мне посетить католические церкви, находящиеся в землях варварских, как-то: в Турции, России и Польше. Таким образом, побывав везде, про-

брался теперь с приятелем моим паном Клоповицким в Польшу, как господин Шафскопф настиг нас...

Таким образом окончил благочестивый испанец повесть свою.

Глава XIII

История

— Теперь дошло до меня,— сказал поляк.— Дон Алонзо напрасно скромничал, что повествование происшествий жизни его будет маловажно. Шутка ли? что слово, то святыня, то явление ангелов? В моей не будет столько диковинок. Было, правда, и со мною явление,— только весьма грешного человека и весьма плотского. Я происхожу от благородного колена из чиншовой шляхты[1]. Отец мой был настоящий польский дворянин. Горд, как англичанин, храбр, как русский, учтив, как француз, и благороден, как... («Разумеется, как немец!» — сказал протяжно Шафскопф.)

Отец мой и я служили в гвардии князя Кепковского. Это был преудивительный человек, лет около шестидесяти. Гордость, или, правильнее, спесь, шумная веселость, зверство противу бедных крестьян,— составляли отличительные черты его сиятельства. Он любил псовую охоту и женщин. Дом его, который по справедливости можно назвать королевским дворцом, беспрестанно наполнен был всякого рода людьми, лошадьми, собаками. Чтоб доказать его могущество и богатство, довольно будет сказать два слова. Во время охоты, если какая старуха попадалась навстречу,— это был дурной знак,— он заставлял ее взлезть на ближнее дерево и куковать. Несчастная исполняла волю помещика, он стрелял по ней из пистолета и, хохоча во все горло, кричал: «Каково? за одним разом застрелил зловещую кукушку!» Нередко также, по совету отца моего, который отличался его милостию, князь Кепковский приказывал связать трех или четырех жидов бородами вместе и заставлял их плясать под звук охотничьего рога и плеск бичей, чем придавали им охоты к пляске.

После всех таковых поступков он обыкновенно оставался прав. А как случилось некогда, что король, наскуча

[1] Беспоместное в Польше дворянство.

беспрерывными жалобами на князя нашего, призвал его к себе для объяснения, сей вельможа хотел и тут показать свое величие. От дому своего в Варшаве до королевского дворца — всю улицу велел он усыпать мелко истолченным сахаром, дабы середи лета представить зиму; сел в дорогие сани, запряженные восьмью медведями, прочие части триумфа сему ответствовали, и до тех пор не встал, пока король не явился у крыльца, для его принятия! Всякий догадается, что он расстался с королем дружески. Однако происки ли двора или собственно одни его подданные[1], оскорбленные неумеренною любовию его к своим женам и дочерям, были причиною скоропостижной смерти князевой. Ни сын, его наследник, ни дочь его, молодая вдова Марианна, ни сам король не думали исследовать причины смерти его. Все единогласно приписали ее апоплексии, и тем дело кончилось. Молодой князь Станислав вступил в права свои, и мы очень скоро увидели в нем отца его в превосходной степени.

Между прочими подвигами, которые оказал он вскоре после смерти родителя, не последним может почесться похищение Марыси, сестры моей, которая в урочное время сделалась матерью. Мог ли шляхтич польский не оскорбиться таковою непристойностию? Он бил челом королю, который по власти своей повелел князю возвратить Марысю в объятия родителя, *если сама она того пожелает*. Хотя сие условие не предвещало верной удачи, но шляхтич польский мог ли в том сомневаться? Он отправился на рыжем коне, служившем еще отцу его, со всею грозою, оказывавшейся на щеках, бровях, глазах и усах. Но самонадеяние немного обмануло его. Сестра моя никак не хотела из дворца переселиться в прежнее обиталище и, быв султаншею, — сделаться простою шляхтянкою. Обыкновенная слабость женщин! Отец мой осерчал прямо по-шляхетски, грозил и, в пылу гнева по данной от бога родителям над детьми власти, запечатлел персты десницы своей на щеке дочери, которая, будучи также шляхтянка, никак не могла снести того равнодушно, величаво плюнула отцу в глаза и удалилась, примолвя: «Благодари бога, старый дурак, что ты отец мой! Не тому быть бы!»

Мог ли польский шляхтич пережить такое посрамление? Конечно, нет! а потому отец мой его и не пережил!

[1] Сие состояние людей в Польше было некогда то же, что в Спарте илоты,— жизнь и смерть была во власти господина.

В скором времени он скончался — и оставил меня полным властелином своего имени и рыжего коня, ибо в сем состояло главное его имущество по разрыве дружбы с князем Кепковским.

По врожденному движению шляхетской души я начал выдумывать способы к отмщению за нанесение бесчестья имени Клоповицких. По довольном размышлении ничего не мог я придумать разумнее, как сестру свою оставить в бесспорном владении князя, а ему отплатить равным за равное. Польский шляхтич всегда на такие дела отважен! Несмотря, что прекрасная вдова княгиня Марианна имела почти открытую связь с русским гусарским полковником, я решился атаковать ее, на сей конец записавшись в дворню княгини. Я ничего не щадил: ни нежных взоров, ни томных вздохов, ни любовных двоесказаний. Успел, наконец! Марианна начала мне отвечать тем же,— я был в восторге.

Чтоб приметнее оказать мне взаимную любовь и нежность, прекрасная вдова иногда срывала с меня шапку и с отменною ласкою хлопала опахалом по бритой голове моей. Также нередко получал изрядные щелчки по носу, и любовь моя час от часу воспламенялась. Однажды чрез княжеского пажа получаю записочку, в которой велено мне в полночь быть в садовой беседке, возле пруда, в котором стоял мраморный купидон. Кто опишет мое восхищение? Почти до самого назначенного времени я чистился, завивал усы, умывался душистыми водами, которые прежде еще достал от торгующей жидовки. Я не мог наглядеться в зеркало, так красив сам себе тогда казался!

Когда на башне замка пробили часы полночь, с сладостным трепетом сердца вступил я в священную беседку, где должен был совершить жертву моей богине и мщению. Месяц светил в окно,— и с помощию его увидел я, что нечто белое шевелится на софе. С величайшею поспешностию срываю, так сказать, с себя жупан и, порываемый любовию, бросаюсь к своей красавице, крепко прижимаю ее к ретивому сердцу и запечатлеваю пламенный поцелуй на губах ее.

С ужасом хотел я отпрянуть, ощутя усы на губах моей богини, но так крепко сжат был железными руками, что едва переводил дух.

— Что за дьявольщина? — раздался голос, не только не женский, но и не польский. Страшный удар кулаком

по лбу сопровождал его. Миллионы звезд заблистали в глазах моих. Не успел опомниться, как получил еще удар, разительнее прежнего, и меня так рванули за левый ус, что он отлетел прочь чуть не с губою. Я покатился на пол и уже перестал считать тумаки и пинки, коими меня награждали за пламенную любовь мою. Они были несчетны. Я не иначе почитал, как что мучит меня домовой, и притом самый свирепый!

Вскоре услышали мы шум, двери отскочили, с страшным хохотом вошли князь Кепковский, нежная сестра его Марианна, моя сестра Марыся и несколько слуг со свечами. Надо мною стоял русский полковник в одной рубашке, который, осмотря всех спокойно, спросил у Марианны:

— Растолкуйте мне, сударыня, что значит явление, которое вы мне доставили?

— Ничего,— отвечала она, продолжая смеяться как безумная,— это одна шутка, чрез которую хотела я испытать вашу верность и мужество! Теперь довольна. Это был один сюрприз!

Сказав сие, она взяла за руку сестру мою и вышла, вероятно из благопристойности, чтоб не видать при всех сокрытых достоинств господина полковника.

— Пан Клоповицкий! — сказал мне молодой князь.— После всего этого вы легко рассудить можете, что в дворце моем нет вам более места! простите!

Мне, правда, нечего было и делать там долее. Вскоре отошел я и определился к графу Понятовскому в качестве его стремянного. По самым побудительным причинам он отправился ко двору российскому, и как скоро должен был возвратиться в Польшу, то оставил меня в С.-Петербурге. Несколько лет ожидал я счастия в сей столице севера, но напрасно. Случайно познакомился с доном Алонзом, который хотел побывать в Польше. Мы согласились и шли покойно, пока не настигли нас господа француз и немец...

— Конец ли? — вскричал француз с нетерпением,— хотя господин Шафскопф начинает уже закрывать светлые очи свои, но это не мешает мне удовольствовать ваше любопытство; а он и всегда может выслушать мою повесть!

— По мне,— отвечал немец,— хоть бы о тебе никогда не слыхать, не только о твоих дурачествах! — Он

разлегся на скамейке, зевнул и захрапел. Все поглядели на него с улыбкою, и француз начал:

— Хотя и не во всем похвалят меня строгие люди,— но я, как должно французу, чистосердечен и все скажу открыто.— Пригожая чернобровка Элоиза была прачкою монастыря святого Дениса. Настоятель оного Абеллард, мужчина сорока лет, почитался чудом красноречия и благочестия. Однако ж как человек был и он не без слабостей. Увидя Элоизу, он вспомнил, что имя его Абеллард, и, читавши древний роман о сих соименных ему славных любовниках, вздумал сделать новый. Он с помощию Элоизы начал сочинять его, и следствием ревностных упражнений в благонамеренном труде сем было мое рождение. Когда достиг я того возраста, в котором начинают понимать разность полов, то отец мой по духу и плоти начал стараться воспитывать меня сколько можно отличнее, с тем чтобы со временем пристроить также к духовному месту. Надобно знать, что он был весьма не убог. Да и кто бывает беден в монастыре? Однако природы не переупрямишь. Чувствуя непреодолимую склонность к прекрасному полу, я старался успеть только в тех знаниях, которыми более можно ему понравиться. Я старался болтать, сколько можно больше и вольнее, играть на некоторых инструментах, петь, танцевать и биться на шпагах. Отец, уверясь, что я до философии и богословия не великий охотник, предоставил меня влечению моих желаний и утешался, довольствуя оные деньгами. Я начал подвиги свои с жен и девок монастырских служителей, и не исполнилось мне двадцати лет, как уже прослыл ужасным строителем рогов на челах отцов и мужей. Они, видно, были от природы очень злы, что на меня осердились за такую малость. Надеясь на силу моего дядюшки, ибо по заведенному порядку так я именовал настоятеля, я ничего не опасался. На свете нет ничего постоянного. Дядюшка скоропостижно скончался, а я медлительно выведен был из монастыря. Я сказал *медлительно* потому, что двое слуг, связав мне веревкою руки, вели насквозь всего монастыря и несколько других безбожников хлестали меня ремнями по спине, плечам и ногам. С таким торжеством выведя за ограду, умножили свои ласковые приемы, так что оставили на улице еле жива.

К счастию, они не вздумали очистить моих карманов, в коих было на первый случай достаточно. Оправясь от побоев и переменя платье, растерзанное мстителями, пу-

стился в Париж и затеял доставать пропитание учением играть и биться на шпагах. Но как я не имел надлежащих рекомендаций, чтобы войти в знатные домы, а в посредственных мало дорожили моими искусствами, то я и принялся преподавать в последних историю, географию и даже поэзию,— словом, все такие науки, коих не разумел нисколько. Дело шло бы успешно, но на беду мою везде почти в домах сих попадались ученые педанты, объявляли хозяевам не весьма с выгодной стороны о моих познаниях, и я бывал прогоняем с нечестием.

Как я в одном доме преподавал урок из географии, и именно о России, то сидевший тут же мужчина средних лет,— английский лорд, как узнал я вскоре,— слушал меня со вниманием и, наконец, спросил:

— Скажите мне, пожалуйста, хорошо ли знаете положение царства Русского? Я слышал, там много диковинок, и намерен туда ехать. В наше время везде и все обыкновенное!

Я. О! там тьма дива! Люди похожи на медведей, и на лицах их видны один нос и уши. Ничего больше неприметно! Язык похож на лай собак, которые там так велики и сильны, что русские ездят на них верхом, а особливо на охоту. Собака отправляет две должности: и везет всадника и ловит зайца или волка, что попадется. Молодые парни до женитьбы и девки до замужества ходят наги и любят валяться в снегу, как в летнее время куры в пыли!

Он. Подлинно вы рассказываете чудеса! Это стоит того, чтоб посмотреть!

Я. Что касается до их нравов, то они еще мудренее. Чем у кого больше обросло лицо волосами, тот у них почтеннее. По длине бород выбирают в должности. Посудите, какова должна быть метла у великого канцлера!

Он. Что-то непонятно! не лжешь ли?

Я. Сохрани боже! Поэтому вы также не поверите, что в России мужья имеют право бить, увечить и даже и бог знает что делать с своими женами, и ненаказанно?

Он. О! последний обычай прекрасен! Его надлежало бы ввести в употребление в целом мире!

Я. Главные увеселения их в доме — пьянствовать; меж тем жены сидят взаперти за замками!

Он. Весьма хорошо! Это сходно с английским вкусом!

Я. Публичные увеселения таковы: они собираются на площадь или в поле, становятся в два ряда по равному

числу и вызывают одна сторона другую на кулачный бой.

Он. Далее, далее!

Я. Сперва ратоборство начинается слегка. Кулаки действуют по бокам, брюху и спине. Потом достается голова с ее принадлежностями, то есть глазам, ушам, рылу, носу и зубам. Волосы летят клочьями, зубы свистят в воздухе, и кровь льется ручьями.

Он *(вскочив)*. Браво! надобно видеть эту прекрасную землю, и если вы, господин учитель, не имеете лучшего здесь дела, как портить ребят, то поедемте вместе усовершенствоваться в великой науке биться на кулаках. Теперь лето; дорога будет веселая; издержки мои! да я и слыхал, что люди вашего разбора находили там счастие.

Охотно принял я предложение; мы отправились и в непродолжительном времени прибыли в Петербург и остановились в трактире. На другой день мой лорд, взяв с собою кошелек с своим золотом, пошел со мною осматривать дивности русские. На невской набережной остановился он и смотрел внимательно на всех проходящих. Идущий издали ражий мужичина привел его в радость. Он засучил рукава, и как тот поравнялся с нами, то лорд так плотно треснул его ногою в брюхо, что мужик, совсем не ожидавший такой встречи, растянулся навзничь на земле. Встав, он свирепо взглянул на лорда, подскочил и так звонко стукнул по голове, что англичанин зашатался, и, если б я не поддержал, быть бы и ему на земле. Скоро началась сильная тяжба, сопровождаемая бранью. Уже у мужика разбит был нос до крови, а у лорда подбиты оба глаза; русская шапка и английская шляпа плавали по Неве. Наконец, они сцепились. Долго сгибались, выправлялись, гнулись, и мужик так ловко подцепил лорда под ногу, что сей полетел стремглав наземь. Вставши, принялся за то же и то же получил. В третий раз не был счастливее. Тут, осмотрев бородача с ног до головы, сказал, оборотясь ко мне: «Жаль, что он не англичанин!» — после чего, вынув из кармана несколько золотых монет, подал мужику. Сей, совсем не понимая, что это значило, попятился назад. Лорд, кинув на него золото и сошед по сходу к воде, сказал мне:

— Я видел самую большую редкость! Прощай, монсье! Я еду в Кронштадт, а оттуда прямо в Лондон.

Он сел в катер и отплыл с двумя гребцами. С неопи-

санным изумлением смотрел я вслед ему, и когда скрылся он из виду, я, тяжко вздохнувши, сказал:

— Вот тебе и на! в чужой земле, никого не зная, без денег, без рекомендаций! Ах, проклятый островитянин, что ты со мною сделал!

Нечего описывать вам долго продолжавшейся жизни моей в бедности и горестях. Хотя я и француз, хотя и чадо монастырское, однако мне приходилось плохо, и я часто задумывался, изыскивая способы, как бы поправить свое состояние.

Попеременно бывал я парикмахером, бородобреем, аббатом, трактирным лакеем, лавочником, маркизом, оставившим отечество по несчастным случаям, дрессировщиком собак, наставником в модных пансионах,— везде неудача! Я переменял города и деревни, везде совался и находил везде одно и то же. Или я сам отходил, или меня выгоняли. Наконец, счастливая звезда моя воссияла. В Киеве сделался я подносчиком напитков в немецком клубе.

Прослужа в оном несколько времени, я отличил две женские особы, ибо казалось, что и они меня отличили. Я стал услуживать им особенно, и скоро мы познакомились. Однажды, когда они в особой комнатке забавлялись кушаньем глинтвейна, и у старшей, которую почел я матерью или теткою, нос сделался столько же багров, как теперь у господина Шафскопфа, я подошел к ней и сказал:

— Почтенная дама! Это, конечно, прелестная дочь ваша?

— Нет! Я только служу ключницею и надзирательницею в их доме!

Я. Кто же вы, милая девица?

Она. Луиза Шафскопф.

Я. Какое выразительное, какое гармоническое прозвание! Шафскопф! Клянусь небом и адом, во Франции нет таких прекрасных девиц, с таким приятным именем.

Она. А вы, конечно, француз?

Я. Так, сударыня. Я знатный французский дворянин, но, будучи обнесен врагами у короля, должен был оставить до времени двор и отечество! Какое же звание имеет высокопочтенный родитель ваш?

Она. Колбасник!

Я. О небо! какие звонкие имена! Шафскопф и колбасник! Не здесь ли он?

Она. Здесь: вот там в углу курит табак, пьет пиво и рассуждает о политике!

Я. Какая же значительная физиогномия! Как величественно раздуваются ноздри его! С какою важностию поддерживает он исподницу! Как торжественно с обращением головы оборачивается по сторонам дебелая коса его! Желал бы я, ах, как желал бы познакомиться с таким великим человеком и назвать его другом своим! Праведный боже! какое было бы счастие!

Она. Почему же и не так? Он охотно принимает учеников! Хотя вы и француз...

— Однако ж и не русский! — подхватила надзирательница, взглянув на меня глазами, едва бродящими под слипнувшимися ресницами,—я берусь за то.

Мы расстались, как старые знакомые. Вскоре по внушению доброго моего духа оставил я клуб, явился к Шафскопфу и был принят в число учеников знаменитого его искусства. Он утверждал, что управлять кораблем во время бури или буйным народом во время бунта — гораздо легче, чем с должною нежностию рубить свинину и непременною тонкостию начинять колбасы!

— Не совсем так, приятель,— сказал гость, тут случившийся.— Шить сапоги и башмаки также весьма немаловажное дело!

— И то правда,— отвечал хозяин мой.

В скором времени приметили мы, я и Луиза, что любовь наша не бесплодна. Однако мы укрепились. Дородность бюста ее приписывал отец излишнему употреблению колбас и советовал дочери пользоваться ими с умеренностию. Когда бы то ни было, а мы смекнули, что когда ж нибудь, а дело должно выйти наружу, а потому я подговорил ее, и оба ускакали по дороге к Варшаве, не без запаса, но, разумеется, не в одних колбасах состоящего.

На самой той полянке, где видели вы сражение, настиг я дона Алонза и пана Клоповицкого. Место нам понравилось, и я расположился с ними вместе позавтракать. Луиза принялась было за приготовление, как вдруг настигает Шафскопф и самым сердитым голосом вызывает на поединок. Зная его искусство в сем мастерстве, я охотно склонился и стал в позитуру, как он вспомнил, что второпях не взял с собою никакого оружия, а только

для препровождения времени одну курительную трубку. Мы были в замешательстве, как дон предложил ему шпагу свою, и в то же время пан свою саблю. Оба, начав выхвалять доброту своих оружий, коснулись древности и знатности своих отечеств, а от сего и произошло то жестокое сражение, которого были вы свидетелем и прекратителем...

Когда француз кончил свое повествование, вошли к нам Ликориса с Луизою. Последняя, разбудив отца, объявила, что обед готов и учрежден в огороде под березою. «По правую руку стола,— сказала она с нежностию отцу,— растет прекрасный салат, а по левую молодые огурцы». Шафскопф, прельстясь сим описанием, улыбнулся, потрепал дочь по брюху и вышел. Мы все за ним следовали, даже и Пахом, уместившийся поодаль нас на гряде. Когда все насытились и на щеках Шафскопфа заиграли вновь рубины, он сказал:

— Слушайте внимательнее, я расскажу вам все случаи жизни своей.

Отец мой Иоганн Шафскопф был внук того славного Варфоломея Шафскопфа, который делал такие превкусные колбасы, что один немецкий князь хотел было пожаловать его чином генерал-колбасника; но, наевшись их однажды так плотно, что чуть не треснул, отложил прекрасное сие намерение. Дед мой — также знаменитый колбасник Каспар Шафскопф — по некоторым обстоятельствам, именно, что бабушка моя Шарлотта бежала куда-то с одним трубочистом, оставил отечество и переселился в Россию. Отец мой был также колбасником и отличен в истории тем, что первый основал в Петербурге немецкий клуб. Когда я вырос и сам мог уже аккуратно делать колбасы, отец мой умер, и я сделался настоящим колбасником, а вскоре женился на дочери одного немца, колбасника же. У нас есть теперь взрослый сын, который уже колбасником, и эта дочка, которую прочил я за доброго Фрица, своего подмастерья, и которая вздумала этого негодного француза сделать отцом своего дитяти. Я был бы неутешен, если бы у нас не было сына, который в славной фамилии Шафскопфов сохранит превосходное искусство делать колбасы! — все тут!

Я. Этого не много! Только и слышно: Шафскопф, колбасник, колбасница! вы очень скупы!

Немец. По крайней мере справедлив, как прилично

доброму немцу! Господа эти *(указывая на испанца и поляка)* не столько чистосердечны. Можно ли поверить, чтоб человек мог быть жив, питаясь хотя двое суток хлебом и водою? О небо! Алонзо говорит, что он с отцом своим испытали то в течение целого года! нет, не верю!

Испанец. Гораздо удивительнее, что ваш высокопочтенный дедушка удовольствовался после побега жены своей также побегом в Россию! Испанец никогда не оставил бы того без кровавого отмщения!

Немец. Неужели же ему пойти было в монахи, как сделал отец ваш? но у нас нет монастырей!

Француз. Браво! я готов удариться об заклад, что если бы вы не были колбасником, то, верно, славным юстиц-ратом!

Поляк. Видно, одна моя повесть не подвержена сомнению!

Испанец. Ничуть! я первый не понимаю, как можно человеку, здоровому глазами, при месячной ночи не различить мужчины от женщины и вместо прелестных губ красавицы с нежностию облобызать усатые губы полковника!

Поляк. Я был в восторге, пылал любовным жаром,— так нетрудно обмануться. Но если бы мне целый полк явился ангелов, увещевая путешествовать по свету за то, что поколотил какого-то...

Испанец. Как? Богоугодные дела сравнивать...

Я. Тише, господа, тише! Сколько вы чудесностей ни насказали, но я могу донести вам о таком диве, что вы ахнете; однако ж все будет справедливо. Я очевидец, что один кривой, хромой и безногий человек от трех или четырех ударов по спине вдруг исцелился от всех сих недостатков и бегал быстро, как олень.

Испанец. Это подлинное чудо! Да не католик ли он?

Прочие. Невероятно, кто бы он ни был!

Шафскопф. Что? бегал, как олень? Помилуй бог! И ходить — право, трудное дело; а то бегать!

Нищий. Я докажу, милостивые государи, справедливость слов Гаврилы Симоновича. Подождите меня несколько минут.

Он встал и вышел.

Глава XIV

Кто ж этот нищий?

По выходе Пахома дон Алонзо с жаром защищал мою сторону и доказывал возможность чуда и сего еще чуднейшего; француз явно противоречил, поляк несколько сомневался, а немец, не держась ничьего мнения касательно мгновенного излечения, не понимал, как может человек, благородное творение, бегать, что собственно предоставлено одним животным. Тут в комнату нашу вошел молодой незнакомый человек в черном кафтане. Он был статен и пригож. На лице его носилась тень скрытой печали. Вид и взор показывали в нем благородного человека, недовольного своею участию. Без околичностей сел он с нами рядом и привел в удивление следующими словами: «Милостивые государи! Я был бы очень несправедлив, если б, удостоясь вашей доверенности и выслушав важнейшие происшествия в жизни каждого, стал о себе таиться. Нет! Я сего не сделаю, и тем более что, оказав вам небольшую услугу, надеюсь удостоиться также и с вашей стороны вспоможения».

Испанец. Вы оказали нам услугу? Разве когда-либо нас знали и делали денежные вклады о избавлении душ наших от чистилищного огня?

Поляк. Это неважно для богатого! А разве иногда замолвя словечко, когда страдала честь Ржечи посполитой[1].

Я. Ни то, ни другое! он избавил вас от междоусобной брани!

Все уставили на него глаза с недоверием, но молодой незнакомец объявил, что он сам и есть прежний хромоногий нищий. Тут начались аханья, вопросы, знаки удивления, особливо женщины наши и француз оказывали сильное любопытство знать более, а все обещали помощь, какая только возможна будет.

— Извольте,— сказал он,— я вас удовольствую. Я не могу ни хвалиться своим происхождением, ни стыдиться оного. Отец мой знатный богатый дворянин, наскуча ежедневными ссорами с женою своею, которая, без лести сказать, была истинный дьявол, вздумал развестись. Не-

[1] Род совета в Польше, в котором на большинстве голосов основывались важнейшие решения.

малою к сему причиною было и то, что меньшая дочь ее родилась во время трехгодичного отсутствия его от дому, в которое время родился у него сын от прекрасной Анюты, горничной девушки. Этого сына видите вы перед собою. Когда развод кончился, отец мой предложил руку свою моей матери, но она противу чаяния всего города объявила, что любит в нем человека, а не господина, а потому согласием своим за него выйти не хочет вредить его чести.

Таковое благородное сердце достойно было вознаграждения. Отец мой, отложа мысль о женитьбе, призрел плод любви своей, именно: в московский банк внес на имя Любимова,— так назвали меня,— пятьдесят тысяч рублей. Время юноши шло обыкновенным образом. Мать моя умерла, а вскоре разболелся и отец. Он не хотел обидеть детей прежней жены своей и, разделив им имение, скончался, предоставя довоспитать меня графу Дубинину, лучшему своему приятелю и человеку, им облагодетельствованному, когда еще граф был самый ничего не значущий дворянин.

— Он был человек гордый, надменный, своеобычный! — вскричал я.

— Боже мой! — сказал Любимов.— Вы его знаете?

— Один из приятелей моих имел честь служить у него и за откровенность награжден довольно. Продолжайте!

— Из всего дома, из всего семейства графа Дубинина не нашел я путного человека, кроме одной доброй, невинной чувствительной дочери его Софии. Кто изобразит тот пламень любви, который я к ней почувствовал? Могло ли нежное сердце ее не ответствовать?

Боже мой, каким наслаждались мы благополучием! Но увы! сколь оно было скоротечно! В прекрасные летние ночи, прогуливаясь по тенистым аллеям обширного сада графского, держа один другого в объятиях и при каждом шаге останавливаясь, дабы запечатлеть на губах поцелуй страстный, мы вкушали райские утехи, но ах! — они были для нас пагубны. Софии было осьмнадцать, а мне двадцать лет; итак, могли ли мы быть осторожны в таких случаях? В одну из таковых прогулок она была нежнее обыкновенного, а я пламеннее; и невинность наша улетела.

— Что будем делать? — шептала, вздыхая, София.

— Посмотрим,— отвечал я также со вздохом.

Однако мы, сколько молоды ни были, тщательно скрывали нашу тайну,— и она бы, может быть, осталась тайною навсегда, ибо София клялась ни за кого, кроме меня, не выходить замуж,— но она с ужасом приметила, что лицо ее время от времени делалось бледнее, а тонкий, лилейный стан дороднее. Графиня, или, лучше сказать, ее барская барыня, то приметила и ей объявила, а матери куды входить в такие мелочи?

После сего поднялась в доме суматоха. Призвано пять докторов для освидетельствования болезни, и немец первый, надев очки, придвинулся к лицу больной так близко, что чуть не коснулся его журавлиным своим носом. У нее водяная,—и чтоб не потерять молодой графини, то он сейчас воду выпустит. Тут он с важностию вынул из кармана готовальню, развязал и начал выбирать прямые и кривые ножи.

— Помилуй! — вскричал русский медик,— что ты затеваешь?

София, устрашенная видом инструментов, помертвела, упала на колени и, обратя руки к родителям, вскричала:

— Батюшка! матушка! Пощадите меня. У меня совсем не та болезнь!

— Какая же? Говори!

— Я страстно люблю, страстно любима,— плод любви сей причиною.

Общее молчание. София в обмороке.

Никто не заботился подать несчастной должную помощь. Русский доктор, как человек догадливый, вынул из кармана пузырек со спиртом, подставил под нос Софии, она понемногу опомнилась и зарыдала.

— Батюшка! — сказала она,— любезный мой есть человек достойный! Соедините нас браком,— и мы все счастливы!

— Кто же сие чудовище?

— Если и чудовище, то самое кроткое, самое милое. Это питомец ваш — Любимов!

— Небо! — вскричал граф с яростию и поднял вверх руки.

— А почему же бы и не так? — сказал русский доктор с уверением и дружелюбием.

— Ты не знаешь долгу чести, доктор, и советуешь, чтобы я согласился сыном своим назвать...

— А разве, граф, сообразнее с долгом чести видеть внука своего от всех называемого...

— Да разразит меня гнев божий! прежде нежели доживу до сего состояния, погибнет бесчестная мать и дитя истлеет в ее утробе! Хочу...

Все ахнули. Бедная София вздохнула, и вместо чаемого вторичного обморока, следствия раздраженной чувствительности, отчаяние овладело ею; она встала медленно, с величием — ожесточение сверкало подобно раскаленному углю в глазах ее — она произнесла:

— Карай меня, детоубийца! Ты не чувствовал движений моего сердца, преданного тебе с детскою покорностию, так испытай его ожесточение! Я рождена любить безмерно или столько же ненавидеть. Недостойным называешь ты Любимова руки моей? Не потому ли, что я графиня? Кому обязан весь дом наш своим достоинством, графством, блеском,— как не почтенному благодетелю, отцу его? Что значили ничтожные предки наши, пока из праха не воздвигла нас рука благотворная?

— Довольно,— вскричал граф,— сего недоставало! — Он дал знак — несчастную схватили и повлекли. Вопли ее раздавались по комнатам.

Я ничего не знал о сем и бродил в саду, как доктор подбежал ко мне, коротко обо всем объяснил и после вскричал:

— Беги, несчастный молодой человек! Беги, не заглядывая в дом, если не захочешь испытать посрамления большего, нежели какое потерпели Адам и Ева, изгоняемые пламенным мечом херувима из эдема; хотя, правда, тебя и не херувим и не пламенным мечом изгонит, однако ж изгонит, без милосердия изгонит!

Друг мой! Если б ты был беден, я предложил бы тебе довольно денег, ибо имею их. Но ты сам богат и можешь завтра же поутру взять в счет процентов столько, сколько пожелаешь. Не советую также и долее откладывать, ибо могут заглянуть и туда. Дом мой, правда, изрядный, и ты мог бы иметь хороший покой, но не прошу. Ко мне прежде наведаться могут, чем в банк; а ты знаешь, что докторов тогда уважают графы, когда на них находят phrenitide [1] от излишней надутливости и от непомерной алчности к почестям morbi comitiales [2]. Насилие чего не делает? Тебя так запрячут, что ни сто Роландов не ис-

[1] Сумасбродство.
[2] Падучая болезнь.

хитят из плена. Жалуйся тогда сколько хочешь на несправедливость! Итак, с богом! Вот тебе кошелек с серебром, и сего станет на сутки на пищу и ночлег; а завтра, получа деньги, беги из Москвы, не оглядываясь, и не скоро опять возвращайся!

Он взял меня за руку, вывел из саду и, засмеясь, примолвил:

— Вот каково размножить породу человеческую, не разбирая породы! И подлинно! Как не смотреть незнатному детине, кто та, от которой он желает иметь отрасль самого себя. С длинным ли хвостом платье ее или по колени? Фуро носит или зипун? Голова в алмазах или в бисере? открыта или закрыта грудь? умеет ли играть на арфе или жать пшеницу? Надобно быть разборчиву. Если высокосиятельнейший граф сработает отродие от бедной дворяночки, горничной девушки или дородной крестьянки,— о! дело иное! Дитя сие будет предостойное и со временем по крайней мере полудворянин. Но если бедный, хотя и достойный мужчина, который иногда умом своим, дарованием, трудолюбием доставляет барину своему кресты и звезды, дерзнет возвести взоры любви на дочь его,— о проклятый человек! Как можно ожидать тут чего-либо путного?

Он ушел, оставя меня в крайнем беспокойстве, тоске и грусти непомерной. Мне оставить Софию? В таком положении? Но что делать? Пособить ей совершенно невозможно. Замышлять о том, значит погубить себя и ее жребий сделать еще несноснейшим! Итак, следуя совету добродушного доктора, я запасся деньгами и на третий день далеко был от столицы. Пять лет продолжалось мое странствование по свету, и мучение сердца везде мне сопутствовало. Я был на кровопролитных битвах, в изнурительных походах, терпел голод и холод, проходил снега и болота — и остался жив, ибо неизвестное движение сердца моего говорило мне: «Она жива!»

Влеком будучи сим движением, я оставил службу и возвратился в Москву. Сто раз подходил я к дому графа Дубинина — и сто раз с ужасом уклонялся. Я выдумывал способы, как бы войти в него, и трепетал при одном воображении о тех несчастиях, какие меня ожидали. Но, о могущество любви,— и любви супружней! вопреки всех прав и законов человеческих, я был супругом Софии по правам вседействующия природы.

Сражаясь сам с собою, решился я перелезть чрез

ограду сада и до тех пор караулить, пока не увижу Софии. Я так и сделал, однако не видал ее; в другую ночь также, в третию также, и нетерпение мое достигало предела. Наконец, о небо! В четвертую ночь вижу, что садовая беседка слабо освещена. С трепетом подхожу к окну и — силы небесные! — вижу мою Софию, но в таком положении! Она стояла ко мне спиною, волосы ее были распущены и увиты розами; она глядела в зеркало, белилась и румянилась. «Возможно ли,— сказал я сам себе,— что и моя София обыкновенная женщина? Но, видно, таков устав провидения!» С исступлением отворяю двери беседки, врываюсь, отчего свеча, стоявшая на столе, потухла, падаю к ногам моей любовницы, обнимаю ее колени и восклицаю: «Прелестная! наконец, я тебя вижу!»

Она *(захохотав)*. Что это? откуда такой восторг? Голос ваш совершенно переменился!

Я *(в крайнем изумлении)*. Как? вы смеетесь? после столь долгой разлуки? Боже правосудный!

Она *(отскочив)*. Кто вы?

Я *(встав)*. Как? вы не узнаете Любимова?

Она. Ах, несчастный! и вы дерзнули сюда приблизиться, но любовь великое дело, и я хочу помочь вам. Неужели мой голос в пять лет так переменился? узнайте во мне Дуняшу, горничную девушку Софии! В меня страстно влюблен теперь старый граф, и это место нашего свидания. Он скоро будет сюда, и вы погибли!

— Но где же София? для чего не вижу ее здесь столько ночей?

— Очень легко отвечать! она теперь более нежели за пятьсот верст отсюда, в одной графской деревне, близ Киева со стороны Польши, имени которой не помню. Там заключена она со дня вашего побегу. Ее стерегут три человека, самые преданные графу.

Дом или замок, находящийся в лесу, в полуверсте от деревни, почему вы и ее легко найти можете, считается необитаемым, ибо и пищу привозят в оный не из ближней деревни, а из дальней, и то с великою тайною; а разогревают ее и отопляют покои посредством жаровень. Подите скорее вон, граф не замедлит...

Нечего было мне ожидать более. Я простился с разрумяненною Дуняшею и выскочил на улицу. Нимало не размышляя — отправился искать место заключения Софии и скоро нашел по описанию Дуняши. Но, чтобы преж-

девременно не быть узнану кем-либо из его шпионов, надел на себя платье нищего. О моя София! Сколько страдало сердце мое во все пребывание в сей деревне!

Теперь, господа, прошу вашей помощи! в замке три человека, нас шестеро. Неужели не управимся? Пусть поощряет их к храбрости страх наказания, нас — любовь и честь!

Все мы охотно приняли предложение. Правда, немец и испанец немного противились. Первый — от лени, другой — от движений совести. Однако скоро все согласились помогать влюбленному, с тем чтобы всеми мерами избегать кровопролития.

Та же ночь назначена для чрезвычайных происшествий.

Часть пятая



Глава I

Полуночники

Остаток достопамятного дня того прошел в приготовлениях к ночному кровопролитию. Всякий из нас запасся оружием, и около полуночи все отправились в поход. Пан Клоповицкий шагал впереди, одною рукою держась за эфес своей сабли, а другою закручивая усы. «Сохрани бог,— говорил он,— если враги наши вздумают сопротивляться. Я умею укрощать непокорных и ни одного уха в целости не оставлю, а носам и подавно достанется!» За ним шел дон Алонзо, повеся голову и тяжко воздыхая. Так следовали мы, а позади всех Шафскопф, задыхаясь от усталости. Не доходя саженей двухсот до господского дома, поляк остановился, пристально поглядел вдоль леса и, быстро подбежавши к нам, сказал вполголоса: «Господа кавалеры! Я вижу тьму людей! Ух! ночная пора! место лесное: не лучше ли отложить битву до другого времени?» Мы пялили глаза, но ничего не видали и советовали поляку поукрепить свою храбрость. Вдруг на крыше дома раздался голос завывающего филина. Алонзо остановился с трепетом, перекрестился и сказал: «Ах! дурной знак! Филин птица зловещавая!» С не меньшим трудом ободрили мы и испанца, как прежде поляка, и разговоры наши продолжались до самого прихода к ограде замка. Тут поляк, прошедший уже за угол оной, опрометью бросился назад, возопив: «Ай, ай!» Следом за ним показались оттуда же прежний человек с лысиною и при нем другой помоложе. Увидя нас, они остановились; поглядели друг на друга, и человек с лысиною спросил: «Господа, что вы за люди?»

Любимов. Мы также имеем охоту знать, вы что за люди!

Немец. Мы все честные люди, хотя и не все немцы!

Испанец. Мы истинные христиане, рабы божии.

Я. Мне известно, что вы принадлежите этому дому. Путешествуя по сей стране, мы просим пустить нас к себе переночевать.

Человек с лысиною. Крайне жалею, что должен отказать таким достойным людям. В доме сем поселился злой дух и делает незнакомым великие пакости.

Сказав сие, он пошел мимо нас скоро, и, как сравнялся с Шафскопфом, сей бросился на него сзади, ухватился за шею и повис всем телом. Незнакомец не выдержал такой тяжести, и они оба покатились на землю. Поляк и испанец бросились на лежащего врага и его схватили; а немец, севши на траве, обнял брюхо свое обеими руками и, отведя дух, произнес: «Победа!» Любимов и я также не теряли времени, мы легко положили другого супостата и по приказанию Любимова им обоим связали руки и ноги и поволокли к ограде.

— Где ключи?— спросил Любимов.

— Пустите душу на покаяние,— отвечал человек с лысиною.— Ключи от ворот у меня в кармане.

— Много ли еще мужчин в замке?

— Двое!

— А женщин?

— Ни одной!

— Лжешь! Если хочешь быть жив, то сказывай правду!

Тут Алонзо, чтобы также быть не без дела, принялся увещевать узника не скрывать истины, «ибо,— говорил он,— лживые люди не наследуют царствия небесного, а прямо пойдут в огнь вечный».

Человек с лысиною, страшившись потерять ли жизнь или быть в огне вечном, открыл, что София жива, так, как и дочь ее, рожденная в этом замке. Сего было и довольно. Мы оставили пленников под стражею Алонза, который и начал с важностию около их расхаживать с обнаженною шпагою, а сами полетели к воротам замка, отперли, взошли скромно на двор, отворили двери и при помощи наших потаенных фонарей пошли узким коридором. У первых дверей мы постучались и, когда они отворены были, увидели мы старика и с ним молодого человека, которые, приметя нас, бросились назад. Мы их также пленили и принудили вести в покои Софьины. Они пытались было отнекиваться, но Клоповицкий, видя, что бояться нечего, страшно взмахнул саблею и грозил пре-

дать казни того, кто будет противиться. Что будешь делать? Нас повели в верхний этаж, и в скором времени Любимов упал в объятия Софии. Какое изумление, какой восторг! София была прекрасная женщина с греческим лицом, росту большого и стройного стана. Она подала со слезами на глазах дочь свою на руки своему другу, и сей не мог нарадоваться плодом пламенной любви своей. Когда первые упоения радости несколько прошли, София спросила:

— Каким счастливым случаем я тебя вижу и кто такие твои спутники? Неужели отец мой смягчился?

— Нет,— прервал речь ее Любимов,— отец твой жесток по-прежнему и потому недостоин иметь такой дочери, как моя бесценная София. Случай — один случай и сии друзья, мои сопутники, отворили мне к тебе двери; пойдем не медля. Я отведу тебя в мои местности, и тогда вся сила человеческая не сильна будет исхитить тебя из моих объятий!

София со стыдливостию подала руку своему любезному, другою взяла маленькую дочь, и мы все вышли, запретив крепко нашим проводникам провожать нас далее. Вышед из ограды, увидели мы, что дон Алонзо недреманно бодрствовал и на досуге говорил своим пленным: «Возверзите печаль свою на господа, и той вас пропитает!» Мы освободили их, и они печально побрели в замок.

Пришед на общую нашу квартиру, Шафскопф сейчас велел Луизе изготовить пить и есть. За ужином все довольно хохотали над рыцарскими поступками Шафскопфа, когда он ратовал с лысым человеком. Он улыбался и, говоря: «Я настоящий немец!» — продолжал есть и пить за всех. После ужина дамы наши, то есть Ликориса, Луиза и София с дочерью, расположились спать в одной комнате. Тщетно француз доказывал, что ему покойнее будет спать подле своей Луизы. Шафскопф погрозил ему лопаткою телятины, и наш влюбленный должен был уняться, хотя и Луиза наморщила брови и, сказав отцу: «Как вы хладнокровны! оттого-то бабушка ваша и бежала с бароном»,— отошла с сердцем. Отец пустил ей в спину свою лопатку и принялся за пиво; вечер тем и кончился.

На другой день поутру обвенчался Любимов на своей Софии,— тогда нетрудно было это сделать. Лица их блистали удовольствием. Оно было чисто и невинно. Мы все присутствовали на сей свадьбе. Любимов и я по-преж-

нему были виртуозами, а француз с Луизою вальсировали, хотя ей и мешала немного дородность. Ликориса пропела несколько арий, и мне неприятны были похвалы, ей деланные. К вечеру подоспела коляска Любимова, прежде оставленная им в ближней деревне, и когда мы собирались прощаться, он отвел меня на сторону и сказал: «Любезный друг! вы много участвовали в доставлении мне счастия. Я достаточен, а вы нет. Примите верный залог всегдашней дружбы и благодарности. Вы тем умножите настоящее мое удовольствие». С сим словом он всунул мне в руку большой кошелек золота, обнял, сел с Софиею и дочерью в коляску и уехал. На другой день и мы все расположили свое расставанье. Испанец и поляк пошли пробиться в глубь Польши на поклон к католическим угодникам; Шафскопф с дочерью и нареченным зятем поскакали в место жительства, а я с Ликорисою направили шествие к Варшаве с смиренною тройкою Никиты, куда и прибыли в непродолжительном времени без всякого особенного приключения. Я решился Ликорису выдавать своею женою.

По прибытии в знаменитую столицу Польского королевства наняли мы маленькую комнату и взяли кухарку, ибо мне не хотелось, чтобы Ликориса портила черною работою свои нежные ручки. Как я описываю только то, что до меня сколько-нибудь касалось, то описание храмов, площадей, улиц и проч. не входит в план моего повествования. Отдохнув несколько дней после дороги, я проведал о жилище князя Латрона и намерился отдать ему поклон в первый праздничный день, который и наступил скоро. Сколько суетились мы с Ликорисою о моем облачении. Сколько споров о вкусе! Сколько перемен в мыслях; однако к надлежащему времени кое-как согласились; и я с трепещущим сердцем, с смущенными мыслями отправился ко двору его светлости. Я с намерением сказал *ко двору,* потому что домы знатных польских вельмож достойно можно назвать дворцами.

Глава II

Передняя вельможи

Передняя зала князя Латрона наполнена была людьми разного звания. Тут видны были мундиры и кафтаны разных цветов и покроев, одни из посетителей отличались дорогими убранствами, другие, напротив, смиренно стояли

в засаленных лохмотьях, а все имели лица людей при силуамской купели, когда ожидают возмущения ангелом воды. Особливо отличал я одного небольшого пожилого человека, которого кафтан и волосы были в пуху, однако он с самыми звездоносцами обходился очень вольно и даже надменно. Таковое примечание родило во мне охоту узнать о сей особе, и я спросил о том у близстоящего человека, который с тяжким вздохом произнес:

— Ах! как это вы не знаете господина Гадинского, секретаря его светлости? об нем известна целая Польша.

Тут подошел ко мне Гадинский и спросил, смотря на сторону:

— Тебе, друг мой, что надобно?

— Мне,— отвечал я с некоторым напыщением,— мне надобно видеться с его светлостию!

— Недосуг! здесь есть люди именитые; надобно прежде их допустить!

— По крайней мере допустите меня к сестре моей Фионе.

— Как,— вскричал он с крайним восторгом,— вы брат сей достойной особы? Честь имею поздравить! дозвольте обнять себя! Сейчас, сию минуту доложено будет.

Мы обнялись, и он бросился в кабинет княжеский. Скоро меня ввели; князь, осмотрев с ног до головы, сказал ласково:

— Я надеюсь, что ты останешься мною довольным. Порядочно ли знаешь польский язык?

— Надеюсь, что достаточно!

— Хорошо! Мне нужна одна расторопность и верность. Жить будешь в моем доме. Должность твоя будет самая нетрудная, именно: держать верный список людей, посещающих мои покои. Не пропустить без внимания ни одного значительного взора, не только слова; и каждое утро подавать мне о том на бумаге; разумеется, что все сие должно быть для каждого тайною. Секретарь! покажи ему квартиру!

Изгибаясь под девяностым градусом, оставил я кабинет его светлости и пробрался в покои Феклуши, где также в передней стояли почтенные на поклоне женщины. Она бросилась ко мне на шею, вскричав:

— Ах! ты ли, полно, любезный брат?

— Благодарю покорно, дражайшая сестрица, что ты по обещанию своему постаралась душою и телом. Его светлость дал мне прекрасное место по службе!

— Что? не помощником ли секретаря?

— Более!

— Ахти, уже не секретарем ли?

— И того более!

— Ума не приложу! То-то хорошо, что меня послушался и сюда приехал. Ну да чем же ты сделан?

— Швейцаром в передней его светлости!

Она подняла такой хохот, что чуть не треснула.

— Друг мой,— промолвила она,— тебе надобно знать князя Латрона, и я опишу его весьма сходно, ты можешь поверить, что я знаю его основательно. Он любочестив до крайности, соперников терпеть не может; жалует людей покорных и услужливых. Не противоречь ему, прийми с должною благодарностию исполнение должности, на тебя возложенной. Потерпи немного, и ты уверишься в истине слов моих; ты еще не знаешь здешних придворных людей; а они особливого рода создания. У них без уловки ничего не выторгуешь. Надобно иметь смету, то есть ползай пред тем, который имеет возможность парить, ибо парящие птицы имеют вострые когти. Молчи о том, что видишь в них постыдного. Какая тебе надобность, что лягушка будет дуться; похвали ее! Если сильный дурак скажет острое словцо, хотя наизусть выученное из какой-нибудь книги,— удивись, остолбеней или даже притворись падающим от поражения в обморок,— а после возопи, что такого мудреца нет другого на свете!

Так рассуждала красноглаголивая супруга моя, и я несколько утешился; но Ликориса, услыша обо всем, весьма изумлялась. Куда девались пышные наши затеи о будущем счастии? Я боялся отказаться от предложения князя Латрона; кое-как успокоил Ликорису и переселился в дом княжеский занять место привратника.

Несколько дней исправлял должность свою с возможным рачением. Строго смотрел в лицо каждому и вел исправное описание поступкам. На другое утро подал я свое сочинение князю, где, между прочим, стояло следующее: «Прежде всех явился полковник Трудовский, ни с кем не хотел сказать ни слова; однако ж вздыхал громко. Потом прибыл камергер А—ский и такой поднял шум, что в третьей комнате слышно было. Он гневался, что ему не дают пенсий.—И проч. и проч.».

Князь похвалил меня сими словами: «Продолжай, друг мой. Ты теперь сделал глупые замечания, но после будешь умнее!»

Мне почти и не удавалось видеться с Ликорисою (которой взять к себе я не смел), разве как на минуту. Она скучала, а я мучился. Но помня наставление многоопытной моей княгини Феклы Сидоровны, решился и сам испытать, что может сделать терпение; а потому, несмотря на просьбы Ликорисы, весьма усердно продолжал свои испытания. Кажется, это заметили, ибо когда я появился, то все большие и малые, мирские и духовные давали мне дорогу и с завистию на меня поглядывали. Сам секретарь Гадинский кланялся мне ниже, нежели седому полковнику, которого видал я в передней каждое утро. Он испрашивал себе пенсиона. Но как был того недостоин, то есть беден, то по силе всех прав ничего и не получал. Очень ясно сказано:

«Имущему дано будет; и преизбудет; а у неимущего и то, еже мнится ему имети, отъято будет».

Как бы то ни было, наружность старого полковника показалась мне жалостною. Он стоял, сложа крестообразно руки; кланялся униженно г-ну Гадинскому, но сей, казалось, и не примечал его. Старец вздыхал и возводил к небу слезящие очи свои.

Хотя я записан в число придворных, хотя несколько раз бывал обманут лживою наружностию и потому в первые минуты горячности клялся оставить пути добродетели, столько для меня невыгодной, однако врожденное чувство человечества и совести вопияло во мне: «Помоги, буде можешь!» В один день, возвращаясь из кабинета его светлости, я подошел к моему старику и, дав ему знак идти за мною, привел в свою опочивальню и начал следующий разговор:

— Милостивый государь! Вы, конечно, простите мне, что я взял смелость, будучи человек нечиновный, поговорить с вами. Я сам бывал несчастлив, а потому имею непреоборимую охоту помогать другим, если нахожу способы. Наружный вид доказывает, что вы недовольны своею участию. Объяснитесь откровенно: вы видите пред собою человека, который не бывал еще привратником и которого жизнь исполнена прихотей счастия. Скажите, в чем имеете вы нужду.

Он *(утирая слезы)*. Целые три года каждое утро стоял я в передней князя Латрона, и до сих пор вы — первый человек, который сказал мне ласковое слово. Последний поваренок его светлости тщеславится сказать грубость бедному полковнику, который ищет милости у

их господина! Вы спрашиваете, в чем я имею нужду? Откровенно говорю: в куске хлеба!

Я. С вашим званием? Удивительно!

Он. Я не ропщу на ваше удивление, но так же искренно скажу, что не карты, не вины и не женщины лишили меня пропитания. Вы кажетесь мне добродушным человеком, но жаль, что вы сами, как приметно, бессильны.

Я *(приосанясь)*. Надейтесь на бога! я имею приятелей, которые близки к его светлости!

Он *(отступая)*. Вы? и вы в такой должности.

Я. Не мешает! иногда надобно пройти самое тинистое болото, чтобы достигнуть прекрасного луга.

Он. Вы опытнее ваших лет!

Я. Несчастие — превосходный учитель! Но скажите мне, до какой степени вы бедны?

Он. До такой, что если и сегодни так же не поверят в долг, как вчера, то я, старая жена моя, несчастная дочь и дряхлый служитель мой к завтрашнему утру кончим от голоду несчастную жизнь свою.

Я *(истинно тронутый)*. Милосердый боже! Возможно ли с сим семейством не иметь никакой надежды? Милостивый государь! Душевно прошу вас не гневаться. Облагодетельствуйте меня принятием малой помощи!

С сим словом бросился я к чемодану, выхватил маленький кошелек, ибо главная сумма была у Ликорисы, подав его полковнику, который несколько времени стоял без движения, потом, залившись слезами, принимая предлагаемую помощь, сказал, указывая на небо: «Он, отец правосудный, воздаст вам; а я не в силах».— «Погодите,— сказал я,— узнав короче существо дела, я не упущу приложить всего старания помочь вам более!» Он ушел, осыпая меня благословениями.

Первое дело мое было броситься к Феклуше. Красноречиво описал ей положение бедного, но достойного семейства и просил ее ходатайства. Хотя бы я и не такой великий был красноречивец, то и одно простое описание бедности могло смягчить душу, которая некогда страдала в подобном состоянии. Феклуша клялась употребить вторично все силы души и тела, чтобы помочь полковнику Трудовскому и тем сколько-нибудь прикрыть пред взором божиим пятна небезгрешной жизни своей. Она просила на сие три дни, и я охотно согласился, предполагая,

что время сие ничего не значит в сравнении с тем, которое потерял он, простояв по пустякам в передней.

В условленное время явился я к моей покровительнице,— она встретила меня ласково и с веселым видом сказала:

— Не правда ли, Гаврило Симонович, что красота и искусство более значит, чем ум и заслуги? В три дни успела я в том, чего не мог достигнуть заслуженный человек в целые три года.

— Но каким образом,— вскричал я с восторгом,— скажи, моя радость! Или в самом деле ты владеешь волшебным поясом и заслуги без пронырства и случая сами по себе не имеют здесь никакой силы и не получают должной награды?

— Едва ли не так,— отвечала она,— но сядь и выслушай!

Тут объявила она мне следующее:

— Первый день после твоего предстательства за господина Трудовского употребила я на возможнейшее украшение искусством природных моих прелестей. Когда явился ко мне его светлость,— был от удивления вне себя. Я показалась ему нимфою или богинею. Я дышала негою, любовию, и князь растаял. Среди упоения и радости он сказал мне: «Ты давно ничего у меня не просила. Говори, что тебе надобно?» — «Ах, ваша светлость,— отвечала я с тяжким вздохом,— если бы я смела».— «Ничего,— возразил он,— объяснись! Небойсь какое-нибудь ожерелье, браслет, шаль и тому подобные мелочи?» — «Нет,— сказала я.— Мне не надобно теперь ничего такого. Я все имею от великодушия вашего, а если хотите меня осчастливить, то постарайтесь о пенсионе для моего дяди с матерней стороны — полковника Трудовского!»

Он удивился. «Как? Трудовский твой дядя? и ты до сих пор ничего мне об нем не напоминала?» — «Я не смела! Он, как видно, у вас в немилости, потому что три года тщетно стоит в вашей передней!» — «Правда,— прервал князь,— мне обнесли его весьма дурным человеком, но как скоро он тебе дядя, то и дело кончено. Что нужды мне, хорош ли он или дурен,— довольно, что ты об нем просишь!» Я утопала в слезах благодарности,— разумеется, каковые бывают слезы о человеке, которого отроду не видала.

Князь продолжал: «Но как по некоторым обстоятельствам не хочу я беспокоить принцессу просьбою о Тру-

довском, то в вознаграждение его достоинства, состоящего в близком родстве с тобою, назначу ему пенсион из собственных моих доходов. Сим никто меня упрекнуть не смеет, а между тем постараюсь его пристроить к месту. На первый же случай вот кошелек со ста червонными, отдай его своему дяде». Он вышел. Теперь, любезный друг, поручаю тебе деньги сии отнести к своему клиенту. Ты достоин быть свидетелем благодарной мольбы осчастливленного семейства!

Я не понимал своих чувств. Трогательные ли черты моей благодетельствующей супруги, нежный ли и полный доверенности взор ее, сладкий ли голос, каким произнесла она: «Любезный мой друг!» — не знаю, что из сего было причиною, только сердце мое наполнилось нежностию, и я, упав в ее объятия, запечатлел огненный поцелуй на пылающих губах ее. Она оцепенела. Взоры ее блуждали. Некоторая дикость носилась по всему лицу, грудь волновалась; я испугался и, быстро отступя, спросил с смятением:

— Что сделалось с тобою, моя милая?

— «Милая»! — сказала она и, зарыдав, упала на софу, закрыв лицо руками. Я хотел броситься к ней на помощь, но, услыша в близлежащей комнате мужскую походку, быстро удалился, не желая встретиться с князем Латроном. Я бросился к квартире Трудовского и по немалом искании нашел его.

Глава III

Мутный источник

Вступив в комнату, я нашел, что старик Трудовский сидел в углу и читал акафист ангелу-хранителю. Пожилая женщина, как видно, жена его, штопала ветхое белье, Марья, дочь их, столько же прекрасная, как Ликориса, но более невинная, вышивала в пяльцах шелком и золотом подол для платья какой-то девице, жившей на содержании у одного графа. Как скоро старик меня увидел, вскочил быстро и, вскричав: «Вот он, вот благодетель наш»,— бросился обнимать меня. Колпак свалился с головы его, но он, в восторге того не примечая, бодро попирал его ногами, твердя: «Великодушный человек!» Старая, дряхлая, убитая роком жена его, что видно было из каждого взора и из каждой черты лица ее,— удостоила меня

также объятием и прижатием синих губ к раскрасневшейся щеке моей. Одна стыдливая Мария стояла неподвижно, потупя прекрасные глаза свои в землю. Это был настоящий образ невинности. Феклуша, Ликориса! что ваши прелести, столько украшенные искусством, пред простою природою?

Меня усадили, и я сказал с довольным лицом:

— Милостивый государь! я кое-что успел в это время сделать для вас!

Тут вручил ему кошелек и объявил о намерениях князя в рассуждении пенсиона и места. Старик чуть не сошел с ума! Он плакал, молился и, сто раз переменяя место и положение, громогласно восклицал:

— Ага! жена! дочь! не правду ли я говорил вам, что истинные заслуги и достоинства никогда не останутся без награды! Вы мне не верили, а теперь сами видите!

Он велел принести две бутылки вина, и когда мы на радостях опорожняли оные и на лице Трудовского заиграл малиновый румянец, он приказал еще принести одну и, поставя свой колпак набекрень, спросил меня:

— Скажите, пожалуйте, как это сталось, что старый заслуженный полковник три года таскался по передним, и все напрасно, а вы, будучи не более как (но оставим это)... могли успеть в столь короткое время так много сделать? Объявите мне, пожалуйста, каким сверхъестественным чудом это случилось? О заслуги! о достоинства!

Я. Я сказал вам, что имею приятелей, которые по просьбе моей это сделали. *(Обидчиво.)* Впрочем, вы сами испытали, что заслуги ваши и достоинства три года лежали под спудом и едва ли бы когда-нибудь возникли.

Он. Как? Разве вы не видите сами, что они возникли?

Я. Правда, но не сами собою! Их надобно было поднять, и на то употребил случай, старание и усильные просьбы близких к его светлости людей!

Он. Прошу покорно объявить мне имена тех, дабы я мог по мере их благодеяния достойно возблагодарить!

Я *(величаво)*. Всем обязаны вы родной сестре моей Фионе!

Он *(встав, отступает назад)*. Как? Той самой, которая тщеславится своим бесчестьем, что занимает место наложницы его светлости? И я обязан такой твари?

Я крайне смутился, не зная, что и отвечать на сие приветствие. Жена и дочь его были не в лучшем состоянии; они обращали ко мне и к мужу умолительные взоры, но он был тверд, как дуб столетний.

— Правосудный боже! — воззвал он, скинув колпак и простерши к небу руки и взоры,— правосудный и милосердый боже! Я служил королю и отечеству пятьдесят лет; переносил зной и стужу, голод и жажду — и не роптал; получал тяжкие раны, страдал — и не роптал; когда старость истощила силы мои и я не мог уже продолжать службу мою с пользою для отечества и просил себе куска хлеба, не получал его, бывал голоден по целому дню и по два — и не роптал; видел стенящее семейство мое, страдал в сердце — и не роптал. Теперь услыши, благий господи, первый вопль удрученной горести и мой ропот, я вопрошу тебя: где правосудие твое? Во всю жизнь мою стремился я искать истинной чести, почто же конец дней моих будет опятнан подаяниями наложницы? Разве князьям и любодейцам посвящена была жизнь моя? Великий боже! рассмотри дела мои — и буди правосуден!

Окончив речь свою, и притом с таким взором и таким голосом, от которого пришел я в бесчувствие, он пролил горькие слезы, потом, севши, одною рукою закрыл колпаком глаза свои, а другую, с несчастным кошельком, протянув ко мне, сказал:

— Государь мой! Возьмите сии деньги назад; вручите их сестре своей и скажите, что бедный Трудовский скорее согласится увидеть семейство свое томящееся голодом, скорее умрет от жажды, чем почерпнет хотя малую каплю воды из источника толико мутного. Меня не станет, но все, кто знал меня,— разумеется, добрые люди,— скажут: «Он был очень беден, но честен. Он стоил лучшей участи. Благословенна буди память его!» Это самое лучшее для меня надгробие!

С судорожным движением схватил я кошелек, вырвался из хижины и, не оглядываясь назад, ударился бежать на квартиру Ликорисы, ибо оная была ближе, нежели наш дворец. Мороз драл кожу, колена подгибались, пот лился градом, глаза были неподвижны, губы тряслись. Все встречающиеся отбегали от меня в сторону, как от бешеной собаки. Досада, гнев, злоба волновали грудь мою. Что может быть несноснее, когда, желая оказать услугу, получаешь вместо чаемой награды оскорбительное презрение! Успокоясь несколько, я пошел тише и сам с собою рассуждал: «До коих пор, князь Гаврило Симонович, будешь ты неопытным безумцем? До коих пор хотя несколько не узнаешь сердца человеческого? Разве не мог ты с первых слов Трудовского увидеть в нем человека, хотя, может быть,

и честного, но крайне упрямого и закоренелого в своих правилах? Какой стыд! какое поношение! Однако ж я не смел противоречить. Я не смог произнести ни одного слова! И когда он за сестру так озлился, то что сказал бы он, если бы знал, что мнимая Фиона есть жена моя и я торгую ее прелестями? Он, верно бы, предал меня и ее вечному проклятию,— и, правду сказать, достойно!»

Тут я крепко задумался, но вдруг вспомнил совет Саввы Трифоновича в погребе. Я пробежал слегка слова его, развеселился и радостно вскричал: «Точно так! Поступок Трудовского есть не строгая добродетель, но непростительное упрямство, педантская спесь, грубость непомерная. Если я, жена моя и дети таем голодом и мне подают хлеб,— что нужды мне, кто бы ни подавал его: мужчина, женщина или девица, невинная или преступная, какое мне дело? Мне дают средство утолить голод, и сего довольно. Он говорит о мутном источнике. Без сомнения, неприятно утолять из него жажду, но что же делать, когда нет близко чистого? если искать его, то можно, отошедши от мутного далеко, умереть. Не будет ли это самоубийство? и сей страшный грех утроится еще убийством жены и дитяти. Мутный источник! Этакая важность! Да если бы в свете все люди искали чистых, то, верно бы, две трети, если не три четверти, поколели. Да и почему сам искупитель наш дозволил блуднице умастить миром ноги свои,— сколько Иуда, подобно Трудовскому, ни пенял на то? Мутный источник? Нет, видно, ты еще не очень чувствуешь жажду, а то напьешься и из мутнейшего!»

Порассудив так основательно, я совершенно успокоился и, пришед к Ликорисе, рассказал ей сию чудную повесть. Она, покачав головою, сказала: «Трудовский в сем деле не рассудил хорошенько. Если разбирать все источники строго, то в каждом найдешь сколько-нибудь мутности, хотя временной! Есть ли в мире хотя один источник истинно чистый?» Таковое премудрое замечание Ликорисы еще более утвердило меня во мнении, чтобы только ловить все, что плывет по реке, не разбирая, каков источник оной, велик иль мал, мелок или глубок, узок или широк, розы ли благовонные цветут по берегам его или зловонная трава.

По сему самому, пришедши к моей Феклуше, я с великим рвением рассказал ей об обиде, ей нанесенной, не позабыв раз тысячу упомянуть о *мутном источнике* самым выразительным и протяжным голосом.

Глаза Феклуши сверкали подобно двум раскаленным углям, а я, чтоб еще более поджечь ее, возвысив голос, произнес: «О, если бы я был на твоем месте!» Она задумалась,— я также. После того, нечто вспомня, я сказал:

— Милая Феклуша! Но вить он все же получит назначенное ему и награждение и определенный пенсион.

Феклуша упала при первых словах на грудь мою, как и прежде, так же заплакала и, крепко прижав к себе, слабо произнесла:

— Князь! не называй меня такими именами. Ты раздираешь сердце мое. Было время прелестное, когда я, не стыдясь, любовалась ими; но теперь... теперь... О! сколь достойно я наказуюсь, и тем я несчастнее, что совесть моя говорит упреки,— тут она сильнее прежнего сжала меня в своих объятиях.

Я не знал, что и делать, так смятены были чувства мои настоящим положением и воспоминанием незадолго бывшим сему подобного, как грозный голос: «Что это значит?» — разбудил нас. Мы вздрогнули, вскочили, и оба окаменели, увидя пред собою князя Латрона, блестящего крестами и звездами алмазными. Я не знал, что и делать. Феклуша — о, неподражаемая сила привычки! — Феклуша, потупя глаза, со стыдливым румянцем на щеках, перебирая пальцы, сказала:

— Ваша светлость! я пред вами крайне виновата; я вас обманула!

Я *(про себя)*. Вероломная! погиб я! Это мщение за мщение.

К н я з ь. Что такое, должна быть правда, ибо я люблю ее.

Ф е к л у ш а. Брат мой просил у меня замолвить слово за дядю нашего, полковника Трудовского. Он склонен был к тому мольбами жены его и дочери. Ваша светлость склонились на мое прошение, и его облагодетельствовали. Как не хотелось мне выезжать сегодни из дому, то поручила брату отнести к нему кошелек с деньгами. Но увы! Он нашел его в крайнем бешенстве; услыша, что я просила за него у вашей светлости, он относился обо мне самыми *поносными словами,* упрекая за ту любовь, какую я к вам питаю. Кинув на пол кошелек, попрал его ногами и брату приказал объявить мне, чтобы я береглась его; ибо он охотнее пронзит меня шпагою, чем будет видеть в объятиях жестокого злодея дочь сестры своей. Вот и кошелек.

Князь *(побледнев)*. И червь посмел! Я знаю, что делать.

Он вышел в великом гневе, и того же самого дня к вечеру произошли немалые странности. Я объявлен секретарем его светлости, а Трудовский упрятан бог знает куда. Г-н Гадинский поздравлял меня с таким лицом, как бы один ворон другого, который из когтей его вырвал добычу. Однако я притворился, что верю его ко мне доброхотству.

Однако когда ввечеру мы с Гадинским поразговорились за дружескою трапезою, то я не удержался, чтобы не сделать сего восклицания: «Несчастный старец, бедная жена, жалкая дочь! что с вами теперь будет? Вероятно, вы теперь проливаете горькие слезы за упрямого мужа и отца, что он не согласился пить из мутного источника и вас заставляет умирать! Вы достойно плачете! Зачем желать установлять свои законы, ниспровергая самые древние? Это святотатство! Древние мудрецы говорили: старайся быть таковым, каким казаться хочешь! Хорошо! Но они, зная права человечества и законы природы, отнюдь не говорили: кажись таковым, каким ты и есть! О люди, люди! о мутные источники!»

Глава IV

Боже мой! Что-то из сего будет

Получив достоинство секретаря, я переродился. Многие опыты, когда попадал я в беду, желая сделать доброе дело, меня просветили. Даже и последнее происшествие немало к тому способствовало. Гадинский полюбил меня или по крайней мере так показывал, может быть опасаясь оскорбить многоименитого брата многомощной Фионы.

Как бы то ни было, я очень доволен был собою и его светлостию, который день ото дня становился ко мне благосклоннее, следовательно, все посещающие его переднюю ниже и ниже предо мною изгибались, а я выше и выше распрямлялся. В один вечер, когда я и Гадинский дружески на досуге беседовали за бокалами шампанского, он, засунув руку в карман и растянувшись в креслах, сказал мне с важностию:

— Друг мой! ты видишь, что я тебя люблю, а потому, как ты нов еще в этом посте, а я уже поседел, трýчись

около знати, то могу сделать тебе совет и клянусь, что он будет премудрейший. Изволь слушать: 1-е. Всякого знатного человека, которому ты служишь, считай выше всякого смертного. Если же совесть твоя упряма, то сколько можно поукроти ее. Старайся кланяться ему как можно униженнее, от того спины не переломишь. Всегда превозноси его похвалами, в глаза и заочно, и, буде найдешь случай, уверяй, что ты и во сне грезишь в честь ему. 2-е. Сохрани тебя боже заикнуться, что ты служишь одному отечеству! Пустяки! отечество так же, как и бог, даров своих не посылает к нам непосредственно. Везде надобны доступные ходатаи. 3-е. Выкинь из головы своей старинные слова, которые теперь почитаются обветшалыми и совершенно почти вышли из употребления. Слова сии суть: *добродетель, благотворительность, совесть, кротость* и прочие им подобные. Я думаю, что слова сии скоро совсем выгнаны будут из лексиконов всех языков на свете, да и дельно. Кроме сумы, ничего не наживешь с ними. 4-е. Судя по настоящему твоему положению, ты уже не совсем новичок на свете; я говорю о том, что ты избежал непростительной глупости, которой подвержены иногда и умные люди: то есть ты не поскупился прелестями сестры твоей Фионы. Так, друг мой! жены, сестры, дочери, племянницы иногда выводили из прапорщиков в короли. Как ты думаешь, что был бы я, если бы жена моя по какому-то особенному счастию не удостоилась от его светлости получить несколько особенных приветствий. Что бы сам князь значил, если бы не наша принцесса! Друг мой! кто силен, богат и знатен, весь выпачкайся в грязи, всякий назовет его светлейшим. Да оно так и есть. Посмотри, как иногда князь наш из особого своенравия бредет в дворец пешком в октябре месяце, между тем как великолепная, раззолоченная карета с гайдуками, вершниками и скороходами едет позади его. Не всяк ли почитает за счастие, к кому он кивнет головою и скажет: «А! это вы!» Как скоро ты, Гаврило Симонович, по сему совету поступать станешь, будешь преблагополучный человек; в противном случае пеняй сам на себя.

Сим кончился нравоучительный совет Гадинского; я дал слово следовать благочестивым сим правилам. И подлинно, не понимаю и сам, каким образом я сделался самым бесчувствительным человеком. Спокойно смотрел я в глаза бедной вдовы, предо мною слезящей. Стоны и вздохи меня не трогали. Правда и то, что как скоро я начинал смяг-

чаться, то верный, наблюдательный взор друга моего, Гадинского, подкреплял меня. «Не робей,— говорил он мне часто,— слезы бывают весьма обманчивы. Когда будешь ими трогаться, то придется поплакать и самому». Я слушал глубокомысленные речи сии и становился тверд, как кремень.

Сим-то образом провел я около двух лет у князя, и знатность моя возвысилась. Не буду описывать всех наглостей, несправедливостей, даже беззаконий, какие мы наделали.

Князь слепо слушался наших советов, а мы еще слепее своих прибытков. Кошелек мой весьма пополнился; но я беспрестанно становился жаднее к золоту.

Однако же, следуя нити происшествий, я обязан открыть некоторые из них, имевшие более влияния на судьбу мою.

Можно начать с того, что Фекла Сидоровна не напрасно обещала еще в Москве употребить все способности души и тела, чтоб вывести меня в люди. Ее благодеяния были бесчисленны, да и мог ли его светлость Латрон отказать в чем-либо многоопытной Фионе, когда его сиятельство Чистяков не мог делать того простой деревенской Феклуше? А какая разница! Одно, что несколько казалось мне странным, то я давно уже начал замечать какую-то застенчивость, боязливость и крайнее в ней смущение, когда оказывал ей братские ласки. Она иногда меня отталкивала и в слезах удалялась; а иногда совсем не с сестринским жаром прижимала к груди своей, застыжалась, потупляла глаза и молчала.

Однажды, когда я сидел в своей комнате и выдумывал, какой ход дать делу одного виновного, но богатого и на тот час щедрого плута, отворилась дверь и вошла Феклуша. После первых, ничего не значущих разговоров я объявил ей мои догадки о скрытной ее печали и просил объявить мне ее причину.

— Друг мой,— сказала она со слезами на глазах,— мы давно живем вместе, а до сих пор я не открыла тебе приключений своих с той несчастной эпохи, когда я оставила нашу хижину. Если тебе не в тягость, я их теперь же открою; ибо у меня на сердце лежит страшная гора и чувствую, что умру, если всего не объявлю тебе.

Я легко склонился, надеясь, что не много печалиться буду, слушая о ее неверностях, и она рассказала мне следующее:

— Вспомня прежние обстоятельства, я легко догадаться могу, что начало приключений моих тебе известно, как человеку, знакомому с князем Светлозаровым, первым моим обольстителем. Сей изменник держал меня несколько дней из одного только любопытства, чтобы узнать, каково любятся деревенские женщины. Сей злодей передал меня в руки старому откупщику Перевертову. Если я наскучила первому любовнику, то последний наскучил мне гораздо более; он был наполнен чудными затеями и требовал иногда того, на что и самая бесчестная женщина не охотно согласится. Видя, что я его не слушаю, поручил довоспитывать меня своей любезной купчихе, которая и его превышала в изобретении возможных дурачеств, и сколько я ни была уже испорчена в своем сердце, однако у него мне наскучило, тем более, что в меня влюбился один барчонок лет семнадцати, сын богатого отца, который отправлял его в Москву для окончания наук. Гофмейстер его, родом немец, был у нас посредником, и мы все трое поскакали в столицу.

Прожив в Москве немало времени, я не заметила, чтобы любовник мой начинал охладевать ко мне, и все мои заботы замыкались в том, чтоб исправно уплачивать гофмейстеру половину тех доходов, какие получаю я от своих прелестей. С сим уговором обещал он хранить тайну от родителя моего любезного и поддерживать его любовь ко мне. Надобно знать, что я, приехав в столицу, переменила свое имя и назвалась Фионою. Непостижимая судьба познакомила меня с госпожою Амурёз, француженкою, которая жила недалеко от нас и промышляла самым прибыточным товаром, который и в России не почитается уже контрабандою, именно: она скупала маленьких крестьянских девочек, обучала их разным мастерствам и наукам, музыке, пению, танцеванью, смотря по способностям каждой, и после, когда они достигали девического возраста, поторговав довольно времени их прелестями, продавала в рабство старым богатым сатирам. Как она не имела права так самовластно распоряжаться мною, то в одно время моего у нее гощения сказала следующее: «Любезная девица (она такою меня считала), я знаток в людях, и мне можете в том поверить. Я замечаю в вас великие способности и красоту, недостойную презрения. Чего вы ожидаете от вашего любовника, состоящего под властию строгого отца, который если прослышит о вашей связи, то, божусь, вам не миновать прядильного дома! Одумайтесь, душа моя.

Перейдите жить ко мне. Вы стоите, если немного вас поправить, быть любовницею графа, князя, принца. Я все беру на себя. В год с небольшим я сделаю из вас совершенную богиню и за все убытки от вас ничего не потребую, как только, чтобы вы после того еще год слепо исполняли мои желания, которые и для вас не неприятны будут. Посудите, какую вы по времени блестящую ролю играть будете!»

Не знаю, надежда ли жить пышно и весело или страх от прядильного дома в то же время склонили меня на ее представления. Я скоро к ней переехала к великому отчаянию моего любовника. Он был столько страстен, что не один раз приходил к нашим воротам, выкликал меня и нещадно упрекал в неблагодарности. Однако советы госпожи Амурёз начали мгновенно иметь надо мною свою силу; я смеялась в глаза любовнику, и как он был однажды несколько непочтителен, то я дала ему две пощечины.

Он ушел, предавая меня проклятию, и с тех пор не являлся.

Охота, а может быть и подлинно способности, или вместе то и другое, были причиною, что я в продолжение полутора лет сделалась первою девицею в сем нового рода пансионе. Я пела, играла и танцевала прелестно, по крайней мере в глазах моей хозяйки. Тут наступило время платежа, и признаться, я не находила в нем таких веселостей, какие мне обещаны. Сначала я представляла ролю вестальской девы. Хоть жизнь моя и совсем мне не нравилась, ибо большею частию я должна была служить древним старикам, не совсем еще выбившимся из сил, однако довольно терпеливо ожидала окончания моего искуса, как внезапное происшествие прервало наши подвиги. Один знатный вельможа лет шестидесяти пленился одною из названых сестер моих, которую мадам столько же раз поновляла, как и меня. К несчастию, она была не совсем совершенна в медицине, и боярин наш захворал после любовных опытов. Он взбесился и, пользуясь своею властию, запрятал нашу мадам куда давно бы должно было. Мы разбежались, как овцы без пастуха, когда нападает на них хищный волк. Случайно определилась я на феатр и представляла немаловажные роли, как влюбился в меня князь Латрон. Тебе известно приключение, как я с ним рассталась. Ты поступил, конечно, жестоко, но и справедливо. В дом просвещения ввела меня одна приятельница, кото-

рая хотя там и не присутствовала, потому что не могла уже по летам своим возбуждать в просветителях мира никаких к себе склонностей, а только доставляла им других, к тому способных.

Окончание всего дела тебе небезызвестно. Но чего ты не знаешь, чего не воображаешь и о чем сама я никогда, никогда не думала — ах!

Тут она заикнулась, потупила в землю глаза и совсем замолчала.

— Что же такое, любезная Феклуша, еще с тобою сделалось,— вскричал я, предполагая услышать какую-нибудь необыкновенную любовную повесть.

— Князь,— сказала она, приняв бодрый вид, хотя губы ее дрожали и грудь сильно волновалась.— Ах! как трудно быть женщине в моем положении. Я не думала, что после всего происшедшего со мною и когда уже достигла тех лет, которые должны принести с собою рассудок, подвергнусь опять той страшной, пламенной страсти, которая, не быв удовольствована, с каждым мигом уносит часть бытия моего. Состояние мое тем тягостнее, что я теперь в том возрасте, когда жизненная природа в полной силе своей и могущество ее непобедимо.

Сия речь подлинно показалась мне сначала чудною. «Как можно,— думал я,— чтоб женщина, столько лет проводя распутную жизнь, могла истинно влюбиться?» Но, вспомня жизнь моей Ликорисы, я задумался и после сказал Феклуше:

— Кто ж тот благополучный смертный, к которому ты воспылала столь сильною любовью?

— Князь! — сказала она, более прежнего зардевшись,— хотя мне и совестно, но я должна говорить ясно. Вы тот человек, к которому возвратилась прежняя моя любовь в тройной степени. Что я говорю! Я вас прежде не любила! Случай, соседство, чувственность неопытной молодости сделали меня матерью прежде должного времени. Утратив то, чего уже возвратить не могла, и имея отцом столько несостоятельного человека, каков был князь Сидор, мне оставалось одно из двух: или быть вашею женою, или бродить по миру с дитятем у груди и сумою на спине. Но теперь, великий боже! теперь, когда некоторые приятные знания и искусства украсили мой разум и умягчили чувствования, когда роскошная жизнь среди утех и наслаждения разнежила, так сказать, мое воображение,— теперь кровь моя кипит, и я вся сгораю.

Окончив слова сии, она устремила ко мне пламенные глаза свои и ожидала ответа. Долго был я в настоящем затруднении. Разные движения волновали душу мою и сердце. Положение Феклуши было так прелестно, вздохи так сладострастны, каждое движение так выразительно и полно упоения страсти, что если бы на моем месте был и самый несговорчивый Диоген, то, верно, призадумался бы. Мне представлялись первые дни любви нашей, наслаждения, вкушаемые тогда в объятиях один другого,— словом, я воспламенился, хотел простереть к ней руки и прижать нежную грудь ее к моей груди, как вдруг милая, добрая пламенная Ликориса, давно уже носящая под сердцем залог любви взаимной, представилась моему воображению. Мне казалось в тогдашнем жару, что слышу ее голос: «Любезный мой! Если я и много виновата, если ты и не нашел во мне того, чего искал, по крайней мере, быв уже твоею, я невинна, буду матерью твоего дитяти и никогда не кину его, как то сделала жена твоя!»

Я наполнился бодростию и спросил жестоким голосом, за который да простит меня господь бог:

— Что ж будет из этого, княгиня Фекла Сидоровна?

Она поражена была сильно, но, скоро пришед в себя, сказала так ласково, так тихо, что я закраснелся:

— Друг мой! чего нам искать теперь в большом свете? Имущество мое превосходит даже наши надобности. Ты также не убог. У нас более, чем у всех дворян, соседних с Фалалеевкою, а не только у тамошних князей и старост. Возвратимся на свою родину. Если ты от нерадения моего лишился сына, он может найтись или я могу тебе подарить другого.

Признаюсь, что она способна была обольщать, и если бы не Ликориса,— при сем одном имени я опять одумался и сказал также ласково:

— Милая моя! Представления твои пленительны. Я охотно бы оные принял, но связан уже новыми узами — сердечными.

Она *(крайне встревожилась)*. Как! я не понимаю?

Я. Я считал вас навсегда потерянною и по оному искал соответствия на любовь мою от подруги вашей в доме просвещения — от прекрасной Ликорисы. Успел, и надеюсь быть скоро отцом; а что всего важнее, так верно, сия мать не покинет своего дитяти!

Она *(побледнев, встает)*. Это подлинно новость, какой я в сие время и не ожидала. Если я преступница, в чем и не запираюсь, если я презрела законы благопристойности по крайней мере,— но что говорить более? После того, что мы теперь сказали один другому, собственно щадя самих себя, должны избегать уединенных свиданий. Они будут только терзать сердца наши. Молю вам, не проклинайте памяти моей; я некогда покоилась у сердца вашего и часть его занимала собою; охотно прощаю вам вторую вашу любовь, я заслужила удар сей, и прежние непорядки мои стоят, чтобы правосудный бог наказал меня, когда я думала обратиться на путь истины; но если и святая Мария, толико же прежде виновная, посредством покаяния могла испросить благость его, то зачем и мне отчаиваться? Я рада, что оставляю вас любимцем прелестной девушки. Бог да благословит вас. Да утешит она вас в объятиях своих за те горести, какие вы от меня потерпели. Не думайте, чтоб я стала вредить вам по службе. Да сохранит меня от того ангел-хранитель мой! Если дарует вам небо найти сына нашего, скажите ему, что пример матери его доказывает, как опасно, как гибельно оставлять правила, которые небо хранить повелевает. Дозвольте мне иметь последнюю отраду в жизни, дозвольте упасть к ногам вашим, облобызать прах их и услышать сладкое прощение! Простите! Простите!

Она упала к ногам моим и целовала колени. Всякий легко представит, в каком был я поражении. Я не понимал, что со мною делается. Некоторый священный ужас сжал губы мои. И когда она со стоном и рыданием, не вставая с колен, твердила: «Именем божиим заклинаю,— простите!» — я кое-как мог произнести: «Да простит тебе милосердие божие, как я прощаю!» Тут поднял я ее, прижал, сам рыдая, к своему сердцу и запечатлел на губах ее поцелуй примирения. Быстро вскочила она, закрыла руками глаза и пошла в свои покои. Из другой комнаты слышны были горькие ее всхлипывания; сам я был почти в подобном состоянии и всю ночь продумал о сем странном явлении. Слезы Феклуши, ее униженное положение, ее последние слова не выходили из головы моей. Я упрекал то себя, то ее, то злой рок свой. Иногда приходило мне на мысль, что, несмотря на обещание, она не оставит мстить; а зная могущество князя Латрона, я содрогался. «Боже мой,— сказал я, наконец,— что-то из сего будет? Велика власть господня!» К утру задремал я, решась при первом

случае посоветоваться с Ликорисою. «Женщины в таких случаях сметливее, и если замечу в моем князе какую-либо перемену, то, нимало не думая,— давай бог ноги!»

Глава V

Министерские приемы

На рассвете следующего дня бросился я к Ликорисе; но при самом вступлении в ее спальню сердце мое растерзалось от горести. Она мучилась родами и не могла разрешиться. Старая кухарка, которая уверила мою подругу, что она в таких случаях настоящая питомица Эскулапа, видя трудности родов, вместо оказания какой-либо помощи стояла пред образом и громогласно читала молитвы, прибавляя в конце каждого пункта некоторые бестолковые слова, кои считала она *симпатическими*. Я бросился к страждущей Ликорисе, но всякая помощь была для нее уже недействительна; к удивлению старухи, которая, видя, что ее симпатия не помогает, опустила руки и повесила голову. Тут вдруг с восторгом вскричала она: «Ахти! Вспомнила еще одно симпатическое врачество, которое, верно, уже не обманет». После чего, подняв руки вверх, запела весьма громко: «Ехал фараон по суху, аки по морю». Это было начало симпатического пения. Я сердился и плакал.

— Да хотя бы он, проклятый, по поднебесью летал, пожалуй, уймись!

— Сохрани бог,— отвечала она.— Летают только колдуны и ведьмы, а он, батюшка, был благоверный человек, и притом христианин. Прошу не перебивать.— После сего, разинув уста свои как можно шире, она завыла еще звонче прежнего.

Не помогло и это,— и моей милой, моей нежной, моей бесподобной Ликорисы не стало. Она скоро умерла на руках моих. Пред последним вздохом, прижав руку мою к сердцу, сказала: «Благодарю небо, что я умираю, быв любима тобою! Горько мне, что ты не увидишь плода самой пламенной любви моей! Но так угодно небу! прости навеки!» С сим словом голова ее склонилась на грудь мою, и я... О! как изобразить тогдашние мои чувствования? Я утопал в слезах, походил на сумасбродного, но сколь ни велика была горесть моя, сколько ни страдал я, лишась предмета любимейшего в свете, однако должно при-

знаться, что страдание сие было несравненно меньше, нежели какое чувствовал по лишении Феклуши. Да и всегда думал я, что сноснее потерять жену в огне, в воде, видеть ее убитую громом, задавленную падшим строением, чем знать, что она жива и покоится в объятиях другого. Как бы то ни было, надобно думать о чине погребения. Хотя я был не в таком состоянии, как на похоронах тестя моего, князя Сидора, и в деньгах имел изобилие, но меня затрудняло, как сказать о том его светлости, ибо надобно было взять хотя два дня отлучки. Феклуша, о том услыша, могла получить надежду вторичного нашего соединения, а мне крайне того не хотелось. Но что необходимо, то всегда необходимо. Представ к его светлости, нашел, что он, читая какое-то письмо, крайне был пасмурен, и из взоров оказывалась расстроенность души.

— Что? — спросил он сухо; и я, поклонясь ниже, чем когда-либо, сказал дрожащим голосом:

— Приношу рабскую покорность и сердечное признание, что я скрыл от вас о таком обстоятельстве, которое теперь приняло свое окончание.— Тут по его повелению рассказал я о смерти Ликорисы, которую и тут, как и везде, выдавал женою. Выслушав меня милостиво, князь сказал:

— Ты сам виноват, друг мой, что скрывал о своей жене. Она могла жить с тобою вместе и, может быть, была бы жива, ибо у меня всегда наготове весь медицинский совет. Ты можешь быть уволен на три дня от своей должности для отдания последнего обряда погребения. Впрочем, я советую тебе утешиться, ибо мы оба почти в одинаковом состоянии; возьми сие письмо и прочти.

Взяв из рук его бумагу, с безмерным удивлением читал я следующее:

«*Милостивый государь!* Рано или поздо заблуждения ума и сердца должны исчезнуть. Я оставляю дорогу, по которой до сих пор ходила. Не думайте, что я перехожу к кому-либо из смертных,— нет! и никогда сего не будет! пора перестать быть изменницею! Не надобно, да и невозможно открыть мое убежище.

Фиона».

Я остолбенел, прочитав сии строки; уставил глаза на князя и молчал.

Он также глядел на меня пристально и также молчал. Из взоров сих и всего положения казалось мне, можно было читать: «Чистяков, ты великий плут! как можно, чтоб Фиона предприняла что-нибудь важное, не поговоря о том с братом? Не есть ли смерть жены твоей один только предлог, посредством которого хочешь ты с нею оставить столицу и поделиться братски тем имуществом, которое она нажить успела?»

Предупреждая такие невыгодные мысли о моей честности, как и должно расторопному человеку, я просил его на такой случай позволить нескольким своим служителям и служительницам помочь мне в обряде погребения. Как все в доме не могли не знать лица нареченной моей сестрицы Фионы, то князь, приняв на себя довольный вид, сказал: «Я сам хочу при церемонии присутствовать. Позови моего управителя, я дам нужные к тому приказы, издержки мои».

Исполняя волю его светлости, бросился я к смертному одру незабвенной Ликорисы. Тут мне и на ум не приходило подумать, что сталось с Феклушею, куда делась она? Сколько управитель и жена его ни уговаривали меня быть спокойнее и не мешаться не в свое дело, ибо я совался везде как угорелый, но это было для меня невозможно. Ликорису убрали как настоящую княгиню, и когда проведали, что князь Латрон взял на себя издержки и сам будет, то не знаю, откуда набралось столько попов и монахов, что почти негде было и поместиться, хотя происшествие сие случилось на квартире столько просторнейшей противу прежней, сколь тогда кошелек мой был просторнее прежнего. Князь сдержал свое слово и, осмотря пристально Ликорису, сказал:

— Жаль; она была прекрасная женщина!

— И притом добрая! — произнес я, рыдая горько.

Все кончилось. Ее погребли на кладбище капуцинского монастыря, и князь из особого великодушия, по некотором времени, приказал воздвигнуть монумент и сделать эпитафию. На сей конец нанял он первого отрекомендованного ему русского стихотворца, был доволен стихами, щедро отблагодарил и приказал вырезать. Я любопытен был видеть надгробие моей любезной и прочел сие четырехстишие:

Под камнем сим погребена
Ликориса, прекрасная жена;

Об ней пресильно муж рыдает
И горьки слезы проливает!

Жаль, что благодетель мой был такой худой знаток в поэзии! Я охотно вынул бы доску сию и вставил другую, но опасался негодования князева, могло ли быть то худо, что ему казалось хорошим? Итак, я удовольствовался тем, что, вынув карандаш, написал внизу довольно явственно: «Не скорби, милая, любезная женщина, что на прекрасной гробнице, покрывающей прекрасное тело твое, вырезаны прекрасными буквами самые дурные, нелепые стихи. Ты и в жизни была тиха и немстительна! Вечный покой кроткой душе твоей!»

Едва успел я спрятать карандаш, как показался кто-то и по наружности похожий на немецкого пирожника. Подошедши ко мне, сказал он:

— Здравствуй! Конечно, удивляешься стихам! Правду сказать, и есть чему!

Тут он с довольным видом прочел свое творение; но, дошед до конца и видя рукопись, вскричал:

— Это что? Едва поставили памятник, а уже и поспела похвала стихам! Посмотрим!

Он начал читать громко и протяжно, но потом с каждым словом тише и тише! а в половине похвалы совсем замолчал.

— О богомерзкое писание! — вскричал он конча,— злодейскую руку, начертавшую сие, должно сжечь или по крайней мере отрубить по суставам!

Он вытащил засаленный платок и сердитою рукою начал отирать похвалу себе. Когда он кончил, я присел опять к могиле.

— Что ты хочешь делать, государь мой? — спросил он задорно.

Я. Написать вновь, что ты стер.

Он. Так это была твоя работа, душегубец? Знаешь ли ты, что я в один час напишу тысячу стихов таких, что от каждого из них у тебя волосы дыбом станут?

Я. Очень рад буду, когда прибьешь один экземпляр у ворот дома, в котором живу.

Он. А где ты живешь и кто сам таков, варвар?

Я. Во дворце князя Латрона, я секретарь его и муж здесь почивающей!

Если бы самый сильный удар грома над ним обрушился, он бы так не ужаснулся. Отскочив назад, сдернул

с головы шляпу и замолк. Я оставил его также молча, доволен будучи сим мщением.

Когда по смерти Ликорисы я совсем перебрался во дворец княжеский, то мало-помалу начал оправляться от своей горести и заниматься прежнею должностию. Хотя милостивое расположение моего благодетеля не переменялось, но со дня отбытия Феклуши служители начали не так-то слепо мне повиноваться, а просители не так униженно кланяться.

В один вечер заметил я в доме великую суматоху, и когда спросил о причине, мне отвечал мой камердинер, ибо я и прежде того завел собственных слуг:

— Как, вы не знаете, что в покои сестрицы вашей переезжает мамзель Виктория, первая танцовщица на здешнем феатре?

Тут и он бросился помогать ей управляться. «Проворен же его светлость,— сказал я сам себе.— Не пора ли, князь Гаврило Симонович, и тебе укладывать чемодан свой и за добра ума убираться, пока новый брат, сват или дядя новой богини, отняв у тебя место, не похитил небольшого скарбишка, нажитого от душевных и телесных трудов твоей сестрицы! А невероятно, чтоб красивая мамзель не имела близких родственников, когда и моя княгиня в них не нуждалась!» Когда я так рассуждал и не знал, чем начать, боясь навлечь гнев княжеский, если съеду от него просто, не будучи вытолкан в шею, вошел ко мне старый служитель дома, который более всех радел ко мне, и сказал:

— Милостивый государь, вы теряете самое прекрасное время! Весь двор наш, начиная от Гадинского, теперь на поклоне у мамзели Виктории. Летите туда с поздравлением на новоселье. И сестрица ваша на меня гневалась, что я пренебрег сию учтивость. Но я стар, и лишние милости для меня не нужны.

Прежде бы и я сего не сделал, но, испортясь совершенно в своем нраве, я принял совет старика с радостию, вынул блюдо, положил хлеб и солонку по русскому обычаю и пустился в чертоги Виктории. Там сверх Гадинского со всею челядью увидел я и князя, сидящего на креслах, сложа нога на ногу. Сия неожидаемая встреча привела меня в немалое смятение, и я легко сказал бы довольно глупое приветствие, если бы Гадинский не дал одуматься. Стоя пред Викториею, вытянувшись и левую руку держа у груди и шевеля пальцами, а правою водя направо и налево,

он дрожащим голосом говорил витиеватую проповедь — один за всех; а прочие как факиры бесновались, шаркая взад и вперед ногами и толкая друг друга. Посему я должен был остановиться назади и ожидать конца сей комедии, которая кончилась трагедиею совершенно во вкусе Шекспировом. Виктория была и подлинно прекрасная женщина и гораздо моложе Феклуши. Во время речи Гадинского она забавлялась, дразня двух маленьких обезьян, перед нею прыгавших. Гадинский, отправя ораторскую должность, сделал богине храма такой неумеренный поклон, что толстая коса его опрокинулась со спины на затылок и щелкнула по голове одну из обезьян. Известно, как зверь сей мстителен. Обезьяна ухватилась лапами за косу, и когда секретарь приподнялся, увидел ее и, побледнев, возопил: «Ах!» — другая обезьяна, погнавшись за первою, мигом взлетела на спину и впустила когти в затылок. Когда Гадинский подносил руку, чтобы снять их, они его кусали, равным образом поступали и с лакеями, которые были посмелее и покушались помочь страждущему секретарю.

Князь, улыбаясь, приказывал Виктории снять их, но девка сия не торопилась и, бегая вокруг Гадинского, хохотала так громко, что можно бы из нее сверх танцовщицы сделать добрую певицу. Гадинский, быв укушен местах в десяти, крепко озлился, что так неблагородно поступают с оратором, схватил обезьяну руками за хвост и, стиснув зубы, начал тащить что у него было силы. Обезьяна, не хотя поддаться, уцепилась и лапами и зубами за потылицу, а другая, видя секретарский умысел, начала клочками рвать волосы и кидать в предстоящих. То-то подлинно сражение! Однако Гадинский был неуступчив, как и должно секретарю. Слезы катились у него градом, однако он кряхтел и продолжал тащить. Наконец, собрав все силы, вдруг присел и так рванул, что упрямый зверь отлетел от затылка, имея обе передние лапы и рот полные волос: может быть, и не от злости или мщения, а от одного стремления рук Гадинского обезьяна так звонко треснулась об пол, что страшно закричала. Устрашенная ее подруга также соскочила. Вот кто посмотрел бы, с каким лицом, полным, ужаса, и с каким криком бросилась Виктория на помощь своей визжащей любимице. Можно бы подумать, что они ударились об заклад, у кого звонче голос. Виктория, подняв обезьяну и погладя ее, обратилась к князю и сказала величаво:

— Кто этот невежа и грубиян, что осмелился так дерзко поступить в вашем присутствии, а притом с моею обезьяною?

Между тем как она говорила слова сии, проклятый зверек, свирепо смотревший на своего соперника, утирающего кулаками слезы, подставил к заду лапу, испражнился в нее и швырнул прямо в лицо Гадинского. Тут нечего было ему более делать. Он закрылся обеими руками и ударился бежать, всех толкая. Таковое удальство обезьяны крайне понравилось Виктории, и она улыбнулась. Пользуясь сею минутою, я подошел к ней по-танцмейстерски и, уклоня голову, как настоящий французский петиметр, произнес:

— Милостивая государыня! позвольте мне иметь счастие поздравить вас на новоселье и, следуя старинному русскому обычаю, иметь честь представить вам хлеб и соль!

Тут я постановил принесенное на стол, также искусно поклонился и, отступив, вытянулся, как козырь. Она приятно взглянула на подарок, потом на меня, кивнула головою и спросила князя:

— Это кто у вас?

— Это мой секретарь,— отвечал он,— и человек очень хороший. Господин Чистяков! — продолжал он,— если ты с такою же ревностию будешь и впредь служить мне, то никогда забыт не будешь! — Я раскланялся и вышел, будучи весьма доволен таким щегольским своим поступком. Как Гадинский ничего сего не видал и не слышал, то лукавый подучил меня пойти к нему и похвастать. Пусть же знает он, что я не промах, и, два только года будучи у вельможи, выкинул такую редкую штуку; а он, проведши столько лет, не смекнул того.

Пришед к нему, застал его в крайнем унынии, расхаживающего большими шагами по комнате. Тщетно жена и дочь приступали к нему с вопросами. Он был нем. Наконец, спросил меня томно:

— Были вы на поклоне у мамзели?

— Был,— отвечал я весело,— да того мало; я сделал притом славное дело!

После сего, не дожидаясь от него вызова, начал рассказывать об удальстве своем. Он слушал меня со вниманием, и когда я кончил, он наполнился яростию, схватил себя за уши и произнес, смотря вверх:

— О я, злополучный. О безумная жепа, о несмысленная дочь! Вы знали, куда и зачем иду я! Как не могли вы вспомнить о подарке, когда я сам был такой фаля, что о том не догадался. Хотя дарить на новоселье человека есть собственно обычай русский, но такие обычаи нигде не противны. Скажите, пожалуйте, Гаврило Симонович, каков был князь, когда я от него вышел?

Я не понимаю, что мне вошло в голову пошутить над ним. По крайней мере я не ожидал от того важных следствий.

— Ах! — отвечал я на вопрос его,— лучше бы вы и не спрашивали!

— Что, что такое?

— Князь так рассвирепел, как тигр или крылатый змей. Он заскрипел зубами, начал ногами бить в пол, а руками об стол и потом сказал: «Как? Он дерзнул в моем присутствии схватить за хвост? И кого же еще? Обезьяну! И чью? Праведное небо! Мамзели Виктории! Разве это не то же, что во дворце в присутствии монарха извлечь на противника шпагу. Вот я ему! Вот уж я ему!» — При сем для наведения на него большего ужаса я так искривлял лицо, что чуть не вывихнул себе челюстей, так сердито действовал я!

— Милосердый боже! — сказал он в отчаянии и весь дрожа, после чего грянулся на пол. Мы бросились ему помогать, подняли; но хотя в нем было дыхание, но самое слабое, и он не открывал глаз. Жена вопила жалобно:

— Ах ты, голубчик мой, что ты так пужаешься? Вить я-таки хоть немного знакома князю и не хуже других ему услуживала. А Матрена, дочь моя, чем плохо угощала до сих пор молодого князя Латрона?

Хотя таковые надежды, казалось, были основательны, но Гадинский не приходил в себя, и мы позвали доктора, который, прилежно осмотрев немощного, объявил с приятною улыбкою, что он в параличе и притом без всякой надежды к исцелению. Все горестно вскрикнули, а я задрожал от ужаса. Не желая быть свидетелем плачевного позорища, я пошел домой, не зная, чему более дивиться, своему ли неразумию, трусливости ли моего товарища или бесстыдству жены его, объявляющей причины своей надежды.

Три дня сряду князь, не видя у себя Гадинского, спросил об нем, и я объявил об опасной его болезни.

— На что мне больные? — сказал князь холодно.—

Приготовьте определение об его отставке. Вы одни можете исправлять и его и свою должность.

В тот же день роковое определение подписано, и я, ложась спать, сказал сам себе: «Ну, князь Гаврило Симонович, теперь ты настоящий, полновесный секретарь, смотри ж веди себя умно! Не ударь лицом в грязь и докажи, что ты не напрасно обучался всяким мудростям у Бибариуса. Я уверил бы теперь Савву Трифоновича, что рожден кое к чему важнейшему, чем засмолять бутылки в его погребе!»

В силу такого рассуждения на другой же день принял я на себя самый величавый вид и ходил по приемной комнате, надувши щеки и засунув обе руки в карманы, перебирал в них пальцами, не смотря, хотя бы мне в то время какая знатная дама кланялась в пояс. Если кто меня приветствовал, я, глядя по значительности просителя, отвечал: одному — ваш покорнейший слуга; другому — ваш слуга; третьему кивал головою; а на иного — вытаража глаза, смотрел долго и представлял, будто ничего не вижу. Потом, ударя себе рукою в лоб, поднимал глаза к потолку, стоял, будто что вспоминаю, потом, произнеся второпях: «Ах! какая память!» — как угорелый пробегаю комнату и скрываюсь. Потом, став у дверей, смотрю сквозь замочную скважину и любуюсь, видя, что всех ожидающие взоры обращены вслед за мною.

Так премудро провел я не мало времени; и однажды, правда, был наказан за сию уловку. У дверей обыкновенно становился один капитан, у которого на сражении оторвало ядром ногу. Он был или очень беден, или скуп; а таких качеств люди были не на нашу руку. Он только и отделывался одними старинными поклонами, то есть в самую землю, а что в них проку? Как однажды я стоял у дверей и смотрел на толпу народа, он, почитая, что я где-нибудь далеко, сказал своему соседу: «Я думал, что теперешний секретарь будет попутнее прежнего, ибо он таковым сначала казался, но и он вышел такой же бездельник, если еще не хуже. Тот плут водил меня полгода, а этот мошенник водит уже третий месяц. Если бы я был могущ, хотя на одну минуту, то разделил бы ее на две половины. В первую сказал бы: «Дайте мне верный кусок хлеба, дабы я на старости не стучал деревяшкою по лаковому полу вельможи». Во вторую: «Повесьте мерзавца Чистякова вверх ногами, пусть проклятый околеет голодом!» Слушая сии похвалы, которые и сам почитал нелестными, я невольно застыдился

и отошел от дверей. Немаловажная также ухватка моя была, что, набравши кипу совсем ненужных бумаг, вхожу, бывало, в приемную и заставляю канцелярского служителя нести за собою. Становлюсь у окна, рассматриваю с важностию, приставя к глазам лорнет, хотя я простыми тысячу раз лучше видел, а в лорнет не мог разобрать ни одного слова; а после говорю голосом крайне утомленного человека: «Отнеси, братец, назад в канцелярию. Когда я с князем поеду во дворец, напомни об этих бумагах. Ох уж мне эти просьбы, рассматривая их, голова кружится!»

Такой-то удалец был я. Я ни о чем не хотел и думать. Феклуша и Ликориса давно забыты были; и даже редко вспоминал о своем сыне. Голова беспрестанно набита была министерскими глупостями и выдумыванием новых приемов, как можно казаться важнее.

Один раз, как я был в своей комнате, вошла ко мне — разумеется, с доклада,— жена бывшего моего товарища, с ее дочерью. Тут я представлял лицо совершенно бешеного, что видно будет из нашего разговора.

Она *(низко кланяясь)*. Долгом поставляю уведомить вас, милостивый государь, что в тот самый день, когда сражался с обезьянами, муж мой — волею божию умре.

Я *(захохотав)*. Право? поздравляю, поздравляю, между нами сказано, он хотя был добросовестный муж и не запрещал жене позволенные удовольствия, однако все же муж и мог иногда мешать ей по своенравию,— а вы еще в таких летах и по чести не недостойны внимания.

Она. Но, милостивый государь! он столько служил, что я могу надеяться получить пенсион.

Я *(положа ноги на софу, на которой сидел)*. Дочка ваша прелестна! А сколько ей лет?

Она. Двадцать! Могу ли я получить ответ, милостивый государь?

Я *(грызя ногти)*. Да, разумеется!

Она. Какой же? позвольте спросить!

Я *(упав на спину)*. Ах! Ох! какое колотье в желудке! Не поверите, сударыня, как я часто от него страдаю, не знаете ли вы лекарства? Мне бы хотелось иметь его от вас. Право, как мила дочь ваша! Ах! какие же ручки, какие глазки! Позвольте, сударыня, поцеловать!

Я поцеловал руку у девушки и убежал из комнаты посвистывая. Из сего короткого разговора легко усмотреть можно, до какой степени нравственность моя исказилась и какой стал я молодец. Однако, вбежав в залу, я одумался,

и, представя, что моя глупая шутка сделала ее вдовою, я решился доложить об ней князю на другой день.

Проведя около получаса с ожидающими его возвращения, пришел я в свою комнату, где, к удивлению, застал дочь моей просительницы одну. Она, покраснев, сказала: «Извините, милостивый государь, что матушка по некоторой надобности отлучилась близко отсюда».

Посидев подле нее несколько времени, я не знаю что-то особенное почувствовал на сердце. Заходящее солнце освещало полные, алые щеки моей гостьи. Глаза ее были так выразительны, дыхание так пламенно, что, взяв ее за руку, поцеловал и, не выпуская из своей, сказал:

— Право, вы — прелестная девица!

Она. Губы ваши так пламенны!

Я. Сердце еще пламеннее!

Она. Вы опасный мужчина. Ах!

Я. Дражайшая девица!

Она. Я не верю словам вашим!

Я. Я могу доказать справедливость слов моих.

На что рассказывать о глупостях, какие мы говорили и делали! Когда упоение прошло, новая любовница моя, победа над коей столько же дешево мне стоила, как и всем министерским секретарям над девицами, просящими пенсионов, оправляя косынку на груди, сказала:

— Ах! теперь уже девять часов вечера, а матушка сказала, что если в это время не придет, то уже и не будет, а я шла бы одна. Как мне быть? Я, право, пужлива!

Мне очень понятно было, к чему склонились ее речи, но по многим причинам должен был выпроводить ее из дому, обещая верно помочь им в их нужде.

Нечего много говорить о подобных дурачествах. Довольно припомнить, что сей случай, несмотря на все отвращение князя Латрона к фамилии Гадинского, был поводом, что вдове его и дочери определен достаточный пенсион, в котором, правду сказать, они и нужды не имели.

Глава VI

Самые безделицы

Под вечер полетел я на крыльях любовного восторга на квартиру Гадинского. Я застал одну дочь, которая встретила меня с самою непринужденною приязнию и,

выслушав, что дело их так счастливо окончилось, приносила мне тысячекратную благодарность; но я как учтивый кавалер и счастливый любовник с нежною улыбкою приписал ей честь дела сего. Сидя на малиновой софе, она, правою рукою играя моими бакенбардами,— ибо я, следуя придворному заразительному обычаю, отрастил такие, что более походил на дикого зверя, чем на человека,— а левою охватив меня вполерек и прижавши к груди своей, сказала:

— Ах! Гаврило Симонович! как вы счастливы!

— Без сомнения,— отвечал я,— ибо сижу с такою милою, такою бесценною девушкою!

— Я совсем не то хотела сказать вам,— подхватила она, закрасневшись и приложив щеку свою к щеке моей,— я говорю о том счастии, что вы в столь короткое время достигли такой высокой степени. Без вашего содействия мы тщетно бы искали помощи у неблагодарного князя Латрона. Вы были свидетелем, как сначала он принял матушку, которая некогда...

Тут пришло мне на мысль, чем сама Матрена была некогда, а потому спросил я:

— Скажите, пожалуйте, любезная моя, как вы, будучи некогда в дружеских сношениях с молодым князем Латроном, призрели прибегнуть к нему с вашею просьбою, а обратились ко мне, забыв, что он сын того вельможи, у которого я служу секретарем.

Матрена покрылась багровым румянцем, и из глаз ее блистало пламя негодования и злобы.

— Он злодей, он чудовище,— отвечала она вспыльчиво,— а как вы говорите со мною чистосердечно, то я не хочу быть неблагодарною и поступлю с вами так же. Вам известен был нрав моего покойного батюшки, и правила его также были открыты. Молодой князь Латрон, клянусь, был не более, как третий знатный господин, которого батюшка ввел в мою спальню. Более года поступала я как послушная дочь. Во все это время, поверьте моей чистой совести,— по повелению родителей я должна была принимать десять камергеров, двенадцать камер-юнкеров, четырех тафельдекеров, одного пивовара, англичанина и двух истопников, которых,— правду сказать,— я тихонько от них принимала, ибо, кроме молодости и красоты, они ничего не имели. Итак, судите, мог ли молодой князь справедливо гневаться и называть меня неверною? Посмотрел бы он на старшую свою сестрицу, на свою матушку; но что

говорить много? Он совершенно распрощался со мною за неделю до смерти батюшкиной. Вечный покой ему и царство небесное! То-то был настоящий отец, каких мало на свете! Что делать! Все развратились, бросились в какие-то нравоучения, умствования! а что в них пользы?

— Далее, любезная Матрена, далее,— вскричал я, будучи поражен рассказами своей любезной. Никогда не воображал я, чтоб девушка могла дойти до такой степени беспристрастия. Я, придворный человек, удивился сему,— что ж скажут уездные господа, особливо наши русские. Они, верно, назвали бы ее тою девою, от которой имеет родиться антихрист!

Матрена скромно продолжала:

— Сколько я ни старалась уговорить матушку, чтобы она не посылала меня к молодому князю просить помощи по смерти моего отца,— тщетно! Она сама меня набелила, нарумянила, опрыскала духами и, словом, нарядила так, что я, вместо осиротевшей дочери, походила на предстоящую к брачному олтарю невесту. Пришед беспрепятственно в спальню князя, ибо он, как видно, не заблагорассудил рассказать служащим своим о нашем разрыве, я пришла в некоторое изумление, нашед там и доктора.

Князь, увидя меня, вскочил, захохотал, подбежал, обнял и, забыв, что мы не одни, сказал,— но что говорить. Я остолбенела. Так поразило меня виденное и слышанное. Однако собрав присутствие духа и призвав на помощь чувство моей невинности, сказала: «Я пришла просить вас, чтоб вы исходатайствовали у вашего батюшки пенсион матушке моей!» — «Что за ходатайство,— вскричал он весело,— я и сам в силах то сделать». Тут он подошел ко мне, дал дюжины полторы пощечин, а после, оборотя к себе спиною, так толкнул коленами куда следует, что я, без сомнения, упала бы, если б не поддержал меня его камердинер, который, ухватя за руки, поволок по лестнице. Нечего было делать, и мы с матушкой рассудили прибегнуть к вам и не раскаиваемся, что после злодея Латрона нашли благодетеля в секретаре отца его.

Тут вновь обняла она меня нежно: объятиями и поцелуями хотела возбудить меня от сна, в котором, казалось, я погружен был. Кровь моя оледенела, и я, представляя положение молодого Латрона, содрогался от ужаса. Она не могла понять тому причины и несколько была мною недовольна. Мы расстались посему с обоюдным неудовольствием.

Впервые после восшествия на блистательную степень секретаря министерского заснул я, размышляя о других знаках отличия, а не о новых видах представлять из себя многомощного человека. Солнце взошло, и багровые лучи его проникли сквозь штофные занавеси окон и моего ложа. Я проснулся, и первое дело было испытать состояние своего здоровья. «Небо!» Я нашел неложные признаки болезни. Волосы стали дыбом. Мороз разлился по всему телу. «О вероломная, о беззаконница! — вскричал я стенящим голосом.— Ты достойна была не дюжины пощечин, но надобно бы умножить седмерицею!» Я так вопил горестно, что камердинер мой вбежал ко мне опрометью в одной рубашке и, почитая, что я подобно всем знатным придворным брежу во сне как наяву, подошед, спросил: «Здоровы ли вы?» — «Сейчас за доктором!» — вскричал я с унынием. Камердинер, видя необыкновенность на лице моем, почел, что я блажу, и потому не торопился; но когда я приказал ему грозно, он пошел и через полчаса явился с доктором. Меж тем как он был в отлучке, я, думая и гадая, рассудил, что стыд в таких случаях есть стыд ложный и для собственного блага надобно и должно отложить его до другого времени; почему, оставя все обиняки, рассказал я пришедшему доктору о своей болезни; но сколько ни крепился, сколько ни приводил на память о храбрых подвигах моих в приемной палате, не мог удержаться, чтобы не сказать, вздохнув: «Мне очень совестно, что, проживши более тридцати пяти лет на свете, я должен лечиться от такой болезни, которая и молодым людям непростительна и всегда означать должна развращенное сердце и попорченный вкус. Прошу покорно приложить ваше попечение, а я, со своей стороны, уверяю, что вы не найдете во мне неблагодарного».

Проговоря сие, чтобы эскулапа более приохотить к труду, я вынул из-под подушки кошелек, отсчитал ему десять червонных и крайне удивлен был, что вместо объявления благодарности он захохотал во все горло и, видя, что я смотрю на него глазами, оказывающими недоумение о сем его поступке, сказал, приняв предлагаемое:

— Милостивый государь! я подлинно прихожу в затруднение, находя в вас некоторое расстройство в лице, которое есть всегда признак состояния души. Ах, боже мой! вы еще не совсем придворный человек! Самых знатнейших домов молодые люди, встретясь один с другим, обнявшись, спрашивают: «Знаешь ли, mon cher, что графи-

ня Милоглазова подарила меня изрядным подарком?» — «Тьфу! — отвечает другой,— от сорокалетней бабы иметь сии украшения, по чести славно! Нет! сударь, я гораздо деликатнее вас! имею то же, только не от матери, а с пригожей дочки, которую, думаю, всякий из вас считал святилищем чистоты и непорочности. Она и подлинно представляет нехудо вестальскую деву!» Так вам ли, милостивый государь,— продолжал доктор,— крушиться о том, что в столь короткое время пребывания вашего при его светлости столько образовались, что можете без зазрения совести спорить о преимуществе в придворной науке с поседевшими ее учениками? Но если осталось у вас несколько страха, свойственного провинциалам, а особливо русским, то я отдаю голову свою в заклад, что менее шести недель вы будете совершенно здоровы. Хотя вы и секретарь могущего вельможи, однако, надеюсь, будете уважать мои предписания. Я же, с своей стороны, хотя и доктор, а что всего важнее — придворный человек, однако, уважая ваши достоинства, для вас немного отступлю от своей привычки и вместо того, чтобы по примеру моих собратий стараться усиливать болезнь, дабы выторговать более, я обещаюсь употребить все приемы знатных медиков, дабы видеть вас в добром здоровье, и в скором времени. Нет ничего досаднее,— продолжал, развеселившись, медик,— как лечить знатных молодых людей. Возьмем в пример княжеского сына. Поутру обыкновенно я приношу к нему нужные лекарства и уговариваю принять хотя третью часть должной пропорции. За завтраком он выпивает не более двух рюмок ликеру и двух стаканов мадеры. После спектакля ужинает обыкновенно у которой-нибудь из французских или итальянских актрис и опять утром принимается за мои лекарства. Может ли тут быть путь? Однако этот молодой человек подает о себе величайшую надежду. В двадцать три года успел он забыть, что значит стыд, совесть и страх божий. Скромность и благопристойность считает он такими ужасными пороками, что всеми мерами от них воздерживается. В доказательство я приведу один случай. Молодой барин наш заприметил, что первая горнишная девушка его матери однажды под вечер частенько заглядывает в караульню во дворце нашем. Сие родило в нем любопытство, и он вознамерился проведать, чем кончатся сии посещения. И подлинно немного за полночь он увидел, что девушка ведет молодого конногвардейца — и куда же? — прямо в спальню княгини! Это показалось весьма

достойно замечания, и ему одному жаль было пользоваться сим прекрасным позорищем, почему он и бросился в спальню сестры своей Лизеты, которая, однако, не хотела пустить его; ибо была в самом трудном положении. Латрон удивился; начал прислушиваться, вскоре отличил тяжкие стоны страдающей, а вслед за тем и крик младенца. «Спасибо, сестрица,— сказал он в замочную скважину,— чем ты подарила нас — кавалером или дамою?» После сего пошел спокойно в свою комнату и долго хохотал с своими служителями над тяжким состоянием сестры и матери. На другой день весь дом узнал о том. Княжна немножко покраснела, княгиня равнодушно улыбнулась, а князь сказал спокойно: «Этот молодой человек проворен; я надеюсь сделать из него со временем достойного человека!»

Тут скромный доктор кончил рассказы о своих наблюдениях. Я поклялся свято исполнять его предписания. Оставшись один, я занялся выдумыванием отмщения и написал следующее грозное послание к преступной Матрене: «Вероломная! непотребная! достойная того, чтобы Латрон вместо полуторы дюжины дал тебе полторы тысячи самых звонких пощечин; знай, пребеззаконная, я сам страдаю!» Отославши сие письмо, я ожидал ответа, а после и жалел уже, предполагая ужас от гнева моего, имеющий поразить несчастную! Но я недолго находился в сем страхе, ибо посланный, возвратясь, донес, что девица Гадинская приказала мне кланяться и сказать, что она отнюдь не верит словам моим; впрочем, если бы они и справедливы были, то пенял бы я на свой пол, от которого и она сделалась источником моей болезни, а притом советует и мне, буде я так мстителен, подарок сей передать первой отдающейся девушке. Не мало подивился я такому крайнему бесстыдству и взял твердое намерение быть впредь не столь отважным в подобных случаях. Будет с меня и одного урока.

Болезненное состояние мое не мешало отправлять своей должности, и князь не нашел во мне никакой перемены.

Умеренность в питье и пище и здоровое сложение тела помогли мне, и я в несколько недель почувствовал себя совершенно здоровым. Благодарность моя доктору была соответственна моей радости. Не могу оставить в молчании, что когда я чувствовал себя нездоровым, то характер мой неприметно смягчался; я терпеливо выслушивал просьбы, отвечал снисходительно и даже сам заметил, что

посетители смотрели на меня хотя с меньшим подобострастием, но зато с большею приязнию и доброхотством. В это заметное время я исходатайствовал и безногому капитану приличное место и порядочное жалованье. Когда он благодарил меня униженно, я в отмщение за прежнюю грубость сказал: «Государь мой! Клянусь, что если бы до сих пор согласно с вашим желанием повесили меня вверх ногами и уморили голодом, то едва ли бы и сами вы не испытали такой же участи». Его беспокойство и смятение были для меня достаточным мщением! Таков-то был я! Но ах! надолго ли? О, как слаб человек, как не согласен сам с собою! Едва доктор объявил, что я совершенно здоров, я забыл опять, что и я человек, рожденный в прахе неизвестности. Я больше прежнего начал надуваться, и каждый день ознаменован был каким-нибудь новым дурачеством, которое тогда считал я предорогою выдумкою. Бешенство мое до такой степени усилилось, что я не хотел поднимать глаз вверх, и когда кто говорил со мною, стоя прямо, то, верно, находил во мне злейшего врага, почему, будучи среднего росту, я терпеть не мог великанов.

Среди таковых подвигов, когда я представлял лицо многомощного человека, настал 10 день мая, память отца моего, князя Симона. Я никогда бы того и не вспомнил, если бы не привело на память одно обстоятельство. Когда я, сидя в кабинете, прохлаждался за шоколатом, впустили ко мне человека, в котором узнал я с первого взгляда того стихотворца, который сочинил надгробие моей Ликорисе. «Что вы?» — спросил я, глядя в чашку, и он подал мне тетрадь бумаги в золотом переплете. По его согбенному хребту и преклонным взорам подумал я, что он просит; а потому, не обращая нималого внимания, сказал: «Оставьте, рассмотрю!» — «Милостивый государь,— сказал стихотворец вполголоса, опустя обе руки к полу, как водится у поляков,— прошу для ангела блаженной памяти родителя вашего осчастливить меня хотя одним взглядом на мое рукописание». Невольное чувство сказало мне: «Взгляни»,— я взял тетрадь — и сколь велика была радость моя и удовольствие! Бумага начинается следующими словами: «Ода милостивому государю, Гавриле Симоновичу Чистякову, в день вечнодостойныя памяти его родителя». Сии немногие слова, которые, хотя были мне очень знакомы, показались новы и прелестны. Я сейчас посадил стихотворца, велел подать ему чашку и просил повнятнее прочесть свою оду. Он начал:

Когда б с небесных ты высот
На мир подлунный оглянулся,
Апостол Симон, ты, Зилот,
Приятственно бы улыбнулся,
Зря[1] Симона другого сын —
По-русски шар поляк шагает,
Все душит, что душить желает,
Самсон как — древний исполин!

Такие прекрасные стихи могли ли не прельстить меня? что выдумать замысловатее? чего тут нет? Честному Симону, отцу моему, были видения и предсказания, что он учинится отцом такого сына, который — боже мой! — каких натворит чудес! Я выставлен был Аполлоном, который подает благодетельную руку к своим любимцам, тащащимся на Геликон. Лучи вокруг меня сияли. От гласа моего музы приходили в восторг и играли сладостные песни.

Одарив щедро стихотворца, я приказал напечатать таковое драгоценное стихотворение. Скоро увидел я, что его читали при дворе, в наших покоях, на перекрестках. Все на меня указывали пальцами. О торжество, о радость!

Глава VII

Невинность! Где ты?

До сих пор, как всякий видеть может, достойный сын князя Симона Чистякова наделал тысячу дерзостей, несправедливостей, дурачеств, по крайней мере совесть не обвиняла его в подлинном злодействе. Правда, поступок с старым Трудовским походил на то, но я по особенной скромности и благочестию не хотел чужих дел себе приписывать и честь такового поступка смиренно относил к памяти достойной моей супруги и его светлости. Но следующее вскоре затем происшествие собственно можно приписать всеобъемлющему моему воображению, и да простит мне его милосердый бог, как простил обиженный.

Однажды, вошед в кабинет князев, я застал его довольно пасмурным. «Друг мой,— сказал он, взглянув на меня томно.— Я хочу сделать тебе доверенность, какой ни к кому не имею, ни к родному сыну. Вверю тебе тайну, от которой зависит спокойствие души моей. Выслушай! Хотя я вознесен превыше всех вознесенных, хотя, кажется, по-

[1] Подразумевай, как Licentia poetica.

добно колоссу стою твердо на своем подножии, но есть землетрясения, от коих и самые колоссы низвергаются. Я уподобляюсь балансеру, держащемуся на высоконатянутой веревке. Одно неосторожное движение,— и он летит вверх ногами. Небезызвестна тебе связь моя с принцессою, которая правит здесь королевством почти неограниченно. Она женщина, следовательно, не столько из любви, сколько из тщеславия, ветрености, прихотей хотела видеть меня в этом сане, дабы могла сказать целой Европе: «Рекла, и бысть!» Она смотрит сквозь пальцы на частые мои неверности, равно как поступаю и я относительно к ней. Я отдаю на ее волю покойно наслаждаться чувственною любовию, стараясь только по внушению тонкого благоразумия удалять ее от любви сердечной. Доселе все шло весьма удачно; но недавно, как известно и тебе, приехал из Парижа путешествовавший молодой наш граф Пустоглавский, это человек весьма опасный для женщин. Сверх приятной наружности, он ветрен, дерзок, угодлив,— и во всю жизнь не сказал ни одного путного слова. Может ли такой мужчина не нравиться? Так, друг мой, день ото дня замечаю я, что принцесса к нему пристращается, и если он до сих пор не торжествовал полной победы, так потому, что упорством своим и наружною непонятливостью старается оказать неискусство свое в подобных делах и тем сильнее возжечь страсть в своем предмете. Тебе поручаю с ним коротко познакомиться, отвлечь сердце его к другой какой-либо девушке и, если нельзя уже будет заставить его подлинно влюбиться, принудить его хотя показывать наружность; а я ничего не упущу, чтоб при удобном случае выставить его принцессе в самом ярком свете».

Принявши такое многотрудное предложение, я казался в собственных глазах великим человеком. В скором времени свел тесное знакомство с графом Пустоглавским, старался проникнуть сокровеннейшие пружины сердца его и по месячном самом астрономическом наблюдении над душою его и сердцем нашел я, что сей молодой человек был самого романического духу, то есть: настоящий повеса, или человек, которого для общего блага давно бы должно было повесить. Для привлечения его к себе более и более старался я подражать всем его ухваткам. Дурачества сии были уже совсем особые от министерских. Мы с графом гонялись за каждою встречающеюся женщиною, и, когда она еще не скрылась, мы подбегали к другой, гляде-

ли прямо в глаза и, не сказав ни слова, хохотали, как бешеные. Чтоб быть любезнее, мы казались как можно более рассеянными; болтали дерзкие двоесмыслия и расточали похвалы без всякого складу и ладу, так, например: он нередко хвалил голубые глаза у красавицы, когда она имела черные, а я однажды представил из себя такого отважного щеголя, что удивлялся красоте и блеску глаз одной знатной старухи, когда она имела на них бельма. Граф Пустоглавский не мог не полюбить собственной своей копии, но я с огорчением приметил, что его сердце так же пусто, как и голова. Он не мог ни к чему привязаться. Все женщины были для него прелестны, за всеми волочился, доводил почти до последнего термина победы, кидал и начинал новые связи.

Когда я однажды рассуждал о способах, как бы перехитрить его сиятельство, пришла мне в голову драгоценная мысль, и я почти не сомневался в успехе.

— Граф,— сказал я ему при первом свидании,— зачем вы так непостоянны и кидаете красавицу прежде, чем она удостоит вас осчастливить?

— Друг мой! — отвечал он, обнимая меня и хохоча во все горло.— Это оттого, что они очень поспешны и не успеют еще возбудить желания, а уже и предлагают обрюзглые свои прелести!

Я. Вы, граф, мало знаете женщин и по нескольким судите обо всех. Вы не везде найдете таких благосклонных.

Он. Как? я мало знаю женщин? Это вы мне говорите? По крайней мере мне не встречалось испытать, чтобы какая-нибудь...

Я. Хотите, я вам доставлю случай испытать?

Он. Быть может, ста лет? не спорю! А если только девяносто девяти,— вы проиграете!

Я. Семнадцати! давайте об заклад!

Он с радостию принял мое предложение. Мы ударились о тысяче червонных, и я обещал показать ему чрез три дни несговорчивую. Кто ж была та несчастная, которую тогдашняя моя политика обрекла быть жертвою порока? Это Мария, добрая, невинная, неопытная дочь полковника Трудовского, который был заключен в доме сумасшедших за откровенное рассуждение свое о мутных источниках, о чем узнал уже я гораздо после.

Когда я рассказал князю о своем плане, он не мог удержаться, чтобы не обнять меня. Разумеется, что я должен

был употребить все меры проиграть заклад свой. Чрез три дни Мария явилась во дворце князя Латрона так называемою девицею у ее светлости. Бедная девушка сама не понимала, что с нею делается. Довольно, что она перешла из нищеты в довольство и получила возможность пособлять своей матери в надежде пособить некогда и отцу.

Граф, увидя ее, признался, что подобная женщина не встречалась глазам его. «Она,— сказал он,— или величайшая актриса, или и подлинно настоящая невинность!» Расположа свои планы, граф начал атаку. Он хвалил ее более всех, не щадил ни шарканьев, ни нежных выражений. Мария, вместо того чтобы от него бегать, как то делали все другие, дабы тем более заставить за собою гнаться, — Мария слушала его терпеливо, спокойно смотрела в глаза и, когда он завирался, говорила: «Граф! вы для меня бываете или скучны, или смешны. Я охотно смеюсь на ваши прыжки пред другими девицами и скучаю, когда вы коверкаетесь предо мною!»

Тут мы все, то есть я, граф и мамзель Виктория, которая в общем нашем заговоре также участвовала, увидели, что надобно приняться за Марию совсем иначе, чем за других. Граф опасался, что я для выиграния заклада буду мешать ему, а я, напротив, что он наскуча упорностию Марии,— ее кинет. Однако ж опасения мои на сей раз были неосновательны. Придворные господа не так-то уступчивы. Они обыкновенно бегают от тех, которые за ними гоняются, а гоняются за теми, которые от них бегают. Не быть бы лавровому дереву, если бы Дафна была не так упряма. По сему заключению граф Пустоглавский переменил поступки и, соображаясь со нравом Марии, расположил свои.

Таким образом, надобно было, чтоб Виктория *перевоспитала* Марию; и это значило из простой, добродушной, невинной девицы сделать распутную девку,— и сие тем легче было можно произвести в действие, что все жили в одном доме. А притом против одной неопытной девушки, у которой не было отца (морально, ибо физически он существовал), сделали заговор четверо опытных (как назвать их?) бездельников! Виктория свела с нею тесное знакомство, и могла ли Мария остеречься от влияний ложной подруги, когда сам граф Пустоглавский дался мне в обман? Краска выступает на щеках моих, когда вспоминаю о дальнейших своих поступках; но когда я чувствую сердечное удовольствие при воспоми-

нании доброго дела, то справедливость требует не скрывать и дурного. Новое воспитание началось знакомством с модными книгами и эстампами, которые подлинно стоили того, чтоб сжечь как их, так и творцов народно. Когда Мария не смела открыть рта и глаз, то Виктория должность сию взяла на себя, и как она была хорошая актриса, то ролю свою играла весьма исправно. Мария обольщена была как бы каким-нибудь вдохновением. Она находила в Виктории своего ангела-хранителя; и я не знаю, как выразить свои мысли — и — *любовника!* Да! Французская мода разлила в Европе яд, господствовавший в одних азиатских сералях. Девицы стали искать любви у девиц же, и точно с тем же требованием. Мария сначала встретила объятия вероломной Виктории объятиями чистой невинности; но сия самая невинность скоро потеряла блеск свой. Чего злой пример не делает и в самом невинном сердце? Виктория по времени растолковала ей, что таковая любовь крайне недостаточна для составления полного наслаждения любовию,— и тут-то явился граф Пустоглавский вместо прежнего повесы и ветреника в виде аркадского пастушка. Его томный, застенчивый вид не мог не обратить внимания томной, застенчивой Марии. Со всею непорочностию открыла она душу свою Виктории, внимала ее советам и чрез два месяца назначила тайное сходбище недостойному. Как всякий шаг Марии был мне известен, то натурально и от князя Латрона не был скрытен. В ту минуту, когда беспечная Мария покоилась в объятиях вероломного своего любовника, князь Латрон, ведя под руку принцессу, явился у преступного ложа ее. Негодование обнаружилось во всякой черте лица повелительницы. Смущение виновных было неописанно. Принцесса, отведя взоры, сказала: «Останьтесь здесь!» Чрез полчаса обоих любовников позвали в придворную капеллу и тогда же обвенчали, несмотря на крайнее их смятение и робость. Графу Пустоглавскому немедленно велено оставить столицу, и он в силу указа в ту же ночь ее оставил, препоручая жену свою под смотрение управителя в городском доме. Не понимаю сам, отчего совесть в то время меня не беспокоила! О сила примеров и разврата! Как мог я не содрогаться, жертвуя невинностью доброй девицы? Не я ли был виною ее погибели? Теперь я так думаю; но тогда!..

Глава VIII

Ученый пир и закуска

Тогда не мог налюбоваться своим поступком. Успех в предприятии, столько щекотливом для поседевшего в придворной службе, возвеличил меня в глазах его светлости, и я не находил человека, мне подобного. Час от часу становился я заносчивее, а видя удачные успехи в глупых своих замыслах, я не полагал границ своему высокомерию. Редкая неделя проходила, чтоб я не читал в каком-либо периодическом издании стихов себе похвальных, и если бы точно полагаться на великолепные выражения моих Горациев, то я выходил не в пример благотворнее Мецената и достоин был не одной поэмы. Я и сам был не худшего о себе мнения.

Господин Некрасин, русский стихотворец, писавший эпитафию Ликорисе и после оду в честь великого родителя моего Симона, чрез несколько времени вторично посетил меня, прося осчастливить присутствием своим его пиршество, на которое приглашены были знаменитейшие члены Варшавской академии. Случай к торжеству сему подало избрание самого Некрасина в таковые же члены, а он удостоился чести сей, написав по-русски небольшую поэму на победу Московского князя Димитрия над гордым, неистовым татарским ханом Мамаем. В поэме сей и подлинно было много чудесного; например: тысячи две, три громов и не меньше молний. Дон кипел, Непрядва шумела, и Меча шипела. При сем сделано важное открытие в российских древностях, что у Мамая, так как злого татарина, борода была больше, чем у князя Димитрия, зато хвост у лошади его гораздо короче, и от сего-то больше и потерял он сражение. Когда бы я и не был провожаем к стихотворцу, то легко бы мог отличить его квартиру по тому ужасному шуму и крику, который звонко раздавался во все концы улицы. Когда ученые так шумны на пиршестве, то что б было на сражении, если б побольше набралось их в войске? Они или заглушали бы звук пушечных выстрелов, или бы сами онемели, ибо и то замечено, что кто крикливее в пустяках, тот безгласнее в деле. Пустой сосуд звонче полного.

Вошед в залу стихотворца, застал я там около десяти ученых, как-то: поляков, русских и других наций, а при-

том и актеров, и некоторых с женами. Увидя меня, все изъявили почтение, и я, с своей стороны, был не невежлив и немножко поотступил от министерских своих приемов.

Когда все поутолили голод, а особливо жажду, которую ученые не так терпеливо сносят, пожилой худощавый человек, по званию филолог, спросил у против сидящего актера:

— Скажите, пожалуйте, отчего происходит, что актеры и актрисы, взяв на себя должность преподавать публичные наставления обществу (хотя, правда, чужого сочинения), — отчего, говорю, нередко сами не понимают, что говорят?

Актер *(держа стакан)*. Отчего профессор нравственной философии, нередко говоря с кафедры о воздержании, едва ворочает языком?

Математик. Бывает, бывает!

Моралист. Лучше едва ворочать языком, да дельно, чем громогласно болтать о глупостях!

Филолог. Ученый, который не открыл ничего нового, есть бесплодная смоковница, достойная быть засушенною. То ли дело изобретать или декламировать чужое с кафедры или на сцене?

Актер. Хорошо декламировать хорошее чужое гораздо похвальнее, чем изобретать новые глупости, как то делаете вы, господин филолог.

Филолог. Как, лицедей ты негодный! Я изобретаю глупости? Да не я ли ввел первый в российском языке новые, прекрасные слова? Не я ли актера назвал *лицедеем*, актрису — *лицедейкою;* театр — *позорищем,* трагедию — *печальновоищем;* биллиард — *шарокатом,* кий — *шаропёхом,* а лузу — *прорездырием?* А? не я ли все сие сделал?

Жена филолога. Из всех слов удачнее выдуманы: *шаропёх* и *прорездырие.*

Актер. Не оттого ли, что они такая же пара, как вы с мужем?

Филолог. Как, злодей! Я *шаропёх?*

Жена его. Что, окаянный! Я *прорездырие?*

Математик. Ха, ха, ха. Поздравляю с новым чином: господин Шаропёх с госпожою — как хочешь назови ее! *(Пьет.)*

Филолог *(бьет его по уху)*. Вот тебе *а+(плюс) в.*

Математик. О! о! Дело не шуточное! Я докажу, что наблюдатель звезд гораздо превосходнее наблюдателя прорездырий!

С сим словом стукнул он по голове филолога, спрося: «Сколько звезд видно?» Все бросились от стола. Когда математик управлялся с филологом, который на сей раз был также не ленив к открытиям мест, по которым стучать удобнее, жена его впилась в волосы наблюдателя небес; а как актерова жена, видя, что муж ее был виною сего задора, то вскочила и с самым трагическим восклицанием отвесила филологше несколько пощечин. «Проклятая лицедейка!» — вскричала жена ученого и, кинувши мужчин, схватилась с богинею *позорища*. Вот тут-то беда! сколько я с хозяином ни кричали, сколько ни унимали — куды? Скорее можно разнять двух голодных волков, чем ученых! Однако лицедей, который был всех нас сподручнее, изобрел скоро способ к восстановлению мира. Не разбирая, кто прав и кто виноват, начал всех оделять полновесными оплеухами, читая громко из какой-то трагедии:

Продерзких усмирю и низложу противных,
Я громом поражу — вседерзостных и льстивых.

И подлинно он скоро усмирил продерзких, но только не льстивых, ибо они весьма откровенно кричали один другому: «Дурак! пьяница! осел!» и проч. Парик профессора морали отлетел далеко; и исподница филолога трещала. Все встали, но какое новое позорище? Лицедейка с изобретательницею сего имени катались по полу. Первая старалась разодрать у соперницы платье у груди, а последняя с противного конца. И та и другая в том успели, и мы видели прелести, дотоле от нас скрытые. Филолог первый рассвирепел и на сей раз, будучи благоразумнее, чем в другие разы, вместо того чтобы мстить обидевшей его сожительницу, сам напал на нее и пинками принудил оставить сражение. Актер не хотел уступить ему в великодушии, учинил атаку и лицедейке сделал на лице несколько знаков, после чего, я думаю, она не скоро могла лицедействовать. Обе героини разгневались на своих супругов, оставили собрание и тем несколько нас успокоили. Хотя день прошел в шуме и гомоне, однако без драки, о чем я с хозяином дома прилагали особенное старание. На закате солнца все разошлись, или, пристойнее сказать, расползлись по своим

местам. Я, будучи близко капуцинского монастыря, пожелал пробыть несколько минут у могилы моей Ликорисы и привести на память счастливое время, с нею проведенное. Я вошел в ограду. Никогда сердце мое не было покойно, когда воспоминал я о Ликорисе, хотя, правду сказать, я воспоминал об ней реже прежнего; но все же память ее была для меня драгоценна. Сердце мое стеснилось при виде ее могилы. Облокотясь на ее памятник, держа в руке дикую маргаритку, смотрел я на заходящее солнце и вскоре взошедшую луну. «Прелестно сияние твое, царица ночи,— сказал я сам в себе.— Ты служишь украшением неба, как моя Ликориса служила украшением земли. Ах! И она была некогда царицею ночи! Да простит ее в том горнее правосудие».

Я был углублен в сих и подобных мыслях и у праха почивавшего друга своего наслаждался, буде так сказать можно, каким-то непонятным, томным ощущением, как вблизи услышал голоса, которые заставили меня оглянуться. Шагах в десяти от меня увидел я двух человек с непокрытыми головами. Один — обросший бородою старец, другой — молодой человек, державший его под руку, приближались к богатому памятнику, стали на колени, и между ими начался разговор, который привел меня в ужас и содрогание. Ах! никогда и на смертном одре не забуду я ни одного слова! Так поражающи были слова незнакомцев.

Старик. Итак, здесь, сын мой, почивает страдалица? здесь несчастная жертва злобы и обольщения? Ты здесь, Мария, моя милая, добрая Мария?

Молодой. Здесь, злополучный старец, пребывают хладные остатки той, которой сердце тобою было мне назначено! Она здесь, под сею хладною землею! Мария! когда я тебя увижу и на небесных ланитах твоих запечатлею поцелуй прощения?

Старик. Не отягощай памяти ее негодованием; она всегда тебя любила, любила и тогда, когда коварные злодеи повергли ее в объятия порока. О Латрон! о Чистяков! неужели не будет суда божия! Но скажи, сын мой! как мог ты достать мне свободную минуту, дабы я хотя раз мог пролить слезы горести о моей Марии? Как? Без денег, без друзей?

Молодой. Именно чрез друга, который в свойстве с надзирателем дома, где заключен ты! Едва я оставил армию и спешил сюда, чтобы навеки соединить судьбу

свою с судьбою твоей незабвенной дочери, как известие о случившемся с тобою меня поразило, равно как и слух о замужестве Марии за графа Пустоглавского. Меня уверили, что он в самый день свадьбы ее оставил, поруча верному своему слуге употребить все силы скорее указать ей могилу. Когда я увидел ее — увы! — она была уже во гробе. Кто любил, тот поймет тогдашнее мое состояние. Граф скоро прискакал и, чтобы отклонить от себя всякое подозрение, сделал огромные похороны и воздвиг сей памятник. Таково-то, почтенный старец! Таково-то на земле, когда часто кровожадные злодеи имеют власть свободно действовать! О Латрон! о Чистяков!

Глава IX

Повесть молодого немецкого барона

Сия краткая повесть молодого незнакомца показалась мне крайне продолжительною. Мрак гробниц, торжественная темнота ночи усугубляли выразительность слов его. Я желал бы на ту пору вместо Чистякова назваться Поганцевым, только бы не слышать своего имени. При восклицании его, и таким голосом, каким произнесено было слово: «О Чистяков», мне казалось, что я слышу голос ангела, зовущего меня пред судию мира. Они долго еще продолжали разговор свой, и каждое их слово раздавалось в душе моей как бы родительское проклятие. Я не смел пошевелиться, дышать, и, когда они удалились, мне казалось, что Мария, бледная, убитая роком Мария выходит из-под гробницы, мечет ко мне грозные взоры и, перстом указывая на звездное небо, говорит: «Видишь ли престол вышнего правосудия? Трепещи! Суд его близок!» С содроганием во всем составе вышел я из кладбища и не прежде посмел оглянуться, как оставя его далеко за собою. «О добродетель! как велика сила твоя и в самых рубищах! О порок! как слаб ты и ничтожен, хотя блистал бы в венце и багрянице!»

Несколько ночей не мог я спать покойно, образ прелестной Марии беспрестанно носился пред моими главами. К сему ж еще и проклятая картина у старосты фалалеевского, на коей изображены черти, вытягивающие раскаленными клещами язык у обольстителя невинности, не выходила из моей памяти. Но чего не делает время?

Чего не делает рассеянность? Мало-помалу начал я забывать ночную прогулку на кладбище и по некотором времени решился обо всем донести князю Латрону и просить, чтобы он приказал старого Трудовского заковать в цепи, дабы он впредь по ночам не прогуливался в таких местах, которые определены для покоя правоверных. Когда я принял такое благое намерение и отложил его до удобного случая, в один вечер вошел в спальню мою молодой армейский офицер в гусарском мундире. Вид его показывал крайнее расстройство в духе; подошед ко мне, он поклонился и, положа очень нежно на стол кошелек с золотом, сказал с горькою улыбкою:

— Милостивый государь! Я близь погибели, если вы не поможете! Будьте моим ходатаем!

— Государь мой,— отвечал я, одним глазом глядя на него, а другим на подарок,— пока я не знаю причины вашей просьбы, то не могу обещать и помощи. Сегодня не время, побывайте завтра!

— Охотно исполнил бы ваше приказание,— отвечал офицер,— но без вашей помощи до завтра я буду в крепости.

— Ба! — сказал я протяжно,— это значит, что ваше дело полновесно!

— Не иначе,— прервал он и вместо всех церемоний, столько бесполезных, положил на стол бриллиантовый перстень.

— Очень хорошо,— был ответ мой,— побудьте у меня и скажите ваше дело, дабы по приезде его светлости из дворца я мог о том доложить ему.

Я указал стул, он сел и начал повесть свою следующим образом: «Отечество мое — Тоскана. Отец мой был немецкий барон Браун и мать италиянка. Сложа дюжин десять всех баронов в свете и перегнавши в кубе, едва ли достанешь столько дурацкой спеси, сколько было ее в отце моем. Он ходил, поднявши голову как можно выше, и хотя часто спотыкался, но согласился бы скорее упасть в глубокий ров, чем смотреть под ноги. Он тогда только наклонял голову, когда надобно было заглянуть в пуншевую кружку; ибо он, как немецкий барон, не хотел пить из стакана, а всегда из родительской серебряной кружки! Правила свои и мысли о чести старался он перелить в меня и успел бы в том совершенно, если бы не помешало одно обстоятельство. В соседстве с нами жил италиянский живописец, торговавший портретами своей дочери, представляя ее в разных положениях:

в объятиях Амура, во образе Психеи. По случаю досталось мне несколько таких картинок, и как отец ее не скрывал об оригинале, то я пленился Ангеликою, которая и подлинно была прелестная девица лет пятнадцати. Я старался завести с нею знакомство и с помощию набожной ее матери успел в том по времени. Я клялся,— и клятва моя была сердечная, что избираю Ангелику супругою. Когда я объяснился своему отцу, лицо его покрылось бледностию, трубка выпала изо рта, и он, выпуча глаза, долго смотрел на меня молча. Наконец, получа употребление языка, сказал с яростию: «Как! Чтоб дочь маляра было невесткою немецкого барона! О небо! Если ты в другой раз о сем помянешь,— ни куска бутерброду не получишь,— и я уморю тебя голодом!» Сии свирепые слова не лишили во мне всей надежды; при разных случаях я пытался еще напоминать ему о моей нужде, но, прождав более трех месяцев и зная, что мужчина в восемнадцать лет может быть сам себе господином, я, подговорив свою любовницу, обвенчался у первого священника и торжественно молодую супругу свою ввел в баронский дом. Случилось то, что мы не чаяли,— вместо прощения получили мы пощечины, добрые пинки и вытолкнуты были из дому с повелением никогда не возвращаться. Но как и сам я был барон не маловажнее отца моего, то предал его на скорую руку анафеме и с помощию данных от матери денег отправился с своею баронессою в Польшу искать счастия. Сначала мы дышали одною любовию, не вспомня, что без куска хлеба ничем долго дышать нельзя.

Открытие сего таинства привело нас в разум, и мы начали думать, как бы честным образом прокормиться. Но где можно достичь сего честным образом? По крайней мере не в Варшаве! Почему, испытав на пути сем многие неудачи, мы не нашли лучшего средства, как пойти в труппу варшавских актеров, что вскоре и выполнили. Но тот глуп, кто думает, что и в сем состоянии можно проживать безбедно, коль скоро не поможет жена, а моя была настоящая Лукреция. Какое горе! с завистью смотрел я на актеров, разъезжающих в каретах и проживающих большие суммы, меж тем как мы питались одними вытверживаемыми стихами; а это самая тощая пища. Скудость и сестра ее скука неприметно изнурили здоровье жены моей, и она скончалась на другой год рыцарского нашего странствия по свету. Феатр мне опо-

стыл, и я, нимало не мешкав, его кинул. Несколько раз писал я к отцу, прося прощения: тщетно! Осерженный барон всегда свирепее крокодила; однако ж небо, пекущееся о несчастных, и меня не оставило. Скоро свел я знакомство с молодым сыном богатого купца. Дарования мои ему понравились, ибо я играл нехудо на гитаре, изрядно пел и много болтал, в чем он сам был незнающ; а потому уговорил отца своего принять меня к себе бухгалтером в контору. Хотя я и не считал бухгалтерию наукою, как многие теперь хвастают, а просто искусством или ремеслом, но и в ремесле сем был я не искуснее королевского бухгалтера, который, ничего не смысля, кричит о знании своем во все горло. Я решился подражать великому тому человеку и принял должность. Но как я с купеческим сыном вел только счеты с винными погребами, феатральными прежними знакомками и модными лавками, то не в продолжительном времени заключил основательно весь баланс тем, что мне пора оставить контору. Сын дал мне на дорогу двести рублей серебром и верховую лошадь, и я с божиею помощию выехал из Варшавы.

Услыша, что российские войска вошли в Польшу, вздумалось мне послужить под их знаменами и попробовать счастия. Направив путь свой в Гродно, в одном месте, переезжая мост по реке, я обломился в конце оного и полетел с лошадью вверх ногами в воду. Кое-как удалось мне добраться до берега, но добрый конь мой с чемоданом, в котором лежало все мое имущество, унесены были стремлением воды. Долго стоя на берегу, слезящими глазами смотрел на сию потерю; но как пособить было нечем, то я пешком отправился к российской армии. Меня охотно приняли в егерский полк простым егерем. В продолжение кампании, как ни баронски я ратовал, однако два раза был в плену у поляков и столько же раз у русских. При окончании сего дела, к великому моему удовольствию, прослышал я, что высокоименитый барон Браун волею божиею отошел к благородным предкам своим. Я тотчас отправил к матери своей самое слезное послание и, описывая жалкое свое состояние, просил прощения и благословения. Она хотя была итальянка, однако жалостливее немца, прислала ко мне нужные дипломы на мое баронское достоинство и достаточное количество денег на возвратный путь в ее объятия. Скоро посему произвели меня в офицеры, и я, ко-

нечно бы, взял отставку, но любовь — моя стихия — тому воспрепятствовала. Я давно уже свел дружбу с Каролиною, дочерью порядочного пана Кручинского, и по получении чина на ней женился.

Чрез полгода после сего нам объявлен ордер следовать в Москву; и как мне не было возможности взять жены с собою, то и оставил ее в недрах родительских. В Москве показалось нам весело; да и могли ли худо быть приняты герои, возвратившиеся с полей битвы победителями? На беду мою, квартира отведена мне была в доме русского купца Карякина. Что всего было хуже, он был упрямый раскольник, жена сумбурщица, а дочь Дуняша так мила, так прелестна, что я не мог, да и не должен был, не влюбиться. Как мне нечего было доброго ожидать от родителей, которые совсем не понимали, что такое слово «барон», и думали, что по завитым волосам моим оно мне дано в насмешку вместо барана,— то я решился на последнее средство: увезть прекрасную Дуняшу. Старики весьма сердились по обыкновению и по обыкновению простили, потому что они не были немецкие бароны. Целый год прожил я в неге и довольстве и, будучи переведен в гусарский полк, отправился в Петербург, оставя и сию жену, по тем же причинам, как и первую, в доме отцовском.

Тут стал я в одном доме вместе с капитаном нашей роты, господином фон Ниренгофом. Два года вел я переписку с обеими моими женами, обольщая каждую, что скоро к ней буду, дабы они сами ко мне невзначай не пожаловали; а причина тому особенно была та, что я сильно прельстился Доротеею, дочерью моего капитана. Чтоб не упустить случая, я тотчас начал свататься и, без труда получив согласие, обвенчался. И тут около года спокойствие мое не было возмущаемо.

По-прежнему продолжал я переписку с женами и выманивал у них деньги. Беспокойствие, начавшееся в Польше снова, заставило правительство ввести туда войска свои. Оставив последнюю жену в России, я опять соединился с Каролиною и провождал жизнь самую любезную. В сей вечер, когда я забавлялся с тестем и гостями игрою в банк, вошла женщина молодая, осмотрелась и, бросясь ко мне на шею, вскричала: «Дражайший супруг!» Я остолбенел, равно как и все присутствующие. Это была Доротея. Не успел я опомниться, вошла другая женская особа и, так же обняв меня, сказала: «Лю-

безный муж!» Это была Дуняша! Вообразите общее поражение! Все смотрели друг на друга, ничего не понимая, пока страшный голос пана Кручинского не прервал его восклицанием: «Как, изменник! Ты так осмелился шутить над дворянином, и притом польским? О злодей! Я накажу тебя!» Тут он с сердцем выхватил саблю и бросился ко мне. Это движение его привело и меня в чувство; я сделал то же; и не успели мы махнуть раза по два, как уже сабля панова застучала на полу, и подле нее повалились три пальца руки его. Не ожидая ничего доброго, я бросился бежать, и прямо к вам, надеюсь, что вы, милостивый государь, ясно видя справедливость с моей стороны, окажете свою помощь. Я все открыл вам чистосердечно!»

Сим кончил офицер длинную свою повесть. Хотя было очевидно, что он изрядный повеса и негодница, но, смотря на перстень и червонцы, я сказал:

— Государь мой! хотя вы и виноваты, но и шляхтич не прав. Экая беда, что у его дочери было две совместницы! Я советую вам на одну эту ночь поискать убежища у кого-либо из друзей своих, а завтра что бог даст — посмотрим!

Он вышел от меня доволен, а я еще довольнее лег в постель.

Глава X

Буря

Кажется, достаточное сделал я описание тогдашнего своего поведения. Я на такие только бездельства не покушался, какие мне в голову не входили, и так был незастенчив, что движение совести считал немалым пороком. Будучи окружен всегдашним блеском, слыша отовсюду одни ласки и приветствия, я совсем забыл прежнюю свою фалалеевскую жизнь и советы покойного отца моего, князя Симона. Теперь родилось во мне сильное желание поднять из-под спуда померкшее мое сиятельство. «Как,— говорил я сам к себе, повертываясь в одну ночь на диване,— зачем мне более скрывать, что мое происхождение столько же, если не больше, знаменито, как и самого князя Латрона? А заслуги-то что? Да! как мне нет еще и сорока лет, а Феклуша моя пропала, то я

могу вступить в супружество с какою-нибудь княжною или графинею, и тогда-то палаты мои будут не хуже дворца; лакеи, скороходы, гайдуки — все в золоте. Теперь, слава богу, не те времена, когда с Феклушею рассуждал я о будущем своем величии вскоре после родин сына моего Никандра. Да и не прост ли я был, что до сих пор таил свое происхождение? Как же удивится его светлость! И почему знать! Может быть, он и дочь свою за меня выдаст! Да и непременно выдаст; а я, с своей стороны, глуп не буду и видом не покажу, что знаю кое-что про ее любовные подвиги. Да и чем же бы знатная дама могла отличиться от простой мещанки, которая невинность свою считает главным приданым? Вот тебе на! завтре же весь двор, завтре же весь город узнает, что Чистяков есть не просто только Чистяков, а князь Гаврило Симонович княж Чистяков!»

Я с удовольствием улыбнулся такой щегольской выдумке и в награду сам себя погладил по брюху, как вдруг смешанный шум и крик в боковой комнате поразил меня. Я приподнял голову и разинул рот, чтобы позвать камердинера, как дверь моей спальни с треском отворилась и человек с десять вооруженных солдат с факелами появились. Они бросились на меня опрометью, и между тем как одни окутывали меня в простыню, предводитель их сказал: «Смотрите же! бережнее доставьте куда следует сего вора и разбойника! Над ним должно будет оказать пример правосудия!» Меня стащили с лестницы, уложили в возок и поскакали. Ужас объял меня. Дыхание мое остановилось, и я был как истукан. Езда наша продолжалась несколько часов, как я услышал скрып ворот. Меня сняли и понесли на руках, а скоро потом остановились, опустили на землю; и, уходя, один из проводников, давши мне пинка, сказал: «На, околей собака!» Все замолкло. Не чувствуя, чтобы меня душили более в простыне, я осмелился приподнять голову, открыл глаза, но один мрак господствовал. Находясь как бы в гробе, я смиренно препоручал бедную душу мою господу богу. По прошествии нескольких часов, сколько мог я судить по времени, вокруг меня начало сереть, потом более и более, а наконец, сквозь маленькое окно дошло ко мне столько света, что я мог различить все предметы, меня окружающие. Я находился в маленькой комнате с железною дверью. В одном углу была связка соломы, в другом стоял ветхий столик, на котором примет-

ны были корка хлеба и кружка с водою. Осмотря все внимательным оком, я стал на колени и, поднявши вверх руки, сказал со стоном: «О мой создатель! долго ли еще буду я игралищем случая? долго ли буду претерпевать бури и кораблекрушения на непостоянном море жизни моей? Или темница сия будет последним убежищем, куда мстящая десница твоя привела меня? Так! Я был великий беззаконник и достоин праведного гнева твоего! Я забыл о мздовоздаянии твоем во время счастия и достоин теперь забвен быти во дни моего злополучия!»

Таким образом предав себя в волю провидения, я встал, посмотрел в свое окно и ничего не видал, кроме поля и нескольких кустарников можжевельника. Дикие птицы носились в воздухе и криком своим предвещали бурю. И в самом деле тучи начали скопляться, и грусть моя увеличилась. «Так-то, князь Гаврило Симонович,— сказал я, вздохнувши,— так-то ты встречаешь день, в который намеревался открыть свету знаменитость своего рода и избирать себе супругу из дома княжеского! Где мои чертоги, где мои гайдуки и скороходы? Увы! все исчезло,— и, вероятно, навсегда!» Около полудня услышал я скрып ключа в замке двери моей. Она отворилась, и я увидел высокого человека в рубищах, с бледным лицом и мрачными глазами. Он прибавил из кувшина воды в мою кружку, положил ломоть хлеба и, указав на то пальцем, сказал сурово: «Обед». Он обернулся и пошел. «Друг любезный,— подхватил я,— скажи мне ради бога, где я?» — «Вы в безопасном месте»,— отвечал он, вышел и замкнул по-прежнему дверь. Так прошел весь день. К ночи гость мой опять явился, опять прибавил хлеба и воды и, указав, произнес: «Ужин». Нечего было делать. Погодя немного я поел хлеба с водою и, опустясь на соломенное ложе свое в штофном розовом шлафроке, в котором меня полонили, не мог не сказать сквозь слезы: «Суета сует и всяческая суета!» Легко можно догадаться, что и ночь проведена была не покойнее дня; и так прошли многие дни и ночи. Уныние мое умножалось. Мертвыми глазами смотрел я в окно моей храмины. И ничего меня не трогало. Когда голубое небо, так сказать, лобызалось в отдалении с тихим изумрудным лицом поля, я говорил: «Надолго ли? скоро расстелются тучи на хребте твоем, небо, повеют вихри, посыплются град и дождь, и природа представит образ разрушения. О время, время! как ты переменчиво!»

Более двух месяцев по моему счету пробыл я в сем уединении и начал привыкать к нему, как обыкновенно привыкают ко всякому несчастию. Я на досуге проходил в мыслях жизнь свою и все глупости, мною сделанные, увидел я; что безумно роптал на мудрое провидение, которое меня никогда не оставляло. Не одарило ли оно меня добрым сердцем, которое развратил сам я; достаточным умом, употребленным мною к изобретению и утончению беззаконий! Я проливал слезы раскаяния и обещался в душе своей, что если когда-либо получу свободу и буду иметь возможность, то все силы ума моего приложу, чтобы сделаться совсем другим человеком, нежели каков был прежде, и из темницы выйду на свет, очистив душу, как выходят из купальни, очистив тело.

В одно утро, когда я читал молитвы, и гораздо усерднее, нежели некогда в церкви для прельщения графини Такаловой, когда готовился я просвещать *Небесного Тельца,*— дверь в тюрьме моей отворилась, и я отскочил с ужасом на два шага, увидя, что вместе с моим стражем вошел полковник Трудовский. Он несколько времени смотрел на меня пристально, потом сказав: «Ступай за мною»,— вышел. В безмолвии следовал я за ним, представляя, что меня ведут на эшафот. Тут я нимало не помышлял уже о жизни. Ужасная смерть носилась в моем воображении. Прошед многие ходы и переходы, очутились мы на небольшой площадке, обнесенной высокими стенами. Некоторые возвышения, на коих стояли деревянные кресты, дали мне выразуметь, что это есть кладбище, где погребают несчастных узников, мне подобных. Подошед ко вновь ископанной могиле, на краю которой стоял бедный, кое-как сколоченный гроб, Трудовский остановился и сказал мне: «Посмотри сюда!» Я заглянул в гроб, и кровь во мне оледенела. Под простым крашеным покровом, в рубищах, лежал распростертый тот, кого незадолго трепетало целое королевство, по которого слову двигались армии; чей взор осчастливливал или погружал в несчастие; коего дружбы искали коронованные главы,— там лежал князь Латрон.

— Видел? — воззвал полковник голосом, мною дотоле неслыханным.— Где великолепие и пышность, его окружавшие? Где злато и драгоценные камни, на нем блиставшие? Где та гордость, которая выказывалась из каждого взора его? Лежит он, подобно рабу последнему! Кто страшится грозного его мановения? кто воспевает

ему песни похвальные? Не есть ли он глыба праха, по которой гладный червь ползать станет? Боже милосердый! И стоит ли вся тщета сия, чтобы человек забывал свое ничтожество во дни славы и счастия! Так, Чистяков! Ты и князь, благодетель твой, были люди жестокие, достойные проклятия. Много вы стоили мне слез и воздыханий; но, клянусь великим сердцеведцем, я прощаю вас обоих. Могли ли вы подумать, что беспомощный, бедный Трудовский будет начальником той темницы, которая назначится усмирить вашу гордость и жестокости? А это было! Чистяков! ты свободен! Вчера получил я повеление тебя отсюда выпустить, но с тем, чтобы обещался ты, не медля нимало, оставить не только сию столицу, но и королевство. Бог — твой сопутник! Ты теперь, конечно, беден — вот кошелек мой!

Он удалился, а я пошел за темничным стражем, проливая горькие слезы. Будучи выпущен, я первое приложил старание одеться и после немедля отправился в столицу, отдал последний долг памяти незабвенной Ликорисе; и, исполня то, сейчас оставил Варшаву, в стенах которой видел я столько счастия и злополучия; столько наслаждения и горестей; я оставил ее с тем, чтобы никогда более не возвратиться в сию бездонную пучину.

Будучи в дороге несколько дней, вступил я в пределы Киевского воеводства; и в одно утро, идучи полем, говорил сам себе: «Итак, я оставил уже вторую свою родину. Почти за двадцать лет назад выходил из Фалалеевки и был так же нищ и печален. Там, как и здесь, лишился я жены и спокойствия. Но тогда я был молод и, следовательно, полон надежды, которая составляет важнейшую часть нашего имущества,— а теперь на кого мне надеяться? Небо раздражено несправедливостями моими; люди гнушаются моим именем. О! теперь-то вижу, как безумно поступают те, которые блаженство свое основывают на суетных почестях и богатствах!»

Так рассуждая, не мог я не проливать слез горести. Глаза мои помутились, и я ничего не видал перед собою, как голос незнакомый остановил меня вопросом: «Куда ты?» Я вздрогнул, оглянулся и увидел, что нахожусь на краю берега довольно быстрого ручья. Тут стояло несколько старых лип, и при корне одной сидел пожилой мужчина в темном сертуке. Смуглое лицо его украшалось несколькими бородавками; черные с проседью волосы были плотно острижены. При нем лежали кожаная ко-

томка и на ней тетрадь бумаги. В руке держал незнакомец карандаш, и казалось, что он углублен был в размышлениях.

Опомнясь от моего усыпления, я подошел к нему и, не разучась еще от прежних министерских комплиментов, согнулся перед ним с щегольскою ужимкою и сказал:

— Милостивый государь! горесть ослепила меня! Вы спасли человека от влажной смерти. Без вас был бы я теперь на дне сего ручья. Позвольте, чтобы благодарить.

— Жалею,— отвечал незнакомец,— что такой безумец не плавает теперь в воде. Если ты идешь из Варшавы, то изрядный повеса; а если еще только туда, то, судя по твоим ухваткам,— можно ожидать отличных успехов!

Глава XI

Мудрец

Я оторопел и не нашелся, что отвечать сему странному человеку. Но желание узнать его покороче сделало меня изобретательным. Видя, что он должен быть ученый особенного рода, я оставил свои французские поклоны и, просто пришед к нему, сел подле и сказал:

— Утро прекрасное! чистый воздух и усталость от дороги придают охоты к завтраку. Нет ли у тебя чего-нибудь в котомке?

Он посмотрел на меня внимательно, потом, подумав несколько, сказал равнодушно:

— Ты голоден и не имешь куска хлеба! Хорошо! пойдем в мою хижину! Она не далее отсюда пяти верст.

Итак, мы отправились. Дорогою он спросил:

— Ты из Варшавы?

— Так.

— Зачем же оставил город?

— Несчастные случаи!

— А ты искал счастия в столице, и притом польской? Глупый человек! разве не знал ты, что чем гуще и непроходимее лес, тем дичее и лютее в нем звери? Всякий город есть море глубокое и пространное, в нем же гадов несть числа. Хотя оно изобильно перлами, но кто похвалится, что, прежде чем достанет одно зерно, не попадется в когти сильного чудовища, какими изобильно было преж-

нее тамошнее правление? О вы, неблагодарные слепцы! разве не прекрасна природа в сельской красоте своей? Разве она скупится своими дарами? Не приятна ли тень сего дерева? Не прохладна ли вода сего источника? чего же вы еще ищете? огромных палат? блестящих украшений? Несчастные! На горсть золота вы меняете существенное благо свое,— а зачем? Дабы, пресмыкаясь и ползая у порога знатных и задыхаясь от пыли у ног их, сказать: «Я умираю в золотом кафтане, и над прахом моим воздвигнут будет мраморный памятник!» Стоит ли это чего-нибудь?

Таковое начало убедило меня более, что сотоварищ мой странный, хотя и не глупый человек. Вспомня, что я сам помазал губы науками, сказал ему с видом самонадеяния:

— Государь мой! Всякий идет дорогою, которую предназначала ему судьба. Один довольствуется, подобно червю, клубиться в грязи; другой, подобно орлу, парит к солнцу!

— Парит? — возразил он.— Но достигает ли когда-нибудь предмета своего парения? Ты скажешь, что благородного духа свойство стремиться к великой цели, хотя и не надеяться ее достигнуть? Согласен! Если так действовать, то надобно быть совершенно уверену, что я имею и быстрый взор орлиный и крепкие мышцы крыльев его; иначе всякий назовет меня эзоповою черепахою, которая разохотилась летать, полетела и разбилась вдребезги.

Я отвечал с уверительностию:

— Если ограничивать круг действия тою чертою, в которой родились мы, то сколько великого, сколько полезного потеряно было бы в свете? Увидел ли бы он Владимира, Александра, Дмитрия, Петра?

— Так! — сказал мой чудак,— но он не видал бы и Юрия, Отрепьева, Разина, Латрона, Кромвеля и прочих бичей человечества. Ты скажешь, что и злодеи полезны свету, так, как язвы, голод, пожары и наводнения! Да! не хочу спорить, ибо и философы и богословы приняли сие жалкое утешение. Но если *верить,* разумеется, как прилично словесной твари, то я нахожу, что лучше было бы, если б тысячи несчастных, падших под ударами тиранов, до сих пор существовали, нежели целые миллионы веселиться будут, взирая на жестокую сих последних погибель.

В это время нашли тяжелые тучи и начал проскакивать огнь молнии. Разговор наш пресекся. Мы удвоили

шаги. Холодный ветер продувал нас насквозь, и вдруг сильный град посыпался. Уже виден был верх церкви в той деревне, где предназначено наше отдохновение, как настигли мы на дороге человека в мундире с золотым темляком на шпаге. Мундир и шпага показывали, что он выдержал не одну баталию, хотя в то время и не было еще в обычае давать шпаги с надписью «за храбрость»; но один вид старца и его шпаги показывал, что он получил ее не за трусость. Воин, встретя нас, снял шляпу о трех углах и о двадцати прорехах на каждом, что делало ее шестидесятиугольною, и остановился с почтением.

Незнакомец мой, посмотрев ему пристально в глаза, спросил: «Кто, куда и откуда?»

— Прямо из-за польской границы, государь мой,— отвечал старик.— На последнем сражении, происходившем у нас с тамошними бунтовщиками, получил я пять ран и теперь иду в Украйну, на родину, выдержать последний приступ от госпожи *Смерти,* которая тем вернее и скорее должна победить, что в авангарде велела атаковать меня славному полководцу *Голод.* Это такой храбрый витязь, что хоть кого сразит вдруг. Да он уж и начал передовые свои разъезды.

— Как,— вскричал мой товарищ,— и ты оставлен ни с чем?

— Почему же ни с чем? — отвечал воин.— Прослужа более тридцати лет, я сохранил сердце, совесть, две руки и две ноги; а это не всякому удается! Впрочем...

— Впрочем,— сказал мой товарищ,— теперь холодно, и скоро пойдет дождь. Ты стар и, следовательно, слаб. Вот мой сертук,— надень его.

С сими словами скинул он сертук свой, положил на плечи прохожего и, оборотясь ко мне, сказал:

— Пойдем проворнее.

Оторопелый прохожий спросил:

— Но кому я обязан?

— Меня зовут Иваном,— отвечал он, продолжая путь. Не прошли мы и сотни шагов, как проливной дождь на нас обрушился. Иван,— ибо теперь только узнал я имя его,— вымок до костей, однако шел бодро, попевая: «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых».

В полуверсте от деревни нагнали мы нищего в рубищах, с непокрытою головою, босыми распухшими ногами, бредущего по грязи. «Боже мой,— сказал Иван со стоном,— неужели на земле сей нет ни одной души челове-

ческой?» Он бросился в сторону, сел на травяном холме, скинул сапоги, подал нищему, надел на него свою шляпу и, не слушая бормотания изумленного, пошел дорогою скорее прежнего. Я был в таком поражении, в таком замешательстве, что не дерзал выговорить ни слова. Чувства мои к Ивану исполнены были величайшего благоговения и, идучи позади человека в одной рубашке, без шляпы и сапогов, всего мокрого, загрязненного, я был столько доволен в душе, как будто бы сопровождал какого героя или монарха в торжественном шествии.

Едва вступили мы в деревню, как ребятишки, игравшие по лужам, подняли крик: «Иван, Иван!» — все к нему бросились, толпились, крича: «Здравствуй». Минуту спустя появились у ворот домов мужики и бабы, каждый держа в руках кто цыпленка, кто яйцы, кто зелень. Иван махал рукою в знак отказа, и крестьяне с неудовольствием возвращались в домы свои.

Наконец достигли мы обиталища Иванова. Это была малая хижина, стоящая на конце обширного сада, из-за вершин коего видна была кровля огромного дома. Внутренность избушки отвечала наружности. Две скамьи, стол, на котором лежало несколько книг, в углу образ суздальской работы составляли все убранство. Иван сделал мне по-своему приветствие, велел сесть, а сам, надев нагольный овчинный тулуп, стал трудиться развести в печке огонь, который не успел зажечь дров, как вошел мальчик, неся с собою курицу битую, ногу телятины, хлеб, малый графин водки и кувшин с водою. «Петр,— сказал мой хозяин,— скажи Владимиру, что у меня нет ни сертука, ни сапогов, ни шляпы; да принеси еще пару цыплят и хлеб: у меня сегодня гости». Мальчик вышел молча; хозяин принялся за стряпню, а я, не зная, что думать и делать, осмелился спросить его: «Кто таков Владимир, которому он наказывал?» — «Надеюсь,— отвечал Иван,— что он человек! Впрочем, ты вымок и озяб; покудова не готов обед, вот водка и хлеб, и вот Вергилиева «Энеида»,— я повиновался во всем, ожидая развязки,— ибо я заметил, что ты не из неученых».

Минут через пять сквозь оконце в хижине увидел я идущего по саду пожилого рослого мужчину в плаще, а золотистый лакей нес над ним параплюй. Прежний мальчик тащил большую корзину. Как скоро новый гость вошел в избу и скинул плащ, я с крайним беспокойством увидел, что на сертуке его сияли две звезды. Он сел на

лавке, слуги вышли, и между ими начался разговор особенного рода, какого я никогда не слыхивал, бывши секретарем при вельможе.

Владимир. Здесь в корзине сухой сертук, рубашка, исподница, сапоги и прочее.

Иван. Хорошо! *(Вынимает по порядку.)* Все хорошо! но зачем эти звезды на сертуке? Ты забыл принести свечку! В такую погоду она больше насветит, чем десять твоих звезд.

Владимир. Правда. Дай нож; я звезды спорю *(занимаясь сею работою).* Мне непременно надобно на днях ехать в Петербург.

Иван. Счастливый путь!

Владимир. Сына моего пожаловали камер-юнкером, а дочь — фрейлиною! Надобно благодарить.

Иван. Да, надобно!

Владимир. Для чего же ты упрямишься и не хочешь со мною ехать?

Иван. Зачем ехать?

Владимир. Так! посмотреть города, людей, увеселения двора!

Иван. Вздор, брат Владимир! город везде город, разница только, что в одном больше, а в другом меньше кирпича и дерева. Что касается до людей, то я видел их более, чем бы надобно, чтоб сколько-нибудь их терпеть; а увеселения двора ничего не значат пред увеселениями сердца. Да и признайся откровенно: утешно ли смотреть на шутов и скоморохов, занимающих важнейшие в государстве должности, на мальчишек, учившихся только волочиться за нимфами, на талии и терпсихоры, командующих армиями и оные погубляющих? Не правда ли, что лучше не видать всех сих нелепостей, нежели, видя, вздыхать об участи бедной части народа?

Владимир. Ты на все смотришь в увеличительное стекло и везде более находишь зла, нежели сколько есть в самой вещи.

Иван. Право! Дай бог, чтоб твоя была правда! Однако обещай отвечать мне искренно вопроса на два.

Владимир. Охотно, на сколько хочешь!

Иван. Ты едешь в столицу благодарить за камер-юнкерство твоего сына! По-настоящему это одна причина, заставляющая тебя подняться отсюда. Ты еще, однако, здесь, а с тобою и не очень торопливая твоя благодарность; а между тем, чтоб не быть без дела, ты теперь со-

ставляешь реестр, кого должно просить и кого дарить, какого князя, графа, фрейлину, штатс-даму, камердинера, гардеробмейстера,— и буде в некоторой силе надзирательница над наложницами, то и ее милость, чтоб сына твоего скорее определили к статским делам с чином статского советника?

Владимир. Последняя мысль твоя несколько справедлива!

Иван. Постой! Когда получит он сей важный чин, не употребишь ли ты новых стараний или, лучше, происков дать ему приличное и чину и породе место, то есть: посадить на воеводском стуле? А?

Владимир. Что ж такое? я-таки с помощью божьею и успею в том!

Иван. Остерегись употреблять священное имя бога там, где едва ли не черт более действует, и размысли сам порядочно. Сын твой Володя имеет теперь двадцать лет; хорошо говорит по-французски и несколько по-русски; двух дворовых девок сделал матерьми; человекам десяти псарей выбил зуба по два и по три; и в разные времена поймал более двадцати зайцев; а упав с лошади один только раз, разбился и теперь чахнет. Ты видишь сам, что в столь молодые лета он наделал-таки кое-что! Но это кое-что совсем не то, чтоб он стоил быть воеводою,— человеком, от ума которого и деятельности должно зависеть спокойствие, а иногда честь и жизнь целого полумиллиона людей. Итак, Володя твой пусть будет камер-юнкер, камергер, ну хоть чем хочешь, ты дальше и не веди его, ибо сии звания столько же заключают важности, как если бы вздумали жаловать кого в Юпитеры, Нептуны и проч., предоставляя право бросать перуны и волновать море. Я охотно бы смеялся, глядя на сих новопожалованных богов, будучи твердо уверен, что власть их до меня нимало не касается и для света есть ничто. Но, друг мой! Если этот мнимый перун за каким ни есть слепым случаем превращен будет в простой прут в руках не умеющего управлять оным, тогда горе ему и всем близким к нему; он испытает участь Фаэтона, и бедная земля, и река, и деревья пострадают. Итак, Владимир, поезжай с богом в столицу, но тут-то призови святое имя его не с тем, чтобы он помог тебе сына твоего Володю сделать воеводою, но чтобы избавил тебя от смертного греха о том стараться и даже думать. Когда услышу сии слова: «Володя — камергер над всеми камергерами, над всеми

дворцовыми собаками, орлами и коршунами и разного рода мартышками»,— я сердечно засмеюсь и скажу: «Слава тебе, господи!» Но когда буду столько несчастлив, что услышу: «Володя ныне воевода!» — э! тогда сердце мое растерзается, возрыдаю я и восстеню: «Господи! прости грех сей Владимиру,— он подлинно добрый человек,— но, к несчастию, он и граф!»

Иван замолчал и усердно продолжал стряпню. Граф Владимир, устремив на него внимательно взоры свои, машинально коверкал пальцами споротые звезды; потом встал, потер рукою лоб и вышел немедленно, проворчав сквозь зубы: «До свиданья, Иван!» — «Прощай!» — отвечал Иван, запирая за ним двери.

Хотя я столько секретарствовал у величайшего из возможных любимцев, хотя привык смотреть равнодушно на все диковинки естественного и нравственного света, но Иван показался мне чуднее всякого чуда; кто он, которого все отличие состоит в пяти на лице бородавках, а он так властно распоряжает над поступками звездоносцев? Не такой ли же и он граф? но он более нищий; сам стряпает у печки и в то же время преподает урок вельможе? чем поддерживается такая власть его? Нет ли у него также сестры Фионы? О! мысль сия невместна! Как бы то ни было, а хочется узнать, кто этот загадочный Иван, человек с пятью бородавками.

Во время обеда и частию вечером старался я заводить разговоры о различных предметах и всеми мерами, хоть осторожно показать, что я стою лучшего приема, нежели какой сделал он мне при ручье. Ответы его были на один образец — коротки и ясны. Однако же мало-помалу он становился мягче и говорил с большею противу прежнего доверенностию. Вечером выглянул я в окно и сказал: «Погода не унимается; дождь льет по-прежнему!»

«Останься здесь ночевать,—сказал он,— ты не будешь в тягость. Быть может, утреннее солнце исправит непорядки дня сего». Я охотно принял его предложение. Вечер проведен приятно. Когда настало время спать, хозяин ввел меня в маленький чулан, где на полу намощено было свежего сена на аршин в вышину, вместо простыни служила большая выделанная кожа, а вместо одеяла лоскут парусины. «Спи спокойно,— сказал Иван,— не тужи, что здесь сено вместо лебяжьего пуху: так сыпáли блаженные патриархи и были счастливы на земле, а вероятно, теперь еще счастливее на небеси. Чем постель наша сход-

нее с будущею, общею земляною постелью, тем человек чаще думает о неизбежном конце своем и тем, кажется, становится лучше».

Желание Ивана было исполнено, то есть я спал гораздо лучше в его чулане, чем прежде во дворце князя Латрона. К удовольствию моему, погода нимало не переменялась, и я согласно с моим желанием и требованием Ивана провел у него пять дней. Граф Владимир посещал нас часто и иногда просиживал по нескольку часов и время от времени знакомился со мною короче.

Образ жизни, мыслей и суждений Ивановых был всегда один и тот же. Он был чужд всего лишнего; принуждение в чем бы то ни было было ему неизвестно, выключая мелочей, внушаемых благопристойностию. Узнав, что я сам бывал не последний латынщик и философ, он с удовольствием приводил нередко тексты на сем языке и доставлял мне честь переводить оные графу Владимиру. Любимые книжки его были: «Библия», «Эпиктетов Энхиридион» [1] и «Разговоры древнего Платона». По-видимому, Иван был добрый христианин, хотя в именах не делал, кажется, никакой разности: когда надобно было утвердить мысль свою каким-нибудь доводом, он не заботился в выборе и прямо говорил: «Так сказал Иоанн Богослов, глава N, стих N; так сказал Сократ, глава N, глава N; так мыслил Эпиктет, глава N» и проч. Граф Владимир заметил ему сию странность в христианине, прибавя с улыбкою, что в Испании и Португалии недолго бы дали ему так возвышать язычников и ставить их наряду с богоугодными мужами!

— Я не стал бы и делать того в Испании,—отвечал Иван.— Упрямый слепой, который поднимает дубину на спину указывающего ему путь, достоин упасть в пропасть; ибо он к недостатку телесному, *непроизвольному*, присовокупляет душевный — *произвольный*. Что же касается до меня, то какая надобность в имени человека, который что-нибудь сказал? мне нужно знать, что он сказал, правильно или ложно, полезно или вредно, разобрать это и, нашед хорошее, приноровить в свою пользу.

[1] Известная книжка, означающая дневные записи Эпиктета, стоического философа.

Глава XII

Неудачные затеи

Погода переменилась. Настал прекрасный день, и хотя мне не хотелось так скоро оставить доброго, великодушного, умного Ивана, но, сохраняя благопристойность и боясь ему наскучить, я благодарил его за приятельский прием и просил из особенной милости объявить мне имя свое, дабы память оного сохранил я до гроба. «Я могу тебе,— отвечал Иван с улыбкою,— почти то же сказать, что сказано было некогда апостолу Филиппу: толико время был еси со мною и не познал меня, Филиппе! Куда идешь ты отсюда?» — «На родину в Орловскую губернию».— «Хорошо, и мне хочется посетить Киев, пойдем завтра, а сегодни останься у меня, наступает кроткий, прохладительный вечер, и мы можем наслаждаться им в здешнем саду. Не умен тот, кто, проведши неделю под кровлею, не спешит освежиться чистым воздухом, напитаться ароматами цветов и деревьев, любоваться, взирая на звезды божии и в глубине сердца поклоняться державному обладателю вселенныя!»

Пред закатом солнечным вошли мы в графский сад, который как обширностию, так и изяществом достоин был особенного внимания. Светлые ручьи струились с искусственных гор в каменные водоемы, окружаемые древними кленами и липами. Аллеи украшались редкими статуями, в приличных местах разбросаны были беседки на английский, италиянский, китайский и прочие вкусы. Прошед множество песчаных дорог и дорожек, достигли мы угла по правую руку сада возле почти самого дома графского. Там переплетены были между собою акации, у подножия коих росли ночные фиалки, незабудки и маргаритки. Под сводом деревьев стоял деревянный диван, по сторонам которого были мраморные бюсты на каменных подножиях Петра Первого и некоторых друзей его. Иван, подходя к дивану, снял шляпу, поклонился изображению Петра и, севши, сказал: «Вот величайший из владык земных! Данное ему прозвание Великого, кажется, мало выражает его величество».

Поговоря несколько времени о сем незабвенном государе со всем жаром молодости, он заключил благодарение всевышнему, что он время от времени осчастливли-

вает Россию такими повелителями. Потом остановился, помолчал и тихо запел известный стих из псалма:

Хвалу всевышнему владыке
Потщися, дух мой, воссылать:
Я буду петь в гремящем лике
О нем, пока могу дышать.

Тут вынул он из кармана несколько колен флейты, которая от давнего времени, давши несколько трещин, была связана нитками; но сие не мешало моему Ивану затянуть какую-то песенку в таком же тоне. Когда перестал и я отдал справедливость искусству его игры, несмотря на недостатки инструмента, взял флейту из рук и к немалому его удивлению задудил песенку, но едва успел кончить половину куплета, как загремел в воздухе звук роговой музыки, происходящий из дома. У меня от такой нечаянности выпала флейта из рук, а Иван, послушав несколько, сказал: «Видно, у Владимира гости; ничто нам не помешает слушать, и тем более удовольствия, что мы, быв уединены, не привлечем внимания и любопытства от сволочи знатных дураков, которые, увидя человека в платье без золота и серебра, так удивляются, как будто бы видели морского зверя». Когда роговая музыка замолкла, раздалась инструментальная, сопровождаемая хором певчих. «Пир не на шутку»,— сказал Иван, пряча в карман свою флейту, и, задумавшись, слушал внимательно, изъявляя движениями лица удовольствие. Около часа продолжалось наше занятие, как мужской голос позади нашей беседки нас рассеял. Мы оглянулись и, будучи совсем неприметны, увидели сквозь ветви дерев двух мужчин. Один был невелик ростом, отменно пузат и весь в галунах; другой в армейском мундире, с превысоким тупеем; Иван, рассмотрев их, сказал мне на ухо:

— Это старый бригадир, охотник до собак, вина и проч., и сын его, выпущенный капитаном из сержантов гвардии, хотя он и до сих пор стрелял из ружья по дворовым гусям. Послушаем их разговоры.

Отец. Перестань, повеса, врать! можно ли тому статься?

Сын. Пусть я и повеса,— в угодность вашу; но зато молод, хорош, воспитан, ловок, резов: словом, способен пленить самую несговорчивую...

Отец. Ха, ха, ха! молод, хорош! Что толку в красивом щенке?

Сын. Браво, батюшка! Какое сравнение! самое бригадирское.

Отец. Да, таки-так! ну чего будет девка искать в тебе? Стана ли? как засохлый репейник, на которого с головы ты и походишь. Лица? как повялый огурец! А то ли дело я? Обнять ли? так есть что. Поцеловать ли? есть во что. Она хочет ли обнята быть? — вот тут уж есть чем; ух! Да я тебе сейчас и пример покажу: не ты ли, молокосос, вертелся, кривлялся, прыгал, увивался и черт знает что ты ни делал, чтоб прельстить Юлию, дочь сельского моего управителя. Ну что, взял? Я все это видел,— и хохотал — ха, ха, ха! А как я, да, самый я, как только принялся, ан Юлия и растаяла! Сперва было, правда, позаупрямилась, но мы знаем, как нуздать ретивую лошадь, и Юлия, наконец, сдалась, да сдалась в полной мере! Ну что скажешь, прелестник?

Сын. А давно ли это было?

Отец. С неделю! Да! Говори же, ловкий, пригожий человек!

Сын *(шаркая, хохочет)*. Честь имею, милостивый государь батюшка, поздравить вас с величайшим счастием и отличием в пожилых ваших летах!

Отец. Ага!

Сын. Желаю вам и впредь наслаждаться такими преимуществами! По чести завидно! а я как преданный ваш сын не замедлю повестить во всем околотке, что бригадир, батюшка мой, и то считает за счастие, когда кое-как вползет в крепость, которую капитан, сын его, взял приступом, выломал ворота и сделал всякому прохожему свободный и пространный вход.

Отец. Как, что?

Сын. А так же, что я более месяца наслаждался уже прелестями Юлии — и клянусь вам в том, как честный человек и капитан. *(Убегает.)*

Отец. Ах, она непотребная! Не я ли дал отцу ее, бедному отставному маиоришке, убежище, жалованье, стол,— словом, все, хотя под тем видом, что он мой однополчанин и когда-то зарубил турка, целившего в меня, как я спал за кустарником. Виноват ли я был, что, выпивши лишнее для придания себе храбрости, против воли заснул на поле сражения? Ах негодная! Это все добро делал я для хорошенькой его дочери; а она, проклятая,— о! сейчас долой со двора, до нитки оберу,— и ступай к черту.

После сих слов он поспешно удалился. Сребристая луна взошла на небе, тень разлилась по саду и заслонила нас с Иваном, который хотел что-то сказать, но, услыша разговор женский, замолчал. Опять устремили мы глаза и внимание и услышали следующее.

Одна. Нет, никогда не прощу! Возможно ли, чтоб я видела в тебе такую дуру, нелюдимку, неотесанную куклу! О! Если бы я знала, что такие несчастные следствия выйдут от воспитания в монастыре, никогда бы эту статую туда не отдавала. Слава богу, я не нищая. Муж генерал и тысяча душ крестьян!

Другая. Что же мне делать, маменька? я не знаю.

Одна. Дура, что тебе делать? тебе девятнадцать лет, а ты еще не знаешь, что делать? Не приметно ли, что молодой граф около тебя трется? Он не щадит всех возможных сентиментов, а его слушают, о небо! если бы я была в эти лета! Что он говорит тебе, когда находит случай?

Другая. Что меня любит!

Одна. Хорошо! еще что?

Другая. Просит назначить...

Одна. Очень хорошо. А ты?

Другая. Ничего!

Одна *(с сердцем)*. Если я еще такой же ответ услышу, то увидишь! С этой минуты ты ни в чем не должна отказывать графу,— слышишь? ни в чем; он молод, хорош, богат и камер-юнкер.

Другая. Но если он после не возьмет меня?

Одна. Так возьмет другой, а граф по знатности своей не оставит его вывести в люди. Ведь чем же и отец твой вышел?

Другая. Но если другой не найдет во мне того, что составляет честную.

Одна. То я этой честной дам добрый урок, как повиноваться матери, которая всеми силами печется о ее счастии. Поди от меня и обойди кругом; я вижу, кто-то сюда идет!

Дочь ушла. Иван и я подвинулись на самый край дивана; и он шепотом сказал мне:

— Вот два примера наилучшего воспитания. Отец спорит с сыном о первенстве в приобретении какой-нибудь распутницы; а мать,— о боже, как гром твой не поразит ее!

Тут притащился высокий, средних лет мужчина в драгунском полковничьем мундире. Полная луна играла на

багровых его ланитах, он немножко пошатывался и потому часто опирался то об деревья, то о противостоящий решетчатый забор, призывая в помощь при каждом шаге черта и такую его мать. Подошед к прогуливающейся госпоже, остановился, поглядел пристально, потом оборотил ее к месяцу лицом, чмокнул, примолвя:

— Это ты! Я боялся ошибиться!

Она. Перестань, полковник, когда мы встречаемся наедине, ты всегда дерзок.

Он. Так и надобно!

Она. Пойдем, неравно муж...

Он. Твой старый дурак? Он сидит в углу и как добрый семинарист проповедует, как он бирал батареи! не надобно говорить, что делал, а надобно делать. Итак, я с вашего позволения хочу атаковать здесь, в сию минуту, крепость самого приятного местоположения.

Она. Тут есть деревянный диван,— такая темнота!

Он *(входя вместе)*. На что много свету? Однако берегись, чтоб не оцарапать личика, а то двойная для мужа потеря.

Она. Вот я уж и на скамье! сюда, правее.

Он *(идет, спотыкается об угол скамьи и падает)*. Чтоб сто тысяч чертей побрали того, кто эту скамью поставил. Я головою прямо об угол.

Она. Ничего, ничего, вставай; я помогу. Не я ли тебе столько раз говорила, что можно воину иногда повеселиться и погулять по одержании победы, а ты всегда горазд до начатия сражения. Что?

Он. Ну, я сел. А ты?

Она. Как жестко, ну да так и быть!

Он. Нет! хоть я и кавалерист, однако ж знаю, что такое учтивость! Пособи-ка мне скинуть мундир.

Они начали трудиться в сем деле, которое тем было труднее, что господин драгун шатался, однако, наконец, успели.

Тут Иван, дернувши меня за руку, легонько свистнул.

Она. Ах! что такое? свист?

Он. Пусть кто хочет свистит! Ба, еще свист. Кто тут? выходи! Нет никого! Это нам послышалось. Куда ты? что за дьявольщина? только было...

Она. Сс-сс! Я слышу тихие голоса, да и тень вдали видна. Молчи! бога ради!

Он. Как? я? Драгунский полковник? Однако и подлинно говорят: смотри же, ни слова!

Тут приблизилась еще пара; и по голосам узнали мы Володю и дочь почтенной госпожи, соседки нашей.

Володя *(таща ее)*. Сюда, сюда, милая Наташа! В сем мрачном гроте воздвигнем мы олтарь любви.

Наташа. Боже мой! Вы меня задушите. Постойте. Я сама пойду. Ах, как темно!

Володя. Не бойся! Страстный любовник твой с тобою!

Володя в темноте набрел на госпожу генеральшу, которая, испугавшись, бросилась в сторону и стукнула лбом прямо в лоб драгуна. Сей заревел, вскочил и, наткнувшись на Володю, сшиб его с ног; а сам, на полете за ним же, уцепился в волосы честной матери, и все растянулись на земле! Наташа в беспамятстве, желая скрыться, бросилась прямо на меня и, ощутя существо движущееся, ужаснулась и упала без чувств на катавшихся по земле. Мы не успели подать ей помощи.

Тут-то началась настоящая комедия. Когда все копошились подобно змеям, я, сострадая о бедной Наташе, вскочил, схватил ее за руку и вытащил из круга трех ратоборцев, которые начали уже свои действия. Драгун, который был сильнее прочих двух, зажмуря глаза, опускал тяжелые мышцы свои куда попало. Володя, получа две-три изрядные пощечины и несколько тумаков, озлился и также неробко защищался. Госпожа генеральша давно бы встала, но, по несчастию, так запуталась за шпоры драгунские, что никак не могла того сделать. Володя и госпожа, видя, что нет сил терпеть более, прибегли к последнему средству слабых, то есть кричать что есть силы и просить помощи.

Иван, который до сего был без дела, желая унять бунт каким бы то ни было образом, встал на диван, чтобы голос его казался снисходящим свыше, произнес громким голосом:

— Перестаньте! Аз бо глаголю вам! — Ужас напал на ратующих. Языки побежденных и руки победителя окостенели. Иван, чтоб больше оглушить их, продолжал:

— Хощу — да кийждо из вас восстанет в безмолвии и отойдет восвояси.

Они, может быть, бы то и учинили, как вдруг на углу беседки показались люди с факелами и свечами и мгновенно предстали на место сражения. Граф Владимир, окруженный толпою гостей, осматривал с удивлением предметы;

а сопровождавший его старик с обнаженною шпагою говорил:

— Не опасайтесь, граф, ничего; я с вами! О! и не таких врагов укрощал я! — Но когда осмотрел он пристальнее всех нас, задрожал, побледнел и произнес со стоном: — Боже мой! Жена, дочь — и в каком состоянии! Что это значит?

И в самом деле было чему подивиться. Госпожа была растрепана, с растерзанным подолом, выпачканным об ваксенные сапоги драгунские; а по обе стороны носа были выведены усы от нафабренных усов драгунских. Дочь ее была вся тоже в беспорядке.

Володя походил на чертенка; а драгун на самого сатану.

— Что это значит? — спросил граф Владимир у Ивана, все еще стоящего на скамье в ораторском положении, и сей отвечал ему:

— Спросите эту барыню! Всю комедию сию сочинила она и видела ее от начала до конца. Она приказала дочке своей оказать милость твоему Володе, а сама для оказания такой же милости сему господину полковнику очутилась здесь; не зная последнего, Володя привел сюда же и свою любезную,— это начало, а конец...

— А конец я сам понимаю,— вскричал с яростию муж и устремился к драгуну, который, схватя его за руку, сказал холодно:

— Постойте, господин генерал, и выслушайте! Может быть, вы теперь что-нибудь обидное думаете насчет чести моей и супруги вашей? Так знайте, что ошибаетесь! Третий день уже, как я беспрерывно пьян; а пьяный да старый неопасны в таком случае! Из сего вы должны заключить, что теперь уже третий день, как супруга ваша не нарушала должной к вам верности. Клянусь в том честию драгунского полковника; а если вы не верите, спросите у своей супруги,— она поклянется вам даже честию армейской генеральши.

Не слушая ответу, взял он под мышку мундир и оставил всех оторопелых. Володя скрылся за ним, там генеральша, и печальный муж, взяв дочь за руку, повел в покои, говоря:

— На что мне чины, на что мне богатство, когда я столько злополучен!

Иван, слезши с своей кафедры, подошел к графу и сказал дружески:

— Слышал ли ты, Владимир, последние слова бедного мужа и отца? Когда чины и богатство не делают людей счастливыми, на что же искать их мне и другим мне подобным, которые и без них столько довольны, следовательно столько счастливы, сколь можно быть на земле?

Вместо ответа граф, пожав у Ивана руку, сказал:

— Прощай, доброй ночи. Поутру увидимся. Мое присутствие нужно теперь в доме!

Мы расстались и пошли с Иваном в нашу хижину.

Глава XIII

Два суда

Едва я проснулся рано поутру, Иван, вошед в почивальный мой чулан, сказал:

— Пора быть готову. Кто собирается в дальнюю дорогу, не должен ждать восхождения солнца. Мы идем вместе. Между тем как я получу на письмецо мое к Владимиру ответ, ты оденешься.

В самом деле, когда я вошел в хижину, нашел там нашего мальчика и Ивана, читающего ответ. По прочтении развернул он узел и, отбирая некоторые вещи, говорил:

— Спасибо! Вот рубашка, два платка, новая Псалтырь в шестнадцатую долю. Это вещи нужные в дороге. Но это что за сверток? — Он развернул и высыпал на стол горсть полуимпериалов.— Ба, ба! на что мне столько этой дряни!

Он, отсчитав четыре монеты, сказал мальчику:

— Прочие отнести назад. Но постой, постой! Я и забыл, что сбираюсь в путь не один. Гаврило! может быть, тебе нужнее будут деньги, так возьми к себе остальные!

Мне и подлинно горестно было смотреть, как он столько золота отдавал назад. Итак, не заставляя себя просить вторично, а особливо Ивана, который никогда не прашивал, я начал в карман укладывать золото, проговорив ему, что я имею домик на родине, а потому надобно обзавестись хозяйством. Я успел отчасти узнать нрав его и нимало не благодарил, боясь, чтобы он не отнял данного. Взваля на плечи свои ноши, в коих сверх всего нужного помещено было довольно съестного и баклага с вином, мы пустились в путь.

Солнце румяное показалось на небе безоблачном. Жаворонки парили в воздухе, коноплянки прыгали по бокам

дороги. Все свидетельствовало радость и наслаждение. Веселая стрекоза чирикала в траве, и трудолюбивый муравей выползал из норки на дневную работу. Вскоре показались землепашцы с женами и детьми. Кто вооружен был серпом, кто — косою, кто — граблями и вилами. Веселые песни их были издалека слышны, которые, мешаясь с пением птиц, журчанием насекомых, шепотом трав, цветов и листьев древесных, составляли гармонию гораздо для меня, а особливо для Ивана, приятнейшую, чем вчерашняя графская музыка. Будучи в восхищении, мы шли бодро и не чувствуя усталости до тех пор, как солнце подошло к средней точке своего течения и пот показался на лбах наших. Иван, оборотясь ко мне, сказал: «Видишь ли, как все твари божии в природе постигают употребление своего времени! Они знают, когда веселиться, когда покоиться. Не слышно более жаворонка, не видно коноплянки,— всё отдыхает, отдохнем же и мы».

Своротя с дороги, вошли мы в березовый лесняк, поели взятой с собой провизии, выпили по глотку вина и покойно разлеглись на траве. Иван сказал: «Отдыхать не всегда значит то же, что спать. Буде тебе хочется, я могу теперь пересказать кое-что о себе. Чего не успею, кончу дорогою, нам должно быть к ночи в Киеве, а остается верст тридцать».

Я изъявил ему благодарность за доверие, и он начал следующее:

— Я родился в малороссийской Украине от дворянской фамилии и по окончании первого домашнего ученья послан был в Киевскую академию; воспитываясь несколько лет, быв не без дарований, я порядочно разумел уже латинский и польский языки, а со временем стал быть отличаем в философии и богословии. Когда достиг я двадцатилетнего возраста, то слава обо мне гремела по всему Киеву. Следуя давнишнему обычаю, там введенному и который, может быть, и доныне соблюдается, в праздничные и воскресные дни говорил я в церкви проповеди с кафедры и приводил в восхищение тамошних именитых граждан и гражданок. Ничто меня так не прославило, как две проповеди, замысловатейшие из всех бывших и возможных. Следствия велеречия моего были удивительны. В том же месяце три именитые гражданки, девицы, стеня под тяжестию кулаков родительских, вопияли, что и сами не знают, отчего чрева их воздымались; и пять воров, ведомые на площадь для выполнения приговора над их спинами, говорили смиренно

при стекшемся народе: «Помяни мя господи, егда приидеши во царствии твоем». Хотя был я и учим наукам и во всем руководствуем монахами, однако никогда не мог привыкнуть к их образу жизни. Сколько праведные отцы ни уговаривали меня вступить к ним в собратии, я никак не склонился и по случаю болезни моих родителей оставил ученость и ученых, богословие и богословов и отправился в деревню. Умирающий отец мой сказал мне: «Иван! Выслушай последние слова мои, и буди благословение мое с тобою! Будь всегда справедлив и нелицемерен. Не надейся на князи и на сыны человеческие. Люби простоту и убегай суетности. Не отягощай низших тебе,— ибо они братия твои!»

Я поклялся в душе исполнить сие завещание. По нем остался я наследником нового дома с прекрасным садом, прудами, пашнями и притом двухсот творений, называемых *крепостными,* не включая быков, коров, овец и бесчисленного множества кур и гусей.

Размышляя долго и притом по всем правилам логики, заключил я, что и крепостной человек есть точно человек мне подобный, имеет все преимущества души и тела, точно как и я пред другими животными, а потому бессмертную душу и свободную волю. Посему казалось мне, что стеснять последнюю — значит оскорблять первую и тем противиться высокому создателю той и другой. Основавшись на таких глубокомысленных началах, хотел я исправить прежнюю несправедливость предков моих и в первый праздник сказал превитиеватую проповедь собравшемуся народу, в которой, объяснив им право их и преимущества, яко таких же человеков, просил не отягчать себя лишним повиновением моим прихотям и, буде я приказывать стану что-либо недостойное человека, всегда напоминать мне, что они такие же чада господни.

Речь сия имела больше следствия, нежели прежние в Киеве. Народ провожал меня до дому с радостными восклицаниями и благословениями, называя отцом и благодетелем. День проводил я в упоении радости, а сон представлял мне лестные картины слыть благотворителем человеков.

Месяц и другой прошли довольно сносно, хотя день ото дня замечал я более перемены в моем доме и деревне и, к несчастию, перемены к худшему. Самые воздержные поклонники шинкам и дверям вдовьих изб стали посещать оные, прежде скрытно, а потом и явно. Эти два начала,

пустив глубоко корни, произрастили таковые же отрасли. Бесчинство, похабство, леность и вообще разврат воцарились в сельце моем. Я говорил еще несколько проповедей, доказывая, что хотя человек и одарен свободною волею, но что воле этой предписаны границы; однако удачи было мало: мужики, слыша, что я настраиваю пение свое на другой лад, уходили в начале проповеди из церкви прямо в шинок, напивались, дрались, мирились, опять напивались и опять дрались. Во всем селении не было ни одной взрослой девки, которой бы имя не было опятнано и которая стыдилась бы того, не было отца семейства, который бы об нем пекся; не было мужа и жены, которые бы во что-нибудь ставили взаимную верность. И такого-то добра натворил я премудрыми проповедями в течение двух с небольшим годов. Одно обстоятельство несколько сделало перемены. Народ, собравшись на перекрестке, повздорил с десятским и поколотил его. Обиженный бросился к тестю своему, сотскому, и требовал мщения. Сотский, покачав головою, отвечал: «Что ж делать, мы все равны!» Недовольный десятский плюнул ему в глаза и побежал к старосте, который на ту пору угощал какую-то вдову и, следовательно, занявшись другим делом, не вошел в разбирательство и вытолкал челобитчика в шею. Сей собрал партию молодых людей, пришел в дом старосты, вытащил на двор, поколотил весьма неумеренно, и после все пошли, распевая казацкие песни. Таким образом начался бунт, стоивший моим подданным много крови, волос, зубов, синяков, рогов и проч. Хотя видел я, что, монархию свою превратя в анархию, совершенно ослабил пружины, которыми укрощается неистовство ярящейся черни, однако, ревнуя о спасении стремящихся в погибель, я вмешался в толпу и возгласил: «Выслушайте меня!» — «Кого? тебя? — закричали все,— ты-то и зачинщик всему злу!» С сими словами посыпались на меня палочные удары, провожавшие до самого дома, где заперся я и поставил стражу из дворовых людей, которые на сей раз из прихоти взяли мою сторону.

Дело такого рода не могло остаться в тайне. Оно, переходя от одного к другому, дошло до воеводы; сделано исследование, и вскоре после оного явился ко мне дьяк с воинскою командою.

— Государь мой,— сказал он, вошед ко мне,— радуйтесь, дело ваше решено, и по определению канцелярии над вами, так как неспособны управлять своим имением, по-

ставлены опекуны, люди честные, добросовестные, именно — я и...

— Опекуны? — вскричал я,— надо мною?

— Так,— отвечал он,— но не над особою вашею, а над имением!

— Мне его ненадобно,— сказал я,— и от всего отступаюсь. Оставьте меня в покое и на своей воле; а с имением делайте что хотите, я уступаю его тому, кто первый захочет взять на себя тяжкую сию обузу.

— Господи боже! — сказал тихонько дьяк.— Вы судите здраво, как редкий воевода; но по силе установлений вы не имеете права никому передать своего имения,— оно родовое. А разве посредством продажи,— то дело другое. И то правда, крестьяне незавидные, пьяницы и воры, однако я найду совестного купца, который даст вам хорошую цену, и притом наличною монетою, а не обязательствами, по которым редко сполна получить удастся; и таковото купца вы видите пред собою.

Что долго говорить! Мы скоро сладили; я продал село за две тысячи серебряных рублей и оставил его, вздыхая от глубины сердца, что, желая сделать добро людям, наделал столько зла. Дьяк, как я слышал после, тут же пересек всех, правых и виновных, не оставлял деревню посещать чаще, всякий раз сдирал кожи с крестьян и чрез два года сделал их по-прежнему трудолюбивыми и трезвыми крестьянами. «Боже мой,— говорил я,— неужели такова натура человека, что одним игом гнетущим можно заставить его идти прямою дорогою! Неужели без узды всегда будет он вскарабкиваться на утесистые горы, дабы оттуда тем стремительнее ниспасть в пропасть?»

Сбыв так выгодно достояние предков моих, размышлял я, что должен начать в новом своем состоянии? Говорили мне, что столицы суть источники счастия, но не скрывали и того, что для достижения оного надобно уметь кланяться, ползать, пресмыкаться. Это совершенно мне не нравилось, и я поклялся остаться навсегда тем, чем произвела меня высочайшая мудрость, то есть свободным человеком. Посему решился я посетить опять Киев и, нанявши *Харька*[1] с телегою и лошадью, выехал из деревни. Харько был седой старик и считался самым честным человеком во всем околотке; а потому я во время дороги рассуждал с ним с братскою доверенностию и уважением.

[1] Малороссийское название Харитона.

На третий день нашего пути, когда солнце приближалось к полудню и мы с Харьком, остановясь близ дороги в дубовом леске, пообедали, я лег у корня на траве и крепко заснул. Пробудясь, как ни старался привстать, но не мог; а Харько, поглядывая на меня с улыбкою, сокрушал своими челюстями окорок ветчины.

— Что это значит,— вскричал я,— что не могу встать?

Он. Потому, что ты плотно привязан к дубу!

Я. Кто же привязал меня?

Он. Я!

Я. Зачем?

Он. Чтобы мне уехать с твоими деньгами!

Я. Проклятое серебро! но я тебе добровольно отдаю все, только освободи меня!

Он. Я уж сед, а ты хочешь обмануть меня. Нет, дружок, меня не проведет и жид. Пусти только тебя, так меня же свяжешь, да еще и в суд отвезешь! Нет! оставайся с богом; он пошлет к тебе человека, который освободит тебя из неволи.

Старый сей бездельник снял передо мною шляпу, начал кланяться, подражая деревенским боярам, сел в телегу и поехал. Но не успел проехать пяти сажен, остановился, опрометью соскочил, и на лице его изобразился страх. В скором времени наскакало к нам человек около полсотни конных, с длинными копьями, длинными карабинами и предлинными усами. Я и сам не знал, что об них думать?

Когда герои спешились и нас окружили, то малорослый человек, весь обвешанный кинжалами и пистолетами и отличный по красному кафтану, спросил у Харька:

— Кто ты, откуда и куда?

— Милостивые государи,— отвечал старик,— я простой крестьянин и наряжен отвезти в город сего человека, который, к несчастию, сошел с ума и непомерно зол. Для того я его и...

— Для того-то надобно и освободить его,— сказал грозно предводитель.— Добрые, мягкие люди ни к чему не годны на этом свете, где все забыто, честь, совесть, правда!

Меня отвязали; и когда заставили сказать о себе истину, то я без всякой утайки объявил обо всем. Малорослый герой показал грозный вид. Глаза его горели огнем гнева и мщения, и каждый волос на усах его шевелился. Наконец сказал он толпе окружающих его:

— Братья и товарищи! Мы клялись взаимною верностию и правосудием неба быть верны и правосудны. Ду-

мали ли мы, что сегодни будем исполнителями священной воли вышнего!

После сего приступили к Харьку с вопросами: и оказали себя не менее искусными в разведывании правды, как самые опытные приставы тайной канцелярии.

Он повинился и, повалясь в ноги пред старшиною, просил помилования.

После некоторого молчания старшина, опершись на ружье свое, произнес следующее решение:

— Знал я и уверился, что многие богатые люди, избалованные счастием, исполнены лжи, коварств, наглостей и всякого рода несправедливостей; знал я, что они попирают законы или обращают их только к погибели нижней части народа; знал я, что они облиты были потом, кровию и слезами несчастных,— все сие знал я и восхотел быть судьею по праву, данному мне природою, по праву *сильного!* Но никогда не воображал, что и сия низкая часть народа, забыв закон божий и царский, может быть столько же злобна и несправедлива, как и часть, ее угнетающая. Преступление старого плута сего явно, да будет и суд над ним и осуждение наше также явны. Повесьте его на суку древесном.

Несмотря на мои просьбы, несмотря на вопли и рыдания Харьковы, он исправно был повешен и скоро предал грешную душу свою кому принадлежать должна по смерти. После чего начальник судей сих сказал мне:

— Ты ступай своею дорогою, деньги твои с тобою. Вдобавок выслушай наставление: никогда не вверяйся человеку, который ниже тебя в чем бы то ни было, ибо зависть и корыстолюбие всегдашние спутницы нашей жизни. Остерегайся людей более, нежели медведей,— и поверь в том мне, Гаркуше, славному атаману сих храбрых витязей!

Тут все сели на лошадей и ускакали.

Я не мог собраться с духом, узнав имя страшного судии Харькова. То был знаменитый разбойник с многочисленною шайкою, который сделался ужасом целого округа. Особенно свирепствовал он противу дворянства. Злодейства его превышают вероятие; и бедные дворяне, от рук его пострадавшие, едва ли не были бы во святых, если бы не прошла на то мода. Но при всем том, он был самым праведным судиею между мною и Харьком.

Я не смел и прикоснуться к висельнику, а потому, севши в телегу, поехал; но и я также не отъехал двадцати шагов, как увидел скачущую прямо на меня команду. По

приказанию начальника я остановился и на первый вопрос: встретил ли Гаркушу, отвечал: «Да!» Меня осмотрели и при виде серебряных денег все вскрикнули радостно: «Ага! Это из шайки его!» Когда я собирался рассказать им похождение свое, то новые герои не были так терпеливы, как прежние. А увидя висящий труп Харька, подняли вопль и мгновенно решили, что я — вор и разбойник; что я задавил крестьянина, чтоб воспользоваться его деньгами, и проч. и проч. Что могли подействовать мои уверения в противном? Меня вновь связали, положили на телегу вместе с Харьком — и повезли в город с таким хвастливым торжеством, как будто бы пленили самого разбойничьего атамана.

Не буду говорить о тюрьме, куда меня в городе посадили; ни о пяти месяцах, употребленных судом на отыскание заблудшей истины. Довольно, что меня выпустили идти, куда господь управит стопы мои, нага и нища, как вышел я из первоначальной темницы, утробы матери моей.

Вышед из города, с должным благоговением предал я анафеме и серебро и горячих его любителей и поклялся никогда не иметь его более, сколько необходимо на продовольствие одного дня. До Киева шел я, как древний патриарх — если чувствовал голод, входил в первую избу и спрашивал хлеба. Буде мне отказывали, что, однако же, было не более двух раз, я входил в другую и получал желаемое. Достигши Киева, колыбели моей учености, явился к знакомым монахам и мирянам, рассказал свои приключения и возбудил в последних сожаление, в первых громкий хохот. Однако ж и сии, насмеявшись довольно простоте моей, дали мне место службы — быть учителем моральной философии при тамошней академии, и я охотно принял звание педагога.

Глава XIV

Особняк

Приняв на себя священную обязанность преподавать молодым людям правила жизни, дабы соделать их сколько можно благополучными, вместе с тем принял я намерение совершенно отличное, нежели какое имеют прочие учители; именно: толкуя с кафедры о кротости, воздер-

жании и правосудии, я поклялся быть во всю жизнь и кротким, и воздержанным, и правосудным; и притом не только на словах, но и на деле. Таковое поведение не могло остаться незамеченным, и я повсюду прослыл *Особняком* и под сим именем стал известным повсюду. Чтобы речи мои были разительнее и правила, так сказать, очевиднее, я старался подкреплять оные примерами, и не по обыкновению какими-нибудь отдаленными, но, напротив, самыми близкими и в глазах свершившимися. Так, например, однажды говорил я: «Знаете ли, что войсковой атаман и бунчуковый товарищ [1] сидят теперь в тюрьме? А за что? За то, что они, сошедшись вместе у вдовой шинкарки, понагрузились волошским, поссорились, подрались, а после совокупно поколотили городскую полицию, прибежавшую разнять их. Что сему причиною? Плотоугодие, пьянство, гордость!»

В другой раз просили меня сказать надгробную речь над телом тамошнего войта, или градоначальника; я начал так: «Се предлежит пред очами вашими по телу старец, а по духу младенец, по уму хуже всякого животного! Что означает толщина необъятного чрева его? Неужели воздержание? Обрюзглые ланиты его?» Дальше не дали мне витийствовать и прямо из церкви повели в покаянную, где и просидел я три дни на хлебе и воде; ибо войт был родной брат настоятеля. Сие, однако, не уменьшило моей ревности к справедливости, и слава обо мне разнеслась повсюду. Не понимаю, каким образом, только получил я из Петербурга офицерский чин и противу воли прицепил шпагу. В тот же самый день, когда шел я с учительскою важностию по мостику чрез небольшой ручей, шпага моя попала меж ног, я оступился и полетел стремглав в воду. «Проклятая выдумка! — говорил я, вылезая на грязный берег.— На кой черт шпага человеку не военному и во время мирное?» Я оторвал ее, бросил в ручей и положил не надевать более и не вспоминать о своем офицерстве; мальчики с сильным криком провожали меня до самой квартиры.

Проведши несколько лет в сей должности и время от времени утверждаясь в своих правилах, хотя и совершенно спокоен был в своей совести, однако узнал, что противу меня весь монастырь и академия взбунтовались. Не

[1] Прежние чины в Малороссии.

было ни одного дня, в который бы я не чувствовал озлоблений. Проходя оградою, я нередко получал в спину удар камня, пущенного невидимою рукою. Наученные ребята не переставали гоняться за мною, аукая и крича всякие непотребства. Кто из них отличался дерзостию, получал в награждение от гонителей моих какой-нибудь детский подарок, соразмерный отваге. Я видел, откуда все это происходило, и, нимало не смущаясь, продолжал свои наставления и примеры. Сам ректор иногда увещевал меня быть снисходительнее как к собратии, так и прочим людям. Но я уверял его, что выставляемые мною примеры имеют удивительное действие на слушающих, и продолжал держаться своих правил. Это, однако, не прошло даром. Узнал я от одного из учеников, что первостатейный член ратуши, человек пожилой и семьянистый, пробыв в Москве месяца с два за нужными покупками, возвратился домой с заморскими гостинцами, сахаром, кофеем, ванилью и такою хворостью, которая в то время ужасала и самых молодых людей. Я не упустил сего случая употребить в наставление юношеству и в первый случай сказал в классе: «Лицемерие есть порок важный, и употребляющий оное увеселяет собою демонов. Например: кто бы подумал, что ратман наш не есть праведный старец? Не он ли, стоя на молитве, тяжко вздыхая, ударяет себя в перси и устремляет очи горе; ан все выходит обман». Тут рассказал я обо всем подробно, увещевая юношей остерегаться всех искушений, могущих ввести их в пагубу. Один молодой мой слушатель, который был племянник богатой гражданки, кумы ратмана, донес о сем своей тетушке, которая, отчего-то взбесясь, прибежала к его чести, влепила несколько пощечин, вырвала клок волос и, уходя, сказала оторопевшему старцу: «Вот тебе, бездельник! Чтоб нога твоя не была у меня в доме! Было бы тебе, вору, известно, что я сегодня же посылаю за бургомистром, который так давно привязан ко мне. Черт с тобою, разбойником!»

Скоро узнал ратман, отчего взялась сия буря, и я немедленно был позван. Глаза его пылали яростию, и он дрожащими устами выговорил:

— Как дерзнул ты, проклятый человек, рассказать обо мне столько поносного,— и при всей школе?

Я. Ведь это правда!

Он. О душегубец! И теперь ты то же повторяешь и в моем присутствии?

Я. И готов повторить пред целым светом, зачем ты такой мерзавец!

Он. Праведное небо, и вы, святые угодники! Видано ли где подобного нечестивца?

Я. Подобного тебе! Ты — фарисей лицемерный, одно говоришь, а другое делаешь!

Он. Прости, господи, рабу твоему!

С сим словом начал он крестить меня своею тростью. Я крайне был поражен, однако не лишился присутствия духа. Не видя подле себя вблизи ничего, кроме кожаного чубука от трубки, схватил его и начал помахивать направо и налево со всею силою, вверенною мне промыслом. Ярость с обеих сторон возрастала. Видя оба, что трость и чубук худо пронимают, он схватил меня за косу, а я его,— как он ходил по-польски,— за усы. Картина, достойная кисти Рафаэля! Наконец, мы от избытка мужества оба подняли ужасный вопль, на который сбежались его люди и по всей справедливости пленили меня и представили пред начальство, где ратман задорно объявил, что если меня не накажут келейно, то предан буду публичному суду и наказанию. Настоятель наш признал слова его разумными и со всею братиею единогласно осудил на домашнее покаяние. В монастырской тюрьме просидел я более двух месяцев в крайнем умерщвлении плоти. Поутру и ввечеру приходили ко мне четыре монаха, ставили на стол хлеб и воду, после, разложа на полу, отсчитывали полсотни ударов воловьими жилами. Они тем ревностнее исправляли сию должность, что не было ни одного, которого бы не приводил я в пример в своих уроках, но, к несчастию, не при описании добродетелей. Наконец, меня вывели на свет и, проводя полновесными ударами до ворот, увещевали с братскою любовию быть впредь скромнее и не клеветать на честных людей.

Слух о сем происшествии разнесся по всему городу. Все любопытствовали меня видеть, и одни сожалели, другие смеялись, третьи ругали. Шел ли я по улице, стоял ли в церкви,—везде слышал: «Вот, вот *Особняк!* Ах, какой же он жалкий; ах, какой смешной; ах, какой бездельник и с рожи!» Из числа первых, то есть жалеющих, нашелся один, который предложил мне, не хочу ли я быть учителем сына его? Получа согласие, отправился со мною в деревню, где должны были начаться вновь мои витийства. Ученик мой был довольно изрядный мальчик, и зато отец

столько странен, что я и не слыхивал о подобном, хотя от всех почитаем был за умного и доброго, ибо имел довольный достаток и посредством лошадей, карет, колясок, табакерок и часов время от времени получал чины и в приезд мой был уже подполковник. Поутру рано садился он на софу, курил трубку и глядел в книгу. Потом самым тихим голосом произносил: «Мальчик!» Это повторял раз пять, шесть и, видя, что никто нейдет, вскакивал как бешеный, топал ногами и кричал: «Люди, люди!» Бедные люди на вопль сей сбегались со всех сторон, и он спрашивал: «Как ты, Петр, осмелился не слушать своего господина и не идти, когда зовут тебя?» Не слушая извинений Петровых, он кричит: «Иван! ударь мошенника Петра!» И когда Петр получал удар и другой, господин приказывал остановиться и грозно спрашивал у Ивана: «Как смел ты так больно драться?» После сего приказывал Петру отмстить за себя и бить Ивана, Фоме Сидора, Архипу Власа и так далее; тут начиналось кровопролитное побоище, причем не запрещалось слугам произносить всякие ругательства, в таких случаях бывающие. Повеселясь сим зрелищем и нахохотавшись досыта, господин приказывал уняться и каждому выпить по стакану вина. Из сего можно заключить и о прочих поступках моего хозяина и что мне в доме его не так-то было приятно. За всякую безделицу грыз он голову жене и лез драться, или по крайней мере пугал тем ее; она же, зная его обычай, хватала в руки что попадалось, кидала в мужа, и он на том же месте падал на пол и притворялся мертвым. Пролежа минут пять, поднимал голову и спрашивал у предстоящих слуг: идет ли у него кровь? Сохрани боже отвечать *нет;* и потому те всегда говорили: «Идет, сударь!» — «Много ли?» — «Очень много!» — «Да жив ли я?» — «Нет, сударь, вы умерли!» После сего он жалобным голосом произносил: «Вот видишь, Авдотья, ты меня убила! Бог тебе судья!» Пролежав несколько, вставал спокойно и принимался за другие дурачества.

У него часто баливали зубы, и тогда худо, кто его рассердит. Первое дело его — прикажет поставить пред образом множество свеч и, ставши пред ним на колени, самым сокрушенным голосом просил унять боль; когда же не чувствует облегчения, встает, выправляется и сердито произносит: «Как? ты не пособляешь? За что же ставлю я тебе свечи? Люди! Снимите все, нет ни копеечной!» Волю его исполняли, и он отходил спокойно. У такого безум-

ного не мог я пробыть долго. Однажды он, лежа на полу, спросил меня: «Правда ли, что жена меня убила?» — «Давно бы пора,— отвечал я,— послать к черту такого сумасброда!» — «Как? что?» — «Так, что ты всем здесь надоел своими безумствами».— «Ахти! люди!»

Люди сбежались; и он с важным видом уверял их, что я готовился его убить и что хотя бы следовало отослать меня в суд, но он того не хочет, а велит выгнать меня из дому и выкинуть чемоданчик в окно. Все было исполнено, и я вышел, благодаря бога, что так легко разделался с бешеным. Мне впало на ум, что невдалеке живет одна пожилая помещица-вдова, имеющая взрослых детей, итак, я пошел к ней в деревню предложить свои услуги. Рассказав ей причину выхода моего из дому прежнего, привел в великий смех, и она сказала: «Вы хорошо сделали, что оставили такого шута. У меня вам будет веселее; и я наперед скажу, что не люблю ни в чем принуждения и зато ни в чем другим не препятствую; всякий живи себе как хочешь». Я похвалил образ ее мыслей и остался быть ментором двадцатилетнему ее сыну, восемнадцатилетней дочери и такой же племяннице.

Теперь я коротенько расскажу тебе о новых странностях, которые увидел я в сем доме: они так необычайны, что не всякий и согласится поверить; по крайней мере поверь ты мне, как такому человеку, который страстно любит правду, терпел за нее неприятности, но никогда в том не раскаивался.

Около недели провел я в доме, занимаясь преподаванием уроков, и заметил, что в оном господствовал величайший беспорядок. Слуги братались с господами, и господа совершенно умертвили стыд, совесть, благопристойность. Я не мог стерпеть, чтоб по обыкновению не сказать доброй проповеди и не выставить примеров из них же самих. Мать, тут же случившаяся и наполненная вдохновением Бахуса, сказала мне, смеючись: «Я и не думала, чтоб ты был такой святоша! Мы все знаем, что жизнь однажды дана человеку, зачем же изнурять себя принуждением? Без всяких обиняков скажу тебе, что я считаю за удовольствие хорошо съесть, хорошо выпить — и после отдохнуть!» Она насказала мне столько диковинного, столько отвратительного и так открыто, без малейшего угрызения совести, о правилах, употребляемых как ею, так и детьми ее в жизни, что я и теперь содрогаюсь. Речь свою кончила она таким предложением, что я совершенно окаменел от удив-

ления, смешанного с величайшим негодованием. Пришед в себя, перекрестился и прочитал: «Да воскреснет бог!» — ибо я истинно думал, что попал в ад нечестия. Вышед из комнаты дрожащими ногами, схватил я походную суму свою и бросился бежать что есть силы, боясь, чтобы огнь небесный не попалил и меня вместе с беззаконными. Я не смел даже оглянуться, чтобы по примеру жены Лотовой не превратиться в соляной столб.

С тех пор принял я твердое намерение не брать на себя должности наставника и вести жизнь сообразную с моею склонностию и правилами: держаться правды, не льстить, не изгибаться, презирать все лишнее и ни в ком не иметь нужды. Как скоро окружное дворянство и купечество узнали, что они для меня не нужны, то наперерыв стали искать случаев чем-нибудь одолжить меня. Где я ни появлялся, везде приносил с собою праздник. Требования мои сделались законом, и всякий почитал за безбожие в чем-нибудь отказать мне, да и я, с своей стороны, не требовал невозможного или даже трудного. Так провел я более двадцати пяти лет; и, благодаря всевышнего, всегда был здоров и доволен в духе. На что мне золото, на что драгоценности? разве они прибавят мне силы, бодрости, веселия? Совсем напротив! Я всегда уверен, что утешнее быть зрителем, нежели предметом зрения; и чем смешнее роля комедианта, тем ему труднее разыгрывать ее; а где труд, там уже нет удовольствия.

В таковых и сим подобных разговорах застигла нас ночь в дороге. Мы удвоили шаги и около полуночи дошли до стен монастыря возле Киева. Глубокая тишина всюду царствовала.

— Гаврило! — сказал Иван,— нам должно будет беспокоить обывателей в городе, так не лучше ли отдохнем на кладбище сего монастыря; а я вижу, что и калитка отворена.

Мы вошли в ограду и спокойно полегли у корня березы возле каменного надгробного памятника. Уже сбирались мы сомкнуть глаза, как раздался издали шум и крик, вскоре показались зажженные факелы и множество суетящегося народа обоего пола.

— Что нам до них нужды? — сказал Иван.— Они, видно, спокойно спали весь день, зато теперь бодрствуют,— уснем!

Глава XV

Новая встреча

Между тем шум увеличивался. Открыв глаза вторично, увидели мы, что суетящаяся толпа приближалась к нам. Наконец, достигла, и одна монахиня, бросившись на шорох, движением нашим произведенный, споткнулась на меня и полетела в траву. Я хотел вскочить, но как-то неловко, и очутился подле нее. Кто изобразит общий веселый крик: «Поймали, поймали!» Один Иван, спокойно поднявшись на руку, спросил:

— Кого поймали? Если все вы не нечистые духи, то пойдите и отдыхайте; если же вы черти, каковыми по наружности и кажетесь, то знайте, что мы — христиане и не допустим шутить так нахально.— После сих слов начал он креститься большим крестом и читать вслух молитвы, дуть и плевать на изумленных предстоящих, приговаривая: — Исчезни, сила вражия! — Кончив все, опять улегся на дерну.

— Ого! — сказал протяжно малорослый плешивый старик,— никак, эти злодеи вздумали над нами насмехаться? Посмотрим, поглядим! «Вознесу рог свой и поперу льва и змия». По данному повелению нас подняли и увещевали идти добровольно за проводниками, если мы не очень охочи до понуждений. Видя, что нечего делать, мы пошли, а прежний плешак воспевал, следуя за нами: «Израиль фараона победи,— славно бы прославися». Скоро очутились мы в одной келье и всеми оставлены. Видно, в сумах наших не ожидали найти что-либо достойное любопытства, ибо их вслед за нами покидали в наше убежище. Иван немедля лег на полу, положа голову на сумку и предлагал мне сделать то же.

— Как,— спросил я,— ты ничего не заботишься, находясь в таком положении?

— Правда,— отвечал он,— что на чистом воздухе приятнее бы было спать, но что делать? Кажется, не мы сюда зашли, а нас затащили. О чем же думать? — Сказав сие, он заснул, а погодя несколько и я!

Рано поутру мы проснулись и долго прождали, пока кого-нибудь увидим, чтоб узнать цель нашего заключения. После ранней обедни явился к нам вчерашний плешивый пузатик и сказал:

— Радуйтесь, вы свободны! Один случай был виною, что с вами поступили, как с подозрительными людьми.

Правда, хотя таковые случаи и не редки в свете, однако же все нельзя и нашему брату, опытному старику, на всякий раз остеречься; ибо и пророк Давид сказал: «Все людие есмы, и все плоть и кровь». Если вы удостоите нижайшего вашего слугу, пономаря Сидора, посетить в его затворе и разделить с ним утреннюю трапезу, то он объявит вам, сколько ему ведомо, обо всем происшествии.

Видя доброхотство сего человека, мы согласились на его предложение: пришли в хижину, стоящую в углу ограды, приняли простые дары его, состоящие в хлебе, луке, репе и тому подобных плодах, и когда он увидел, что мы готовы его слушать, начал такими словами:

— Господь сказал устами святого пророка, право не упомню которого, но какая, впрочем, нужда,— довольно он сказал, что «лучше женитися, нежели разжигатися». Один богатый господин, недалеко отсюда живущий, будучи упрям, аки *Валаамова ослица,* не хотел верить сим словам и продолжал уговаривать при всяком случае Анфизу, дочь нашей игуменьи, также дворянки не убогой, что он ее любит, не говоря ни слова о *женитьбе.* Анфиза наша *мудра, аки змея, и чиста* — ну хоть и не *аки голубица,* однако ж и не уступала в том целомудрейшим девам, воспитывающимся в нашей обители. Она, вместо того чтобы объявить о том своей матери, тщилась привлечь сердце его к себе прелестями и ласками. Наконец, нечувствительным образом сама она стала разжигаться и мало-помалу, забывая стыд девичий, дозволила любовнику вкусить от древа разумения. Это открылось после; писано бо есть: «Не утаиши шила в мешке. Предавыйся плоти раб диаволу есть». Так и с Анфизой. Намереваясь учинить побег к своему любовнику, она оставила в келии своей писание, возвещающее о том матерь свою.

Едва вышла она за двери, как игуменья вошла туда, прочла письмо и подняла такой крик, что мы сначала почли ее борющуюся с самым бодрым демоном. Когда же поведала она о вине своих воплей, то погоня отправилась; и прежде нежели Анфиза успела оставить ограду, я уже заключил врата дубовые на вереях железных. Прежде напали на вас; и, почитая одного похитителем, другого помощником, препроводили в безопасное убежище. Когда потом спешили мы известить матерь-игуменью, другая часть соглядателей нашла Анфизу, скрывающуюся под камнем, подобно зайцу трусливому, сказано бо есть: «Камень есть прибежище зайцем». Наутро открылся *страш-*

ный суд над Анфизой. Игуменья, облаченная в мантию и опираясь на клюку, явилась в сопровождении матерей наместницы, ключницы и всех вообще. Я и громогласный клирик Киприян заключали шествие. Когда все уставились по местам, допросы начались и кончились признанием Анфизы, что она, желая только по ребячеству своему пошутить над матерью, написала письмо к ней; вышла насладиться ночным воздухом, но, увидя факелы, множество народа и услыша вопль и крик, возмнила, что разбойники ворвались в обитель, а потому решилась укрыться под камнем.

Выслушав сие чистосердечное признание с подобающим вниманием, игуменья, возвыся голос, рекла: «Хотя преступление твое и маловажно и должно приписано быть младенческой неопытности, однако, дабы прочие могли размышлять, колико тяжко есть шутить над игуменьею, хотя бы она была ближняя свойственница по плоти, и выходить из келии по ночам,— ты, Анфиза, будешь наказана телесным покаянием!»

По данному знаку смиренные слуги монастырские — я и клирик Киприян — явились впереди, вооруженные по пучку лоз в десницах наших. Сколько ни упрашивали прочие праведные матери о милосердии над неопытною девою Анфизою,— тщетно. Она вскоре явилась пред нами, яко же древле Мария Египетская пред праведным Зосимою. Не хвастовски сказать, я принялся действовать оружием с таким же искусством, как архангел при изгнании из эдема преступника Адама с его Евою. Тот выгнал обоих, а я только одну маленькую Еву. К общему ужасу мы увидели двух кричащих: и неопытную деву Анфизу и еще неопытнейшую девицу, рожденную под ударами нашими. «Чудо!» — вскричали все мы; руки наши, поднятые вверх, окостенели; и игуменья, упадши с воплем на пол, уронила клобук и разбила очки. Прочие не знали, что и делать, как матерь-наместница, которая в подобных обстоятельствах оказывала геройское присутствие духа, вещала нам: «Оставьте все меня и игуменью здесь. Мы одни рассудим об опасности для неопытных дев выходить по ночам наслаждаться чистым воздухом». Мы и удалились. А как я рассудил, что вы отнюдь не виновны, то и выпускаю вас, именем божиим, куда угодно шествовать; тем более что я довольно знаю того господина, который прельстил Анфизу к ночным прогулкам.

Когда велеречивый наш Сидор кончил повествование о неопытной деве Анфизе, увидели мы, что мимо нашего окна проходили монахини. «Вот вся наша благочестивая сволочь,— сказал хозяин,— и буде хотите, я вам донесу об них кое-что. Эта дородная пожилая матерь Олимпия была прежде содержательницею дома, куда собирались старые и малые провождать время нескучно. За что-то она поссорилась с полициею, которая и присудила ее выслать из города. Она не нашла лучшего убежища, как постричься в монахини. Другая поотдаль, более похожая на остов, нежели на существо живое, есть девица знатного происхождения. Она долго была равнодушна ко всем искательствам любовников; все они казались ей не стоящими соответствия, и она отвергала их предложения, пока любовь повергла ее в обитель нашу. В доме отца ее был дурак, немой и глухой. Сей-то предмет привлек взоры нашей несговорчивой; и она дозволила ему более, нежели должно было. Говорят, что умный любовник опасен, но я заключаю, что и дурак не менее того. В первый праздничный день, когда гости пожелали видеть дурака, он вошел в собрание, и как и у дураков есть позыв на еду, питье и проч., то и сей бросился к молодой госпоже, опрокинул, и прежде нежели оторопелые гости могли что-нибудь придумать,— он успел обнаружить более, нежели должно было. Следствия были плачевны: мать вскоре умерла с печали; отец умертвил дурака и был наказан, не знаю как; а дочь не нашла лучше, как укрыться в нашу обитель. Третья, которая идет, потупя глаза в землю, сказывают, была женою одного превеликого плута, который, будучи любимцем у польского министра при прежнем правлении, делал всякие злодейства. Благочестивая жена не могла с сим разбойником ужиться; презрела мир и суету его и к нам удалилась».

Рассказчик перестал, увидя, что я в лице переменился. Да и было отчего, когда в сей монахине узнал свою Феклушу. «Праведное небо,— сказал я сам себе, неужели эта женщина и теперь также лицемерит под прикрытием священной одежды?»

— Любезный друг,— продолжал я к Сидору,— доставь мне случай повидаться с сею монахинею наедине. У меня есть важные для нее известия от мужа, которого знал я коротко!

— Право? — спросил Сидор.— Но наперед скажу, что мать Феодосия опытнее девицы Анфизы, и не знаю, со-

гласится ли она выйти в сад наслаждаться вечерним воздухом. Однако посмотрим.

Что долго описывать случаи, причинявшие нам горести. Увиделся я с первою моею супругою. Слезы ее раздирали мое сердце.

— Такова-то жизнь человеческая,— сказал я,— можно ли было думать прежде, что когда-либо я, изгнанный любимец величайшего вельможи, буду прощаться с женою-монахинею в сей обители?

— Князь,— сказала она, наконец,— нам надобно расстаться, и уже в последний раз. Каждая встреча будет нам обоим крайне горестна. Вы еще в тех летах, что можете составить себе счастие другим выбором. Потеряв невозвратно и любовь вашу и почтение, потеряла я навсегда счастие и решилась в уединении сем провести горестный остаток жизни. Помолите бога, чтобы он простил мне в тех печалях, какие вам причинила. Простите!..

С сими словами она удалилась, и я уже не видал ее более. Несколько месяцев спустя получил я известие, что ее нет более на земле сей. Я пролил слезы сердечные в дань ее памяти и молил бога о кающейся матери моего Никандра.

Мы с Иваном оставили монастырь и продолжали свое странствование. Дорогою ничего не случалось с нами такого, что бы стоило быть упомянуто. В Киеве расстались мы с обоюдным сожалением. Иван пошел к своим знакомым, а я обратился по дороге к Орлу и по времени прибыл в Фалалеевку, дорогую свою родину.

Глава XVI

Мертвец

Закатилось солнце, когда приближался я к селу Фалалеевке. Увидел жестяную голову древней нашей церкви, и сердце мое затрепетало. Проходя чрез кладбище, не мог я не посетить гробов родительских. Долго стоял на коленях в изголовье могилы князя Симона. «О, если бы,— говорил сквозь слезы,— внимал я словам твоим, родитель мой,— никогда бы не вытоптал своего огорода, никогда бы не был мужем Феклуши, никогда бы не секретарствовал у великого боярина, но и никогда не был бы столько несчастен!» Что я тогда чувствовал, было неизъяснимо.

Я походил на ребенка, которого прежде времени отняли от груди матерней и после нескольких дней опять дали ему напитаться молоком ее. Никогда живее не чувствовал Горациева стиха et fumus patriae dulcis [1]. Выражение сие в тогдашнее время пришло мне на мысль кстати; ибо, подходя к своей хижине, увидел, что она полуразвалилась. Крапива и репейник господствовали в огороде. Словом, взошедший месяц представил мне из прежнего моего обиталища обитель разрушения.

У самых ворот,— или места, где они когда-то были, ибо я не видел и следа их,— увидел несколько пожилых князей, кои, проходя мимо, важно крестились, произнося: «С нами крестная сила!» Следовавшие за ними маленькие князья и княжны делали противу моего дома шиши и аукали, не забывая, однако же, держаться за родительские балахоны. Из сего заключил я, что в моем доме нездорово, а потому, остановя их сиятельства, сказал:

— Государи мои! В деревне сей хочу я отдохнуть от дороги, и как теперь несколько поздо, то намерен провести ночь в сей пустой избе, дабы не быть в тягость почтенным князьям. Скажите, ради бога, отчего вы так усердно креститесь и, кажется, призываете в помощь бога?

— И крест его честный,— сказал старейший из князей.— Знай, что в сей избе завелся недавно мертвец и не дает нам покоя. Три уже дни и ночи, как он тут стонет и, несмотря на все наши заклятия, не унимается. Это и значит, что он не христианин! Завтре присуждено передать его заклятию, что и учинить должен наш дьячок Яков и славный знахарь Мануил, который, бог ведает за что будучи разжалован из священников, пустился в колдовство и ныне славный ворожея и знает, как обращаться с дьяволами; а по сему искусству более всего научило его всегдашнее обращение с женою, которая воистину прямой черт, с нами крестная сила.

С сими глупыми словами они меня оставили. «Мертвец! — говорил я сам себе,— да какая ему охота оставить мирную могилу и переселиться в мою избу, чтобы пугать ребятишек и фалалеевских князей! Это не стоит труда! О божественная метафизика,— вскричал я,— без тебя, может быть, и сам я устрашился бы объявленных нелепостей! Но теперь мой ум просвещен, и я презираю все людские бредни».

[1] И дым отчизны сладок.

Нахлобуча шляпу и застегнув сертук на все пуговицы,— и сам не знаю для чего,— храбро вошел я на двор, а потом и в избу; однако признаться надобно, что дрожь меня пронимала и руки тряслись. Призвав в помощь метафизику, сел я на скамье и не имел нужды отворять окна для впущения свежего воздуха, ибо оно походило на решетку и кое-где приметны были следы стекол. Месяц взошел во всей полноте своей; ночь была прекрасная. Кто когда-нибудь блуждал вне своей родины, претерпел подобно мне все приязненные и неприязненные случаи в жизни,— тот легко понять может состояние души моей, когда увидел я места, видевшие мое рождение. Думая и гадая, что должен начать завтра, почувствовал наклонность ко сну и потому, положа суму в голову, растянулся на полу.

Едва смежил я глаза, как послышал подле себя легкий вздох и скоро потом сильнейший. Куда девалась моя метафизика? Я не на шутку обмер, и все члены окостенели, а особливо, когда вздохи постепенно умножались; и, наконец, слышны стали невнятные слова, похожие более на свист змеиный, нежели на голос человеческий. Я покушался было, кинув метафизику, приняться за другое средство и сотворить по обычаю правоверных молитвы для прогнания силы вражьей, но язык мой не шевелился и губы не разжимались; итак, я молился мысленно и притом в тысячу раз усерднее, чем, бывало прежде, когда кувыркался в храме, дабы дать себя заметить графине Такаловой, или покоился на штофном ложе у князя Латрона. Однако мой неприятель был упрям и не только не унимался, но час от часу возвышал голос и вскоре произнес довольно явственно: «Господи боже Израилев! Вскую мя отвергнул еси? Вскую отвратил лице свое от меня?»

Подобно древнему гладиатору [1], который, наступаем будучи от сильного неприятеля и видя близкую смерть или победу, собирает все оставшиеся силы, поднимает меч и наносит удар, долженствующий решить судьбу его, так и я, уверившись, что потаенною молитвою не прогоню беса, собрался с духом, привстал, перекрестился и спросил дрожащим голосом и скрыпя зубами так, что меня самого можно было почесть за диавола воплощенного: «Кто здесь?» Молчание длилось в хижине. Представляя, что мертвец оробел, я ободрился, встал и, подошед к окну, спросил громче и явственнее прежнего: «Кто ты? отвечай!

[1] Римский боец.

Сие повелеваю тебе именем распятого! поведай мне, что виною ночного твоего странствия? Не обидел ли ты старца, проливающего о том слезы? Не воскорыствовался ли достоянием вдовицы или сироты беспомощной? Откройся мне, и я буду просить небо о твоем помиловании, кости твои успокоятся и тень престанет завывать на распутьях!»

Такую красивую речь читал я когда-то в одной из славных трагедий немецких; и как мне на ту пору не приходила лучшая в голову, то я и воспользовался ею и проговорил к моему мертвецу без всякого угрызения в совести, хотя и принуждал его открыться в похищении для успокоения костей своих. Обыкновенно люди менее наказывают за кражу хороших мыслей, чем самых дурных вещей. Мертвец не оставил меня без ответа, который не менее был красноречив моей речи. «Если ты,— говорил он,— один из сынов Адамовых, если подобно мне имеешь плоть и кости, если в груди твоей бьется сердце и в мозгу представляется мысль будущего воздаяния,— то склонися на соболезнование к одному из злополучнейших сынов земли! Не тень я, как мечтаешь ты; прииди и осяжи кости мои. Не будь подобен прочим сочеловекам, мнящим угодить всевышнему отцу гонением детей его. Три дни прошло, и я не видал крохи хлеба; три дни губы мои пылают от жажды, и ни одна капля не остужала пламени, меня снедающего. Если ты существо человеческое, если от жены родился ты, пожалей и обо мне, всеми оставленном, и тебе воздаст господь бог Авраама, Исаака и Иакова!»

Не мог я сам в себе не признаться, что речь мертвецова была красноречивее моей, а потому надобно заключить, что она была собственно его сочинения. Не понимал я, однако, на что мертвецу пища и питье, и мне ударилось в голову, что, быть может, он только мертвец в башках князей фалалеевских. Да он и сам дозволяет мне осязать кости свои. Сия последняя мысль осталась постоянною,— и я, велевши подождать, принялся высекать огонь, ибо по совету Ивана во всю дорогу были у нас в сумах нужные снадобья, чтобы во всякое время можно было иметь свет и способ утолить голод и жажду. Зажегши небольшую восковую свечку, стал я у дверей и более с ужасом, нежели любопытством начал осматривать свой чертог,— все было пусто. Одна небольшая скамейка составляла весь убор. В левом углу лежал пук сена,— а на нем... волосы мои опять поднялись, когда увидел я страшилище. То было малое скорчившееся подобие человеческое. Волосы клоч-

ками висели по замертвелому лицу и закрывали глаза; взъерошенная борода торчала вверх, сухие пальцы, один в другой ударяясь, производили звук. Ветхая епанча составляла все прикрытие. «Праведное небо! — сказал я вполголоса,— неужели человека вижу пред собою?» С сим словом бросился я опять к суме; вынул деревянную баклажку с запасным вином, налил в таковой же кубок и, поднеся к остову, сказал: «Выпей и подкрепись». Он открыл рот, и я влил в него несколько капель. После того я его приподнял, положил под спину его свою суму и поправил епанчу. Из всех творений разумных и неразумных все, по-видимому, оставили сего бедного, кроме серой кошки с двумя котенками, лежавшей у ног его. Когда таким образом моему гостю стало способнее, я опять попотчевал его из кубка, и он спустя немного времени довольно оправился, так что мог говорить свободнее, и первое слово его было благодарность.

— Тысячекратно благодарю тебя,— сказал он,— великодушный незнакомец, что ты последние минуты жизни моей сделал для меня отраднее. Господь на меня прогневался, и тяжкая его десница пала на темя мое. Вся подсолнечная меня оставила, и из стольких созданий божиих не нашлось ни одного, которое бы захотело смежить глаза и предать земле жалкие остатки несчастного жида Яньки!

Я задрожал при сем имени.

— Правосудный боже,— вскричал я,— неужели это ты? И в таком горестном положении? И ты не узнаешь меня? Не узнаешь старого твоего друга, князя Гаврилы Симоновича, прежнего хозяина сей хижины?

Янька сам вздрогнул, он поднял руку, раздвинул волоса на глазах и, протянув ее ко мне, сказал:

— Благодарение всевышнему, что он удостоил меня видеть еще человека прежде, нежели явлюсь пред трон его!

Я стал пред ним на колени и с благоговением облобызал почтенное чело еврея. Он заплакал, и я сам не мог удержать слез своих. Долго продолжались взаимные вопросы и ответы. Наконец Янька на вызов мой сказал:

— Я удовольствую ваше желание и в коротких словах уведомлю о причине, приведшей меня в теперешнее состояние. По выходе вашем из Фалалеевки, согласно назначению, переселился в сей дом, хотя священник и староста сильно тому противились, представляя, что имущество ваше принадлежит миру. Как бы то ни было, я взял верх и жил спокойно несколько лет. Говорят, что любовь

есть самая сильная страсть. Я на это согласен, потому что испытал противоположную ей ненависть. Не знаю, за что люди меня ненавидели; но только знаю, что ненавидели меня более, нежели надобно. Священник публично предавал меня проклятию, и когда упившиеся князья мне о том говорили, я всегда отвечал: «Бог рассудит между им и мною!» Накануне всякого праздника посылал я к нему и старосте по мере доброго вина; они принимали ласково, выпивали и после по обыкновению — проклинали. Я так привык к сим проклятиям, что немало бы удивился, если бы удалось услышать что-либо противное. Когда бог благословлял меня сыном или дочерью, вся деревня приходила в волнение, будто бы великое несчастие угрожало, что прибавилось одним жидом. Терпение, как и вам небезызвестно, давно уже поставил я в число необходимых для меня добродетелей; а потому, ополчась им, я равнодушно слушал людские клеветы и ругательства.

Пять лет тому назад, как прибывшая из города команда потребовала меня к суду, и я, будучи чист в своей совести, отправился без боязни, хотя и жаль было оставить плачущую жену и сетующих детей. Несколько месяцев просидел я в тюрьме и не мог добиться до того, чтобы представили меня пред судей и обвинили в вине какой. Наконец мой пристав, человек очень благочестивый, под видом тайны объявил, что я просижу там и целое столетие, буде прежде не околею, если не упрошу секретаря и судей, чтоб дело мое решили не в очередь. «Да как мне упросить их,— сказал я,— когда, столько времени просидевши, ни одного не вижу?» — «Ты так и не увидишь их,— отвечал сторож,— но это не мешает; у тебя есть или жена, или дочь, или сын, брат, сват или кто-нибудь, пусть они придут, да только не с пустыми руками,— пуще всего, не с пустыми руками!»

Он ясно растолковал мне все дело, принес бумаги и чернил, и я написал к жене, чтобы она немедля приехала в город и сделала все то, что ей ни присоветует мой честный пристав. Бедная сделала все, что от нее требовали. Она собрала все наличные деньги и кое-какие вещицы, приехала туда, просила, дарила, опять просила и допросилась до того, что отправилась в деревню полунищею с уверением, что дело мое немедленно кончится. И в самом деле меня вскоре позвали пред судей. Мне прочли определение, состоящее в следующем: «Фалалеевский жид Янька Янкелевич, по свидетельству тамошнего священника и знатнейших князей, изобличен в непримиримой ненависти своей к хри-

стианам и следующих от того богопротивных преступлениях, состоящих, между прочим, в следующем: он, жид Янька, по совету издревле враждующего диавола, нашел некое зелие и клал оное в вино, им продаваемое, отчего у пиющих делалось явное повреждение рассудка, а именно: 1-е — именитый князь Лука Запивохин целый день карабкался на стене, лазал по деревьям и, упадши, переломил правую ногу. 2-е — князь Мирон Бестолков бегал по улицам в одной рубашке и, гнавшись за княжною Хвороньею Беспалою, нагнал ее, стал валять, и если бы княжна добровольно не легла, согласно его желанию, то непременно оба упали бы в колодезь, близ стоящий. 3-е — княгиня Акулина Задерихина, вместо того чтобы идти на постель к князю своему мужу, не зная сама как, очутилась на войлоке подле Пантелея, молодого батрака, и в беспамятстве учинила с ним такое дело, за которое хотя и была жестоко наказана, однако, по свидетельству достоверных людей, сила яда так над нею действует, что, как изопьет жидовского Янькина напитка, немедленно очутится на войлоке Пантелеевом. 4-е — княжна Пораскевия Подстегина, вкусившая этого от родителей напитка с тем зельем, очреватела от нашествия вражьей силы. Таковые явные богомерзкие поступки жида Яньки достаточны, чтобы его живого сжечь; но милующее правосудие обращает к нему око свое, а потому и присуждает: все имение его конфисковав, продать с публичного торгу и вырученные деньги предоставить в пользу неимущих».

Нечего было делать с таким милующим правосудием. Слезы мои произвели только хохот, и один из судей, выходя, увещевал меня впредь не делать таковогo напитка, от которого бывает столько вреда христианам и христианкам. Коротко сказать: все, что у меня оставалось от истощения на подарки, все взято, продано, и я остался столько же наг, как вышел из чрева матери моей. В течение последних пяти лет претерпел я Иовлевы страдания. Жена умерла с горести; дети следовали за нею,— кто от оспы, кто с голода, кто от побой христианских. Я переносил все и не роптал. Наконец утомленная природа не перенесла более; и я недавно заболел отчаянно; узнали о сем обыватели Фалалеевки и восплакали. Они посещали меня беспрестанно и каждый раз, уходя, произносили: «Околей, собака!» Я впал в бесчувствие, и, конечно, меня почли мертвым, что с тех пор не видал уже я никого более, пока провидение привело вас, великодушный человек, чтобы по

крайней мере предать земле остатки бренные и воспретить православным унижать и себя и все человечество, ругаясь над оными.

Сим Янька кончил, и я, уверя его, что он более слаб, нежели болен, обнадежил, что пока будет во мне столько силы, чтобы переломать ноги у сиятельных князей и княгинь, не дозволю никому его беспокоить.

Светлое солнце показалось на фалалеевском небосклоне. Я встретил его благодарною слезою, принес молитву всевышнему и вышел, думая о напитании Яньки. У соседей, которые не знали, кто я и откуда, купил пару цыплят и зелени и, пришедши домой, развел огонь. Мутные глаза Яньки прояснились, и я мог положить, что истощение и горесть были главною причиною его болезни. Он жадно смотрел на кошку, которую потчевал я внутренностями моих цыплят и которая, видно, почти столько же постилась, как и ее хозяин.

Вдруг услышал я на дворе необыкновенный шум и говор множества людей.

Глава XVII

Заклятие

Подошед к окну, увидел толпу народа обоего пола, а посреди оной старого моего знакомца дьячка Якова с хромым человечком, которого признал я за знахаря Мануила. Они все остановились у дверей, и один другого понуждали войти, но никто первый не дерзал переступить порога. Я вспомнил вчерашних князей и догадался, что вся сия сволочь пришла не за чем иным, как для заклятия мертвеца, почему и решился пошутить над ними; тихонько припер двери и наложил крючок; а сам сквозь дыру, проточенную червями, примечал, что происходить будет. Тут дьячок, лысый Яков, который хотя уже и гораздо противу прежнего поустарел, однако не хуже других драл горло, возгласил:

— Что это, господин Мануил? Тебе подобает идти вперед! Ты запасся силою свыше. За чем же дело стало?

— Никак,— отвечал отставной поп,— ты запасливее, у тебя кадильница с росным ладаном; да и гортань твоя велегласнее моей! Итак, подобает первее вступить тебе; там всем прочим; а на подмогу я последний!

— Так! — подхватила высокая сухая баба,— как в кабак зовут, так ты первый летишь, а как на дело, так ползешь раком! Глупый ты человек! Вот я докажу, что не боюсь ничего, будь тут сам сатана!

— Где слыхано, чтоб черти боялись таких же чертей,— возразил хромоногий заклинатель и получил изрядного щелчка. После того жена его (ибо смелая баба была она) сунулась к двери, но сколько ни старалась, не могла отпереть. Яков сказал:

— Не тронь, честная мати! Видно, враг, послышав ладан,— заперся; но это не мешает, мы можем заклинать его и здесь.

После чего началось действие. Мануил кричал громко, а Яков еще громче. Видя таковое дурачество, я сам заорал что есть мочи: «При долинушке стояла». Ужас напал на заклинателей. Опрометью бросились все из сеней, и как главное лицо было хромо и стояло позади всех, то его первого сбили с ног, и он покатился наземь, на него Яков и так далее. Общий крик и вопль наполнял воздух, и, вместо того чтобы по преднамерению заклинать черта, тут наперерыв стали все призывать их дюжинами. Я не мог удержаться и хохотал громко, что также не менее песни пугало словесное стадо и пастыря. Нижние кулаками понуждали верхних к поспешности, и лысина Иаковля покрылась желваками от нескольких по ней ударов знахарских. Наконец мало-помалу все пооправились, выбежали на двор и в безмолвии глядели издали на окно. Я думал, дело тем и кончится, однако забыл, что духовный чин столько же мстителен, как и мирской. Жена колдуна, отряхнувшись, схватила камень и пустила в окно. Яков сему последовал, за Яковом многие другие. Видя такое нападение, я решился защищаться и, выхватя из печки горящую головню, пустил в кучу и утрафил прямо в спину зачинщицы. Все подняли крик и разлетелись, как сто галок от ружейного по ним выстрела.

Когда все кончилось, я продолжал стряпню и скоро благополучно отобедал вместе с жидом Янькою, который, хотя худой мне был товарищ в еде, однако немного подкрепил себя похлебкою. После обеда рассуждали мы, что начнем делать, и Янька советовал идти немедленно открыть о себе всей деревне, ибо, примолвил он, всего должно опасаться от злобы и невежества. Я принял за благо его совет и пошел к старосте, который уже был

новый на место убывшего Памфила Парамоновича. Мне сказали, что его нет дома, и пошел к Мануилу посоветоваться о важном деле. Догадываясь, о чем идет речь, отправился я к воровке и подлинно нашел там старосту, дьячка Якова и человеков около десятка князей и крестьян, которые сидели около сулеи с вином и толковали о мертвеце. Как скоро открыл я им о себе, все пришли в немалое удивление и не знали, что мне сказать. Я, с своей стороны, препоручал себя в их высокое покровительство и объявил им в самых отборных столичных выражениях, что я за честь считаю продолжать жить с ними по-прежнему. Все меня поздравляли и, посадя с собою, начали потчевать. После чего староста сказал:

— Мы очень рады, князь, что вы опять воротились на родину, но должны вас опечалить, ибо вам негде на первый случай будет пристать. Дом ваш присудили мы сжечь, что и исполним при наступлении сей же ночи; ибо нам, как православным, не пригоже сносить, чтобы поселившийся там мертвец делал такие озорничества. Сегодни хотели мы его заклясть, но он, окаянный, не поддался.

— Да и какой он страшный,— сказал один князь, взявши стакан в руки,— глаза, как плошки, и красны, как уголь.

— Уши,— примолвил Мануил,— как у чухонской свиньи.

— А хвост,— подхватила жена его,— точно бычачий.

— Нет, душа моя,— возразил муж,— я сам его видел, вот этими глазами, хвост у мертвеца лошадиный, так и развевается.

— Ох! какой вздор! — вскричала жена,— кому лучше знать, когда он, проклятый, попал головнею прямешенько мне в спину. Хвост у него бычачий!

— Хоть бы он головнею своею попал тебе и в самое брюхо, а все-таки хвост лошадиный!

— Бычачий!

— Лошадиный!

— Сам ты лошадь,— вскричала попадья,— так тебе лошади и грезятся!

После сего плюнула прямо в бороду мужу. Все сановитые князья покачали головами, и некоторые примолвили, что дело другое снести удар по щеке, по лбу или другому не столько благородному месту, а то в бороду — плюнуть в бороду — сохрани боже и детей наших от такого позора! Таковые напоминания раздражили знахаря

крепко противу своей супруги, и он со всего размаху пустил в нее недопитый стакан с вином, который, достигши благополучно до женина лба, рассыпался на части, и по челу ее заструились кровавые токи. Она было кинулась, но староста удержал ее, равно как и прочие гости, и бешеная баба должна была удалиться, проливая слезы и произнося тысячи проклятий.

По водворении мира опять принялись рассуждать о сожжении моего дома и искоренении мертвеца. Я должен был употребить все красноречие для их успокоения и весь страх взять на себя, обещая клятвенно, что как скоро они еще потерпят какое-либо беспокойство от лютости мертвеца, то я сам положу огонь под дом свой и прекращу все споры об ушах и хвосте его. По довольном совещании склонились наконец на мои представления, и я отправился к Яньке,—принятая им пища и питие весьма его оправили, и я полагал несомненную надежду о его выздоровлении. Вечер провели мы в дружеских разговорах и уснули так приятно, как засыпает человек, ничего не боящийся и ничем лишним себя не ласкающий.

Утро встретили мы благодарностию к богу благодетельному, посылающему дары свои к христианину и еврею с одинакою милостию. Вышедши на улицу, нашел множество народа, ожидавшего видеть окончание моей храбрости. Все меня поздравляли, все ласкали, и особливо, когда я, для отдаления беспокойного их любопытства, пригласил знатнейших в шинок. Не приглашенные мною довольно явственно друг другу говорили: «Это что-то недаром! Без чудодейства сего не бывает! Чему не научит Москва и Варшава». Я не хотел и вслушиваться в сии толки.

Коротко сказать: скоро возобновил я знакомства и приязнь с моими земляками. Для сохранения их доброхотства и доверенности я старался как можно меньше упоминать о Москве и Варшаве и почти никогда не говорил ни одного непонятного для них слова. Жид Янька выздоровел. Я разделил с ним казну свою,— и он скрытно отправился в город, где, кинувши и мысль торговать вином, накупил разных мелочей, как-то: лент, ленточек, снурков, белил, румян и тому подобного, и, умерши как шинкарь, явился открыто в Фалалеевке как торгаш. Все жители и жительницы крайне дивились, увидя умершего жида, который и по смерти столько наделал у них

суматохи, опять живым и здравым. Мало-помалу все пошло своим чередом. Он упражнялся в торгах, а я — в домашнем хозяйстве. В помощь нанял я батрака; и, чтобы избежать сколько возможно клевет и пересудов, мы редко бывали у других, а если и ходили, то Янька всегда бирал с собою какой ни есть городской гостинец для хозяина, хозяйки или детей их.

Осень, зима и следующая весна прошли довольно хорошо для людей, столько испытавших; я более и более забывал о своей протекшей знатности, перестал прельщаться глупыми мечтами будущего величия; словом, я полагал, что в Фалалеевке усну наконец последним сном, как странное, неожиданное приключение совершенно изменило всю жизнь мою. Так-то все непостоянно на свете сем. Сегодня волен, следовательно, и счастлив; а завтра при малейшем поводе появляются желания, за ними приходят намерения, заботы, и человек опять делается игрушкою страстей своих.

Часть шестая



Глава I

Паперть

Таким образом, князь Гаврило Симонович Чистяков, рассказывая другу своему Причудину и сыну Никандру приключения свои до прибытия на родину, остановился в самом занимательном положении жизни своей.

— Друзья мои! — говорил он,— вы видели меня с юношества до пожилых лет возраста; видели врожденные и приобретенные пороки и добродетели; видели наверху счастия — и мгновенно в бездне злополучия. Из примера моего научись, сын, что поступки наши, сообразующиеся более с движениями сердца, нежели внушениями рассудка и совести, никогда не будут правильны; и потому никогда не успокоят души нашей. Долг отца,— и отца не по одному имени,— велит мне сказать тебе, что добродетель сама по себе всегда существенна, но относительно общества, по мнению некоторых, есть нечто условное, то есть добродетельный в большом круге, значит — человек не разбойник и не более! Довольно того! Я сам, будучи приближенным к князю Латрону, делая тысячи несправедливостей, считал себя изрядным человеком, потому что начальник над придворными шутами и скоморохами был гнуснее меня. Если я оказывал явное презрение и несправедливость к заслуге и если покоящаяся голова моя на штофном диване кружилась от воображения бездельств моих, я утешал себя прекрасною мыслию: «Посмотри, что делает пожилой вельможа, бестолков и политик словом? Первый печется о утучнении своего кармана, ибо брюхо его уже тучно, а другой рыскает по улицам, смотрит в очки — и на кого? Небо? По власти своей он принимает их в службу, производит в чины, украшает орденами, оделяет деньгами — однако не своими,— а уж он знает, откуда брать их! За что? Зачем объяснять, когда дело и само по себе ясно!»

Конечно, можно иногда,— такова слабость человеческая,— сделавши ошибку или даже и преступление, утешать себя тем, что другие люди и более того делают, но благополучен тот, кто избегнет надобности в сем жалком утешении! Был я и велик и славен! Что пользы, когда бездельники и злодеи, уделяя мне третью долю ими похищенного, торжествовали; а добрые, трудолюбивые, мирные люди трепетали моего имени, как суеверный трепещет при имени сатаны? О сын мой! Да избавит тебя бог когда-либо занимать место, на коем некогда столько отец твой отличился!

— Прекрасно! — вскричал восхищенный Причудин,— слова твои истинны, ибо сердце мое трепещет согласием. Мы скоро сделаем, что Никандр, если бы и родилась в нем глупая мысль искать славы по-твоему, так он ее кинет. Я нашел средство выбить из головы его такое желание, и средство сие сколько обыкновенно, столько верно! Какое же? Женить его на землячке.

Слово «женить» не имеет, кажется, в себе ничего ужасного, но оно поразило бедного молодого человека; он так жалобно взглянул на отца своего, что тот, улыбнувшись, сказал:

— Не пугайся, сын мой! Друг и благодетель наш принял такое намерение не с тем, чтобы тебя опечалить или даже сделать несчастным. Супружества, так, как и все вообще должности и обязанности человеческие, могут быть рассматриваемы с трех сторон: они бывают хороши, худы, средственны. Я и того почту уже счастливым, который женитьбу свою не назовет злом. Вы слышали о моей женитьбе на княжне Феклуше, слышали о жизни с Ликорисою, которую также по всему можно было назвать женою. Но третий брак мой был подлинно рыцарский и достоин по крайней мере быть воспет в какой-нибудь балладе. Да у меня и есть уже на примете один семинарист, который за сходную цену напишет целую поэму.

— Как? — вскричал Причудин торопливо,— так прибытие ваше на родину не есть последняя статья ваших похождений? И после двух жен неужели вам вздумалось попытать счастия в третьей и, верно, в какой-нибудь новой княжне фалалеевской!

— Совсем нет,— отвечал князь.— Третья женитьба моя — я сказал уже вам — есть настоящий роман.

— И мы, верно, услышим его,— сказал Причудин,— по возвращении моем с Коренной [1].

— Дельно,— отвечал князь; и сим образом кончились на некоторое время его рассказы. Купец отправился на ярмарку; князь Гаврило занялся писанием и чтением, а сын его — должностию и прогулками.

В один вечер, проходя мимо тамошнего гостиного двора, увидел он кучу народа и нескольких блюстителей тишины и порядка. Все шумели, кричали и суетились; Никандр также по врожденному во всех любопытству подошел и, к великому удивлению, в средине сей толпы увидел женщину, роста величественного, собою прекрасную, но хотя довольно опрятно, но и довольно бедно одетую.

— Когда ты сама признаешься,— говорил главный блюститель уличного правосудия,— что вещи сии не твои, то надобно, чтобы ты же объявила, кому принадлежат они; а иначе значить будет, что они краденые,— итак, подай их сюда, а сама изволь шествовать в место безмятежно, покойно и прохладно, сиречь в тюрьму.

Бедная женщина залилась слезами.

— Я объявила уже,— сказала она,— что эти вещи не мои; и мне поручены только для продажи, но кем, я того объявить не смею, ибо обещалась сохранить тайну, Всеми святыми свидетельствую в справедливости слов моих!

— Плохо,— отвечал полицейский,— если ты, голубушка, не имеешь свидетелей понадежнее. Придется поразведаться с правосудием.— Смотря на жалкую наружность незнакомки, на ее смятение, робость, нерешимость, Никандр принял в ней душевное участие. Он пробился до блюстителя тишины и сказал ему довольно резко:

— Государь мой! Если свидетели сей незнакомой не действительны, то я свидетельствую справедливость слов ее. Вы меня довольно знаете!

— О, конечно,— отвечал сей неугомонный, сняв шляпу и делая низкие поклоны.— Вам поверить обязуюсь, но в случае какого-либо казуса вы отвечаете, в чем также и у меня есть свидетели.

Он отошел, и Никандр, отведши на сторону свою незнакомку, спросил, в чем состоит ее дело с полицией.

[1] Одна из знатных ярмарок в России недалеко от Курска.

— Милостивый государь,— отвечала она,— вы защитили меня от могущего быть притеснения, и потому долг признательности запрещает мне скрывать от вас, что открыть можно. Не узы крови, но один странный случай соединил меня с почтенным семейством в такое время, когда оно было наверху довольно покойной жизни, а я — в самой бездне погибели. По несчастным обстоятельствам оно пришло ныне в крайний упадок, и узы благодарности удерживают меня при оном. Теперь мне поручено было продать эту золотую шейную цепь, и лишь только я показала ее покупающим, случившийся там же полицейский спросил меня: «Чья эта вещь?» Отвечать я никак не смела, ибо мне ясно то запрещено, а он требовал неотменно ответа и начал грозить. Я не знаю, что бы из того вышло, если бы вы, великодушный молодой человек, не приняли меня под свою защиту!

— Я желал бы,— сказал Никандр,— чтобы вы пришли домой с ожидаемым ответом и потому купить вашу цепочку!

— Вот она!

— Что за нее просят?

— Пятьдесят рублей!

— Вот деньги,— сказал Никандр, отдавая их одною рукою, а другою принимая покупку. Он не мог не заметить, что незнакомка, отдавая цепь, утирала глаза.

— Что с вами сделалось?

— Ах! бедная девица горько плакала, расставаясь с этой вещью, она была подарена ей добрым отцом в день ее рождения.

— Как,— вскричал Никандр,— и она решилась расстаться с такою драгоценностию?

— Чего не делает нужда!

— Возьмите же назад эту цепь и отдайте доброй дочери! Благодаря милосердому провидению я теперь раззнакомился с нуждою! Как зовут эту любезную девицу?

— Это одно могу я объявить вам. Имя ее — Елизавета!

— Елизавета! — произнес тихо Никандр.— Ах! и я знал одну девицу сего имени. Для той — ничего не пожалею и для соименной ей! Скажите вашей приятельнице, чтобы она никому ничего не продавала. Как скоро нужда коснется порога дверей ваших, скажите мне. Я богат и не знаю лучшего употребления деньгам, как пособить

нуждающейся скромности. Каждый вечер вы можете найти меня на паперти церкви святого Николая. За полчаса я охотно сказал бы вам и свое имя, но теперь извините. Ваша Елизавета может почесть меня хитрым обольстителем, каковы нередко и бывают те, которые под скромною личиною благотворительности стараются уловить в сети свои неопытную юность. С сих пор имя мое для вас скрытно,— равно как для меня и жилище ваше. Я хочу помогать одной Елизавете. Простите! Не забывайте паперти святого Николая!

Никандр,— и сам не зная почему,— утаил от отца сие происшествие. Может быть, он не хотел ни с кем разделить чувств своей благотворительности. И в самом деле, что может быть обольстительнее для образованного молодого человека, как быть благотворителем молодой девицы. Воображение рисует ему портрет ее самыми блестящими красками. Она, верно, прекрасна собою и, без сомнения, добродетельна. А если нет? О, не может быть! Как можно только женщине, украшенной именем Елизаветы, быть порочною? Такие мысли занимали Никандра, когда он лег в постелю, такие клубились в голове его, когда он вставал с оной, с некоторым нетерпением ожидал он вечера, и, едва увидел, что последние лучи заходящего солнца скользили по жестяной главе Николаевской церкви, он полетел на паперть и с великим удовольствием нашел там незнакомку свою, сидящую под деревом при развалившемся надгробном камне. Увидя вошедшего Никандра, она подошла к нему с потупленными глазами и сказала:

— Милостивый государь! Извините, если слова мои будут для вас не совсем приятны. Подруга моя благодарит вас искренно за то участие, какое приняли вы в судьбе ее. Она приказала сказать вам, что, быв властна располагать своею собственностию, продавала свое ожерелье; но никогда не думала просить милостыню, и сия мысль безмерно ее огорчает. Итак, вот цепочка, и вот ваши деньги. Выбирайте что-нибудь одно!

Никандр стоял в большом изумлении.

— Это подлинно несколько романически,— сказал он,— и я не думал, чтобы можно было в крайности быть столько разборчиву! Так и быть, если того хочется вашей Елизавете, то я беру себе цепочку. Но как каждый покупающий имеет право ценить покупаемую им вещь посвоему, то и я, пользуясь сим правом, прибавлю еще

к прежним деньгам пятьдесят рублей. Вот они! не забывайте паперть святого Николая!

Никандр поспешно оставил место свидания. Незнакомка обратилась в другую сторону. Несколько вечеров сряду он посещал паперть, но ее было не видно. Какое-то уныние разлилось по лицу его,— он был пасмурен и до того сам на себя не похож, что отец с участием о том ему заметил. Сын после нескольких ничего не значущих отговорок рассказал ему приключение свое с незнакомкою. Его важный и вместе томный вид, с каким он описывал сие обстоятельство, развеселил князя, и он громко засмеялся.

— Слава богу,— сказал он,— что задумчивость твоя не имеет важнейшего источника. Есть о чем думать, что какая-то плутовка за безделушку выменила сто рублей, надобно только быть вперед осмотрительнее!

— Однако ж, батюшка, кто велел этой невидимке Елизавете прислать мне обратно и ожерелье и деньги? Разве нельзя было без всех околичностей воспользоваться и тем и другим?

— Конечно! Но тогда не получила бы она ста вместо пятидесяти!

— Не верю!

— Испытай!

Разговор сей кончился тем, что князь сказал:

— Хорошо! Чтобы узнать, кто из нас прав, я беру труд с сегодняшнего же вечера посещать с тобою паперть святого Николая. Когда ж нибудь встретим твою величественную незнакомку и попытаем дознаться правды. Меня не так легко провести.— В самом деле, они несколько дней сряду посещали паперть, но напрасно.

— Вот видишь,— говорил князь,— твоя добродетельная, видно, весьма умеренного свойства; она довольна сотнею рублей, а другие, право бы, не были так совестливы.

Они вели долгий разговор, сидя у притвора церковного. Неприметно часы летели, и на колокольне пробило одиннадцать. Прелестный месяц тихо катился по прелестному небу. Близ стоящие деревья едва помахивали листиками; одни жуки и стрекозы прерывали безмолвие.

— Прекрасная ночь!— сказал князь, запахивая сертук. Едва сделал он движение приподняться, как вдруг у противулежащей решетчатой ограды показались три женские фигуры. Они тихо подвигались к нашим любо-

пытным, и сии, смотря один на другого, не знали, что сказать о сем явлении. Когда они довольно приблизились, то Никандру показалось, что он в одной из сих пришелиц узнает свою незнакомку, хотя и она наравне с прочими занавешена была черным покрывалом. Идущая в середине довольно громко всхлипывала и ломала пальцы; прочие две, поддерживая ее, тихо, по-видимому, утешали. Шагах в десяти остановились они, и Никандрова незнакомка, поставя на землю корзину, подошла к стене церковной, стала на колени. Наклонила голову к подвалам и хотя тихо, но ясно произнесла: «Ау! ау!» Князя с сыном его подрал мороз по коже. Ауканье еще несколько раз было повторено, и вдруг из подвала выползло страшилище. Это был статный мужчина, закутанный в плаще; шляпа на глаза надвинута; едва поднялся он на ноги, плакавшая женщина вскрикнула, распростерла руки, бросилась,— он также к ней,— встретились, пали друг к другу в объятия. Прочие две женщины тихо плакали. У князя и Никандра невольным образом навернулись слезы.

— Жалкая картина,— сказал он тихо сыну.— Дай бог, чтобы они были только несчастливы, а не преступники.

— Сердце мое отвечает в том,— произнес сын так же тихо и приложа руку отцовскую к груди своей.— Посмотрим!

Глава II

Ночная битва и новый скальд

Из разговора незнакомца и незнакомок нельзя было ничего понять обстоятельного. Они взаимно сожалели о происшедшем, утешали друг друга и плакали. Никандру мечталось, будто он по голосу одной из женщин узнает свою незабвенную Елизавету, но тут же представилась ему мысль, что такое сходство бродит только в его воображении, а особливо потому, что и его неизвестная называется сим именем. Ночное явление на кладбище кончилось тем, что мужчина в плаще еще обнял прежнюю женщину, поднял с земли корзину, удалился и полез в подвалы церковные. Женщины постояли с минуту и потом удалились медленными шагами. Безмолвие опять

настало, но чувства Никандровы были в превеликой тревоге.

После сего он, обнявши отца своего, сказал вполголоса:

— Батюшка! Что вы обо всем этом думаете?

Отец. Чтобы уже думать решительно, надобно порядочно прежде порассудить!

Сын. Не слыхали ли вы голоса моей Елизаветы?

Отец. Голос одной из них довольно сходен; но голос другой, которую ты называл своею незнакомкою, гораздо сходнее с голосом женщины, имевшей на меня великое впечатление. Боже мой, голова моя кружится; воображение пылает! Ты спросишь, что это значит,— скоро узнаешь. Окончание повести моей весьма непродолжительно, и из него-то увидишь ты, отчего голос одной из незнакомых поразил меня столько. Завтра Причудин возвратится, и вы услышите дальнейшую судьбу мою по возвращении на родину. Между тем не запрещаю тебе посещать паперть святого Николая; но только будь осторожен. Иные происшествия начинаются смехом, а оканчиваются горькими слезами.

Они воротились домой в полночь и к великому удовольствию застали уже там Афанасия Анисимовича, разглядывающего привезенные для них ярмарочные подарки. Встреча их была обыкновенная, то есть открытая, непритворно радостная. Князь не сказал теперь о ночной встрече, чтобы доброму другу не помешать уснуть покойно после дороги.

Несколько дней прошло в приведении в порядок оборотов Причудина по случаю купли, мены и продажи на Коренной ярмарке. Князь Гаврило, поверявший счеты его приказчиков и книги бухгалтеров, почти все время проводил в конторе. Посему Никандру довольно оставалось свободного времени — разгуливать по своей паперти, однако по-пустому. Нетерпение его начинало превращаться в огорчение, и если бы он в неизвестную ночь был на паперти без отца, то едва ли бы не почел все виденное сновидением или делом расстроенного воображения. Наконец и до сего дошло, и он заклялся не быть там более и мечтательный голос Елизаветы считать пустою мечтою. Занятия по должности, рассеянность в кругу столько же молодых приятелей по времени его успокоили; он почти забыл загадочную сцену на кладбище и об незнакомке перестал думать, однако ж он не

заметил такого спокойствия в лице отца своего. Казалось, что роковое ночное явление сделало весьма сильную перемену во всех его поступках. Когда Никандр объяснился с ним о том с сыновнею откровенностию и беспокойством, князь Гаврило, душевно тем тронутый, сказал ему: «Сын мой! Если ты хочешь успокоить отца своего, то приложи все попечение твое отыскать опять твою незнакомку. Не скрывай пред нею более своего имени, но примечай внимательнее, какое действие, какое впечатление оно произведет в ней. Обо всем дашь мне знать, и тогда посмотрим!»

Поручение отца было для сына законом. Он рыскал по городу, как влюбленный парижанин. Заглядывал в глаза всем встречающимся женщинам. Наводил на них лорнет и проч. Его и в Петербурге сочли бы щеголем в последнем вкусе; а в Орле он наречен выразительным наименованием *повесы*. Это дошло до ушей его, но он не трогался, ибо получил оное, удовлетворяя требованию отца своего, который без причины ничего не делал. В один раз, уставши уже бегать по улицам, принял он разумное намерение провести несколько вечеров сряду, а буде нужно, то и ночей, на паперти св. Николая; ибо в голову его вошло, что, может быть, в городе с намерением от него кроются, и там он, утаясь между гробницами, легко может увидеть подобное происшествие, какого был свидетелем за несколько недель. Отправился он на место своих поисков. Он уселся у подножия старой огромной гробницы. Величественный репейник и цветущая крапива окружали его. Покуда сколько-нибудь можно было разбирать буквы, Никандр глядел в книгу, им принесенную, ибо, по совести сказать, он не прочел ни одной строки. Беспрестанно оборачивал голову в разные стороны и спокойно закрыл, когда уже ничего рассмотреть было не можно.

Едва, говоря по-стихотворчески, да и кстати, ибо Никандра всякий почел бы за исчадие Аполлоново в теперешнем его положении, едва ночь с тусклыми взорами, с напоенными росою крыльями разлеглась по всему пространству небосклона орловского. В скором времени послышался отдаленный шум походки по надгробным камням, и Никандр при лунном свете увидел идущих, но только не прежних трех женщин, а каких-то новых двух мужчин. Они медленно приближались к нему весьма близко, сели также на дерну между могилами, и один

другому сказал вполголоса: «Смотри, друг, не раскаяться бы в нашем предприятии!»

Другой отвечал: «Старинный русский дворянин, что бы ни сделал, раскаиваться не должен. Я получил великое имение в наследство от предков моих, прожил его, не дожив и пятидесяти лет, но не каюсь. Скажи по совести,— у кого были лучшие собаки, как не у меня; лучшие лошади, как не у меня? Что целая область говорила о моих дворовых девках? Не прекраснее ли они были, не параднее ли знатных госпож? Хотя они и досталися теперь другим, что делать! Я не привык удерживать стремления моих желаний! Я влюбился в графиню Фирсову и сегодни с помощию твоею намерен увезти ее в лесную свою деревню, которая мне от всего имения осталася. Там она делай себе, что хочет! Хочет смеяться, смейся! Хочет плакать? — с богом! От рассыльных своих узнал я достоверно, что граф Фирсов после нашего поединка, считая меня убитым и страшась правосудия, скрывается где-то поблизости мест сих и что любезная его супруга вздумала теперь некстати любить его романически,— иногда по ночам посещает юдоль сию плачевную, которая, по-видимому, есть местом их сходбища,— с одним графом двое нас легко сладим, буде он вздумает отважничать. Прекрасная живая графиня, наверно, упадет в обморок, тем лучше; она не прежде опомнится, как в моей коляске и в моих объятиях. Смотри, видишь ли ты появляющиеся две женщины? Я отдаю и душу и тело сотне чертей, если та, что несколько пониже и тонее, не есть моя принцесса! Courage, мой друг! что долго медлить! Бросимся к ним навстречу».

И в самом деле, после сих слов они встали и поспешно бросились к ночным путешественницам, из коих одну Никандр немедленно признал за свою незнакомку. Посему, не много рассуждая, он также пошел по следам русских дворян, которые никогда и ни в чем не раскаиваются. Едва они достигли госпож, как одна горестно вскрикнула и, приходя в беспамятство, произнесла тихо:

— Небо! Сей изверг еще жив!

Тогда один из незнакомцев, схватя ее к себе в руки, сказал другой:

— Сударыня! В тебе больше надобности нет и можешь по желанию отсюда выбраться. Я и один не хуже вашего умею провожать красавиц!

Он начал было тащить свою жертву, как Никандр, тихо подошед сзади, спросил спокойно:

— Далеко ли, государь мой?

Тот быстро оглянулся, осмотрел вопросителя с ног до головы и презрительно отвечал:

— На такие вопросы привык я ответствовать полновесными пощечинами!

Никандр рассердился крепко, что при дамах столь грубо с ним обходятся, и потому, вскричав: «Ну, видно, мне надобно сделать вопрос на твой вкус!» — так звонко поразил его по уху, что тот как сноп повалился наземь челом к сырой земле. Никандрова незнакомка, посадя подругу свою и ее поддерживая, сказала:

— Я узнаю вас, великодушный молодой человек! Ах, помогите мне спасти честь и жизнь сей несчастной!

— Будьте надежны,— отвечал наш герой, избоченясь и ожидая, пока пораженный им встанет для оказания новых подвигов. Он и подлинно встал, с оцарапанными руками и в нескольких местах осадненным челом.

— Приятель! — вскричал он другому,— что же ты не поможешь?

— Нет! — отвечал тот,— я сам также русский дворянин, и знаю, что такое честь! Как можно двоим нападать на одного? Будь смелее!

Храбрый русский дворянин наклонился и начал обеими руками вырывать из земли камень для поражения противника, который, также будучи проницателен, догадался о злом противу здравия своего умысле, бросился подобно рыси на врага своего, сбил с ног, но, запутавшись в крапиве, сам полетел на него со всего размаху. Кряхтя под тяжестию, тот кое-как выпростал свои руки и крепко впился десятью пальцами в тупей храброго Никандра. Руки и ноги были в движении. Ругательства, крик, оханье раздавались по всей паперти. Товарищ исподнего витязя, севши на камень, спокойно сказал: «По началу видно, что сражение не скоро кончится и будет кровопролитно, и потому, чтобы не быть праздным, я хочу на сей раз сделаться новым скальдом»[1]. После чего, понюхав табаку, он самым важным голосом начал произносить нараспев, декламируя руками: «Отчего стонут камни надгробные? Отчего крапива и репейник колеблются? То два витязя великие жестоко ратуют

[1] Бард древних датчан, шведов и вообще северных народов.

за принцессу прелестную! Власы их летают клочьями по воздуху, и длани, скользя по зубам, источают из носов токи кровавые! Ратуйте, витязи неробкие! Слава готова увенчать вас! Галстук твой, о витязь незнаемый, изорван на части и может быть пригоден на трут только; но и твоей рубахе, о друг мой воинственный,—зело досталося! О ночь! О месяц сребровидный и звезды блестящие! О вы, спящие шмели и шершни, и вы, рогатые черные жуки! — проснитесь и внемлите моему пению!»

Он замолчал и спустя несколько мгновений сказал тихо: «Что это? кой черт вылезает там из-под церкви? Уж не духи ли усопших идут видеть битву славную и слушать пение скальда? Слуга покорный! И самые храбрые русские дворяне устраняются от сражений с нечистою силою». Сказав сие, он встал и быстро пошел к выходу. Таковой поступок нового скальда прекратил сражение. Никандр и соперник его встали; и последний, проворчав: «Как я глуп, что такого бездельника выбрал в товарищи»,— не ленивее его бросился к ограде и исчез. Вылезший из-под церкви, подбежав к женщинам и видя одну все еще не в состоянии привстать, став пред нею на колени, спросил:

— Ради бога скажите, что значит все мною виденное?

— Благодарите,— сказал старшая,— сего молодого человека, что он спас вашу графиню!

— Как?

— Недостойный друг ваш князь Вихревертов сейчас был здесь, имея намерение ее увезти!

— Небо! Не я ли заколол его на поединке? Не тень ли его приходила?

— Совсем на тень не походит,— отвечал подошедший Никандр,— ибо я чувствую то лучше других. Телесность сего привидения весьма ощутительно чувствуют мои бока, спина, затылок и особенно тупей.

— Тысячекратно благодарю вас,— вскричал незнакомый граф,— за то участие, которое приняли вы в положении жены моей! Как рад я, что случай дал мне знать о существовании сего чудовища, которое почитал я падшим под моими ударами и оттого-то до более удобного случая к побегу из отечества скрывался я между мертвыми. Дай бог, чтобы я когда-либо мог заплатить вам за сию услугу.

Глава III

Мирская сходка

Они много насказали друг другу учтивостей, и наконец граф спросил:

— Заклинаю вас, милостивый государь, не скрывать вашего имени, дабы все семейство наше вместе со мною могло питать к вам всегдашнюю благодарность!

— Хотя правда,— отвечал Никандр,— поступок мой сам по себе ничего не значит и за полученные мною толчки я и сам отплатил нехудо; а потому не имею права требовать благодарности, однако же не имею нужды и скрывать пред вами своего имени. Я называюсь князь Никандр Чистяков!

— Небо! — вскричали обе женщины вместе, будучи, по-видимому, крайне поражены сим извещением.

— Неужели,— сказала графиня, получившая уже употребление чувств,— неужели вы тот самый, который некогда выгнан был из здешнего пансиона за то, что поцеловал сестру мою Елизавету?

— Боже,— вскричал Никандр вне себя,— неужели вы Катерина, дочь покойного Ивана Ефремовича?

— Точно так!

— Где же сестра ваша?

— Ах! Она с нами!

— Где могу я видеть ее?

— Покудова нигде! Она совсем не показывается. Положение наше теперь самое неприятное. Оставьте на время ваше любопытство; при первом нашем свидании я объясню вам больше. Ваша услуга навсегда оставит в сердце моем воспоминание.— Она пошла с графом, который, узнав, что соперник его не заколот, поуспокоился и на расставанье не преминул осыпать его похвалами за мужество, оказанное незадолго на сражении. Одна незнакомка, остановясь на минуту, спросила трепещущим голосом:

— Бога ради не скрывайтесь от меня! Есть ли у вас отец или дядя?

— У меня есть отец, и зовут его Гаврилою Симоновичем!

— Боже! Где живет он?

— В доме родственника своего, здешнего купца Причудина!

Незнакомка быстро отскочила, подняла руки к небу и потом стремительно его оставила. Никандру все казалось что-то весьма чудно. Образ Елизаветы живо ему представился. Он побрел домой, исполненный глубоких размышлений.

Старик Причудин и князь Гаврило сидели за ужинным столом, когда показался наш витязь. Оба ахнули, да было отчего; так исцарапан, измят был он своим супостатом. Они приступили с вопросами, и Никандр по обыкновению рассказал им все виденное и слышанное. Выслушав, князь Гаврило сказал со вздохом:

— Ясно! Это она!

— Кто же такой?

— Завтре, друзья мои, удовольствую ваше желание. Вы увидите конец моих странных приключений, и ты, Никандр, узнаешь, для чего я поручил тебе отыскать твою незнакомку. До завтрова!

В назначенное время, когда други наши все удосужились, князь Гаврило начал продолжение своего повествования следующим образом:

— Помнится, остановился я в том месте повествования жизни моей, когда мы с добрым жидом Янькою устроили вновь свое малое хозяйство. Я занимался хлебопашеством, а он торговлею. С соседями жили мы мирно и никогда не отказывали, если они в чем возможном просили нашей помощи. Однако правду говорят, что дьявол хоть где вселится. Янька, будучи на одной ярмарке, познакомился также с торгующим жидом Иосифом и, полюбя его за расторопность, привез погостить ко мне в Фалалеевку. Иосиф был молод, довольно статен и не убог. У нас тотчас родились намерения соединить свои достатки и вместе начать торговлю пообширнее. Это еще более сблизило нас с Иосифом; ибо ничто так скоро не соединяет людей, как взаимная прибыль. Мы скоро поладили, начали, и успех отвечал намерениям. Год провели мы вместе, и все были довольны друг другом.

Я, кажется, дал уже заметить отчасти мысли мои о любви и ненависти. Это также два чувствования, которые сколько ни противуположны одно другому, однако нередко производят одно последствие, именно — погибель людям. В Фалалеевке была мещанка, по имени Устинья, по званию шинкарка. Этот род людей довольно всякому известен. Хотя она была и девица, однако жила не скучно, а об замужестве и не думала. Случайно Иосиф

наш познакомился с нею, и хотя он был довольно усердный почитатель бога Авраамова, однако на сей раз не усомнился принести жертву проклятому Астарону. Следствия сего идолослужения были весьма важны.

Скоро целомудренная Устинья приметила свою беременность и новость сию открыла своему соблазнителю.

— Что же мне делать? — сказал изумленный еврей.— Виноват ли я, что судьбе не угодно было произвести тебя на свет жидовкою? Тогда бы дело другое!

— Нет,— возразила Устинья,— я тебе докажу, что в деле сем непременно судьба участвовала, чтоб тем сделать тебя христинанином и моим мужем!

— Как не так,— сказал хладнокровно жид,— велика надобность судьбе вмешиваться в тайные веселости жида и христианки!

— Ого! — вскричала шинкарка с гневом,— так я сейчас докажу тебе, что не дозволю не только такому проклятому шутить над собою, но ниже самому старосте, и сейчас же иду к нему.

Сказав сие, отворотилась и быстро пошла; а жид, смеясь ее угрозе, пришел домой и весело рассказал нам свою повесть.

— О друг мой,— вещал Янька пророческим голосом и воздевши очи горе,— о Иосиф! ты погиб! Что ты сделал, несчастный юноша? Разве неизвестна тебе жизнь моя? не лишился ли я жены, детей, имущества; не сидел ли в темнице за то только, что сила вина моего повергла некоторых фалалеевских княгинь, им пресыщенных, в объятия батраков и что многие князья от той же причины карабкались на стены? Но ты, о горе тебе, друг мой! Ты обременил женщину, и еще торгующую таким изделием, к коему судии сей деревни чувствуют любовь родственную. Горе тебе, Иосиф!

Вместо того, чтобы послушать сих умных увещаний многоопытного Яньки и наскоро принять меры, Иосиф только издевался и заключил тем, что он плюет на всех судей сей деревни.

Едва окончил он сии храбрые речи, как вокруг хижины нашей послышался смешанный шум и разговор, подобный тому, когда приходили заклинать мертвеца. В скором времени ввалился к нам староста в сопровождении человек пяти десятских. Вся прочая сволочь окружила дом; староста начал с такою грозою, что усы и борода его как будто от ветра шевелились: «Так это ты,

окаянный жид, не усомнился сделать такой позор за нашу хлеб-соль? О проклятый человек! Как только мог ты коснуться к христианской плоти? О ты, предатель Иисусов, злейший самого Иуды! Ступай же поплатись с нами! Свяжите ему руки назад и набейте на правую ногу колодку, а там изволь в мирскую избу!»

Когда десятские бросились на Иосифа со всем жаром, свойственным людям, обиженным в таком щекотливом деле, то сей неугомонный жид вместо оказания смирения; какое сделал соименный ему сын Иакова в Египте, захотел подражать в храбрости Самсону и со всего размаху поразил кулаком храбрейшего из наступателей. Удар был так ловок, что тот свалился с ног, но в падении стукнулся затылком об нос старосты, и у его фалалеевского высокомочия окрасились усы и борода дождем кровавым. Всяк догадается, что дело на шутку не походило. Как Иосиф ни храбро воинствовал, однако должен был уступить силе. Витязи всех веков подвержены были сей необходимости. Иосифа спутали и потащили в мирскую избу, назнача быть великому совету на другой день; причем и меня приглашали на оный, яко почетного жителя деревни.

Ночь провел я в унынии, а Янька — в горести. Со слезами просил он меня употребить все способы к освобождению друга его, и я обещал, а притом с большим усердием, нежели как бывало обещевал во время секретарства при князе Латроне.

Настал решительный день, и я отправился на мирскую сходку. Я немного покраснел, вступая в собрание фалалеевских амфиктионов[1], вспомня, какое лицо представлял во время прежнего правления. Староста открыл заседание следующею речью:

— Известно вам, православные миряне, что жиды издревле великие враги христианскому племени. Они, мерзкие, замучили Христа и многих угодников. За то порядком наказал их господь бог. А когда же и он не пощадил сих уродов, то и нам, грешным, щадить их не подобает. Всем вам известно, что сей изверг обольстил православную шинкарку Устинью. Что вы на это скажете, что и мы должны сотворить с ним?

1-й десятский. По моему глупому разуму так следует лишить возможности творить впредь подобные нахальства.

[1] Амфиктионами назывались члены верховного судулища в Древней Греции.

2-й десятский. Правду сказал, что разум твой не умен. Как мы на то пустимся, на что высокоименитый исправник земского суда с заседателями не решится! что скажут другие?

3-й десятский. Я думаю, что, не доводя дела вдаль, обобрать его до нитки и голого метлами выгнать из деревни.

1-й десятский. Это мнение ни к черту не годится. Земский суд предоставил одному себе право обирать до нитки преступников и за сие более взбесится, чем за отнятие возможности грешить.

Староста. Да коего ж беса мы с ним делать будем?

3-й десятский. Ну, когда уж так, пусть, собака, окрестится и мы за него выдадим шинкарку. Тут все бесы в воду, а он нас хорошенько за то попотчует да даст на кушаки, а бабам на повойники.

Староста. Вы что скажете, князь?

Я. Он теперь слышал все суждения, так пусть объявит, что он сам думает.

Староста. Дельно! Говори, некресть!

Иосиф. Я могу донести, что нимало не виноват; и первое потому, что не я шинкарку, а она,— клянусь десятисловием,— она меня обольстила. Она ничего не жалела, чтобы только склонить меня к своему намерению; ибо сама признавалась, что при первом нашем взоре почувствовала страшное желание испытать разность между обрезанным и необрезанным. Следовательно, если бы попался ей на глаза турок, персиянин, араб — она так же бы сделала. Второе: если бы союз наш был противен судьбе, то она властию своею могла бы воспретить сделаться шинкарке матерью от жида. А как вышло противное, то ясно доказывает, что тут было ее соизволение.

Староста. О богомерзкий еретик!

1-й десятский. Проклятый жид!

Все. Хула на господа бога!

Староста. Дело, однако, запутано, и надобно умеючи разбирать его!

Тут он взглянул в окно и сказал:

— Солнце высоко! Пора выпить по чаре. Отложим наше дело до завтра. Вить он, окаянный, к той поре авось не околеет! К кому бы нам теперь?

Он посмотрел так замечательно на меня, что я сейчас понял и вскричал весело:

— Ко мне, господа, прошу покорно ко мне всех, всех.

В силу сего, оставивши узника в избенке под стражею двух мужиков с длинными дубинами, и все рынулись ко мне. Я приложил старание угостить судей сих, сколько возможно чливее, а они были неспорливы и к полудню так угостились, что насилу могли доползти к избам своим; и мы с Янькою остались одни.

— Вот суд фалалеевский,— сказал я, вздохнувши.— Но не все ли суды таковы! Не всегда ли вкрадывается туда или злость, или корыстолюбие, или фанатизм. Если судья подвержен которому-нибудь из сих состояний души, то и подсудимый таким образом осужден будет. Злой заставит его испытать все мучения; корыстолюбивый оберет до нитки; фанатик, смотря по образу мыслей преступника, или облегчит участь его, или же отягчит несравненно более!

Глава IV

Злоба не дремлет

За излишнее поставляю рассказывать о намерениях наших в течение целого дня, но объявлю, что, лишь настали глубокие сумерки, мы с Янькою, крепко вооруженные флягами, бутылками и пирогами, отправились к мирской избе. «Добрые люди,— сказал Янька к двум бородатым часовым,— мы все сегодни подвеселились, а вы, чай, таете от жажды; ибо я знаю, что жены ваши ничего не приносили к вам, кроме хлеба. Но чтоб радость наша была полная, мы не хотим и вас забыть. Дай-ка хоть теперь попразднуем!» Он разложил свои гостинцы, и наши часовые приняли их в свои объятия, как мать принимает сына, возвратившегося после долгого отсутствия с поля сражения. Они с таким сердечным жаром лобызались с флягами, что к полуночи совсем ошалели. Тогда мы распрощались с ними, но не успели отойти ста шагов, как они растянулись у дверей избы. Мы тихонько возвратились и, видя, что они храпят мертвым сном, немедленно вынули у одного из них деревянный ключ, торчавший за поясом, отперли двери и вывели оттуда удивленного Иосифа. Пришед домой, освободили его от уз судейских; Янька поднял на спину его чемодан, в котором предварительно собрано было лучшее имущество Иосифа и его на-

личные деньги; сунул в руку узелок с съестным и, выпроводя за ворота, сказал: «Ступай с помощию бога Израилева, куда он управит стопы твои! Помни, как опасны подобные связи, а особливо для жидов! Сколько есть христиан, обольстивших жидовок и повергших в бездну любострастия, но сему только лишь смеются. Но упаси тебя архангел божий затевать связи с христианками!»

Простившись, Иосиф бросился бегом из деревни, а мы пошли спать.

Едва появилось солнце в избе нашей, как были мы пробуждены сильным стуком в двери. На дворе раздавался смешанный крик и вопль. Мы уже знали, что это значит, и заранее приготовились. Едва я отпер двери, как вскочил староста и спросил грозно:

— Где он, злодей?

— Кто такой?

— Как кто? жид!

— А нам почему знать? вить он под добрым присмотром!

— То-то и беда, что уж нет! На что ты, князь, поил вчера часовых?

— На то, на что вчера угощал и всю компанию! Я хотел, чтоб все были довольны!

— Ан не так оказалось!

Он вышел, и все бросились бежать. Однако где ни шарили, не могли выкопать Иосифа. Уставши, собрались все на мирскую сходку, но меня уже не приглашали. Через несколько времени стороною узнал я, что два часовые, толико пренебрегшие должность свою и бывшие поводом к побегу Иосифову, в силу мирского суда порядочно наказаны батожьем, в пример другим. Это было нам крайне неприятно, и мы опасались мщения. Чтоб на первых порах избежать скучных посещений и упреков, мы с Янькою тихонько выбрались из деревни и пошли полем, где и провели в небольшом перелесочке весь день и вечер. К ночи завернули мы в корчму, при дороге находившуюся, и начали ужинать. Мы были веселы, и когда трапеза приближалась к концу, хозяин, вошед спокойно, сказал жене, почесывая лоб: «В Фалалеевке славный пожар; побежать было посмотреть, отсюда не более полуверсты». Мы ахнули, взглянув друг на друга; наскоро расплатились и бросились бежать. Кто опишет ужас наш и поражение, когда, подошед поближе к селу, наверное узнали, что горит паша хижина, а с нею все наше имущество и все

наши надежды обращались в пепел. Янька, сложа руки на голове, смотрел на звездное небо,— и, помолчав немного, сказал со стоном: «Повелитель неба и земли, прости отчаянному, когда он вопросит тебя: где ты и почто воздремало око твое?» Холодный пот струился у меня на лбу, и я неподвижно смотрел на догорающую свою хижину. Когда уже не стало видно полымя, мы машинально побрели к хижине; сели на траве в некотором отдалении и молча оборачивали глаза на кружки густого дыму, смотря по его движениям. Всю ночь провели мы, не говоря ни слова.

Наконец заря алая заблистала на прекрасном небе. Князья и крестьяне начали показываться на улице, но ни один не подошел к нам, ни один не пожалел о нашем горе. Взошло солнце, и вместе с светом его прояснилась душа моя. Мне пришел на мысль Иван Особняк, и я, невольно улыбнувшись, оборотясь к Яньке, сказал:

— Не правду ли пел земляк твой: суета сует и всяческая суета.

— Так,— отвечал он с помутившимися взорами,— но угрызение совести тяготило меня. Видно, давно промысел вышнего назначил мне погибель; но ты отклонил его назначение. Ты один жил бы покойно в своем наследии; не знал бы Иосифа; он бы здесь не был; не сделал бы греха с христианкою,— хижина твоя была бы цела. Я всех зол сих причиною.

Он закрыл руками глаза свои, пал лицом к земле и зарыдал горько. Это положение его растерзало сердце мое. Я утешал, уговаривал, грозил гневом божиим за такое малодушие,— тщетно! «Полно,— говорил он с видом отчаянного,— полно тяготить землю твою, великий боже! Я сделал несчастным почтеннейшего из людей. Познаю гнев твой и повинуюсь! Се во прахе простерта глава ничтожнейшего из рабов твоих; возвыси длань, сотвори мание — и его не станет! Но дозволь, властитель грома и молнии, дозволь мне надеяться на смертном одре сем, что поклонник Иисуса, сей единственный друг мой,— и на земле найдет еще себе отраду и утешение. Это будет отрадою и моему духу, отлетающему в недра Авраама, твоего возлюбленного. Но если, боже богов и господи господей, если праведно вещают, что ты возлюбил их паче всех людей под солнцем, буди милостив и ко мне, никогда намеренно не уклонявшемуся от путей, предписанных на скрижалях, данных тобою рабу твоему

Моисею. Наг исшел я из утробы матери моей, наг возвращаюсь во утробу земли — матери всего живущего».

С некоторым невольным ужасом отпрянул я от него, ибо утешать в таковом положении — едва ли не значит умножать меру горести. Судорожные движения в нем обнаружились. Он оборотился лицом к небу, закрыл опять глаза руками и утих. Медленно подошел я к нему, неподвижно смотрел несколько мгновений, нет ли малейшего движения; беру за руку — хладна; глаза сомкнуты, прилагаю руку к груди — сердце неподвижно,— нет более Яньки!

Не нужно сказывать, что ощутила тогда душа моя. Если бы сгорели поля мои, побиты были градом сады и огороды, если бы отнялась половина самого меня,— я не столько бы поражен был. Бросясь на колени, поцеловал я охладевшие уста его и с горькими на глазах слезами, простерши руки к небу, воззвал с умилением: «Сыне бога живого! Неужели ты отвергнешь от трапезы твоей душу сего страдальца, потому что он не познал тебя? Помилуй! Помилуй!

Как ни возмущен был я в духе, однако вспомнил, что довольную услугу сделаю христианам, когда от взора их укрою труп Яньки, дабы не обесчестить их, дав случай оказать изуверство свое над бездыханными остатками праведного еврея. Я взял его в объятия, отнес в свой садик, положил в самом дальнем углу под кустами дикой розы и тут вознамерился упокоить кости его в могиле при первом восходе месяца.

Оставшись один, начал я разгребать уголья на моем пепелище, предполагая найти сколько-нибудь денег для пропитания, ибо я совершенно был уверен, что у земляков своих не выпрошу куска хлеба. Надежду полагал я более потому, что у нас неизвестна бумажная монета, как во многих европейских государствах[1]. Зная места, где мы хранили свое сокровище, начал я рыться, но увы! не нашел ничего, кроме двух червонцев. Это меня оскорбило! Тут понял я, что в зажжении моего дома участвовала не одна злость и мщение, но и корыстолюбие. Что может быть сего гнуснее? Однако ж мне на память пришел опять Иван Особняк, и я утешился. Тут предположил я остаток жизни провести ему подобно и принять все

[1] В то время и подлинно были неизвестны.

меры, чтобы не иметь нужды в людской помощи! День провел я в корчме, где обедал и ужинал, а к ночи побрел к своему покойнику. Во весь день все князья и крестьяне избегали со мною разговора, как будто я был в состоянии заразить их болезнию.

Я вырыл яму подле шиповника и с благоговением опустил в нее почтенные остатки доброго еврея. Всю ночь провел я в молитвах у сей могилы об успокоении души его. Я не полагал никакого греха в том, что отпевал его по обряду христианскому, и думаю, что мой отпев был ничем не хуже обыкновенного. Взошедшее солнце застало меня в сем занятии. Сон не смыкал ресниц моих. Я погрузился в самозабытие и до самых полудней сидел у могилы. Тут природа сказала, что время подкрепить силы свои пищею и сном, и я опять отправился в корчму, где и пробыл до ночи. Я не мог решиться, что мне предпринять наскоро. Нищ, и наг, и бос, куда обращусь я? Пристанища у меня нет, и потому могила Яньки пусть на первый случай будет моим изголовьем. Я прихожу к ней и — ужас! — вижу, что труп его вырыт из земли, и обезображенный, лежит на поверхности. Таковая злоба и бесчеловечие лишили меня совершенно рассудка. Я торжественно предал проклятию всех обитателей фалалеевских, решился оставить свою родину, и — оставить навсегда. Похороня опять тело, я лег у могилы и уснул крепко. Я опытом дознал, что обиженный невинно всегда спит покойнее обидчика. Солнце было уже высоко, когда проснулся я от стука кареты, запряженной в четыре лошади и остановившейся у моих ворот. Лакей в богатой ливрее, осмотрев место, где был дом мой, спросил у одного молоденького князька, который, вероятно, провожал его: «Да где же он?» Мальчик указал на меня пальцем и удалился, а слуга, подошед ко мне с почтением, спросил:

— Вы ли князь Гаврило Симонович Чистяков?

— Так! — отвечал я с недоумением.

Слуга. Судя по виду — вы почтенный человек!

Я. Спасибо за ласку!

Слуга. Хотите ли быть счастливым?

Я. Кто того не хочет?

Слуга. Это от вас зависит!

Я. Каким образом?

Слуга. Садитесь в карету. Я привезу вас в такое место, где вы, без всякого сомнения, найдете свое счастие.

Но только не спрашивайте куда. Время объяснит все. Согласны ли?

Все слышанное меня удивляло, и я, конечно, в других обстоятельствах не вверился бы незнакомому; но когда земляки сожгли мой дом, убили, можно сказать, моего друга, то я немедленно рассудил, что где бы я ни был, хуже не будет, и решился ехать, сам не зная куда. Я сел в карету и дозволил себя везти, куда угодно; слуга сел подле меня и дорогою болтал беспрерывно. Сколько ни пытался я проведать, кому я понадобился и куда еду, он отбояривался одними и теми же словами: «Сами узнаете!»

К исходу третьего дня приблизились мы к густому огромному лесу.

— Не прогневайтесь, князь,— сказал слуга,— что я должен буду исполнить теперь волю меня пославшего. Дозвольте завязать вам глаза!

— На что?

— Так надобно!

Я немного призадумался; но рассудя, что, отважа себя ехать трои сутки с неизвестным человеком, можно решиться и на последнее его желание; ибо если бы какой умысел был против меня, то оный мог бы произведен быть в действо и до сих пор. Итак, решился дозволить все, чего от меня требовали. Мне завязали глаза, и мы поехали. Часа четыре были в дороге, как карета остановилась. У меня отняли с глаз повязку, и я сквозь темноту глубоких сумерок увидел довольно большой деревянный дом, у крыльца которого остановилась наша карета. «Можете выйти, князь»,— сказал слуга, и я вышел. Меня провели чрез несколько комнат в покойчик, убранный довольно нарядно. «Это ваша опочивальня»,— сказал слуга, поставил свечу на стол, поклонился и вышел.

Рассмотрев свою спальню, нашел покойную постелю, шкаф с книгами, чистую на столе бумагу с чернильницей и прочим письменным прибором.

Я рассудил, что хозяин, видно, не незнаком мне, когда знает мой вкус к чтению. Почему, вынувши похождение Жилблаза, занялся сею книгою и при каждом новом положении героя сравнивал с ним себя. Мое тогдашнее положение было подлинно жилблазовское. Часы, в комнате моей висевшие, пробили одиннадцать; дверь моя отворилась, и появился слуга с ужином, который показался мне деликатнее моих фалалеевских пиршеств.

По окончании еды слуга собрал со стола, сделал опять поклон, скрылся, а я бросился в постель.

Тогда-то начал я ожидать развязки сей комедии; но ждал напрасно. Вокруг господствовала глубокая тишина, и сон неприметно смежил мне глаза. Утром довольно не рано проснулся я и подошел к окну. Огромная роща мне представилась. Она наполнена была сернами, зайцами и другими подобными животными, из чего и заключил я, что это, конечно, зверинец. Чрез несколько времени вошел прежний слуга с завтраком, довольно показывавшим нескупость хозяина. Он сказал, что я могу проходиться в их зверинце, который был у меня пред глазами. Когда я спросил о хозяине дома, то получил в ответ то же, что и прежде: «Сами узнаете!» Он проводил меня к воротам зверинца, впустил туда, запер опять дверь и, не дожидаясь вопросов, удалился.

Я не мог судить о нраве хозяина по его саду. Тут у какого-нибудь болота стояли кусты прекрасных роз и лилей, а вокруг их возвышалась крапива. Превосходной работы мраморный купидон, привязанный к дубу, висел вверх ногами. Что за аллегория? Тут был бюст Сократа, представлявший, по-видимому, ту минуту, когда сей языческий праведник отворяет рот для принятия смертоносной цикуты. Светлый взор, обращенный к небу, спокойные черты лица заставили меня остановиться; но я не мог не улыбнуться, видя, что рот его напихан был грязью. Одним словом, где я ни ходил, везде удивлялся и, наконец, заключил, что хозяин мой если не совсем сумасшедший, то по крайней мере полоумный человек. Прошед весь сад, увидел я в конце оного беседку, довольно диковинную. Это был храм, окруженный деревянными колоннами, на коих расписаны были снизу доверху изображения зверей, птиц, рыб и гадов в чудных положениях. Кровля была соломенная. Подошед ближе, увидел я у окна внутри беседки женщину в белом утреннем платье, сидящую ко мне спиною. Она вышивала в пяльцах шелками и столько углублена была в свою работу, что не приметила моего приближения. Зато приметили его другие. Не успел я простоять двух мигов у окна, как поражен был звуком цепи и страшным лаем. Предо мною стоял, оскаля зубы, страшный собачище. Слава богу, что он был прикован. Я отскочил на аршин назад; незнакомка вскрикнула, вскочила и, увидя меня, сказала торопливо: «Не подходите! Это целое чудовище». Я снял

шляпу и почтительно поклонился. Она была женщина лет тридцати и, можно сказать, прекрасна и величественна. Вскоре явилась она предо мною, погрозила собаке и просила войти в беседку.

— Я догадываюсь,— сказала она,— кто вы! Князь Чистяков? Не так ли?

— Точно так, сударыня! но позвольте просить снисхождения, чтоб я мог знать, в чьем я доме и с кем имею счастье теперь говорить?

— С хозяйкою сего дома,— отвечала она,— прошу пожаловать в беседку.

Я охотно склонился на сие предложение и вошел во внутренность храма. И тут не меньше было странностей, как и снаружи, и ее можно было назвать более ружейною палатою какого-нибудь разбойника, нежели беседкою. Красавица вступила со мной в разговор, и я нашел, что она довольно остра и рассудительна. Когда наступило обеднее время, она просила моего согласия, чтобы обедать вместе. Легко догадаться можно, что я не заставил долго просить себя. Словом, весь день провели мы вместе и расстались уже после ужина довольно поздо. По ее желанию дал я слово на другой день быть столько же благосклонным и завтракать, равно обедать и ужинать вместе. Таким образом прошли целые пять дней.

На шестой день,— для меня незабвенный,— когда мы по обыкновению кончали завтрак, она, несколько покрасневши, сказала мне:

— Князь! Пора мне открыть вам причину, для чего вас сюда требовали. Я — вдова и, как сами видите, довольно неубогая. Проезжая чрез Фалалеевку, я имела случай вас видеть и отличить от всех мужчин, мною доселе виданных. Быв сама своею повелительницею, я решилась добровольно подвергнуть себя вторично узам брака. Вы в тех уже летах, что будете уметь сделать жену свою счастливою. Вы, князь, мною избраны. Видя, сколько я чистосердечна — будьте таковы и сами. Что скажете на мой вопрос?

Кто б в моем положении отказался от таких видов? Мужчина за сорок лет, нищ и почти наг, пленяет молодую, прекрасную женщину и сверх того богатую! Не есть ли это чудо? Я пришел в восхищение. Голова моя наполнилась питерскими приемами. Стремительно став на одно колено, с любовничьею ухваткою протянул к ней руки и воззвал:

— Достойная обожания женщина! Кто из смертных отказался бы от сей чести? Располагай по своей воле послушнейшим рабом твоим!

Видя мою готовность принять ее предложение, она с улыбкою протянула ко мне руку, и я, став на ноги, поцеловал оную с восторгом. Столько-то безумен бывает человек и в пожилых летах! Взявшись под руки, вошли мы в покой, в котором показала она мне несколько шкафов, наполненных готовым мужским платьем и бельем.

— Выбирайте, князь,— сказала она мне,— что вам полюбится и придется впору. Завтрашний день увенчает общие наши желания.— С сим она меня оставила, а на место ее появился знакомый мой слуга; поздравил с будущим браком, и мы ревностно начали стараться о выборе нарядов. И в самом деле, это немалого стоило труда. Как видно то, покойный муж моей невесты был выше меня целою четвертью, зато вдвое тонее. Но нечего было делать! Где найти портных, которые бы поспели работою в одни сутки? День прошел в превеликих суетах, и я опустился в постелю в самых приятных мыслях. Иногда, правда, приходило мне на мысль, что не слишком ли тороплюсь я третичною своею свадьбою, однако таковые рассуждения мгновенно исчезали при одном представлении прелестей Харитины. Так называлась новая моя благодетельница. Вожделенный день настал. Едва узнали, что я продрал глаза, как на дворе раздались звуки охотничьих рогов, и вскоре от моей богини пришла посланница с изъявлением поздравления и напоминанием, что в этот день я по обычаю правоверных не увижу невесты иначе, как в церкви при венчанье. «Это ничего,— думал я,—что днем ее не увижу, зато уж после наговоримся досыта».

Когда пришло время одеваться к венцу, я с помощию слуги кое-как напялил на себя кафтан и, посмотря в зеркало, чуть не ахнул. Кафтан доставал до самых пят, но зато уже руки мои точно были как бы связанные назад. Но так и быть! К вечеру объявили мне, что как в доме одна карета, в которой поедет невеста, то соблаговолил бы я ехать верхом. Я и на то согласился и в сопровождении человек четырех вооруженных слуг, перекрестясь на все четыре стороны, отправился в путь, горя нетерпением скорее окончить все сии церемонии.

Глава V

Какие нечаянности!

Часа через два прибыли мы в церковь. Светильники были возжены; в скором времени явилась прелестная моя невеста, и союз брачный заключен с сердечным удовольствием. Я клялся в вечной верности, но казалось, что она не так-то весело делала свое обещание; и я причел сие обыкновенной женской застенчивости. Я был несказанно весел и, едучи обратно уже рядом с женою, благодарил бога за ниспослание мне таковаго счастия.

У ворот встретили нас слуги ружейными выстрелами; и я не мог довольно налюбоваться, с какою честию высаживали меня из кареты и провели в покой, где уже стоял стол, обремененный яствами и разными напитками, несмотря, что едоков было только двое, ибо я с удивлением узнал, что никто не был приглашен нам сопиршествовать. Было несколько за полночь, как встали мы из-за стола, и двое слуг под руки повели меня, но не в брачный покой, а в прежнюю мою опочивальню. Я молчал, полагая, что новобрачная на первый раз совестится раздеться в присутствии мужчины. Меня раздели и, к еще большему моему изумлению, советовали одеться в то платье, в котором я приехал. «Так угодно княгине», — представляли они, и сего было довольно, чтоб я беспрекословно повиновался ее воле. Едва облачился я в свое вретище, как и она явилась в прекрасном спальном платье и показалась мне столько прелестною, что я упал к ногам ее и протянул руки для объятия колен ее. Она отпрянула шага на три и сказала величественным голосом: «Умерьте, князь, свои восторги; сядьте и выслушайте меня. Я одна из тех несчастных, которых называют обольщенными. За несколько лет полюбил меня один князь, и я не могла не отвечать ему. Я обокрала почтенного отца и бежала в сию пустыню. Всякий день обещал похититель мой на мне жениться и до сих пор обманывал. Мне стыдно было даже слуг своих быть простою наложницею; а слыша от него неоднократно, что в селе Фалалеевке есть князь Чистяков, я воспользовалась его отсутствием, и следствие вам известно. Я сделалась княгинею. Если же он возвратится сюда и если бы я дозволила вам хотя один раз воспользоваться правами супружества, то мы оба погибнем. Мне нрав его известен! Итак, князь, за труд, который вы для меня предприняли, не откажитесь принять небольшой по-

дарок, и прошу немедленно выйти, да советую и впредь не подходить сюда близко».

Кончив такую речь, она встала, сунула мне за пазуху кошелек, поклонилась и вышла.

Я сидел подобно каменному истукану и, может быть, просидел бы так долго, если бы не явились трое слуг, из коих двое опять взяли меня под руки и повели, а третий прибавлял мне ходу, постукивая кулаком в спину. Мы сошли на двор, там за вороты и, наконец, пошли лесом. Ночь была глубокая. Проливной дождь осенний ведром катился с неба. Сколько я могу чувствовать, так, кажется, меня вели около двух часов, наконец остановились и, проклятые плуты, пожелав моему сиятельству покойной ночи, оставили в дуброве. Хохот их долго раздавался. Я стоял, опершись о дерево, и долго не мог хорошенько опомниться. Когда пришел в чувство, то горесть, близкая к отчаянию, мною овладела. Я произнес только: «Безумец! И ты льстился еще быть счастливым? Здесь твое ложе брачное!» Потом повалился у корня древесного на мокрый мох и листья. Я не чувствовал сырости, хотя, пришед в надлежащее положение души моей, на рассвете увидел, что почти купаюсь в тине. Сильный озноб пронял насквозь мои кости. Дрожа всем телом, встал я и побрел наудачу. Все прежние философские умствования мои исчезли, как исчезает последний луч зари, когда покроется небо громовою тучею. Густота леса беспрерывно меня затрудняла. И как я шел в сильном возмущении, так сказать напролом, то в скором времени прутья нахлестали мне лицо порядочно. Деревенский мой балахон открыл в некоторых местах старые раны, кои залечены были в Фалалеевке. Сапоги равным образом были изувечены, и к закату солнечному один из них напрямки отказался продолжать услуги своему господину. Не только к вечеру, но и к самой ночи не мог я найти выходу из сего проклятого леса. Я начинал думать, что моя невеста была не что иное, как проклятая ведьма, которая решилась погубить своего мужа в сем околдованном месте. Видя ясно, что к вечерней моей трапезе столько же иметь буду припасу, как и к обедней, я выбрал место под развесистою елию, ибо она было возвышеннее других; постлал постелю из обсохших уже листьев, лег на них, призвав в помощь ангела-хранителя, оделся балахоном, во время дня высохшим, и готовился предаться в объятия сна, как, к немалому моему изумлению, в некотором отда-

лении послышал я басистые голоса, которые беспрерывно произносили «ау! ау!».

«Вот тут-то беда! — сказал я сам себе.— Проклятая ведьма, видно, послала леших задавить меня». Восклицания их час от часу приближались к моему логовищу, и я, видя, что нет спасения, вскочил, накинул на себя балахон и решительно вскарабкался на самый верх ели. Хотя иглы и довольно меня щекотали, однако я, выбрав крепкий и кудрявый сук, сел на него верхом и расположился ожидать окончания моих преследователей. И в самом деле, они с разных сторон сошлись у моей еловой крепости, и один сказал:

— Остановимся здесь отдохнуть.

1-й леший. Ну, плохо нам будет, видно, проклятый ускользнул.

2-й леший. Правду сказать,— я и сам не знаю, за кем и за чем мы целый день рыскали здесь по трущобам.

3-й леший. Разложи-ка огонек, да отогреемся, у меня есть запасная фляжка с винцом.

1-й леший. А у меня добрый кусок жаркого. Я предчувствовал, что не скоро возвратимся.

2-й леший. А у меня на закуску трубка и пузырь табаку.

3-й леший. Дельно! давай раскладывать огонь.

Я испугался не на шутку. Если они меня и не увидят, то, злобные лешие, задушат дымом.

Они начали трудиться, собрали кострик дров, развели огонь, и спокойно лежа на приготовленной мною постеле, кушали со вкусом жаркое, попивая из фляжки, и когда кончили все, то принялись за трубку, которая попеременно переходила из рук в руки. Не евши целый день, с какою охотою согласился бы я называться в их обществе четвертым лешим! Чему я дивился, так было то, что они очень походили на людей и вооружены порядочно. «На что,— думал я,— чертям ружья и пистолеты? Уж полно, не разбойники ли?» Эта мысль показалась мне основательною, и, не знаю отчего, я крепче прижался к дереву. Видно, есть случай, что люди страшнее чертей. От последних есть надежда избавиться силою креста, а от первых иногда и пестом не отделаешься.

Когда кончили они зубную и губную работу, то второй из них сказал к первому:

— Ну, брат, расскажи ж нам теперь об этом чудном деле, вить ты был сам при этом.

Первый согласился и рассказал преподробно последнее мое приключение в доме Харитины: мое венчание, мой торжественный оттуда выход, словом — я в сем плуте признал слугу, который привез меня в сей вертеп мошенников, прислуживал мне и после провожал в спину тумаками.

— Мы возвратились уже в дом на рассвете,— продолжал он,— и, к великому удивлению, услышали в покоях шум, вопль и крик. Мы входим в залу — о ужас! — новая княгиня Чистякова стоит на коленях пред раздраженным князем Светлозаровым.

Князь Гаврило хотел было продолжать и уже раскрыл рот, как с удивленим приметил, что старый Причудин побледнел как снег.

— Как? — сказал он дрожащим голосом,— так вы женились в лесном доме на беспутной женщине, которая убежала от отца с бездельником Светлозаровым?

— Да!

— Какого она роста?

— Выше среднего.

— Волосы?

— Самые темно-русые!

— Глаза?

— Черные, блестящие!

— Не заметили ль на левой ноздре маленького черного пятнышка?

— Как не заметить, когда оно составляло особенную красоту!

— Полно! — вскричал Причудин.— Довольно. Знай! Теперешняя жена твоя есть,— пожалей о мне, благородный человек; пожалей о старом, несчастном друге твоем,— знай, что я должен выговорить,— она есть Надежда, дочь моя!

Он зарыдал горько, закрыл лицо руками и, шаткими шагами пошед в свою моленную, заперся в ней и не выходил во весь день, вечер и ночь.

Князья, отец и сын, остались пригвожденными к своим местам. Они наконец взглянули друг на друга, и князь Гаврило, взяв сына за руку, пожал и сказал сквозь слезы:

— Узнай и ты! Теперешняя жена моя есть твоя незнакомка на паперти святого Николая.

Он его оставил, пошел в свою спальню, запретив за собою следовать, и Никандр остался один.

Глава VI

Какая встреча!

Для Никандра, такого охотника рассуждать, нашелся теперь приличный случай удовольствовать страсть свою. Да и было о чем подумать! Хотя он не запирался так, как Причудин и отец его, со вкусом отужинал и лег спать, однако тут-то он и приводил в порядок свои идеи так:

«Я видел мою незнакомку на паперти вместе с Катериною, которая вышла замуж за какого-то графа. Беззащитная Елизавета — нельзя не сомневаться — верно, вместе с ними: да и Катерина то подтвердила. Итак, отыскав жилище знакомой теперь, а прежней незнакомки, мачехи моей — княгини Надежды Чистяковой, открою вместе и жилище Елизаветы. Эта мысль превосходна, и надобно произвести ее в действо как возможно скорее». При сем в голове его блеснула мысль, что как отец его есть законный муж дочери Причудина, а князь Светлозаров сослан за Байкал, то открывалася возможность примирить мужа с женою и тем успокоить старца Причудина при закате дней его.

Едва только солнце взошло на небо орловское, уже каждый из обитателей пустился на свою работу, как-то: ночные воры, картежники и посетители нимф веселия плелись к своим приютам успокоиться от трудов. Купцы тащились в лавки, рассуждая о несчастной дешевизне; хранители правосудия и рабочие люди быстрыми шагами, размахивая одною рукою, а другою счищая перья с голов и платья, стремились в кабаки,— как в храмы, в коих соверша обычное жертвоприношение, медленно уже ползли к местам, назначенным для них судьбою. Нельзя было не приметить и тех целомудренных, богобоязливых девиц, которые с полусомкнутыми глазами, с бледными, помертвелыми лицами неровным шагом тащились в скромные свои обители. В таковую-то пору вышел, или, можно сказать, вылетел, Никандр из своего дома и бросился рыскать по улицам и рынкам. Много везде народу, но мачехи его нет! Громкий звук колоколов призывал правоверных в храмы принести благодарение всевышнему за счастливо проведенную ночь; и Никандр не пропускал ни одной церкви, ни часовни, чтобы не помолиться. Нет! чтобы не осмотреть каждого

угла! Все понапрасну! Он не забыл посетить паперти св. Николая, но и тут не больше удачи. С неудовольствием, изображенным на всем лице его, пришел он домой в ту пору, когда солнце стояло уже прямо над крышами домов. Едва успел он отереть пот с лица, как явился в зале князь Гаврило. Лицо его не показывало ни малейшего расстройства; все черты были свежи; взор покоен. С дружескою улыбкою протянул он к Никандру одну руку, а другою подал записку. Никандр прочел в ней:

«Друг Гаврило Симонович!

По необходимой надобности оставляю вас на малое время, именно недели на две или немного поболе. Вы знаете мои дела! Оставляю вам ключи от всех моих сундуков, погребов, шкафов — ото всего. Как скоро прибуду к месту, мною назначенному, вы получите от меня письмо и можете писать ко мне. Желаю вам провести время весело. Никандру мой поклон.

Причудин».

— Ну, что же теперь будем делать? — спросил Никандр несколько беспокойно.

— То, что и прежде,— отвечал князь,— ты свое, а я свое!

— Что же Елизавета?

— Ты все еще об ней помнишь!

— Батюшка! неужели я могу забыть об ней?

— А если она тебя забыла?

— Невозможно,— клянусь богом, невозможно! Сердце мое в том мне порука.

— Самая дурная, ненадежная порука! Свидетельствует в том третья моя женитьба!

— Батюшка! Совсем другое дело!

— Может быть!

— Я отыщу ее!

— С богом!

— Что ж вы тогда скажете?

— Посмотрим!

Князь ушел в свою комнату, и сын его остался в недоумении. Настало обеднее время, и они отобедали. Говорили о том и о сем, а особенно ни о чем важном. Так прошел и день и два; так прошла целая неделя, а там и две, а там и три. Что делало их иногда задумчи-

выми,— так отца — неполучение писем от Причудина, а сына — совершенное безвестие о своей мачехе и с нею вместе и о Елизавете.

Однако ж не должно думать, чтобы нежный Никандр хотя на одну минуту забывал свою возлюбленную. Он не оставлял по-прежнему бегать по городу и предместьям в чаянии когда-нибудь открыть предмет своих неусыпных исканий. Однажды рано поутру бродил он верстах в трех от города, и когда пришла пора, то он, позавтракавши в трактире, стоящем вблизи дороги,— пошел в лес без всякого намерения. Тогда еще не знали приведенных теперь в систему прогулок *без плана и без цели.* Руссо, как кажется, был первый, открывший сие великое таинство, а некоторые соотечественники наши так усовершенствовали сию премудрую науку, что не только во всю свою жизнь прогуливаются, но ведут жизнь домашнюю, общественную — и все делают без плана и без цели. Никандр не собирал ни ландышей, ни незабудок или потому, что их там не было, или что он занят был важнейшими мыслями. Он не прежде остановился, как услыша невдалеке от себя звуки голоса человеческого. Он осмотрелся кругом и сквозь кусты дикой малины увидел: молодой мужчина сидел на траве, опершись на полуизгнивший пень. Щеки его были бледно-желтые, глаза сверкали тусклым огнем; голова с растрепанными волосами лежала на отрубе пня. Правая рука его была изголовьем, левая покоилась на замке лежащего у ног пистолета. Никандр невольным образом содрогнулся, увидя картину, дотоле им не виданную. Он остановился в глубоком молчании, и незнакомец сам к себе проговорил: «Итак, в последний раз вижу тебя, солнце небесное! Тенистая дуброва сия одна будет свидетельницею геройской смерти несчастливца! Хищный ворон падет на бездыханный труп мой и с громким, веселым криком разделит сердце мое между птенцами своими! Ужасно! боже мой!» Тут погрузился он в забытие, но скоро из оного вышел, схватил пистолет в правую руку, поднял вверх и вскричал диким голосом: «Прости все!» Никандр, пораженный ужасом, воззвал: «Остановись!» Бросился стремглав к отчаянному, и, прежде нежели тот опомнился, он вырвал у него пистолет, выстрелил на воздух и после в молчании ожидал ответа. Сей не замедлил вопросом:

— Кто вы, незнакомый молодой человек, который оказал мне пагубную услугу? Конечно, вы счастливы,

что жизнь почитаете драгоценною? О, если бы знали вы, какое она бремя для злополучного! Другие сутки уже как ни одна кроха не смягчила лютого голода, но что сталось с бедным семейством моим! Будьте великодушны, молодой человек,— отдайте мне орудие, которое должно погасить последнюю искру жизни моей.

— Никогда,— воскликнул Никандр,— вы сказали правду, что я не могу назваться несчастливым, ибо любим теми, кого и сам люблю. И потому-то было бы совестно не стараться по мере возможности осчастливливать других. По-видимому, вы нуждаетесь в деньгах. Слава богу, у меня нет в них недостатка. Но как вы имеете нужду в подкреплении, то пойдемте вместе. Недалеко в стороне есть дом, где вы можете успокоиться.

— Нет, великодушный человек! — возразил незнакомец,— с радостию принял бы я ваше предложение, но не могу. Меня везду ищут, и тюрьма давно уже очищена.

— Поэтому вы сделали важное преступление?

— Я должен, и заимодавцы ищут воспользоваться своим правом!

— Более ничего?

— А разве этого мало?

— Ну так побудьте же здесь,— я возвращусь немедленно!

Никандр опрометью бросился на дорогу, прибежал в трактир, взял съестного, бутылку вина и опять тою же дорогою возвратился к своему товарищу. Он нашел его в положении противу прежнего спокойнейшем, и когда предстал пред него с гостинцами, то казалось, что пустынный гость был в некотором недоумении и не верил собственным глазам своим. Никандр подал ему пример, и незнакомец мало-помалу приставал к нему с примерною охотою. Блюдо с жарким и бутылка были пусты. Незнакомец, сделавшись бодрее, сказал:

— Государь мой! вы на целые два дни еще продлили жизнь мою. Судя по теперешнему поступку вашему — вы добрый человек. Нельзя ли оказать услугу и моему семейству, ибо я не могу сам идти к нему! скажите...

— Что? — вскричал Никандр.— И семейство ваше страдает? Пойдем поспешим! Мой кошелек...

— Не возьму ваших денег,— отвечал другой,— ибо мне невозможно явиться дома. Меня стерегут!

— Ну так дождемся сумерок и вместе пойдем к отцу моему. Он сам испытал очень много доброго и злого, а

потому я ручаюсь, что вам рад будет от чистого сердца. Семейство ваше беру я в свою ответственность и в сохранении оного дам ответ вам, отцу моему и богу.

Из разговоров незнакомца Никандр мог заметить, что он человек воспитанный и должен быть породы порядочной. Его положение было таково, что совестно расспрашивать: кто он, куда и откуда? Пред захождением солнца наш путешественник опять отправился в трактир, воротился, обремененный доспехами противу голода и жажды, и закат солнца проведен был если не весело, то по крайней мере не скучно.

Настала ночь. Никандр взял за руку своего нового незнакомца и повел в город. Когда взошли они в столовую залу, князь Гаврило, готовившийся встретить сына своего выговором за целодневную отлучку, отложил вдруг свое намерение, увидя с ним незнакомого; сын дал знать отцу, что он имеет надобность переговорить с ним наедине, отец вышел в кабинет свой, и когда Никандр рассказал ему все приключения прошедшего дня, князь Гаврило обнял его со слезами и сказал: «Бог да наградит тебя, сын, за подарок, который ты мне сделал».

Незнакомому,— которого никто даже не спросил и об имени,— приготовили постель в особой комнате, и Никандр, провожавший его, сказал: «Не нарушая благопристойности, могу спросить вас, государь мой, где имеет прибежище семейство ваше? Обстоятельства запрещают вам показываться обществу; то будьте у нас,— не лишите же удовольствия помочь ему по нашей возможности!»

Незнакомец со вздохом рассказал, что жена его с семейством живет в предместии и на самом выгоне, объясняя при том, что его зовут Фирсовым. Никандр оторопел, услыша имя мужа Катерины, сестры своей Елизаветы. Сколько ни обрадован был он сим происшествием, но старался скрыть состояния души своей. Почему, пожелав покойной ночи, пустился в свою опочивальню. Едва начала показываться утренняя заря, он был уже на ногах. Не желая делать кого-либо из слуг своих участником своего благополучия, он накинул плащ, взял кошелек с деньгами и отправился на предместье. Прошед все, он спросил у резвящихся детей на улице, где живет семья Фирсова? Они отвечали, указав на отдаленную избушку, стоящую почти в лесу, во ста саженях от деревни.

Местоположение было довольно приятное. Небольшой ручей протекал невдалеке от хижины. С одной сто-

роны — лес, с другой — луг и пашня были настоящие сельские картины. С приятным трепетанием сердца подходил Никандр к хижине, как нечаянное явление остановило его на несколько времени. Это была деревенская девушка в сарафане, которая несла глиняный кувшин с водою от источника. Что ему мудренее показалось,— так необыкновенный убор крестьянки. Волосы ее были прибраны чище обыкновенного и свежие васильки украшали грудь ее. Никандр остановился, чтобы, дождавшись ее, узнать, точно ли эта хижина Фирсова. Когда она приближилась, он осмотрел ее внимательно, она его так же, и, наконец, оба вдруг произнесли: «Никандр!» — «Елизавета!»

— Правосудный боже! — вскричал молодой человек,— неужели это ты, бесподобная девица! и в каком положении!

Кувшин выпал из рук девушки, силы ее оставили, природа взяла верх, Елизавета,—ибо это была она,— заплакала. Никандр походил на помешанного в рассудке.

— Благодарю тебя, милосердое провидение,— сказал Никандр с восторгом,— что ты даровало мне счастие найти единственное благо дней моих! Так, Елизавета! одному всеблагому промыслу обязан я, что могу сколько-нибудь возблагодарить в лице твоем почтенному отцу твоему! Было время, что он призрел беспомощного сироту, и теперь сирота тот...

— Остановись,— прервала Елизавета,— ты будешь упрекать нас в жестокости, с каковою выгнали тебя из дому.

— Правда,— отвечал Никандр,— что тогда было поступлено со мною не слишком милостиво,— однако ж справедливо! Бог знает до чего бы довела нас молодость и сестра ее — безрассудность.

Когда первые порывы хотя и предвиденной нечаянности прошли, Никандр с краскою стыдливости объявил ей, что ему известно горькое их положение и что он взял на себя старание поправить оное. Рассказал также о вчерашнем свидании своем с г-м Фирсовым, и мало-помалу разговоры их стали дружественнее.

Вскоре показалась и Маремьяна Харитоновна с Катериною. Она никак не могла признать своего живописца, пока Елизавета не привела ей о том на память, прибавя, что он есть князь Чистяков. Тут старуха бросилась к нему на шею, обняла, как любезного сына, и сквозь слезы сказала: «Батюшка ты мой. Не попомни зла!» Ни-

кандр знал, как обойтись с нею, и чрез несколько минут водворилась приятная тишина. Он предложил завтрак на берегу ручья в тени ветвистой липы. Предложение было охотно принято, и к концу завтрака ни один посторонний не заметил бы, что все они не составляли одного семейства. Однако Никандр не мог пробыть, не видя своей мачехи; и потому спросил:

— За несколько времени, судя по стечению обстоятельств, казалось мне, что семейство ваше было более одною женщиною?

— Ах! — отвечала Маремьяна. — Это была наша Харитина, которую покойный Иван Ефремович бог весть откуда взял. Нечего таить,— она была добрая и работящая, но вот уже другая неделя, как пропала.

— Как пропала?

— Христос знает! как в воду упала!

Такая ведомость была Никандру крайне неприятна. Однако как нечего уже было делать, то он, обнадежив все семейство в неограниченной своей преданности и сколько мог успокоя оное касательно судьбы графа Фирсова, отправился в город, провожаемый благословениями. Кошелек его остался в руках изумленной Маремьяны, которая на ту пору или совсем забыла, или только казалась забывшею, что у покойного батюшки ее бывали в доме балы, феатры и маскерады.

Князь Гаврило немало подивился, когда сын подробно донес ему об утренней своей прогулке. «Друг мой,— сказал он с доверенностию.— Обстоятельства теперь наши таковы, что ты можешь думать об Елизавете, если сердце твое и до сих пор чувствует к ней одно и то же. Однако ж справедливость и благопристойность требуют, чтобы не начинать обязательств, пока не получишь соизволения от почтенного нашего друга, Афанасия Анисимовича. Я думаю, что и он спорить не станет». Никандр должен был довольствоваться распоряжением отца своего. Между тем время текло своим порядком. Он посещал деревенскую обитель своей Елизаветы, снабжал всем необходимым и, возвратясь домой, старался успокаивать графа Фирсова, извещая о состоянии его семейства. Граф, с своей стороны, был признателен, старался искренностию своею отплатить хозяевам за их добродушие, а потому и дни их текли довольно сносно. В одно время, после завтрака, князь Гаврило стороною дал знать графу, что ему непротивно было бы слышать о причинах,

кои привели его в столь затруднительное положение. «Охотно исполню желание ваше,— отвечал граф,— но наперед предуведомляю, что вы ни о чем не услышите, как только о многоразличных глупостях. Впрочем, как повествование и о дурачествах людских имеет свою пользу, то на сей конец и я не скрою ни одной истины. Извольте слушать!»

Князь Гаврило и сын его придвинули поближе свои кресла, расположились, и граф Фирсов начал рассказывать следующее.

Глава VII

Награда по заслугам

— Граф Фирсов, отец мой, был хотя не самый знатный граф в царстве русском, однако его можно было счесть довольно отличным дворянином. Особливо во всей окружности его поместьев он был самый богатый и самый чиновный дворянин, и псовая охота его была первой во всей окрестности. Он был в военной службе и признавался за отличного ратоборца; покуда не женился и служил в гвардии, то никто не связывайся с ним ни в трактирах, ни у всеобщих красавиц. Тут он не уступил бы и самому принцу; и редкий день проходил, чтобы он не увенчивался новыми лаврами. Потом женился, и пробыл он в деревне до десятилетнего моего возраста. А как война с турками возгорелась, то отец мой храбро двинулся со своею ротою, и к осени были все уже за границею. По времени открыли в нем редкие дарования и великую деятельность, и он назначен был в посольство, сколько увидите, довольно замысловатое. Однажды к главнокомандующему нашими армиями собрались генералы и знатнейшие офицеры. Это было в середине самой глубокой зимы. С удивлением заметили они, что их князь морщился, корчился, потягивался и на все вопросы приближенных отвечал одною сильною зевотою, которая над другими производила то же действие, и все, глядя на него, зевали до слез. Князь сжалился над сими зеваками и сказал голосом умирающего человека: «Господа! Я весьма нездоров! Сегодни поутру мне чрезмерно захотелось поесть свежих вишень. Чувствую, что одна ягодка меня бы исцелила; но где взять их в сей варварской земле и среди зимы?»

Он умолк. Присутствующие, подобно Гомеровым витязям, стояли молча и робко друг на друга поглядывали. Тут-то отец мой, как новый Ахиллес, выступил на середину и, вытянувшись, сказал: «Светлейший князь! Буде благоугодно вам поручить деятельности моей и неусыпному рачению сие дело, то я даю под залог мою голову, что чрез десять дней вы будете кушать во здравие самые лучшие вишни, какие только найти можно в столице!» — «Хорошо, братец,— сказал князь сквозь зубы, ибо он грыз тогда ногти,— поезжай».

Отец мой недолго мешкал. Он бросился в курьерскую повозку и подобно вихру поскакал. Прибыв в столицу, он подлинно не спал ни дня, ни ночи, обегал все оранжереи, набрал около сотни вишен и, уложенные садовником, чтобы не померзли в дороге, согревал у своего сердца, и в исходе восьмого дня, с торжественным видом неся в руках корзинку, предстал к его светлости. Все ахнули от удивления, и князь спросил: «Что это, братец?» — «Это свежие вишни, ваша светлость! Благодарение богу, я выиграл еще двое суток». Князь съел вишню, потом другую, третью — и совершенно исцелился от своей немощи!

Остальные роздал он генералам, которые съели их с косточками и уверяли, что хотя они доселе и были здоровы, однако стали еще здоровее, как будто напились *живой воды*. Тогда князь, оборотясь к отцу моему, сказал: «Поздравляю вас маиором!» Все теснились к нему, заглушали приветствиями, а отец мой считал сей день благополучнейшим в своей жизни.

Настала весна; генералы и офицеры кинули карты, велели уложить полные бутылки, а пустые разбить, и явились на поле брани. Отец мой, будучи человек рассудительный, знал, что за турками гоняться несколько мудренее, чем за зайцами. А потому пред сражением, вынув пистолеты из втулок, на место их велел всунуть туда по бутылке лучшей водки; и так вооруженный, по приказанию начальства пустился он с полком чрез густой лес, дабы обойти супостата. Чувствуя, чем далее подвигались в лес, тем врожденная храбрость его колебалась, он начал со всею неусыпностию придавать себе искусственной, слыша некогда от домашнего учителя, что искусство нередко побеждает природу. И подлинно— оно победило! К наступлению ночи неприметным образом он очутился назади всех, а скоро выпустил их из виду. Знал он, что неприятель очень близко, что сию же ночь назна-

чено быть кровопролитию. Эта мысль его встревожила, он влил в себя последний и самый сильный прием храбрости и понуждал коня своего идти проворнее. Конь сделал шаг, вдруг вдалеке послышался звук пушечных выстрелов, отец мой пошатнулся направо, конь ударился влево, и в силу такового разнородного движения родитель мой полетел стремглав в трущобу, ударяясь всеми членами на пни и колоды. Видя, что при всех усилиях не может уже приподняться, он сколько мог порассудил и, наконец, решился, на что только в подобном случае разумный человек решиться может. Именно: уснуть где и как попалось. Итак, предав храбрую свою роту и бедную душу в руце божии и оградясь крестным знамением, разумеется мысленно, ибо руки уже не поднимались, он так опочил храбро, что до самого просыпу и не думал трусить ни полевых турков, ни лесных зверей, ни даже турецких леших. Пробудясь на рассвете и сотворя молитву, выполз из своего опочивалища и пошел наудачу. Пробыв на дороге около двух часов, он выбрел на чистое поле, и ужасное зрелище его поразило, не хуже, как накануне сильные приемы искусственной храбрости. Оглядев пасмурными взорами поле побоища, он призадумался, ибо неприятная мысль коснулась мозгу его: что скажут, узнав, что он не был на сражении? Подумав о сем пристально, он расчел, что когда уже немилосердая судьба исторгла, так сказать, славу отличиться на самом деле, то теперь благоразумие запрещает не воспользоваться окончанием оного! Таким образом, он, приведя на память храбрость предков своих, ратовавших на Куликовом поле[1], крепко возъярился, исторг булатный меч-кладенец и начал поражать всех врагов, которые оказывали хотя малые остатки жизни. При сем случае не щадил он ни страшных ругательств, ни угроз. Если ему случалось спотыкнуться о турка и упасть, он произносил такой вопль, как будто бы пробитый ядром прощался со светом. Наконец он вошел в такую приметную храбрость, что, возвыся меч, вскричал: «Что, враги Христовы,— каково? Вставайте все, все; я один переколю целое стадо ваше!» Едва кончил он сей единственный в свете вызов, как услышал позади себя громкий хохот. С ужасом оглянулся он и увидел невдалеке толпы народа, к нему иду-

[1] Где великий князь Дмитрий Донской одержал решительную победу над татарским ханом Мамаем.

щего. Куда бежать несчастному: где скрыться? Сабля выпала из рук его, он сомкнул глаза и с покорностию предавал душу свою господу богу! Когда те приблизились, то один из них сказал:

— Кой черт? Это ты? Что же жмуришься? Открой глаза!

Родитель мой, исполнив волю его, проглянул и, к радости и удивлению, увидел, что с ним говорит старый бригадир, дядя его, человек храбрый на поле, шутливый в беседе и никому не уступающий за стаканами.

— Как, дядюшка,— спросил отец мой,— это вы? А я, право, почел вас за турков!

— И не мудрено,— отвечал дядя,— потому что я с двумя баталионами отряжен для разобрания трупов; а как для сего дела рядиться не для чего, то мои воины вышли просто в шинелях и фуражках, а некоторые в турецких колпаках. Дельно, племянник, что ты так храбр! Теперь время завтракать, и ты расскажешь мне о делах твоих в прошедшую ночь. То-то славно было!

За едою и питьем, которые отцу моему крайне были не противны, он сгородил дяде такую историю, что старик чуть не прослезился. Он обнял племянника с нежностию и сказал:

— Продолжай, друг мой, и впредь так же хорошо исполнять долг свой! Сего требует твоя вера и обязанность к государю и отечеству. А я уж о тебе постараюсь!

Целый день проведен в разбирании трупов; к вечеру положены оные были в четыре общие могилы, отпето об упокоении душ их, и все гораздо позже возвратились в лагерь. Дядя отца моего не преминул донести начальству, что племянник его не только ратовал во всю ночь, но по собственному усердию к благу отечества провел один в поле и целое утро, добивая врагов неверных. По сему одобрению отец мой сделался кавалером.

Где убежишь от зависти? Это такая неугомонная гостья в сердце человеческом, что если раз поселится, то уже весьма трудно выпроводить ее обыкновенным образом, а должно будет употребить насилие.

В том же полку, в котором служил отец мой, находился один полковник, который в означенную ночь битвы с самого почти начала лишился прежде уха, а потом глаза: когда он исцелился, то, слыша, что граф Фирсов украшен славным знаком отличия, а он обойден, оказал свое воспитание тем, что вызвал отца моего на поединок

и поступил так глупо, что прислал вызовное письмо, назначая место и время для ратоборства.

Тогда уже поединки были запрещены накрепко, а потому отец мой попросил совета у бригадира, своего дяди, и отдал ему письмо. Дядя показал оное генералу, а тот — самому князю. Приказано разведать об истине, отец найден правым, в силу военного определения полковник лишен полка и услан из армии; а отец мой за испытанную храбрость и уважение к законам объявлен полковником.

В продолжение нескольких лет кампании отец мой умел всегда сохранить славу своего имени, а особливо при помощи дяди своего, который тогда уже был генералом. Нередко полк графа Фирсова бывал в самом огне, пропадало множество народа, но он сам выходил из сражения нимало невредим. Не знали, чему приписать такое чудо; и приписали оное ходатайству святого Георгия, коего крест носил он на шее. Но скоро оно объяснилось. Именно: когда начиналось сражение, отец предъявлял сочиненное им предписание от главнокомандующего, чтобы спешить к известному посту; поручал команду храброму подполковнику и до тех пор укрывался в самых потаенных местах, пока замечал, что неприятели разбиты и устремились в бегство. Тогда он прискакал к полку своему и помогал гнаться за убегающими. Может быть, таковые стратегемы[1], как он сам называл их, когда-либо и открылись бы, и нашему герою вышло не весьма приятно, но судьбам вышнего благоугодно было послать на землю ангела мира. Оба царства утомились от забот, сопряженных с изысканием денег, необходимых на таковой случай, а обе армии — от трудов, беспрерывно оные отягощавших. После многих словопрений, взаимных требований и уступок, после многих с обеих сторон ухищрений, наконец — благодарение небесам,— мир был заключен, и в обоих лагерях поднялось торжество неимоверное. В турецком свете солнце затемнялося от дыму табашного и от сжигаемого кофею; а в русском — из края в край раздавались скрыпы телег, с вином развозимых, и от треску разбиваемых бутылок, стаканов и рюмок. Вот тут-то отец мой показал себя!

Дошло дело до наград, достойных мужества и благоразумия каждого подвижника. Отец мой пожалован

[1] Воинские хитрости.

в бригадиры и, согласно его желанию, как уже в храбрости не было нужды, отпущен в дом свой, где он имел право повествовать о храбрости своей сколько ему угодно было.

Все эти подробности, которые рассказаны вкратце, знаю я из рукописи, веденной тайно камердинером отца моего, бывшего во все то время при нем в армии. Тетрадь сия и теперь еще хранится у меня, ибо при описи имения все заимодавцы, не ценя ее ни во что, единодушно уступили ее мне в вечное и потомственное владение.

Примечания



Сочинения Нарежного печатались в журналах или выходили отдельными изданиями, и, как правило, эти публикации при жизни автора оставались единственными.

Первое собрание сочинений было издано А. Смирдиным спустя десять лет после смерти писателя: «Романы и повести, сочинения Василия Нарежного». Издание второе. СПб., ч. 1—10, 1835—1836 (вторым это издание было помечено потому, что в 1824 г., еще при жизни автора, вышел сборник под названием «Новые повести», СПб., ч. I—III, где впервые увидели свет произведения: «Богатый бедняк», «Запорожец», «Мария», «Невеста под замком», «Турецкий суд» и «Заморский принц»).

Смирдинское издание включило в себя почти все прозаические произведения Нарежного: «Бурсак», «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», «Аристион, или Перевоспитание», «Черный год, или Горские князья», «Славенские вечера», а также все упомянутые выше «новые повести». За пределами издания остались лишь запрещенный роман «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова», ряд ранних повестей («Георгий и Елена», «Анастасия» и др.), а также незаконченный роман «Гаркуша, малороссийский разбойник». Этот роман был представлен в 1835 году в цензуру, но разрешения на его публикацию не последовало (цензурная история романа изложена в статье В. Э. Жуковского «В. Т. Нарежный и цензура».— «Труды Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова. Серия филологическая, вып. II. Баку, 1947, с. 71—90).

Последующие два сборника сочинений Нарежного вышли спустя столетие, уже в советское время. Это «Избранные романы», «Academia», 1933 (подготовка текста к печати, вступительная статья и примечания В. Ф. Переверзева), куда вошли «Аристион, или

Перевоспитание», «Бурсак» и «Два Ивана»; а затем — «Избранные сочинения в двух томах», М., Гослитиздат, 1956 (вступительная статья Н. Л. Степанова, подготовка текста и примечания А. М. Жигулева). В последнее собрание вошел «Российский Жилблаз» (впервые опубликованный в полном виде отдельным изданием в 1938 г.), «Бурсак», «Два Ивана», а также незавершенный роман «Гаркуша, малороссийский разбойник». Впервые этот роман был опубликован в украинском переводе в 1931 году, а в оригинале вышел в 1950 году в издании «Русские повести XIX века, 20—30-х годов», т. 1. М.— Л., Гослитиздат (публикацию подготовил Б. С. Мейлах). Таким образом, настоящее издание сочинений Нарежного является четвертым. Оно включает три наиболее значительных его произведения: «Российский Жилблаз», «Бурсак» и «Два Ивана». Чтобы познакомить современного читателя с произведениями «малой формы», печатается одна из «новых повестей» — «Мария».

Тексты всех произведений проверены по прижизненным публикациям, как правило, единственным. Как и в предыдущих советских изданиях Нарежного, сохранены те особенности орфографии, которые передают характерный стиль писателя, а также существовавшие в то время формы произношения.

В случае употребления Нарежным разнящихся языковых форм («завтре» и «завтра», «сегодня» и «сегодни» и т. д.) это различие сохраняется, т. к. оно характерно для языковой практики тех лет.

Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова

Первые три части впервые опубликованы отдельным изданием: «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова. Сочинение Василия Нарежного», ч. 1—3. СПб., 1814.

Полностью произведение издано лишь в советское время: В. Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова. Роман в шести частях. Редакция, статья и примечания Н. Л. Степанова, т. I—II. М., Гослитиздат, 1938.

Произведение имело длительную и драматическую цензурную историю. Едва только были напечатаны первые три части (цензурное разрешение ч. 1, 2 — 12 сентября 1813 г., ч. 3 — 9 октября то-

го же года), как роман привлек к себе внимание властей. Вышедшая раньше других третья часть была передана управляющему министерством полиции С. К. Вязьмитинову, который счел необходимым обратиться со специальным письмом (от 16 марта 1814 г.) к министру просвещения А. К. Разумовскому. В этом письме в частности говорилось: «На сих днях вышла из печати одна только 3-я часть Российского Жилблаза, сочинение Василья Нарежного: но и сия часть уже заслуживает особенного внимания по содержащимся в ней предметам. Хотя книга сия и напечатана с одобрения здешнего цензора Яценкова, однако ж за всем тем почитаю неизлишним препроводить ее при сем на благоусмотрение Вашего сиятельства, прося Вас, милостивый государь мой, покорнейше почтить меня уведомлением, не заметите ли в ней некоторых мест, подлежащих или перемене или исключению».

А. К. Разумовский отвечал 26 марта: «...Я относительно издания романов вообще такого мнения, что должно бы тогда только позволять печатание оных, когда имеют истинно нравственную цель несмотря на цену, какую, впрочем, могут иметь как произведения словесности, о чем я нужным счел сделать ныне всем цензурным комитетам предписание, тем паче, что ... в России вышло и доныне выходит много сочинений, коих одобрение, по мнению моему, подлежало бы сомнению. К числу таковых книг принадлежит, конечно, и доставленный мне Вами Российский Жилблаз, содержащий многие предосудительные и соблазнительные места, как то на страницах: 46, 98, 125, 185 и далее ... Впрочем, от Вас, милостивый государь мой, зависит, если вы находите книгу сию подлежащею запрещению, не позволить продажи оной».

«Предосудительными и соблазнительными местами» министр просвещения счел те страницы, где говорилось о произволе помещиков, обличались церковь и масонство [1].

В другом документе, посвященном выходу «Российского Жилблаза», Разумовский настаивал на «предосудительности» романа еще более решительно: «Между издаваемыми вновь романами выходят многие, которые хотя и не содержат в себе мест, явным образом противных какой-либо статье цензурного устава, но вообще по цели своей, двусмысленным выражениям и ложным правилам могут быть почитаемы противными нравственности. Часто бывает,

---

[1] Содержание переписки С. К. Вязьмитинова с А. К. Разумовским кратко изложено в книге «Описание дел Архива министерства народного просвещения», т. II, под редакцией А. С. Николаева и С. А. Переселенкова, Петроград, 1921, с. 224. Полностью письма опубликованы Н. Л. Степановым в комментариях к I т. указанного выше издания «Российского Жилблаза», по которому мы и воспроизводим эти документы.

что авторы романов хотя по-видимому и вооружаются против пороков, но изображают их такими красками или описывают с такою подробностью, что тем самым увлекают молодых людей в пороки, о которых полезнее было бы вовсе не упоминать» (документ опубликован в исследовании М. И. Сухомлинова «Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I» в кн.: М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., т. I, 1889, с. 427).

А. Разумовский направил С. С. Уварову, попечителю учебного округа, отношение с требованием объявить Яценкову, который цензуровал роман, «строжайший выговор». Министерство полиции запретило продавать вышедшие три части романа. Издание последних трех частей было также запрещено.

Но на этом мытарства произведения Нарежного не закончились. В 1835 году в связи с предпринятым А. Смирдиным изданием его сочинений «Российский Жилблаз» снова был отдан в цензурный комитет и «возвращен без одобрения».

В 1841 году была предпринята третья попытка провести роман через цензуру, но и эта попытка окончилась неудачей. Цензор Фрейганг дал следующий характерный отзыв, послуживший основанием для запрещения рукописи: «В целом романе все без исключения лица дворянского и высшего сословия описаны самыми черными красками; в противоположность им многие из простолюдинов, и в том числе жид Янька, отличаются честными и неукоризненными поступками» («История русской литертуры», т. V. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1941, с. 278).

Четвертую попытку опубликовать роман предпринял в 1863 году сын писателя Владимир Васильевич Нарежный, «Галицкого пехотного полка майор и кавалер». В. В. Нарежный прибег к помощи Литературного фонда, заручился поддержкой А. В. Никитенко и А. Д. Галахова. В прошении от 31 марта 1864 года на имя председателя Общества для пособия литераторам Е. П. Ковалевского Нарежный сообщал, что последние три части романа «в рукописи находились под запрещением цензуры, до 1863 года заарестованными», и что он их «с большим затруднением мог получить лишь в минувшем году из цензурного комитета...» (Отдел рукописей и редких книг Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 438. Литфонд, № 13, л. 114, 112). Об обстоятельствах получения В. В. Нарежным рукописи романа сообщает также издатель и книгопродавец И. Т. Лисенков — см.: М. В. Теплинский. И. Т. Лисенков и его литературные воспоминания.— «Русская литература», 1971, № 2, с. 108—113.

Издание это, по не вполне выясненным причинам, также не состоялось.

Затем рукопись попала к издателю «Русской старины» М. И. Семевскому, который в биографической заметке о Нарежном сообщал о готовящемся выходе романа (см.: «Русские деятели в портретах...», третье собрание. СПб., 1889, с. 82). Однако в «Русской старине» произведение также не появилось.

Впервые запрещенные цензурой IV—VI части (вместе с ч. I—III) увидели свет в 1938 году в указанном выше издании. Вторично роман был полностью издан в 1956 году, составив первый том «Избранных сочинений» Нарежного.

Рукопись первых трех частей романа не сохранилась.

Рукопись последних трех частей, хранящаяся в настоящее время в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Пушкинском доме), представлена следующими материалами: 1) IV часть — авторизованный список, выправленный рукою Нарежного (глава X «Заморский принц» — целиком написана им); 2) V и VI части (VI — не закончена) — копия, сделанная в 1860-е годы; 3) IV, V и VI части — писарская копия 1863 года.

Очевидно, эти рукописи должны были быть положены в основу публикации III—VI частей романа на страницах «Русской старины». Рукописи приобрел Семевский у одного из наследников Нарежного — Данильченко, о чем упоминается в описи материалов «Русской старины» (кн. 1 за 1874 г., 74 л.; запись за № 1587 от 28 ноября 1874 г.).

Печатание III—VI частей романа по рукописи в 1938 году поставило перед публикатором Н. Л. Степановым существенную текстологическую проблему. Ввиду цензурных сложностей и препятствий Нарежный подверг текст редактуре, причем характерно, что внесенные исправления, как правило, предварялись пометами на полях рукописи. Эти пометы были сделаны кем-то (возможно, цензором или человеком, с которым советовался автор) на полях IV части.

Изменения, произведенные автором, в основном сводятся к следующему.

В V части Нарежный перенес действие из Петербурга в Варшаву, сделав в связи с этим ряд поправок и дополнений (включение эпитета «польский», упоминание о «сеймовом собрании» и т. д.).

Были внесены также исправления, преследовавшие цель ослабить критическую, обличительную силу тех или других подробностей и описаний. Титул *светлейшего,* в применении к Латрону, заменяется «сиятельством» (возможно, для того, чтобы избежать ассоциаций с князем Потемкиным); «депутаты» заменяются на «нарочных»; «гвардейские ухватки» — на «городские» и т. д.

Вычеркнут большой фрагмент V части — описание болезни Чистякова, разговор с доктором и т. д.— от слов «Волосы стали дыбом...» и кончая «Будет с меня и одного урока» (наст. изд., с. 496—498).

Можно предположить, что и во II части романа ростовщик поп Авксентий был заменен на купца Авксентиева по цензурным соображениям: в рукописи IV части о нем говорится именно как о священнике.

Все эти купюры и искажения текста были исправлены в советских изданиях 1938 и 1956 годов; сохраняются эти исправления и в настоящем издании.

Специально нужно остановиться на одном моменте — переносе места действия из Петербурга в Варшаву. Несмотря на цензурные мотивы этого изменения, исправить его не представляется возможным. Еще Н. Л. Степанов в комментариях к изданию 1938 года отметил, что нет достаточного материала для правки: «...мы сохраняем в тексте романа перенесение действия в Варшаву, считая, что читатель сумеет и без редакторского вмешательства в текст Нарежного правильно разобраться в нем и понять эти механические изменения» (с. 485). Мы также придерживаемся в настоящем издании этого принципа, тем более что упоминание Варшавы (а не Петербурга) встречается и в опубликованной при жизни Нарежного III части — см. наст. изд., с. 266).

Текст первых трех частей романа сверен с прижизненной публикацией. Последние три части печатаются по первому изданию 1938 года, с обращением — в спорных случаях — к рукописи.

* * *

Репрессивные меры, принятые против «Российского Жилблаза», чрезвычайно затруднили путь романа к читателю. В 1815 году В. Сопиков в «Опыте российской библиографии» (СПб., ч. III, 1815, с. 90) указывает, что эта книга «редка» и что она «состоит из 6 частей, но три последние еще не изданы». «Вероятно, тогдашняя цензура... не позволила Сопикову напечатать о *запрещении* романа»,— заметил по этому поводу библиограф Полторацкий в своей рукописной антологии «Мой сборник биографический о русских достопримечательных людях» (Отдел рукописей и редких книг Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 603. Полторацкий. № 294, л. 39—40). Здесь же Полторацкий поделился результатами своих разысканий:

«В «Сыне отечества» 1814 и 1815 годов *нет* статьи о романе Нарежного; ни в «Вестнике Европы» и ни в каком журнале тогдашнего времени.

В Росписи Плавильщикова, 1820, стран. 388 и в шести прибавлениях к Росписи за 1820, 1821, 1822, 1823, 1824—1826 этот роман *не* значится.

Его *не* означено также в Росписи Смирдина, 1828, стран. 613, ни в четырех Прибавлениях, 1829, 1832, 1852 и 1856».

В то же время есть сведения, что запрещение романа обострило к нему интерес общественности. Впоследствии Н. Греч свидетельствовал: «...Публика, слыша о том, что эта книга не может быть напечатана, вообразила, что в ней заключается невесть что» (Н. Греч. Чтения о русском языке. СПб., ч. II, 1840, с. 333). Особенно ценно указание Д. И. Завалишина, позволяющее заключить, что роман распространялся в анонимных списках и что он содействовал формированию декабристской идеологии. «Порицание правительственных действий» «выходило... не из подражания и влияния чуждых идей, а было делом самостоятельного взгляда чисто русских людей на русскую жизнь, лучшим доказательством тому служит чрезвычайное распространение в то время в публике таких рукописных сочинений, как, напр[имер], «Трумф» (И. А. Крылова) и «Русский (т. е. Российский) Жилблаз»... О сочинителе же второго хотя тогда и спорили, но и тут все имена, которые называли, были также имена чисто русских людей (между прочим, опять также и Крылова), или незнакомых ни с чем иностранным, или не любивших его» (Д. И. Завалишин. Записки декабриста, т. I. München, 1904, с. 180—181).

Постепенно, однако, сведения о «Российском Жилблазе» стали проникать в печать. П. Вяземский в своем «Письме в Париж» 1825 года (см. об этом во вступительной статье к наст. изд., с. 5), говоря о четырех романах Нарежного, подразумевал и «Российского Жилблаза», хотя и не называл его по имени. Несколько раньше анонимный автор, заключая свою рецензию на «Два Ивана», писал: «Желательно, чтобы издан был роман г. Нарежного «Русский Жилблаз». Можем уверить, что он превзойдет все другие романы его и достоин большого внимания» («Московский телеграф», 1825, ч. IV, № 16, с. 347).

Высоко ценил «Российского Жилблаза» Н. И. Надеждин, противопоставивший его в 1829 году «Ивану Выжигину» Ф. В. Булгарина, роману, имевшему неслыханный читательский успех («Вестник Европы», 1829, № 10, 11; см. об этом во вступительной статье к наст. изд., с. 6). Позднее в библиографическом обозрении, опубликованном в «Телескопе» (1832, ч. XI, № 20), тот же критик указывал на приоритет Нарежного в создании русского плутовского романа (см.: Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., «Художественная литература», 1972, с. 327).

Отзыв Белинского о романе носит беглый характер (см. В. Г. Белинский, т. V, с. 564) и не позволяет судить, насколько хорошо был знаком критик с этим произведением.

Высокое признание получил «Российский Жилблаз» в академическом русском литературоведении конца XIX — начала XX века. Н. Котляревский назвал его «самым пространным реальным романом старого времени» (Н. Котляревский. Николай Васильевич Гоголь. 1829—1842... Четвертое, исправленное издание. Пг., 1915, с. 62).

В советском литературоведении «Российскому Жилблазу» посвящен ряд исследований. Помимо указанной выше статьи Н. Л. Степанова, см.: И. Г. Ямпольский. «Российский Жилблаз» В. Т. Нарежного («Литературный критик», 1939, кн. 1, с. 180—182); Е. Е. Соллертинский. Роман В. Т. Нарежного «Российский Жилблаз» (Из истории русского критического реализма).— «Ученые записки Уральского педагогического института им. А. С. Пушкина», т. II, вып. 4, 1955, с. 101—134; П. В. Михед. Изображение личности Г. С. Сковороды в романе В. Т. Нарежного «Российский Жилблаз».— «Вопросы русской литературы», вып. 1. Львов, 1979, с. 124—130.

Под влиянием произведения Нарежного традиция плутовского романа жилблазовского типа глубоко укоренилась в русской литературе. Следует, в частности, назвать произведения: Г. Симоновский. Русский Жилблаз. Похождение Александра Сибирякова, или Школа жизни. М., 1832 (автор этого романа Геннадий Симоновский — фигура еще совсем не изученная: см. А. В. Храбровицкий. Загадочное издание.— «Огонек», 1981, № 47, с. 21); затем — Н. А. Полевой. Жилблаз нашего времени...— «Русский вестник», 1842, № 4; Н. А. Некрасов. Жизнь и похождения Тихона Тростникова (1843—1848, впервые опубликован в 1931 г.) и т. д. Своеобразно преломились традиции плутовского романа в «Мертвых душах» Гоголя (см. об этом: Ю. Манн. Поэтика Гоголя. М., «Художественная литература», 1978, с. 341—342).

«Российский Жилблаз» выходил в переводах на немецкий (1972) и чешский (1978) языки.

* * *

Стр. 47. *Homo sum, humani nil a me alienum puto* (Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо — лат.) — крылатое выражение из комедии римского драматурга Теренция (ок. 195—159 гг. до н. э.) «Самоистязатель».

Превосходное творение Лесажа...— Роман А.-Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны» издан в 1715—1735 гг. (I, II т.

в 1715-м, III т.— в 1724-м и IV т.— в 1735-м). Первый русский перевод: «Похождения Жилблаза из Сантилланы, описанныя г. Ле Сажем, а переведенныя Академии наук переводчиком Васильем Тепловым», т. 1—4, 1754—1755.

Франция и Немеция имеют также своих героев...— Подразумеваются французские и немецкие переделки романа Лесажа, переведенные на русский язык: «Новой Жилблаз, или Приключения Генриха Лансона, сочиненный г. Мером в Нанси». Перевел с французского Ф. Печерин, ч. 1—4. М., 1794; и [Адольф Франц Фридрих Людвиг фон Книгге] «Немецкой Жилблаз, или Приключения Петра Клаудия». Перевел с французского Николай Ильин, ч. 1—3. М., 1795—1797.

Стр. 48. *Почему Лесаж не мог того сделать, всякий догадается.*— В «Истории Жиль Блаза...» события происходят в Испании — традиционном месте действия плутовского романа, хотя за испанским колоритом угадываются реальные нравы и обычаи тогдашней Франции.

Стр. 52. *«Модная лавка»* — комедия И. А. Крылова (опубл. в 1807 г.) и *«Новый Стерн»* — комедия А. А. Шаховского (пост. в 1805 г., опубл. в 1807 г.) — вопреки утверждению Простакова глубоко содержательные произведения с явно обличительной тенденцией.

Стр. 98. *...имеяй уши слышати, да слышит!* — Выражение, встречающееся в Евангелии (например, Матф., 11, 15).

Стр. 135. *«Бабьи увертки».*— Подразумевается лубочная книга «Повесть о купцовой жене и о прикащике». Одна из картинок в книге была снабжена надписью: «О бабьих увертках и непостоянных их документах».

...нашел я книги, следующие по ряду...— Упоминаемые лубочные издания не имеют устойчивых канонических названий. Известны, в частности, произведения под такими названиями: «Гистория о храбром и славном витязе Бове королевиче и о смерти отца его», «Сказка о Еруслане Лазаревиче», «Сказка о Булате-молодце», «Сказка об Иване царевиче, жар птице и сером волке».

...тот, кто сказал dosendo discimus (уча учимся) — выражение римского философа и писателя Л.-А. Сенеки (ок. 4 г. до н. э.— 65 г. н. э.), ставшее крылатым.

Стр. 164. *...круг, на коем также нарисован двоеглавый орел...*— Подразумевается кабак, питейный дом. Российский герб свидетельствовал о покровительстве государства, которое отдавало торговлю вином на откуп, облагало всевозможными сборами и т. д.

Стр. 169. *...Мильтонову Сатане, когда он носится по аду, ста-*

раясь найти выход.— Имеется в виду эпизод из поэмы Дж. Мильтона «Потерянный Рай» (книга вторая).

Стр. 187. *...господина Трис-мегалоса: так называется ученый.*— Фамилия Трис-мегалос означает «трижды великий» (от лат. tres — три и греч. Megāle — великая). Автор намекает на три упомянутые ниже страсти Трис-мегалоса — к метафизике, славянскому языку и пуншу).

Стр. 199. *...желаю ему долголетия Мафусаилова...*— Согласно библейскому мифу, древнееврейский патриарх Мафусаил прожил 969 лет.

Стр. 205. *...большого меделянского кобеля...*— Меделянка — порода охотничьих собак. (Название происходит от латинского обозначения города Милана.)

Стр. 207. *...завели разговор о чистом понедельнике...*— Так называется понедельник на первой неделе великого поста.

Стр. 209. *Колотырства* — ссоры, дрязги.

Стр. 222. *...не читали бы в подлиннике «Альзиры»... «Дщери удовольствия»...*— Трагедия «Альзира» (1736), поэма «Генриада» (1723—1728), герои-комическая поэма «Орлеанская девственница» (1755) — произведения Вольтера. «Андромаха» (пост. в 1667-м, изд. в 1668 г.) — трагедия М. Расина. «Терезия Философка» — французский роман. «Дщерь удовольствия» — английский роман. Простаков ставит в один ряд значительные произведения и третьестепенные сочинения массовой литературы.

Стр. 231. *...несносны для чивого сына.*— Чивый — щедрый, тороватый. Здесь — в смысле «транжир».

Стр. 232. *...проклятые драбанты...*— Подразумеваются полицейские. Драбанты (пол.) — телохранители.

Стр. 236. *...где твой вид?* — т. е. паспорт, удостоверение личности.

Стр. 252. *...Бежал... подобно Лоту, когда небесный огнь истреблял преступный Содом.*— Город Содом, по библейскому преданию, погряз в грехах и распутстве и в наказание был испепелен посланным с небес огнем. Бог вывел из пламени только праведника Лота с семьей.

Стр. 253. *...чудовище, которого взгляда надобно страшиться, как Василискова...*— Василиск — сказочное животное (змей, дракон), обладавшее губительным взглядом.

Стр. 273. *...поезжане ахнули...*— Поезжанин — лицо, участвующее в свадебном поезде.

Стр. 279. *...«Логику» и «Метафизику» Федера и Баумейстеровы сочинения.*— Подразумевается немецкий писатель Иоганн Федер (1740—1821) и немецкий философ Фридрих Христиан Баумейстер (1708—1785).

Стр. 280. *С приятелем моим Бибариусом...*— Один из характерных для Нарежного примеров говорящей фамилии. Бибариус — от лат. bibax — склонный к пьянству, любящий выпить.

Стр. 281—282. *...Другие... как, например, Мильтон, в преклонной старости начали свои творения...*— На самом деле Дж. Мильтон (1608—1674) начал писать еще в ранние годы, во время учения в Кембриджском университете. Однако наиболее значительные его произведения действительно созданы незадолго до смерти: «Потерянный Рай» — в 1667 г., «Возвращенный Рай» и «Самсон-борец» — в 1771 г.

Стр. 282. *Harmonia praestabilitata* (предустановленная гармония) — категория философии Лейбница, означающая установленное богом гармоническое соотношение первоэлементов (монад), на котором основывается мировой порядок.

Стр. 292. *Damnosa quid non imminuit dies?* (Чего не изменит губительное время?) — Гораций. Оды, кн. 3, ода 6, стих 45 и след.

Стр. 297. *...употребить тот же способ, как и Апулеева Психея...*— Подразумевается тот эпизод сказки в «Метаморфозах» Апулея, когда Психея, желая узнать, кто ее тайный возлюбленный, неожиданно подносит к лицу Амура светильник (кн. V, гл. 22).

Стр. 298. *...лицо Александра Великого* — т. е. Александра Македонского.

Стр. 301. *...с женою сего Вулкана... настоящею Венерою.*— В древнеримской мифологии Венера была женою бога огня и покровителя кузнечного ремесла Вулкана.

Стр. 308. *...ты — Феникс в женском поле...*— Феникс — сказочная птица, в старости сжигавшая себя и заново возрождавшаяся из пепла; символ вечной молодости и возрождения.

Стр. 313. *...должен я пятьдесят рублей невступно* — т. е. около пятидесяти рублей, неполных пятьдесят рублей.

Стр. 319. *...выходи в первый торговый день на площадь, где увидишь воздаяние по заслугам.*— Имеется в виду так называемая торговая казнь — наказание кнутом на торгу, базарной площади, сопровождавшееся (до 1817 г.) вырыванием ноздрей и клеймением.

Стр. 321. *...ведущим род свой от князя Кия.*— Кий — один из трех легендарных основателей Киева (вместе с братьями Щеком и Хоривом) и первый его правитель.

Стр. 325. *...здесь есть общество благотворителей света...*— Описывая это общество, Нарежный намекает на существовавшие в то время в Москве масонские организации: «Филадельфическое общество», «Физический клуб», «Еввин клуб» и т. д. См. подробнее: Н. Белозерская. Василий Трофимович Нарежный... Издание 2-е, исправленное и дополненное. СПб., 1896, ч. 2, с. 93. О масонстве

в России см. также: Г. Макогоненко. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.—Л., 1952, с. 283 и далее.

Стр. 354. ...*Роза Инносанс!* — Innocence (фр.) означает невинность.

Стр. 355. ...*одно уже мое имя достаточно вселить обо мне мнение...*— Грабшауфель — от нем. Crabschaufel — могильная лопата.

Что скажет высокоименитый Тодборуг? — Имя происходит от нем. Tod — смерть и, возможно, англ. boroygh — город; т. е. Мертвый город.

Стр. 361. ...*а более английские трагики...*— Подразумевается шекспировская традиция в драматургии — традиция свободной драмы, с большим количеством действующих лиц, чередованием различных планов, в частности, комических, трагических и фантастических эпизодов, переносом действия из одного места в другое и т. д. Нарежный, при его глубоком уважении к Шекспиру, выступал против «шекспиромании», бездумного и эпигонского копирования его поэтики (см. подробнее: «Шекспир и русская культура». М.—Л., «Наука», 1965, с. 115—116).

Стр. 362. ...*жалости и ужаса, как предлагает Аристотель...*— Имеется в виду мысль Аристотеля о том, что трагедия «должна подражать страшному и жалкому (ибо это составляет особенность подобного художественного изображения)...» (Аристотель. Об искусстве поэзии. Разд. 13).

Стр. 367. ...*Ахиллес... называет царя царей пьяницею и сукиным сыном...*— «Илиада», песнь первая, ст. 225 и далее.

...*описание спальни волшебницы Цирцеи...*— Описание это содержится в песни десятой «Одиссеи».

Стр. 368. ...*случаев, могущих быть поводом к не худым комедиям и даже слезным...*— Слезная комедия — одно из обозначений мещанской драмы, возникшей в XVIII в. в западноевропейских литературах (Дидро, Лессинг, Бомарше и др.). Для этого жанра характерен интерес к быту и нравам демократических слоев, морально-этической проблематике, тяготение к социальным конфликтам.

...*оставил в покое и Талию, как Мельпомену.*— То есть оставил и комедию, и трагедию (Талия — муза комедии; Мельпомена — муза трагедии).

Стр. 370. ...*подобно Зенону и Кратесу, стоял твердо...*— Зенон (ок. 336—264 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы стоиков. Кратес — древнегреческий философ, последователь Диогена.

Стр. 378. ...*медик синиоро Мортифиоро...*— то есть господин Смертоносец (ит.).

Стр. 379. *Блаженни милостивии, яко тии помилованы будут!* — Евангелие от Матфея, 5, 7.

Стр. 390. *...Соломон... с помощию своего волшебного перстня...*— Согласно легенде, запечатленной в сказках «Тысячи и одной ночи», в русских апокрифах и т. д., древнееврейский царь Соломон при постройке храма в Иерусалиме получил от самого бога магический перстень, с помощью которого он мог подчинять своей воле злых духов.

Стр. 393. *...поступил я несравненно совестнее Тезея...*— Имеется в виду древнегреческий миф о том, как Тезей с помощью полюбившей его Ариадны, дочери критского царя, убил полубыка-получеловека Минотавра. Затем бежал с ней на о. Наксос и, согласно одному из сказаний, покинул ее там.

Стр. 400. *...оставя забобоны совести...*— Забобоны — вздор, пустяки; в данном случае — предрассудки, химеры.

Стр. 408. *...сулейкою вина...*— Сулея — плоская склянка, бутыль.

Стр. 413. *...и начал читать следующее...*— Впоследствии этот рассказ послужил основой для повести Нарежного «Заморский принц», включенной в «Новые повести» (СПб., ч. III, 1824).

Стр. 438. *...песни сына его Оссияна.*— Легендарный кельтский воин и бард Оссиан был, по преданию, сыном Финна (Фингала) Мак-Кумхайла. В 1765 г. шотландский писатель Дж. Макферсон издал «Сочинения Оссиана, сына Фингала», приписав этому легендарному поэту свои обработки кельтских преданий и легенд. О влиянии Оссиана на Нарежного, в частности на его «Славенские вечера», см.: Ю. Д. Левин. Оссиан в русской литературе. Конец XVIII — первая треть XIX в. Л., «Наука», 1980, с. 84—85.

Клянусь святым Яковом Компостельским...— Апостол Иаков, по преданию, похоронен в испанском городе Компостелле, где сооружен посвященный ему собор.

...господин Шафскопф.— Schafskopf (нем.) — болван, дурак.

Стр. 447. *...Увидя Элоизу, он вспомнил, что имя его Абеллард, и, читавши древний роман о сих соименных ему славных любовниках...*— Пьер Абеляр (1079—1142) — французский философ, богослов и поэт. О своей любви к Элоизе он рассказал в автобиографии «История моих бедствий».

Стр. 457—458. *...ни сто Роландов не исхитят из плена.*— Роланд — франкский маркграф, участвовавший в походе Карла Великого в Испанию в 778 г.; герой народных сказаний, воплощенных в знаменитой «Песни о Роланде» и послуживших основой произведений М. Боярдо, Л. Ариосто и др.

Стр. 465. *...при силуамской купели, когда ожидают возмущения ангелом воды.*— Подразумевается евангельская легенда о купальне

Вифезда в Иерусалиме: «...Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал...» (Евангелие от Иоанна, 5, 4).

Стр. 473. *...Сам искупитель наш дозволил блуднице умастить миром ноги свои...*— Евангелие от Луки, 7, 36 и далее.

Стр. 478. *...не миновать прядильного дома!* — Намек на события, имевшие место в Петербурге, где существовал некий «дом увеселения». Правительственная комиссия распорядилась арестовать хозяйку этого дома, а «красавиц забрав, у нее в доме обитающих, заперли на прядильный двор в Колинкиной деревне под караул» («Записки артиллерии маиора Михаила Васильевича Данилова, написанные им в 1771 году». М., 1842, с. 67).

Стр. 479. *...представляла ролю вестальской девы.*— Весталки, жрицы богини Весты в Древнем Риме, должны были оставаться девственницами, соблюдая обет безбрачия.

Стр. 482. *...святая Мария... посредством покаяния могла испросить благость его...*— Подразумевается Мария Магдалина, которая раскаялась в своих грехах и удостоилась первой увидеть воскресшего Христа.

Стр. 503. *Не быть бы лавровому дереву, если бы Дафна была не так упряма.*— Подразумевается древнегреческий миф о нимфе Дафне. Преследуемая Аполлоном, она попросила о помощи своего отца речного бога Пенея и была превращена им в лавровое дерево.

Стр. 511. *...а моя была настоящая Лукреция* — т. е. женщина высоких нравственных качеств. Лукреция была женой будущего римского консула Коллатина. Обесчещенная сыном Тарквиния Гордого Секстом, она заставила отца и мужа поклясться, что они отомстят за насилие, а сама покончила самоубийством.

Стр. 519. *Всякий город... несть числа.*— Цитата из послания И. М. Долгорукова «Парфену» (строфа XV): «...наша жизнь была И будет впредь такое море, В котором гадов несть числа».

Стр. 520. *...эзоповою черепахою, которая разохотилась летать...*— Подразумевается басня Эзопа «Черепаха и Орел».

Стр. 521. *Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых.*— Псалтирь, 1, 1.

Стр. 524. *...испытает участь Фаэтона...*— Герой древнегреческого мифа Фаэтон, управляя колесницей отца, бога солнца Гелиоса, не смог сдержать огнедышащих коней, и они приблизились к земле. Чтобы предотвратить гибель Земли, Зевс убил Фаэтона молнией, и он, пылая, упал в реку.

Стр. 526. *...«Эпиктетов Энхиридион» и «Разговоры древнего Платона».*— Подразумеваются кн.: «Епиктита стоического философа Енхиридион и Апоффегмы и Кевита Фивейскаго Картина, или

Изображение жития человеческаго. Переведены с греческаго языка коллежским асессором Григорьем Полетикою». СПб., 1759, и «Творений велемудраго Платона часть перьвая преложенная с греческаго языка на российский священником Иоанном Сидоровским, и коллежским регистратором Матфием Пахомовым, находящимся при Обществе благородных девиц», ч. 1—3. СПб., 1785.

Стр. 527. *...Толико время был еси со мною и не познал меня, Филиппе!* — Евангелие от Иоанна, 14, 9.

Стр. 528. *Хвалу всевышнему владыке... О нем пока могу дышать.*— Цитата из духовной оды М. В. Ломоносова (переложение 145-го псалма).

Стр. 536. *Помяни мя, господи, егда приидеши во царствии твоем.*— Евангелие от Луки, 23, 42; слова одного из распятых вместе с Иисусом Христом разбойников, уверовавшего в божественное происхождение Христа.

Стр. 542. *...понагрузились волошским...*— т. е. волошским вином.

Стр. 547. *...по примеру жены Лотовой не превратится в соляный столб.*— Когда, по библейскому преданию, г. Содом был испепелен огнем и бог вывел из пламени только Лота и его жену, последняя, вопреки запрету, оглянулась и была превращена в соляной столб.

Стр. 548. *Вознесу рог свой и поперу льва и змия.*— Фраза составлена из нескольких выражений из Библии: «Вознесся рог мой в боге моем» (Первая Книга Царств, 2, 1); «Попирать будешь льва и дракона» (Псалтирь, 90, 13).

Стр. 549. *Господь сказал устами святого пророка... «лучше женитися, нежели разжигатися».*— I Послание к Коринфянам, 7, 9.

...упрям, аки Валаамова ослица...— Когда, согласно библейской легенде, волхв Валаам отправился к врагам евреев, ослица, на которой он ехал, подчиняясь внушению свыше, «своротила... с дороги и пошла на поле» (Числа, 23 и далее).

Камень есть прибежище зайцем.— Псалтирь, 103, 18.

Стр. 550. *...яко же древле Мария Египетская пред праведным Зосимою.*— Мария Египетская (VI в.) была блудницей, но раскаялась в своих грехах и обратилась к вере. Перед смертью отшельник Зосима причастил ее и похоронил в пустыне Иорданской.

Стр. 553. *...Горациева стиха et fumus patriae dulcis* (И дым отчизны сладок).— Это крылатое выражение восходит еще к «Одиссее» Гомера, затем встречается в «Понтийских посланиях» Овидия (I, 3, 33) и у других авторов.

Стр. 558. *...претерпел я Иовлевы страдания.*— В Ветхом завете, в Книге Иова, рассказывается о том, как бог подверг Иова испытанию веры: лишил его имущества, детей, поразил жестокими болез-

нями. Но Иов в страданиях сохранил веру в мудрость бога и был вознагражден.

Стр. 579. ...*смирения, каков сделал соименный ему сын Иакова в Египте.*— Согласно библейскому мифу, сын Иакова Иосиф был оклеветан женою одного египетского вельможи за то, что он отверг ее любовь. Однако, будучи заключен в темницу, Иосиф сохранил услужливость и смирение.

...*подражать в храбрости Самсону.*— Древнееврейский богатырь Самсон, согласно библейскому мифу, отличался храбростью и необыкновенной физической силой. Когда филистимлянам с помощью обмана удалось его ослепить и заковать в цепи, Самсон разрушил храм, развалины которого погребли его вместе с его врагами.

Стр. 580. ...*клянусь десятисловием...*— Десятисловие — «10 заповедей», содержащих основы начал нравственных. (Согласно библейской мифологии, они были даны вождю израильских племен Моисею на горе Синае самим богом.)

Содержание



Нарежный В. Т.
Н28 Сочинения. В 2-х т.— М.: Худож. лит., 1983.
Т. 1. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова. /Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Ю. В. Манна. 1983.— 623 с.

В первый том Сочинений В. Нарежного (1780—1825), одного из первых русских романистов, вошел «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1812) — плутовской роман нравоописательного, резко обличительного направления.

Н $\frac{4702010100\text{-}380}{028(01)\text{-}83}$ 5-83 Р1

Василий Трофимович
Нарежный



Сочинения. В 2-х тт.

Том 1

Редактор *Е. Жезлова.* Художественный редактор *Г. Масляненко.* Технический редактор *Е. Полонская.* Корректоры *Г. Киселева и О. Наренкова.*

ИБ № 2508

Сдано в набор 28.01.82. Подписано к печати 28.12.82. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл.-печ. л. 32,76+1 вкл.=32,81. Усл. кр.-отт. 33,29. Уч.-изд. л. 35,43+1 вкл.=35,43. Тираж 150 000 экз. Изд. № II-325. Заказ 763. Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19.
Киевская книжная фабрика, 252054, Киев, ул. Воровского, 24.